



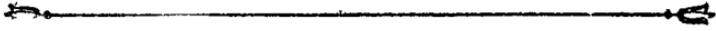
В.О.
КЛЮЧЕВСКИЙ
ИСТОРИЧЕСКИЕ
ПОРТРЕТЫ



В.О.
КЛЮЧЕВСКИЙ
ИСТОРИЧЕСКИЕ
ПОРТРЕТЫ

**В.О.
КЛЮЧЕВСКИЙ**





**В. О.
КЛЮЧЕВСКИЙ**

**ИСТОРИЧЕСКИЕ
ПОРТРЕТЫ**

**ДЕЯТЕЛИ
ИСТОРИЧЕСКОЙ
МЫСЛИ**

Издание подготовил
В. А. Александров



МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
1990

Вступительная статья написана,
примечания составлены, текст подготовлен
доктором исторических наук
В. А. Александровым

Ключевский В. О.

К 52 Исторические портреты. Деятели исторической мысли. / Сост., вступ. ст. и прим. В. А. Александрова.— М.: Правда, 1990.— 624 с.

ISBN 5—253—00034—8

В сборник избранных произведений известного русского историка В. О. Ключевского включены лекции и статьи о выдающихся деятелях прошлого — Сергии Радонежском, Иване Грозном, Петре I, С. М. Соловьеве и др.

К $\frac{4702010100-2084}{080(02)-90}$ 2084—90

84 Р 1



ВАСИЛИЙ ОСИПОВИЧ КЛЮЧЕВСКИЙ (1841—1911)

Более столетия это имя имеет свою историю. При жизни ученого оно было широко известно и пользовалось огромной популярностью. В 1920—1940-х гг. в общей критике всего культурного и научного наследия, оставшегося нам, оно оценивалось очень по-разному, часто двойственно, но для всех критиков было очевидным его научное значение. С 1950-х гг., когда началось глубокое изучение творчества В. О. Ключевского, вновь возрос интерес к имени историка среди широкой массы читателей, и в настоящее время оно стоит в ряду крупнейших деятелей русской и мировой культуры.

В чем же причина неиссякавшего интереса к Василию Осиповичу Ключевскому? В его биографии не было неожиданных, ошеломляющих или интригующих внимание эпизодов. Конечно, у В. О. Ключевского было немало сложностей, борьбы за свое место в науке с противниками, недоразумений с «властями», случалось, очень высокого ранга, но все это не выходило за границы повседневной профессорской карьеры, уже начало которой можно признать удачливым.

В известной степени биография В. О. Ключевского примечательна в социальном аспекте — выходец из семьи бедного сельского священника, очень талантливый, трудоспособный и целеустремленный молодой человек начал свой путь в науке в 1860-х гг., в 1870-х гг. достиг определенного положения, а к началу XX в. — всероссийской известности. Но подобная биография отнюдь не была исключением для второй половины XIX в.; такие биографии были тогда уже типичны. Выходцев из разночинных слоев, добивавшихся в это время успеха на различных поприщах, было немало. Популярность имени и научная значимость В. О. Ключевского определялась, конечно, более существенными обстоятельствами.

В. О. Ключевский родился в Пензе 16 января 1841 г. Его отец, Осип Васильевич, окончив духовную семинарию в 1838 г., не сразу сумел определиться на постоянную службу и только к 1846 г. получил приход на р. Суре в селе Можаровке Городищенского уезда Пензенской губернии, где и проживал до своей скоропостижной смерти. Жизнь сельского священника мало чем отличалась от жизни его прихожан. О. В. Ключевский сам, своими силами занимался сельским

хозяйством, а его маленький сын часть своего детства провел среди деревенских ребятишек и хорошо запомнил сельскую жизнь, к тому же в последние десятилетия крепостного права. Эти впечатления остались у В. О. Ключевского на всю жизнь, и можно не сомневаться в том, что именно они сыграли не последнюю роль в дальнейшем становлении его идейных установок. В 1850 г. молодым человеком погиб его отец: есть основания полагать, что несчастный случай произошел при стихийном бедствии — грозе с проливным дождем. Семья, к тому моменту выросшая, оказалась в критическом положении. Вдова, Анна Федоровна, будучи дочерью к тому времени умершего протоиерея одной из пензенских церквей, по всей вероятности, с помощью родственников переселилась в Пензу, где купила небольшой домик. Часть его она сдавала постояльцам, что было основной статьей дохода осиротевшей семьи. Десятилетний сын, будущий историк, был определен в приходское духовное училище, через год перешел в уездное духовное училище, а с сентября 1856 г. и до конца 1860 г. прошел курс местной духовной семинарии. Обучение в духовных учебных заведениях было бесплатным, и к тому же ученики получали небольшую стипендию, что было очень существенно для семьи. Семейные бедствия сильно отразились на физическом состоянии мальчика, но уже при окончании уездного училища и особенно в семинарии он стал резко выделяться среди своих сверстников и со второго года семинарского обучения сам стал давать уроки. Отличная от природы память тем более развилась в процессе схоластического духовного образования, к которому с годами у В. О. Ключевского все более и более возникала неприязнь. «Схоластика — точильный камень научного мышления: на нем камни не режут, но об камень вострят», — бросил, впрочем, в дальнейшем В. О. Ключевский один из многих своих афоризмов, мастерски им создававшихся¹. К тому же в предреформенные годы среди семинарской молодежи началось брожение, и В. О. Ключевский не отставал от своих товарищей. Начались столкновения с начальством семинарии. В. О. Ключевский постоянно занимался светским самообразованием, читал произведения В. Н. Татищева и Н. М. Карамзина и даже журнал «Современник», доходивший до семинарской молодежи. Все более отрешаясь от возможности духовной карьеры и поступления в Духовную академию, В. О. Ключевский в декабре 1860 г. подал прошение об увольнении из семинарии в связи со «слабым здоровьем» и «стеснительными домашними обстоятельствами». После нелегкой борьбы с ректором он только в марте 1861 г. получил увольнительное свидетельство, так и не окончив семинарский курс обучения, и в конце июля выехал в Москву с твердым намерением поступить на историко-филологический факультет Московского университета. Дядя юноши, священник И. В. Европейцев, поддержал его материально, вручив на дорогу 100 рублей.

Сохранившиеся обширные письма В. О. Ключевского к Европейцевым, написанные им сразу же после приезда в Москву, очень любопытны для понимания облика глубокого провинциала, впервые в свои 20 лет выехавшего из Пензы в дальнюю дорогу и потрясенного всем увиденным². До Владимира в то время нужно было ехать на лошадях, а далее до Москвы была проложена уже железная дорога.

¹ Ключевский В. О. Письма. Дневники. Афоризмы и мысли об истории. М. 1968. С. 394.

² Там же. С. 13—19.

В. О. Ключевский описывал буквально все — глухой муромский лес, дороговизну извозчиков и в трактирах на трактах, очарование города Владимира, восторг от железной дороги — «чудо-юдо морское», которое катится по рельсам без толчков с немыслимой скоростью (30 верст в час!), наконец, благоговение перед Москвой — Кремлем, Царь-колоколом, Царь-пушкой, Иваном Великим, огромным множеством улиц, и прелесть московских калачей и саек. Тут же В. О. Ключевский скрупулезно сообщал о ценах, своих расходах и необходимых тратах.

В университет 16 вступительных экзаменов В. О. Ключевский сдал успешно; вскоре начались занятия, и письма в Пензу изменили свою тональность. Провинциал быстро терял свою восторженность и думал больше о сущности бытия, истории, философии и литературе, христианстве и либеральности, идеализме и Фейербахе, о государстве и т. п. Судя по обширности этих писем, можно подумать, что В. О. Ключевский свои мысли больше доверял старым друзьям-семинаристам и с осторожностью входил в среду университетского студенчества. Он постепенно становился москвичом; не теряя в дальнейшем связи с Пензой, он так туда никогда затем и не приезжал. Правда, в семинарии помнили его, а много позднее, в апогей всероссийской известности, даже им гордились.

Научные интересы В. О. Ключевского в университете определились довольно быстро. Среди лекторов — «знаменитых личностей» — он выделял профессора С. В. Ешевского, читавшего курс всеобщей истории, но с первого же курса сблизился с другой «знаменитой личностью» — Ф. И. Буслаевым, преподававшим историю древнерусской словесности, посещал его дом, под его руководством изучал рукописи в Синодальной библиотеке и, по имеющимся данным, до конца 1863 г. считал себя не историком, а филологом. Именно Ф. И. Буслаев подводил В. О. Ключевского к мысли о первостепенной роли народа в истории. Обстановка 1860-х гг., когда особенно ярко выступала передовая демократическая общественность, тем более способствовала утверждению В. О. Ключевского в этой мысли. В бурных событиях студенческой жизни в эти годы он старался занимать позицию «неучастия», но этот нейтралитет не был абсолютно безучастным. Известно, что несколько позднее он поддерживал знакомство с Н. А. Ишутиным и членами его кружка. В. О. Ключевский стремился сам определить свои общественные позиции, и в этом отношении показательно его отношение к еще одной «знаменитой личности» — С. М. Соловьеву, чьи лекции по русской истории он слушал уже на первом курсе. Судьбе было угодно так сложить обстоятельства, что спустя почти 20 лет В. О. Ключевский по праву стал преемником С. М. Соловьева на кафедре русской истории. Но, с начала университетского курса также увлекаемая лекциями С. М. Соловьева, В. О. Ключевский, по-видимому, внутренне не испытывал тяготения к концепции лектора об этапах развития государства. В этой «государственной» схеме В. О. Ключевского безусловно привлек так называемый географический фактор; но С. М. Соловьев этот фактор рассматривал неизменно влиявшим на «ход событий», а его молодой слушатель искал к нему иные подходы. Показательно, что, готовя под руководством Ф. И. Буслаева обширный реферат «Сравнительный очерк народно-религиозных воззрений», В. О. Ключевский основное внимание уделил влиянию природы на религиозные верования. Эта мысль очень четко была углублена затем руководителем — «но главное, в зависимости от условий и обы-

чаев самой жизни народа»¹. Бурное развитие этнографических исследований, основанных на многочисленных экспедиционных работах в разных областях страны, во второй половине XIX в., в свою очередь, не могло не оказать влияния на упрочение общественных и научных взглядов В. О. Ключевского.

В конце концов студент В. О. Ключевский склонился не к филологическим, а к историческим изысканиям и под официальным руководством С. М. Соловьева завершил дипломную работу (тогда — кандидатскую) на тему «Сказания иностранцев о Московском государстве». Это сочинение имело одну особенность. В. О. Ключевский, демонстрируя свое умение источниковедческого анализа, помимо описания собственно государства и его атрибутов (царский двор, войско, управление и т. п.), как они представлялись иностранным наблюдателям, значительную часть своей работы посвятил «виду» страны и ее климату, народонаселению, городам, сельскому и иным отраслям хозяйства. После очень высокой оценки сочинения и рекомендации его к печати в конце 1864/65 учебного года В. О. Ключевский был оставлен при кафедре на два года для подготовки к профессорскому званию и написанию магистерской (современной кандидатской) диссертации. Тема ее была определена С. М. Соловьевым — «Жития святых как исторический источник». Известно, что эта тема интересовала и Ф. И. Буслаева. Под пером В. О. Ключевского эта, казалось бы, узко источниковедческая и связанная с богословием тема получила неожиданную интерпретацию. Автор, опять же демонстрируя свое умение работать над источниками, основное внимание сосредоточил на истории хозяйственного освоения земель в связи с историей монастырей, а не на жизнеописании их основателей. В своем исследовании В. О. Ключевский впервые задался мыслью исследовать историю колонизации на Восточноевропейской равнине и сделал первый шаг к созданию своего концепционного взгляда на основу исторического процесса в России. Так самой направленностью работы он отошел от официальной агиографии, которая придавала «житиям» важнейшую роль в религиозной пропаганде. Нет оснований считать В. О. Ключевского человеком неверующим. В одном афоризме он отразил свое отношение к религии: «христианство — религия любви; здесь сказано все — и сущность, и история». Но вместе с тем в его архиве сохранились рукописные заметки, особенно относящиеся к первым годам XX в., с очень резкими характеристиками высшей церковной иерархии. «На Западе церковь без бога, в России бог без церкви», — записывал В. О. Ключевский², считая духовенство туневядным сословием. Будучи же профессором Духовной академии, он вел себя в отношении этой иерархии всегда очень осторожно и в своих лекциях и произведениях старался ее не затрагивать. Как объективный исследователь он, хотя и очень дипломатично, критически подходил к оценке достоверности сведений «житий» о жизни «святых», что, конечно, не могло не отразиться на развитии антиклерикальных тенденций в науке. Много позже в частном разговоре на им же самим поставленный вопрос: «Какая разница между „житием святого“ и „биографией“?» — дал ядовитый

¹ Зимин А. А. Формирование исторических взглядов В. О. Ключевского в 60-е годы XIX в. // Исторические записки. М., 1961. Т. 69. С. 188.

² Ключевский В. О. Письма. Дневники. Афоризмы и мысли об истории. М., 1968. С. 342, 387.

афористический ответ: такая же, «которая существует между иконой и портретом»¹.

Работа над «Житиями» В. О. Ключевского затянулась на шесть лет, и после истечения формального срока двухгодичного пребывания в «аспирантуре» перед В. О. Ключевским возник первый и единственный в его служебной карьере сложный момент. Необходимо было найти постоянную работу. Помог С. М. Соловьев, читавший курс лекций в московском Александровском военном училище. В 1867 г. В. О. Ключевский получил там место репетитора, а через четыре года заменил своего руководителя в чтении курса новой всеобщей истории. Следует отметить, что в военных училищах после военной реформы было обращено большое внимание не только на узкопрофессиональную, но и на общеобразовательную подготовку будущих офицеров, и В. О. Ключевский проработал там 16 лет.

Так началась преподавательская деятельность В. О. Ключевского, прежде всего в огромной степени способствовавшая популярности ученого. В 1870 г. он завершил наконец свою магистерскую диссертацию. Осенью 1871 г. «Жития святых» были опубликованы отдельным изданием, и к защите диссертации В. О. Ключевский вместе с ранее вышедшими «Сказаниями иностранцев» имел уже два серьезных исследования. 26 января 1872 г. «Жития святых» были представлены на суд ученого совета историко-филологического факультета Московского университета. Диссертация была успешно защищена, и В. О. Ключевский получил степень магистра. Чуть раньше, в середине 1871 г., перед В. О. Ключевским неожиданно возникла новая возможность преподавательской деятельности. Речь шла о вакантной кафедре русской гражданской истории церковно-исторического отделения Московской духовной академии, находившейся в Сергиевом Посаде (ныне г. Загорск). Семинарское «происхождение» и работа над «Житиями святых», по-видимому, сыграли свою положительную роль, и совет академии избрал В. О. Ключевского приват-доцентом. Служба В. О. Ключевского в академии продолжалась 36 лет — до конца 1906 г., больше чем в каком-либо ином учебном заведении. Но и этим в те годы лекторская карьера В. О. Ключевского не ограничилась. Летом 1872 г. по просьбе своего друга В. И. Герье, руководившего Московскими Высшими женскими курсами, он взял на себя чтение там лекций. Эта деятельность продолжалась 15 лет — вплоть до правительственного закрытия курсов. Наконец, осенью 1879 г. в связи с тяжелой болезнью С. М. Соловьева В. О. Ключевский был приглашен Московским университетом читать курс российской истории. Вскоре же после смерти С. М. Соловьева В. О. Ключевский стал его преемником по кафедре, а с ноября 1882 г. — профессором и Московского университета, и Духовной академии.

Таким образом, на протяжении 1870-х гг. В. О. Ключевский стал лектором трех высших учебных заведений Москвы и военного училища и имел возможность широко проявить свой преподавательский дар. Сохранившиеся воспоминания о В. О. Ключевском и его произведении позволяют понять, в чем была суть этого дара, снискавшего ему необычайную популярность среди студенческой молодежи. Также определенно можно считать, что лекционное дарование было лишь первоначальным условием успеха на пути к всероссийской известности.

Сохранилось много свидетельств о лекционном мастерстве

¹ Нечкина М. В. Василий Осипович Ключевский. М., 1974. С. 138.

В. О. Ключевского, музыке его речи, богатстве интонаций и фразировке, артистическом перевоплощении на кафедре в зависимости от рассказываемого сюжета, удивительности русского языка и чеканности выражений. При всем этом В. О. Ключевский говорил всегда неторопливо, что позволяло студентам записывать лекции почти слово в слово. Именно этим объясняется большое количество литографий курса русской истории, читавшегося В. О. Ключевским, которые издавались самими студентами и широко ходили «по рукам». Сохранились тетради с записями лекций, и можно сразу и безошибочно определить их автора. Над художественностью изложения и своим артистическим поведением на кафедре, к тому же при всей эмоциональности натуры сдержанным, В. О. Ключевский много работал, вспоминая опыт своих учителей. Исключительная память позволяла ему вести лекцию, почти не заглядывая в свои записки, лежавшие на кафедре, хотя сама лекция всегда была написана заранее. Просматривая оригиналы этих лекций, можно видеть, как В. О. Ключевский работал над написанным текстом, заменял отдельные слова и обороты речи. При сравнении же лекций 1870-х и 1880-х гг. бросается в глаза стремление автора к краткости и четкости текста, стремление избежать растянутости в изложении. Обязательным «элементом» лекций были афоризмы и экспромты. В. О. Ключевский был великим мастером экспромтов, которые «неожиданно» выпускались в свет и на лекциях, и в повседневной жизни, но готовились заранее. В уже упоминавшемся издании писем и дневников В. О. Ключевского приведены многие сотни таких афоризмов, созданных на досуге или проходя на самые разнообразные случаи жизни и исторические события и сюжеты. Случалось, В. О. Ключевский на лекциях бросал «либеральные» обороты типа «князя-разбойники» или что-либо в этом роде. Со временем он становился опытнее и осторожнее, но, избываясь от дешевых эффектов, вовсе не терял успеха у слушателей. «Легкое дело — тяжело писать и говорить, но легко писать и говорить — тяжелое дело», — подытожил однажды В. О. Ключевский в очередном афоризме свою работу над изящной и художественной формой лекций. Не случайно Академия наук, избрав в 1900 г. В. О. Ключевского своим действительным членом, в 1908 г. избрала его почетным членом по разряду изящной словесности.

Умение В. О. Ключевского заворожить аудиторию, конечно, объяснялось не только (да и не столько) лекционным даром. Огромную роль в этом имела образность воплощения в эпоху, что было невозможно без знания материала по самым разнообразным вопросам. (В частности, еще в 1867 г. В. О. Ключевский участвовал в издании перевода популярной книги П. Кирхмана, вышедшей на русском языке под названием «История общественного и частного быта». В эту книгу В. О. Ключевский включил разделы чисто этнографического характера с описанием посуды, строительного дела, обработки овечьей шерсти, льна и конопли у русских.) Эта образность и документальная точность даже мелочей производили, по всей вероятности, особое впечатление. Художница Е. Д. Поленова в своем дневнике отразила непосредственное восприятие услышанного: «Сейчас возвратилась с лекции Ключевского. Какой талантливый человек! Он читает теперь о древнем Новгороде и прямо производит впечатление, будто это путешественник, который очень недавно побывал в XIII—XIV вв., приехал и под свежим впечатлением рассказывает все, что там делалось у него на глазах, и как живут там люди, и чем они интересуются, и чего добиваются, и какие они там...»¹.

¹ Нечкина М. В. Указ. соч. С. 309.

Студенческая молва разнесла за стены учебных заведений по Москве славу знаменитого лектора задолго до получения В. О. Ключевским профессорского звания. 29 сентября 1882 г. в актовом зале университета В. О. Ключевский с блеском защитил докторскую диссертацию «Боярская дума древней Руси». В то время защиты проводились не только торжественно, но и имели некоторую театральность, которая, в частности, создавалась собиравшимися представителями прессы, публикой, не имевшей прямого отношения к науке, а также чиновным начальством Москвы. Защиты диссертаций были публичными диспутами. Импровизированный характер этим диспутам придавал установленный порядок защиты, при котором официальные оппоненты предварительно не знакомили диссертанта со своими отзывами, и он должен был без подготовки парировать возражения. К тому же по сложившемуся обычаю оппоненту полагалось прежде всего говорить о недостатках, и лишь в заключение он суммировал свои положительные выводы. Присутствовавший на защите корреспондент газеты «Голос» писал о ней как об «истинном событии»: «Впечатление, произведенное диспутом г. Ключевского, было близко к восторженному энтузиазму. Знание предмета, меткость ответов, исполненный достоинства тон возражений — все это свидетельствовало, что мы имеем дело не с восходящим, а уже взошедшим светилом русской науки»¹.

Защита фундаментальной монографии «Боярская дума древней Руси» полностью отвечала афоризму самого В. О. Ключевского — «главные биографические факты — книги, важнейшие события — мысли». Дело заключалось не только в получении высшей ученой степени. В процессе работы над «Боярской думой» В. О. Ключевский продолжал разрабатывать свою концепцию исторического процесса в России. Отраженный в ранее опубликованных исследованиях интерес к хозяйственной жизни народа неизбежно приводил В. О. Ключевского к социальным проблемам, которые становились исследовательской необходимостью. Докторской диссертации была придана именно такая направленность. В «Боярской думе» автор обращался к изучению истории классов, и Боярская дума исследовалась как законодательное, конституционное учреждение с обширным политическим влиянием. По существу, в исследовании освещалась история господствующего класса — боярства и дворянства. Проблема социальной истории в 1880-х — начале 1890-х гг. занимала В. О. Ключевского более всего. Вслед за «Боярской думой» В. О. Ключевский создал специальный курс «История сословий в России», прочитанный им студентам и в виде литографии выпущенный в 1887 г. Одновременно он завершил и опубликовал в 1885 г. два больших исследования «Происхождение крепостного права в России» и «Подушная подать и отмена холопства в России». Чуть позже, в 1890—1892 гг., в журнале «Русская мысль» В. О. Ключевский опубликовал еще одну большую работу, посвященную социальной тематике. — «Состав представительства на земских соборах древней Руси». Все эти публикации, свидетельствующие о широте теоретических взглядов автора, отвечали общественным запросам своего времени. В России, вступившей на путь бурного развития капитализма, остро дебатировались проблемы ее прошедшей и текущей истории. В середине 1890-х гг. друзья и почитатели Ключевского усиленно просили опуб-

¹ Платонов С. Ф. Памяти В. О. Ключевского // В. О. Ключевский. Характеристики и Воспоминания. М., 1912. С. 94, 95.

ликовать курс лекций по истории России, который он уже много лет читал студентам. Можно полагать, что В. О. Ключевский лучше чем кто-либо иной понимал сложность такой задачи, так как в таком издании он должен был обобщить свои теоретические взгляды, представить и доказать свою концепцию исторического процесса в России. Эта чисто научная сложность обобщения огромного материала усугублялась необходимостью учитывать взгляды и позиции различных политических сил в стране. В. О. Ключевский на себе испытал политический барометр, каким являлось студенчество. В 1894 г. он вынужден был прочитать официальный доклад памяти скончавшегося царя Александра III. В. О. Ключевский был председателем Общества истории и древностей российских при Московском университете, а покойный царь был «покровителем» этого общества. При всем своем умении выступать В. О. Ключевский не мог «угодить» аудитории и был осужден студенчеством, возмущившимся попыткой своего любимого профессора «объективно» оценить значение Александра III. С другой стороны, на протяжении всех 1890-х гг. В. О. Ключевского старалась привлечь на свою сторону официальная власть, чего он ни в коем случае не хотел. Правда, еще повелением Александра III В. О. Ключевский был отправлен на Кавказ преподавать новейшую историю Западной Европы и России 20-летнему царевичу Георгию, который, будучи болен туберкулезом, жил со своей свитой в Абастумане. Но в этом повелении царя не было чего-либо неординарного; подобные повеления имели служебный характер, и ранее они выполнялись в отношении царских детей и С. М. Соловьевым и Ф. И. Буслаевым. Значительные сложности возникли у В. О. Ключевского, когда царский двор попытался его принудить написать книгу об умершем Александре III. В. О. Ключевскому удалось избежать этого.

Итак, перед ученым стояла трудная задача, не поступаясь своими теоретическими взглядами, не поколебать доверия демократических и либерально-буржуазных сил и избежать нападок со стороны официальных кругов; к тому же ему приходилось учитывать и возможные позиции духовного ведомства, с которым он был связан десятилетиями как профессор его академии. Он прекрасно понимал, что изданный «Курс русской истории» будет иметь широкое звучание, и в 1899 г. согласился лишь на публикацию «Краткого пособия по русской истории» в качестве «частного издания для слушателей автора». О необходимости такого сводного учебного пособия можно судить по шести его изданиям на протяжении 10 лет. Эта же необходимость тем более свидетельствовала о своевременности подготовки обобщающего курса лекций. В 1902—1903 гг. В. О. Ключевский наконец приступил к подготовке «Курса» к печати и сразу же вынужден был убедиться в угрозе потерять контроль над его судьбой. Эта угроза состояла в том, что в 1902 г. министр финансов С. Ю. Витте на основе хорошо подобранных литографических записей лекций В. О. Ключевского без его ведома издал в Петербурге для членов царствующего дома небольшим тиражом подобие «Курса». В. О. Ключевскому приходилось торопиться.

Издание «Курса русской истории» имело определяющее значение в судьбе имени ученого. Не будь «Курса», его лекторское дарование осталось бы уделом мемуарных воспоминаний, а его опубликованные исследования ставили автора лишь в один ряд с наиболее крупными историками конца XIX — начала XX в., но не более того. «Курс русской истории», как бы его ни оценивали в прошлом, остается памятником русской исторической мысли, содержащим в себе

концепцию исторического развития России¹. В этом основное значение «Курса русской истории».

При подготовке «Курса» к печати В. О. Ключевский решительно переделывал литографические оригиналы своих лекций, снимал целые абзацы, вписывал новые, редактировал текст, вносил в него уточнения. По существу, вводные, теоретические лекции к «Курсу» были им написаны заново. Первая часть «Курса» вышла в свет в 1904 г., вторая — в 1906 г., третья — в 1908 г. и четвертая — в 1910 г. Читательский спрос на издание был огромный, и параллельно с изданием отдельных частей происходили переиздания уже вышедших. Пятую, заключительную часть «Курса» В. О. Ключевский предполагал довести до середины XIX в., до эпохи «великих реформ», но окончательно скомпоновать и отредактировать ее не успел — 12 мая 1911 г. на 71-м году он скончался.

Почти десять последних лет жизни В. О. Ключевский посвятил подготовке и изданию «Курса». В 1901 г. после своего 60-летия он, по правилам того времени, подал в отставку, но преподавание в университете и Духовной академии было за ним оставлено. Либеральная позиция историка, четко определившаяся в начавшейся революции 1905 г., усложнила положение В. О. Ключевского в Духовной академии. Привлеченный к работе комиссии по делам печати и учреждения Государственной думы, В. О. Ключевский выступал за буржуазные принципы свободы печати (в частности и от духовной цензуры), настаивал на законодательном статуте Думы и бессловесном порядке выборов в нее. В марте 1906 г. от партии кадетов он попытался баллотироваться в Сергиевом Посаде в I Государственную думу, но избиратели его не поддержали. В результате с конца 1905 г. у В. О. Ключевского начались открытые столкновения с руководством Духовной академии и реакционно настроенной профессурой. Через год, в сентябре 1906 г., В. О. Ключевский подал в отставку и, несмотря на многолюдные сходки студентов, требовавших продолжения его преподавания, был оставлен только в звании почетного члена академии. Но в это же десятилетие В. О. Ключевский оказался лектором еще одного учебного заведения — Училища живописи, ваяния и зодчества. Общение с молодыми художниками помогло ученому проникаться в художественные облики исторических деятелей и создавать жанровые сцены. Среди его слушателей там было немало будущих выдающихся художников, и сохранилось даже мнение, что В. А. Серов создал свой знаменитый эскиз «Петр I» под впечатлением лекций В. О. Ключевского о Петре I и его эпохе.

* * *

Концепция исторического процесса в России, отраженная В. О. Ключевским в «Курсе русской истории», противостояла взглядам государственной школы русских историков второй половины XIX в., концентрировавших первостепенное внимание на роли государства в истории общества и проблеме его управления часто в чисто правовом аспекте. Но не только в этом заключалось значение «Курса». Все предшествовавшие В. О. Ключевскому русские историки, изда-

¹ Хронологически последняя трактовка теоретических основ «Курса», сильных и слабых его сторон содержится в Предисловии и в Заключениях к первым пяти томам издаваемого с 1987 г. девятитомного собрания Сочинений В. О. Ключевского.

вавшие труды с систематическим изложением истории России, придерживались фактологического или проблемно-фактологического изложения. Весь огромный опыт лекционной деятельности помог В. О. Ключевскому порвать с этой традицией. Его «Курс» был первой и, к сожалению, до настоящего времени единственной попыткой проблемного подхода к изложению российской истории. Кроме того, опыт чтения курсов и по всеобщей истории привел его к отрицательному отношению к устоявшемуся взгляду об исключительно самобытном характере исторического пути России. В. О. Ключевский ставил вопрос об общен историческом процессе, в котором каждая «местная» история имеет своеобразие, но она «дает готовый и наиболее обильный материал для исторической социологии»¹, так как «успехи людского общежития, приобретения культуры или цивилизации... созданы совместными или преемственными усилиями всех культурных народов, и ход их накопления не может быть изображен в тесных рамках какой-либо местной истории...»². Скептик по натуре и весьма осторожно ученым, В. О. Ключевский не видел возможности в ближайшем будущем определить закономерности исторического процесса, но сама постановка проблемы об общих законах истории человечества весьма показательна для уровня его научного видения.

Теоретическое построение В. О. Ключевского опиралось на триаду: «человеческая личность, людское общество и природа страны — вот те три основные исторические силы, которые строят людское общежитие»³. При таком проблемно-обобщающем подходе теперь уже не только слушатель лекций, но и читатель задумывался над историческими явлениями и начинал самостоятельно мыслить. Географическая среда, по мысли В. О. Ключевского, была исторической необходимостью, влиявшей на особенности местной истории, но «сохранением истории, как отдельной науки, специальной отрасли научного знания, служит исторический процесс, т. е. ход, условия и успехи человеческого общежития или жизни человечества в ее развитии и результатах»⁴. В этом процессе на первый план выдвигалась историческая личность народа как основной предмет изучения его истории, и человеческая личность, *составляющая общество*. Эта общая теоретическая посылка в напряженное предреволюционное время и в период революции 1905 г. не могла не влиять на читателя тем более потому, что В. О. Ключевский подводил его к мысли о практическом значении изучения исторического прошлого, которое «своими конечными выводами подходит вплоть к практическим потребностям текущей минуты...»⁵. Заканчивая вторую вводную лекцию, В. О. Ключевский акцентировал внимание читателя на его долге: «Определяя задачи и направление своей деятельности, каждый из нас должен быть хоть немного историком, чтобы стать сознательно и добросовестно действующим гражданином»⁶. Несколькими же страницами ранее он формулировал задачу и «общества»: «Идеал исторического воспитания народа состоит в полном и стройном развитии всех элементов общежития и в таком их соотношении, при котором каждый элемент развивается и действует в меру своего

¹ Ключевский В. О. Сочинения в девяти томах. М., 1987. Т. I. С. 36.

² Там же. С. 35.

³ Там же. С. 40.

⁴ Там же. С. 34.

⁵ Там же. С. 60, 61.

⁶ Там же. С. 62.

нормального значения в общественном составе, не принижая себя и не угнетая других. Только историческим изучением проверяется ход этого воспитания»¹. По дневникам В. О. Ключевского видно, что он боялся революции, и в приведенном предостережении просвещает призыв к классовому миру; и вместе с тем остается в силе тезис о необходимости «исторического воспитания народа» как условия его бытия.

Разумеется, В. О. Ключевский не придерживался марксистского подхода к формационному социально-экономическому пониманию исторического процесса. Свою концепцию он строил на «взаимодействии исторических сил», каждое из которых в разные моменты истории в силу конкретных обстоятельств может приобрести определяющее значение. При таком чисто эклектическом сочетании этих сил — экономических, социальных, политических — В. О. Ключевский отдавал приоритет географической среде России, в условиях которой происходила борьба трудовой деятельности человека с природой и в зависимости от которой создавались различные сочетания «общественных элементов»². Именно отсюда вытекал афоризм В. О. Ключевского: «История России есть история страны, которая колонизируется»³. При всей глубине наблюдения над этим явлением, имевшим огромное значение в хозяйственном освоении колоссальных территорий, политическом упрочении в составе государства вновь вошедших территорий, создании сложного этнического состава страны, становившейся с веками все более многонациональной, тем не менее нельзя не признать, что сами по себе миграционные передвижения населения никогда не определяли в историческом процессе социально-экономических явлений. В этом В. О. Ключевский явно ошибался, так как проявление разных «сил» определялось совсем иными — социально-экономическими причинами в основе своей.

* * *

Наследие В. О. Ключевского начало обсуждаться и анализироваться в разных аспектах буквально сразу же после его смерти. Это изучение продолжается до настоящего времени. Внимание всех историографов, писавших о В. О. Ключевском, было направлено на его общетеоретические положения и его оценки социальных и экономических явлений, которые он после народных колонизационных движений ставил в число ведущих факторов истории.

Понимание В. О. Ключевским проблемы личности в истории никогда не представлялось исследователям отдельной проблемой его творчества. Обычно лишь подчеркивается умение В. О. Ключевского создавать блестящие по форме личностные характеристики, как бы дополняющие «Курс русской истории», и отдельные произведения.

Между тем проблема личности в истории занимала у В. О. Ключевского особое, причем вполне самостоятельное место в его творчестве. Как уже указывалось, человеческая личность представлялась ему первостепенной силой в «людском общежитии». В. О. Ключевский подходил к проблеме личности вне принадлежности ее к тем или иным социальным слоям общества с их классовыми интересами. Личность он рассматривал прежде всего в проявлении свойств и

¹ Ключевский В. О. Сочинения в девяти томах. С. 60.

² Там же. С. 49.

³ Там же. С. 50.

стремлений, которые отражаются в людских отношениях или вызываются этими отношениями. «Без общих понятий и целей, без разделяемых всеми или большинством чувств, интересов и стремлений люди не могут составить прочного общества; чем больше возникает таких связей и чем больше получают они власти над волей соединяемых ими людей, тем общество становится прочнее. Уставаясь и твердея от времени, эти связи превращаются в нравы и обычаи»¹, — писал он, выводя далее отсюда понятие исторического преемства материального и духовного достояния от поколения к поколению. Именно в этом ракурсе В. О. Ключевский подходил к понятию «историческое воспитание» народа.

Художественная одаренность позволяла В. О. Ключевскому проникать в тайники человеческой личности как в ее частной, так и в общественной жизни. Целенаправленность и многоплановость такого проникновения сочеталась у него со стремлением к психологическому личностному анализу. На лекциях В. О. Ключевский только отчасти мог проявить свои возможности художественного изображения исторических явлений и их участников. Воспоминания Ф. И. Шаляпина позволяют значительно полнее представить артистическое перевоплощение историка. По просьбе певца В. О. Ключевский помогал ему искать сценический образ царя Бориса в опере «Борис Годунов». Ф. И. Шаляпин подробно описал, как в их беседах В. О. Ключевский сам играл князя Василия Шуйского; он был поражен именно актерским перевоплощением — «тонкий художник слова, наделенный огромным историческим воображением, он оказался и замечательным актером»².

Однако свой дар художника и актера В. О. Ключевский использовал вовсе не для того, чтобы создать у слушателей и читателей только образ того или иного исторического лица. В этом у него предшественники. Так, Н. М. Карамзин уделял много внимания личностным характеристикам и отчасти благодаря тому снижал у своих читателей популярность. Н. И. Костомаров издал выдержавшую много изданий «Русскую историю в жизнеописаниях ее главнейших деятелей». Она состояла из отдельных очерков, посвященных самым разнообразным деятелям исторического прошлого, начиная с киевского князя Владимира. В. О. Ключевский ставил перед собой иную задачу. Он не стремился подобными жизнеописаниями иллюстрировать историю. По мысли В. О. Ключевского, для понимания исторического процесса необходимо было проследить типы людей прошлого и воссоздать их образы: «...из отдельных лиц составляются постоянные союзы, переживающие личные существования и образующие более или менее сложные *исторические типы*»³. Таким образом, в создании этих типов проявлялась вполне определенная позиция ученого в понимании и трактовке истории. Стремясь к созданию таких типов, В. О. Ключевский постоянно имел в виду облик человека и его роль в обществе. О подходе ученого к таким характеристикам можно судить по лекции, которую он прочитал в Училище живописи и ваяния. В настоящем издании эта лекция открывает всю галерею исторических портретов, написанных В. О. Ключевским. В ней он обращал огромное внимание на обстановку и все аксессуары бытовой жизни человека, свойственные той эпохе, в которой он жил.

¹ Ключевский В. О. Сочинения в девяти томах. Т. 1. С. 41.

² Нечкина М. В. Указ. соч. С. 312—314.

³ Ключевский В. О. Сочинения в девяти томах. Т. 1. С. 41.

В первой же части своего «Курса русской истории» В. О. Ключевский попытался нарисовать облик русского народа. Эта характеристика вызывала в недавнем времени серьезную критику со стороны видных советских ученых М. В. Нечкиной и М. Н. Тихомирова. Критики считали созданный образ «великоросса» приниженным, лишенным, в частности, героических черт, проявившихся в борьбе с иноземными завоевателями. К сожалению, они не заметили основного замысла В. О. Ключевского — показать сложение народа в сложных условиях освоения новых земель и его взаимоотношений с финским населением. В. О. Ключевский, очерчивая психологические черты великоросса и пытаясь объяснить их влиянием природы, все внимание сосредоточил на главном — хозяйственном быте крестьянина. До настоящего времени историки не так много уделяли места взаимоотношению человека с природой, а сейчас становится очевидным, что идея В. О. Ключевского отражала непреходящую проблему. Не сложно заметить, что при создании образа «великорусского племени», расселившегося в междуречье верхнего течения Волги и Оки, В. О. Ключевский опирался на уже многочисленные этнографические описания второй половины XIX в. Он писал о сложении говора, о народных поверьях, характере освоения новых территорий и хозяйственном быте. «В Европе нет народа менее избалованного и притязательного, приученного меньше ждать от природы и судьбы и более выносливого», — писал В. О. Ключевский (см. ниже, с. 57), а потому, продолжал он, «ни один народ в Европе не способен к такому напряжению труда на короткое время, каков может развить великоросс» (см. ниже, с. 60). Особенности природы и хозяйственного быта, по мнению В. О. Ключевского, обусловили и психический склад великороссов; он «мыслит и действует, как ходит. Кажется, что можно придумать кривее и извилистее великорусского проселка? Точно змея проползла. А попробуйте пройти прямо: только проплутаете и выйдете на ту же извилистую тропу» (см. ниже, с. 62) — так художественно выразительно заканчивал В. О. Ключевский свой опыт характеристики великоросса.

Далее, будучи чуждым всякому шовинизму, В. О. Ключевский объективно оценивал взаимоотношения расселившихся на территориях междуречья Волги и Оки русских крестьян и финнов. В. О. Ключевский не только рассматривал процесс мирной, на бытовой основе, ассимиляции финского населения «русью», но и обратное следствие этого процесса — влияния финнов на «русь», считая, что и то и другое составляет «этнографический узел вопроса о происхождении великорусского племени» (см. ниже, с. 44). Мысль о взаимовлиянии территориально и хозяйственно соседствующих этнических элементов до настоящего времени имеет огромное значение при исследовании всего русского колонизационного процесса, который сам В. О. Ключевский рассматривал основным в истории России.

Огромное значение в создании типологических портретов В. О. Ключевский придавал морально-этическому облику человека. В этом отношении особое место в творчестве В. О. Ключевского занимают две его работы — «Значение преподобного Сергия для русского народа и государства» и «Добрые люди древней Руси». Обе эти работы не панегирики давно ушедшим из жизни людям, а напоминание живущим о вневременных общечеловеческих добродетелях и их значении в нравственном воспитании общества. Обращаясь к образу Сергия Радонежского, В. О. Ключевский затрагивал основу жизни народа — веру в самого себя даже в самые трагические моменты истории. Сергей Радонежский был крупной политической и

церковной фигурой своего времени. Но В. О. Ключевский почти не касается этой стороны его биографии. Историческое значение Сергия В. О. Ключевский видел в том, что он сумел вдохнуть в нравственно надломленный иноземным господством народ то нравственное возрождение, которое стало верованием поколений, созидавших затем свое государство. В этом художественно созданном образе-символе отражается и значение народа, когда он чтит память своего возрождения. «Одним из отличительных признаков великого народа служит его способность подниматься на ноги после падения», — писал В. О. Ключевский (см. ниже, с. 65). Следует отметить, что в данном случае он явно преувеличивал значение монастырей в хозяйственной колонизации Заволжья, что уже не раз с полным основанием отмечалось советскими исследователями (И. У. Будовиц, А. Д. Горский и др.); однако этот сюжет не был главным, а может быть, и вынужденным в рассматриваемой работе В. О. Ключевского, впервые прочитанной им на заседании московской Духовной академии, посвященном памяти Сергия Радонежского.

В другой работе—«Добрые люди древней Руси»—В. О. Ключевский проблемно как бы развивал мысль о значимости морального облика человека. Не случайно в первых же своих строках он ставил вопрос о значении слова «благотворительность». В. О. Ключевский противопоставлял деятельность государства или общества по помощи пострадавшим или неимущим импульсивному человеческому чувству сострадания, которое повседневно вторится не по каким-либо соображениям, а по призыву сердца и тем самым служит воспитанию окружающих. В. О. Ключевский создавал фактологические образы людей прошлого, обладавших этим чувством, и стремился на их примере отразить существовавшую на Руси норму практической духовно-нравственной педагогики, сохранившейся веками в обыденной жизни народа. Эту работу В. О. Ключевский специально подготовил в 1892 г. в связи с проводившейся тогда помощью в пользу пострадавших от неурожая в Поволжье.

В «Курсе русской истории» и в отдельных статьях В. О. Ключевский создал целую галерею многоликих образов царствовавших в России монархов. Делалось это им отнюдь не из-за верноподданнических побуждений. Внимательный читатель обратит внимание на сугубо личностные их оценки. В отечественной историографии без малого два столетия идет спор о личности Ивана Грозного. Его страшная деятельность объяснялась по-разному — патологией, дурным воспитанием, внутренней борьбой за трон, политической борьбой царя вместе с дворянством против боярства, т. е. феодальной аристократией; в последнее время упрочилось мнение о том, что все ужасы второй половины XVI в. были порождены террором диктатуры феодального класса (как дворянства, так и боярства) во главе с царем во имя утверждения самодержавия как политической системы, что отвечало взглядам и наклонностям самого Ивана IV. В. О. Ключевский в этом споре отказывался видеть в Иване IV политического деятеля, коль скоро он подчинил потребности государственной жизни капризу личного самовластья. Так В. О. Ключевский сводил разыгравшуюся трагедию страны к личным качествам правителя.

Своеобразной была и характеристика, которую дал В. О. Ключевский царю Алексею Михайловичу. Он очень интересно описал характер царя, создавая образ «добрейшего человека, славной русской души» (см. ниже, с. 114). В. О. Ключевский прекрасно умел «не договаривать» того, о чем не хотел говорить. В данном случае он сознательно из образа царя опускал все то, что свидетельствовало о

становлении самодержца, подавлявшего народные движения в середине XVII в., затем Крестьянскую войну под руководством С. Разина, свергнувшего патриарха Никона при его попытке противопоставить светской власти церковную. Все это мог сделать человек, обладавший отношением «пассивным характером». В. О. Ключевский писал о царе лишь в его частной и повседневной дворцовой жизни. Совсем не случайно лекцию об Алексее Михайловиче В. О. Ключевский посвящал и одному из его ближайших приближенных — боярину Ф. М. Ртищеву, о благотворительности которого он писал в статье «Добрые люди древней Руси». Опыт такого психологического анализа создавал, казалось, впечатление явной идеализации царя, если бы не одна оговорка автора: «Я готов видеть в нем. лучшего человека древней Руси, по крайней мере, не знаю другого древнерусского человека, который производил бы более приятное впечатление — но только не на престоле» (см. ниже, с. 114).

Долго и сложно складывался у В. О. Ключевского образ Петра I. До начала XX в. В. О. Ключевский развивал мысль С. М. Соловьева об исторической обусловленности деятельности Петра I как «вождя», почувствовавшего потребности народа и творившего свои преобразования совместно с народом. Правда, в отличие от С. М. Соловьева В. О. Ключевский был далек от панегирика и неоднозначно рассматривал итоги реформ Петра I, отмечая несоответствие между их замыслом и результатами. При этом, как видно из статьи «Петр Великий среди своих сотрудников», В. О. Ключевский интересно ставил вопрос о нравственно-воспитательном влиянии на окружающих и народ Петра I с его неослабным чувством долга и напряженной мыслью об общем благе. Однако в начале XX в. в «Курсе русской истории» В. О. Ключевский все более критически стал подходить к анализу реформ Петра I и их последствий для народа. Он писал о перенапряжении народных сил, срывании народного труда и жизни. В результате все более отчетливо проявлялась антимоноархическая и антидворянская общественная позиция В. О. Ключевского, а «Курс русской истории» все более приобретал социальную направленность. В. О. Ключевский верно подметил, что бюрократизация вела к массовому казнокрадству и иным должностным преступлениям, и изменял свой взгляд на окружающих Петра I; если ранее он видел в них сотрудников Петра I, то в «Курсе русской истории» они выступали в роли его дворцовых слуг. В этой связи В. О. Ключевский считал возможным высказать резко отрицательное отношение к самодержавию как политической системе. «Самовластие само по себе противно как политический принцип. Его никогда не признает гражданская совесть. Но можно мириться с лицом, в котором эта противостественная сила соединяется с самопожертвованием», — заключал В. О. Ключевский характеристику Петра I и его эпохи и как бы извиняя самодержца за его благие побуждения и стремления¹. Об изменении во взглядах В. О. Ключевского на Петра I можно судить и по его многочисленным афоризмам. Пожалуй, никому из царствующих особ он не уделял в них столько внимания, сколько Петру I, за самодурство, деспотизм, нежелание понимать народ ради достижения поставленных задач и т. п.

Переходя к преемникам Петра I, В. О. Ключевский ярко, даже с добродушной усмешкой описывал императрицу Елизавету Петровну, оставшуюся и на престоле «своенравной русской барыней

¹ Ключевский В. О. Сочинения в девяти томах. М., 1989. Т. 4. С. 203, 204.

XVIII в.», и с нескрываемым презрением относился к Петру III, «верноподданному прусскому министру на русском престоле», и его немецкому окружению, посыпавшемуся в Россию со времен Анны Иоанновны, «точно сор из дырявого мешка».

Значительно сложнее складывался у В. О. Ключевского образ Екатерины II. Еще в 1896 г., к столетию со дня ее смерти, В. О. Ключевский опубликовал большую статью «Императрица Екатерина II (1729—1796)». Быть может, вынужденная служебная близость в 1890-х гг. к царскому двору объясняет дипломатическую осторожность В. О. Ключевского в характеристике Екатерины II. В этой статье он обещал писать лишь о том, за что ее следует помнить, и больше обращался к психологическому восприятию обществом правления Екатерины II, о ее воздействии на умы современников проповедью новых идей свободы и просвещения, обеспечивавших ей популярность. Однако в читавшихся лекциях и в «Курсе русской истории» В. О. Ключевский иначе подходил к образу Екатерины II и не оставлял у слушателей и читателей сомнений в своем отношении к ней. Его замысел состоял в том, чтобы развенчать официально созданную апологетику «матери отечества» и показать ее истинную роль в апогей крепостничества. Поэтому прежде всего для него было важно объяснить черты складывавшегося характера Екатерины, которые во многом способствовали успеху в захвате власти и дальнейшем царствовании. В одном из афоризмов он отмечал: «Сердце Екатерины никогда не ложилось поперек дороги ее честолюбию»¹. Он был очень далек от какой-либо ее идеализации и невысоко ценил как политическую фигуру. Содержательно раскрывая жизненный путь и полученный опыт Екатерины, он показывал ее расчетливое умение держаться, отличное знание людей и умение ими пользоваться. Ярко и вместе с тем сдержанно он повествовал, как случайная «захватчица престола» двоедушно провозглашала высокие либеральные принципы, а на деле способствовала законодательному и фактическому упрочению дворянского господства и тем самым собственного положения как абсолютного монарха.

Путем раскрытия личности В. О. Ключевский создавал малопривлекательное полотно, на котором образы российских монархов запечатлевались в большей степени не только как обычные, но и исторически малопривлекательные люди. Неприятие Ивана IV, ирония над Алексеем Михайловичем, завуалированно отрицательное отношение к Екатерине II и только оправдание Петра I за личное мужество и самопожертвование — таково отношение В. О. Ключевского к самодержцам России, оставившим заметный след в истории государства. В набросках, не вошедших в «Курс русской истории», преемников Екатерины II — Павла I, Александра I и Николая I — он прямо называл чуждыми России людьми.

Познавательного интересно подходил В. О. Ключевский к знаменитому русскому дипломату и государственному деятелю XVII в. А. Л. Ордину-Нащокину и его младшему современнику фактическому главе правительства при царице Софье В. В. Голицыну. Их характеристики в «Курсе русской истории» понадобились В. О. Ключевскому для создания собирательных образов государственных деятелей накануне переломного момента в истории России, каким было время правления Петра I. Как бы развивая верную мысль о том, что идеи реформ Петра I утверждались уже во второй половине XVII в., В. О. Ключевский видел в А. Л. Ордине-Нащокине и В. В. Голицыне родоначальников типов государственных деятелей XVIII в.

¹ Ключевский В. О. Письма. Дневники. С. 385.

Одним из основных направлений в исследованиях В. О. Ключевского была история русской культуры. Эту проблему он рассматривал в органической связи с социальными изменениями в России и очень своеобразно подошел к оценке дворянской культуры в XVIII—XIX вв. Тут, пожалуй, в наибольшей степени проявились антидворянские взгляды историка. Следуя социальной по своему существу идее показать взаимосвязь между самодержавием, дворянством и крепостным правом, В. О. Ключевский свой талант направлял к одной цели — охарактеризовать систему дворянского воспитания, роль передовой французской литературы и психологическое восприятие дворянами ее идей в условиях крепостной действительности. Эту тему В. О. Ключевский раскрывал блестяще, с присущим ему остроумием, но — особенно в «Курсе русской истории» — крайне односторонне, доходя до гротеска. Он неоправданно отводил западноевропейскому влиянию определяющую роль в жизни дворянского общества, будто бы отрывавшему его от окружающей действительности, в результате чего дворяне становились пустыми людьми и принимали «ненормальные позы и необычную жестикуляцию». Этот общий вывод, не соответствующий ни поведению, ни психологии дворянства, тем более его разных по имущественному состоянию слоев, вступал в противоречие с отдельными произведениями В. О. Ключевского на ту же тему. В «Недоросле Фонвизина» он основное внимание уделял уровню образования в среде дворянского общества того времени, используя в качестве примера собирательные образы комедии Д. И. Фонвизина. В этом произведении В. О. Ключевский справедливо увидел прекрасный источник по истории XVIII в. Верно признавая комедию бесподобным зеркалом русской действительности, ученый отметил, что духовные запросы в среде дворянского общества находились на крайне низком уровне и идеи просвещения очень туго усваивались им. В других работах — «Евгений Онегин и его предки», где были очень образно воссозданы типологические биографии рядовых дворян с середины XVII в. до первой четверти XIX в., в анализе творчества М. Ю. Лермонтова («Грусть») сам В. О. Ключевский представлял разные типы дворянства того времени.

Обращение В. О. Ключевского к памяти А. С. Пушкина и Н. И. Новикова отражало его личностное глубокое уважение перед русским поэтом и поборником просвещения и науки. К творчеству Пушкина В. О. Ключевский обращался не один раз. В 1880 г. в речи на торжественном собрании в Московском университете в день открытия памятника великому поэту он обратил внимание присутствующих на А. С. Пушкина как историка, оставившего нам галерею исторических типов. Ключевскому принадлежит блестящая по форме фраза: «О Пушкине всегда хочется сказать слишком много, всегда наговоришь много лишнего и никогда не скажешь всего, что следует» (с. 426). В своих статьях об А. С. Пушкине он подчеркнул его глубокий интерес к истории, породивший «связную летопись нашего общества в лицах за 100 лет с лишком» (с. 399). В. О. Ключевский стремился придать обобщающий характер образам людей XVIII в., очерченным в различных произведениях А. С. Пушкина, объяснить условия, в которых они возникли, и на основе этих образов нарисовать дворянское общество того времени. Спустя 7 лет В. О. Ключевский, как указывалось, вернулся к герою А. С. Пушкина — Евгению Онегину и «анатомизировал» образы его предков; наконец, на торжественном заседании в Московском университете 26 мая 1899 г., посвященном столетию со дня рождения А. С. Пушкина, В. О. Ключевский

подчеркнул не только глубоко национальный характер творчества А. С. Пушкина, но и его значение в развитии мировой культуры, связывая деятельность гениального поэта с развитием русской культуры XVIII в. «Целый век нашей истории работал,— писал В. О. Ключевский,— чтобы сделать русскую жизнь способной к такому проявлению русского художественного гения» (с. 403).

В явной связи с этюдом о «Недоросле» находится и статья В. О. Ключевского «Воспоминание о Н. И. Новикове и его времени». Ключевский связывал эту сторону деятельности Новикова с состоянием просвещения в России во второй половине XVIII в. и видел в Н. И. Новикове редкий тип передового русского дворянина, посвятившего свой организаторский талант распространению в России просвещения путем издания сатирических журналов и книгоиздательства. Ключевский оставил в стороне деятельность Новикова как русского просветителя XVIII в., вовсе не ограничивавшегося только книгоиздательской деятельностью. Ведь Н. И. Новикову принадлежал целый ряд полемических статей и философских произведений, в которых была заложена прежде всего антикрепостническая, антидворянская идея.

В отличие от А. С. Пушкина, в котором В. О. Ключевский видел национального гения, М. Ю. Лермонтова он попытался представить всего лишь как тип своего времени, подобно одному из его героев — Печорину. В статье «Грусть» в плане излюбленного им психологического анализа он верно связал противоречивость творчества Лермонтова с условиями дворянского быта и среды, вызывавшими у поэта горькую досаду и чувство презрения к окружающему его обществу. Но далее В. О. Ключевский пытался доказать, что М. Ю. Лермонтов превратился в «певца личной грусти», сугубо индивидуалиста, в конце своего короткого жизненного пути подошедшего к примирению с «грустной действительностью», проникнутого христианским чувством смирения. Это мнение резко противоречит тому огромному общественно-политическому звучанию, какое имели произведения великого русского поэта.

* * *

Множество работ В. О. Ключевского свидетельствует о его постоянном внимании к истории исторической науки. В университете он читал специальные курсы по историографии, систематически выступал с анализом творчества своих непосредственных предшественников и старших коллег. В. О. Ключевский стремился проследить все этапы развития русской исторической науки и представить портреты ее выдающихся представителей. Советская историческая наука обогатилась огромным количеством трудов на эту тему, которые по аналитическому подходу и содержащемуся материалу не сравнимы с работами В. О. Ключевского¹. И тем не менее его наследие сохраняется до настоящего времени двойную ценность; с одной стороны, в нем отражены взгляды историка-профессионала конца XIX в. на немалый к тому времени путь, пройденный исторической наукой в России, а с другой стороны — благодарные воспоминания о лицах и учреждениях, способствовавших ее развитию; эти работы представляют собой своеобразные мемуары.

Историография представлялась В. О. Ключевскому не только узкоспециальной отраслью исторической науки. Он стремился пока-

¹ Подробный анализ историографических работ В. О. Ключевского см. в книге: Киреева Р. А. В. О. Ключевский как историк, русской исторической науки. М., 1966.

зять, что общественные явления влияли на развитие исторической мысли, с этой целью обращался к источникам по истории Руси даже XII—XIII вв. и, начиная с летописцев, намечал определенные этапы истории этой мысли. Тем самым В. О. Ключевский впервые в отечественной науке определял «взаимосвязь и зависимость исторического мышления от конкретных исторических условий и особенностей общественного развития страны»¹. При такой постановке вопроса В. О. Ключевский рассматривал историю исторической науки в органической связи с состоянием и изучением фонда исторических источников, известных в ту или иную эпоху, и воздавал должное ученым, особенно прославившимся в их выявлении (например, В. Н. Татищеву и М. В. Ломоносову). Тем самым В. О. Ключевский развенчал утвердившийся к тому времени тезис о первостепенной роли немецких ученых XVIII в. в критическом анализе отечественных исторических источников. Историкографические экскурсы постоянно сопутствуют у В. О. Ключевского изложению исторических явлений и событий в «Курсе русской истории», начиная с летописца Нестора. Наиболее же полно и подробно им была разработана историография второй половины XVIII в. Об этом можно судить по курсу лекций по историографии XVIII в.² По сути дела, этот курс представлял собой лишь конспект, и трудно судить о том, как В. О. Ключевский читал свои историографические лекции. В сохранившихся набросках и заметках В. О. Ключевский более определенно отражал стремления В. Н. Татищева и М. В. Ломоносова ивложить ход русской истории и резко критиковал немецкое засилье в Академии наук.

Обращаясь ко второй половине XVIII в., В. О. Ключевский прослеживал разные течения общественной мысли того времени и воздействие их на понимание российской истории («люборуссы», «стародумы», «сравнительно-апологетическое направление»). Он очень критически подходил к творчеству М. М. Щербатова и противопоставлял ему И. Н. Болтина, которому посвятил две специальные работы. В. О. Ключевский считал И. Н. Болтина одним из лучших мыслителей XVIII в., обладавшим огромной эрудицией. В работах о нем В. О. Ключевский прослеживал последовательное развитие русской исторической науки, начиная с первой половины XVIII в. Ключевский верно отметил роль И. Н. Болтина в развитии русского исторического знания, его стремление отразить своеобразие русской истории, отличавшейся от истории Западной Европы; «...его патриотическая оборона русской жизни превращалась в спокойное-сравнительное изучение русской истории, а такое изучение побуждало искать законов местной народной истории и тем приучало понимать закономерность общего исторического процесса» (с. 468, 469) — в таких словах писал В. О. Ключевский о И. Н. Болтине

Показательно, что наиболее критические оценки В. О. Ключевского относились к тем историкам того времени, которые в своих трудах отражали узкодворянские интересы (М. М. Щербатов, Екатерина II, позднее Н. М. Карамзин). В связи с исторической мыслью второй половины XVIII в. рассматривал В. О. Ключевский и творчество Н. М. Карамзина, которое он справедливо относил к консервативному направлению. Ключевский оспаривал основной тезис Карамзина о самодержавии как основе исторической жизни России; он писал о подмене им «логики исторического разума» назидательным морализированием при некритическом подходе к источникам³.

¹ Киреева Р. А. Указ. соч. С. 79.

² Ключевский В. О. Сочинения. М., 1959. Т. VIII.

³ Киреева Р. А. Указ. соч. С. 157—159.

В той или иной степени В. О. Ключевский касался взглядов множества историков XIX в. Наибольший интерес представляет его отношение к своим учителям — Ф. И. Буслаеву и С. М. Соловьеву.

Воспоминания В. О. Ключевского о знаменитом русском филологе Ф. И. Буслаеве, под руководством которого он занимался в Московском университете, просто и вместе с тем очень четко вскрывают значение Буслаева как крупнейшего ученого, поставившего в неразрывную связь развитие письменности и литературы на Руси с языком народа, с памятниками народного творчества. «Так рост языка приводился в органическую связь с развитием народного быта, а письменная литература — в генетическую зависимость от устной народной словесности», — писал Ключевский в своих набросках к статье о Ф. И. Буслаеве¹. В своей речи в 1897 г. В. О. Ключевский отмечал, что покойный ученый внес новое направление в науку, рассматривая язык народа как исторический источник.

Более чем кому-либо В. О. Ключевский уделил место в своих историографических работах С. М. Соловьеву. Дело заключалось не столько в уважительной памяти ученика к учителю, сколько в стремлении В. О. Ключевского показать в различных аспектах значимость С. М. Соловьева на определенном, причем уже прошедшем, этапе истории исторической науки. В. О. Ключевский, начиная со студенческих лет, никогда безоговорочно не был последовательным учеником С. М. Соловьева. В работах Соловьева Ключевского привлекала идея закономерного эволюционного исторического процесса, но он, как указывалось, в противовес рассмотрению преемственности лишь политических форм разрабатывал методологически иную концепцию исторического процесса. Еще в 1877 г. в своей журнальной статье «Двадцатипятилетие *Истории России* С. М. Соловьева», отмечая четвертьвековую дату начала выхода знаменитого труда, В. О. Ключевский так оценивал его значение: «В ряду писателей, предпринимавших труд написать историю России, С. М. Соловьева можно назвать первым, который с успехом попытался взглянуть на явления нашей истории просто и трезво»²; В. О. Ключевский противопоставлял С. М. Соловьева Н. М. Карамзину, который в своей попытке создать подобный труд, «руководясь эстетическими и моралистическими задачами историка, останавливался преимущественно на явлениях, поражающих чувство или воображение, и часто не знал, как опенить и куда девать факты, в которых оказывались самые сильные биения пульса народной жизни. Много читавший и изучавший, Карамзин обо многом недостаточно размышлял»³.

Свою преподавательскую карьеру в Московском университете В. О. Ключевский начал 28 ноября 1879 г. с лекции, по традиции посвященной своему предшественнику — С. М. Соловьеву; спустя почти полтора месяца, 12 января 1880 г., он выступил с этой же лекцией на торжественном заседании Московского университета. Это выступление, горячо принятое студентами, было издано в том же 1880 г., затем дважды переиздавалось и публикуется в настоящем издании. В нем В. О. Ключевский говорил об огромном кругозоре С. М. Соловьева, его знании западноевропейской истории и значении его подхода к истории российской — «генетическое изучение форм и отношений государственного и общественного быта России было тогда если не совершенной новостью в нашей историографии, то во

¹ Ключевский В. О. Сочинения. М., 1959. Т. VIII. С. 475.

² Там же. Т. VII. С. 465, 466.

³ Там же. С. 466.

всяком случае явлением, к которому еще не привыкли...» (см. ниже, с. 503, 504). Закljučая, В. О. Ключевский подчеркивал, что мысли С. М. Соловьева стали достоянием общественного сознания и их автора университет не перестанет понимать. В другом своем воспоминании Ключевский характеризовал Соловьева как выдающегося педагога, уделявшего много внимания университетскому образованию.

В. О. Ключевский так и не подготовил обобщающего труда по истории исторической мысли в России, хотя систематически читал студентам курсы по историографии, выступал с воспоминаниями о своих предшественниках, писал о творческих заслугах и промахах ученых более раннего времени. Сохранившиеся в архиве ученого бумаги, в значительной степени опубликованные в его сочинениях в 1956—1959 гг. и в отдельном выпуске его трудов в 1983 г., тем более свидетельствуют о постоянной работе над этой проблемой. Среди сохранившихся сочинений теоретический интерес представляют две рукописи В. О. Ключевского — «Русская историография 1861—1893 гг.» и «Юбилей Общества истории и древностей российских», датируемые соответственно 1902 и 1904 годами и опубликованные только в 1983 г. Интерес к ним обуславливается тем, что В. О. Ключевский в них рассуждал о серьезнейших проблемах своей современности — о связи между общественным мышлением и историческим прошлым, о задачах исторической мысли и преемственности поколений в изучении отечественной истории. Так, обращаясь к общественному мышлению послереформенного времени, В. О. Ключевский усматривал в нем два неверных, на его взгляд, направления затрудняющих разрешение насущно возникавших перед обществом задач. Во-первых, он полагал, что общество, осуществлявшее реформы, проявляло «благодушную непредусмотрительность» в ожидании их результатов, не оглядываясь на опыт пройденного пути; а во-вторых, оно же, разрывая историю страны на две части — дореформенную и реформированную, — тем самым проявляло невниманье к исторической закономерности. Историк считал, что и в условиях пореформенной России после крутого поворота истории необходимо сохранять убеждение, что «мы идем своей старой исторической дорогой, несем с собой средства, выработанные вековым народным трудом, недостатки, воспитанные в нас былыми народными несчастьями, задачи, поставленные нам условиями нашего прошлого» (с. 556). Остается не известным, для чего предназначался автором этот скромно озаглавленный и вовсе не отвечавший своему заголовку экскурс.

Другая рукопись — «Юбилей Общества истории и древностей российских» — имела совершенно определенный адрес. В 1893 г. императорским указом В. О. Ключевский был назначен председателем этого Общества, находившегося при Московском университете и считавшегося под патронатом Александра III. В. О. Ключевский очень внимательно относился к своим обязанностям председателя и к столетнему юбилею Общества готовил свое выступление. Общество сыграло очень важную роль в изучении российской истории и публикации как источников, так и исследований, на них основанных. Воздавая должное значимости Общества, всегда концентрировавшегося в своем составе крупнейших историков и почитателей прошлого, В. О. Ключевский и тут проводил идеи о последовательности и внутренней логике исторических явлений. Обращаясь же к логике их исследования, он, во-первых, подчеркивал, что именно наиболее трагические страницы истории народа будируют историческую мысль, а во-вторых, оттенял особенность единоличного творчества, обу-

словливавшего единство и цельность исследования и вместе с тем невозможного без поддержки и помощи многих сотрудников. Тем самым В. О. Ключевский заключал свои представления о сложных путях развития исторической мысли и условиях, способствующих успехам творчества ее представителей.

* * *

Настоящее издание состоит из двух частей. В одной из них публикуются «портреты» политических деятелей российской истории, в другой — историографические очерки, посвященные творчеству наиболее крупных представителей русской исторической мысли. Публикуемые очерки представляют собой отдельные произведения В. О. Ключевского или сохранившиеся в его личном архиве наброски к предполагавшимся работам, а также отдельные лекции, входившие в состав его знаменитого «Курса русской истории».

В. А. Александров

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПОРТРЕТЫ







О ВЗГЛЯДЕ ХУДОЖНИКА НА ОБСТАНОВКУ И УБОР ИЗОБРАЖАЕМОГО ИМ ЛИЦА

Человек — главный предмет искусства. Художник изображает его так, как он сам себя выражает или старается выразить. А человек любит выражать, обнаруживать себя. Понятно его побуждение: мы любим понимать себя и стараемся, чтобы и другие понимали нас так же, как мы сами себе представляемся.

Говорят, лицо есть зеркало души. Конечно так, если зеркало понимать как окно, в которое смотрит на мир человеческая душа и чрез которое на нее смотрит мир. Но у нас много и других средств выражать себя. Голос, склад речи, манеры, прическа, платье, походка, все, что составляет физиономию и наружность человека, все это окна, чрез которые наблюдатели заглядывают в нас, в нашу душевную жизнь. И внешняя обстановка, в какой живет человек, выразительна не менее его наружности. Его платье, фасад дома, который он себе строит, вещи, которыми он окружает себя в своей комнате, все это говорит про него и прежде всего говорит ему самому, кто он и зачем существует или желает существовать на свете. Человек любит видеть себя вокруг себя и напоминать другим, что он понимает, что он за человек.

Обстановку, какой окружает себя человек дома и в какой он выходит на улицу, вид, в каком он появляется в обществе, художнику необходимо наблюдать и надобно уметь, т. е. привыкнуть наблюдать. На это есть свои правила и приметы. Когда вы входите в кабинет к человеку со средствами, у которого все просто и опрятно, по стенам ни одной картинки, на столе ни одной фотографии, никакой блестящей безделки и даже лампа какая-то

Матовая, будьте уверены, что перед вами человек замкнутый, но доброжелательный, очень мало интересующийся вами при первой встрече, но человек с подвижным и сильным воображением, не нуждающимся во внешних возбуждениях, и по вашему уходу он мысленно сделает из вас что угодно, вылепит какой угодно идеал, и уж непременно запомнит вас надолго, если только вы оставили в нем сколько-нибудь благоприятное впечатление. Я раз пришел к очень богатому барину. В маленьком кабинете на антресолях его собственного дома я заметил несколько худеньких стульев, кожаный сильно просиженный рваный диван, небольшой письменный стол на курьих ножках с озеровидными пятнами на потертом зеленом сукне. Человек в опрятном фраке и безукоризненных белых перчатках на дорогом подносе поставил на стол кофе и при этом передвинул стоявшие на нем два подсвечника: тут я заметил, что это были бронзовые подсвечники старинной работы, ценное качество которой без труда почувствовал даже мой несведущий в таких вещах глаз. Мы долго и оживленно говорили о предмете, сильно его занимавшем, он с видимым любопытством меня выслушивал, при прощанье крепко жал мне руку за полученные сведения, а через неделю при встрече в гостях не узнал меня. Есть люди, которые любят щеголять нарядными драгоценными рубищами, чтобы заставить людей запомнить себя, и забывают о собеседнике тотчас, как только расстанутся с ним.

Человек украшает то, в чем живет его сердце, во что кладет он свою душу, свои умственные и нравственные усилия. Современный человек, свободный и одинокий, замкнутый в себе и предоставленный самому себе, любит окружать себя дома всеми доступными ему житейскими удобствами, украшать, освещать и согревать свое гнездо. В древней Руси было иначе. Дома жили неприхотливо, кой-как. Домой приходили как будто только поесть и отдохнуть, а работали мыслили и чувствовали где-то на стороне. Местом лучших чувств и мыслей была церковь. Туда человек нес свой ум и свое сердце, а вместе с ними и свои недостатки. Иностранцы, въезжая в большой древнерусский город, прежде всего поражались видом многочисленных каменных церквей, внушительно поднимавшихся над темными рядами деревянных домиков, уныло глядевших своими тусклыми слюдяными окнами на улицу или робко выглядывавших своими трубами из-за длинных заборов. В 1289 г. умирал на Волини в местечке Любомли

Владимир Васильевич, очень богатый, могущественный и образованный для своего времени князь, построивший несколько городов и множество церквей, украшавший церкви и монастыри дорогими коваными иконами с жемчугом, серебряными сосудами, золотом шитыми бархатными завесами и книгами в золотых и серебряных окладах. Он умирал от продолжительной и тяжелой болезни, во время которой лежал в своих хоробах *на полу на соломе*. Или возьмем жившего немного позднее московского князя Ивана Даниловича Калиту. Это был один из самых сильных и богатых князей, если не сильнейший и богатейший князь Северной Руси в начале XIV в., отличавшийся притом большим скопидомством, а между тем, перечисляя в своей первой духовной грамоте (не позднее 1328 г.) наиболее ценную домашнюю движимость, которую он оставлял своим наследникам, он прописывает 12 золотых цепей, 9 поясов золотых и несколько серебряных, 1 женское ожерелье, одно монисто, 14 женских обручей, 1 чело, 1 гривну, 7 кожухов и кафтанов, 1 золотую шапку, 6 золотых чаш и чар, 17 штук блюд и другой посуды золотой и серебряной и 1 золотую коробочку — все это, как видите, можно уложить в один порядочный сундук.

Теперь обстановка и убор человека далеко не имеют того значения, какое они имели в старые времена. Современный человек обставляет и убирает себя по своим понятиям и вкусам, по своему взгляду на жизнь и на себя, по той цене, какую он дает самому себе и людскому мнению о себе. Современный человек в своей обстановке и уборе ищет самого себя или показывает себя другим, афиширует, выставляет свою личность и потому заботится о том, чтобы все, чем он себя окружает и убирает, шло ему к лицу. Если исключить редких чудаков, мы обыкновенно стараемся окружить и выставить себя в лучшем виде, показаться себе самим и другим даже лучше, чем мы на самом деле. Вы скажете: это суетность, тщеславие, притворство. Так, совершенно так. Только позвольте обратить ваше внимание на два очень симпатичные побуждения. Во-первых, стараясь показаться себе самим лучше, чем мы на деле, мы этим обнаруживаем стремление к самоусовершенствованию, показываем, что хотя мы и не то, чем хотим казаться, но желали бы стать тем, чем притворяемся. А во-вторых, этим притворством мы хотим понравиться свету, произвести наилучшее впечатление на общество, т. е. выражаем уваже-

ние к людскому мнению, свидетельствуем почтение к ближнему, следовательно, заботимся об умножении удобств и приятностей общежития, стараемся увеличить в нем количество приятных впечатлений. Видимая суетность и тщеславие становится вспомогательным средством или орудием альтруизма. Конечно, мы улыбаемся при виде иной дамы в пожилых летах и с юным сердцем, которая любит рядиться в молодые цвета. Но вы отдадите справедливость ее доброму намерению: скрывая свой пожилой возраст, она ведь отклоняет вас от мысли о неприятности, которая ждет и каждого из вас.

В старые времена личности не позволялось быть столь свободной и откровенной. Лицо тонуло в обществе, в сословии, корпорации, семье, должно было своим видом и обстановкой выражать и поддерживать не свои личные чувства, вкусы, взгляды и стремления, а задачи и интересы занимаемого им общественного или государственного положения. Над личными вкусами и понятиями, даже над личными доблестями царили общеобразовательное приличие, общепризнанный обычай. В Древней Греции даже честным и даровитым позволялось*... В настоящее время зачастую встречаешь гимназиста, который идет с выражением Наполеона I или по меньшей мере Бисмарка¹, хотя в кармане у него балльная книжка, где все двойка, двойка и двойка; встречаешь порой и гимназистку, особенно в очках, что теперь не редкость, которая смотрит императрицей Екатериной II или даже самой Жорж Занд², хотя это просто Машенька Гусева с Зацепы и больше ничего. Теперь такие несвойственные возрасту и положению выражения величия вызывают только веселую улыбку, а в старину они навлекли бы строгое внушение. В прежние времена положение обязывало и связывало, обстановка, как и самая физиономия человека в значительной мере имела значение служебного мундира. Каждый ходил в приличном состоянии костюме, выступал присвоенной званию походкой, смотрел на людей штатным взглядом. Занимал человек властное положение в обществе — он должен был иметь властные жесты, говорить властные слова, глядеть повелительным взглядом, с утра до вечера не скидать с себя торжественного костюма, хотя бы все это было ему тяжело и противно. Родился князем Воротынским — поднимай голову выше и держи себя по-княжески, по-воротынски, а стал мона-

* Фраза не окончена.— *Сост.*

хом — так и складывай смиренно руки на груди и береги глаза, опускай их долу, а не рассыпай по встречным и поперечным. Словом, назвался груздем, так полезай в кузов.

Когда древнерусский боярин в широком охабне и высокой горлатной шапке выезжал со двора верхом на богато убранном ногайском аргамаче, чтобы ехать в Кремль челом ударить государю, всякий встречный человек меньшего чину по костюму, посадке и самой физиономии всадника видел, что это действительно боярин, и кланялся ему до земли или в землю, как требовал обычай, потому что ведь он — столп, за который весь мир держится, как однажды выразился про родовитых бояр знаменитый, но неродовитый князь Пожарский³. Появись он на улице кой-как, запросто, в растрепанном виде, с легкомысленными, смеющимися глазами, он только неприятно смутил бы встречных, как смутились бы молящиеся в соборном храме, если бы при полном праздничном освещении, среди всего церковного благолепия из царских дверей вышел владыка-митрополит в рубище и с улыбкой на устах.

Припоминаю один давний случай. Давали благотворительный концерт с участием какой-то дивы и с очень повышенными ценами. В первом ряду сидел в блестящих мундирах, фраках и туалетах цвет местного общества. К распорядителю, принимавшему у входа билеты, подходит скромно одетая и с скромным видом дама и подает один из первых номеров. Подозрительный и неловкий распорядитель посмотрел на билет, потом на даму, потом опять на билет и имел неосторожность спросить: позвольте узнать, как ваша фамилия? — Княгиня такая-то, тихо ответила дама, выговорив такую фамилию, от которой у распорядителя зарябило в глазах, и он, растерянно извиняясь, повел ее к первому ряду, который встал весь при ее появлении. В старые времена житейская обстановка предотвращала подобные недоразумения. Отдельные лица прятались за типами; внешними признаками резко отмечались и различались целые классы людей, общественные состояния, а классы, состояния рассматривались не как простые случайности рождения или капризы счастья, а как естественные нормы жизни или предначертания всем правящей всевышней десницы: кому что на роду написано, судьба.

Если вы потрудитесь проникнуть в логику такого исторического разума гения, который строил формы и отношения людского общежития, вам не покажутся странны-

ми некоторые явления старинной русской жизни, с которыми вы можете встретиться, изучая русские исторические памятники для своих художественных композиций. Столь известная в истории раскола, небезызвестная в русской живописи Федосья Прокофьевна Морозова, урожденная Соковнина, была большая московская боярыня времен царя Алексея Михайловича. Она была замужем за родным братом боярина Бориса Ивановича Морозова, воспитателя и свояка этого царя, и обладала огромным богатством: у ней было 8 тыс. душ крестьян; дома ей прислуживало человек 300 челяди; в доме у нее всякого добра было больше чем на 2¹/₂ миллиона рублей на нынешние деньги. После, когда ей пришлось встать за благочестие, хотя и ложно понятое, за то, что она считала старой истинной верой, за двуперстие и сугубую аллилуйю, она показала, как она мало дорожит всеми дарованными ей житейскими благами и честью при дворе и золоченой кроватью дома, не побоялась ни допросов, ни сырого боровского подземелья, куда ее посадили. А посмотрите, как она, оставшись молодой вдовой, в «смирном образе», по-нашему в трауре, выезжала из дома: ее сажали в дорогую карету, украшенную серебром и мозаикой, в шесть или двенадцать лошадей, с гремющими цепями; за нею шло слуг, рабов и рабынь человек со сто, а при особенно торжественном поезде с двести и с триста, оберегая честь и здоровье своей государыни-матушки. Царица ассирийская да и только, скажете вы,— раба суеверного и тщеславно пышного века! Хорошо. Перейдем к концу XVIII столетия, в век Вольтера, Руссо и императрицы Екатерины II, в эпоху разума, свободы, равенства и естественной простоты, когда под горячими лучами разгоревшейся человеческой мысли таяли людские суеверия и предрассудки. Вице-канцлер Екатерины II граф Иван Андреевич Остерман⁴ был сын любимца Петра Великого барона Андрея Ивановича Остермана. Этот вице-канцлер был образованный, неглупый и богатый дипломат, в домашней жизни не любил роскоши, держал себя важно, но без гордости. На святой неделе, когда в Петербурге бывало народное гулянье с качелями, он любил поглядеть, как веселится народ. Посмотрите, в какой обстановке появлялся он на гульбище. Он приезжал один в одноместной позолоченной карете с большими стеклами, точно фонарь, на шестерке белых лошадей; на запятках стояли два гайдука в голубых епанчах, из-под которых выглядывали казакины с сереб-

ряными снурками, а на головах высокие картузы с перьями и с серебряными бляхами на лицевой стороне, на которых виден был именной вензель господина; перед лошадьми шли два скорохода с булавами в руках, в нарядных костюмах, в шегольских чулках и башмаках, какая бы ни была слякоть. Ныне появление в такой обстановке придало бы народному гулянию характер публичного маскарада под открытым небом и было бы встречено веселым хохотом. Сто лет назад эту процессию столичная толпа встречала с обнаженными головами и почтительным шепотом: «Его сиятельство граф Остерман едет!»

Конечно, и в современной жизни много условного, ненужного для прямых целей общежития, но удобного для прикрытия его недостатков. Люди, которым приходится выдаться, но не о чем говорить, поневоле говорят о политике и погоде, чтобы не смотреть молча в глаза друг другу. Но эти условности, еще удержавшиеся в жизни по привычке или необходимости, эти переживания быстро теряют свою обязательность в общем сознании или в общественном мнении. Все более торжествует мысль, что каждый имеет право быть самим собой, если не мешает другим быть тем же и не производит общего затруднения. Мы улыбнемся при виде вороны в павлиньих перьях, но едва ли осудим ее в душе — за что? Если она умеет носить их прилично и не задевая ими простых неукрашенных ворон. В старые времена, при других понятиях и нравах, такая своеобычность была менее удобна и, во-первых, не совсем безопасна. Общественное мнение было более завистливо и нетерпимо, не выносило ничего выдающегося, незаурядного, своеобразного. Будь как все, шагай в ногу со всеми — таково было общее правило.

Известно, что в древней Руси дамы любили белиться и румяниться. Может быть, в этом обычае был свой смысл: он делал красивых менее красивыми, а дурных приближал к красивым и таким образом сглаживал произвол судьбы в неравномерном распределении даров природы. Если так, то обычай имел просветительно-благотворительную цель, заставляя счастливо одаренных поступаться долей полученных даров в пользу обездоленных. Но духовенство не благоволило к обычаю, подозревая в нем иные, худшие побуждения. Однако были софисты, которые замысловато оправдывали этот обычай. Вот что случилось в 1653 г. в доме муромского вое-

воды. В праздник собрались к нему гости. Пришел и протопоп Логгин и, благословляя хозяйку, спросил: не белишься ли? Гости вместе с хозяином подхватили это слово и накинулись на батюшку. Так что же, что белился? Ты, протопоп, белила хулишь, а ведь без белил и образов не пишут. Рассерженный о. Логгин жестко возразил: да если таким составом, каким иконы пишутся, ваши рожи намазать, так всем это, пожалуй, и не понравится. Однако от воеводы полетел в Москву донос к патриарху, что-де муромский протопоп Логгин хулит иконы. Один иноземец, бывший в Москве при царе Михаиле, рассказывает, что одна красивая московская боярыня не хотела белиться и румяниться. Тогда все дамы боярского круга взъелись на нее: она осрамить нас вздумала: «я-де солнце, а вы оставайтесь тусклыми свечками при солнечном сиянии», и чрез мужей заставили-таки красавицу подчиниться обычаю: гори-де и ты, подобно нам, тусклой свечкой при солнечном сиянии. Будь как все, шагай в ногу со всеми. Вот характерная нравоописательная картинка из записок известного московского подьячего времен царя Алексея Михайловича. «В домах своих живут они смотря по чину и общественному весу каждого, вообще же без особенных удобств. Малочиновному приказному человеку нельзя построить хорошего дома: оболгут перед царем, что-де взяточник, мздоимец, казнокрад, и много хлопот наделают тому человеку, пошлют на службу, которой исполнить нельзя, инструкцию такую напишут, что ничего не поймешь, и непременно упекут под суд, а там — батоги и казенное взыскание, продажа движимого и недвижимого с публичного торга. А ежели торговый человек или крестьянин необычно хорошо обстроится, ему податей навалят. И потому, — заключает Котошихин, — люди Московского государства домами живут негораздо устроенными и города и слободы у них неблагоустроенные же».

Впрочем, свобода убора и обстановки стеснялась не одной людской зависимостью, но и соображениями благочиния и благоустройства. При тогдашних нравах свобода могла повести и приводила к вредным излишествам и чудачествам, рассказами о которых так обильны наши предания о добрых старых временах. Правительство тогда считало своим долгом отечески опекать подданных и во имя общественной дисциплины вмешиваться в их частную жизнь. У нас, как и в других странах, к этой цели было направлено целое законодательство о платье

и роскоши. Еще в прошедшем столетии у нас запрещался ввоз из-за границы некоторых дорогих материй и других предметов роскоши. Закон хотел сделать из людской слабости поощрение к труду, к образованию и общественному служению, из личной суетности и тщеславия средство общественного порядка, щегольство превратить в стимул гражданского чувства. Обстановка должна была стать не просто выставкой богатства, но и отметкой общественного положения, социального распорядка лиц, знаком отличия за умение вести дела и за заслуги обществу и государству. Хочешь блеснуть перед людьми, доставить себе удовольствие, кольнуть их завистливые глаза своей персоной, ливреей лакея или упряжкой — приобрети на это установленный патент трудолюбием и искусством да и делай это разумно и осторожно, чтобы люди не посмеялись и над тобой, и над тем, кто патентовал тебе привилегию колоть им глаза своей персоной или упряжкой. Раскройте жалованную грамоту императрицы Екатерины II на права и выгоды городам Российской империи: вы найдете там ряд статей о том, как могли по закону выезжать люди разных городских состояний. Городское население по грамоте делилось на именитых граждан, на купечество трех гильдий, на цеховых ремесленников и простых рабочих. Эти звания приобретались городской общественной службой, образованием, искусством и размером капитала, т. е. величиной платимого с него в казну процентного сбора, значит, трудолюбием, талантом, услугами обществу и государству. Грамота прямо говорит, что «название городских обывателей есть следствие трудолюбия и добронравия, чем и приобрели отличное состояние». Так к высшему состоянию именитых граждан причислились наравне с крупнейшими капиталистами ученые, имеющие академические или университетские аттестаты, художники четырех художеств, именно архитекторы, живописцы, скульпторы и музыкосочинители также с академическими аттестатами «и по испытаниям главных российских училищ признанные таковыми». И вот что мы читаем в грамоте о правах выезда для лиц высших городских состояний: именитым гражданам дозволяется ездить по городу в карете парюю и четвернею; купцам первой гильдии дозволяется ездить по городу в карете только парюю, купцам второй — в коляске парюю, третьей же гильдии запрещается ездить в карете и впрягать зимою и летом

больше одной лошади; то же и цеховым ремесленникам или мещанам.

Но довольно, господа! Теперь подсчитаем, до чего мы договорились. Я обещал сказать вам свое мнение о том, как надобно художнику смотреть на обстановку и убор изображаемых им лиц. Этот взгляд устанавливается различным значением обстановки и убора в прежние времена и теперь, иначе говоря, историческим значением этих житейских подробностей. Это различие, в свою очередь, зависит от неодинакового отношения лица к обществу теперь и в прежние времена. Теперь человек старается сознать и чувствовать себя свободной цельной единицей общества, которая живет для себя и даже свою деятельность на пользу общества рассматривает как свободное проявление своей личной потребности быть полезным для других. Согласно с этим он подбирает себе, разумеется, в пределах своих средств, обстановку и убор по своим личным вкусам и понятиям, по своему взгляду на жизнь, на людей и на себя. Все, что мы видим на современном человеке и около него,— есть его автобиография и самохарактеристика, так сказать. Мода, общепринятый обычай, общеобязательное приличие указывают только границы личного вкуса и произвола. Прежде лицо тонуло в обществе, было дробной величиной «мира», жило одной с ним жизнью, мыслило его общими мыслями, чувствовало его мирскими чувствами, разделяло его повальные вкусы и оптовые понятия, не умея выработать своих особых, личных, розничных, и ему позволялось быть самим собой лишь настолько, насколько это необходимо было для того, чтобы помочь ему жить как все, чтобы поддержать энергию его личного участия в хорошей гармонии жизни или в трудолюбиво автоматическом жужжании пчелиного улья. Люди прежних времен умели быть эгоистами не хуже нас, даже бывали чудаками и самодурами, какими не сумеем стать мы; но они менее нас умели быть оригинальными, без странностей, своеобразными и самобытными, без неудобных чудачеств, без потребности в полицейском надзоре. Потому в своей житейской обстановке, как и в своем наружном уборе, они были столь же мало своеобразны и изобретательны, как в своих чувствах и вкусах, повторяли общепринятые завитки, цвета и покрои, исторически сложившиеся, отцами и дедами завещанные. Теперь обстановка — есть характеристика личного настроения и положения человека, его средств и взгляда на свое отношение

к обществу. Прежде она была выставкой его общественного положения, выражением не его взгляда на свое отношение к обществу, а взгляда общества на его общественное положение и значение. Ныне обставляет и держит себя, как сам себя понимает, а прежде — как его понимали другие, т. е. общество, в котором он жил. Отсюда следует, что, изображая современного человека, вы, разумеется, в указанных пределах общепризнаваемого обычая и приличия можете придумывать своему герою какую угодно обстановку, платье и прическу, лишь бы все это верно выражало его своеобразный характер, можете быть для него и портными и парикмахерами, только оставаясь художниками и психологами. Но в изображении стародавних людей художник обязан быть историком, окружать и убирать его, как тогда все себя окружали и убирали, хотя бы это окружение и этот убор и не согласовались с характером изображаемого лица.



ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ СЛЕДСТВИЯ РУССКОЙ КОЛОНИЗАЦИИ ВЕРХНЕГО ПОВОЛЖЬЯ... ВЛИЯНИЕ ПРИРОДЫ ВЕРХНЕГО ПОВОЛЖЬЯ НА НАРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО ВЕЛИКОРОССИИ И НА ПЛЕМЕННОЙ ХАРАКТЕР ВЕЛИКОРОССА

Образование великорусского племени. Нам предстоит изучить этнографические следствия русской колонизации Верхнего Поволжья, Ростовско-Суздальского края. Эти следствия сводятся к одному важному факту в нашей истории, к образованию другой ветви в составе русской народности *великорусского племени*. Чтобы оценить важность этого разветвления в нашей истории, достаточно припомнить численное соотношение трех основных ветвей русского народа: великороссов приблизительно втрое больше, чем малороссов (в пределах России), а малороссов почти втрое больше, чем белоруссов. Значит, великорусское племя составляет девять тринадцатых или несколько более двух третей в общей сумме русского населения России.

Обращаясь к изучению происхождения великорусского племени, необходимо наперед отчетливо уяснить себе сущность вопроса, к решению которого приступаем. Без сомнения, и до XIII в. существовали некоторые местные бытовые особенности, сложившиеся под влиянием областного деления Русской земли и даже, может быть, унаследованные от более древнего племенного быта полян, древлян и пр. Но они стерлись от времени и переселений или залегли в складе народного быта на такой глубине, до которой трудно проникнуть историческому наблюдению. Я разумею не эти древние племенные или областные особенности, а распадение народности на две новые ветви, начавшееся приблизительно с XIII в., когда население центральной среднеднепровской полосы, служившее основой первоначальной русской народности, разошлось

в противоположные стороны, когда обе разошедшиеся ветви потеряли свой связующий и обобщающий центр, каким был Киев, стали под действие новых и различных условий и перестали жить общей жизнью. Великоорусское племя вышло не из продолжавшегося развития этих старых областных особенностей, а было делом новых разнообразных влияний, начавших действовать после этого разрыва народности, притом в краю, который лежал вне старой коренной Руси и в XII в. был более инородческим, чем русским краем. Условия, под действие которых колонизация ставила русских переселенцев в области средней Оки и верхней Волги, были двоякие: этнографические, вызванные к действию встречей русских переселенцев с инородцами в междуречье Оки — Волги, и географические, в которых сказалось действие природы края, где произошла эта встреча. Так в образовании великорусского племени совместно действовали два фактора: племенная смесь и природа страны.

Инородцы окско-волжского междуречья. Инородцы, с которыми встретились в междуречье русские переселенцы, были финские племена. Финны, по нашей летописи, являются соседями восточных славян с тех самых пор, как последние начали расселяться по нашей равнине. Финские племена водворялись среди лесов и болот центральной и северной России еще в то время, когда здесь не заметно никаких следов присутствия славян. Уже Иорнанд в VI¹ в. знал некоторые из этих племен: в его искаженных именах северных народов, входивших в IV в. в состав готского королевства Германариха², можно прочесть эстов, весь, мерю, мордву, может быть, черемис. В области Оки и верхней Волги в XI—XII вв. жили три финские племена: мурома, меря и весь. Начальная киевская летопись довольно точно обозначает места жительства этих племен: она знает мурому на нижней Оке, мерю по озерам Переяславскому и Ростовскому, весь в области Белоозера. Ныне в центральной Великооруссии нет уже живых остатков этих племен; но они оставили по себе память в ее географической номенклатуре. На обширном пространстве от Оки до Белого моря мы встречаем тысячи нерусских названий городов, сел, рек и урочищ. Прислушиваясь к этим названиям, легко заметить, что они взяты из какого-то одного лексикона, что некогда на всем этом пространстве звучал один язык, которому принадлежали эти названия, и что он родня тем наречиям, на которых говорят туземное население нынешней Фин-

ляндии и финские инородцы среднего Поволжья, мордва, черемисы. Так и на этом пространстве и в восточной полосе Европейской России встречается множество рек, названия которых оканчиваются на *ва*: Протва, Москва, Сытва, Косва и т. д. У одной Камы можно насчитать до 20 притоков, названия которых имеют такое окончание. *Ва* по-фински значит *вода*. Название самой Оки финского происхождения: это — обрусевшая форма финского *joki*, что значит *река* вообще. Даже племенные названия мери и веси не исчезли бесследно в центральной Великороссии: здесь встречается много сел и речек, которые носят их названия. Уездный город Тверской губернии Вельегонск получил свое название от обитавшей здесь *веси Егонской* (на реке Егоне). Определяя по этим следам в географической номенклатуре границы расселения мери и веси, найдем, что эти племена обитали некогда от слияния Сухоны и Юга, от Онежского озера и реки Ояти до средней Оки, захватывая северные части губерний Калужской, Тульской и Рязанской. Итак, русские переселенцы, направлявшиеся в Ростовский край, встречались с финскими туземцами в самом центре нынешней Великороссии.

Встреча Руси и Чуди. Как они встретились и какою сторона подействовала на другую? Вообще говоря, встреча эта имела мирный характер. Ни в письменных памятниках, ни в народных преданиях великороссов не уцелело воспоминаний об упорной и повсеместной борьбе пришельцев с туземцами. Самый характер финнов содействовал такому мирному сближению обеих сторон. Финны при первом своем появлении в европейской историографии отмечены были одной характерной чертой — миролюбием, даже робостью, забитостью. Тацит³ в своей *Германии* говорит о финнах, что это удивительно дикое и бедное племя, не знающее ни домов, ни оружия. Иорнанд называет финнов самым кротким племенем из всех обитателей европейского севера. То же впечатление мирного и уступчивого племени финны произвели и на русских. Древняя Русь все мелкие финские племена объединила под одним общим названием *Чуди*. Русские, встретившись с финскими обитателями нашей равнины, кажется, сразу почувствовали свое превосходство над ними. На это указывает ирония, которая звучит в русских словах, производных от коренного *Чудь*, — *чудить*, *чудно*, *чудак* и т. п. Судьба финнов на европейской почве служит оправданием этого впечатления. Некогда финские племена были распространены далеко южнее линии рек

Москвы и Оки,— там, где не находим их следов впоследствии. Но народные потоки, пронесившиеся по южной Руси, отбрасывали это племя все далее к северу; оно все более отступало и, отступая, постепенно исчезало, сливаясь с более сильными соседями. Процесс этого исчезновения продолжается и до сих пор. И сами колонисты не вызвали туземцев на борьбу. Они принадлежали в большинстве к мирному сельскому населению, уходившему из юго-западной Руси от тамошних невзгод и искавшему среди лесов Севера не добычи, а безопасных мест для хлебопашества и промыслов. Происходило заселение, а не завоевание края, не порабощение или вытеснение туземцев. Могли случаться соседские ссоры и драки; но памятники не помнят ни завоевательных нашествий, ни оборонительных восстаний. Указание на такой ход и характер русской колонизации можно видеть в одной особенности той же географической номенклатуры Великороссии. Финские и русские названия сел и рек идут не сплошными полосами, а попеременно, чередуясь одни с другими. Значит, русские переселенцы не вторгались в край финнов крупными массами, а, как бы сказать, просачивались тонкими струями, занимая обширные промежутки, какие оставались разбросанными среди болот и лесов финскими поселками. Такой порядок размещения колонистов был бы невозможен при усиленной борьбе их с туземцами. Правда, в преданиях Великороссии уцелели некоторые смутные воспоминания о борьбе, завязывавшейся по местам; но эти воспоминания говорят о борьбе не двух племен, а двух религий. Столкновения вызывались не самою встречу пришельцев с туземцами, а попытками распространить христианство среди последних. Следы этой религиозной борьбы встречаются в двух старинных житиях древних ростовских святых, подвизавшихся во второй половине XI в., епископа Леонтия и архимандрита Авраамия: по житию первого, ростовцы упорно сопротивлялись христианству, прогнали двух первых епископов, Феодора и Иларiona, и умертвили третьего, Леонтия; из жития Авраамия, подвизавшегося вскоре после Леонтия, видно, что в Ростове был один конец, называвшийся *Чудским*, — знак, что большинство населения этого города было русское. Этот Чудской конец и после Леонтия оставался в язычестве, поклонялся идолу славянского «скотья бога» Велеса. Значит, еще до введения христианства местная мера начала уже перенимать языческие верования русских славян. По житию Леонтия, все ростовские языч-

ники упорно боролись против христианских проповедников, т.е. вместе с чудью принимала участие в этой борьбе и ростовская русь. Сохранилось даже предание, записанное в XVII в., что часть языческого, очевидно, мерянского населения Ростовской земли, убегая «от *русского* крещения», выселилась в пределы Болгарского царства на Волгу к родственным мери черемисам. Значит, кой-где и кой-когда завязывалась борьба, но не племенная, а религиозная: боролись христиане с язычниками, а не пришельцы с туземцами, не русь с чудью.

Финские черты. Вопрос взаимодействия руси и чуди, о том, как оба племени, встретившись, подействовали друг на друга, что одно племя заимствовало у другого и что передало другому, принадлежит к числу любопытных и трудных вопросов нашей истории. Но так как этот процесс окончился поглощением одного из встретившихся племен другим, именно поглощением чуди русью, то для нас важна лишь одна сторона этого взаимодействия, т. е. влияние финнов на пришлую русь. В этом влиянии этнографический узел вопроса о происхождении великорусского племени, образовавшегося из смеси элементов славянского и финского с преобладанием первого. Это влияние проникало в русскую среду двумя путями: 1) пришлая русь, селясь среди туземной чуди, неизбежно должна была путем общения, соседства кое-что заимствовать из ее быта; 2) чудь, постепенно русея, всю свою массу, со всеми своими антропологическими и этнографическими особенностями, со своим обликом, языком, обычаями и верованиями входила в состав русской народности. Тем и другим путем в русскую среду проникло немало физических и нравственных особенностей, унаследованных от растворившихся в ней финнов.

Тип. I. Надобно допустить некоторое участие финского племени в образовании антропологического типа великоросса. Наша великорусская физиономия не совсем точно воспроизводит общеславянские черты. Другие славяне, признавая в ней эти черты, однако замечают и некоторую стороннюю примесь: именно, скулистость великоросса, преобладание смуглого цвета лица и волос и особенно типический великорусский нос, покоящийся на широком основании, с большой вероятностью ставят на счет финского влияния.

Говор. II. То же влияние, кажется, было небезучастно и в изменении древнерусского говора. В говоре древней Киевской Руси заметны три особенности: 1) она го-

ворила на *о*, *окала*; 2) звуки *ц* и *ч* мешались, замещали друг друга; 3) в сочетании гласных и согласных соблюдалась известная фонетическая гармония: звуки согласные гортанные *г*, *к* и *х* сочетались с твердыми гласными *а*, *о*, *ы*, *у*, *э* и с полугласным *ѣ*, а зубные или свистящие *з*, *с* и *ц*, и небные или шипящие *ж*, *ч* и *ш* — с мягкими гласными *я*, *е*, *и*, *ю* и с полугласным *ь*; сюда же можно отнести и мягкое окончание глаголов в 3-м лице обих чисел (*пишетъ*, *имуть*). Следы этих особенностей находим в остатках древней письменности XII и XIII вв. В иностранных словах при переходе их в русский язык неударяемые звуки *а* и *е* заменялись звуком *о*: Торвард — Трувор, Елена — Олёна. Киевская Русь сочетала гортанное *к* с твердым *ы*, а зубное *ц* или нёбное *ч* — с мягким *и* или *ь*: она говорила *Кыев*, а не Киев, как говорим мы вопреки правилам древней русской фонетики, требовавшей, чтобы *к* при встрече с *и* перезвуковывалось в *ц* или *ч*: отсюда форма в одной южнорусской рукописи XII в. «*Лучино евангелие*» (от Луки). Эта древняя фонетика сохранилась отчасти и в наречии малороссов, которые говорят: на полянц*ии*, козаче. Мы, великороссы, напротив, не сочетаем *ц* и шипящих *ж* и *ш* с мягкими гласными, говорим: кольцо, шыре, жызьнь, и не сумеем так тонко выговорить соединенных с этими согласными мягких гласных, как выговаривает малоросс: отьця, горобьця. Далее, в древнем южном говоре заметно смешение или взаимное замещение звуков *ц* и *ч*: в Слове о полку Игореве *вещи*, и *вечи*, галичкый. Те же особенности имел в XII в. и частично сохранил доселе говор новгородский: в поучении архиепископа Илии-Иоанна духовенству *гыбять* (гибнуть), *простьци* и *простьчи*, *лга* (льзя), или в договоре 1195 г. с немцами *немечьскый* и *немецкый*, *послухы* и *послуси*. Признаки той же фонетики замечаем и в говоре на верхнем Днепре: в смоленском договоре 1229 г. *немечкый*, *верещи* (церковнославянское *врещи* — тащить), *гочкого* (готского). Значит, некогда по всему греко-варяжскому пути звучал один говор, некоторые особенности которого до сих пор уцелели в говоре новгородском. Если вы теперь со средней Волги, например, от Самары, проведете по Великороссии несколько изогнутую диагональную черту на северо-запад так, чтобы Москва, Тверь, Вышний Волочок и Псков остались немного левее, а Корчева и Порхов правее, вы разделите всю Великороссию на две полосы, северо-восточную и юго-западную: в первой характерный звук говора есть *о*, во второй *а*, т. е.

звуки *о* и *е* без ударения переходят в *а* и *я* (второй, *сямой*). Владимирцы, нижегородцы, ярославцы, костромичи, новгородцы *окают*, говорят из глубины гортани и при этом строят губы кувшином, по выражению русского диалектолога и лексикографа Даля. Рязанцы, калужане, смолянне, тамбовцы, орловцы, частью москвичи и тверичи *акают*, раскрывают рот настежь, за что владимирцы и ярославцы зовут их «полоротыми». Усиливаясь постепенно на запад от Москвы, акающий говор переходит в белорусское наречие, которое совсем не терпит *о*, заменяя его даже с ударением звуками *а* или *у*: стол — *стал* или *стул*. Первый говор в русской диалектологии называется *северным*, а второй *южным* великорусским поднаречием. Другие особенности обоих поднаречий: в южном *г* произносится как придыхательное латинское *h*, *е* близко к *у* и мягкое окончание 3-го лица глаголов (*тъ*), как в нынешнем малорусском и древнем русском (*векоу* — веков, в договоре 1229 г. *узяти у Ризе* — взять в Риге); в северном *г* выговаривается как латинское *g*, *в* в конце слов твердо, как *ф*, твёрдое окончание 3-го лица глаголов (*тѣ*). Но и в северном поднаречии различают два оттенка, говоры западный новгородский и восточный владимирский. Первый ближе к древнерусскому, лучше сохранил его фонетику и даже лексикон; новгородцы говорят *кольце*, *хороше* и употребляют много старинных русских слов, забытых в других краях Руси: *грать* (каркать), *доспеть* (достигнуть), *послух*. Владимирский говор более удалился от древнего, господствующий звук *о* произносит грубо протяжно, утратил древнее сочетание гласных с согласными, в родительном падеже единственного числа местоимений и прилагательных *г* заменяет звуком *в* (*хорошово*). Москва и в диалектологическом отношении оказалась таким же связующим узлом, каким была она в отношении политическом и народнохозяйственном. Она стала в пункте встречи различных говоров: на северо-западе от нее к Клину *окают* по-новгородски, на востоке к Богородску — по-владимирски, на юго-западе в Коломне *акают* по-рязански, на западе к Можайску — по-смоленски. Она восприняла особенности соседних говоров и образовала свое особое наречие, в котором совместила господствующий звук южного говора с северным твердым окончанием 3-го лица глаголов и с твердым *г*, переходящим в конце слов в *к* (*сапок*), а в родительном падеже единственного числа местоимений и прилагательных в *в*. Зато московское наречие, усвоенное образованным

русским обществом, как образцовое, некоторыми чертами еще далее отступило от говора древней Киевской Руси: *гаварить по-московски* значит едва ли еще не более нарушать правила древнерусской фонетики, чем нарушает их владимирец или ярославец. Московский говор — сравнительно позднейший, хотя его признаки появляются в памятниках довольно рано, в первой половине XIV в., в одно время с первыми политическими успехами Москвы. Кажется, в духовной Ивана Калиты 1328 г. мы застаем момент перехода от *о* к *а*, когда рядом с формами *отця, одиного, росгадает* читаем: *Андрей, аже* вместо древнего *оже* — ежели.

Таким образом, говоры великорусского наречия сложились путем постепенной порчи первоначального русского говора. Образование говоров и наречий — это звуковая, вокальная летопись народных передвижений и местных группировок населения. Древняя фонетика Киевской Руси особенно заметно изменялась в северо-восточном направлении, т. е. в направлении русской колонизации, образовавшей великорусское племя слиянием русского населения с финским. Это наводит на предположение о связи обоих процессов. Даль⁴ допускал мысль, что акающие говоры Великороссии образовались при обрушении чудских племен. Восточные инородцы, русея, вообще переиначивали усвояемый язык, портили его фонетику, переполняя ее твердыми гласными и неблагозвучными сочетаниями гласных с согласными. Обруселая чужь не обогатила русского лексикона: академик Грот⁵ насчитал всего около 60 финских слов, вошедших большею частью в русский язык северных губерний; лишь немногие подслушаны в средней Великороссии, например *пахтать, пурга, ряса, кулепня* (деревня). Но не пестря лексики, чудская примесь портила говор, внося в него чуждые звуки и звуковые сочетания. Древнерусский говор в наибольшей чистоте сохранился в наречии новгородском; в говоре владимирском мы видим первый момент порчи русского языка под финским влиянием, а говор московский представляет дальнейший момент этой порчи.

Поверья. III. Несколько отчетливее выступает в памятниках и преданиях взаимное отношение обоих встретившихся племен в области поверий. Здесь замечаем следы живого обмена, особенно с финской стороны. Народные обычаи и поверья великороссов доселе хранят явные признаки финского влияния. Финские племена, обитавшие и частью доселе обитающие в средней и се-

веро-восточной полосе Европейской России, оставались, кажется, до времени встречи с русью на первоначальной ступени религиозного развития. Их мифология до знакомства с христианством еще не дошла до антропоморфизма. Племена эти поклонялись силам и предметам внешней природы, не олицетворяя их: мордвин или черемис боготворил непосредственно землю, камни, деревья, не видя в них символов высших существ; потому его культ является с характером грубого фетишизма. Стихии были населены духами уже впоследствии под влиянием христианства. У поволжских финнов особенно развит культ *воды* и *леса*. Мордвин, чуваш, находясь в чаще леса или на берегу глухой речной реки, чувствует себя в родной религиозной сфере. Некоторые черты этого культа целиком перешли и в мифологию великороссов. У них, как и у финнов, видною фигурой на мифологическом Олимпе является *леший* и является у тех и других с одинаковыми чертами: он стережет деревья, корни и травы, имеет дурную привычку хохотать и кричать подетски и тем пугать и обманывать путников. В эпосе западных прибалтийских более развитых финнов (*Калевале*) встречаем образ водяного царя. Это старик с травяной бородой, в одежде из пены; он повелитель вод и ветров, живет в глубине моря, любит подымать бури и топить корабли; он большой охотник до музыки, и когда герой Калевалы⁶, мудрец Вейнемейнен, уронил в воду свою арфу (кантеле), водяной бог подхватил ее, чтоб забавляться ею в своем подводном царстве. Эти черты живо напоминают образ водяника или царя морского в известной новгородской былине о Садко, богатом гостекупце и гусле, который со своими гуслими попал в подводное царство водяника и там развеселил его своею игрою до того, что водяник пустился плясать, позабыв свое царское достоинство. Самая физиономия водяника, как она описана в новгородской былине, весьма похожа на облик водяного бога Калевалы. *Водяного* знают и в других краях России; но приведенный миф о водянике встречаем только в Новгородской области. Это дает основание думать, что новгородцы заимствовали его у соседних балтийских финнов, а не наоборот. Наконец, в преданиях, занесенных в древние жития великорусских святых, можно встретить и следы поклонения камням и деревьям, плохо прикрытые христианскими формами и незаметные в южной и западной России.

Два рассказа. В начальной летописи под 1071 г. читаем два рассказа, которые при сопоставлении с позднейшими указаниями дают понять, как Русь относилась к языческим поверьям соседней Чуди и как Чудь смотрела на христианство, которое видела у Руси. Передам коротко эти рассказы. Случился голод в Ростовской земле, и вот два волхва из Ярославля пошли по Волге, разглашая: «Мы знаем, кто обилье держит» (урожай задерживает). Придут в погост, назовут лучших женщин и скажут: «Та держит жито, та мед, а та рыбу». И приводили к ним кто сестру, кто мать, кто жену свою. Волхвы делали у них прорез за плечами и вынимали жито, либо рыбу, самих женщин убивали, а имущество их забирали себе. Пришли они на Белоозеро. В это же время явился сюда для сбора налогов Ян, боярин великого князя Святослава⁷. Услышав, что волхвы избили уже много женщин по Шексне и Волге, Ян потребовал, чтобы белозерцы взяли и выдали ему волхвов: «А то не уйду от вас все лето» (т. е. буду кормиться на ваш счет), — пригрозил боярин. Белозерцы испугались и привели к Яну волхвов. Тот спросил их: «Зачем это вы погубили столько народа?» Волхвы отвечали: «А они держат обилье, если истребим их, не будет голода; хочешь, при тебе вынем у них жито ли, рыбу или что иное». Ян возразил: «Все вы лжете; сотворил бог человека из земли, состоит он из костей, жил и крови и ничего в нем нет другого, и никто кроме бога не знает, как создан человек». — «А мы знаем, как сотворен человек», — сказали волхвы. «Как?» — «Мылся бог в бане, вытерся ветошкой и бросил ее на землю; и заспорил сатана с богом, кому из нее сотворить человека, и сотворил дьявол тело человека, а бог душу в него вложил; потому, когда человек умрет, тело его идет в земли, а душа к богу». Эти волхвы — финны из ростовской мери. Легенда о сотворении человека, рассказанная ими Яну, доселе сохранилась среди нижегородской мордвы, только в более цельном и понятном составе, без пропусков, какие сделал киевский летописец, передавая ее со слов Яна, и с очевидными следами христианского влияния. Вот ее содержание. У мордвы два главных бога, добрый Чампас и злой Шайтан (сатана). Человека вздумал сотворить не Чампас, а Шайтан. Он набрал глины, песку и землю и стал лепить тело человека, но никак не мог привести его в благообразный вид: то слепок выйдет у него свиньей, то собакой, а Шайтану хотелось сотворить человека по образу и подобию божию. Бился он, бился,

наконец позвал птичку-мышь — тогда еще мыши летали — и велел ей лететь на небо, свить гнездо в полотенце Чампаса и вывести детей. Птичка-мышь так и сделала: вывела мышат в одном конце полотенца, которым Чампас обтирался в бане, и полотенце от тяжести мышат упало на землю. Шайтан обтер им свой слепок, который и получил подобие божие. Тогда Шайтан принялся вкладывать в человека живую душу, но никак не умел этого сделать и уж собирался разбить свой слепок. Тут Чампас подошел и сказал: «Убирайся ты, проклятый Шайтан, в пропасть огненную; я и без тебя сотворю человека». — «Нет, — возразил Шайтан, — дай я тут постою, погляжу, как ты будешь класть живую душу в человека; ведь я его работал, и на мою долю из него что-нибудь надо дать, а то, братец Чампас, мне будет обидно, а тебе нечестно». Спорили, спорили, наконец, порешили разделить человека: Чампас взял себе душу, а Шайтану отдал тело. Шайтан уступил, потому — Чампас не в пример сильнее Шайтана. Оттого, когда человек умирает, душа с образом и подобием божием идет на небо к Чампасу, а тело, лишаясь души, теряет подобие божие, гниет и идет в землю к Шайтану. А птичку-мышь Чампас наказал за дерзость, отнял у нее крылья и приставил ей голенький хвостик и такие же лапки, как у Шайтана. С той поры мыши летать перестали. На вопрос Яна, какому богу веруют волхвы, они отвечали: «Антихристу». — «А где он?» — спросил Ян. — «Сидит в бездне», — отвечали те. — «Какой это бог — сидит в бездне! это бес, а бог на небеси, седяя на престоле». Вслед за историей с ярославскими волхвами летопись сообщает другой рассказ. Случилось одному новгородцу зайти в Чудь и пришел он к кудеснику, чтобы тот поворожил ему. Кудесник, по обычаю своему, стал вызывать бесов. Новгородец сидел на пороге, а кудесник лежал в исступлении, и ударил им бес. Кудесник встал и сказал новгородцу: «Мои боги не смеют прийти; на тебе есть что-то, чего они боятся». Тут новгородец вспомнил, что на нем крест, снял его и вынес из избы. Кудесник стал опять вызывать бесов, и те, потрепав его, поведали, о чем спрашивал новгородец. Последний начал потом расспрашивать кудесника: «Отчего это твои боги креста боятся?» — «А то есть знамение небесного бога, которого наши боги боятся». — «А где живут ваши боги и какие они?» — «Они черные, с крыльями и хвостами, живут в безднах, летают и под небо подслушивать ваших богов: а ваши боги на небесах; если кто из

ваших людей помрет, его относят на небо, а кто помрет из наших, того уносят к нашим богам в бездну». — «Так оно и есть, — прибавляет от себя летописец, — грешники в аду живут, ожидая вечных мук, а праведники в небесном жилище водворяются со ангелами».

Взаимодействие поверий. Изложенные рассказы наглядно воспроизводят процесс взаимодействия русских пришельцев и финских туземцев в области религиозных поверий. Сближение обеих сторон и в этой области было столь же мирно, как и в общежитии: вражды, непримиримой противоположности своих верований не почувствовали встретившиеся стороны. Само собою разумеется, речь идет не о христианском вероучении, а о народных поверьях русских и финских. То и другое племя нашло в своем мифологическом созерцании подобающее место тем и другим верованиям, финским и славянским, языческим и христианским. Боги обоих племен поделились между собою полюбовно: финские боги сели пониже в бездне, русские повыше на небе, и так поделившись, они долго жили дружно между собою, не мешая одни другим, даже умея ценить друг друга. Финские боги бездны возведены были в христианское звание бесов и под покровом этого звания получили место в русско-христианском культе, обрусели, потеряли в глазах Руси свой иноплеменный финский характер: с ними произошло то же самое, что с их первоначальными поклонниками финнами, охваченными Русью. Вот почему русский летописец XI в., говоря о волхвах, о поверьях или обычаях, очевидно финских, не делает и намека на то, что ведет речь о чужом племени, о чуде: язычество, поганство русское или финское для него совершенно одно и то же; его несколько не занимает племенное происхождение или этнографическое различие языческих верований. По мере сближения обоих племен это различие, очевидно, все более сглаживалось и в сознании смешанного населения, образовавшегося вследствие этого сближения. Для пояснения этого племенного безразличия верований приведу сохранившийся в рукописи Соловецкого монастыря коротенький рассказ, единственный в своем роде по форме и содержанию. Здесь простодушно и в легендарном полусвете описано построение первой церкви в Белозерской стране на реке Шексне. Церковь оказалась на месте языческого мольбища, очевидно, финского. В Белозерском краю обитало финское племя весь; камень и береза — предметы финского культа; но в рассказе нет и намека на что-либо инородческое, чуждое.

Рассказ о первой церкви на Шексне. «А на Белеозере жили люди некрещеные, и как учили креститься и веру христианскую спознавати, и они поставили церковь, а не ведают, во имя которого святого. И на утро собрались да пошли в церковь свящати и нарещати которого святого, и как пришли к церкви, оже в речке под церковью стоит челнок, в челноку стулец, и на стульце икона Василий Великий, а пред иконою просфира. И они икону взяли, а церковь нарекли во имя Великого Василия. И некто невежа взял просфиру ту да хотел укусить ее; ино его от просфиры той шибло, а просфира окаменела. И они церковь свящали да учили обедню пети, да как начали евангелие чести, ино грянуло не по обычаю, как бы страшной, великой гром грянул и вси люди уполошились (перепугались), чаяли, что церковь пала, и они скочили и учили смотрити: оно в прежние лета ту было молбище за олтарем, береза да камень, и ту березу вырвало и с корнем, да и камень взяло из земли да в Шексну и потопило. И на Белеозере то первая церковь Василий Великий от такова времени, как вера стала».

Бытовая ассимиляция. Но христианство, как его воспринимала от руси чужь, не вырывало с корнем чудских языческих поверий: народные христианские верования, не вытесняя языческих, строились над ними, образуя верхний слой религиозных представлений, ложившийся на языческую основу. Для мешавшегося русско-чудского населения христианство и язычество — не противоположные, одна другую отрицающие религии, а только восполняющие друг друга части одной и той же веры, относящиеся к различным порядкам жизни, к двум мирам, одна — к миру горнему, небесному, другая — к преисподней, к «бездне». По народным повериям и религиозным обрядам, до недавнего времени сохранявшимся в мордовских и соседних с ними русских селениях приволжских губерний, можно видеть наглядно, как складывалось такое отношение: религиозный процесс, завязавшийся когда-то при первой встрече восточного славянства с чужью, без существенных изменений продолжается на протяжении веков, пока длится обрусение восточных финнов. Мордовские праздники, большие *моляны*, приурочивались к русским народным или церковным празднествам, семику, троицыну дню, рождеству, новому году. В молитвы, обращенные к мордовским богам, верховному творцу Чампасу, к матери богов Анге-Патяй и ее детям, по мере усвоения русского языка вставлялись русские слова: рядом с

«вынимань монь» (помилуй нас) слышалось «давай нам добра здоровья». Вслед за словами заимствовали и религиозные представления: Чампаса величали «верхним богом», Анге-Патяй «матушкой богородицей», ее сына Нишкипаса (нас-бог) Ильей Великим; в день нового года, обращаясь к богу свиней, молились: «Таунсяй Вельки Васяй (Василий Великий), давай поросят черных и белых, каких сам любишь». Языческая молитва, обращенная к стихии, облекалась в русско-христианскую форму: *Вода матушка! подай всем хрещеным людям добрый здоровья*. Вместе с тем языческие символы заменялись христианскими: вместо березового веника, увешанного платками и полотенцами, ставили в переднем углу икону с зажженной перед ней восковой свечой и на коленях произносили молитвы своим Чампасам и Анге-Патяям по-русски, забыв старинные мордовские их тексты. Видя в мордовских публичных молянах столько своего, русского и христианского, русские соседи начинали при них присутствовать, а потом в них участвовать и даже повторять у себя отдельные их обряды и петь сопровождавшие их песни. Все это приводило к тому, что, наконец, ни та, ни другая сторона не могла отдать себе отчета, чьи обычаи и обряды она соблюдает, русские или мордовские. Когда ярославские волхвы на вопрос Яна Вышатича сказали, что они веруют антихристу, что в бездне сидит, Ян воскликнул: да какой же это бог! это бес, а чудский кудесник на вопрос новгородца описал наружность своих крылатых и хвостатых богов, снятую, очевидно, с русской иконы, на которой были изображены бесы. В 1636 г. один черемис в Казани на вопрос Олеария, знает ли он, кто сотворил небо и землю, дал ответ, записанный Олеарием так: *tzort sneit*⁸. Язычник смеялся над «русскими богами», а русского черта боялся. Иезуит Авриль⁹, едучи в 1680-х годах из Саратова, видел, как языческая мордва пьянствовала на Николин день, подражая русским.

Пестрота религиозного сознания. Обоюдное признание чужих верований, конечно, способствовало бытовой ассимиляции и деловому сближению обеих сторон, даже, пожалуй, успехам христианства среди инородцев. При таком признании чудь незаметно переступала разделяющую черту между христианством и язычеством, не изменяя своим старым родным богам, а русь, перенимая чудские поверья и обычаи, добросовестно продолжала считать себя христианами. Этим объясняются позднейшие явления, непонятные на первый взгляд: приволж-

ский инородец, мордвин или черемисин XVI—XVII в., нося христианское имя, пишет вкладную грамоту ближнему монастырю с условием, буде он *крестится* и захочет постричься в том монастыре, то его принять и постричь за тот его вклад. Но такое переплетение несродных понятий вносило великую путаницу в религиозное сознание, проявлявшуюся многими нежелательными явлениями в нравственно-религиозной жизни народа. Принятие христианства становилось не выходом из мрака на свет, не переходом от лжи к истине, а, как бы сказать, перечислением из-под власти низших богов в ведение высших, ибо и покидаемые боги не упразднялись, как вымысел суеверия, а продолжали считаться религиозной реальностью, только отрицательного порядка. Эту путаницу, происшедшую от переработки языческой мифологии в христианскую демонологию, уже в XI в., когда она происходила внутри самой Руси, можно было, применяясь к меткому выражению преподобного Феодосия Печерского¹⁰ о людях, хвалящих свою и чужую веру, назвать *двоeverием*; если бы он увидел, как потом к христианству прививалось вместе с язычеством русским еще чудское, он, может быть, назвал бы столь пестрое религиозное сознание *троeverием*.

Сельский характер колонизации. IV. Наконец, надобно признать значительное влияние финских туземцев на состав общества, какое создавала русская колонизация Верхнего Поволжья. Туземное финское население наполняло преимущественно суздальские села. Из упомянутого жития преподобного Авраамия видно, что в XI в. в городе Ростове только один конец был населен чудью, по крайней мере носил ее название. Русские имена большинства старинных городов Ростовской земли показывают, что они основаны были русскими или появляются не раньше руси и что русь образовала господствующий элемент в составе их населения. Притом мы не замечаем в туземном финском населении признаков значительного социального расчленения, признаков деления на высшие и низшие классы: все это население представляется сплошной, однообразной сельской массой. В этом смысле, вероятно, часть мери, бежавшая от русского крещения, в памятнике, сообщающем это известие, названа «ростовской чернью». Но мы видели, что колонизация приносила в междуречье Оки и верхней Волги преимущественно сельские массы. Благодаря этому русское и обрусевшее население Верхнего Поволжья должно было стать гораздо

более сельским по своему составу, чем каким оно было в южной Руси.

Выводы. Так мы ответили на вопрос, как встретились и подействовали друг на друга русские пришельцы и финские туземцы в области верхней Волги. Из этой встречи не вышло упорной борьбы ни племенной, ни социальной, ни даже религиозной: она не повела к развитию резкого антагонизма или контраста ни политического, ни этнографического, ни нравственно-религиозного, какой обыкновенно развивается из завоевания. Из этой встречи вышла тройная смесь: 1) религиозная, которая легла в основание мифологического мирозерцания великороссов, 2) племенная, из которой выработался антропологический тип великоросса, и 3) социальная, которая в составе верхневолжского населения дала решительный перевес сельским классам.

Влияние природы. Нам остается отметить действие природы Великороссии на смешанное население, здесь образовавшееся посредством русской колонизации. Племенная смесь — первый фактор в образовании великорусского племени. Влияние природы Великороссии на смешанное население — другой фактор. Великорусское племя — не только известный этнографический состав, но и своеобразный экономический строй и даже особый национальный характер, и природа страны много поработала и над этим строем и над этим характером.

Верхнее Поволжье, составляющее центральную область Великороссии, и до сих пор отличается заметными физическими особенностями от Руси днепровской; шесть-семь веков назад оно отличалось еще более. Главные особенности этого края: обилие лесов и болот, преобладание суглинка в составе почвы и паутинная сеть рек и речек, бегущих в разных направлениях. Эти особенности и положили глубокий отпечаток как на хозяйственный быт Великороссии, так и на племенной характер великоросса.

Хозяйственный быт великоросса. В старой Киевской Руси главная пружина народного хозяйства, внешняя торговля, создала многочисленные города, служившие крупными или мелкими центрами торговли. В верхневолжской Руси, слишком удаленной от приморских рынков, внешняя торговля не могла стать главной движущей силой народного хозяйства. Вот почему здесь видим в XV — XVI вв. сравнительно незначительное количество городов, да и в тех значительная часть населения занималась хлебопашеством. Сельские поселения получили

здесь решительный перевес над городами. Притом и эти поселения резко отличались своим характером от сел южной Руси. В последней постоянные внешние опасности и недостаток воды в открытой степи заставляли население размещаться крупными массами, скупившись в огромные, тысячные села, которые до сих пор составляют отличительную черту южной Руси. Напротив, на севере поселенец посреди лесов и болот с трудом отыскивал сухое место, на котором можно было бы с некоторою безопасностью и удобством поставить ногу, выстроить избу. Такие сухие места, открытые пригорки, являлись редкими островками среди моря лесов и болот. На таком островку можно было поставить один, два, много три крестьянских двора. Вот почему деревня в один или два крестьянских двора является господствующей формой расселения в северной России чуть не до конца XVII в. Вокруг таких мелких разбросанных деревень трудно было отыскать значительное сплошное пространство, которое удобно можно было бы распакать. Такие удобные места вокруг деревень попадались незначительными участками. Эти участки и расчищались обитателями маленькой деревни. То была необычайно трудная работа: надобно было, выбрав удобное сухое место для пашни, выжечь покрывавший его лес, выкорчить лни, поднять целину. Удаление от крупных иноземных рынков, недостаток вывоза не давали хлебопашцам побуждения расширять столь трудно обходившуюся им пахоту. Хлебопашество на верхневолжском суглинке должно было удовлетворять лишь насущной потребности самих хлебопашцев. Мы ошиблись бы, подумав, что при скудости населения, при обилии никем не занятой земли крестьянин в древней Великороссии пахал много, больше, чем в прошлом или нынешнем столетии. Подворные пахотные участки в Великороссии XVI—XVII вв. вообще не больше наделов по Положению 19 февраля. Притом тогдашние приемы обработки земли сообщали подвижной, неусидчивый, кочевой характер этому хлебопашеству. Выжигая лес на нови, крестьянин сообщал суглинку усиленное плодородие и несколько лет кряду снимал с него превосходный урожай, потому что зола служит очень сильным удобрением. Но то было насильственное и скоропреходящее плодородие: через шесть-семь лет почва совершенно истощалась, и крестьянин должен был покидать ее на продолжительный отдых, запускать в *перелог*. Тогда он переносил свой двор на другое, часто отдаленное место, поднимал другую новь, ставил новый «починок на лесе».

Так эксплуатируя землю, великорусский крестьянин передвигался с места на место и все в одну сторону, по направлению на северо-восток, пока не дошел до естественных границ русской равнины, до Урала и Белого моря. В восполнение скудного заработка от хлебопашества на верхневолжском суглинке крестьянин должен был обращаться к промыслам. Леса, реки, озера, болота представляли ему множество угодий, разработка которых могла служить подспорьем к скудному земледельческому заработку. Вот источник той особенности, которую с незапамятных времен отличается хозяйственный быт великорусского крестьянина: здесь причина развития местных сельских промыслов, называемых *кустарными*. Лыкодерство, мочальный промысел, зверогонство, бортничество (лесное пчеловодство в дуплах деревьев), рыболовство, солеварение, смолокурение, железное дело — каждое из этих занятий издавна служило основанием, питомником хозяйственного быта для целых округов.

Таковы особенности великорусского хозяйства, создавшиеся под влиянием природы страны. Это 1) разбросанность населения, господство мелких поселков, деревень, 2) незначительность крестьянской запашки, мелкость подворных пахотных участков, 3) подвижной характер хлебопашества, господство переносного или переложного земледелия и 4) наконец, развитие мелких сельских промыслов, усиленная разработка лесных, речных и других угодий.

Его племенной характер. Рядом с влиянием природы страны на народное хозяйство Великороссии замечаем следы ее могущественного действия на племенной характер великоросса. Великороссия XIII—XV вв. со своими лесами, топями и болотами на каждом шагу представляла поселенцу тысячи мелких опасностей, непредвидимых затруднений и неприятностей, среди которых надобно было найтись, с которыми приходилось поминутно бороться. Это приучало великоросса зорко следить за природой, *смотреть в оба*, по его выражению, ходить оглядываясь и ощупывая почву, не соваться в воду, не поискать броду, развивало в нем изворотливость в мелких затруднениях и опасностях, привычку к терпеливой борьбе с невзгодами и лишениями. В Европе нет народа менее избалованного и притязательного, приученного меньше ждать от природы и судьбы и более выносливого. Притом по самому свойству края каждый угол его, каждая местность задавала поселенцу трудную хозяйствен-

ную загадку: где бы здесь ни основался поселенец, ему прежде всего нужно было изучить свое место, все его условия, чтобы высмотреть уголье, разработка которого могла бы быть наиболее прибыльна. Отсюда эта удивительная наблюдательность, какая открывается в народных великорусских приметах.

Приметы. Здесь схвачены все характерные, часто трудно уловимые явления годового оборота великорусской природы, отмечены ее разнообразные случайности, климатические и хозяйственные, очерчен весь годовой обиход крестьянского хозяйства. Все времена года, каждый месяц, чуть не каждое число месяца выступают здесь с особыми метко очерченными климатическими и хозяйственными физиономиями, и в этих наблюдениях, часто доставшихся ценою горького опыта, ярко отразились как наблюдаемая природа, так и сам наблюдатель. Здесь он и наблюдает окружающее, и размышляет о себе, и все свои наблюдения старается привязать к святам, к именам святых и к праздникам. Церковный календарь — это памятная книжка его наблюдений над природой и вместе дневник его дум над своим хозяйственным житьем-бытьем. Январь — году начало, зиме — середка. Вот с января уже великоросс, натерпевшийся зимней стужи, начинает подшучивать над нею. Крещенские морозы — он говорит им: трещи, трещи — минули водокрещи; дуй не дуй — не к рождеству пошло, а к великодню (пасхе). Однако 18 января еще день Афанасия и Кирилла; афанасьевские морозы дают себя знать, и великоросс уныло сознается в преждевременной радости: Афанасий да Кирилло забирают за рыло. 24 января память преподобной Ксении: Аксиньи — полухлебницы-полузимницы: ползими прошло, половина старого хлеба съедена. Примета: какова Аксинья, такова и весна. Февраль — бокогрей, с боку солнце припекает; 2 февраля сретение, сретенские оттепели: зима с летом встретились. Примета: на сретенье снежок — весной дождик. Март теплый, да не всегда: и март на нос садится. 25 марта благовещенье. В этот день весна зиму поборола. На благовещенье медведь встает. Примета: каково благовещенье, такова и святая. Апрель — в апреле земля прееет, ветрено и теплом веет. Крестьянин настораживает внимание: близится страдная пора хлебопашца. Поговорка: апрель сипит да дует, бабам тепло сулит, а мужик глядит, что-то будет. А зимние запасы капусты на исходе. 1 апреля Марии Египетской. Прозвище ее: Марья — пустые щи. Захотел в ап-

реле кислых щей! 5 апреля мученика Феодула. Феодул — ветреник. Пришел Феодул, теплый ветер подул. Феодул губы надул (ненастье). 15 апреля апостола Пуда. Правило: выставлять пчел из зимнего омшаника на пчельник — цветы появились. На св. Пуда доставай пчел из под спуда. 23 апреля св. Георгия Победоносца. Замечено хозяйственно-климатическое соотношение этого дня с 9 мая: Егорий с росой, Никола с травой; Егорий с теплом, Никола с кормом. Вот и май. Зимние запасы приедены. Ай май, май, не холоден, да голоден. А холодки наворачиваются, да и настоящего дела еще нет в поле. Поговорка: май — коню сена дай, а сам на печь полезай. Примета: коли в мае дождь — будет и рожь; май холодный — год хлебородный. 5 мая великомученицы Ирины. Арина — рассадница: рассаду (капусту) сажают и выжигают прошлогоднюю траву, чтобы новой не мешала. Поговорка: на Арину худая трава из поля вон. 21 мая св. царя Константина и матери его Елены. С Аленой по созвучию связался лен: на Алену сей лен и сажай огурцы; Алене льны, Константину огурцы.

Точно так же среди поговорок, прибауток, хозяйственных примет, а порой и «сердца горестных замет» бегут у великоросса и остальные месяцы; июнь, когда закрома пусты в ожидании новой жатвы и который потому зовется *июнь — ау!*, потом июль — страдник, работник; август, когда серпы греют на горячей работе, а вода уже холодит, когда на преображение — второй спас, бери рукавицы про запас; за ним сентябрь — холоден сентябрь, да сыт — после уборки урожая; далее октябрь — грязник, ни колеса, ни полоза не любит, ни на санях, ни на телеге не проедешь, ноябрь-курытник, потому что 1 числа, в день Козьмы и Дамиана, бабы кур режут, оттого и зовется этот день — курячьи именины, куриная смерть. Наконец, вот и декабрь-студень, развал зимы: год кончается — зима начинается. На дворе холодно: время в избе сидеть да учиться. 1 декабря пророка Наума грамотника: начинают ребят грамоте учить. Поговорка: «батюшка Наум, наведи на ум». А стужа крепнет, наступают трескучие морозы, 4 декабря св. великомученицы Варвары. Поговорка: «трещит Варюха — береги нос да ухо».

Так со святыми в руках или, точнее, в цепкой памяти великоросс прошел, наблюдая и изучая, весь годовой круговорот своей жизни. Церковь научила великоросса наблюдать и считать время. Святые и праздники были

его путеводителями в этом наблюдении и изучении. Он вспоминал их не в церкви только: он уносил их из храма с собой в свою избу, в поле и лес, навешивая на имена их свои приметы в виде бесцеремонных прозвищ, какие дают закадычным друзьям: Афанасий-*ломонос*, Самсон-*сеногной*, что в июле дождем сено гноит, Федул-*ветреник*, Акулины-*гречишницы*, мартовская Авдотья *подмочи порог*, апрельская Марья *зажги снега, заиграй овражки* и т. д. без конца. В приметах великоросса и его метеорология, и его хозяйственный учебник, и его бытовая автобиография; в них отлился весь он со своим бытом и кругозором, со своим умом и сердцем; в них он и размышляет, и наблюдает, и радуется, и горюет, и сам же подсмеивается и над своими горями, и над своими радостями.

Психология великоросса. Народные приметы великоросса своенравны, как своенравна отразившаяся в них природа Великороссии. Она часто смеется над самыми осторожными расчетами великоросса; своенравие климата и почвы обманывает самые скромные его ожидания, и, привыкнув к этим обманам, расчетливый великоросс любит подчас, очертя голову, выбрать самое что ни на есть безнадежное и нерасчетливое решение, противопоставляя капризу природы каприз собственной отваги. Эта склонность дразнить счастье, играть в удачу и есть великорусский *авось*.

В одном уверен великоросс — что надобно дорожить ясным летним рабочим днем, что природа отпускает ему мало удобного времени для земледельческого труда и что короткое великорусское лето умеет еще укорачиваться безвременным неожиданным ненастьем. Это заставляет великорусского крестьянина спешить, усиленно работать, чтобы сделать много в короткое время и впору убраться с поля, а затем оставаться без дела осень и зиму. Так великоросс приучался к чрезмерному кратковременному напряжению своих сил, привыкал работать скоро, лихорадочно и споро, а потом отдыхать в продолжение вынужденного осеннего и зимнего безделья. Ни один народ в Европе не способен к такому напряжению труда на короткое время, какое может развить великоросс; но и нигде в Европе, кажется, не найдем такой непривычки к ровному, умеренному и размеренному, постоянному труду, как в той же Великороссии.

С другой стороны, свойствами края определился порядок расселения великороссов. Жизнь удаленными друг

от друга, уединенными деревнями при недостатке общения естественно не могла приучать великоросса действовать большими союзами, дружными массами. Великоросс работал не на открытом поле, на глазах у всех, подобно обитателю южной Руси: он боролся с природой в одиночку, в глуши леса с топором в руке. То была молчаливая черная работа над внешней природой, над лесом или диким полем, а не над собой и обществом, не над своими чувствами и отношениями к людям. Потому великоросс лучше работает один, когда на него никто не смотрит, и с трудом привыкает к дружному действию общими силами. Он вообще замкнут и осторожен, даже робок, вечно себе на уме, необщителен, лучше сам с собой, чем на людях, лучше в начале дела, когда еще не уверен в себе и в успехе, и хуже в конце, когда уже добьется некоторого успеха и привлечет внимание: неуверенность в себе возбуждает его силы, а успех роняет их. Ему легче одолеть препятствие, опасность, неудачу, чем с тактом и достоинством выдержать успех; легче сделать великое, чем освоиться с мыслью о своем величии. Он принадлежит к тому типу умных людей, которые глупеют от признания своего ума. Словом, великоросс лучше великорусского общества.

Должно быть, каждому народу от природы положено воспринимать из окружающего мира, как и из переживаемых судеб, и претворять в свой характер не всякие, а только известные впечатления, и отсюда происходит разнообразие национальных складов или типов, подобно тому как не одинаковая световая восприимчивость производит разнообразие цветов. Сообразно с этим и народ смотрит на окружающее и переживаемое под известным углом, отражает то и другое в своем сознании с известным преломлением. Природа страны, наверное, не без участия в степени и направлении этого преломления. Невозможность рассчитать наперед, заранее сообразить план действий и прямо идти к намеченной цели заметно отразилась на складе ума великоросса, на манере его мышления. Житейские неровности и случайности приучили его больше обсуждать пройденный путь, чем соображать дальнейший, больше оглядываться назад, чем заглядывать вперед. В борьбе с неожиданными метелями и оттепелями, с непредвиденными августовскими морозами и январской слякотью он стал больше осмотрителен, чем предусмотрителен, выучился больше замечать следствия, чем ставить цели, воспитал в себе умение подводить ито-

ги насчет искусства составлять сметы. Это уметь и есть то, что мы называем *задним умом*. Поговорка *русский человек задним умом крепок* вполне принадлежит великороссу. Но задний ум не то же, что *задняя мысль*. Своей привычкой колебаться и лавировать между неровностями пути и случайностями жизни великоросс часто производит впечатление непрямоты, неискренности. Великоросс часто думает надвое, и это кажется двоедушием. Он всегда идет к прямой цели, хотя часто и недостаточно обдуманной, но идет, оглядываясь по сторонам, и потому походка его кажется уклончивой и колеблющейся. Ведь *лбом стены не прошибешь, и только вороны прямо летают*, говорят великорусские пословицы. Природа и судьба вели великоросса так, что приучили его выходить на прямую дорогу окольными путями. Великоросс мыслит и действует, как ходит. Кажется, что можно придумать кривее и извилистее великорусского проселка? Точно змея проползла. А попробуйте пройти прямее: только проплутаете и выйдете на ту же извилистую тропу.

Так сказало действие природы Великороссии на хозяйственном быте и племенном характере великоросса.



ЗНАЧЕНИЕ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ ДЛЯ РУССКОГО НАРОДА И ГОСУДАРСТВА¹

Когда вместе с разнообразной, набожно крестящейся народной волной вступаешь в ворота Сергиевой Лавры, иногда думаешь: почему в этой обители нет и не было особого наблюдателя, подобного древнерусскому летописцу, который спокойным неизменным взглядом наблюдал и ровной бесстрастной рукой записывал, «еже содеяся в Русской земле», и делал это одинаково из года в год, из века в век, как будто это был один и тот же человек, не умиравший целые столетия? Такой бесменный и не умирающий наблюдатель рассказал бы, какие люди приходили в течение 500 лет поклониться гробу преподобного Сергия и с какими помыслами и чувствами возвращались отсюда во все концы Русской земли. Между прочим он объяснил бы нам, как это случилось, что состав общества, непрерывною волной притекавшего ко гробу преподобного, в течение пяти веков оставался неизменным. Еще при жизни преподобного, как рассказывает его жизнеописатель-современник, многое множество приходило к нему из различных стран и городов, и в числе приходивших были и иноки, и князья, и вельможи, и простые люди, «на селе живущие». И в наши дни люди всех классов русского общества притекают к гробу преподобного со своими думами, мольбами и упованиями, государственные деятели приходят в трудные переломы народной жизни, простые люди в печальные или радостные минуты своего частного существования. И этот приток не изменился в течение веков, несмотря на неоднократные и глубокие перемены в строе и настроении русского общества: старые понятия иссякали, новые пробивались или наплывали,

а чувства и верования, которые влекли сюда людей со всех концов Русской земли, бьют до сих пор тем же свежим ключом, как били в XIV в. Если бы возможно было воспроизвести писанием все, что соединилось с памятью преподобного, что в эти 500 лет было молчаливо передумано и пережито пред его гробом миллионами умов и сердец, это писание было бы полной глубокого содержания историей нашей всенародной политической и нравственной жизни.

Впрочем, если преп. Сергей доселе остается для входящих к нему тем же, чем был для них при своей жизни, то и теперь на их лицах можно прочесть то же, что прочесть бы монастырский наблюдатель на лицах своих современников 400 или 500 лет назад. Достаточно взглянуть на первые встречные лица из многого множества, в эти дни здесь теснящегося, чтобы понять, во имя чего поднялись со своих мест эти десятки тысяч, а сотни других мысленно следовали за ними. Да и каждый из нас в своей собственной душе найдет то же общее чувство, стоя у гробницы преподобного. У этого чувства уже нет истории, как для того, кто покоится в этой гробнице, давно остановилось движение времени. Это чувство вот уже пять столетий одинаково загорается в душе молящегося у этой гробницы, как солнечный луч в продолжение тысячелетий одинаково светится в капле чистой воды. Спросите любого из этих простых людей, с посохом и котомкой пришедших сюда издалека: когда жил преподобный Сергей и что сделал для Руси XIV века, чем он *был* для своего времени? И редкий из них даст вам удовлетворительный ответ; но на вопрос, что он *есть* для них, далеких потомков людей XIV века, и зачем они теперь пришли к нему; каждый ответит твердо и вразумительно.

Есть имена, которые носили исторические люди, жившие в известное время, делавшие исторически известное жизненное дело, но имена, которые уже утратили хронологическое значение, выступили из границ времени, когда жили их носители. Это потому, что дело, сделанное таким человеком, по своему значению так далеко выходило за пределы своего века, своим благотворным действием так глубоко захватило жизнь дальнейших поколений, что с лица, его сделавшего, в сознании этих поколений постепенно спадало все временное и местное, и оно из исторического деятеля превратилось в народную идею, а самое дело его из исторического факта стало практической заповедью, заветом, тем, что мы привыкли

называть идеалом. Такие люди становятся для грядущих поколений не просто великими покойниками, а вечными их спутниками, даже путеводителями, и целые века благоговейно твердят их дорогие имена не столько для того, чтобы благодарно почтить их память, сколько для того, чтобы самим не забыть правила, ими завещанного. Таково имя преподобного Сергия; это не только назидательная, отрадная страница нашей истории, но и светлая черта нашего нравственного народного содержания.

Какой подвиг так освятил это имя? Надобно припомнить время, когда подвизался преподобный. Он родился, когда вымирали последние старики, увидевшие свет около времени татарского разгрома Русской земли и когда уже трудно было найти людей, которые бы этот разгром помнили. Но во всех русских нервах еще до боли живо было впечатление ужаса, произведенного этим все-народным бедствием и постоянно подновлявшегося многократными местными нашествиями татар. Это было одно из тех народных бедствий, которые приносят не только материальное, но и нравственное разорение, надолго повергая народ в мертвенное оцепенение. Люди беспомощно опускали руки, умы теряли всякую бодрость и упругость и безнадежно отдавались своему прискорбному положению, не находя и не ища никакого выхода. Что еще хуже, ужасом отцов, переживших бурю, заражались дети, родившиеся после нее. Мать пугала непокойного ребенка лихим татаринном; услышав это злое слово, взрослые растерянно бросались бежать, сами не зная куда. Внешняя случайная беда грозила превратиться во внутренний хронический недуг; панический ужас одного поколения мог развиться в народную робость, в черту национального характера, и в истории человечества могла бы прибавиться лишняя темная страница, повествующая о том, как нападение азиатского монгола повело к падению великого европейского народа.

Могла ли однако прибавиться такая страница? Одним из отличительных признаков великого народа служит его способность подниматься на ноги после падения. Как бы ни было тяжело его унижение, но пробьет урочный час, он соберет свои растерянные нравственные силы и воплотит их в одном великом человеке или в нескольких великих людях, которые и выведут его на покинутую им временно прямую историческую дорогу.

Русские люди, сражавшиеся и уцелевшие в бою на Сити², сошли в могилу со своими сверстниками, безнадежно оглядываясь вокруг, не займется ли где заря освобождения. За ними последовали их дети, тревожно наблюдавшие, как многочисленные русские князья холопствовали перед татарами и дрались друг с другом. Но подросли внуки, сверстники Ивана Калиты³, и стали присматриваться и прислушиваться к необычным делам в Русской земле. В то время, как все русские окраины страдали от внешних врагов, маленькое срединное Московское княжество оставалось безопасным, и со всех краев Русской земли потянулись туда бояре и простые люди. В то же время московские князьки, братья Юрий⁴ и этот самый Иван Калита, без оглядки и раздумья, пуская против врагов все доступные средства, ставя в игру все, что могли поставить, вступили в борьбу со старшими и сильнейшими князьями за первенство, за старшее Владимирское княжение, и при содействии самой Орды отбили его у соперников. Тогда же устроилось так, что и русский митрополит, живший во Владимире, стал жить в Москве, придав этому городку значение церковной столицы Русской земли. И как только случилось все это, все почувствовали, что татарские опустошения прекратились и наступила давно не испытанная тишина в Русской земле. По смерти Калиты Русь долго вспоминала его княжение, когда ей впервые в сто лет рабства удалось вздохнуть свободно, и любила украшать память этого князя благодарной легендой.

Так к половине XIV в. подросло поколение, выросшее под впечатлением этой тишины, начавшее отвыкать от страха ордынского, от нервной дрожи отцов при мысли о татарине. Недаром представителю этого поколения, сыну великого князя Ивана Калиты, Симеону современники дали прозвание Гордого⁵. Это поколение и почувствовало ободрение, что скоро забрезжит свет. В это именно время, в начале сороковых годов XIV в., свершились три знаменательных события: из московского Богоявленского монастыря вызван был на церковно-административное поприще скрывавшийся там скромный 40-летний инок Алексий⁶, тогда же один 20-летний искатель пустыни, будущий преподобный Сергей, в дремучем лесу — вот на этом самом месте — поставил маленькую деревянную келию с такой же церковью, а в Устюге у бедного соборного причетника родился сын, будущий просветитель Пермской земли св. Стефан⁷. Ни одного из этих имен

нельзя произнести, не вспомнив двух остальных. Эта присноблаженная троица ярким созвездием блещет в нашем XIV в., делая его зарей политического и нравственного возрождения Русской земли. Тесная дружба и взаимное уважение соединяли их друг с другом. Митрополит Алексей навещал Сергия в его обители и советовался с ним, желал иметь его своим преемником. Припомним задушевный рассказ в житии преподобного Сергия о проезде св. Стефана Пермского мимо Сергиева монастыря, когда оба друга на расстоянии 10 с лишком верст обменялись братскими поклонами.

Все три св. мужа, подвизаясь каждый на своем поприще, делали одно общее дело, которое простиралось далеко за пределы церковной жизни и широко захватывало политическое положение всего народа. Это дело — укрепление Русского государства, над созданием которого по-своему трудились московские князья XIV в. Это дело было исполнением завета, данного русской церковной иерархией величайшим святителем древней Руси митрополитом Петром⁸. Еще в мрачное время татарского ига, когда ниоткуда не проступал луч надежды, он, по преданию, пророчески благословил бедный тогда городок Москву, как будущую церковную и государственную столицу Русской земли. Духовными силами трех наших св. мужей XIV в., воспринявших этот завет святителя, Русская земля и пришла поработать над предвозвещенной судьбой этого города. Ни один из них не был коренным москвичом. Но в их лице сошлись для общего дела три основные части Русской земли: Алексей, сын черниговского боярина-переселенца, представлял старый киевский юг, Стефан — новый финско-русский север, а Сергий, сын ростовского боярина-переселенца, великорусскую середину. Они приложили к делу могущественные духовные силы. Это были образованнейшие русские люди своего века; о них древние жизнеописатели замечают, что один «всю грамоту добре умея», другой «всяко писание ветхаго и новаго завета пройде», третий даже «книги греческия извыче добре». Потому ведь и удалось московским князьям так успешно собрать в своих руках материальные, политические силы русского народа, что им дружно содействовали добровольно соединявшиеся духовные его силы.

Но в общем деле каждый из трех деятелей делал свою особую часть. Они не составляли общего плана действий, не распределяли между собой призваний и подвигов и не

могли этого сделать, потому что были люди разных поколений. Они хотели работать над самими собой, делать дело собственного душевного спасения. Деятельность каждого текла своим особым руслом, но текла в одну сторону с двумя другими, направляемая таинственными историческими силами, в видимой работе которых верующий ум прозревает миродержавную десницу провидения. Личный долг каждого своим путем вел всех троих к одной общей цели. Происходя из родовитого боярства, искони привыкшего делить с князьями труды обороны и управления страны, митрополит Алексей шел боевым политическим путем, был преемственно главным советником трех великих князей московских, руководил их боярской думой, ездил в орду ублажать ханов, отмаливая их от злых замыслов против Руси, воинствовал с недругами Москвы всеми средствами своего сана, карал церковным отлучением русских князей, непослушных московскому государю, поддерживая его первенство, с неослабной энергией отстаивая значение Москвы, как единственного церковного средоточия всей политически разбитой Русской земли. Уроженец г. Устюга, в краю которого новгородская и ростовская колонизация, сливаясь и вовлекая в свой поток туземную чудь, создавала из нее новую Русь, св. Стефан пошел с христианской проповедью в Пермскую землю продолжать это дело обрусения и просвещения заволжских инородцев. Так церковная иерархия благословила своим почином две народные цели, достижение которых послужило основанием самостоятельного политического существования нашего народа: это — сосредоточение династически раздробленной государственной власти в московском княжеском доме и приобщение восточноевропейских и азиатских инородцев к русской церкви и народности посредством христианской проповеди.

Но чтобы сбросить варварское иго, построить прочное независимое государство и ввести инородцев в ограду христианской церкви, для этого самому русскому обществу должно было встать в уровень столь высоких задач, приподнять и укрепить свои нравственные силы, приобретенные вековым порабощением и унынием. Этому третьему делу, нравственному воспитанию народа, и посвятил свою жизнь преподобный Сергей. То была внутренняя миссия, долженствовавшая служить подготовкой и обеспечением успехов миссии внешней, начатой пермским просветителем; преподобный Сергей и вышел на

свое дело значительно раньше св. Стефана. Разумеется, он мог применять к делу средства нравственной дисциплины, ему доступные и понятные тому веку, а в числе таких средств самым сильным был живой пример, наглядное осуществление нравственного правила. Он начал с самого себя и продолжительным уединением, исполненным трудов и лишений среди дремучего леса, приготовился быть руководителем других пустынножителей. Жизнеописатель, сам живший в братстве, воспитанном Сергием, живыми чертами описывает, как оно воспитывалось, с какой постепенностью и любовью к человеку, с каким терпением и знанием души человеческой. Мы все читали и перечитывали эти страницы древнего жития, повествующие о том, как Сергий, начав править собиравшейся к нему братией, был для нее поваром, пекарем, мельником, дровоколом, портным, плотником, каким угодно трудником служил ей, как раб купленный, по выражению жития, ни на один час не складывал рук для отдыха; как потом, став настоятелем обители и продолжая ту же черную хозяйственную работу, он принимал искавших у него пострижения, не спускал глаз с каждого новика, возводя его со степени на степень иноческого искуса, указывал дело всякому по силам, ночью дозором ходил мимо келий, легким стуком в дверь или окно напоминал празднословившим, что у монаха есть лучшие способы проводить досужее время, а поутру осторожными намеками, не обличая прямо, не заставляя краснеть, «тихой и кроткой речью» вызывал в них раскаяние без досады. Читая эти рассказы, видишь пред собою практическую школу благонравия, в которой сверх религиозно-иноческого воспитания главными житейскими науками были умение отдавать всего себя на общее дело, навык к усиленному труду и привычка к строгому порядку в занятиях, помыслах и чувствах. Наставник вел ежедневную дробную терпеливую работу над каждым отдельным братом, над отдельными особенностями каждого брата, приспособляя их к целям всего братства. По последующей самостоятельной деятельности учеников преподобного Сергия видно, что под его воспитательным руководством лица не обезличивались, личные свойства не стирались, каждый оставался сам собой и, становясь на свое место, входил в состав сложного и стройного целого, как в мозаической иконе различные по величине и цвету камешки укладываются под рукой мастера в гармоническое выразитель-

ное изображение. Наблюдение и любовь к людям дали умение тихо и кротко настраивать душу человека и извлекать из нее, как из хорошего инструмента, лучшие ее чувства,— то умение, перед которым не устоял самый упрямый русский человек XIV века, кн. Олег Иванович рязанский⁹, когда по просьбе великого князя московского Дмитрия Ивановича¹⁰, как рассказывает летописец, «старец чудный» отговорил «суровейшего» рязанца от войны с Москвой, умилив его тихими и кроткими речами и благоуветливыми глаголами.

Так воспиталось дружное братство, производившее, по современным свидетельствам, глубокое назидательное впечатление на мирян. Мир приходил к монастырю с пытливым взглядом, каким он привык смотреть на монашество, и если его не встречали здесь словами *прииди* и *виждь*, то потому, что такой зазыв был противен Сергиевой дисциплине. Мир смотрел на чин жизни в монастыре преподобного Сергия, и то, что он видел, быт и обстановка пустынного братства поучали его самым простым правилам, которыми крепко людское христианское общежитие. В монастыре все было бедно и скудно, или, как выразился разочарованно один мужичок, пришедший в обитель преподобного Сергия повидать прославленного величественного игумена, «все худостно, все нищетно, все сиротинско»; в самой ограде монастыря первобытный лес шумел над кельями и осенью обсыпал их кровли палыми листьями и иглами; вокруг церкви торчали свежие пни и валялись необрушенные стволы срубленных деревьев; в деревянной церковке за недостатком свеч пахло лучиной; в обиходе братии столько же недостатков, сколько заплат на сермяжной ряске игумена; чего ни хватись, всего нет, по выражению жизнеописателя; случалось, вся братия по целым дням сидела чуть не без куска хлеба. Но все дружны между собой и приветливы к пришельцам, во всем следы порядка и размышления, каждый делает свое дело, каждый работает с молитвой и все молятся после работы; во всех чуялся скрытый огонь, который без искр и вспышек обнаруживался живительной теплотой, обдававшей всякого, кто вступал в эту атмосферу труда, мысли и молитвы. Мир видел все это и уходил ободренный и освеженный, подобно тому, как мутная волна, прибывая к прибрежной скале, отлагает от себя примесь, захваченную в неопрятном месте, и бежит далее светлой и прозрачной струей. Надобно припомнить людей XIV века, их быт и обстановку, запас их умственных и нравственных

средств, чтобы понять впечатление этого зрелища на набожных наблюдателей. Нам, страдающим избытком нравственных возбуждений и недостатком нравственной восприимчивости, трудно уже воспроизвести слагавшееся из этих наблюдений настроение нравственной сосредоточенности и общественного братства, какое разносили по своим углам из этой пустыни побывавшие в ней люди XIV в. Таких людей была капля в море православного русского населения. Но ведь и в тесто немного нужно вещества, вызывающего в нем живительное брожение. Нравственное влияние действует не механически, а органически. На это указал сам Христос, сказав: *«Царство Божие подобно закваске»*. Украдкой западая в массы, это влияние вызывало брожение и незаметно изменяло направление умов, перестраивало весь нравственный строй души русского человека XIV в. От вековых бедствий этот человек так оскудел нравственно, что не мог не замечать в своей жизни недостатка этих первых основ христианского общежития, но еще не настолько очерствел от этой скудости, чтобы не чувствовать потребности в них.

Пробуждение этой потребности и было началом нравственного, а потом и политического возрождения русского народа. Пятьдесят лет делал свое тихое дело преподобный Сергий в Радонежской пустыне; целые полвека приходившие к нему люди вместе с водой из его источника черпали в его пустыне утешение и ободрение и, воротясь в свой круг, по каплям делились им с другими. Никто тогда не считал гостей пустытника и тех, кого они делали причастниками приносимой ими благодатной росы, — никто не думал считать этого, как человек, пробуждающийся с ощущением здоровья, не думать о своем пульсе. Но к концу жизни Сергия едва ли вырывался из какой-либо православной груди на Руси скорбный вздох, который бы не облегчался молитвенным призывом имени св. старца. Этими каплями нравственного влияния и выращены были два факта, которые легли среди других основ нашего государственного и общественного здания и которые оба связаны с именем преподобного Сергия. Один из этих факторов — великое событие, совершившееся при жизни Сергия, а другой — целый сложный и продолжительный исторический процесс, только начавшийся при его жизни.

Событие состояло в том, что народ, привыкший дрожать при одном имени татарина, собрался наконец с ду-

хом, встал на поработителей и не только нашел в себе мужество встать, но и пошел искать татарских полчищ в открытой степи и там повалился на врагов несокрушимой стеной, похоронив их под своими многотысячными костями. Как могло это случиться? Откуда взялись, как воспитались люди, отважившиеся на такое дело, о котором боялись и подумать их деды? Глаз исторического знания уже не в состоянии разглядеть хода этой подготовки великих борцов 1380 года; знаем только, что преподобный Сергей благословил на этот подвиг главного вождя русского ополчения, сказав: «Иди на безбожников смело, без колебания, и победишь»,— и этот молодой вождь был человек поколения, возмужавшего на глазах преподобного Сергия и вместе с князем Дмитрием Донским бившегося на Куликовом поле.

Чувство нравственной бодрости, духовной крепости, которое преподобный Сергей вдохнул в русское общество, еще живее и полнее воспринималось русским монашеством. В жизни русских монастырей со времени Сергия начался замечательный перелом: заметно оживилось стремление к иночеству. В бедственный первый век ига это стремление было очень слабо: в сто лет 1240—1340 гг. возникло всего каких-нибудь десятка три новых монастырей. Зато в следующее столетие 1340—1440 гг., когда Русь начала отдыхать от внешних бедствий и приходиться в себя, из куликовского поколения и его ближайших потомков вышли основатели до 150 новых монастырей. Таким образом, древнерусское монашество было точным показателем нравственного состояния своего мирского общества: стремление покинуть мир усиливалось не оттого, что в миру скоплялись бедствия, а по мере того, как в нем возвышались нравственные силы. Это значит, что русское монашество было отречением от мира во имя идеалов, ему непосильных, а не отрицанием мира во имя начал, ему враждебных. Впрочем, исторические факты здесь говорят не более того, что подсказывает сама идея православного иночества. Эта связь русского монастыря с миром обнаружилась и в другом признаке перелома, в перемене самого направления монастырской жизни со времен преп. Сергия. До половины XIV в. почти все монастыри на Руси возникали в городах или под их стенами; с этого времени решительный численный перевес получают монастыри, возникавшие вдали от городов, в лесной глухой пустыне, ждавшей топора и сохи. Так к основной цели монашества, в борьбе с недостатками дужов-

ной природы человека, присоединилась новая борьба с неудобствами внешней природы; лучше сказать, эта вторая цель стала новым средством для достижения первой.

Преподобный Сергий со своею обителью и своими учениками был образцом и начинателем в этом оживлении монастырской жизни, «начальником и учителем всем монастырем, иже в Руси», как называет его летописец. Колонии Сергиевской обители, монастыри, основанные учениками преподобного или учениками его учеников, считались десятками, составляли почти четвертую часть всего числа новых монастырей во втором веке татарского ига, и почти все эти колонии были пустынные монастыри подобно своей митрополии. Но, убегая от соблазнов мира, основатели этих монастырей служили его насущным нуждам. До половины XIV в. масса русского населения, сбита врагами в междуречье Оки и верхней Волги, робко жалась здесь по немногим расчищенным среди леса и болот полосам удобной земли. Татары и Литва запирали выход из этого треугольника на запад, юг и юго-восток. Оставался открытым путь на север и северо-восток за Волгу; но то был глухой непроходимый край, кое-где занятый дикарями финнами; русскому крестьянину с семьей и бедными пожитками страшно было пуститься в эти бездорожные дебри. «Много было тогда некрещенных людей за Волгой», т. е. мало крещенных, говорит старая летопись одного заволжского монастыря о временах до Сергия. Монах-пустынный и пошел туда смелым разведчиком. Огромное большинство новых монастырей с половины XIV до конца XV в. возникло среди лесов костромского, ярославского и вологодского Заволжья: этот волжско-двинский водораздел стал северной Фиваидой православного Востока. Старинные памятники истории русской церкви рассказывают, сколько силы духа проявлено было русским монашеством в этом мирном завоевании финского языческого Заволжья для христианской церкви и русской народности. Многочисленные лесные монастыри становились здесь опорными пунктами крестьянской колонизации: монастырь служил для переселенца-хлебопашца и хозяйственным руководителем, и ссудной кассой, и приходской церковью, и, наконец, приютом под старость. Вокруг монастырей оседало бродячее население, как корнями деревьев сцепляется зыбучая песчаная почва. Ради спасения души монах бежал из мира в заволжский лес, а мирянин цеплял-

ся за него и с его помощью заводил в этом лесу новый русский мир. Так создавалась верхневолжская Великороссия дружными усилиями монаха и крестьянина, воспитанных духом, какой вдохнул в русское общество преподобный Сергей.

Напутствуемые благословением старца, шли борцы, одни на юг за Оку на татар, другие на север за Волгу на борьбу с лесом и болотом.

Время давно свеяло эти дела с народной памяти, как оно же глубоко заметало вековой пылью кости куликовских бойцов. Но память святого пустынножителя доселе парит в народном сознании, как гроб с его нетлеющими останками неврединно стоит на поверхности земли. Чем дорога народу эта память, что она говорит ему, его уму и сердцу? Современным, засохшим в абстракциях и схемах языком трудно изобразить живые, глубоко сокрытые движения верующей народной души. В эту душу глубоко запало какое-то сильное и светлое впечатление, произведенное когда-то одним человеком и произведенное неуловимыми, бесшумными нравственными средствами, про которые не знаешь, что и рассказать, как не находишь слов для передачи иного светлого и ободряющего, хотя молчаливого взгляда. Виновник впечатления давно ушел, исчезла и обстановка его деятельности, оставив скудные остатки в монастырской ризнице да источник, изведенный его молитвою, а впечатление все живет, переливаясь свежей струей из поколения в поколение, и ни народные бедствия, ни нравственные переломы в обществе доселе не могли сгладить его. Первое смутное ощущение нравственного мужества, первый проблеск духовного пробуждения — вот в чем состояло это впечатление. Примером своей жизни, высотой своего духа преподобный Сергей поднял упавший дух родного народа, пробудил в нем доверие к себе, к своим силам, вдохнул веру в свое будущее. Он вышел из нас, был плоть от плоти нашей и кость от костей наших, а поднялся на такую высоту, о которой мы и не чаяли, чтобы она кому-нибудь из наших была доступна. Так думали тогда все на Руси и это мнение разделял православный Восток, подобно тому цариградскому епископу, который, по рассказу Сергиева жизнеописателя, приехав в Москву и слыша всюду толки о великом русском подвижнике, с удивлением восклицал: *«Како может в сих странах таков светильник явиться?»* Преподобный Сергей своей жизнью, самой возможностью такой жизни дал почувствовать заскорбевшему народу,

что в нем еще не все доброе погасло и замерло; своим появлением среди соотечественников, *сидевших во тьме и сени смертной*, он открыл им глаза на самих себя, помог им заглянуть в свой собственный внутренний мрак и разглядеть там еще тлевшие искры того же огня, которым горел озаривший их светоч. Русские люди XIV века признали это действие чудом, потому что оживить и привести в движение нравственное чувство народа, поднять его дух выше его привычного уровня — такое проявление духовного влияния всегда признавалось Чудесным, творческим актом; таково оно и есть по своему существу и происхождению, потому что его источник — вера. Человек, раз вдохнувший в общество такую веру, давший ему живо ощутить в себе присутствие нравственных сил, которых оно в себе не чаяло, становится для него носителем чудодейственной искры, способной зажечь и вызвать к действию эти силы всегда, когда они понадобятся, когда окажутся недостаточными наличные обиходные средства народной жизни. Впечатление людей XIV века становилось верованием поколений, за ними следовавших. Отцы передавали воспринятое ими одушевление детям, а они возводили его к тому же источнику, из которого впервые почерпнули его современники. Так духовное влияние преподобного Сергия пережило его земное бытие и перелилось в его имя, которое из исторического воспоминания сделалось вечно деятельным нравственным двигателем и вошло в состав духовного богатства народа. Это имя сохраняло силу непосредственного личного впечатления, какое производил преподобный на современников; эта сила длилась и тогда, когда стало тускнеть историческое воспоминание, заменяясь церковной *памятью*, которая превращала это впечатление в привычное, поднимающее дух настроение. Так теплота ощущается долго после того как погаснет ее источник. Этим настроением народ жил целые века; оно помогало ему устроить свою внутреннюю жизнь, сплотить и упрочить государственный порядок. При имени преподобного Сергия народ вспоминает свое нравственное возрождение, сделавшее возможным и возрождение политическое, и затверживает правило, что политическая крепость прочна только тогда, когда держится на силе нравственной. Это возрождение и это правило — самые драгоценные вклады преподобного Сергия, не архивные или теоретические, а положенные в живую душу народа, в его нравственное содержание.

Нравственное богатство народа наглядно исчисляется памятниками деяний на общее благо, памятью деятелей, внесших наибольшее количество добра в свое общество. С этими памятниками и памятью срастается нравственное чувство народа; они — его питательная почва; в них его корни; оторвите его от них — оно завянет как скошенная трава. Они питают не народное самомнение, а мысль об ответственности потомков перед великими предками, ибо нравственное чувство есть чувство долга. Творя память преподобного Сергия, мы проверяем самих себя, пересматриваем свой нравственный запас, завещанный нам великими строителями нашего нравственного порядка, обновляем его, пополняя произведенные в нем траты. Ворота лавры преподобного Сергия затворятся и лампы погаснут над его гробницей — только тогда, когда мы растратим этот запас без остатка, не пополняя его.



ДОБРЫЕ ЛЮДИ ДРЕВНЕЙ РУСИ

Благотворительность — вот слово с очень спорным значением и с очень простым смыслом. Его многие различно толкуют и все одинаково понимают. Спросите, что значит делать добро ближнему, и возможно, что получите столько же ответов, сколько у вас собеседников. Но поставьте их прямо перед несчастным случаем, перед страдающим человеком с вопросом, что делать — и все будут готовы помочь, кто чем может. Чувство сострадания так просто и непосредственно, что хочется помочь даже тогда, когда страдающий не просит о помощи, даже тогда, когда помощь ему вредна и даже опасна, когда он может злоупотребить ею. На досуге можно размышлять и спорить об условиях правительственных ссуд нуждающимся, об организации и сравнительном значении государственной и общественной помощи, об отношении той и другой к частной благотворительности, о доставлении заработков нуждающимся, о деморализующем влиянии дарового пособия; на досуге, когда минует беда, и мы обо всем этом подумаем и поспорим. Но когда видишь, что человек тонет, первое движение — броситься к нему на помощь, не спрашивая, как и зачем он попал в воду и какое нравственное впечатление произведет на него наша помощь. При обсуждении участия, какое могут принять в деле помощи народу правительство, земство и общество, надобно разделять различные элементы и мотивы: экономическую политику, принимающую меры, чтобы вывести труд и хозяйство народа из неблагоприятных условий, и следствия помощи, могущие оказаться невыгодными с точки зрения полиции и общественной

дисциплины, и возможность всяких злоупотреблений. Все это соображения, которые относятся к компетенции подлежащих ведомств, но которых можно не примешивать к благотворительности в собственном смысле. Нам, частным лицам, открыта только такая благотворительность, а она может руководиться лишь нравственным побуждением, чувством сострадания к страдающему. Лишь бы помочь ему остаться живым и здоровым, а если он дурно воспользуется нашей помощью, это его вина, которую, по миновании нужды, позаботятся исправить подлежащие власти и влияния.

Так понимали у нас частную благотворительность в старину; так, без сомнения, понимаем ее и мы, унаследовав путем исторического воспитания добрые понятия и навыки старины.

Древнерусское общество под руководством церкви в продолжение веков прилежно училось понимать и исполнять и вторую из двух основных заповедей, в которых заключаются весь закон и пророки,— заповедь о любви к ближнему. При общественной безурядице, при недостатке безопасности для слабого и защиты для обижаемого, практика этой заповеди направлялась преимущественно в одну сторону: любовь к ближнему полагали прежде всего в подвиге сострадания к страждущему, ее первым требованием признавали личную милостыню. Идея этой милостыни полагалась в основание практического нравоучения; потребность в этом подвиге воспитывалась всеми тогдашними средствами духовно-нравственной педагогики. Любить ближнего — это прежде всего накормить голодного, напоить жаждущего, посетить заключенного в темнице. Человеколюбие на деле значило нищелюбие. Благотворительность была не столько вспомогательным средством общественного благоустройства, сколько необходимым условием личного нравственного здоровья: она больше нужна была самому нищелюбцу, чем нищему. Целительная сила милостыни полагалась не столько в том, чтобы утереть слезы страждущему, уделяя ему часть своего имущества, сколько в том, чтобы, смотря на его слезы и страдания, самому пострадать с ним, пережить то чувство, которое называется человеколюбием. Древнерусский благотворитель, «христоролюбец», менее помышлял о том, чтобы добрым делом поднять уровень общественного благосостояния, чем о том, чтобы возвысить уровень собственного духовного совершенствования. Когда встречались две древнерус-

ские руки, одна с просьбой Христа ради, другая с подаянием во имя Христово, трудно было сказать, которая из них больше подавала милостыни другой: нужда одной и помощь другой сливались во взаимодействии братской любви обеих. Вот почему древняя Русь понимала и ценила только личную, непосредственную, благотворительность, милостыню, подаваемую из руки в руку, притом «отай», тайком не только от стороннего глаза, но и от собственной «шуйцы». Нищий был для благотворителя лучший богомолец, молитвенный ходатай, душевный благодетель. «В рай входят святой милостыней,— говорили в старину:— нищий богатым питается, а богатый нищего молитвой спасается». Благотворителю нужно было воочию видеть людскую нужду, которую он облегчал, чтобы получить душевную пользу; нуждающийся должен был видеть своего милостивца, чтобы знать, за кого молиться. Древнерусские цари накануне больших праздников, рано по утрам, делали тайные выходы в тюрьмы и богадельни, где из собственных рук раздавали милостыню арестантам и призреваемым, также посещали и отдельно живших убогих людей. Как трудно изучить и лечить болезни по рисунку или манекену больного организма, так казалась малодействительной заочная милостыня. В силу того же взгляда на значение благотворительного дела нищенство считалось в древней Руси не экономическим бременем для народа, не язвой общественного порядка, а одним из главных средств нравственного воспитания народа, состоящим при церкви практическим институтом общественного благонравия. Как в клинике необходим больной, чтобы научиться лечить болезни, так в древнерусском обществе необходим был сирый и убогий, чтобы воспитать уменье и навык любить человека. Милостыня была дополнительным актом церковного богослужения, практическим требованием правила, что вера без дел мертва. Как живое орудие душевного спасения, нищий нужен был древнерусскому человеку во все важные минуты его личной и семейной жизни, особенно в минуты печальные. Из него он создал идеальный образ, который он любил носить в мысли, как олицетворение своих лучших чувств и помышлений. Если бы чудодейственным актом законодательства или экономического прогресса и медицинского знания вдруг исчезли в древней Руси все нищие и убогие, кто знает, может быть, древнерусский милостивец почувствовал бы некоторую нравственную неловкость, подобно

человеку, оставшемуся без посоха, на который он привык опираться; у него оказался бы недочет в запасе средств его душевного домостроительства.

Трудно сказать, в какой степени такой взгляд на благотворительность содействовал улучшению древнерусского общежития. Никакими методами социологического изучения нельзя вычислить, какое количество добра вливалась в людские отношения эта ежедневная, молчаливая, тысячерукая милостыня, насколько она приучала людей любить человека и отучала бедняка ненавидеть богатого. Явственнее и осязательнее обнаруживалось значение такой личной милостыни, когда нужда в благотворительной помощи вызывалась не горем отдельных несчастливых жизней, а народным физическим бедствием. Природа нашей страны издавна была доброй, но иногда бывала своенравной матерью своего народа, который, может быть, сам же и вызывал ее своенравие своим неумением обращаться с ней. Недороды и неурожай были нередки в древней Руси. Недостаток экономического общения и административной распорядительности превращал местные недоборы продовольствия в голодные бедствия.

Такое бедствие случилось в начале XVII в., при царе Борисе¹. В 1601 году, едва кончился весенний сев, полили страшные дожди и лили все лето. Полевые работы прекратились. Хлеб не вызрел, до августа нельзя было начать жатву, а на Успеньев день неожиданно ударил крепкий мороз и побил недозревший хлеб, который почти весь остался в поле. Люди кормились остатками старого хлеба, а на следующий год посеялись кое-как собранным зяблым зерном нового урожая; но ничего не возшло, все осталось в земле, и наступил трехлетний голод. Царь не жалел казны, щедро раздавал в Москве милостыню, предпринял обширные постройки, чтобы доставить заработок нуждающимся. Прослышав об этом, народ толпами повалил в Москву из неурожайных провинций, чем усилил нужду в столице. Началась сильная смертность: только в трех казенных столичных скудельницах, куда царь велел подбирать бесприютные жертвы, за два года 4 месяца их насчитали 127 тыс. Но беда создана была в значительной мере искусственно. Хлеба оставалось довольно от прежних урожаев. После, когда самозванцы наводнили Русь шайками поляков и казаков, которые своими опустошениями прекратили посевы на обширных пространствах, этого запасного хлеба много лет хватало

не только на **своих**, но и на врагов. При первых признаках неурожая начала разыгрываться хлебная спекуляция. Крупные землевладельцы заперли свои склады. Скупщики пустили все в оборот, деньги, утварь, дорогое платье, чтобы забрать продажный хлеб. Те и другие не пускали ни зерна на рынок, выжидая высоких цен, радуясь, по выражению современника, барышам, «конца же вещи не разумеюще, сплетены смуты слагающе и народ смущающе». Хлебные цены были взбиты на страшную высоту: четверть ржи с 20 тогдашних копеек скоро поднялась до 6 р., равнявшихся нашим 60 р., т. е. вздорожала в 30 раз! Царь принимал строгие и решительные меры против зла, запретил винокурение и пивоварение, велел сыскивать скупщиков и бить кнутом на рынках нещадно, переписывать их запасы и продавать в розницу понемногу, предписывал обязательные цены и карал тяжкими штрафами тех, кто таил свои запасы.

Сохранившийся памятник вскрыл нам одну из частных благотворительных деятельностей, которые в то время работали внизу, на местах, когда царь боролся с народным бедствием наверху. Жила тогда в своем имении вдова-помещица, жена зажиточного провинциального дворянина, Ульяна Устиновна Осорьина. Это была простая, обыкновенная добрая женщина древней Руси, скромная, боявшаяся чем-нибудь стать выше окружающих. Она отличалась от других разве только тем, что жалость к бедному и убогому, — чувство, с которым русская женщина на свет родится, — в ней была тоньше и глубже, обнаруживалась напряженнее, чем во многих других и, развиваясь от непрерывной практики, постепенно наполнила все ее существо, стала основным стимулом ее нравственной жизни, ежеминутным влечением ее вечно деятельного сердца. Еще до замужества, живя у тетки по смерти родителей, она обшивала всех сирот и немощных вдов в ее деревне, и часто до рассвета не гасла свеча в ее светлице. По выходе ее замуж свекровь поручила ей ведение домашнего хозяйства, и невестка оказалась умной и распорядительной хозяйкой. Но привычная мысль о бедном и убогом не покидала ее среди домашних и семейных хлопот. Она глубоко усвоила себе христианскую заповедь о тайной милостыне. Бывало, ушли ее мужа на царскую службу куда-нибудь в Астрахань года на два или на три. Оставшись дома и коротая одинокие вечера, она шила и пряла, рукоделье свое продавала и выручку тайком раздавала нищим, которые

приходили к ней по ночам. Не считая себя в праве брать что-нибудь из домашних запасов без спроса у свекрови, она однажды прибегла даже к маленькому лукавству с благотворительной целью, о котором позволительно рассказать, потому что его не скрыл ее почтительный сын в биографии матери. Ульяна была очень умеренна в пище, только обедала, не завтракала и не полдничала, что очень тревожило свекровь, боявшуюся за здоровье молодой невестки. Случился на Руси один из нередких неурожаев, и в муромском краю наступил голод. Ульяна усилила обычную свою тайную милостыню и, нуждаясь в новых средствах, вдруг стала требовать себе полностью завтраков и полдников, которые, разумеется, шли в раздачу голодающим. Свекровь полушутливо заметила ей: что это подеялось с тобой, дочь моя? когда хлеба было вдоволь, тебя, бывало, не дозовешься ни к завтраку, ни к полднику, а теперь, когда всем стало есть нечего, у тебя какая охота к еде припала.— Пока не было у меня детей,— отвечала невестка,— мне еда и на ум не шла, а как пошли ребята родиться, я отощала и никак не могу наестся, не только что днем, но часто и ночью так и тянет к еде; только мне стыдно, матушка, просить у тебя. Свекровь осталась довольна объяснением своей доброй лгуни и позволила ей брать себе пищи, сколько захочется, и днем, и ночью.

Эта постоянно возбужденная сострадательная любовь к ближнему, обижаемому жизнью, помогла Ульяне легко переступить через самые закоренелые общественные предрассудки древней Руси. Глубокая юридическая и нравственная пропасть лежала между древнерусским бариним и его холопом: последний был для первого по закону не лицом, а простою вещью. Следуя исконному туземному обычаю, а может быть, и греко-римскому праву, не вменявшему в преступление смерти раба от побой господина, русское законодательство еще в XIV в. провозглашало, что если господин «огрешится», неудачным ударом убьет своего холопа или холопку, за это его не подвергать суду и ответственности. Церковь долго и напрасно вопияла против такого отношения к крепостным людям. Десятками наполняя дворы зажиточных землевладельцев, плохо одеваемая и всегда содержащая впроголодь, челядь составляла толпу домашних нищих, более жалких сравнительно с вольными публичными нищими. Древнерусская церковная проповедь так и указывала на них господам, как на ближайший предмет их

сострадания, призывая их позаботиться о своих челядинцах прежде, чем протягивать руку с благотворительной копейкой нищему, стоящему на церковной паперти. В усадьбе Ульяны было много челяди. Она ее хорошо кормила и одевала, не баловала, но щадила, не оставляла без дела, но задавала каждому работу по силам и не требовала от нее личных услуг, что могла, все делала для себя сама, не допускала даже разувать себя и подавать воды умыться. При этом она не позволяла себе обращаться к крепостным с кличками, какими душевладельческая Русь вплоть до самого 19 февраля 1861 года² окрикивала своих людей: Ванька, Машка, но каждого и каждую называла настоящим именем. Кто, какие социальные теории научили ее, простую сельскую барыню XVI века, стать в такие прямые и обдуманые отношения к низшей подвластной братии?

Она была уже в преклонных летах, когда ее постигло последнее и самое тяжкое благотворительное испытание. Лукавый бес, добра ненавистник, давно уже суетившийся около этой досадной ему женщины и всегда ею посрамляемый, раз со злости пригрозил ей: погоди же! будешь ты у меня чужих кормить, когда я тебя самое на старости лет заставлю околевать с голоду. Такой добродушно-набожной комбинацией объяснено в биографии происхождение постигшей добрую женщину беды. Похоронив мужа, вырастив сыновей и поставив их на царскую службу, она уже помышляла о вечном устройении собственной души, но все еще тлела перед богом любовью к ближнему, как тлеет перед образом догорающая восковая свечка. Нищелюбие не позволило ей быть заправщицей хозяйкой. Домовое продовольствие она рассчитывала только на год, раздавая остальное нуждающимся. Бедный был для нее какой-то бездонной сберегательной кружкой, куда она с ненасыщаемым скопидомством все прятала да прятала все свои сбережения и излишки. Порой у нее в доме не оставалось ни копейки от милостыни, и она занимала у сыновей деньги, на которые шила зимнюю одежду для нищих, а сама, имея уже под 60 лет, ходила всю зиму без шубы. Начало страшного голодного трехлетия при царе Борисе застало ее в нижегородской вотчине совсем неприготовленной. С полей своих она не собрала ни зерна, запасов не было, скот пал почти весь от бескормицы. Но она не упала духом, а бодро принялась за дело, распродала остаток скота,

платье, посуду, все ценное в доме и на вырученные деньги покупала хлеб, который и раздавала голодающим, ни одного просящего не отпускала с пустыми руками и особенно заботилась о прокормлении своей челяди. Тогда многие расчетливые господа просто прогоняли с дворов своих холопов, чтобы не кормить их, но не давали им отпускных, чтобы после воротить их в неволю. Брошенные на произвол судьбы среди всеобщей паники, холопы принимались воровать и грабить. Ульяна больше всего старалась не допустить до этого своих челядинцев и удерживала их при себе, сколько было у ней силы. Наконец, она дошла до последней степени нищеты, обобра-ла себя дочиста, так что не в чем стало выйти в церковь. Выбившись из сил, израсходовав весь хлеб до последнего зерна, она объявила своей крепостной дворне, что кормить ее больше она не может, кто желает, пусть берет свои крепости или отпускные и идет с богом на волю. Некоторые ушли от нее, и она проводила их с молитвой и благословением; но другие отказались от воли, объявили, что не пойдут, скорее умрут со своей госпожой, чем покинут ее. Она разослала своих верных слуг по лесам и полям собирать древесную кору и лебеду и принялась печь хлеб из этих суррогатов, которыми кормилась с детьми и холопами, даже ухитрялась делиться с нищими, «потому что в то время нищих было без числа», лаконически замечает ее биограф. Окрестные помещики с упреком говорили этим нищим: зачем это вы заходите к ней? чего взять с нее? она и сама помирает с голоду.— А мы вот что скажем,— говорили нищие: — много обошли мы сел, где нам подавали настоящий хлеб, да и он не елся нам так всласть, как хлеб этой вдовы — как бишь ее? Многие нищие не умели и назвать ее по имени. Тогда соседи-помещики начали подсылать к Ульяне за ее диковинным хлебом: отведав его, они находили, что нищие были правы, и с удивлением говорили меж себя: мастера же ее холопы хлеба печь! С какой любовью надобно подавать нищему ломоть хлеба, не безукоризненного в химическом отношении, чтобы этот ломоть становился предметом поэтической легенды тотчас, как был съедает! Два года терпела она такую нищету и не опечалилась, не пороптала, не дала безумия богу, не изнемогла от нищеты, напротив, была весела, как никогда прежде. Так заканчивает биограф свой рассказ о последнем подвиге матери. Она и умерла вскоре по окончании голода, в начале 1604 г. Предания нашего прошлого не сохранили

нам возвышенного и более трогательного образца благотворительной любви к ближнему.

Никто не сосчитал, ни один исторический памятник не записал, сколько было тогда Ульян в Русской земле и какое количество голодных слез утерли они своими добрыми руками. Надобно полагать, что было достаточно тех и других, потому что Русская земля пережила те страшные годы, обманув ожидания своих врагов. Здесь частная благотворительность шла навстречу усилиям государственной власти. Но не всегда так бывает. Частная благотворительность страдает некоторыми неудобствами. Обыкновенно она оказывает случайную и мимолетную помощь и часто не настоящей нужде. Она легко доступна злоупотреблению: вызываемая одним из самых глубоких и самых нерасчетливых чувств, какие только есть в нравственном запасе человеческого сердца, она не может следить за своими собственными следствиями. Она чиста в своем источнике, но легко поддается порче в своем течении. Здесь она против воли благотворителей и может разойтись с требованиями общественного блага и порядка. Петр Великий, усилившийся привести в производительное движение весь наличный запас рабочих сил своего народа, вооружился против праздного нищенства, питаемого частной милостыней. В 1705 г. он указал рассылать по Москве подъячих с солдатами и приставами ловить бродячих нищих и наказывать, деньги у них отбирать, милостыни им не подавать, а подающих хватать и подвергать штрафу; благотворители должны были доставлять свои подаяния в богадельни, существовавшие при церквах. Петр вооружился против частной милостыни во имя общественной благотворительности, как учреждения, как системы богоугодных заведений. Общественная благотворительность имеет свои преимущества: уступая частной милостыне в энергии и качестве побуждений, в нравственно-воспитательном действии на обе стороны, она разборчивее и действительнее по своим практическим результатам оказывает нуждающемуся более надежную помощь, дает ему постоянный приют.

Мысль об общественной благотворительности, разумеется, с особенной силой возбуждалась во времена народных бедствий, когда количество добра требуется прежде, чем спрашивают о качестве побуждений добродетеля. Так было в Смутное время. В 1609 г. второй самозванец осаждал Москву³. Повторились явления Борисова времени. В столице наступил страшный голод. Хле-

боторговцы устроили стачку, начали всюду скупать запасы и ничего не пускали на рынок, выжидая наибольшего подъема цен. За четверть ржи стали спрашивать 9 тогдашних рублей, т. е. свыше 100 р. на наши деньги. Царь Василий Шуйский приказал продавать хлеб по указной цене — торговцы не слушались⁴. Он пустил в действие строгость законов — торговцы прекратили рискованный подвоз закупленного ими по провинциям хлеба в осажденную столицу. Мало того, по московским улицам и рынкам полилась из тысяч уст оппозиционная публицистика, начали говорить, что все беды, и вражий меч, и голод падают на народ потому, что царь несчастлив. Тогда в московский Успенский собор созвано было небывалое народное собрание. Патриарх Гермоген сказал сильную проповедь о любви и милосердии⁵; за ним сам царь произнес речь, умоляя кулаков не скупать хлеба, не поднимать цен. Но борьба обеих высших властей, церковной и государственной, с народной психологией и политической экономией была безуспешна. Тогда светлая мысль, одна из тех, какие часто приходят в голову добрым людям, осенила царя и патриарха. Древнерусский монастырь всегда был запасной житницей для нуждающихся, ибо церковное богатство, как говорили пастыри нашей церкви, нищих богатство. Жил тогда на Троицком подворье в Москве келарь Троицкого Сергиева монастыря, отец Авраамий, обладавший значительными запасами хлеба⁶. Царь и патриарх уговорили его выслать несколько сот четвертей на московский рынок по 2 р. за четверть. Это была больше психологическая, чем политико-экономическая операция: келарь выбросил на рынок многолюдной столицы всего только 200 мер ржи; но цель была достигнута. Торговцы испугались, когда пошел слух, что на рынок тронулись все хлебные запасы этого богача-монастыря, считавшиеся неисчерпаемыми, и цена хлеба надолго упала до 2 рублей. Через несколько времени Авраамий повторил эту операцию с таким же количеством хлеба и с прежним успехом.

На долю XVII-го века выпало печальное преимущество тяжелым опытом понять и оценить всю важность поставленного еще на Стоглавом соборе вопроса об общественной благотворительности, как вопроса законодательства и управления, и перенести его из круга действия личного нравственного чувства в область общественного благоустройства. Тяжелые испытания привели к мысли, что государственная власть своевременными ме-

рами может ослабить или предотвратить бедствия нуждающихся масс и даже направить частную благотворительность. В 1654 г. началась и при очень неблагоприятных условиях продолжалась война с Польшей за Малороссию. Эпидемия опустошила деревни и села и уменьшила производство хлеба. Падение курса выпущенных в 1656 г. кредитных медных денег с номинальной стоимостью серебряных усилило дороговизну: цена хлеба, с начала войны удвоившаяся, к началу 1660-х годов в иных местах поднялась до 30—40 руб. за четверть ржи на наши деньги. В 1660 г. сведущие люди из московского купечества, призванные для совещания с боярами о причинах дороговизны и о средствах ее устранения, между прочим указали на чрезвычайное развитие винокурения и пивоварения и предложили прекратить продажу вина в питейных заведениях, закрыть винные заводы, также принять меры против скупки хлеба и не допускать скупщиков и кулаков на хлебные рынки раньше полудня, наконец, переписать запасы хлеба, заготовленные скупщиками, перевезти их в Москву на казенный счет и продавать здесь бедным людям, а скупщикам заплатить из казны по их цене деньгами. Как только тяжесть положения заставила вдуматься в механизм народнохозяйственного оборота, тотчас живо почувствовалось, что может сделать государственная власть для устранения возникающих в нем замешательств.

В эти тяжелые годы стоял близко к царю человек, который добрым примером показал, как можно соединить частную благотворительность с общественной и на чувстве личного сострадания построить устойчивую систему благотворительных учреждений. Это был Ф. М. Ртищев, ближний постельничий, как бы сказать обер-гофмейстер при дворе царя Алексея Михайловича, а потом его дворецкий, т. е. министр двора⁷. Этот человек — одно из лучших воспоминаний, завещанных нам древнерусской стариной. Один из первых насадителей научного образования в Москве XVII века, он принадлежал к числу крупных государственных умов Алексеева времени, столь обильного крупными умами. Ему приписывали и мысль упомянутой кредитной операции с медными деньгами, представлявшей небывалую новость в тогдашней финансовой политике, и не его вина, если опыт кончился неблагоприятно. Много занятый по службе, пользуясь полным доверием царя и царицы и большим уважением придворного общества, воспитатель царевича Алексея⁸, Рти-

щев поставил задачей своей частной жизни служение страждущему и нуждающемуся человечеству. Помощь ближнему была постоянной потребностью его сердца, а его взгляд на себя и на ближнего сообщал этой потребности характер ответственного, но непритязательного нравственного долга. Ртищев принадлежал к числу тех редких и немного странных людей, у которых совсем нет самолюбия, по крайней мере, в простом ходячем смысле этого слова. Наперекор природным инстинктам и исконным людским привычкам в заповеди Христовой любить ближнего своего, как самого себя, он считал себя способным исполнять только первую часть: он и самого себя любил только для ближнего, считая себя самым последним из своих ближних, о котором не грешно подумать разве только тогда, когда уже не о ком больше думать — совершенно евангельский человек, правая щека которого сама собою без хвастовства и расчета подставлялась ударившему по левой, как будто это было требованием физического закона или светского приличия, а не подвигом смирения. Ртищев не понимал обиды, как иные не знают вкуса в вине, не считая этого за воздержание, а просто не понимая, как это можно пить такую неприятную и бесполезную вещь. Своему обидчику он первый шел навстречу с просьбой о прощении и примирении. С высоты своего общественного положения он не умел скользить высокомерным взглядом поверх людских голов, останавливаясь на них лишь для того, чтобы сосчитать их. Человек не был для него только счетной единицей, особенно человек бедный и страждущий. Высокое положение только расширило, как бы сказать, пространство его человеколюбия, дав ему возможность видеть, сколько живет на свете людей, которым надо помочь, и его сострадательное чувство не довольствовалось помощью первому встречному страданию. С высоты древнерусского сострадания личному, конкретному горю, вот *тому* или *этому* несчастному человеку, Ртищев умел подняться до способности соболезновать людскому несчастью, как общему злу, и бороться с ним, как со своим личным бедствием. Потому случайные и прерывистые вызовы личной благотворительности он хотел превратить в постоянно действующую общественную организацию, которая подбирала бы массы труждающихся и обремененных, облегчая им несение тяжкой повинности жизни. Впечатления польской войны могли только укрепить эту мысль. Сам царь двинулся в поход, и Ртищев сопровож-

дал его, как начальник его походной квартиры. Находясь по должности в тылу армии, Ртищев видел ужасы, какие оставляет после себя война и которых обыкновенно не замечают сами воюющие — те, которые становятся их первыми жертвами. Тыл армии — тяжкое испытание и лучшая школа человеколюбия: тот уже неотступно полюбил человека, кто с перевязочной линии не унесет ненависти к людям. Ртищев взглянул на отвратительную работу войны, как на жатву своего сердца, как на печально-обильный благотворительный урожай. Он страдал ногами, и ему трудно было ездить верхом. По дороге он кучами подбирал в свой экипаж больных, раненых, избитых и разоренных, так что иногда и ему не оставалось места и, пересев на коня, он плелся за своим импровизованным походным лазаретом до ближнего города, где тотчас нанимал дом, куда, сам кряхтя от боли, сваливал свою охающую и стонущую братию, устраивал ей содержание и уход за ней и даже неизвестно каким образом набирал врачебный персонал, «назиратаев и врачей им и кормителей устраивал, во упокоение их и врачевание от имени своего им изнуряя», как вычурно замечает его биограф. Так обер-гофмейстер двора его величества сам собою превратился в печальника Красного Креста, им же и устроенного на собственные средства. Впрочем, в этом деле у него была тайная денежная и сердечная пособница, которую выдал истории тот же болтливый биограф. В своем молчаливом кармане Ртищев вез на войну значительную сумму, тихонько сунутую ему царицей Марьей Ильиничной⁹, и биограф нескромным намеком дает понять, что перед походом они уговорились принимать в задуманные ими временные военные госпитали даже пленных врагов, нуждавшихся в госпитальной помощи. Надобно до земли поклониться памяти этих людей, которые безмолвной экзегетикой своих дел учат нас понимать слова Христа: *любите враги ваша, добро творите ненавидящим вас*. Подобные дела повторились и в ливонском походе царя, когда в 1656 г. началась война со Швецией.

Можно думать, что походные наблюдения и впечатления не остались без влияния на план общественной благотворительности, составившийся в уме Ртищева. Этот план рассчитан был на самые большие язвы тогдашней русской жизни. Прежде всего крымские татары в XVI и XVII вв. сделали себе прибыльный промысел из разбойничьих нападений на Русскую землю, где они ты-

сячами и десятками тысяч забирали пленных, которых продавали в Турцию и другие страны. Чтобы спасти и воротить домой этих пленных, московское правительство устроило их выкуп на казенный счет, для чего ввело особый общий налог, *положняничные деньги*. Этот выкуп назывался «общей милостыней», в которой все должны были участвовать: и царь, и все «православные христиане», его подданные. По соглашению с разбойниками были установлены порядок привоза пленного товара и тариф, по которому он выкупался, смотря по общественному положению пленников. Выкупные ставки во времена Ртищева были довольно высоки: за людей, стоявших в самом низу тогдашнего общества, за крестьян и холопов, назначено было казенного окупа около 250 р. на наши деньги за человека; за людей высших классов платили тысячи. Но государственное воспособление выкупу было недостаточно. Насмотревшись во время походов на страдания пленных, Ртищев вошел в соглашение с жившим в России купцом греком, который, ведя дела с магометанским востоком, на свой счет выкупал много пленных христиан. Этому доброму человеку Ртищев передал капитал в 17 тыс. рублей на наши деньги, к которому грек, принявший на себя операцию выкупа, присоединил свой вклад, и таким образом составила своего рода благотворительная компания для выкупа русских пленных у татар. Но верный уговору с царицей, Ртищев не забывал и иноземцев, которых плен забрасывал в Россию, облегчал их тяжелое положение своим ходатайством и милостыней.

Московская немощеная улица XVII в. была очень неопрятна: среди грязи несчастье, праздность и порок сидели, ползали и лежали рядом; нищие и калеки вопили к прохожим о подаянии, пьяные валялись на земле. Ртищев составил команду рассыльных, которые подбирали этот люд с улиц в особый дом, устроенный им на свой счет, где больных лечили, а пьяных вытрезвляли и потом, снабдив необходимым, отпускали, заменяя их новыми пациентами. Для престарелых, слепых и других калек, страдавших неизлечимыми недугами, Ртищев купил другой дом, тратя на их содержание свои последние доходы. Этот дом под именем Больницы Федора Ртищева существовал и после его смерти, поддерживаемый добротными даяниями. Так Ртищев образовал два типа благотворительных заведений: амбулаторный приют для нуждающихся во временной помощи и постоянное убе-

жище — богадельню для людей, которых человеколюбие должно было взять на свои руки до их смерти. Но он прислушивался к людской нужде и вне Москвы и здесь продолжал дело своей предшественницы Ульяны Осорьинной: кстати сказать, и его мать звали Ульяной. Случился голод в Вологодском краю. Местный архиепископ помогал голодающим, сколько мог. Ртищев, растратив деньги на свои московские заведения, продал все свое лишнее платье, всю лишнюю домашнюю утварь, которой у него, богатого барина, было множество, и послал вырученные деньги вологодскому владыке, который, прибавив к пожертвованию и свою малую толику, прокормил много бедного народа.

С осторожным и глубоко сострадательным вниманием останавливался Ртищев перед новым родом людей, нуждавшимся в сострадательном внимании, который во времена Иулиании только зарождался: в XVII в. сложилось крепостное состояние крестьян. Личная свобода крестьян была одною из тех жертв, какие наше государство в XVII в. было вынуждено принести в борьбе за свою целость и внешнюю безопасность. Биограф Ртищева только двумя-тремя чертами обозначил его отношение к этому новому поприщу благотворения, но чертами, трогаящими до глубины души. Будучи крупным землевладельцем, он однажды должен был, нуждаясь в деньгах, продать свое село Ильинское. Сторговавшись с покупщиком, он сам добровольно уменьшил условленную цену, но при этом подвел нового владельца к образу и заставил его побожиться, что он не увеличит человеколюбиво рассчитанных повинностей, какие отбывали крестьяне села в пользу прежнего барина — необычная и немного странная форма словесного векселя, взятого на совесть векселедателя. Поддерживая щедрыми ссудами инвентарь своих крестьян, он больше всего боялся расстроить это хозяйство непосильными оброками и барщинными работами и недовольно хмурил брови всякий раз, когда в отчетах управляющих замечал приращение барского дохода. Известно, как заботился древнерусский человек о загробном устройении своей души с помощью вкладов, посмертной молитвы и поминовения. Вотчины свои Ртищев завещал своей дочери и зятю кн. Одоевскому. Он приказал наследникам отпустить всех своих дворовых на волю. Тогда законодательство еще не выработало порядка увольнения крепостных крестьян с землей целыми обществами. «Вот как устройте мою душу,— говорил Рти-

шев перед смертью зятю и дочери; — в память по мне будьте добры к моим мужикам, которых я укрепил за вами, владейте ими льготно, не требуйте от них работ и оброков свыше силы-возможности, потому что они нам братья; это моя последняя и самая большая к вам просьба». Ртищев умел сострадать положению целых обществ или учреждений, как страдают горю отдельных лиц. Мы все помним прекрасный рассказ, читанный нами еще на школьной скамье в учебнике. Под Арзамасом у Ртищева была земля, за которую ему давали частные покупатели до 17 тыс. рублей на наши деньги. Но он знал, что земля до зарезу нужна арзамасцам, и предложил городу купить ее хотя бы за пониженную цену. Но городское общество было так бедно, что не могло заплатить сколько-нибудь приличной цены, и не знало, что делать. Ртищев подарил ему землю.

Современники, наблюдавшие двор царя Алексея, свои и чужие, оставили очень мало известий о министре этого двора Ртищеве. Один иностранный посол, приехавший тогда в Москву, отозвался о нем, что, едва имея 40 лет от роду, он превосходил благоразумием многих стариков. Ртищев не выставлялся вперед. Это был один из тех скромных людей, которые не любят идти в первых рядах, но, оставаясь назади и высоко подняв светочи над головами, освещают путь передовым людям. Особенно трудно было уследить за его благотворительной деятельностью. Но его понимали и помнили среди низшей братии, за которую он положил свою душу. Его биограф, описывая его смерть, передает очень наивный рассказ. Ртищев умер в 1673 г. всего 47 лет от роду. За два дня до его смерти жившая у него в доме девочка лет 12, которую он привечал за ее кроткий нрав, помолвившись, как было заведено в этом доме, углеглась спать и, задремав, видит: сидит ее больной хозяин, такой веселый да нарядный, а на голове у него точно венец. Вдруг, откуда ни возьмись, подходит к нему молодец, тоже нарядно одетый, и говорит: «зовет тебя царевич Алексей», а этот царевич, воспитанник Ртищева, тогда был уже покойником. — Погоди немного, нельзя еще, — отвечал хозяин. Молодец ушел. Скоро пришли двое других таких же и опять говорят: «зовет тебя царевич Алексей». Хозяин встал и пошел, а за ноги его уцепились две малютки, дочь его да племянница, и не хотят отстать от него. Он отстранил их, сказав: «отойдите, не то возьму вас с собой». Вышел хозяин из палаты, а тут перед ним очутилась лест-

ница от земли до самого неба, и полез он по этой лестнице, а там на выси небесной объявился юноша с золотыми крылышками, протянул хозяину руку и подхватил его. В этом сне девочки, рассказанном в девичьей Ртищева, отлились все благородные слезы бедных людей, утертые хозяином. Много рассказывали и про самую смерть его. В последние минуты, уже совсем приготовившись, он позвал к себе в спальню нищих, чтобы из своих рук раздать им последнюю милостыню, потом прилег и забылся. Вдруг его угасавшие глаза засветились, точно озаренные каким-то видением, лицо оживилось, и он весело улыбнулся: с таким видом он и замер. Всю жизнь страдать, благотворить и умереть с веселой улыбкой — вполне заслуженный конец такой жизни.

Не осталось известий о том, нашло ли отголосок в землевладельческом обществе отношение Ртищева к крепостным крестьянам; но его благотворительная деятельность, по-видимому, не осталась без влияния на законодательство. Добрые идеи, поддержанные добрыми проводниками и примерами, легко облекаются в плоть и кровь своего рода, в обычаи, законы, учреждения. Нерасчетливая частная благотворительность древней Руси вскормила ремесло нищенства, стала средством питания праздности и сама нередко превращалась в холодное исполнение церковного приличия, в раздачу копеечек просящим вместо помощи нуждающимся. Милостивцы, подобные Иулиании и Ртищеву, восстанавливали истинное христианское значение милостыни, источник которой — теплое сострадательное чувство, а цель — уничтожение нужды, нищеты, страдания. В этом же направлении после Ртищева начинает действовать и законодательство. Со времени Алексеева преемника идет длинный ряд указов против праздного ремесленного нищенства и частной ручной милостыни. С другой стороны, государственная власть подает руку церковной для дружной работы над устройством благотворительных заведений. При царе Федоре Алексеевиче¹⁰ произвели разборку московских нищих: действительно беспомощных велено содержать на казенный счет в особом приюте, а здоровым лентяям дать работу, может быть, в задуманных тогда же рабочих домах. Предположено было построить в Москве два благотворительных заведения, больницу и богадельню для болящих, бродящих и лежащих по улицам нищих, чтобы они там не бродили и не валялись: по-видимому, предполагались заведения, подобные тем, какие устроены бы-

ли Ртищевым. На церковном соборе 1681 г. царь предложил патриарху и архиереям устроить такие же убежища для нищих и в провинциальных городах, и собор принял предложение. Так частный почин доброго и влиятельного человека дал прямой или косвенный толчок мысли об устройстве целой системы церковно-государственных благотворительных заведений и не только оживил, без сомнения, усердие доброхотных дателей к доброму делу, но и подсказал самую его организацию, желательные и возможные формы, в которые оно должно было облечься.

Тем ведь и дорога память этих добрых людей, что их пример в трудные минуты не только ободряет к действию, но и учит, как действовать. Иулиания и Ртищев — это образцы русской благотворительности. Одинаковое чувство подсказывало им различные способы действия, сообразные с положением каждого. Одна благотворила больше дома, в своем тесном сельском кругу; другой действовал преимущественно на широкой столичной площади и улице. Для одной благодетелье было выражением личного сострадания; другой хотел превратить его в организованное общественное человеколюбие. Но идя различными путями, оба шли к одной цели: не теряя из вида нравственно-воспитательного значения благотворительности, они смотрели на нее, как на непрерывную борьбу с людской нуждой, с горем беспомощного ближнего. Они и им подобные воспитатели и пронесли этот взгляд через ряд веков, и он доселе живет в нашем обществе, деятельно обнаруживаясь всякий раз, когда это нужно. Сколько Ульян незаметно и без шума ведет теперь эту борьбу по захолустьям пораженных нуждой местностей! Есть, без сомненья, и Ртищевы, и они не переведутся. По завету их жизни будут действовать даже тогда, когда их самих забудут. Из своей исторической дали они не перестанут светить, подобно маякам среди ночной мглы, освещая нам путь и не нуждаясь в собственном свете. А завет их жизни таков: жить — значит любить ближнего, т. е. помогать ему жить; больше ничего не значит жить и больше не для чего жить.



ХАРАКТЕРИСТИКА ЦАРЯ ИВАНА ГРОЗНОГО

Детство

Царь Иван родился в 1530 г. От природы он получил ум бойкий и гибкий, вдумчивый и немного насмешливый, настоящий великорусский, московский ум. Но обстоятельства, среди которых протекало детство Ивана, рано испортили этот ум, дали ему неестественное, болезненное развитие. Иван рано осиротел — на четвертом году лишился отца, а на восьмом потерял и мать. Он с детства видел себя среди чужих людей. В душе его рано и глубоко врезалось и на всю жизнь сохранялось чувство сиротства, брошенности, одиночества, о чем он твердил при всяком случае: «родственники мои не заботились обо мне». Отсюда его робость, ставшая основной чертой его характера. Как все люди, выросшие среди чужих, без отцовского призора и материнского привета, Иван рано усвоил себе привычку ходить оглядываясь и прислушиваясь. Это развило в нем подозрительность, которая с годами превратилась в глубокое недоверие к людям. В детстве ему часто приходилось испытывать равнодушие и пренебрежение со стороны окружающих. Он сам вспоминал после в письме к князю Курбскому¹, как его с младшим братом Юрием² в детстве стесняли во всем, как держали, как убогих людей, плохо кормили и одевали, ни в чем воли не давали, все заставляли делать насильно и не по возрасту. В торжественные церемониальные случаи — при выходе или приеме послов — его окружали царственной пышностью, становились вокруг него с раболепным смирением, а в будни те же люди не церемонились с ним, порой баловали, порой дразнили. Играют они, бывало, с братом Юрием в спальне покойного отца, а первенствующий боярин князь И. В. Шуйский³

развалится перед ними на лавке, обопрется локтем о постель покойного государя, их отца, и ногу на нее положит, не обращая на детей никакого внимания, ни отеческого, ни даже властительного. Горечь, с какою Иван вспоминал об этом 25 лет спустя, дает почувствовать, как часто и сильно его сердили в детстве. Его ласкали как государя и оскорбляли как ребенка. Но в обстановке, в какой шло его детство, он не всегда мог тотчас и прямо обнаружить чувство досады или злости, сорвать сердце. Эта необходимость сдерживаться, дуться в рукав, глотать слезы питала в нем раздражительность и затаенное, молчаливое озлобление против людей, злость со стиснутыми зубами. К тому же он был испуган в детстве. В 1542 г., когда правила партия князей Бельских⁴, сторонники князя И. Шуйского ночью врасплох напали на стоявшего за их противников митрополита Иоасафа⁵. Владыка скрылся во дворце великого князя. Мятежники разбили окна у митрополита, бросились за ним во дворец и на рассвете вломились с шумом в спальню маленького государя, разбудили и напугали его.

Влияние боярского правления

Безобразные сцены боярского своеволия и насилия, среди которых рос Иван, были первыми политическими его впечатлениями. Они превратили его робость в нервную пугливость, из которой с годами развилась склонность преувеличивать опасность, образовалось то, что называется страхом с великими глазами. Вечно тревожный и подозрительный, Иван рано привык думать, что окружен только врагами, и воспитал в себе печальную склонность высматривать, как плетется вокруг него бесконечная сеть козней, которою, чудилось ему, стараются опутать его со всех сторон. Это заставило его постоянно держаться настороже; мысль, что вот-вот из-за угла на него бросится недруг, стала привычным, ежеминутным его ожиданием. Всего сильнее в нем работал инстинкт самосохранения. Все усилия его бойкого ума были обращены на разработку этого грубого чувства.

Ранняя развитость и возбуждаемость

Как все люди, слишком рано начавшие борьбу за существование, Иван быстро рос и преждевременно вырос. В 17—20 лет, при выходе из детства, он уже поражал ок-

ружающих непомерным количеством пережитых впечатлений и передуманных мыслей, до которых его предки не додумались и в зрелом возрасте. В 1546 г., когда ему было 16 лет, среди ребяческих игр он, по рассказу летописи, вдруг заговорил с боярами о женитьбе, да говорил так обдуманно, с такими предусмотрительными политическими соображениями, что бояре расплакались от умиления, что царь так молод, а уже так много подумал, ни с кем не посоветовавшись, от всех утаившись. Эта ранняя привычка к тревожному уединенному размышлению про себя, втихомолку, надорвала мысль Ивана, развила в нем болезненную впечатлительность и возбуждаемость. Иван рано потерял равновесие своих духовных сил, уменьше направлять их, когда нужно, разделять их работу или сдерживать одну противодействием другой, рано привык вводить в деятельность ума участие чувства. О чем бы он ни размышлял, он подгонял, подзадоривал свою мысль страстью. С помощью такого самовнушения он был способен разгорячить свою голову до отважных и высоких помыслов, раскалить свою речь до блестящего красноречия, и тогда с его языка или из-под его пера, как от горячего железа под молотом кузнеца, сыпались искры остроумия, колкие насмешки, меткие словца, неожиданные обороты. Иван — один из лучших московских ораторов и писателей XVI в., потому что был самый раздраженный москвич того времени. В сочинениях, написанных под диктовку страсти и раздражения, он больше заражает, чем убеждает, поражает жаром речи, гибкостью ума, изворотливостью диалектики, блеском мысли, но это фосфорический блеск, лишенный теплоты, это не вдохновение, а горячка головы, нервическая прыть, следствие искусственного возбуждения. Читая письма царя к князю Курбскому, поражаешься быстрой сменой в авторе самых разнообразных чувств: порывы великодушия и раскаяния, проблески глубокой задушевности чередуются с грубой шуткой, жестким озлоблением, холодным презрением к людям. Минуты усиленной работы ума и чувства сменялись полным упадком утомленных душевных сил, и тогда от всего его остроумия не оставалось и простого здравого смысла. В эти минуты умственного изнеможения и нравственной опущенности он способен был на затеи, лишенные всякой сообразительности. Быстро перегорая, такие люди со временем, когда в них слабеет возбуждаемость, прибегают обыкновенно к искусственному средству, к вину, и Иван в годы сп-

ричнины, кажется, не чуждался этого средства. Такой нравственной неровностью, чередованием высоких подъемов духа с самыми постыдными падениями объясняется и государственная деятельность Ивана. Царь совершил и задумывал много хорошего, умного, даже великого, и рядом с этим наделал еще больше поступков, которые сделали его примером ужаса и отвращения современников и последующих поколений. Разгром Новгорода по одному подозрению в измене, московские казни, убийство сына и митрополита Филиппа⁶, безобразия с опричниками в Москве и в Александровской слободе — читая обо всем этом, подумаешь, что это был зверь от природы.

Нравственная неуравновешенность

Но он не был таким. По природе или воспитанию он был лишен устойчивого нравственного равновесия и при малейшем житейском затруднении охотнее склонялся в дурную сторону. От него ежеминутно можно было ожидать грубой выходки: он не умел сладить с малейшим неприятным случаем. В 1577 г. на улице в завоеванном ливонском городе Кокенгаузене он благодушно беседовал с пастором о любимых своих богословских предметах, но едва не приказал его казнить, когда тот неосторожно сравнил Лютера⁷ с апостолом Павлом⁸, ударил пастора хлыстом по голове и ускакал со словами: «Поди ты к черту со своим Лютером». В другое время он велел изрубить присланного ему из Персии слона, не хотевшего стать перед ним на колена. Ему не доставало внутреннего, природного благородства; он был восприимчивее к дурным, чем к добрым, впечатлениям; он принадлежал к числу тех недобрых людей, которые скорее и охотнее замечают в других слабости и недостатки, чем дарование или добрые качества. В каждом встречном он прежде всего видел врага. Всего труднее было приобрести его доверие. Для этого таким людям надобно ежеминутно давать чувствовать, что их любят и уважают, всецело им преданы, и, кому удавалось уверить в этом царя Ивана, тот пользовался его доверием до излишества. Тогда в нем вскрывалось свойство, облегчающее таким людям тягость постоянно напряженного злого настроения, — это привязчивость. Первую жену свою он любил какой-то особенно чувствительной недомостроевской любовью⁹. Так же безотчетно он привязывался к Сильвестру и

Адашеву, а потом и к Малюте Скуратову¹⁰. Это соединение привязчивости и недоверчивости выразительно сказалось в духовной Ивана, где он дает детям наставление, «как людей любить и жаловать и как их *беречься*». Эта двойственность характера и лишила его устойчивости. Житейские отношения больше тревожили и злили его, чем заставляли размышлять. Но в минуты нравственного успокоения, когда он освобождался от внешних раздражающих впечатлений и оставался наедине с самим собой, со своими задушевными думами, им овладевала грусть, к какой способны только люди, испытавшие много нравственных утрат и житейских разочарований. Кажется, ничего не могло быть формальнее, бездушнее духовной грамоты древнего московского великого князя с ее мелочным распорядком движимого и недвижимого имущества между наследниками. Царь Иван и в этом стереотипном акте выдержал свой лирический характер. Эту духовную он начинает возвышенными богословскими размышлениями и продолжает такими задушевными словами: «Тело изнемогло, болезнует дух, раны душевные и телесные умножились, и нет врача, который бы исцелил меня, ждал я, кто бы поскорбел со мной, и не явилось никого, утешающих я не нашел, заплатили мне злом за добро, ненавистью за любовь». Бедный страдалец, царственный мученик — подумаешь, читая эти жалобно-скорбные строки, а этот страдалец года за два до того, ничего не расследовав, по одному подозрению, так, зря, бесчеловечно и безбожно разгромил большой древний город с целою областью, как никогда не громили никакого русского города татары. В самые злые минуты он умел подниматься до этой искусственной задушевности, до крокодилова плача. В разгар казней входит он в московский Успенский собор. Митрополит Филипп встречает его, готовый по долгу сана *печаловаться*, ходатайствовать за несчастных, обреченных на казнь. «Только молчи,— говорил царь, едва сдерживаясь от гнева,— одно тебе говорю — молчи, отец святой, молчи и благослови нас». — «Наше молчание,— отвечал Филипп,— грех на душу твою налагает и смерть наносит». — «Ближние мои,— скорбно возразил царь,— встали на меня, ищут мне зла; какое тебе дело до наших царских предначертаний!»

Описанные свойства царя Ивана сами по себе могли бы послужить только любопытным материалом для психолога, скорее для психиатра, скажут иные: ведь так легко нравственную распущенность, особенно на истори-

ческом расстоянии, признать за душевную болезнь и под этим предлогом освободить память мнимобольных от исторической ответственности. К сожалению, одно обстоятельство сообщило описанным свойствам значение, гораздо более важное, чем какое обыкновенно имеют психологические курьезы, появляющиеся в людской жизни, особенно такой обильной всякими душевными курьезами, как русская: Иван был *царь*. Черты его личного характера дали особое направление его политическому образу мыслей, а его политический образ мыслей оказал сильное, притом вредное, влияние на его политический образ действий, испортил его.

Ранняя мысль о власти

Иван рано и много, раньше и больше, чем следовало, стал думать своей тревожной мыслью о том, что он государь московский и всяя Руси. Скандалы боярского правления постоянно поддерживали в нем эту думу, сообщали ей тревожный, острый характер. Его сердили и обижали, выталкивали из дворца и грозили убить людей, к которым он привязывался, пренебрегая его детскими мольбами и слезами, у него на глазах высказывали непочтение к памяти его отца, может быть, дурно отзывались о покойном в присутствии сына. Но этого сына все признавали законным государем; ни от кого не слышал он и намек на то, что его царственное право может подвергнуться сомнению, спору. Каждый из окружающих, обращаясь к Ивану, называл его великим государем; каждый случай, его тревоживший или раздражавший, заставлял его вспоминать о том же и с любовью обращаться к мысли о своем царственном достоинстве как к политическому средству самообороны. Ивана учили грамоте, вероятно, так же, как учили его предков, как вообще учили грамоте в древней Руси, заставляя твердить часослов и псалтырь с бесконечным повторением *задов*, прежде пройденного. Изречения из этих книг затверживались механически, на всю жизнь врезывались в память. Кажется, детская мысль Ивана рано начала проникать в это механическое зубрение часослова и псалтыря. Здесь он встречал строки о царе и царстве, о помазаннике божием, о нечестивых советниках, о блаженном муже, который ходит на их совет, и т. п. С тех пор как стал Иван понимать свое сиротское положение и ду-

мать об отношениях своих к окружающим, эти строки должны были живо затрагивать его внимание. Он понимал эти библейские афоризмы по-своему, прилагая их к себе, к своему положению. Они давали ему прямые и желанные ответы на вопросы, какие возбуждались в его голове житейскими столкновениями, подсказывали нравственное оправдание тому чувству злости, какое вызывали в нем эти столкновения. Легко понять, какие быстрые успехи в изучении святого писания должен был сделать Иван, применяя к своей экзегетике такой нервный, субъективный метод, изучая и толкуя слово божие под диктовку раздраженного, капризного чувства. С тех пор книги должны были стать любимым предметом его занятий. От псалтыря он перешел к другим частям писания, перечитал много, что мог достать из тогдашнего книжного запаса, вращавшегося в русском читающем обществе. Это был начитаннейший москвич XVI в. Недаром современники называли его «словесной мудрости ритором». О богословских предметах он любил беседовать, особенно за обеденным столом, и имел, по словам летописи, особливую остроту и память от божественного писания. Раз в 1570 г. он устроил в своих палатах торжественную беседу о вере с пастором польского посольства чехом евангеликом Рокитой в присутствии посольства, бояр и духовенства. В пространной речи он изложил протестантскому богослову обличительные пункты против его учения и приказал ему защищаться «вольно и смело», без всяких опасений, внимательно и терпеливо выслушал защитительную речь пастора и после написал на нее пространное опровержение, до нас дошедшее. Этот ответ царя местами отличается живостью и образностью. Мысль не всегда идет прямым логическим путем, натолкнувшись на трудный предмет, туманится или сбивается в сторону, но порой обнаруживает большую диалектическую гибкость. Тексты писания не всегда приводятся кстати, но очевидна обширная начитанность автора не только в писании и отеческих творениях, но и в переводных греческих хронографах, тогдашних русских учебниках всеобщей истории. Главное, что читал он особенно внимательно, было духовного содержания; везде находил он и отмечал одни и те же мысли и образы, которые отвечали его настроению, вторили его собственным думам. Он читал и перечитывал любимые места, и они неизгладимо врезывались в его память. Не менее иных нынешних записных ученых Иван любит пе-

стричь свои сочинения цитатами кстати и некстати. В первом письме к князю Курбскому он на каждом шагу вставляет отдельные строки из писания, иногда выписывает подряд целые главы из ветхозаветных пророков или апостольских посланий и очень часто без всякой нужды искажает библейский текст. Это происходило не от небрежности в списывании, а от того, что Иван, очевидно, выписывал цитаты наизусть.

Идея власти

Так рано зародилось в голове Ивана политическое размышление — занятие, которого не знали его московские предки ни среди детских игр, ни в деловых заботах зрелого возраста. Кажется, это занятие шло втихомолку, тайком от окружающих, которые долго не догадывались, в какую сторону направлена встревоженная мысль молодого государя, и, вероятно, не одобрили бы его усидчивого внимания к книгам, если бы догадались. Вот почему они так удивились, когда в 1546 г. шестнадцатилетний Иван вдруг заговорил с ними о том, что он задумал жениться, но прежде женитьбы он хочет поискать прародительских обычаев, как прародители его, цари и великие князья и сродник его Владимир Всеволодович Мономах¹¹ на царство, на великое княжение садились. Пораженные неожиданностью дум государя бояре, прибавляет летописец, удивились, что государь так молод, а уж прародительских обычаев искал. Первым помыслом Ивана при выходе из правительственной опеки бояр было принять титул *царя* и венчаться на царство торжественным церковным обрядом. Политические думы царя вырабатывались тайком от окружающих, как тайком складывался его сложный характер. Впрочем, по его сочинениям можно с некоторой точностью восстановить ход его политического самовоспитания. Его письма к князю Курбскому — наполовину политические трактаты о царской власти и наполовину полемические памфлеты против боярства и его притязаний. Попробуйте бегло перелистать его первое длинное-предлинное послание — оно поразит вас видимой пестротой и беспорядочностью своего содержания, разнообразием книжного материала, кропотливо собранного автором и щедрой рукой рассыпанного по этим нескончаемым страницам. Чего тут нет, каких имен, текстов и примеров! Длинные и короткие выписки из святого писания и отцов церкви, строки и целые

главы из ветхозаветных пророков — Моисея, Давида, Исаии, из новозаветных церковных учителей — Василия Великого, Григория Назианзина, Иоанна Златоуста, образы из классической мифологии и эпоса — Зевс, Аполлон, Антенор, Эней — рядом с библейскими именами Иисуса Навина, Гедеона, Авимелеха, Иевффая¹², бессвязные эпизоды из еврейской, римской, византийской истории и даже из истории западноевропейских народов со средневековыми именами «Зинзириха» вандалского, готов, савроматов, французов, вычитанными из хронографов, и, наконец, порой невзначай брошенная черта из русской летописи, — и все это, перепутанное, переполненное анахронизмами, с калейдоскопической пестротой, без видимой логической последовательности, всплывает и исчезает перед читателем, повинувшись прихотливым поворотам мысли и воображения автора, и вся эта, простите за выражение, ученая каша сдобрена богословскими или политическими афоризмами, настойчиво подкладываемыми, и порой посолена тонкой иронией или жестким, иногда метким сарказмом. Какая хаотическая память, набитая набором всякой всячины, — подумаешь, перелистав это послание. Недаром князь Курбский назвал письмо Ивана бабьей болтовней, где тексты писания переплетены с речами о женских телогреях и о постелях. Но вникните пристальнее в этот пенный поток текстов, размышлений, воспоминаний, лирических отступлений, и вы без труда уловите основную мысль, которая красной нитью проходит по всем этим, видимо, столь нестройным страницам. С детства затверженные автором любимые библейские тексты и исторические примеры все отвечают на одну тему, все говорят о царской власти, о ее божественном происхождении, о государственном порядке, об отношениях к советникам и подданным, о губительных следствиях разновластия и безначалия. *Несть власти, аще не от бога. Всяка душа властем предержащим да повинуется. Горе граду, им же градом мнози обладают и т. п.* Упорно вчитываясь в любимые тексты и бесконечно о них размышляя, Иван постепенно и незаметно создал себе из них идеальный мир, в который уходил, как Моисей на свою гору, отдыхать от житейских страхов и огорчений. Он с любовью созерцал эти величественные образы ветхозаветных избранников и помазанников божиих — Моисея, Саула, Давида, Соломона¹³. Но в этих образах он, как в зеркале, старался разглядеть самого себя, свою собственную царственную фигуру, уловить в них отра-

жение своего блеска или перенести на себя отблеск их света и величия. Понятно, что он залюбовался собой, что его собственная особа в подобном отражении представилась ему озаренною блеском и величием, какого и не чуяли на себе его предки, простые московские князья-хозяева. Иван IV был первый из московских государей, который узрел и живо почувствовал в себе царя в настоящем библейском смысле, помазанника божия. Это было для него политическим откровением, и с той поры его царственное я сделалось для него предметом набожного поклонения. Он сам для себя стал святыней и в помыслах своих создал целое богословие политического самообожания в виде ученой теории своей царской власти. Тонким вдохновенным свыше и вместе с обычной тонкой иронией писал он во время переговоров о мире врагу своему Стефану Баторию¹⁴, коля ему глаза его избирательной властью: «Мы, смиренный Иоанн, царь и великий князь всея Руси по божью изволению, а не по *многмятежному человеческому хотению*».

Недостаток практической ее разработки

Однако из всех усилий ума и воображения царь вынес только простую, голую идею царской власти без практических выводов, каких требует всякая идея. Теория осталась неразработанной в государственный порядок, в политическую программу. Увлеченный враждой и воображаемыми страхами, он упустил из виду практические задачи и потребности государственной жизни и не умел приладить своей отвлеченной теории к местной исторической действительности. Без этой практической разработки его возвышенная теория верховной власти превратилась в каприз личного самовластия, исказилась в орудие личной злости, безотчетного произвола. Поэтому стоявшие на очереди практические вопросы государственного порядка остались неразрешенными. В молодости, как мы видели, начав править государством, царь с избранными своими советниками повел смелую внешнюю и внутреннюю политику, целью которой было, с одной стороны, добиться берега Балтийского моря и войти в непосредственные торговые и культурные сношения с Западной Европой, а с другой — привести в порядок законодательство и устроить областное управление, создать местные земские миры и призвать их к участию не только в местных судебно-административных делах, но и в деятельно-

сти центральной власти. Земский собор, впервые созванный в 1550 г., развиваясь и входя обычным органом в состав управления, должен был укрепить в умах идею земского царя взамен удельного вотчинника. Но царь не ужился со своими советниками. При подозрительном и болезненно возбужденном чувстве власти он считал добрый прямой совет посягательством на свои верховные права, несогласие со своими планами — знаком крамолы, заговора и измены. Удалив от себя добрых советников, он отдался одностороннему направлению своей мнительной политической мысли, везде подозревавшей козни и крамолы, и неосторожно возбудил старый вопрос об отношении государя к боярству — вопрос, которого он не в состоянии был разрешить и которого потому не следовало возбуждать. Дело заключалось в исторически сложившемся противоречии, в несогласии правительственного положения и политического настроения боярства с характером власти и политическим самосознанием московского государя. Этот вопрос был неразрешим для московских людей XVI в. Потому надобно было до поры до времени занимать его, сглаживая вызвавшее его противоречие средствами благоразумной политики, а Иван хотел разом разрубить вопрос, обострив самое противоречие, своей односторонней политической теорией поставив его ребром, как ставят тезисы на ученых диспутах, принципиально, но непрактично. Усвоив себе чрезвычайно исключительную и нетерпеливую, чисто отвлеченную идею верховной власти, он решил, что не может править государством, как правили его отец и дед, при содействии бояр, но как иначе он должен править, этого он и сам не мог уяснить себе. Превратив политический вопрос о порядке в ожесточенную вражду с лицами, в бесцельную и неразборчивую резню, он своей опричниной внес в общество страшную смуту, а сыноубийством подготовил гибель своей династии. Между тем успешно начатые внешние предприятия и внутренние реформы расстроились, были брошены недоконченными по вине неосторожно обостренной внутренней вражды. Отсюда понятно, почему этот царь двоился в представлении современников, переживших его царствование. Так, один из них, описав славные деяния царя до смерти царицы Анастасии, продолжает: «А потом словно страшная буря, налетевшая со стороны, смутила покой его доброго сердца, и я не знаю, как перевернула его многомудренней ум и нрав свирепый, и стал он мятежником в собственном государстве». Другой со-

временник, характеризуя грозного царя, пишет, что это был «муж чудного рассуждения, в науке книжного почитания доволен и многоречив, зело ко ополчению дерзостен и за свое отечество стоятелен, на рабы, от бога данные ему, жестосерд, на пролитие крови дерзостен и неумолим, множество народа от мала и до велика при царстве своем погубил, многие города свои попленил и много иного содеял над рабами своими; но этот же царь Иван и много доброго совершил, воинство свое весьма любил и на нужды его из казны своей неоскудно подавал».

Значение царя Ивана

Таким образом, положительное значение царя Ивана в истории нашего государства далеко не так велико, как можно было бы думать, судя по его замыслам и начинаниям, по шуму, какой производила его деятельность. Грозный царь больше задумывал, чем сделал, сильнее подействовал на воображение и нервы своих современников, чем на современный ему государственный порядок. Жизнь Московского государства и без Ивана устроилась бы так же, как она строилась до него и после него, но без него это устроение пошло бы легче и ровнее, чем оно шло при нем и после него: важнейшие политические вопросы были бы разрешены без тех потрясений, какие были им подготовлены. Важнее отрицательное значение этого царствования. Царь Иван был замечательный писатель, пожалуй, даже бойкий политический мыслитель, но он не был государственный делец. Одностороннее, себялюбивое и мнительное направление его политической мысли при его нервной возбужденности лишало его практического такта, политического глазомера, чутья действительности, и, успешно предприняв завершение государственного порядка, заложенного его предками, он незаметно для себя самого кончил тем, что поколебал самые основания этого порядка. Карамзин¹⁵ преувеличил очень немного, поставив царствование Ивана — одно из прекраснейших по началу — по конечным его результатам наряду с монгольским игом и бедствиями удельного времени. Вражде и произволу царь жертвовал и собой, и своей династией, и государственным благом. Его можно сравнить с тем ветхозаветным слепым богатырем, который, чтобы погубить своих врагов, на самого себя повалил здание, на крыше коего эти враги сидели.



ЦАРЬ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ.— Ф. М. РТИЦЕВ

Мы видели *движения*, происходившие в русском обществе XVII в. Нам остается взглянуть на людей, стоявших тогда во главе его. Это необходимо для полноты наблюдения. Из противоположных течений, волновавших русское общество, одно отталкивало его к старине, а другое увлекало вперед, в темную даль неведомой чужбины. Эти противоположные влияния рождали и распространяли в обществе смутные чувства и настроения. Но в отдельных людях, становившихся впереди общества, эти чувства и стремления уяснялись, превращались в сознательные идеи и становились практическими задачами. Притом такие представительные, типические лица помогут нам полнее изучить состав жизни, их воспитавшей. В таких лицах целно собирались и выпукло проступали такие интересы и свойства их среды, которые терялись в ежедневном обиходе, спорадически бродя по заурядным людям, разбросанными и бессильными случайностями. Я остановлю ваше внимание только на немногих людях, шедших во главе преобразовательного движения, которым подготовлялось дело Петра. В их идеях и задачах, ими поставленных, всего явственнее обнаруживаются существенные результаты этой подготовки. То были идеи и задачи, которые прямо вошли в преобразовательную программу Петра. как завет его предшественников.

Царь Алексей Михайлович¹

Первое место между этими предшественниками принадлежит бесспорно отцу преобразователя. В этом лице отразился первый момент преобразовательного движе-

ния, когда вожди его еще не думали разрывать со своим прошлым и ломать существующее. Царь Алексей Михайлович принял в преобразовательном движении позу, соответствующую такому взгляду на дело: одной ногой он еще крепко упирался в родную православную старину, а другую уже занес было за ее черту, да так и остался в этом нерешительном переходном положении. Он вырос вместе с поколением, которое нужда впервые заставила заботливо и тревожно посматривать на еретический Запад в чаянии найти там средства для выхода из домашних затруднений, не отрекаясь от понятий, привычек и верований благочестивой старины. Это было у нас единственное поколение, так думавшее: так не думали прежде и перестали думать потом. Люди прежних поколений боялись брать у Запада даже материальные удобства, чтобы ими не повредить нравственного завета отцов и дедов, с которым не хотели расставаться, как со святыней; после у нас стали охотно пренебрегать этим заветом, чтобы тем вкуснее были материальные удобства, заимствуемые у Запада. Царь Алексей и его сверстники не менее предков дорожили своей православной стариной; но некоторое время они были уверены, что можно щеголять в немецком кафтане, даже смотреть на иноземную потеху, «комедийное действо» и при этом сохранить в неприкосновенности те чувства и понятия, какие необходимы, чтобы с набожным страхом помышлять о возможности нарушить пост в крещенский сочельник до звезды.

Царь Алексей родился в 1629 году. Он прошел полный курс древнерусского образования, или *словесного учения*, как тогда говорили. По заведенному порядку тогдашней педагогики на шестом году его посадили за букварь, нарочно для него составленный патриаршим дьяком по заказу дедушки, патриарха Филарета², — известный древнерусский букварь с титлами, заповедями, кратким катехизисом и т. д. Учил царевича, как это было принято при московском дворе, дьяк одного из московских приказов. Через год перешли от азбуки к чтению часовника, месяцев через пять к псалтырю, еще через три принялись изучать Деяния апостолов, через полгода стали учить писать, на девятом году певчий дьяк, т. е. регент дворцового хора, начал разучивать Охтой (Октоих), нотную богослужебную книгу, от которой месяцев через восемь перешли к изучению «страшного пения», т. е. церковных песнопений страстной седмицы, особенно трудных по своему напеву — и лет десяти царевич был готов, прошел

весь курс древнерусского гимназического образования: он мог бойко прочесть в церкви часы и не без успеха петь с дьячком на клиросе по крюковым нотам стихиры и каноны. При этом он до мельчайших подробностей изучил чин церковного богослужения, в чем мог поспорить с любым монастырским и даже соборным уставщиком. Царевич прежнего времени, вероятно, на этом бы и остановился. Но Алексей воспитывался в иное время, у людей которого настойчиво стучалась в голову смутная потребность ступить дальше, в таинственную область эллинской и даже латинской мудрости, мимо которой, боязливо чураясь и крестясь, пробегал благочестивый русский грамотей прежних веков. Немец со своими нововымышленными хитростями, уже забравшийся в ряды русских ратных людей, проникал и в детскую комнату государева дворца. В руках ребенка Алексея была уже «потеха», конь немецкой работы и немецкие «карты», картинки, купленные в Овощном ряду за 3 алтына 4 деньги (рубля полтора на наши деньги), и даже детские латы, сделанные для царевича мастером немчином Петром Шальтом. Когда царевичу было лет 11—12, он обладал уже маленькой библиотекой, составившейся преимущественно из подарков дедушки, дядек и учителя, заключавшей в себе томов 13. Большею частью это были книги священного писания и богослужебные; но между ними находились уже грамматика, печатанная в Литве, космография и в Литве же изданный какой-то лексикон. К тому же главным воспитателем царевича был боярин Б. И. Морозов, один из первых русских бояр, сильно пристрастившийся к западноевропейскому³. Он ввел в учебную программу царевича прием наглядного обучения, знакомил его с некоторыми предметами посредством немецких гравированных картинок; он же ввел и другую еще более смелую новизну в московский государев дворец, одел цесаревича Алексея и его брата в немецкое платье.

В зрелые годы царь Алексей представлял в высшей степени привлекательное сочетание добрых свойств верного старине древнерусского человека с склонностью к полезным и приятным новшествам. Он был образцом набожности, того чинного, точно размеренного и твердо разученного благочестия, над которым так много и долго работало религиозное чувство древней Руси. С любым иноком мог он поспорить в искусстве молиться и поститься: в великий и успенский пост по воскресеньям, вторникам, четвергам и субботам царь кушал раз в день, и ку-

шанье его состояло из капусты, груздей и ягод — все без масла; по понедельникам, средам и пятницам во все посты он не ел и не пил ничего. В церкви он стоял иногда часов по пяти и по шести сряду, клал по тысяче земных поклонов, а в иные дни и по полторы тысячи. Это был истовый древнерусский богомолец, стройно и цельно соединявший в подвиге душевного спасения труд телесный с напряжением религиозного чувства. Эта набожность оказывала могущественное влияние на государственные понятия и на житейские отношения Алексея. Сын и преемник царя, пользовавшегося ограниченной властью, но сам вполне самодержавный властелин, царь Алексей крепко держался того выпренного взгляда на царскую власть, какой выработало старое московское общество. Предание Грозного звучит в словах царя Алексея: «Бог благословил и предал нам, государю, править и рассуждать люди своя на востоке и на западе и на юге и на севере вправду». Но сознание самодержавной власти в своих проявлениях смягчалось набожной кротостью, глубоким смирением царя, пытавшегося не забыть в себе человека. В царе Алексее нет и тени самонадеянности, того щекотливого и мнительного, обидчивого властолюбия, которым страдал Грозный. «Лучше слезами, усердием и низостью (смирением) перед богом промысел чинить, чем силой и славой (надменностью)», — писал он одному из своих воевод. Это соединение власти и кротости помогало царю ладить с боярами, которым он при своем самодержавии уступал широкое участие в управлении; делиться с ними властью, действовать с ними об руку было для него привычкой и правилом, а не жертвой или досадной уступкой обстоятельствам. «А мы, великий государь, — писал он князю Никите Одоевскому в 1652 г. ⁴, — ежедневно просим у создателя и у пречистой его богоматери и у всех святых, чтобы господь бог даровал нам, великому государю, и вам, боярам, с нами единодушно люди его световы управить вправду всем ровно». Сохранилась весьма характерная в своем роде записочка царя Алексея, коротенький конспект того, о чем предполагалось говорить на заседании Боярской думы ⁵. Этот документ показывает, как царь готовился к думским заседаниям: он не только записал, какие вопросы предложить на обсуждение бояр, но и наметил, о чем говорить самому, как решить тот или другой вопрос. Кое о чем навел справки, записал цифры; об ином он еще не составил мнения и не знает, как выскажутся бояре; о другом он име-

ет нерешительное мнение, от которого откажется, если станут возражать. Зато по некоторым вопросам он составил твердое суждение и будет упорно за него стоять в совете: это именно вопросы простой справедливости и служебной добросовестности. Астраханский воевода, по слухам, уступил калмыкам православных пленников, ими захваченных. Царь решил написать ему «с грозой и с милостию», а если слух оправдается, казнить его смертью или по меньшей мере отсечь руку и сослать в Сибирь. Эта записочка всего нагляднее рисует простоту и прямоту отношений царя к своим советникам, равно и внимательность к своим правительственным обязанностям.

Общественные нравы и понятия в иных случаях перемогали добрые свойства и влечения царя. Властный человек в древней Руси так легко забывал, что он не единственный человек на свете, и не замечал рубежа, до которого простирается его воля и за которым начинаются чужое право и общеобязательное приличие. Древнерусская набожность имела довольно ограниченное поле действия, поддерживала религиозное чувство, но слабо сдерживала волю. От природы живой, впечатлительный и подвижной, Алексей страдал вспыльчивостью, легко терял самообладание и давал излишний простор языку и рукам. Однажды, в пору уже натянутых отношений к Никону⁶, царь, возмущаемый высокомерием патриарха, из-за церковного обряда поссорился с ним в церкви в великую пятницу и выбрал его обычной тогда бранью московских сильных людей, не исключая и самого патриарха, обозвав Никона мужиком, ... сыном. В другой раз в любимом своем монастыре Саввы Сторожевского, который он недавно отстроил, царь праздновал память святого основателя монастыря и обновление обители в присутствии патриарха антиохийского Макария⁷. На торжественной заутрене чтец начал чтение из жития святого обычным возгласом: *благослови, отче*. Царь вскочил с кресла и закричал: «Что ты говоришь, мужик, ...сын: *благослови, отче?* Тут патриарх, говори: *благослови, владыко!* В продолжение службы царь ходил среди монахов и учил их читать то-то, петь так-то; если они ошибались, с бранью поправлял их, вел себя уставщиком и церковным старостой, зажигал и гасил свечи, снимал с них нагар, во время службы не переставал разговаривать со стоявшим рядом приезжим патриархом, был в храме, как дома, как будто на него никто не смотрел. Ни доброта природы, ни мысль о достоинстве сана, ни усилия быть набожным и порядочным

ни на вершок не поднимали царя выше грубейшего из его подданных. Религиозно-нравственное чувство разбивалось о неблагоприятный темперамент, и даже добрые движения души получали непристойное выражение. Вспыльчивость царя чаще всего возбуждалась встречей с нравственным безобразием, особенно с поступками, в которых обнаруживались хвастовство и надменность. Кто на похвальбе ходит, всегда посрамлен бывает; таково было житейское наблюдение царя. В 1660 г. князь Хованский был разбит в Литве и потерял почти всю свою двадцатитысячную армию⁸. Царь спрашивал в думе бояр, что делать. Боярин И. Д. Милославский⁹, тесть царя, не бывавший в походах, неожиданно заявил, что если государь пожалует его, даст ему начальство над войском, то он скоро приведет пленником самого короля польского. «Как ты смеешь,— закричал на него царь,— ты, страдник, худой человечиска, хвастаться своим искусством в деле ратном! когда ты ходил с полками, какие победы показал над неприятелем?». Говоря это, царь вскочил, дал старику пощечину, надрал ему бороду и, пинками вытолкнув его из палаты, с силой захлопнул за ним двери. На хвастуна или озорника царь вспылит, пожалуй, даже пустит в дело кулаки, если виноватый под руками, и уж непременно обругает вволю: Алексей был мастер браниться тою изысканною бранью, какой умеет браниться только негодующее и незлопамятное русское добродушие. Казначей Саввина Сторожевского монастыря отец Никита, выпивши, подрался со стрельцами, стоявшими в монастыре, прибил их десятника (офицера) и велел выбросить за монастырский двор стрелецкое оружие и платье. Царь возмущился этим поступком, «до слез ему стало, во мгле ходил», по его собственному признанию. Он не утерпел и написал грозное письмо буйному монаху. Характерен самый адрес послания: «От царя и великого князя Алексея Михайловича всяя Руси врагу божию и богоненавистцу и хриstopродавцу и разорителю чудотворцева дому и единомысленнику сатанину, врагу проклятому, ненадобному шпыню и злему пронырливому злодею казначею Миките». Но прилив царского гнева разбивался о мысль, никогда не покидавшую царя, что на земле никто не безгрешен перед богом, что на его суде все равны, и цари и подданные: в минуты сильнейшего раздражения Алексей ни в себе, ни в виноватом подданном старался не забыть человека. «Да и то себе ведай, сатанин ангел,— писал царь в письме к казначею,— что одному

тебе да отцу твоему диаволу годна и дорога твоя здешняя честь, а мне, грешному, здешняя честь, аки прах, и дороги ли мы перед богом с тобою и дороги ли наши высокосердечные мысли, доколе бога не боимся». Самодержавный государь, который мог сдуть с лица земли отца Микиту, как пылинку, пишет далее, что он сам со слезами будет милости просить у чудотворца преп. Саввы¹⁰, чтобы оборонил его от злонравного казначея: «На оном веке рассудит нас бог с тобою, а опричь того мне нечем от тебя оборониться». При доброте и мягкости характера это уважение к человеческому достоинству в подданном производило обаятельное действие на своих и чужих и заслужило Алексею прозвание «тишайшего царя». Иностранцы не могли надивиться тому, что этот царь при беспредельной власти своей над народом, привыкшим к полному рабству, не посягнул ни на чье имущество, ни на чью жизнь, ни на чью честь (слова австрийского посла Мейерберга¹¹). Дурные поступки других тяжело действовали на него всего более потому, что возлагали на него противную ему обязанность наказывать за них. Гнев его был отходчив, проходил минутной вспышкой, не простираясь далее угроз и пинков, и царь первый шел навстречу к потерпевшему с прощением и примирением, стараясь приласкать его, чтобы не сердился. Страдая тучностью, царь раз позвал немецкого «дохтура» открыть себе кровь; почувствовав облегчение, он по привычке делиться всяким удовольствием с другими предложил и своим вельможам сделать ту же операцию. Не согласился на это один боярин Стрешнев, родственник царя по матери, ссылаясь на свою старость. Царь вспылил и прибил старика, приговаривая: «Твоя кровь дороже что ли моей? или ты считаешь себя лучше всех?» Но скоро царь и не знал, как задобрить обиженного, какие подарки послать ему, чтобы не сердился, забыл обиду.

Алексей любил, чтобы вокруг него все были веселы и довольны; всего невыносимее была ему мысль, что кто-нибудь им недоволен, ропщет на него, что кого-нибудь стесняет. Он первый начал ослаблять строгость заведенного при московском дворе чопорного этикета, делавшего столь тяжелыми и натянутыми придворные отношения. Он нисходил до шутки с придворными, ездил к ним запросто в гости, приглашал их к себе на вечерние пирушки, поил, близко входил в их домашние дела. Уменьше входить в положение других, понимать и принимать к сердцу их горе и радость было одною из лучших черт в

характере царя. Надобно читать его утешительные письма к кн. Ник. Одоевскому по случаю смерти его сына и к Ордину-Нащокину¹² по поводу побега его сына за границу — надобно читать эти задушевные письма, чтобы видеть, на какую высоту деликатности и нравственной чуткости могла поднять даже неустойчивого человека эта способность проникаться чужим горем. В 1652 г. сын кн. Ник. Одоевского, служившего тогда воеводой в Казани, умер от горячки почти на глазах у царя. Царь написал старику отцу, чтобы утешить его, и, между прочим, писал: «И тебе бы, боярину нашему, через меру не скорбеть, а нельзя, чтобы не поскорбеть и не поплакать, и поплакать надобно, только в меру, чтобы бога не прогневать». Автор письма не ограничился подробным рассказом о неожиданной смерти и обильным потоком утешений отцу; окончив письмо, он не утерпел, еще приписал: «Князь Никита Иванович! не горюй, а уповай на бога и на нас будь надежен». В 1660 г. сын Ордина-Нащокина, молодой человек, подававший большие надежды, которому иноземные учителя вскружили голову рассказами о Западной Европе, бежал за границу. Отец был страшно сконфужен и убит горем, сам уведомил царя о своем несчастии и просил отставки. Царь умел понимать такие положения и написал отцу задушевное письмо, в котором защищал его от него самого. Между прочим он писал: «Просишь ты, чтобы дать тебе отставку; с чего ты взял просить об этом? думаю, что от безмерной печали. И что удивительного в том, что надурил твой сын? от малоумия так поступил. Человек он молодой, захотелось посмотреть на мир божий и его дела; как птица полетает туда и сюда и, налетавшись, прилетает в свое гнездо, так и сын ваш припомнит свое гнездо и свою духовную привязанность и скоро к вам воротится».

Царь Алексей Михайлович был добрейший человек, славная русская душа. Я готов видеть в нем лучшего человека древней Руси, по крайней мере, не знаю другого древнерусского человека, который производил бы более приятное впечатление — но только не на престоле. Это был довольно пассивный характер. Природа или воспитание было виною того, что в нем развились преимущественно те свойства, которые имеют такую цену в ежедневном житейском обиходе, вносят столько света и тепла в домашние отношения. Но при нравственной чуткости царю Алексею недоставало нравственной энергии. Он любил людей и желал им всякого добра, потому что не

хотел, чтобы они своим горем и жалобами расстраивали его тихие личные радости. В нем, если можно так выразиться, было много того нравственного сибаритства, которое любит добро, потому что добро вызывает приятные ощущения. Но он был мало способен и мало расположен что-нибудь отстаивать или проводить, как и с чем-либо долго бороться. Рядом с даровитыми и честными дельцами он ставил на важные посты людей, которых сам ценил очень низко. Наблюдатели непредубежденные, но и непристрастные выносили несогласимые впечатления, из которых слагалось такое общее суждение о царе, что это был добрейший и мудрейший государь, если бы не слушался дурных и глупых советников. В царе Алексее не было ничего боевого; всего менее имел он охоты и способности двигать вперед, понукать и направлять людей, хотя и любил подчас собственноручно «смирить», т. е. отколотить неисправного или недобросовестного слугу. Современники, даже иностранцы, признавали в нем богатые природные дарования: восприимчивость и любознательность помогли ему приобрести замечательную по тому времени начитанность не только в божественном, но и в мирском писании; об нем говорили, что он «навычен многим философским наукам»; дух времени, потребности минуты также будили мысль, задавали новые вопросы. Это возбуждение сказалось в литературных наклонностях царя Алексея. Он любил писать и писал много больше, чем кто-либо из древнерусских царей после Грозного. Он пытался изложить историю своих военных походов, делал даже опыты в стихотворстве: сохранилось несколько написанных им строк, которые могли казаться автору стихами. Всего больше оставил он писем к разным лицам. В этих письмах много простодушия, веселости, подчас задушевной грусти и просвечивает тонкое понимание ежедневных людских отношений, меткая оценка житейских мелочей и заурядных людей, но не заметно ни тех смелых и бойких оборотов мысли, ни той иронии — ничего, чем так обильны послания Грозного. У царя Алексея все мило, многоречиво, иногда живо и образно, но вообще все сдержанно, мягко, тускло и немного сладковато. Автор, очевидно, человек порядка, а не идеи и увлечения, готового расстроить порядок во имя идеи; он готов был увлекаться всем хорошим, но ничем исключительно, чтобы ни в себе, ни вокруг себя не разрушить спокойного равновесия. Склад его ума и сердца с удивительной точностью отражался в его полной, даже тучной фигуре, с низ-

ким лбом, белым лицом, обрамленным красивой бородой, с пухлыми румяными щеками, русыми волосами, с кроткими чертами лица и мягкими глазами.

Этому-то царю пришлось стоять в потоке самых важных внутренних и внешних движений. Разносторонние отношения, старинные и недавние, шведские, польские, крымские, турецкие, западнорусские, социальные, церковные, как нарочно, в это царствование обострились, встретились и перепутались, превратились в неотложные вопросы и требовали решения, не соблюдая своей исторической очереди, и над всеми ними как общий ключ к их решению стоял основной вопрос: оставаться ли верным родной старине или брать уроки у чужих? Царь Алексей разрешил этот вопрос по-своему: чтобы не выбирать между стариной и новшествами, он не разрывал с первой и не отворачивался от последних. Привычки, родственные и другие отношения привязывали его к стародамам; нужды государства, отзывчивость на все хорошее, личное сочувствие тянули его на сторону умных и энергических людей, которые во имя народного блага хотели вести дела не по-старому. Царь и не мешал этим новаторам, даже поддерживал их, но только до первого раздумья, до первого энергичного возражения со стороны стародумов. Увлекаемый новыми веяниями, царь во многом отступал от старозаветного порядка жизни, ездил в немецкой карете, брал с собой жену на охоту, водил ее и детей на иноземную потеху, «комедийные действия» с музыкой и танцами, поил допьяна вельмож и духовника на вечерних пирушках, причем немчин в трубы трубил и в органы играл; дал детям учителя, западнорусского ученого монаха, который повел преподавание дальше часослова, псалтыря и Октоиха, учил царевичей языкам латинскому и польскому. Но царь Алексей не мог стать во главе нового движения и дать ему определенное направление, отыскать нужных для того людей, указать им пути и приемы действия. Он был не прочь срывать цветки иноземной культуры, но не хотел марать рук в черной работе ее посева на русской почве.

Несмотря, однако, на свой пассивный характер, на свое добродушно-нерешительное отношение к вопросам времени, царь Алексей много помог успеху преобразовательного движения. Своими часто беспорядочными и непоследовательными порывами к новому и своим умением все сглаживать и улаживать он приручил пугливую русскую мысль к влияниям, шедшим с чужой стороны. Он

не дал руководящих идей для реформы, но помог выступить первым реформаторам с их идеями, дал им возможность почувствовать себя свободно, проявить свои силы и открыл им довольно просторную дорогу для деятельности: не дал ни плана, ни направления преобразованиям, но создал преобразовательное настроение.

Мы познакомимся с одним из таких дельцов преобразовательного направления, притом с одним из ближайших сотрудников царя Алексея, как будто похожим на него по основным чертам своего характера, и однако ж — какая разница в их подборе, общем складе и проявлении сходных свойств!

Ф. М. Ртищев

Почти все время царствования Алексея Михайловича неотлучно находился при нем, служа по дворцовому ведомству, его ближний постельничий, а потом дворецкий и воспитатель (дядька) старшего царевича Алексея Федор Михайлович Ртищев. Он был почти сверстник царя Алексея, родился годами четырьмя раньше его (1625 г.) и умер года за три до его смерти (1673 г.). Сторонним наблюдателям он был мало замечен: не выступать вперед, оставаться в тени было его житейской привычкой. Хорошо еще, что какой-то современник оставил нам небольшое *житие* Ртищева, похожее скорее на похвальное слово, чем на биографию, но с несколькими любопытными чертами жизни и характера этого «милостивого мужа», как его называет биограф. Это был один из тех редких и немного странных людей, у которых совсем нет самолюбия. Наперекор природным инстинктам и исконным привычкам людей Ртищев в заповеди Христа любить ближнего, как самого себя, исполнял только первую часть: он и самого себя не любил ради ближнего — совершенно евангельский человек, правая щека которого просто, без хвастовства и расчета, подставлялась ударившему по левой, как будто это было требованием физического закона, а не подвигом смирения. Ртищев не понимал обиды и мести, как иные не знают вкуса в вине и не понимают, как это можно пить такую неприятную вещь. Некто Иван Озеров, некогда благодетельствованный Ртищевым и при его содействии получивший образование в Киевской академии, потом стал его врагом. Ртищев был его начальником, но не хотел пользоваться своей властью, а пытался утолить его вражду упорным смирением и доброжелательством; он приходил к его жили-

шу, тихо стучался в дверь, получал отказ и опять приходил. Выведенный из терпения такой настойчивой и досадной кротостью, хозяин впускал его к себе, бранился и кричал на него. Не отвечая на брань, Ртищев молча уходил от него и опять приходил с приветом, как будто ничего не бывало. Так продолжалось до смерти упрямого недруга, которого Ртищев и похоронил, как хоронят добрых друзей. Из всего нравственного запаса, почерпнутого древней Русью из христианства, Ртищев воспитал в себе наиболее трудную и наиболее сродную древнерусскому человеку доблесть — смиренномудрие. Царь Алексей, выросший вместе со Ртищевым, разумеется, не мог не привязаться к такому человеку. Своим влиянием царского любимца Ртищев пользовался, чтобы быть миротворцем при дворе, устранять вражды и столкновения, сдерживать сильных и заносчивых или неуступчивых людей вроде боярина Морозова, протопопа Аввакума¹³ и самого Никона. Такая трудная роль тем легче удавалась Ртищеву, что он умел говорить правду без обиды, никому не колол глаз личным превосходством, был совершенно чужд родословного и чиновного тщеславия, ненавидел местнические счеты, отказался от боярского сана, предложенного ему царем за воспитание царевича. Соединение таких свойств производило впечатление редкого благородия и непоколебимой нравственной твердости: благородием, по замечанию цесарского посла Мейерберга, Ртищев еще не имея 40 лет от роду, превосходил многих стариков, а Ордин-Нащокин считал Ртищева самым крепким человеком из придворных царя Алексея; даже казаки за правдивость и обходительность желали иметь его у себя царским наместником, «князем малороссийским».

Для успеха преобразовательного движения было очень важно, что Ртищев стоял на его стороне. Нося в себе лучшие начала и заветы древнерусской жизни, он понимал ее нужды и недостатки и стал в первом ряду деятелей преобразовательного направления, а дело, за которое становился такой делец, не могло быть ни дурным, ни безуспешным. Он один из первых поднял голос против известных уже нам богослужебных бесчиний. Больше, чем кто-либо при царе Алексее, заботился о водворении в Москве образования при помощи киевских ученых, и ему даже принадлежал почин в этом деле. Ежеминутно на глазах у царя и располагая его полным доверием, Ртищев, однако, не стал временщиком и не остался безучастным зрителем поднимавшихся вокруг него

движений. Он участвовал в самых разнообразных делах по поручению или по собственному почину, управлял приказами, раз в 1655 г. успешно исполнил дипломатическое поручение. Чуть где проявлялась попытка исправить, улучшить положение дел, Ртищев был тут со своим содействием, ходатайством, советом, шел навстречу всякой обновительной потребности, нередко сам возбуждал ее и тотчас сторонился, отходил на второй план, чтобы не стеснять дельцов, ни у кого не перебивал дороги. Миротворительный и доброжелательный, он не выносил вражды, злобы, ладил со всеми выдающимися дельцами своего времени: и с Ординым-Нащокиным, и с Никоном, и с Аввакумом, и со Славинецким, и с Полоцким¹⁴ при всем несходстве их характеров и направлений, старался удержать староверов и никониан в области богословской мысли, книжного спора, не допуская их до церковного раздора, устраивал в своем доме прения, на которых Аввакум «брался с отступниками», особенно с С. Полоцким, до изнеможения, до опьянения.

Если верить известию, что мысль о медных деньгах была внушена Ртищевым, то надобно признать, что его правительственное влияние простиралось за пределы дворцового ведомства, в котором он служил. Впрочем, не государственная деятельность в точном смысле слова была настоящим делом жизни Ртищева, которым он оставил по себе память: он избрал себе не менее трудное, но менее видное и более самоотверженное поприще — служение страждущему и нуждающемуся человечеству. Биограф передает несколько трогательных черт этого служения. Сопровождая царя в польском походе (1654 г.), Ртищев по дороге подбирал в свой экипаж нищих, больных и увечных, так что от тесноты сам должен был пересаживаться на коня, несмотря на многолетнюю болезнь ног, в попутных городах и селах устраивал для этих людей временные госпитали, где содержал и лечил их на свой счет и на деньги, данные ему на это дело царичей. Точно так же в Москве он велел собирать по улицам валявшихся пьяных и больных в особый приют, где содержал их до вытрезвления и излечения, а для неизлечимых больных, престарелых и убогих устроил богадельню, которую также содержал на свой счет. Он тратил большие деньги на выкуп русских пленных у татар, помогал иноземным пленникам, жившим в России, и узникам, сидевшим в тюрьме за долги. Его человеколюбие вытекало не из одного только сострадания к беспомощ-

ным людям, но и из чувства общественной справедливости. Это был очень добрый поступок Ртищева, когда он подарил городу Арзамасу свою подгородную землю, в которой горожане крайне нуждались, но которой не могли купить, хотя у Ртищева был выгодный частный покупатель, предлагавший ему за нее до 14 тыс. рублей на наши деньги. В 1671 г., прослышав о голоде в Вологде, Ртищев отправил туда обоз с хлебом, как будто порученный ему некоторыми христороубцами для раздачи нищим и убогим на помин души, а потом переслал бедствующему городу около 14 тыс. рублей на наши деньги, продав для того часть своего платья и утвари. Ртищев, по-видимому, понимал не только чужие нужды, но и нескладницы общественного строя и едва ли не первый деятельно выразил свое отношение к крепостному праву. Биограф описывает его заботливость о своих дворовых людях, и особенно о крестьянах: он старался соразмерить работы и оброки крестьян с их средствами, поддерживал их хозяйства ссудами, при продаже одного своего села уменьшил его цену, заставив покупателя поклясться, что он не усилит их барщинных работ и оброков, перед смертью всех дворовых отпустил на волю и умолял своих наследников, дочь и зятя, только об одном — на помин его души возможно лучше обращаться с завещанными им крестьянами, «ибо, — говорил он, — они нам суть братья».

Неизвестно, какое впечатление производило на общество отношение Ртищева к своим крестьянам; но его благотворительные подвиги, по-видимому, не остались без влияния на законодательство. В царствование Алексея преемника возбужден был вопрос о церковно-государственной благотворительности. По указу царя произвели в Москве разборку нищих и убогих, питавшихся подаяниями, и действительно беспомощных поместили на казенное содержание в двух устроенных для того богадельнях, а здоровых определили на разные работы. На церковном соборе, созванном в 1681 г., царь предложил патриарху и епископам устроить такие же приюты и богадельни по всем городам, и отцы собора приняли это предложение. Так частный почин влиятельного и доброго человека лег в основание целой системы церковно-благотворительных учреждений, постепенно возникавших с конца XVII в. Тем особенно и важна деятельность тогдашних государственных людей преобразовательного направления, что их личные помыслы и частные усилия превращались в законодательные вопросы, которые разрабатывались в политические направления или в государственные учреждения.



А. Л. ОРДИН-НАЩОКИН

Из ряда сотрудников царя Алексея резкой фигурой выступает самый замечательный из московских государственных людей XVII в. Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин.

Московский государственный человек XVIIв.! Самое это выражение может показаться злоупотреблением современной политической терминологией. *Государственный человек* — ведь это значит развитой политической ум, способность наблюдать, понимать и направлять общественные движения, с самостоятельным взглядом на вопросы времени, с разработанной программой действия, наконец, с известным простором для политической деятельности — целый ряд условий, присутствия которых мы совсем не привыкли предполагать в старом Московском государстве. Да, до XVII в. этих условий, действительно, не заметно в государстве московских самодержцев, и трудно искать государственных людей при их дворе. Ход государственных дел тогда направлялся заведенным порядком да государевой волей. Личный ум прятался за порядком, лицо служило только орудием государевой воли; но и порядок и самая эта воля подчинялись еще сильнейшему влиянию обычая, предания. В XVII в., однако, московская государственная жизнь начала прокладывать себе иные пути. Старый обычай, заведенный порядок пошатнулись; начался сильный спрос на ум, на личные силы, а воля царя Алексея Михайловича для общего блага готова была подчиниться всякому сильному и благонамеренному уму.

Царь Алексей, сказал я, создал в русском обществе

XVII в. преобразовательное настроение. Первое место в ряду государственных дельцов, захваченных таким настроением, бесспорно принадлежит самому блестящему из сотрудников царя Алексея, наиболее энергичному провозвестнику преобразовательных стремлений его времени, боярину Афанасию Лаврентьевичу Ордину-Нащокину. Этот делец вдвойне любопытен для нас, потому что вел двойную подготовку реформы Петра Великого. Во-первых, никто из московских государственных дельцов XVII в. не высказал столько, как он, преобразовательных идей и планов, которые после осуществил Петр, потом Ордину-Нащокину пришлось не только действовать по-новому, но и самому создавать обстановку своей деятельности. По происхождению своему он не принадлежал к тому обществу, среди которого ему привелось действовать. Привилегированным питомником политических дельцов в Московском государстве служило старое родовитое боярство, пренебрежительно смотревшее на массу провинциального дворянства. Ордин-Нащокин был едва ли не первым провинциальным дворянином, проложившим себе дорогу в круг этой спесивой знати, а за ним уже потянулась вереница его провинциальной братии, скоро разбившей плотные ряды боярской аристократии.

Афанасий Лаврентьевич был сыном очень скромного псковского помещика; в Псковском и в ближнем Торопецком уездах ютилось целое семейное гнездо Нащокиных, которое шло от одного видного служилого человека при московском дворе XVI в. Из этого гнезда, захудавшего после своего родоначальника, вышел и наш Афанасий Лаврентьевич. Он стал известен еще при царе Михаиле: его не раз назначали в посольские комиссии для размежевания границ со Швецией. В начале Алексея царствования Ордин-Нащокин уже считался на родине видным дельцом и усердным слугой московского правительства. Вот почему во время псковского бунта 1650 г. мятежники намеревались убить его. При усмирении этого бунта московскими полками Ордин-Нащокин показал много усердия и умения. С тех пор он пошел в гору. Когда в 1654 г. открылась война с Польшей, ему поручен был чрезвычайно трудный пост: с малыми военными силами он должен был сторожить московскую границу со стороны Литвы и Ливонии. Он отлично исполнил возложенное на него поручение. В 1656 г. началась война со Швецией, и сам царь двинулся в поход под Ригу. Когда московские войска взяли один из ливонских

городов на Двине, Кокенгаузен (старинный русский Кукейнос, когда-то принадлежавший полоцким князьям), Нащокин был назначен воеводой этого и других ново-завоеванных городов. На этой должности Ордин-Нащокин делает важные военные и дипломатические дела: сторожит границу, завоевывает ливонские городки, ведет переписку с польскими властями; ни одно важное дипломатическое дело не делается без его участия. В 1658 г. его усилиями заключено было Валиесарское перемирие со Швецией, условия которого превзошли ожидания самого царя Алексея¹. В 1665 г. Ордин-Нащокин сидел воеводой в родном своем Пскове. Наконец, он сослужил самую важную и тяжелую службу московскому правительству: после утомительных восьмимесячных переговоров с польскими уполномоченными он заключил в январе 1667 г. в Андрусове перемирие с Польшей, положившее конец опустошительной для обеих сторон тринадцатилетней войне. В этих переговорах Нащокин показал много дипломатической сообразительности и умения ладить с иноземцами и вытягивал у поляков не только Смоленскую и Северскую землю и восточную Малороссию, но и из западной Киев с округом. Заключение Андрусовского перемирия поставило Афанасия очень высоко в московском правительстве, составило ему громкую дипломатическую известность. Делая все эти дела, Нащокин быстро поднимался по чиновной лестнице. Городовой дворянин *по отечеству*, по происхождению, по заключении упомянутого перемирия он был пожалован в *бояре* и назначен главным управителем Посольского приказа с громким титулом «царской большой печати и государственных великих посольских дел обергегателя», т. е. стал государственным канцлером.

Такова была служебная карьера Нащокина. Его родина имела некоторое значение в его судьбе. Псковский край, пограничный с Ливонией, издавна был в тесных сношениях с соседними немцами и шведами. Раннее знакомство с иноземцами и частые сношения с ними давали Нащокину возможность внимательно наблюдать и изучать ближайшие к России страны Западной Европы. Это облегчалось еще тем, что в молодости Ордину-Нащокину как-то посчастливилось получить хорошее образование: он знал, говорили, математику, языки латинский и немецкий. Служебные обстоятельства заставили его познакомиться и с польским языком. Так он рано и основательно подготовился к роли дельца в сношениях

Московского государства с европейским Западом. Его товарищи по службе говорили про него, что он «знает немецкое дело и немецкие обычаи знает же». Внимательное наблюдение над иноземными порядками и привычка сравнивать их с отечественными сделали Нащокина ревностным поклонником Западной Европы и жестоким критиком отечественного быта. Так он отрешился от национальной замкнутости и исключительности и выработал свое особое политическое мышление: он первый провозгласил у нас правило, что «доброму не стыдно навязать и со стороны, у чужих, даже у своих врагов». После него остался ряд бумаг, служебных донесений, записок или докладов царю по разным политическим вопросам. Это очень любопытные документы для характеристики как самого Нащокина, так и преобразовательного движения его времени. Видно, что автор — говорун и бойкое перо; недаром даже враги признавали, что Афанасий умел «слагательно», складно писать. У него было и другое, еще более редкое качество — тонкий, цепкий и емкий ум, умевший быстро схватывать данное положение и комбинировать по-своему условия минуты. Это был мастер своеобразных и неожиданных политических построений. С ним было трудно спорить. Вдумчивый и находчивый, он иногда выводил из терпения иноземных дипломатов, с которыми вел переговоры, и они ему же пеняли за трудность иметь с ним дело: не пропустит ни малейшего промаха, никакой непоследовательности в дипломатической диалектике, сейчас подденет и поставит в тупик оплошного или близорукого противника, отравит ему чистые намерения, самим же им внушенные, за что однажды пеняли ему польские комиссары, с ним переговоривавшиеся. Такое направление ума совмещалось у него с неугомонной совестью, с привычкой колоть глаза людям их несообразительностью. Ворчать за правду и здравый рассудок он считал своим долгом и даже находил в том большое удовольствие. В его письмах и докладах царю всего резче звучит одна нота: все они полны немолчных и часто очень желчных жалоб на московских людей и московские порядки. Ордин-Нащокин вечно на все ропщет, всем недоволен: правительственными учреждениями и приказными обычаями, военным устройством, нравами и понятиями общества. Его симпатии и антипатии, мало разделяемые другими, создавали ему неловкое, двусмысленное положение в московском обществе. Привязанность его к западноевропейским порядкам и пори-

цание своих нравились иноземцам, с ним сближавшимся, которые снисходительно признавали в нем «неглупого подражателя» своих обычаев. Но это же самое наделало ему множество врагов между своими и давало повод его московским недоброхотам смеяться над ним, называть его «иноземцем». Двусмысленность его положения еще усиливалась его происхождением и характером. Свои и чужие признавали в нем человека острого ума, с которым он пойдет далеко; этим он задевал много встречных самолюбий и тем более что он шел не обычной дорогой, к какой предназначен был происхождением, а жесткий и несколько задорный нрав его не смягчал этих столкновений. Нащокин был чужой среди московского служебного мира и как политический новик должен был с бою брать свое служебное положение, чувствуя, что каждый его шаг вперед увеличивает число его врагов, особенно среди московской боярской знати. Таким положением выработалась его своеобразная манера держаться среди враждебного ему общества. Он знал, что его единственная опора — царь, не любивший надменности, и, стараясь обеспечить себе эту опору, Нащокин прикрывался перед царем от своих недругов видом загнанного скромника, смирением до самоуничужения. Он невысоко ценит свою службишку, но не выше ставит и службу своих знатных врагов и всюду горько на них жалуется. «Перед всеми людьми, — пишет он царю, — за твое государево дело никто так не возненавижен, как я», называет себя «облихованным и ненавидимым человеченком, не имеющим, где приклонить грешную голову». При всяком затруднении или столкновении с влиятельными недругами он просит царя отставить его от службы, как неудобного и неумелого слугу, от которого может только пострадать государственный интерес. «Государево дело ненавидят ради меня, холопа твоего», — пишет он царю и просит «откинуть от дела своего омерзелого холопа». Но Афанасий знал себе цену, и про его скромность можно было сказать, что это — напускное смирение паче гордости, которое не мешало ему считать себя прямо человеком не от мира сего: «Если бы я от мира был, мир своего любил бы», — писал он царю, жалуясь на общее к себе недоброжелательство. Думным людям противно слушать его донесения и советы, потому что «они не видят стези правды и сердце их одебелело завистью». Злая ирония звучит в его словах, когда он пишет царю о правительственном превосходстве боярской знати сравни-

тельно со своей худародной особой. «Думным людям никому не надобен я, не надобны такие великие государственные дела... У таких дел пристойно быть из ближних бояр: и роды великие, и друзей много, во всем пространый смысл иметь и жить умеют; отдаю тебе, великому государю, мое крестное целование, за собой держать не смею по недостатку умишка моего».

Царь долго и настойчиво поддерживал своенравного и запальчивого дельца, терпеливо выносил его скучные жалобы и попреки, уверял его, что ему нечего бояться, что его никому не выдадут, грозил его недругам великими опалами за вражду с Афанасием и представлял ему значительный простор для деятельности. Благодаря этому Ордин-Нащокин получил возможность не только обнаружить свои административные и дипломатические таланты, но и выработать, даже частью осуществить свои политические планы. В письмах своих к царю он больше порицает существующее или полемизирует с противниками, чем излагает свою программу. Однако в его бумагах можно набрать значительный запас идей и проектов, которые при надлежащей практической разработке могли стать и стали надолго руководящими началами внутренней и внешней политики.

Первая идея, на которой упорно стоит Нащокин, заключалась в том, чтобы во всем брать образец с Запада, все делать «с примеру сторонних чужих земель». Это исходная точка его преобразовательных планов; но не все нужно брать без разбора у чужих. «Какое нам дело до иноземных обычаев,— говаривал он:— их платье не по нас, а наше не по них». Это был один из немногих западников, подумавших о том, что можно и чего не нужно заимствовать, искавших соглашения общеевропейской культуры с национальной самобытностью. Потом Нащокин не мог помириться с духом и привычками московской администрации, деятельность которой неумеренно руководилась личными счетами и отношениями, а не интересом государственного дела, порученного тому или другому дельцу. «У нас,— пишет он,— любят дело или ненавидят его, смотря не по делу, а по человеку, который его делает: меня не любят, а потому и делом моим пренебрегают». Когда царь выражал Нащокину неудовольствие за его нелады с тем или другим знатным завистником, Афанасий отвечал, что личной вражды у него нет, но «о государеве деле сердце болит и молчать не дает, когда в государеве деле вижу чье нераденье». Итак, дело в деле,

а не в лицах — вот второе правило, которым руководился Нащокин. Главным его поприщем была дипломатия, и это был дипломат первой величины, по признанию современников, даже иностранцев; по крайней мере, он едва ли не первый из русских государственных людей заставил иностранцев уважать себя. Англичанин Коллинс², врач царя Алексея, прямо называет Нащокина великим политиком, который не уступит ни одному из европейских министров. Зато и он уважал свое дело. Дипломатия составляет, по его мнению, главную функцию государственного управления, и только достойные люди могут браться за такое дело. «На государственные дела,— писал он,— подобает мысленные очеса устремлять беспорочным и избранным людям к расширению государства со всех сторон, а это есть дело одного Посольского приказа».

У Нащокина были свои дипломатические планы, своеобразные взгляды на задачи внешней московской политики. Ему пришлось действовать в ту минуту, когда ребром были поставлены самые щекотливые вопросы, питавшие непримиримую вражду Московского государства с Польшей и Швецией, вопросы о Малороссии, о Балтийском берегу. Обстоятельства поставили Нащокина в самый водоворот сношений и столкновений, вызванных этими вопросами. Но у него не закружилась голова в этом водовороте: в запутанных делах он умел отделить важное от шумного, привлекательное от полезного, мечты от достижимого. Он видел, что в тогдашнем положении и при наличных средствах Московского государства для него неразрешим в полном объеме вопрос малороссийский, т. е. вопрос о воссоединении Юго-Западной Руси с Великороссией. Вот почему он склонялся к миру и даже к тесному союзу с Польшей и хотя хорошо знал, как он выражался, «зело шаткий, бездушный и непостоянный польский народ», но от союза с ним ждал разнообразных выгод. Между прочим, чаял он, турецкие христиане, молдаване и волохи, послушав про этот союз, отложатся от турок, и тогда все дети восточной церкви, обитающие от самого Дуная вплоть до пределов Великой России и ныне разъединяемые враждебной Польшей, сольются в многочисленный христианский народ, покровительствуемый православным царем московским, и сами собою прекратятся шведские козни, возможные только при русско-польской распре. В 1667 г. польским послам, приехавшим в Москву для подтвер-

ждения Андрусовского договора³, Нащокин в одушевленной речи развивал свои мечты о том, какой великой славой покрылись бы все славянские народы и какие великие предприятия увенчались бы успехом, если бы племена, населяющие наши государства и почти все говорящие по-славянски от Адриатического до Немецкого моря и до Северного океана, соединились, и какая слава ожидает оба государства в будущем, когда они, стоя во главе славянских народов, соединятся под одну державою.

Хлопоча о тесном союзе с вековым врагом и даже мечтая о династическом соединении с Польшей под властью московского царя или его сына, Нащокин производил чрезвычайно крутой поворот во внешней московской политике. Он имел свои соображения, оправдывавшие такую перемену в ходе дел. Малороссийский вопрос в его глазах был пока делом второстепенным. Если, писал он, черкасы (казаки) изменяют, то стоят ли они того, чтобы стоять за них? Действительно, с присоединением восточной Малороссии главный узел этого вопроса развязывался, Польша переставала быть опасной для Москвы, твердо ставшей на верхнем и среднем Днепре. Притом нельзя было навсегда удержать временно уступленный Киев и присоединить западную Малороссию, не совершив международной неправды, не нарушив Андрусовского перемирия. А Нащокин был одним из редких дипломатов, обладающих дипломатической совестью, качеством, с которым и тогда неохотно мирилась дипломатия. Он ничего не хотел делать без правды: «Лучше воистину принять злomu животу моему конец и вовеки свободну быть, нежели противно правды делати». Поэтому, когда гетман Дорошенко⁴ с западной Малороссией, отложившись от Польши, поддался турецкому султану, а потом изъявил согласие стать под высокую руку царя московского, Нащокин на запрос из Москвы, можно ли принять Дорошенка в подданство, отвечал решительным протестом, против нарушения договоров, выразил даже негодование, что к нему обращаются с такими некорректными запросами. По его мнению, дело надобно было повести так, чтобы сами поляки, разумно взвесив свои и московские интересы, для упрочения русско-польского союза против басурман и для успокоения Украины добровольно уступили Москве и Киев, и даже всю западную Малороссию, «а нагло писать о том в Польшу невозможно». Еще до перемирия в Андрусове Нащокин убеждал царя, что с польским ко-

ролем «надобно мириться в меру», на умеренных условиях, чтобы поляки не искали потом первого случая отомстить: «взять Полоцк да Витебск, а если поляки заупрямятся, то и этих городов не надобно». В докладе о необходимости тесного союза с Польшей у Нащокина вырвался даже неосторожный намек на возможность отступить и от всей Малороссии, а не от Западной только, ради упрочения союза. Но царь горячо восстал против такого малодушия своего любимца и очень энергично выразил свое негодование. «Эту статью,— отвечал ему царь,— отложили и велели выкинуть, потому что непристойна, да и для того, что обрели в ней полтора ума, один твердый разум да половину второго, колеблемого ветром. Собаке недостойно есть и одного куска хлеба православного (полякам не подобает владеть западной Малороссией): только то не по нашей воле, а за грехи учинится. Если же оба куска святого хлеба достанутся собаке — ох, какое оправдание примет допустивший это? Будет ему воздаянием преисподний ад, прелютый огонь и немилосердные муки. Человече! иди с миром царским средним путем, как начал, так и кончай, не уклоняйся ни направо, ни налево; господь с тобою!». И упрямый человек сдался на набожный вздох своего государя, которого порой прямо не слушался, крепко ухватился и за другой кусок православного хлеба, вытягав у поляков в Андрусове вместе с восточной Малороссией еще Киев из западной.

Помыслы о соединении всех славян под дружным руководством Москвы и Польши были политической идиллией Нащокина. Как практического дельца, его больше занимали интересы более делового свойства. Его дипломатический взгляд обращался во все стороны, всюду внимательно высматривая или заботливо подготавливая новые прибыли для казны и народа. Он старался устроить торговые сношения с Персией и Средней Азией, с Хивой и Бухарой, снаряжал посольство в Индию, смотрел и на Дальний Восток, на Китай, помышляя об устройстве казацкой колонизации Поамурья. Но в этих поисках на первом плане, разумеется, оставалась в его глазах ближайшая западная сторона, Балтийское море. Руководясь народнохозяйственными соображениями не меньше, чем национально-политическими, он понимал торгово-промышленное и культурное значение этого моря для России, и потому его внимание было усиленно обращено на Швецию, именно на Ливонию, которую, по его

мнению, следовало добыть во что бы ни стало: от этого приобретения он ждал громадной пользы для русской промышленности и казны царя. Увлекаемый идеями своего дельца, царь Алексей смотрел в ту же сторону, хлопотал о возвращении бывших русских владений, о приобретении «морских пристанищ» — гаваней Нарвы, Иван-города, Орешка и всего течения реки Невы со шведской крепостной Канцами (Ниеншанц), где позднее возник Петербург. Но Нащокин и здесь шире смотрел на дело: он доказывал, что из-за мелочей не следует выпускать из виду главной цели, что Нарва, Орешек — все это неважные пункты; нужно пробраться прямо к морю, приобрести Ригу, пристань которой открывает ближайший прямой путь в Западную Европу. Составить коалицию против Швеции, чтобы отнять у нее Ливонию, — это была заветная мысль Нащокина, составлявшая душу его дипломатического плана. Для этого он хлопотал о мире с ханом крымским, о тесном союзе с Польшей, жертвуя западной Малороссией. Эта мысль не увенчалась успехом; но Петр Великий целиком унаследовал эти помыслы отца министра.

Впрочем, политический кругозор Нащокина не ограничивался вопросами внешней политики. Нащокин по своему смотрел и на порядок внутреннего управления в Московском государстве: он был недоволен как устройством, так и ходом этого управления. Он восставал против излишней регламентации, господствовавшей в московском управлении. Здесь все держалось на самой стеснительной опеке высших центральных учреждений над подчиненными исполнителями: исполнительные органы были слепыми орудиями данных им сверху наказов. Нащокин требовал известного простора для исполнителей: «не во всем дожидаться государева указа, — писал он, — везде надобно воеводское рассмотрение», т. е. действие по собственному соображению уполномоченного. Он указывал на пример Запада, где во главе войска ставится знающий полководец, сам рассылающий указы подчиненным начальникам, а не требующий на всякую мелочь указа из столицы. «Где глаз видит и ухо слышит, тут и надо промысел держать неотложно», — писал он. Но, требуя самостоятельности для исполнителей, он возлагает на них и большую ответственность. Не по указу, не по обычаю и рутине, а по соображению обстоятельств минуты должна действовать администрация. Такую деятельность, основанную на личной сообрази-

тельности дельца, Нащокин называет «промыслом». Грубая сила мало значит. «Лучше всякой силы промысел; дело в промысле, а не в том, что людей много; и много людей, да промышленника нет, так ничего не выйдет: вот швед всех соседних государей безлюднее, а промыслом над всеми верх берет; у него никто не смеет отнять воли у промышленника; половину рати продать да промышленника купить — и то будет выгоднее». Наконец, в административной деятельности Нащокина замечаем черту, которая всего более подкупает нас в его пользу: это — при взыскательности и исполнительности беспримерная в московском управлении внимательность к подчиненным, участие сердца, чувства человечности в отношении к управляемым, стремление щадить их силы, ставить их в такое положение, в котором они с наименьшей затратой усилий могли бы принести наиболее пользы государству. Во время шведской войны в покоренном краю по Западной Двине русские рейтары и донские казаки принялись грабить и мучить обывателей, хотя те уже присягнули московскому царю. Нащокин, сидя тогда воеводой в Кукейносе, возмущался до глубины души таким разбойничьим способом ведения войны; у него сердце обливалось кровью от жалоб разоряемого населения. Он писал царю, что ему приходится посылать помощь и против неприятелей, и против своих грабителей. «Лучше бы я на себе раны видел, только бы невинные люди такой крови не терпели; лучше бы согласился я быть в заточении обратном, только бы не жить здесь и не видеть над людьми таких злых бед». Царь Алексей всего более способен был оценить это качество в своем сотруднике. В грамоте 1658 г., возводя Нащокина в думные дворяне, царь хвалит его за то, «что он алчных кормит, жаждущих поит, нагих одевает, до ратных людей ласков, а ворах не спускает».

Таковы административные взгляды и приемы Нащокина. Он делал несколько попыток практического применения своих идей. Наблюдения над жизнью Западной Европы привели его к сознанию главного недостатка московского государственного управления, который заключался в том, что это управление направлено было единственно на эксплуатацию народного труда, а не на развитие производительных сил страны. Народнохозяйственные интересы приносились в жертву фискальным целям и ценились правительством лишь как вспомогательные средства казны. Из этого сознания вытекали вечные тол-

ки Нащокина о развитии промышленности и торговли в Московском государстве. Он едва ли не раньше других усвоил мысль, что народное хозяйство само по себе должно составлять один из главных предметов государственного управления. Нащокин был одним из первых политико-экономов на Руси. Но чтобы промышленный класс мог действовать производительнее, надо было освободить его от гнета приказной администрации. Управляя Псковом, Нащокин попытался применить здесь свой проект городского самоуправления, взятый «с примеру сторонних чужих земель», т. е. Западной Европы. Это единственный в своем роде случай в истории местного московского управления XVII в., не лишенный даже некоторого драматизма и ярко характеризующий как самого Нащокина, его виновника, так и порядки, среди которых ему приходилось действовать. Приехав в Псков в марте 1665 г., новый воевода застал в родном городе страшную неурядицу. Он увидел великую вражду между посадскими людьми: «лутчие», состоятельнейшие купцы, пользуясь своей силой в городском общественном управлении, обижали «средних и мелких людишек» в разверстке податей и в нарядах на казенные службы, вели городские дела «своим изволом», без ведома остального общества; те и другие разорялись от тяжб и приказной неправды; из-за немецкого рубежа в Псков и из Пскова за рубеж провозили товары беспошлинно; маломочные торговцы не имели оборотного капитала, тайно брали у немцев деньги на подряд, скупали подешевле русские товары и как свои продавали, точнее, передавали их своим доверителям, довольствуясь ничтожным комиссионным заработком, «из малого прокормления»; этим они донельзя сбивали цены русских товаров, сильно подрывали настоящих капиталистов, должали неоплатно иноземцам, разорялись. Нащокин вскоре по приезде предложил псковскому посадскому обществу ряд мер, которые земские старосты Пскова, собравшись с лучшими людьми в земской избе (городской управе) «для общего всенародного совету», должны были обсудить со всяким усердием. Здесь при участии воеводы выработаны были «статьи о градском устройении», своего рода положение об общенародном управлении города Пскова с пригородами в 17 статьях. Положение было одобрено в Москве и заслужило милостивую похвалу царя воеводе за службу и радение, а псковским земским

старостам и всем посадским людям «за добрый совет и за раденье во всяких добрых делех».

Важнейшие статьи положения касаются преобразования посадского общественного управления и суда и упорядочения внешней торговли, одного из самых деятельных нервов экономической жизни Псковского края. Посадское общество города Пскова выбирает из своей среды на три года 15 человек, из коих пятеро по очереди в продолжение года ведут городские дела в земской избе. В ведении этих «земских выборных людей» сосредоточиваются городское хозяйственное управление, надзор за питейной продажей, таможенным сбором и торговыми сношениями псковичей с иноземцами; они же и судят посадских людей в торговых и других делах; только важнейшие уголовные преступления, измена, разбой и душегубство, остаются подсудны воеводам. Так псковский воевода добровольно поступался значительной долей своей власти в пользу городского самоуправления. В особо важных городских делах очередная треть выборных совещается с остальными и даже призывает на совет лучших людей из посадского общества.

Нащокин видел главные недостатки русской торговли в том, что «русские люди в торговле слабы друг перед другом», неустойчивы, не привыкли действовать дружно и легко попадают в зависимость от иностранцев. Главные причины этой неустойчивости — недостаток капиталов, взаимное недоверие и отсутствие удобного кредита. На устранение этих недостатков и были направлены статьи псковского положения о торговле с иноземцами. Маломочные торговцы распределяются «по свойству и знакомству» между крупными капиталистами, которые наблюдают за их промыслами. Земская изба выдает им из городских сумм ссуды для покупки русских вывозных товаров. Для торговли с иноземцами учреждаются под Псковом две двухнедельные ярмарки с беспошлинным торгом, от 6 января и от 9 мая. К этим ярмаркам мелкие торговцы на полученную ссуду при поддержке капиталистов, к которым приписаны, скупают вывозные товары, записывают их в земской избе и передают своим принципалам; те уплачивают им покупную стоимость принятых товаров для новой закупки к следующей ярмарке и делают им «наддачу» к этой покупной цене «для прокормления», а продав иноземцам доверенный товар по установленным большим ценам, выдают своим клиентам причитающуюся им «полную прибыль», компаней-

ский дивидент. Такое устройство торгового класса должно было сосредоточить обороты внешней торговли в немногих крепких руках, которые были бы в состоянии держать на надлежащей высоте цены туземных товаров.

Такие своеобразные торговые товарищества рассчитаны были на возможность дружного сближения верхнего торгового слоя с посадской массой, значит, на умиротворение той общественной вражды, какую нашел Нащокин в Пскове. Расчет мог быть основан на обоюдных выгодах обеих сторон, патронов и клиентов: сильные капиталисты доставляли хорошую прибыль маломочным компанейщикам, а последние не портили цен сильным. Важно и то, что эти товарищества состояли при городской управе, которая становилась ссудным банком для маломочных и контролем для их патронов: посадское общество города Пскова при зависимости от него пригородов получало возможность через свой судебно-административный орган руководить внешней торговлей всего края. Но общественная рознь помешала успеху реформы. Маломочные посадские псковичи приняли новое положение, как царскую милость, но «прожиточные люди», богачи, городские воротилы, оказали ему противодействие и нашли себе поддержку в столице. Можно себе представить, как «ненавидимо» встречено было предприятие Нащокина московским боярским и приказным миром: здесь в нем усмотрели только дерзкое посягательство на исконные права и привычки воевод и дьяков в угоду тяглового посадского мужицья. Можно подивиться, как успел Нащокин в 8 месяцев воеводства не только обдумать идею и план сложной реформы, но и обладать суетливые подробности ее исполнения. Преемник Нащокина в Пскове кн. Хованский, чванный поборник боярских притязаний, «тараруй», как прозвали его в Москве, болтун и хвастун, которого «всяк дураком называл», по выражению царя Алексея, представил государю псковское дело Нащокина в таком свете, что царь отменил его, несмотря на свой отзыв о князе, уступая своей слабости — решать дела по последнему впечатлению.

Нащокин не любил сдаваться ни врагам, ни враждебным обстоятельствам. Он так верил в свою псковскую реформу, что впал в самообольщение при своем критическом уме, так хорошо выправленном на изучении чужих ошибок. В псковском городском положении он выражает надежду, что, когда эти псковские «градские права в народе поставлены и устроены будут», на то смотря,

жители и других городов будут надеяться, что и их пожалуют таким же устроением. Но в Москве решили прямо наоборот: в Пскове не подобает быть особому местному порядку «такому уставу быть в одном Пскове не уметь». Однако в 1667 г., став начальником Посольского приказа, во вступлении к проведенному им тогда Новоторговому уставу⁵ Нащокин не отказал себе в удовольствии, хотя совершенно бесплодно, повторить свои псковские мысли о выдаче ссуд недостаточным торговцам из московской таможни и городских земских изб, о том, чтобы маломочные торговые люди складывались с крупными капиталистами для поддержания высоких цен на русские вывозные товары и т. д. В этом уставе Нащокин сделал еще шаг вперед в своих планах устроения русской промышленности и торговли. Уже в 1665 г. псковские посадские люди ходатайствовали в Москве, чтобы их по всем делам ведали в одном приказе, а не волочиться бы им по разным московским учреждениям, терпя напрасные обиды и разорение. В Новоторговом уставе Нащокин провел мысль об особом приказе, который ведал бы купецких людей и служил бы им в пограничных городах обороной от других государств и во всех городах защитой и управой от воеводских притеснений. Этот *Приказ купецких дел* имел стать предшественником учрежденной Петром Великим Московской ратуши или Бурмистерской палаты, ведавшей все городское торгово-промышленное население государства.

Таковы преобразовательные планы и опыты Нащокина. Можно подивиться широте и новизне его замыслов, разнообразию его деятельности: это был плодовитый ум с прямым и простым взглядом на вещи. В какую бы сферу государственного управления ни попадал Нащокин, он подвергал суровой критике установившиеся в ней порядки и давал более или менее ясный план ее преобразования. Он сделал несколько военных опытов, заметил недостатки в военном устройстве и предложил проект его преобразования. Конную милицию городских дворян он признавал совсем непригодной в боевом отношении и считал необходимым заменить ее обученным иноземному строю ополчением из пеших и конных «даточных людей», рекрутов. Очевидно, это мимоходом высказанная мысль о регулярной армии, комплектуемой рекрутскими наборами из всех сословий. Что бы ни задумывалось нового в Москве, заведение ли флота на Балтийском или Каспийском море, устройство заграничной почты, даже

просто разведение красивых садов с выписными из-за границы деревьями и цветами,— при всяком новом деле стоял или предполагался непременно Ордин-Нащокин. Одно время по Москве ходили даже слухи, будто он занимается пересмотром русских законов, перестройкой всего государства и именно в духе децентрализации, в смысле ослабления столичной приказной опеки над местными управлениями, с которой Нащокин воевал всю свою жизнь. Можно пожалеть, что ему не удалось сделать всего, что он мог сделать; его неуступчивый и строптивый характер положил преждевременный конец его государственной деятельности. У Нащокина не было полного согласия с царем во взглядах на задачи внешней политики. Оставаясь вполне корректным дипломатом, виновник Андрусовского договора крепко стоял за точное его исполнение, т. е. за возможность возвращения Киева Польше, что царь считал нежелательным, даже прямо грешным делом. Это разногласие постепенно охлаждало государя к его любимцу. Назначенный в 1671 г. для новых переговоров с Польшей, в которых ему предстояло разрушать собственное дело, нарушать договор с поляками, скрепленный всего год тому назад его присягой, Нащокин отказался исполнить поручение, а в феврале 1672 г. игумен псковской Крыпецкой пустыни Тарасий постриг Афанасия в монахи под именем Антония. Он записал себе на память день своей отставки, 2 декабря 1671 г., когда царь при всех боярах его «милостиво отпустил и от всея мирские суеты свободил явно». Последние мирские заботы инока Антония были сосредоточены на устроенной им во Пскове богадельне. Он умер в 1680 г.

Ордин-Нащокин во многом предупредил Петра и первый высказал много идей, которые осуществил преобразователь. Это был смелый, самоуверенный бюрократ, знавший себе цену, но при этом заботливый и доброжелательный к управляемым, с деятельным и деловым умом; во всем и прежде всего он имел в виду государственный интерес, общее благо. Он не успокаивался на рутине, всюду зорко подмечал недостатки существующего порядка, верно соображал средства для их устранения, чутко угадывал задачи, стоявшие на очереди. Обладая сильным практическим смыслом, он не ставил далеких целей, слишком широких задач. Умея найтись в разнообразных сферах деятельности, он старался устроить всякое дело, пользуясь наличными средствами. Но, твер-

дя без умолку о недостатках действующего порядка, он не касался его оснований, думал поправлять его по частям. В его уме неясные преобразовательные порывы Алексеева времени впервые стали облекаться в отчетливые проекты и складываться в связный план реформы; но это не был радикальный план, требовавший общей ломки: Нащокин далеко не был безрасчетным новатором. Его преобразовательная программа сводилась к трем основным требованиям: к улучшению правительственных учреждений и служебной дисциплины, к выбору добросовестных и умелых управителей и к увеличению казенной прибыли, государственных доходов посредством подъема народного богатства путем развития промышленности и торговли.

Я начал чтение замечанием о возможности появления у нас государственного человека в XVII в. Если вы вдумаетесь в превратности, в мысли, в чувства, во все перипетии описанной государственной деятельности далеко не рядового ума и характера, в борьбу Ордина-Нащокина с окружавшими его условиями, то поймете, почему такие счастливые случайности были у нас редки.

Ртищев и Ордин-Нащокин

При всем несходстве характеров и деятельностей одна общая черта сближала Ртищева и Ордина-Нащокина: оба они были новые люди своего времени и делали каждый новое дело, один в политике, другой в нравственном быту. Этим они отличались от царя Алексея, который врос в древнерусскую старину всем своим разумом и сердцем и только развлекался новизной, украшая с ее помощью свою обстановку или улаживая свои политические отношения. Ртищев и Нащокин в самой этой старине умели найти новое, открыть еще не тронутые и не использованные ее средства и пустить их в оборот на общее благо. Западные образцы и научные знания они направляли не против отечественной старины, а на охрану ее жизненных основ от нее самой, от узкого и черствого ее понимания, воспитанного в народной массе дурным государственным и церковным руководством, от рутины, которая их мертвила. Нащокин, дипломат, настойчиво и бранчиво проводил мысль, что внешние успехи, дипломатические и военные, непрочны, если не подготовляются и не поддерживаются усовершенствованием

внутреннего устройства, что внешняя политика должна служить развитию производительных сил страны, но не истощать их, а богатый царедворец Ртищев пополнял мысль своего задорного друга, кротко внушая своим образом действий, что и экономические успехи малоценны, когда нет главных условий благоустроенного общежития, каковы построенные на справедливости отношения общественных классов, просвещенное религиозно-нравственное чувство, не затемняемое вымышленными обрядами и суевериями, и благотворительность, проявляющаяся не в одних случайных личных порывах, а устроенная в общественное учреждение. Одинокие войны в поле, Ртищев и Нащокин, однако, не вопияли в пустыне: оба еще держались крепко старозаветных форм и сочувствий, один основал монастырь, другой кончил монастырем; но их идеи, полупонятые и полупризнанные современниками, добрались до другого времени и помогли понять старорусские извращения политической и религиозно-нравственной жизни.



КН. В. В. ГОЛИЦЫН.— ПОДГОТОВКА И ПРОГРАММА РЕФОРМЫ

Кн. В. В. Голицын

Младшим из предшественников Петра был князь В. В. Голицын ¹, и он уходил от действительности гораздо дальше старших. Еще молодой человек, он был уже видным лицом в правительственном кругу при царе Федоре и стал одним из самых влиятельных людей при царевне Софье ², когда она по смерти старшего брата сделалась правительницей государства. Властолюбивая и образованная царевна не могла не заметить умного и образованного боярина, и кн. Голицын личной дружбой связал свою политическую карьеру с этой царевной. Голицын был горячий поклонник Запада, для которого он отшелся от многих заветных преданий русской старины. Подобно Нащокину, он бегло говорил по-латыни и по-польски. В его обширном московском доме, который иностранцы считали одним из великолепнейших в Европе, все было устроено на европейский лад: в больших залах простенки между окнами были заставлены большими зеркалами, по стенам висели картины, портреты русских и иностранных государей и немецкие географические карты в золоченых рамах; на потолках нарисована была планетная система: множество часов и термометр художественной работы довершали убранство комнат. У Голицына была значительная и разнообразная библиотека из рукописных и печатных книг на русском, польском и немецких языках: здесь между грамматиками польского и латинского языка стояли киевский летописец, немецкая геометрия, Алкоран в переводе с польского, четыре рукописи о строении комедий, рукопись Юрия Сербенина (Крижанича) ³. Дом Голицына был местом встречи для образован-

ных иностранцев, попадавших в Москву, и в гостеприимстве к ним хозяин шел дальше других московских любителей иноземного, принимал даже иезуитов, с которыми те не могли мириться. Разумеется, такой человек мог стоять только на стороне преобразовательного движения — и именно в латинском, западноевропейском, не лихударском направлении. Один из преемников Ордина-Нащокина по управлению Польским приказом, кн. Голицын развивал идеи своего предшественника. При его содействии состоялся в 1686 г. Московский договор о вечном мире с Польшей, по которому Московское государство приняло участие в коалиционной борьбе с Турцией в союзе с Польшей, Германской империей и Венецией и этим формально вступило в концерт европейских держав, за что Польша навсегда утверждала за Москвой Киев и другие московские приобретения, временно уступленные по Андрусовскому перемирию. И в вопросах внутренней политики кн. Голицын шел впереди прежних дельцов преобразовательного направления. Еще при царе Федоре он был председателем комиссии, которой поручено было составить план преобразований московского военного строя. Эта комиссия предложила ввести немецкий строй в русское войско и отменить местничество (закон 12 января 1682 г.). Голицын без умолку твердил боярам о необходимости учить своих детей, выхлопотал разрешение посылать их в польские школы, советовал приглашать польских гувернеров для их образования. Несомненно, широкие преобразовательные планы роились в его голове. Жаль, что мы знаем только их отрывки или неясные очерки, записанные иностранцем Невиллем, польским посланцем, приехавшим в Москву в 1689 г. незадолго до падения Софьи и Голицына. Невилль видался с князем, говорил с ним по-латыни о современных политических событиях, особенно об английской революции, мог от него кое-что слышать о положении дел в Москве и тщательно собирал о нем московские слухи и сведения. Голицына сильно занимал вопрос о московском войске, недостатки которого он хорошо изведal, не раз командуя полками. Он, по словам Невилля, хотел, чтобы дворянство ездило за границу и обучалось там военному искусству, ибо он думал заменить хорошими солдатами взятых в даточные и непригодных к делу крестьян, земли которых оставались без обработки на время войны, а взамен их бесполезной службы обложить крестьянство умеренной поголовной податью. Значит, даточные

рекруты из холопов и тяглых людей, которыми пополняли дворянские полки, устранялись, и армия вопреки мысли Ордина-Нащокина сохраняла строго сословный дворянский состав с регулярным строем под командой обученных военному делу офицеров из дворян же. Военно-техническая реформа в мыслях Голицына соединялась с переворотом социально-экономическим. Преобразование государства Голицын думал начать освобождением крестьян, предоставив им обрабатываемые ими земли с выгодой для царя, т. е. казны, посредством ежегодной подати, что, по его расчету, увеличивало доход казны более чем наполовину. Иноземец кое-чего не дослышал и не объяснил условий этой поземельной операции. Так как на дворянах оставалась обязательная и наследственная военная служба, то, по всей вероятности, на счет поземельного государственного оброка с крестьян предполагалось увеличить дворянские оклады денежного жалованья, которые должны были служить вознаграждением за потерянные помещиками доходы с крестьян и за отошедшие к ним земли. Таким образом, по плану Голицына операция выкупа крепостного труда и надельной земли крестьян совершалась посредством замены капитальной выкупной суммы непрерывным доходом служилых землевладельцев, получаемым от казны в виде возвышенного жалованья за службу. При этом не стесненный законом помещичий произвол в эксплуатации крепостного труда заменялся определенным поземельным казенным налогом. Подобные мысли о разрешении крепостного вопроса стали возвращаться в русские государственные умы не раньше как полвека спустя после Голицына. Много другого слышал Невилль о планах этого вельможи, но, не передавая всего слышанного, иноземец ограничивается общим несколько идиличным отзывом: «Если бы я захотел написать все, что узнал об этом князе, я никогда бы не кончил; достаточно сказать, что он хотел населить пустыни, обогатить нищих, дикарей превратить в людей, трусов в храбрцев, пастушечьи шалаши в каменные палаты». Читая рассказы Невилля в его донесении о Московии, можно подивиться смелости преобразовательных замыслов «великого Голицына», как величает его автор. Эти замыслы, переданные иностранцем отрывочно без внутренней связи, показывают, однако, что в основании их лежал широкий и, по видимому, довольно обдуманый план реформ, касавшийся не только административного и экономического

порядка, но и сословного устройства государства и даже народного просвещения. Конечно, это были мечты, домашние разговоры с близкими людьми, а не законодательные проекты. Личные отношения кн. Голицына не дали ему возможности даже начать практическую разработку своих преобразовательных замыслов: связав свою судьбу с царевной Софьей, он пал вместе с ней и не принимал участия в преобразовательной деятельности Петра, хотя был ближайшим его предшественником и мог бы быть хорошим его сотрудником, если не лучшим. В законодательстве слабо отразился дух его планов: смягчены условия холопства за долги, отменены закапывание мужеубийц и смертная казнь за возмутительные слова. Усиление карательных мер против старообрядцев нельзя ставить целиком насчет правительства царевны Софьи: то было профессиональное занятие церковных властей, в котором государственному управлению приходилось обыкновенно служить лишь карательным орудием. К тому времени церковные гонения вырастили в старообрядческой среде изуверов, по слову которых тысячи соvrащенных жгли себя ради спасения своих душ, а церковные пастыри ради того же жгли проповедников самосожжения. Ничего не могло сделать и для крепостных крестьян правительство царевны, пристращавшей буйных стрельцов дворянами, пока не явилась возможность припугнуть дворян стрельцами и казаками. Однако несправедливо было бы отрицать участие идей Голицына в государственной жизни; только его надо искать не в новых законах, а в общем характере 7-летнего правления царевны. Свояк и шурин царя Петра, следовательно, противник Софьи, кн. Б. И. Куракин оставил в своих записках замечательный отзыв об этом правлении⁴. «Правление царевны Софьи Алексеевны началось со всякою прилежностью и правосудием всем и ко удовольствию народному, так что никогда такого мудрого правления в Российском государстве не было; и все государство пришло во время ее правления через семь лет в цвет великого богатства, также умножилась коммерция и всякие ремесла, и науки почали быть восставлять латинского и греческого языку... И торжествовала тогда довольность народная». Свидетельство Куракина о цвете великого богатства, по-видимому, подтверждается и известием Невилля, что в деревянной Москве, считавшей тогда в себе до полумиллиона жителей, в министерство Голицына построено было более трех тысяч каменных домов,

Неосторожно было бы придумать, что сама Софья своим образом действий вынудила у противника такой хвалебный отзыв о своем правлении. Эта тучная и некрасивая полудевица с большой неуклюжей головой, с грубым лицом, широкой и короткой талией, в 25 лет казавшаяся 40-летней, властолюбиво пожертвовала совестью, а темперamentу стыдом; но, достигнув власти путем постыдных интриг и кровавых преступлений, она, как принцесса «великого ума и великий политик», по словам того же Куракина, нуждалась в оправдании своего захвата, способна была внимать советам своего первого министра и «голланта», тоже человека «ума великого и любимого от всех». Он окружал себя сотрудниками, вполне ему преданными, все незнатными, но дельными людьми вроде Неплюева, Касогова, Змеева, Украинцева⁵, с которыми и достиг отмеченных Куракиным правительственных успехов.

Кн. Голицын и Ордин-Нащокин

Кн. Голицын был прямым продолжателем Ордина-Нащокина. Как человек другого поколения и воспитания, он шел дальше последнего в своих преобразовательных планах. Он не обладал ни умом Нащокина, ни его правительственными талантами и деловым навыком, но был книжно образованнее его, меньше его работал, но больше размышлял. Мысль Голицына, менее сдерживаемая опытом, была смелее, глубже проникала в существующий порядок, касаясь самых его оснований. Его мышление было освоено с общими вопросами о государстве, об его задачах, о строении и складе общества: недаром в его библиотеке находилась какая-то рукопись «о гражданском житии или о поправлении всех дел, яже належат обще народу». Он не довольствовался подобно Нащокину административными и экономическими реформами, а думал о распространении просвещения и веротерпимости, о свободе совести, о свободном въезде иностранцев в Россию, об улучшении социального строя и нравственного быта. Его планы шире, отважнее проектов Нащокина, но зато идилличнее их. Представители двух смежных поколений, оба они были родоначальниками двух типов государственных людей, выступающих у нас в XVIII в. Все эти люди либо нащокинского, либо голицынского пошиба: Нащокин — родоначальник практических дельцов Петрова времени; в Голицыне заметны

черты либерального и несколько мечтательного екатерининского вельможи.

Я окончил обзор подготовки реформы Петра: позвольте мне свести итоги сказанного.

Подготовка и программа реформы

Мы видели, с какими колебаниями шла подготовка. Русские люди XVII в. делали шаг вперед и потом останавливались, чтобы подумать, что они сделали, не слишком ли далеко шагнули. Судорожное движение вперед и раздумье с пугливой оглядкой назад — так можно обозначить культурную походку русского общества в XVII в. Обдумывая каждый свой шаг, они прошли меньше, чем сами думали. Мысль о реформе вызвана была в них потребностями народной обороны и государственной казны. Эти потребности требовали обширных преобразований в государственном устройстве и хозяйственном быту, в организации народного труда. В том и другом деле люди XVII в. ограничились робкими попытками и нерешительными заимствованиями у Запада. Но среди этих попыток и заимствований они много спорили, бранились и в этих спорах кое о чем подумали. Их военные и хозяйственные нужды столкнулись с их заветными верованиями и закоренелыми привычками, с их вековыми предрассудками. Оказалось, что им нужно больше, чем они могут и хотят, чем подготовлены сделать, что для обеспечения своего политического и экономического существования им необходимо переделать свои понятия и чувства, все свое мирозерцание. Так они очутились в неловком положении людей, отставших от собственных потребностей. Им понадобилось техническое знание, военное и промышленное, а они не только не имели его, но и были дотоле убеждены, что оно не нужно и даже греховно, потому что не ведет к душевному спасению. Каких же успехов достигли они в этой двойной борьбе со своими нуждами и с самими собой, с своими собственными предрассудками?

Для удовлетворения своих материальных нужд они в государственном порядке произвели не особенно много удачных перемен. Они поназывали несколько тысяч иностранцев, офицеров, солдат и мастеров, с их помощью кое-как поставили значительную часть своей рати на регулярную ногу и то плохую, без надлежащих приспособлений, и построили несколько фабрик и оружейных заводов,

а с помощью этой подправленной рати и этих заводов после больших хлопот и усилий с трудом вернули две потерянные области, Смоленскую и Северскую, и едва удержали в своих руках половину добровольно отдавшейся им Малороссии. Вот и все существенные плоды их 70-летних жертв и усилий! Государственного порядка они не улучшили, напротив, сделали его тяжелее прежнего, отказавшись от земского самоуправления, обособлением сословий усилив общественную рознь и пожертвовав свободой крестьянского труда. Зато в борьбе с самими собой, со своими привычками и предубеждениями они одержали несколько важных побед, облегчивших эту борьбу дальнейшим поколениям. Это была их бесспорная заслуга в деле подготовки реформы. Они подготовили не столько самую реформу, сколько себя самих, свои умы и совести к этой реформе, а это менее видная, но не менее трудная и необходимая работа. Попытаюсь обозначить в коротком перечне эти их умственные и нравственные завоевания.

Во-первых, они сознались, что многого не знали из того, что нужно знать. Это была самая трудная победа их над собой, над своим самолюбием и своим прошедшим. Древнерусская мысль усиленно работала над вопросами нравственно-религиозного порядка, над дисциплиной совести и воли, над покорением ума в послушание вере, над тем, что считалось спасением души. Но она пренебрегла условиями земного существования, видя в нем законное царство судьбы и греха, и потому с бессильною покорностью отдавала его на произвол грубого инстинкта. Она сомневалась, как это можно внести и стоит ли вносить добро в земной мир, который по писанию во зле лежит, следовательно, и обречен во зле лежать, и была убеждена, что наличный житейский порядок так же мало зависит от человеческих усилий, так же неизменен, как порядок мировой. Вот эту веру в роковую неизменность житейского порядка и начало колебать двустороннее влияние, шедшее изнутри и извне. Внутреннее влияние исходило из потрясений, испытанных государством в XVII в. Смутное время впервые и больно ударило по сонным русским умам, заставило способных мыслить людей раскрыть глаза на окружающее, взглянуть прямым и ясным взглядом на свою жизнь. У писателей того времени, у келаря А. Палицына, у дьяка И. Тимофеева, у кн. И. Хворостинина⁶ ярко просвечивает то, что можно назвать исторической мыслью, склонность вникнуть в условия рус-

ской жизни, в самые основы сложившихся общественных отношений, чтобы здесь найти причины пережитых бедствий. И после Смуты до конца века все увеличивавшиеся государственные тягости поддерживали эту наклонность, питая недовольство, прорывавшееся в ряде мятежей. На земских соборах и в особых совещаниях с правительством выборные люди, указывая на всяческие непорядки, обнаруживали вдумчивое понимание печальной действительности в предлагаемых средствах ее исправления. Очевидно, мысль тронулась и пыталась повлечь за собою застоявшуюся жизнь, не видя в ней более свыше установленного неприкосновенного порядка. С другой стороны, западное влияние приносило к нам понятия, направлявшие мысль на условия и удобства именно земного общежития и ставившие его усовершенствование самостоятельной и важной задачей государства и общества. Но для этого нужны были знания, каких не имела и которыми пренебрегала древняя Русь, особенно изучение природы и того, чем она может служить потребностям человека: отсюда усиленный интерес русского общества XVII в. к космографическим и другим подобным сочинениям. Само правительство поддерживало этот интерес, начиная подумывать о разработке нетронутых богатств страны, разыскивая всякие минералы, для чего требовалось то же знание. Новое веяние захватывало даже таких слабых людей, как царь Федор, слышавший за великого любителя всяких наук, особенно математических и, по свидетельству Сильвестра Медведева⁷ заботившийся не только о богословском, но и о техническом образовании: он собирал в свои царские мастерские «художников всякого мастерства и рукоделия», платил им хорошее жалованье и сам прилежно следил за их работами. Мысль о необходимости такого знания с конца XVII в. становится господствующей идеей передовых людей нашего общества, жалобы на его отсутствие в России — общим местом в изображении ее состояния. Не подумайте, что это сознание или эта жалоба тотчас повели к усвоению понадобившегося знания, что это знание, став очередным вопросом, скоро превратилось в насущную потребность. Далеко нет; у нас необыкновенно долго и осторожно собирались приступить к решению этого вопроса; во весь XVIII в. и большую часть XIX в. размышляли и спорили о том, какое знание пригодно нам и какое опасно. Но пробудившаяся потребность ума скоро изменила отношение к существующему житейскому порядку. Как скоро осво-

ились с мыслью, что помощью знания можно устроить жизнь лучше, чем она идет, тотчас стала падать уверенность в неизменности житейского порядка и возникло желание устроиться так, чтобы жилось лучше; возникло это желание прежде, чем успели узнать, как это устроить. В знание уверовали прежде, чем успели овладеть им. Тогда принялись пересматривать все углы существующего порядка и как в доме, давно не ремонтированном, всюду находили запущенность, ветхость, сор, недосмотры. Стороны жизни, казавшиеся прежде наиболее крепкими, перестали возбуждать доверие к своей прочности. До сих пор считали себя сильными верой, которая без грамматики и риторики способна постигать разум Христов, а восточный иерарх Паисий Лигарид⁸ указывал на необходимость школьного образования для борьбы с расколом, и русский патриарх Иоаким⁹, вторя ему, в направленном против раскола сочинении писал, что многие и из благочестивых людей уклонились в раскол по скудости ума, по недостатку образования. Так ум, образование были признаны опорами благочестия. Переводчик Посольского приказа Фирсов в 1683 г. перевел Псалтырь. И этот чиновничек министерства иностранных дел признает необходимым обновить церковный порядок помощью знания. «Наш российский народ,— пишет он,— грубый и неученый; не только простые, но и духовного чина люди истинные ведомости и разума и св. писания не ищут, ученых людей поносят и еретиками называют».

В пробуждении этой простодушной веры в науку и этой доверчивой надежды с ее помощью все исправить, по моему мнению, и заключался главный нравственный успех в деле подготовки реформы Петра Великого. Этой верой и надеждой руководился в своей деятельности и преобразователь. Та же вера поддерживала нас и после преобразователя всякий раз, когда мы, изнемогая в погоне за успехами Западной Европы, готовы были упасть с мыслью, что мы не рождены для цивилизации, и с ожесточением бросались в самоуничтожение.

Но эти нравственные приобретения достались людям XVII в. не даром, внесли новый разлад в общество. До той поры русское общество жило влияниями туземного происхождения, условиями своей собственной жизни и указаниями природы своей страны. Когда на это общество повеяла иноземная культура, богатая опытами и знаниями, она, встретившись с доморощенными порядками, вступила в ними в борьбу, волнуя русских людей,

путая их понятия и привычки, осложняя их жизнь, сообщая ей усиленное и неровное движение. Производя в умах брожение притоком новых понятий и интересов, иноземное влияние уже в XVII в. вызвало явление, которое еще более запутывало русскую жизнь. До тех пор русское общество отличалось однородностью, цельностью своего нравственно-религиозного состава. При всем различии общественных положений древнерусские люди по своему духовному облику были очень похожи друг на друга, утоляли свои духовные потребности из одних и тех же источников. Боярин и холоп, грамотей и безграмотный запоминали неодинаковое количество священных текстов, молитв, церковных песнопений и мирских бесовских песен, сказок, старинных преданий, неодинаково ясно понимали вещи, неодинаково строго заучивали свой житейский катехизис. Но они твердили один и тот же катехизис, в положенное время одинаково легкомысленно грешили и с одинаковым страхом божим приступали к покаянию и причащению до ближайшего разрешения «на вся». Такие однообразные изгибы автоматической совести помогали древнерусским людям хорошо понимать друг друга, составлять однородную нравственную массу, устанавливали между ними некоторое духовное согласие вопреки социальной розни и делали сменяющиеся поколения периодическим повторением раз установившегося типа. Как в царских палатах и боярских хоромах затейливой резьбой и позолотой прикрывался простенький архитектурный план крестьянской деревянной избы, так и в вычурном изложении русского книжника XVI—XVII вв. проглядывает непритязательное наследственное духовное содержание «сельского невегласа, проста умом, простейша же разумом». Западное влияние разрушило эту нравственную цельность древнерусского общества. Оно не проникло в народ глубоко, но в верхних его классах, по самому положению своему наиболее открытых для внешних веяний, оно постепенно приобретало господство. Как трескается стекло, неравномерно нагреваемое в разных своих частях, так и русское общество, неодинаково проникаясь западным влиянием во всех своих слоях, раскололось. Раскол, происшедший в русской церкви XVII в., был церковным отражением этого нравственного раздвоения русского общества под действием западной культуры. Тогда стали у нас друг против друга два мирозерцания, два враждебных порядка понятий и чувств. Русское общество разделилось на

два лагеря, на почитателей родной старины и приверженцев новизны, т. е. иноземного, западного. Руководящие классы общества, оставшиеся в ограде православной церкви, стали проникаться равнодушием к родной старине, во имя которой ратовал раскол, и тем легче отдавались иноземному влиянию. Старообрядцы, выкинутые за церковную ограду, стали тем упорнее ненавидеть привозные новшества, приписывая им порчу древнеправославной русской церкви. Это равнодушие одних и эта ненависть других вошли в духовный состав русского общества как новые пружины, осложнившие общественное движение, тянувшие людей в разные стороны.

Особенно счастливым условием для успеха преобразовательных стремлений надобно признать деятельное участие отдельных лиц в их распространении. То были последние и лучшие люди древней Руси, положившие свой отпечаток на стремления, которые они впервые проводили или только поддерживали. Царь Алексей Михайлович пробудил общее и смутное влечение к новизне и усовершенствованию, не порывая с родной стариной. Благодушно благословляя преобразовательные начинания, он приручал к ним пугливую русскую мысль, самым своим благодушием заставляя верить в их нравственную безопасность и не терять веры в свои силы. Боярин Ордин-Нащокин не отличался ни таким благодушием, ни набожной привязанностью к родной старине и своим неугомонным ворчанием на все русское мог нагнать тоску и уныние, заставить опустить руки. Но его честная энергия невольно увлекала, а его светлый ум сообщал смутным преобразовательным порывам и помыслам вид таких простых, отчетливых и убедительных планов, в разумность и исполнимость которых хотелось верить, польза которых была всем очевидна. Из его указаний, предположений и опытов впервые стала складываться цельная преобразовательная программа, не широкая, но довольно отчетливая программа реформы административной и народохозяйственной. Другие менее видные дельцы пополняли эту программу, внося в нее новые мотивы или распространяя ее на другие сферы государственной и народной жизни, и таким образом подвигали дело реформы. Ртищев пытался внести нравственный мотив в государственное управление и возбудил вопрос об устройстве общественной благотворительности. Кн. Голицын мечтательными толками о необходимости разносторонних преобразований будил дремавшую мысль пра-

вящего класса, признававшего существующий порядок вполне удовлетворительным.

Этим я заканчиваю обзор явлений XVII в. Он весь был эпохой, подготовлявшей преобразование Петра Великого. Мы изучили дела и видели ряд людей, воспитанных новыми веяниями XVII в. Но это были лишь наиболее выдававшиеся люди преобразовательного направления, за которыми стояли другие, менее крупные: бояре Б. И. Морозов, Н. И. Романов, А. С. Матвеев¹⁰, целая фаланга киевских ученых и в стороне — пришлец и изгнанник Юрий Крижанич. Каждый из этих дельцов, стоявших в первом и втором ряду, проводил какую-нибудь преобразовательную тенденцию, развивал какую-нибудь новую мысль, иногда целый ряд новых мыслей. Судя по ним, можно подивиться обилию преобразовательных идей, накопившихся в возбужденных умах того мятежного века. Эти идеи развивались наскоро, без взаимной связи, без общего плана; но, сопоставив их одни с другими, видим, что они складываются сами собой в довольно стройную преобразовательную программу, в которой вопросы внешней политики сцеплялись с вопросами военными, финансовыми, экономическими, социальными, образовательными. Вот важнейшие части этой программы: 1) мир и даже союз с Польшей; 2) борьба со Швецией за восточный балтийский берег, с Турцией и Крымом за южную Россию; 3) завершение переустройства войска в регулярную армию; 4) замена старой сложной системы прямых налогов двумя податями, подушной и поземельной; 5) развитие внешней торговли и внутренней обрабатывающей промышленности; 6) введение городского самоуправления с целью подъема производительности и благосостояния торгово-промышленного класса; 7) освобождение крепостных крестьян с землей; 8) заведение школ не только общеобразовательных с церковным характером, но и технических, приспособленных к нуждам государства,— и все это по иноземным образцам и даже с помощью иноземных руководителей. Легко заметить, что совокупность этих преобразовательных задач есть не что иное, как преобразовательная программа Петра: эта программа была вся готова еще до начала деятельности преобразователя. В том и состоит значение московских государственных людей XVII в.: они не только создали атмосферу, в которой вырос и которой дышал преобразователь, но и начертали программу его деятельности, в некоторых отношениях шедшую даже дальше того, что он сделал.



ЖИЗНЬ ПЕТРА ВЕЛИКОГО ДО НАЧАЛА СЕВЕРНОЙ ВОЙНЫ

Младенчество

Петр родился в Москве, в Кремле, 30 мая 1672 г. Он был четырнадцатое дитя многосемейного царя Алексея и первый ребенок от его второго брака — с Натальей Кирилловной Нарышкиной¹. Царица Наталья была взята из семьи западника А. С. Матвеева, дом которого был убран по-европейски, и могла принести во дворец вкусы, усвоенные в доме воспитателя; притом и до нее заморские новизны проникали уже на царицыну половину, в детские комнаты кремлевского дворца. Как только Петр стал помнить себя, он был окружен в своей детской иноземными вещами; все, во что он играл, напоминало ему немца. Некоторые из этих заморских игрушек особенно обращают на себя наше внимание: двухлетнего Петра забавляли музыкальными ящиками, «цимбальцами» и «большими цимбалами» немецкой работы; в его комнате стоял даже какой-то «клевикорд» с медными зелеными струнами. Все это живо напоминает нам придворное общество царя Алексея, столь падкое на иноземные художественные вещи. С годами детская Петра наполняется предметами военного дела. В ней появляется целый арсенал игрушечного оружия, и в некоторых мелочах этого детского арсенала отразились тревожные заботы взрослых людей того времени. Так, в детской Петра довольно полно представлена была московская артиллерия, встречаем много деревянных пищалей и пушек с лошадками,

На четвертом году Петр лишился отца. При царе Федоре, сыне Милославской, положение матери Петра с ее родственниками и друзьями стало очень затруднительно. Другие люди всплыли наверх, овладели делами. Царь

Алексей был женат два раза, следовательно, оставил после себя две клики родственников и свойственников, которые насмерть злобствовали одна против другой, ничем не брезгуя в ожесточенной вражде. Милославские осилили Нарышкиных и самого сильного человека их стороны, Матвеева, не замедлили убрать подальше на север, в Пустозерск. Молодая царица-вдова отступила на задний план, стала в тени.

Придворный учитель

Не раз можно слышать мнение, будто Петр был воспитан не по-старому, иначе и заботливее, чем воспитывались его отец и старшие братья. В ответ на это мнение люди первой половины XVIII в., еще по свежему преданию рассказывая о том, как Петра учили грамоте, дают понять, что по крайней мере до десяти лет Петр рос и воспитывался, пожалуй, даже более по-старому, чем его старшие братья, чем даже его отец. Рассказ записан неким Крекшиным², младшим современником Петра, лет 30 трудолюбиво, но довольно неразборчиво собиравшим всякие известия, бумаги, слухи и предания о благоговейно чтимом им преобразователе. Рассказ Крекшина любопытен если не как документально достоверный факт, то как нравоописательная картинка. По старорусскому обычаю Петра начали учить с пяти лет. Старший брат и крестный отец Петра царь Федор не раз говаривал куме-мачехе, царице Наталье: «Пора, государыня, учить крестника». Царица просила кума найти учителя кроткого, смиренного, божественное писание ведущего. Как нарочно, выбор учителя решен был человеком, от которого слишком пахло благочестивой стариной, боярином Федором Прокофьевичем Соковниным³. Дом Соковниных был убежищем староверья: они придерживались раскола. Две родные сестры Соковнина — Феодосья Морозова⁴ и княгиня Авдотья Урусова⁵ еще при царе Алексее запечатлели мученичеством свое древнее благочестие: царь подверг их суровому заключению в земляной Боровской тюрьме за упрямую привязанность к старой вере и к протопопу Аввакуму. Другой брат этих боярынь — Алексей впоследствии сложил голову на плахе за участие в заговоре против Петра во имя благочестивой старины. Федор Соковнин и указал царю на мужа кроткого и смиренного, всяких добродетелей исполненного, в грамоте и писании

искусного: то был Никита Моисеев сын Зотов, подьячий из приказа Большого Прихода (ведомства неокладных сборов) ⁶. Рассказ о том, как Зотов введен был в должность придворного учителя, дышит такой древнерусской простотой, что не оставляет сомнения в характере зотовской педагогики. Соковнин привез Зотова к царю и, оставив в передней, отправился с докладом. Вскоре из комнат царя вышел дворянин и спросил: «Кто здесь Никита Зотов?» Будущий придворный учитель так оробел, что в беспамятстве не мог тронуться с места, и дворянин должен был взять его за руку. Зотов просил повременить немного, чтобы дать ему прийти в себя. Отстоявшись, он перекрестился и пошел к царю, который пожаловал его к руке и проэкзаменовал в присутствии Симеона Полоцкого. Ученый воспитатель царя одобрил чтение и письмо Зотова; тогда Соковнин повез аттестованного учителя к царице-вдове. Та приняла его, держа Петра за руку, и сказала: «Знаю, что ты доброй жизни и в божественном писании искусен; вручаю тебе моего единственного сына». Зотов залился слезами и, дрожа от страха, повалился к ногам царицы со словами: «Недостойн я, матушка государыня, принять такое сокровище». Царица пожаловала его к руке и велела на следующее утро начать учение. На открытие курса пришли царь и патриарх, отслужили молебен с водосвятием, окропили святой водой нового спудея и, благословив, посадили за азбуку. Зотов поклонился своему ученику в землю и начал курс своего учения, причем тут же получил и гонорар: патриарх дал ему сто рублей (слишком тысячу рублей на наши деньги), государь пожаловал ему *двор*. произвел во дворяне, а царица-мать прислала две пары богатого верхнего и исподнего платья и «весь убор», в который по уходе государя и патриарха Зотов тут же и перерядился. Крекшин отметил и день, когда началось обучение Петра,—12 марта 1677 г., когда, следовательно, Петру не исполнилось и пяти лет. Выслушав этот рассказ, и не говорите, что Зотов мог посвятить своего ученика в новую науку, обучить его каким-нибудь «еллинским и латинским борзостям».

Учение

По словам Котошихина ⁷. для обучения царевичей выбирали из приказных подьячих — «учительных людей тихих и небражников». Что Зотов был учительный человек,

тихий, за это ручается только что приведенный рассказ; но, говорят, он не вполне удовлетворял второму требованию, любил выпить. Впоследствии Петр назначил его князем-папой, президентом шутовской коллегии пьянства. Историки Петра иногда винят Зотова в том, что он не оказал воспитательного, развивающего влияния на своего ученика. Но ведь Зотова позвали во дворец не воспитывать, а просто учить грамоте, и он, может быть, передал своему ученику курс древнерусской грамотной выучки если не лучше, то и не хуже многих предшествовавших ему придворных учителей, грамотеев. Он начал, разумеется, со «словесного учения», т. е. прошел с Петром азбуку, часослов, псалтырь, даже евангелие и апостол⁸; все пройденное по древнерусскому педагогическому правилу взято было назубок. Впоследствии Петр свободно держался на клиросе, читал и пел своим негустым баритоном не хуже любого дьячка; говорили даже, что он мог прочесть наизусть евангелие и апостол. Так учился царь Алексей; так начинали учение и его старшие сыновья. Но простым обучением грамотному мастерству не ограничилось преподавание Зотова. Очевидно, новые веяния коснулись и этого импровизированного педагога из приказа Большого Прихода. Подобно воспитателю царя Алексея Морозову, Зотов применял прием наглядного обучения. Царевич учился охотно и бойко. На досуге он любил слушать разные рассказы и рассматривать книжки с «кунштами», картинками. Зотов сказал об этом царице, и та велела ему выдать «исторические книги», рукописи с рисунками из дворцовой библиотеки и заказала живописного дела мастерам в Оружейной палате несколько новых иллюстраций. Так составила у Петра коллекция «потешных тетрадей», в которых изображены были золотом и красками города, здания, корабли, солдаты, оружие, сражения и «истории лицевыя с прописями», иллюстрированные повести и сказки с текстами. Все эти тетради, писанные самым лучшим мастерством, Зотов разложил в комнатах царевича. Заметив, когда Петр начал утомляться книжным чтением, Зотов брал у него из рук книгу и показывал ему эти картинки, сопровождая обзор их пояснениями. При этом он, как пишет Крекшин, касался и русской старины, рассказывал царевичу про дела его отца, про царя Ивана Грозного, восходил и к более отдаленным временам, Дмитрия Донского, Александра Невского и даже до самого Владимира⁹. Впоследствии Петр очень мало имел досуга заниматься русской

историей, но не терял интереса к ней, придавал ей важное значение для народного образования и много хлопотал о составлении популярного учебника по этому предмету. Кто знает? Быть может, во всем этом сказывалась память об уроках Зотова. И на том подыячем спасибо!

События 1682 г.

Едва минуло Петру десять лет, как начальное обучение его прекратилось, точнее, прервалось. Царь Федор умер 27 апреля 1682 г. За смертью его последовали известные бурные события: провозглашение Петра царем мимо старшего брата Ивана ¹⁰, интриги царевны Софьи и Милославских, вызвавшие страшный стрелецкий мятеж в мае того года, избиение бояр, потом установление двоевластия и провозглашение Софьи правительницей государства, наконец, шумное раскольничье движение с буйными выходками старообрядцев 5 июля в Грановитой палате. Петр, бывший очевидцем кровавых сцен стрелецкого мятежа, вызвал удивление твердостью, какую сохранил при этом: стоя на Красном крыльце подле матери, он, говорят, не изменился в лице, когда стрельцы подхватывали на копья Матвеева и других его сторонников. Но майские ужасы 1682 г. неизгладимо врезались в его памяти. Он понял в них больше, чем можно было предполагать по его возрасту: через год 11-летний Петр по развитости показался иноземному послу 16-летним юношей. Старая Русь тут встала и вскрылась перед Петром со всей своей многовековой работой и ее плодами. Когда огражденный грозой палача и застенка кремлевский дворец превратился в большой сарай и по нему бегали и шарили одурелые стрельцы, отыскивая Нарышкиных, а потом буйствовали по всей Москве, пропивая добычу, взятую из богатых боярских и купеческих домов, то духовенство молчало, творя волю мятежников, благословляя двоевластие, бояре и дворяне попрятались, и только холопы боярские вступились за попорченный порядок. Напрасно стрельцы заманивали их обещанием свободы, громили Холопий приказ, рвали и разбрасывали по площади кабалы и другие крепости. Холопы унимали мятежников, грозя им: «Лежать вашим головам на площади; до чего вы добунтуетесь? Русская земля велика, вам с ней не совладать». Холопы, которых в боярской столице было вдвое больше стрельцов, ждали только знака от своих

господ на усмирение мятежников и не дождалось. От общественных сил, считавшихся опорами государственного порядка, Петр отвернулся прежде, чем мог сообразить, как обойтись без них и чем их заменить. С тех пор московский Кремль ему опротивел и был осужден на участь заброшенной боярской усадьбы со своими древностями, запутанными дворцовыми хорами и доживавшими в них свой век царевнами, тетками и сестрами, двумя Михайловными и семью Алексеевными и с сотнями их певчих, крестовых дьяков и «всяких верховых чинов».

Петр в Преображенском

События 1682 г. окончательно выбили царицу-вдову из московского Кремля и заставили ее уединиться в Преображенском, любимом подмосковном селе царя Алексея. Этому селу суждено было стать временной царской резиденцией, станционным двором на пути к Петербургу. Здесь царица с сыном, удаленная от всякого участия в управлении, по выражению современника князя Б. И. Куракина, «жила тем, что давано было от рук царевны Софьи», нуждалась и принуждена была принимать тайком денежную помощь от патриарха, Троицкого монастыря и ростовского митрополита. Петр, опальный царь, выгнанный сестриным заговором из родного дворца, рос в Преображенском на просторе. Силой обстоятельств он слишком рано предоставлен был самому себе, с десяти лет перешел из учебной комнаты прямо на задворки. Легко можно себе представить, как мало занимательного было для мальчика в комнатах матери: он видел вокруг себя печальные лица, отставных придворных, слышал все одни и те же горькие или озлобленные речи о неправде и злобе людской, про падчерицу и ее злых советчиков. Скука, какую должен был испытывать здесь живой мальчик, надо думать, и выжила его из комнат матери на двory и в рощи села Преображенского. С 1683 г., никем не руководимый, он начал здесь продолжительную игру, какую сам себе устроил и которая стала для него школой самообразования, а играл он в то, во что играют все наблюдательные дети в мире, в то, о чем думают и говорят взрослые. Современники приписывали природной склонности пробудившееся еще в младенчестве увлечение Петра военным делом. Темперамент подогревал эту охоту и превратил ее в страсть, толки окружающих о войсках

иноземного строя, может быть, и рассказы Зотова об отцовых войнах дали с летами юношескому спорту определенную цель, а острые впечатления мятежного 1682 г. вмещали в дело чувство личного самосохранения и мести за обиды. Стрельцы дали незаконную власть царевне Софье: надо завести своего солдата, чтобы оборониться от своевольной сестры. По сохранившимся дворцовым записям можно следить за занятиями Петра, если не за каждым шагом его в эти годы. Здесь видим, как игра с летами разрастается и усложняется, принимая все новые формы и вбирая в себя разнообразные отрасли военного дела. Из кремлевской Оружейной палаты к Петру в Преображенское таскают разные вещи, преимущественно оружие, из его комнат выносят на починку то сломанную пищаль, то прорванный барабан. Вместе с образом спасителя Петр берет из Кремля и столовые часы с арабом, и карабинец винтовой немецкий, то и дело требует свинца, пороха, полковых знамен, бердышей, пистолей; дворцовый кремлевский арсенал постепенно переносился в комнаты Преображенского дворца. При этом Петр ведет чрезвычайно непоседный образ жизни, вечно в походе; то он в селе Воробьеве, то в Коломенском, то у Троицы, то у Саввы Сторожевского, рыщет по монастырям и дворцовым подмосковным селам, и в этих походах за ним всюду возят иногда на нескольких подводах его оружейную казну. Следя за Петром в эти годы, видим, с кем он водится, кем окружен, во что играет; не видим только, сидел ли он за книгу, продолжались ли его учебные занятия. В 1688 г. Петр забирает из Оружейной палаты вместе с калмыцким седлом «глобус большой». Зачем понадобился этот глобус — неизвестно; только, должно быть, он был предметом довольно усиленных занятий не совсем научного характера, так как вскоре его выдали для починки часовому мастеру. Затем вместе с потешной обезьяной высылают ему какую-то «книгу огнестрельную».

Потешные

Таская нужные для потехи вещи из кремлевских кладовых, Петр набирал около себя толпу товарищей своих потех. У него был под руками обильный материал для этого набора. По заведенному обычаю, когда московскому царевичу исполнялось пять лет, к нему из придворной знати назначали в слуги, в стольники и спальники поро-

дистых сверстников, которые становились его «комнатными людьми». Прежние цари жили широким и людным хозяйством. Для любимой соколиной потехи царя Алексея на царских дворах содержали больше 3 тысяч соколов, кречетов и других охотничьих птиц, а для их ловли и корма больше 100 тысяч голубиных гнезд; для ловли, выучки и содержания тех птиц в «сокольничьем пути», т. е. ведомстве, служило больше 200 человек сокольников и кречетников. В конюшенном ведомстве числилось свыше 40 тысяч лошадей, к которым приставлено было чиновных людей, столповых приказчиков, конюхов стремянных, задворных, стряпчих, стадных и разных ремесленников больше 600 человек. Это были большею частью все люди породю «честные», не простые, были пожалованы денежным жалованьем и платьем погодно и поместьями и вотчинами, «пили и ели царское». Со смерти царя Алексея в этих ведомствах осталось мало дела или не стало никакого: больным царю Федору и царевичу Ивану было трудно выезжать из дворца часто, а царевнам некуда и непристойно; Петр терпеть не мог соколиной охоты и любил бегать пешком или ездить запросто, на чем ни попало. Этому праздному придворному и дворцовому люду Петр и задал более серьезную работу. Он начал верстать в свою службу молодежь из своих спальников и дворцовых конюхов, а потом сокольников и кречетников, образовав из них две роты, которые прибором охотников из дворян и других чинов, даже из боярских холопов, развились в два батальона, человек по 300 в каждом. Они и получили название *потешных*. Не думайте, что это были игрушечные, шуточные солдаты. Играл в солдаты царь, а товарищи его игр *служили* и за свою потешную службу получали жалованье, как настоящие служилые люди. Звание потешного стало особым чином: «Пожалован я,— читаем в одной челобитной,— в ваш великих государей чин, в потешные конюхи». Набор потешных производился официальным, канцелярским порядком: так, в 1686 г. Конюшенному приказу предписано было выслать к Петру в Преображенское 7 придворных конюхов для записи в потешные пушкари. В числе этих потешных рано является и Александр Данилович Меншиков¹¹, сын придворного конюха, «породы самой низкой, ниже шляхетства», по замечанию князя Б. Куракина. Впрочем, потом в потешные стала поступать и знатная молодежь: так, в 1687 г. с толпой конюхов поступили И. И. Бутурлин и князь М. М. Голицын, будущий фельдмаршал, который за малолетст-

вом записался в «барабанную науку», как говорит дворцовая запись¹². С этими потешными Петр и поднял в Преображенском неугомонную возню, построил потешный двор, потешную съезжую избу для управления командой, потешную конюшню, забрал из Конюшенного приказа упряжь под свою артиллерию. Словом, игра обратилась в целое учреждение с особым штатом, бюджетом, с «потешной казной». Играя в солдаты, Петр хотел сам быть настоящим солдатом и такими же сделать участников своих игр, одел их в темно-зеленый мундир, дал полное солдатское вооружение, назначил штаб-офицеров, обер-офицеров и унтер-офицеров из своих комнатных людей, все «изящных фамилий», и в рощах Преображенского чуть не ежедневно подвергал команду строгой солдатской выучке, причем сам проходил все солдатские чины, начиная с барабанщика. Чтобы приучить солдат к осаде и штурму крепостей, на реке Яузе построена была «регулярным порядком потешная фортеция», городок Плесбурх, который осаждали с мортирами и со всеми приемами осадного искусства. Во всех этих воинских экзерцициях, требовавших технического знания, Петр едва ли мог обойтись одними доморощенными сведениями. По соседству с Преображенским давно уже возник заманчивый и своеобразный мирок, на который искоса посматривали из Кремля руководители Московского государства: то была Немецкая слобода. При царе Алексее она особенно наполнилась военным людом: тогда вызваны были из-за границы для командования русскими полками иноземного строя пара генералов, до сотни полковников и бесчисленное количество офицеров. Сюда и обратился Петр за новыми потехами и воинскими хитростями, каких не умел придумать со своими потешными. В 1684 г. иноземный мастер Зоммер показывал ему гранатную стрельбу, любимую его потеху впоследствии. Иноземные офицеры были привлечены и в Преображенское для устройства потешной команды; по крайней мере в начале 1690-х годов, когда потешные батальоны развернулись уже в два регулярных полка, поселенных в селах Преображенском и Семеновском и от них получившие свои названия, полковники, майоры, капитаны были почти все иноземцы и только сержанты — из русских. Но главным командиром обоих полков был поставлен русский, Автамон Головин¹³, «человек гораздо глупый, но знавший солдатскую экзерцицию», как отзывался о нем тогдашний семеновец и свояк Петра, помянутый князь Куракин.

Страсть к иноземным диковинам привела Петра ко вторичной выучке, незнакомой прежним царевичам. По рассказу самого Петра, в 1687 г. князь Я. Ф. Долгорукий¹⁴, отправляясь послом во Францию, в разговоре с царевичем сказал, что у него был инструмент, которым «можно брать дистанции или расстояния, не доходя до того места», да жаль — украли. Петр просил князя купить ему этот инструмент во Франции, и в следующем году Долгорукий привез ему астролябию. Не зная, что с ней делать, Петр прежде всего обратился, разумеется, ко всеведущему немцу «дохтуру». Тот сказал, что и сам не знает, но сыщет знающего человека. Петр с «великою охотою» велел найти такого человека, и доктор скоро привез голландца Тиммермана. Под его руководством Петр «гораздо с охотою» принялся учиться арифметике, геометрии, артиллерии и фортификации. До нас дошли учебные тетради Петра с задачами, им решенными, и объяснениями, написанными его же рукой. Из этих тетрадей прежде видим, как плохо обучен был Петр грамоте: он пишет невозможно, не соблюдает правил тогдашнего правописания, с трудом выводит буквы, не умеет разделять слов, пишет слова по выговору, между двумя согласными то и дело подозревает твердый знак: *всегда*, *свѣрелять*, *възяфъ*. Он плохо вслушивается в непонятные ему математические термины: сложение *additio* он пишет то *адицое*, то *водицыя*. И сам учитель был не бойкий математик; в тетрадях встречаем задачи, им самим решенные, и в задачах на умножение он не раз делает ошибки. Но те же тетради дают видеть степень охоты, с какой Петр принялся за математику и военные науки. Он быстро прошел арифметику, геометрию, артиллерию и фортификацию, овладел астролябией, изучил строение крепостей, умел вычислять полет пушечного ядра. С этим Тиммерманом, осматривая в селе Измайлове амбары деда Никиты Ивановича Романова, Петр нашел завалившийся английский бот, который, по рассказу самого Петра, послужил родоначальником русского флота, пробудил в нем страсть к мореплаванию, повел к постройке флотилии на Переяславском озере, а потом под Архангельском. Но у прославленного «дедушки русского флота» были неизвестные боковые родичи, о которых Петр не счел нужным упомянуть. Еще в 1687 г., за год или больше до находки бота, Петр таскал из Оружейной

казны «корабли малые», вероятно, старые отцовские модели кораблей, оставшиеся от постройки «Орла» на Оке; даже еще раньше, в 1686 г., по дворцовым записям, в селе Преображенском строились потешные суда. Вспомним, что правительство царя Алексея много хлопотало о заведении флота; для Петра это дело было наследственным преданием.

Нравственный рост Петра

Изложенные черты детства и юности Петра дают возможность восстановить ранние моменты его духовного роста. До десяти лет он проходит совершенно древнерусскую выучку мастерству церковной грамоты. Но эта выучка шла среди толков и явлений совсем не древнерусского характера. С десяти лет кровавые события, раздражающие впечатления, вытолкнули Петра из Кремля, сбили его с привычной колени древнерусской жизни, связали для него старый житейский порядок с самыми горькими воспоминаниями и дурными чувствами, рано оставили его одного с военными игрушками и зотовскими кунштами. Во что он играл в кремлевской своей детской, это теперь он разыгрывал на дворах и в рощах села Преображенского уже не с заморскими куклами, а с живыми людьми и с настоящими пушками, без плана и руководства, окруженный своими спальниками и конюхами. И так продолжалось до 17-летнего возраста. Он оторвался от понятий, лучше сказать, от привычек и преданий кремлевского дворца, которые составляли политическое мирозерцание старорусского царя, его государственную науку, а новых на их место не являлось, взять их было негде и выработать было не из чего. Обучение, начатое с зотовской указкой и рано прерванное по обстоятельствам, потом возобновилось, но уже под другим руководством и в ином направлении. Старшие братья Петра переходили от подьячих, обучавших их церковной грамоте, к воспитателю, который кое-как все же знакомил воспитанников с политическими и нравственными понятиями, шедшими далее обычного московского кругозора, говорил о гражданстве, о правлении, о государе и его обязанностях к подданным. Петру не досталось такого учителя: место Симеона Полоцкого или Ртищева для него заступил голландский мастер со своими математическими и военными науками, с выучкой столь же мастеровой, технической,

как зотовская, только с другим содержанием. Прежде, при Зотове, была занята преимущественно память; теперь вовлечены были в занятия еще глаз, слуховка, сообразительность; разум, сердце оставались праздными по-прежнему. Понятия и наклонности Петра получили крайне одностороннее направление. Вся политическая мысль его была поглощена борьбой с сестрой и Милославскими; все гражданское настроение его сложилось из ненавистей и антипатий к духовенству, боярству, стрельцам, раскольникам; солдаты, пушки, фортеции, корабли заняли в его уме место людей, политических учреждений, народных нужд, гражданских отношений. Необходимая для каждого мыслящего человека область понятий об обществе и общественных обязанностях, гражданская этика, долго, очень долго оставалась заброшенным углом в духовном хозяйстве Петра. Он перестал думать об обществе раньше, нежели успел сообразить, чем мог быть для него.

Правление царицы Натальи

Между тем царевна Софья со своим новым «голландом» Шакловитым¹⁵ построила было новый стрелецкий умысел против брата и мачехи. В августе 1689 г. за полночь, внезапно разбуженный, Петр ускакал в лес и оттуда к Троице, бросив мать и беременную жену. Это был с ним едва ли не единственный случай крайнего испуга, показавший, каких ужасов привык он ожидать со стороны сестры. Замысел не удался. Троевластное правление, которому насмешливо удивлялись за границей, но которым все были довольны дома, кроме села Преображенского, кончилось: «третье зазорное лицо», как называл Петр Софью в письме к брату Ивану, заперли в монастырь. Царь Иван остался выходным, церемониальным царем; Петр продолжал свои потехи. Власть перешла от падчерицы к мачехе. Но царица Наталья, по отзыву князя Куракина, «была править некапабель, ума малого». Дела правления распределились между ее присными. Лучший из них, князь Б. А. Голицын¹⁶, ловко проведший последнюю кампанию против царевны, был человек умный и образованный, говорил по-латыни, но «пил непрестанно» и, правя Казанским Дворцом почти неограниченно, разорил Поволжье. О двух других временщиках, брате царицы Льве Нарышкине и свойственнике обоих ца-

рей по бабушке Тихоне Стрешневе¹⁷, тот же современник говорит, что первый был человек очень недалекий и пьяный, взбалмошный, делавший добро «без резону, по бизарии своего гумору», а второй — тоже человек недалекий, но лукавый и злой, «интригант дворовый». Эти люди и повели «правление весьма непорядочное», с обидами и судейскими неправдами; началось «мздоимство великое и кража государственная». Они вертели Боярской думой; бояре первых домов остались «без всякого повоира и в консилие или палате токмо были спетакулями». Родовитый князь Куракин возмущен этим падением первых фамилий, особенно княжеских, их унижением перед какими-то Нарышкиными, Стрешневыми, «господами самого низкого и убогого шляхетства», а брак Петра привел ко двору более чем три десятка Лопухиных обоего пола, встреченных здесь дружной ненавистью, главы которых, приказные доки, были «люди злые, скупые ябедники; умов самых низких». Правящей среде вполне под стать было московское общество, служилое и приказное, проявлявшее себя рядом скандалов. В записках окольничего Желябужского¹⁸, близкого наблюдателя и участника московских дел в те годы, длинной вереницей проходят бояре, дворяне, дьяки думные и простые, судившиеся, пытаные и разнообразно наказанные разжалованием, кнутом, батогами, ссылкой, конфискацией, лишением жизни за разные преступления и проступки, за брань во дворце, за «неистовые слова» про государя, за женоубийство, оскорбление девичьей чести, за подделку документов, за кражу казенных золотых с участием жены министра Т. Стрешнева; а князь Лобанов-Ростовский, владевший несколькими сотнями крестьянских дворов, разбоем отбил царскую казну на троицкой дороге, за то был бит кнутом и, однако, лет через 6 в Кожуховском походе шел капитаном Преображенского полка. В этом придворном обществе напрасно искать деления на партии старую и новую, консервативную и прогрессивную: боролись дикие инстинкты и нравы, а не идеи и направления.

Компания Петра

В такой обстановке очутился Петр по низложению Софьи. Впечатления, шедшие отсюда, не привлекали его внимания к правительственным делам, и он вполне отдался своим привычным занятиям, весь ушел в «марсовы

потехи». Это теснее сблизило его с Немецкой слободой: оттуда вызывал он генералов и офицеров для строевого и артиллерийского обучения своих потешных, для руководства маневрами, часто сам туда ездил запросто, обедал и ужинал у старого служаки генерала Гордона и у других иноземцев¹⁹. Слободские знакомства расширили первоначальную «кумпанию» Петра. К комнатным столыникам и спальникам, к потешным конюхам и пушкарям присоединились бродяги с Кокуя. Рядом с бомбардиром «Алексашкой» Меншиковым, человеком темного происхождения, невежественным; едва умевшим подписать свое имя и фамилию, но шустрым и сметливым, а потом всемогущим «фаворитом», стал Франц Яковлевич Лефорт²⁰, авантюрист из Женевы, пустившийся за тридевять земель искать счастья и попавший в Москву, невежественный немного менее Меншикова, но человек бывалый, веселый говорун, вечно жизнерадостный, преданный друг, неутомимый кавалер в танцевальной зале, неизменный товарищ за бутылкой, мастер веселить и веселиться, устроить пир на славу с музыкой, с дамами и танцами,— словом, душа-человек или «дебошан французский», как суммарно характеризует его князь Куракин, один из царских спальников в этой компании. Иногда здесь появлялся и степенный шотландец, пожилой, осторожный и аккуратный генерал Патрик Гордон, наемная сабля, служившая в семи ордах семи царям, по выражению нашей былины. Если иноземцев принимали в компанию, как своих, русских, то двое русских играли в ней роли иноземцев. То были потешные генералиссимусы князь Ф. Ю. Ромодановский²¹, носивший имя Фридриха, главнокомандующий новой солдатской армией, король Пресбургский, облеченный обширными полицейскими полномочиями, начальник розысного Преображенского приказа, министр кнута и пыточного застенка, «собою видом как монстра, нравом злой тиран, превеликий нежелатель добра никому, пьян по вся дни», но по-собачьи преданный Петру, и И. И. Бутурлин, король польский или по своей столице царь Семеновский, командир старой, преимущественно стрелецкой армии, «человек злорадный и пьяный и мздоимливый». Обе армии ненавидели одна другую заправской, не потешной ненавистью, разрешавшейся настоящими, не символическими драками. Эта компания была смесь племен, наречий, состояний. Чтобы видеть, как в ней объяснялись друг с другом, достаточно привести две строчки из русского письма, какое

Лефорт написал Петру французскими буквами в 1696 г., двадцать лет спустя по прибытии в Россию: Slavou Bogh sto ti prechol s dorova ou gorrod voronets. Daj Vos ifso dobro sauersit i che Moscva s dorovou buit (здорову быть). Но ведь и сам Петр в письмах к Меншикову делал русскими буквами такие немецкие надписи: *мейн либсте камарат, мейн бест фронт*, а архангельского воеводу Ф. М. Апраксина²² величал в письмах просто иностранным алфавитом *Min Her Geuverneur Archangel*. В компании обходились без чинов: раз Петр сильно упрекнул этого Апраксина за то, что тот писал «с зельными чинами, чего не люблю, а тебе можно знать для того, что ты нашей компании как писать». Эта компания постепенно и заменила Петру домашний очаг. Брак Петра с Евдокией Лопухиной был делом интриги Нарышкиных и Тихона Стрешнева: неумная, суеверная и вздорная, Евдокия была совсем не пара своему мужу²³. Согласие держалось, только пока он и она не понимали друг друга, а свекровь, невзлюбившая невестку, ускорила неизбежный разлад. По своему образу жизни Петр часто и надолго отлучался из дома; это охлаждало, а охлаждение учащало отлучки. При таких условиях у Петра сложилась жизнь какого-то бездомного, бродячего студента. Он ведет усиленные военные экзерциции, сам изготавливает и пускает замысловатые и опасные фейерверки, производит смотры и строевые учения, предпринимает походы, большие маневры с примерными сражениями, оставляющими после себя немало раненых, даже убитых, испытывает новые пушки, один, без мастеров и плотников, строит на Яузе речную яхту со всей отделкой, берет у Гордона или через него выписывает из-за границы книги по артиллерии, учится, наблюдает, все пробует, расспрашивает иноземцев о военном деле и о делах европейских и при этом обедает и ночует, где придется, то у кого-нибудь в Немецкой слободе, чаще на полковом дворе в Преображенском у сержанта Буженинова, всего реже дома, только по временам приезжает пообедать к матери. Однажды в 1691 г. Петр напросился к Гордону обедать, ужинать и даже ночевать. Гостей набралось 85 человек. После ужина все гости расположились на ночлег по-бывачному, вповалку, а на другой день все двинулись обедать к Лефорту. Последний, нося чины генерала и адмирала, был собственно министром пиров и увеселений, и в построенном для него на Яузе дворце компания по временам запиралась дня на три, по словам князя Куракина, «для пьянства, столь

великого, что невозможно описать, и многим случалось от того умирать». Уцелевшие от таких побоищ с «Ивашкой Хмельницким» хворали по нескольку дней; только Петр по утру просыпался и бежал на работу, как ни в чем не бывало.

Значение потех

Воинские потехи занимали Петра до 24-го года его жизни среди частых попоек с компанией и поездок в Александровскую слободу, в Переяславль и Архангельск. С годами игра незаметно теряла характер детской забавы и становилась серьезным делом: это потому, что и в детстве она была очень похожа на серьезное дело, о котором думали старшие современники Петра. Вместе с царем росло и все незрелое, что его окружало, и пушки, и люди. Толпы потешных превращались в настоящие регулярные полки с иностранными офицерами; из игрушечных пушек и пушкарей вышли настоящая артиллерия и заправские артиллеристы. Напрасно Гордон, сведущий руководитель потешных походов, в своем дневнике называет их военным балетом: в этих походах, как и во флотилии на Переяславском озере, видимо бесцельной и смешной, вырабатывались кадры формировавшейся армии и будущего флота. Потехи имели немаловажное *учебное* значение. Трехнедельные маневры под Кожуховым, на берегу реки Москвы, в 1694 г., в которые, по свидетельству участника князя Куракина, едва ли впрочем не преувеличенному, введено было до 30 тысяч человек, велись по плану, серьезно разработанному при содействии того же Гордона, и о них составлена была целая книга с чертежами станов, обозов и боев. Князь Куракин говорит об этих экзерцициях, что они весьма содействовали обучению солдатства, а о кожуховском походе замечает, что едва ли какой монарх в Европе может учинить лучше того, прибавляя, однако, что тогда «убито с 24 персоны пыжами и иными случаи и ранено с 50». Правда, сам Петр об этой последней своей потехе писал, что под Кожуховом у него, кроме игры, ничего на уме не было, но что эта игра стала предвестницей настоящего дела, каким были азовские походы 1695 и 1696 гг. Они оправдали эту игру, показав ее практическую пользу: Азов взят был с помощью артиллерии, подготовленной потешными экзерцициями, и флота, в одну зиму построенного на реке Во-

ронезе под непосредственным руководством Петра, запасшегося необходимыми для того знаниями на переяславской верфи, и с помощью мастеров, там же выученных.

Петр в Германии

В 1697 г. 25-летний Петр увидел, наконец, Западную Европу, о которой ему так много толковали его друзья и знакомые из Немецкой слободы, куда съездить уговаривал его Лефорт. Впрочем, мысль о поездке на Запад рождалась сама собою из всей обстановки и направления деятельности Петра. Он был окружен пришельцами с Запада, учился их мастерствам, говорил их языком, в письмах своих даже к матери уже в 1689 г. подписывался Petrus, лучшую галеру воронежского флота, им самим построенную, назвал «Principium». Проходя сухопутную и морскую службу, он принял за правило первому обучаться всякому новому делу, чтобы показать пример и обучать других. Командируя десятки молодежи в заграничную выучку, он, естественно, должен был командировать и себя самого туда же. Он ехал за границу не как любознательный и досужий путешественник, чтобы полюбоваться диковинами чужой культуры, а как рабочий, желавший спешно ознакомиться с недостававшими ему надобными мастерствами: он искал на Западе техники, а не цивилизации. На заграничных письмах его явилась печать с надписью: «Аз бо есмь в чину учимых и учащих мя требую». На эту цель рассчитана была обстановка поездки. Он зачислил себя под именем Петра Михайлова в свиту торжественного посольства, отправлявшегося к европейским дворам по поводу шедшей тогда коалиционной борьбы с Турцией, чтобы скрепить прежние или завязать новые дружественные отношения с западноевропейскими государствами. Но это была открытая цель посольства. Великие послы Лефорт, Головин и думный дьяк Возницын²⁴ получили еще негласную инструкцию сыскать за границей на морскую службу капитанов добрых, «которые б сами в матросах бывали, а службу дошли чина, а не по иным причинам», таких же поручиков и кучу всевозможных мастеров, «которые делают на кораблях всякое дело». Волонтерам, посланным в чужие края, предписывалось «знать чертежи или карты морские, компас и прочие признаки морские», владеть судом как в бою, так и в простом шествии, знать все «на-

сти или инструменты, к тому надлежащие, искать всяческого случая быть на море во время боя, непременно записаться от морских начальников свидетельством о достаточной подготовке к делу, а при возврате в Москву привести с собою по два искусных мастера морского дела с уплатой расходов из казны по исполнению подряда; кто из дворян обучит морскому делу за границей своего дворового человека, получит за него из казны 100 рублей (около тысячи рублей на наши деньги). Отправляя 19 дворян в Венецию, московская грамота 1697 г. извещала дожа, что их царское намерение «во Европе присмотреться новым воинским искусствам и поведением»; но из дневника князя Б. И. Куракина, бывшего в числе этих дворян, видим, что они учились там математике, части астрономии, навтике, механике, фортификации оборонительной и наступательной, и много плавали. Великое посольство со своей многочисленной свитой под прикрытием дипломатического поручения было одной из снаряжавшихся тогда в Москве экспедиций на Запад с целью все нужное там высмотреть, вызнать, перенять европейское мастерство, сманить европейского мастера. Волонтер посольства Петр Михайлов, как только попал за границу, принялся доучиваться артиллерии. В Кенигсберге учитель его, прусский полковник, дал ему аттестат, в котором, выражая удивление быстрым успехам ученика в артиллерии, свидетельствовал, что означенный Петр Михайлов всюду за осторожного, благоискусного, мужественного и бесстрашного огнестрельного мастера и художника признаваем и почитаем быть может. На пути в Голландию в городке Коппенбурге ужин, которым угостили значного путника курфюрстины ганноверская и бранденбургская, был, как бы сказать, первым выездом Петра в большой европейский свет. Сначала растерявшись, Петр скоро оправился, разговорился, очаровал хозяек, перепил их со свитой по-московски, признался, что не любит ни музыки, ни охоты, а любит плавать по морям, строить корабли и фейерверки, показал свои мозолистые руки, участвовал в танцах, причем московские кавалеры приняли корсеты своих немецких дам за их ребра, приподнял за уши и поцеловал 10-летнюю принцессу, будущую мать Фридриха Великого, испортив ей всю прическу. Испытательные смотрины, устроенные московскому диву двумя звездами немецкого дамского мира, сошли довольно благополучно, и принцессы потом, конечно, не скупилась на рассказы о вынесенном впечатлении. Они

нашли в Петре много красоты, обилие ума, излишество грубости, неумение есть опрятно и свели оценку на двусмыслицу: это-де государь очень хороший и вместе очень дурной, полный представитель своей страны. Все это можно было написать, не выезжая из Ганновера в Коппенбург, или недели за две до коппенбургского ужина.

Петр в Голландии и Англии

Сообразно со своими наклонностями Петр спешил ближе ознакомиться с Голландией и Англией, с теми странами Западной Европы, в которых особенно была развита военно-морская и промышленная техника. Опредив посольство с немногими спутниками, Петр с неделю работал простым плотником на частной верфи в местечке Саардаме среди кипучего голландского кораблестроительства, нанимая каморку у случайно встреченного им кузнеца, которого знал по Москве, между делом осматривал фабрики, заводы, лесопильни, сукновальни, навещая семьи голландских плотников, уехавших в Москву. Однако красная фризская куртка и белые холщовые штаны голландского рабочего не укрыли Петра от досадливых разоблачений, и скоро ему не стало прохода в Саардаме от любопытных зевак, собиравшихся посмотреть на царя-плотника. Лефорт с товарищами приехал в Амстердам 16 августа 1697 г.; 17 августа были в комедии, 19-го присутствовали на торжественном обеде от города с фейерверком, а 20-го Петр, съездив ночью в Саардам за своими инструментами, перебрался со спутниками прямо на верфь Ост-индской голландской компании, где амстердамский бургомистр Витзен²⁵, или «Вицын», человек бывалый в Москве, выхлопотал Петру разрешение поработать. Все волонтеры посольства, посланные учиться, «розданы были по местам», как писал Петр в Москву, рассованы на разные работы «по охоте»: 11 человек с самим царем и А. Меншиковым пошли на Ост-индскую верфь плотничать, из остальных 18— кто к парусному делу, кто в матросы, кто мачты делать. Для Петра на верфи заложили фрегат, который делали «наши люди», и недель через 9 спустили на воду. Петр целый день на работе, но и в свободное время редко сидит дома, все осматривает, всюду бегаёт. В Утрехте, куда он поехал на свидание с королем английским и штатгалтером голландским Вильгельмом Оранским²⁶, Витзен должен был про-

вожать его всюду. Петр слушал лекции профессора анатомии Рюйша²⁷, присутствовал при операциях и, увидав в его анатомическом кабинете превосходно препарированный труп ребенка, который улыбался, как живой, не утерпел и поцеловал его. В Лейдене он заглянул в анатомический театр доктора Бозргава²⁸, медицинского светила того времени, и, заметив, что некоторые из русской свиты высказывают отвращение к мертвому телу, заставил их зубами разрывать мускулы трупа. Петр постоянно в движении, осматривает всевозможные редкости и достопримечательности, фабрики, заводы, кунсткамеры, госпитали, воспитательные дома, военные и торговые суда, взлезает на обсерваторию, принимает у себя или посещает иностранцев, ездит к корабельным мастерам. Поработав месяца четыре в Голландии, Петр узнал, «что подобало доброму плотнику знать», но, недовольный слабостью голландских мастеров в теории кораблестроения, в начале 1698 г. отправился в Англию для изучения процветавшей там корабельной архитектуры, радушно был встречен королем, подарившим ему свою лучшую новенькую яхту, в Лондоне побывал в Королевском обществе наук, где видел «всякие дивные вещи», и перебрался неподалеку на королевскую верфь в городок Дептфорд, чтобы довершить свои познания в кораблестроении и из простого плотника стать ученым мастером. Отсюда он ездил в Лондон, в Оксфорд, особенно часто в Вулич, где в лаборатории наблюдал приготовление артиллерийских снарядов и «отведывал метания бомб». В Портсмуте он осматривал военные корабли, тщательно замечая число пушек и калибр их, вес ядер. У острова Вайта для него дано было примерное морское сражение. *Юрнал* заграничного путешествия изо дня в день отмечает занятия, наблюдения и посещения Петра с товарищами. Бывали в театре, заходили в «костелы», однажды принимали английских епископов, которые посидели с полчаса и уехали, призывали к себе женщину-великана, четырех аршин ростом, и под ее горизонтально вытянутую руку Петр прошел, не нагибаясь, ездили на обсерваторию, обедали у разных лиц и приезжали домой «веселы», не раз бывали в Тауэре, привлекавшем своим монетным двором и политической тюрьмой, «где английских честных людей сажают за караул», и раз заглянули в парламент. Сохранялось особое сказание об этом «скрытном» посещении, очевидно Верхней палаты, где Петр видел короля на троне и всех вельмож королевства на скамьях. Выслушав

прения с помощью переводчика, Петр сказал своим русским спутникам: «Весело слушать, когда подданные открыто говорят своему государю правду; вот чему надо учиться у англичан». Изредка Журнал отмечает: «Были дома и веселились довольно», т. е. пили целый день за полночь. Есть документ, освещающий это домашнее времяпровождение. В Дептфорде Петру со свитой отвели помещение в частном доме близ верфи, оборудовав его по приказу короля, как подобало для такого высокого гостя. Когда после трехмесячного жительствова царь и его свита уехали, домовладелец подал, куда следовало, счет повреждений, произведенных уехавшими гостями. Ужас охватывает, когда читаешь эту опись, едва ли преувеличенную. Полы и стены были заплеваны, запачканы следами веселья, мебель поломана, занавески оборваны, картины на стенах прорваны, так как служили мишенью для стрельбы, газоны в саду так затоптаны, словно там маршировал целый полк в железных сапогах. Всех повреждений было насчитано на 350 фунтов стерлингов, до 5 тысяч рублей на наши деньги по тогдашнему отношению московского рубля к фунту стерлингов. Видно, что, пустившись на Запад за его наукой, московские ученики не подумали, как держаться в тамошней обстановке. Зорко следя там за мастерствами, они не считали нужным всмотреться в тамошние нравы и порядки, не заметили, что у себя в Немецкой слободе они знали с отбросами Того мира, с которым теперь встретились лицом к лицу в Амстердаме и Лондоне, и, вторгнувшись в непривычное им порядочное общество, всюду оставляли здесь следы своих москворецких обычаев, заставлявшие мыслящих людей недоумевать, неужели это властные просветители своей страны. Такое именно впечатление вынес из беседы с Петром английский епископ Бернет. Петр одинаково поразил его своими способностями и недостатками, даже пороками, особенно грубостью, и ученый английский иерарх не совсем набожно отказывается понять неисповедимые пути провидения, вручившего такому необузданному человеку безграничную власть над столь значительной частью света.

Возвращение

Но Петру было не до впечатления, оставляемого им в Западной Европе, когда он, наняв в Голландии до 900 человек всевозможных мастеров, от вице-адмирала до ко-

рабельного повара, и истратив на заграничную поездку не менее 2¹/₂ миллионов рублей на наши деньги, в мае 1698 г. спешил в Вену, а оттуда в июле, внезапно отказавшись от поездки в Италию, поскакал в Москву по вестям о новом заговоре сестры и о стрелецком бунте. Можно представить себе, с каким запасом впечатлений, собранных за 15 месяцев заграничного пребывания, возвращался Петр домой. Попав в Западную Европу, он поспешил прежде всего забежать в мастерскую ее культуры и не хотел, по-видимому, идти никуда больше, по крайней мере оставался рассеянным, безучастным зрителем, когда ему показывали другие стороны европейской жизни. Возвращаясь в Россию, Петр должен был представлять себе Европу в виде шумной и дымной мастерской с машинами, кораблями, верфями, фабриками, заводами. Тотчас по приезде в Москву он принялся за жесткий розыск нового стрелецкого мятежа, на много дней погрузился в раздражающие занятия со своими старыми недругами, вновь поднятыми мятежной сестрой. Это воскресило в нем детские впечатления 1682 г. Ненавистный образ сестры с ее родственниками и друзьями, Милославскими и Шакловитыми, опять восстал в его нервном воображении со всеми ужасами, каких он привык ожидать с этой стороны. Недаром Петр был совершенно вне себя во время этого розыска и в пыточном застенке, как тогда рассказывали, не утерпев, сам рубил головы стрельцам. А затем Петр почти без передышки должен был приняться за другое, еще более тяжелое дело: через два года по возвращении из-за границы началась Северная война. Торпливая и подвижная, лихорадочная деятельность, сама собой начавшаяся в ранней молодости, теперь продолжалась по необходимости и не прерывалась почти до конца жизни, до 50-летнего возраста. Северная война с ее тревогами, с поражениями в первое время и с победами потом, окончательно определила образ жизни Петра и сообщила направление, установила темп его преобразовательной деятельности. Он должен был жить изо дня в день, поспевать за быстро несшимися мимо него событиями, спешить навстречу возникавшим ежедневно новым государственным нуждам и опасностям, не имея досуга перевести дух, одуматься, сообразить наперед план действий. И в Северной войне Петр выбрал себе роль, соответствовавшую привычным занятиям и вкусам, усвоенным с детства, впечатлениям и познаниям, вынесенным из-за границы. Это не была роль ни государя-правителя, ни

боевого генерала-главнокомандующего. Петр не сидел во дворце подобно прежним царям, рассылая всюду указы, направляя деятельность подчиненных; но он редко становился и во главе своих полков, чтобы водить их в огонь, подобно своему противнику Карлу XII²⁹. Впрочем, Полтава и Гангут навсегда останутся в военной истории России светлыми памятниками личного участия Петра в боевых делах на суше и на море. Предоставляя действовать во фронте своим генералам и адмиралам, Петр взял на себя менее видную техническую часть войны: он оставался обычно позади своей армии, устроил ее тыл, набирал рекрутов, составлял планы военных движений, строил корабли и военные заводы; заготавливал амуницию, провиант и боевые снаряды, все запасал, всех ободрял, понукал, бранился, дрался, вешал, скакал из одного конца государства в другой, был чем-то вроде генерал-фельдцейхмейстера, генерал-провиантмейстера и корабельного обермастера. Такая безудержная деятельность, продолжавшаяся почти три десятка лет, сформировала и укрепила понятия, чувства, вкусы и привычки Петра. Петр отлился односторонне, но рельефно, вышел тяжелым и вместе вечно подвижным, холодным, но ежеминутно готовым к шумным взрывам — точь-в-точь как чугунная пушка его петрозаводской отливки.



ПЕТР ВЕЛИКИЙ, ЕГО НАРУЖНОСТЬ, ПРИВЫЧКИ, ОБРАЗ ЖИЗНИ И МЫСЛЕЙ, ХАРАКТЕР

Петр Великий по своему духовному складу был один из тех простых людей, на которых достаточно взглянуть, чтобы понять их.

Петр был великан, без малого трех аршин ростом, целой головой выше любой толпы, среди которой ему приходилось когда-либо стоять. Христосуясь на пасху, он постоянно должен был нагибаться до боли в спине. От природы он был силач; постоянное обращение с топором и молотком еще более развило его мускульную силу и сноровку. Он мог не только свернуть в трубку серебряную тарелку, но и перерезать ножом кусок сукна на лету. В свое время я уже говорил о династической хилости мужского потомства патриарха Филарета. Первая жена царя Алексея не осилила этого недостатка фамилии. Зато Наталья Кирилловна оказала ему энергичный отпор. Петр уродился в мать и особенно походил на одного из ее братьев, Федора. У Нарышкиных живость нервов и бойкость мысли были фамильными чертами. Впоследствии из среды их вышел ряд остряков, а один успешно играл роль шута-забавника в салоне Екатерины II. Одиннадцатилетний Петр был живым красивым мальчиком, как описывает его иноземный посол, представлявшийся в 1683 г. ему и его брату Ивану. Между тем как царь Иван в мономаховой шапке, нахлобученной на самые глаза, опущенные вниз и ни на кого не смотревшие, сидел мертвенной статуей на своем серебряном кресле под образами, рядом с ним на таком же кресле в другой мономаховой шапке, сооруженной по случаю двоецария, Петр смотрел на всех живо и само-

уверенно, и ему не сиделось на месте. Впоследствии это впечатление портилось следами сильного нервного расстройства, причиной которого был либо детский испуг во время кровавых кремлевских сцен 1682 г., либо слишком часто повторявшиеся кутежи, надломившие здоровье еще не окрепшего организма, а вероятно, то и другое вместе. Очень рано, уже на двадцатом году, у него стала трястись голова и на красивом круглом лице в минуты раздумья или внутреннего волнения появлялись безобразившие его судороги. Все это вместе с родинкой на правой щеке и привычкой на ходу широко размахивать руками делало его фигуру всюду заметной. В 1697 г. в саардамской цирюльне по этим приметам, услужливо сообщенным земляками из Москвы, сразу узнали русского царя в плотнике из Московии, пришедшего побриться. Непривычка следить за собой и сдерживать себя сообщала его большим блуждающим глазам резкое, иногда даже дикое выражение, вызывавшее невольную дрожь в слабонервном человеке. Чаще всего встречаются два портрета Петра. Один написан в 1698 г. в Англии по желанию короля Вильгельма III Кнеллером¹. Здесь Петр с длинными вьющимися волосами весело смотрит своими большими круглыми глазами. Несмотря на некоторую слащавость кисти, художнику, кажется, удалось поймать неуловимую веселую, даже почти насмешливую мину лица, напоминающую сохранившийся портрет бабушки Стрешневой. Другой портрет написан голландцем Карлом Моором в 1717 г., когда Петр ездил в Париж, чтобы ускорить окончание Северной войны и подготовить брак своей 8-летней дочери Елизаветы² с 7-летним французским королем Людовиком XV³. Парижские наблюдатели в том году изображают Петра явевителем, хорошо разучившим свою повелительную роль, с тем же пронизательным, иногда диким взглядом, и вместе политиком, умевшим приятно обойтись при встрече с нужным человеком. Петр тогда уже настолько сознавал свое значение, что пренебрегал приличиями: при выходе из парижской квартиры спокойно садился в чужую карету, чувствовал себя хозяином всюду, на Сене, как на Неве. Не таков он у К. Моора. Усы, точно наклеенные, здесь заметнее, чем у Кнеллера. В складке губ и особенно в выражении глаз, как будто болезненном, почти грустном, чувствуется усталость: думаешь, вот-вот человек попросит позволения отдохнуть немного. Собственное величие придавило его; нет и следа ни юношеской самоуверенно-

сти, ни зрелого довольства своим делом. При этом надобно вспомнить, что этот портрет изображает Петра, приехавшего из Парижа в Голландию, в Спа, лечиться от болезни, спустя 8 лет его похоронившей.

Петр был гостем у себя дома. Он вырос и возмужал на дороге и на работе под открытым небом. Лет под 50, удосужившись оглянуться на свою прошлую жизнь, он увидел бы, что он вечно куда-нибудь едет. В продолжение своего царствования он исколесил широкую Русь из конца в конец, от Архангельска и Невы до Прута, Азова, Астрахани и Дербента. Многолетнее безудержное движение развило в нем подвижность, потребность в постоянной перемене мест, в быстрой смене впечатлений. Торопливость стала его привычкой. Он вечно и во всем спешил. Его обычная походка, особенно при понятном размере его шага, была такова, что спутник с трудом поспевал за ним вприпрыжку. Ему трудно было долго усидеть на месте: на продолжительных пирах он часто вскакивал со стула и выбегал в другую комнату, чтобы размяться. Эта подвижность делала его в молодых годах большим охотником до танцев. Он был обычным и веселым гостем на домашних праздниках вельмож, купцов, мастеров, много и недурно танцевал, хотя не проходил методически курса танцевального искусства, а перенимал его «с одной практики» на вечерах у Лефорта. Если Петр не спал, не ехал, не пировал или не осматривал чего-нибудь, он непременно что-нибудь строил. Руки его были вечно в работе, и с них не сходили мозоли. За ручной труд он брался при всяком представлявшемся к тому случае. В молодости, когда он еще многого не знал, осматривая фабрику или завод, он постоянно хватался за наблюдаемое дело. Ему трудно было оставаться простым зрителем чужой работы, особенно для него новой: рука инстинктивно просилась за инструмент; ему все хотелось сработать самому. Охота к ремеслу развила в нем быструю сметливость и сноровку: зорко взглядевшись в незнакомую работу, он мигом усвоял ее. Ранняя склонность к ремесленным занятиям, к технической работе обратилась у него в простую привычку, в безотчетный позыв: он хотел узнать и усвоить всякое новое дело, прежде чем успевал сообразить, на что оно ему понадобится. С летами он приобрел необъятную массу технических познаний. Уже в первую заграничную его поездку немецкие принцессы из разговора с ним вывели заключение, что он в совершенстве знал до 14 ремесел. Впо-

следствии он был как дома в любой мастерской, на какой угодно фабрике. По смерти его чуть не везде, где он бывал, рассеяны были вещицы его собственного изделия, шляпки, стулья, посуда, табакерки и т. п. Дивиться можно, откуда только брался у него досуг на все эти бесчисленные безделки. Успехи в ремесле поселили в нем большую уверенность в ловкости своей руки: он считал себя и опытным хирургом и хорошим зубным врачом. Бывало, близкие люди, заболевшие каким-либо недугом, требовавшим хирургической помощи, приходили в ужас при мысли, что царь проведает об их болезни и явится с инструментами, предложит свои услуги. Говорят, после него остался целый мешок с выдернутыми им зубами — памятник его зубоврачебной практики. Но выше всего ставил он мастерство корабельное. Никакое государственное дело не могло удержать его, когда представлялся случай поработать топором на верфи. До поздних лет, бывая в Петербурге, он не пропускал дня, чтобы не завернуть часа на два в адмиралтейство. И он достиг большого искусства в этом деле; современники считали его лучшим корабельным мастером в России. Он был не только зорким наблюдателем и опытным руководителем при постройке корабля: он сам мог сработать корабль с основания до всех технических мелочей его отделки. Он гордился своим искусством в этом мастерстве и не жалел ни денег, ни усилий, чтобы распространить и упрочить его в России. Из него, уроженца континентальной Москвы, вышел истый моряк, которому морской воздух нужен был, как вода рыбе. Этому воздуху вместе с постоянной физической деятельностью он сам приписывал целебное действие на свое здоровье, постоянно колеблемое разными излишествами. Отсюда же, вероятно, происходил и его несокрушимый, истинно матросский аппетит. Современники говорят, что он мог есть всегда и везде; когда бы ни приехал он в гости, до или после обеда, он сейчас готов был сесть за стол. Вставая рано, часу в пятом, он обедал в 11—12 часов и по окончании последнего блюда уходил соснуть. Даже на пиру в гостях он не отказывал себе в этом сне и, освеженный им, возвращался к собеседникам, снова готовый есть и пить.

Печальные обстоятельства детства и молодости, выбившие Петра из старых, чопорных порядков кремлевского дворца, пестрое и невзыскательное общество, которым он потом окружил себя, самое свойство любимых занятий, заставлявших его поочередно братья

то за топор, то за пилу или токарный станок, то за нравоисправительную дубинку, при подвижном, непосредном образе жизни сделали его заклятым врагом всякого церемониала. Петр ни в чем не терпел стеснений и формальностей. Этот властительный человек, привыкший чувствовать себя хозяином всегда и всюду, конфузился и терялся среди торжественной обстановки, тяжело дышал, краснел и обливался потом, когда ему приходилось на аудиенции, стоя у престола в парадном царском облачении, в присутствии двора выслушивать высокопарный вздор от представлявшегося посланника. Будничную жизнь свою он старался устроить возможно проще и дешевле. Монарха, которого в Европе считали одним из самых могущественных и богатых в свете, часто видели в стоптанных башмаках и чулках, заштопанных собственной женой или дочерьми. Дома, встав с постели, он принимал в простом стареньком халате из китайской нанки, выезжал или выходил в незатейливом кафтане из толстого сукна, который не любил менять часто; летом, выходя недалеко, почти не носил шляпы; ездил обыкновенно на одноколке или на плохой паре и в таком кабриолете, в каком, по замечанию иноземца-очевидца, не всякий московский купец решился бы выехать. В торжественных случаях, когда, например, его приглашали на свадьбу, он брал экипаж напрокат у щеголя сенатского генерал-прокурора Ягужинского⁴. В домашнем быту Петр до конца жизни оставался верен привычкам древнерусского человека, не любил просторных и высоких зал и за границей избегал пышных королевских дворцов. Ему, уроженцу безбрежной русской равнины, было душно среди гор в узкой немецкой долине. Странно одно: выросши на вольном воздухе, привыкнув к простору во всем, он не мог жить в комнате с высоким потолком и, когда попадал в такую, приказывал делать искусственный низкий потолок из полотна. Вероятно, тесная обстановка детства наложила на него эту черту. В селе Преображенском, где он вырос, он жил в маленьком и стареньком деревянном домишке, не стоявшем, по замечанию того же иноземца, и 100 талеров. В Петербурге Петр построил также небольшие дворцы, зимний и летний, с тесными комнатками: царь не может жить в большом доме, замечает этот иноземец. Бросив кремлевские хоромы, Петр вывел и натянутую пышность прежней придворной жизни московских царей. При нем во всей Европе разве только двор прусского короля-скряги Фрид-

риха Вильгельма I⁵ мог поспорить в простоте с петербургским; недаром Петр сравнивал себя с этим королем и говорил, что они оба не любят мотовства и роскоши. При Петре не видно было во дворце ни камергеров, ни камер-юнкеров, ни дорогой посуды. Обыкновенные расходы двора, поглощавшие прежде сотни тысяч рублей, при Петре не превышали 60 тысяч в год. Обычная прислуга царя состояла из 10—12 молодых дворян, большею частью незнатного происхождения, называвшихся денщиками. Петр не любил ни ливрей, ни дорогого шитья на платьях. Впрочем, в последние годы Петра у второй его царицы был многочисленный и блестящий двор, устроенный на немецкий лад и не уступавший в пышности любому двору тогдашней Германии. Тяготясь сам царским блеском, Петр хотел окружить им свою вторую жену, может быть для того, чтобы заставить окружающих забыть ее слишком простенькое происхождение.

Ту же простоту и непринужденность вносил Петр и в свои отношения к людям; в обращении с другими у него мешались привычки старорусского властного хозяина с замашками бесцеремонного мастерового. Придя в гости, он садился, где ни попало, на первое свободное место; когда ему становилось жарко, он, не стесняясь, при всех скидал с себя кафтан. Когда его приглашали на свадьбу маршалом, т. е. распорядителем пира, он аккуратно и деловито исполнял свои обязанности; распорядившись угощением, он ставил в угол свой маршальский жезл и, обратившись к буфету, при всех брал жаркое с блюда прямо руками. Привычка обходиться за столом без ножа и вилки поразила и немецких принцесс за ужином в Коппенбурге. Петр вообще не отличался тонкостью в обращении, не имел деликатных манер. На заведенных им в Петербурге зимних ассамблеях, среди столичного бомонда, поочередно съезжавшегося у того или другого сановника, царь запросто садился играть в шахматы с простыми матросами, вместе с ними пил пиво и из длинной голландской трубки тянул их махорку, не обращая внимания на танцевавших в этой или соседней зале дам. После дневных трудов, в досужие вечерние часы, когда Петр по обыкновению или уезжал в гости, или у себя принимал гостей, он бывал весел, обходителен, разговорчив, любил и вокруг себя видеть веселых собеседников, слышать непринужденную беседу за стаканом венгерского, в которой и сам принимал участие, ходя взад и вперед по комнате, не забывая своего

стакана, и терпеть не мог ничего, что расстраивало такую беседу, никакого ехидства, выходов, колкостей, а тем паче ссор и брани; провинившегося тотчас наказывали, заставляли «пить штраф», опорожнить бокала три вина или одного «орла» (большой ковш), чтобы «лишнего не врал и не задирал». На этих досужих товарищеских беседах щекотливых предметов, конечно, избегали, хотя господствовавшая в обществе Петра непринужденность располагала неосторожных или чересчур прямодушных людей высказывать все, что приходило на ум. Флотского лейтенанта Мишукова Петр очень любил и ценил за знание морского дела и ему первому из русских доверил целый фрегат. Раз — это было еще до дела царевича Алексея⁶ — на пиру в Кронштадте, сидя за столом возле государя, Мишуков, уже порядочно выпивший, задумался и вдруг заплакал. Удивленный государь с участием спросил, что с ним. Мишуков откровенно и во всеуслышание объяснил причину своих слез: место, где сидят они, новая столица, около него построенная, балтийский флот, множество русских моряков, наконец, сам он, лейтенант Мишуков, командир фрегата, чувствующий, глубоко чувствующий на себе милости государя, — все это — создание его государевых рук; как вспомнил он все это да подумал, что здоровье его, государя, все слабеет, так и не мог удержаться от слез. «На кого ты нас покинешь?» — добавил он. «Как на кого? — возразил Петр, — у меня есть наследник-царевич». — «Ох, да ведь он глуп, все расстроит». Петру понравилась звучащая горькой правдой откровенность моряка; но грубоватость выражения и неуместность неосторожного признания подлежали взысканию. «Дурак! — заметил ему Петр с усмешкой, треснув его по голове, — этого при всех не говорят». Привыкнув поступать во всем прямо и просто, он и от других прежде всего требовал дела, прямо-ты и откровенности и терпеть не мог уверток. Неплюев рассказывает в своих записках, что, воротившись из Венеции по окончании выучки, он сдал экзамен самому царю и поставлен был смотрителем над строившимися в Петербурге судами, почему видался с Петром почти ежедневно. Неплюеву советовали быть расторопным и особенно всегда говорить царю правду. Раз, подгуляв на именинах, Неплюев проспал и явился на работу, когда царь был уже там. В испуге Неплюев хотел бежать домой и сказать больным, но передумал и решил откровенно покаяться в своем грехе. «А я уже, мой друг,

здесь»,— сказал Петр.— «Виноват, государь»,— отвечал Неплюев,— вчера в гостях засиделся». Ласково взяв его за плечи так, что тот дрогнул и едва удержался на ногах, Петр сказал: «Спасибо, малый, что говоришь правду; бог простит; кто богу не грешен, кто бабушке не внук? А теперь поедем на родину». Приехали к плотнику, у которого родила жена. Царь дал роженице 5 гривен и поцеловался с ней, велел то же сделать и Неплюеву, который дал ей гривну. «Эй, брат, вижу, ты даришь не по-заморски»,— сказал Петр, засмеявшись.— «Нечем мне дарить много, государь: дворянин я бедный, имею жену и детей, и когда бы не ваше царское жалованье, то живучи здесь, и есть было бы нечего». Петр расспросил, сколько за ним душ крестьян и где у него поместье. Плотник поднес гостям по рюмке водки на деревянной тарелке. Царь выпил и закусил пирогом с морковью. Неплюев не пил и отказался было от угощения, но Петр сказал: «Выпей, сколько можешь, не обижай хозяев» и, отломив ему кусок пирога, прибавил: «На, закуси, это родная, не итальянская пища». Но добрый по природе как человек, Петр был груб как царь, не привыкший уважать человека ни в себе, ни в других; среда, нам уже знакомая, в которой он вырос, и не могла воспитать в нем этого уважения. Природный ум, лета, приобретенное положение прикрывали потом эту прореху молодости; но порой она просвечивала и в поздние годы. Любимец Алексашка Меншиков в молодости не раз испытывал на своем продолговатом лице силу петровского кулака. На большом празднестве один иноземный артиллерист, назойливый болтун, в разговоре с Петром расхвастался своими познаниями, не давая царю выговорить слова. Петр слушал-слушал хвастуна, наконец, не вытерпел и, плюнув ему прямо в лицо, молча отошел в сторону. Простота обращения и обычная веселость делали иногда обхождение с ним столь же тяжелым, как и его вспыльчивость или находившее на него по временам дурное расположение духа, выражавшееся в известных его судорогах. Приближенные, чуя грозу при виде этих признаков, немедленно звали Екатерину⁷, которая сажала Петра и брала его за голову, слегка ее почесывая. Царь быстро засыпал, и все вокруг замирало, пока Екатерина неподвижно держала его голову в своих руках. Часа через два он просыпался бодрым, как ни в чем не бывало. Но и независимо от этих болезненных припадков прямой и откровенный Петр не всегда бывал де-

ликатен и внимателен к положению других, и это портило непринужденность, какую он вносил в свое общество. В добрые минуты он любил повеселиться и пошутить, но часто его шутки шли через край, становились неприличны или жестоки. В торжественные дни летом в своем Летнем саду перед дворцом, в дубовой рощице, им самим разведенной, он любил видеть вокруг себя все высшее общество столицы, охотно беседовал со светскими чинами о политике, с духовными о церковных делах, сидя за простыми столиками на деревянных садовых скамейках и усердно потчужа гостей, как радушный хозяин. Но его хлебосольство порой становилось хуже демьяновой ухи. Привыкнув к простой водке, он требовал, чтобы ее пили и гости, не исключая дам. Бывало, ужас пронимал участников и участниц торжества, когда в саду появлялись гвардейцы с ушатами сивухи, запах которой широко разносился по аллеям, причем часовым приказывалось никого не выпускать из сада. Особо назначенные для того майоры гвардии обязаны были потчевать всех за здоровье царя, и счастливым считал себя тот, кому удавалось какими-либо путями ускользнуть из сада. Только духовные власти не отвращали лиц своих от горькой чаши и весело сидели за своими столиками; от иных далеко отдавало редькой и луком. На одном из празднеств проходившие мимо иностранцы заметили, что самые пьяные из гостей были духовные, к великому удивлению протестантского проповедника, никак не воображавшего, что это делается так грубо и открыто. В 1721 г. на свадьбе старика-вдовца князя Ю. Ю. Трубецкого, женившегося на 20-летней Головиной, когда подали большое блюдо со стаканами желе, Петр велел отцу невесты, большому охотнику до этого лакомства, как можно шире раскрыть рот и принялся совать ему в горло кусок за куском, даже сам раскрывал ему рот, когда тот разевал его недостаточно широко. В то же время за другим столом дочь хозяина, пышная богачка и модница княжна Черкасская, стоя за стулом своего брата, хорошо образованного молодого человека, бывшего дружкой на свадьбе отца, по знаку сидевшей тут императрицы принималась щекотать его, а тот ревел, как теленок, которого режут, при дружном хохоте всего общества, самого изящного в тогдашнем Петербурге.

Такой юмор царя сообщал тяжелый характер увеселениям, какие он завел при своем дворе. К концу Северной войны составилсЯ значительный календарь соб-

ственно придворных ежегодных праздников, в состав которого входили викториальные торжества, а с 1721 г. к ним присоединилось ежегодное празднование Ништадтского мира⁸. Но особенно любил Петр веселиться по случаю спуска нового корабля: новому кораблю он был рад, как новорожденному детищу. В тот век пили много везде в Европе, не меньше, чем теперь, а в высших кругах, особенно придворных, пожалуй, даже больше. Петербургский двор не отставал от своих зарубежных образцов. Бережливый во всем, Петр не жалел расходов на попойки, какими вспрыскивали новоосуженного пловца. На корабль приглашалось все высшее столичное общество обою пола. Это были настоящие морские попойки, те, к которым идет или от которых идет поговорка, что пьяным по колено море. Пьют бывало до тех пор, пока генерал-адмирал старик Апраксин начнет плакать-разливаться горячими слезами, что вот он на старости лет остался сиротою круглым, без отца, без матери, а военный министр светлейший князь Меншиков свалится под стол и прибежит с дамской половины его испуганная княгиня Даша⁹ отливать и оттирать бездыханного супруга. Но пир не всегда заканчивался так просто: за столом вспылит на кого-нибудь Петр и раздраженный убежит на дамскую половину, запретив собеседникам расходиться до его возвращения, и солдата приставит к выходу; пока Екатерина не успокаивала расхोлившегося царя, не укладывала его и не давала ему выспаться, все сидели по местам, пили и скучали. Заключение Ништадтского мира праздновалось семидневным маскарадом. Петр был вне себя от радости, что кончил бесконечную войну, и, забывая свои годы и недуги, пел песни, плясал по столам. Торжество совершалось в здании Сената. Среди пира Петр встал из-за стола и отправился на стоявшую у берега Невы яхту соснуть, приказав гостям дожидаться его возвращения. Обилие вина и шума на этом продолжительном торжестве не мешало гостям чувствовать скуку и тягость от обязательного веселья по наряду, даже со штрафом за уклонение (50 рублей, около 400 рублей на наши деньги). Тысяча масок ходила, толкалась, пила, плясала целую неделю, и все были рады-радешеньки, когда дотянули служебное веселье до указанного срока.

Эти официальные празднества были тяжелы, утомительны. Но еще хуже были увеселения, тоже штатные и непристойные до цинизма. Трудно сказать, что было причиной этого, потребность ли в грязном рассеянии после

черной работы или непривычка обдумывать свои поступки. Петр старался облечь свой разгул с сотрудниками в канцелярские формы, сделать его постоянным учреждением. Так возникла коллегия пьянства, или «сумасброденнейший, всешутейший и всепьянейший собор». Он состоял под председательством набольшего шута, носившего титул князя-папы, или всешумнейшего и всешутейшего патриарха московского, кокуйского и всея Язы. При нем был конклав 12 кардиналов, отъявленных пьяниц и обжор, с огромным штатом таких же епископов, архимандритов и других духовных чинов, носивших прозвища, которые никогда, ни при каком цензурном уставе не появятся в печати. Петр носил в этом соборе сан протодьякона и сам сочинил для него устав, в котором обнаружил не менее законодательной обдуманности, чем в любом своем регламенте. В этом уставе определены были до мельчайших подробностей чины избрания и поставления папы и рукоположения на разные степени пьяной иерархии. Первейшей заповедью ордена было напиваться каждодневно и не ложиться спать трезвыми. У собора, целью которого было славить Бахуса питием непомерным, был свой порядок пьянодействия, «служения Бахусу и честнаго обхождения с крепкими напитками», свои облачения, молитвословия и песнопения, были даже всешутейшие матери-архиерейши и игуменьи. Как в древней церкви спрашивали крещаемого: «Веруеши ли?», так в этом соборе новопринятому члену давали вопрос: «Пиeши ли?» Трезвых грешников отлучали от всех кабаков в государстве; иначе мудрствующих еретиков-пьяноборцев предавали анафеме. Одним словом, это была неприличнейшая пародия церковной иерархии и церковного богослужения, казавшаяся набожным людям пагубой души, как бы вероотступлением, противление коему — путь к венцу мученическому. Бывало на святках компания человек в 200 в Москве или Петербурге на нескольких десятках саней на всю ночь до утра пустится по городу «славить»; во главе процессии шутовской патриарх в своем облачении, с жезлом и в жестяной митре; за ним сломя голову скачут сани, битком набитые его сослужителями, с песнями и свистом. Хозяева домов, удостоенных посещением этих славельщиков, обязаны были угощать их и платить за славление; пили при этом страшно, замечает современный наблюдатель. Или бывало на первой неделе великого поста его всешутейство со своим собором устроит покаянную процессию: в назидание ве-

рующим выедут на ослах и волах или в саях, запряженных свиньями, медведями и козлами, в вывороченных полушубках. Раз на масленице в 1699 г. после одного пышного придворного обеда царь устроил служение Бахусу; патриарх, князь-папа Никита Зотов, знакомый уже нам бывший учитель царя, пил и благословлял преклонявших перед ним колена гостей, осеняя их сложенными накрест двумя чубуками, подобно тому как делают архиереи дикирием и трикирием; потом с посохом в руке «владыка» пустился в пляс. Один только из присутствовавших на обеде, да и то иноземный посол, не вынес зрелища этой одури и ушел от православных шутов. Иноземные наблюдатели готовы были видеть в этих безобразиях политическую и даже народовоспитательную тенденцию, направленную будто бы против русской церковной иерархии и даже самой церкви, а также против порока пьянства: царь-де старался сделать смешным то, к чему хотел ослабить привязанность и уважение; доставляя народу случай позабавиться, пьяная компания приучала его соединять с отвращением к грязному разгулу презрение к предрассудкам. Трудно взвесить долю правды в этом взгляде; но все это — скорее оправдание, чем объяснение. Петр играл не в одну церковную иерархию или в церковный обряд. Предметом шутки он делал и собственную власть, величая князя Ф. Ю. Ромодановского королем, государем, «вашим пресветлым царским величеством», а себя «всегдашним рабом и холопом Piter'ом» или просто по-русски Петрушкой Алексеевым. Очевидно, здесь больше настроения, чем тенденции. Игривость досталась Петру по наследству от отца, который тоже любил пошутить, хотя и остерегался быть шутом. У Петра и его компании было больше позова к дурачеству, чем дурацкого творчества. Они хватали формы шутовства откуда ни попало, не щадя ни преданий старины, ни народного чувства, ни собственного достоинства, как дети в играх пародируют слова, отношения, даже гримасы взрослых, вовсе не думая их осуждать или будировать. В пародии церковных обрядов глумились не над церковью, даже не над церковной иерархией, как учреждением: просто срывали досаду на класс, среди которого видели много досадных людей. Можно не дивиться крайней беззаботности о последствиях, о впечатлении от оргий. Хотя Петр жаловался, что ему приходится иметь дело не с одним бородачом, как его отцу, а с тысячами; но

с этой стороны можно было ждать больше неприятностей, чем опасностей. К большинству тогдашней иерархии был приложен укор, обращенный противниками нововведений на последнего патриарха Адриана¹⁰, что он живет из куска, спать бы ему да есть, бережет мантии для клобука белого, затем и не обличает. Серьезнее был ропот в народе, среди которого уже бродила молва о царе-антихристе; но и с этой стороны надеялись на охранительную силу кнута и застенка, а об общественной стыдливости в тогдашних правящих сферах имели очень слабое понятие. Да и народные нравы если не оправдывают, то частью объясняют эти непристойные забавы. Кому неизвестна русская привычка в веселую минуту пошутить над церковными предметами, украсить праздное балагурство священным изречением? Известно также отношение народной легенды к духовенству и церковному обряду. В этом повинно само духовенство: строго требуя наружного исполнения церковного порядка, пастыри не умели внушить должного к нему уважения, потому что сами недостаточно его уважали. И Петр был не свободен от этой церковно-народной слабости: он был человек набожный, скорбел о невежестве русского духовенства, о расстройстве церкви, чтил и знал церковный обряд, во все не для шутки любил в праздники становиться на клиросе в ряды своих певчих и пел своим сильным голосом — и однако же включил в программу празднования Ништадтского мира в 1721 г. непристойнейшую свадьбу князя-папы, старика Бутурлина, со старухой, вдовой его предшественника Никиты Зотова, приказав обвенчать их в присутствии двора при торжественно-шутливой обстановке в Троицком соборе. Какую политическую цель можно найти в этой непристойности, как и в ящике с водкой, формат которого напоминал пьяной коллегии евангелие? Здесь не тонкий или лукавый противоцерковный расчет политиков, а просто грубое чувство властных гуляк, вскрывавшее общий факт, глубокий упадок церковного авторитета. При господстве монашества, унизившем более духовенство, дело церковно-пастырского воспитания нравственного чувства в народе превратилось в полицию совести.

Но Петр от природы не был лишен средств создать себе более приличные развлечения. Он, несомненно, был одарен здоровым чувством изящного, тратил много хлопот и денег, чтобы доставать хорошие картины и статуи в Германии и Италии: он положил основание художест-

венной коллекции, которая теперь помещается в петербургском Эрмитаже. Он имел вкус особенно к архитектуре; об этом говорят увеселительные дворцы, которые он построил вокруг своей столицы и для которых выписывал за дорогую цену с Запада первоклассных мастеров, вроде, например, знаменитого в свое время Леблона¹¹, «прямой диковины», как называл его сам Петр, сманивший его у французского двора за громадное жалование. Построенный этим архитектором петергофский дворец Монплеизир, со своим кабинетом, украшенным превосходной резной работой, с видом на море и тенистыми садами, вызывал заслуженные похвалы от посещавших его иностранцев. Правда, незаметно, чтобы Петр был любителем классического стиля; он искал в искусстве лишь средства для поддержания легкого, бодрого расположения духа; упомянутый его петергофский дворец украшен был превосходными фламандскими картинами, изображавшими сельские и морские сцены, большею частью забавные. Привыкнув жить кое-как, в черной работе, Петр, однако, сохранил умение быть равнодушным к иному ландшафту, особенно с участием моря, и бросал большие деньги на загородный дворец, с искусственными террасами, каскадами, хитрыми фонтанами, цветниками и т. п. Он обладал сильным эстетическим чутьем; только оно развивалось у Петра несколько односторонне, сообразно с общим направлением его характера и образа жизни. Привычка вникать в подробности дела, работа над техническими деталями создала в нем геометрическую меткость взгляда, удивительный глазомер, чувство формы и симметрии; ему легко давались пластические искусства, нравились сложные планы построек; но он сам признавался, что не любит музыки, и с трудом переносил на балах игру оркестра.

По временам на шумных увеселительных собраниях Петровой компании слышались и серьезные разговоры. Чем шире разворачивались дела войны и реформы, тем чаще Петр со своими сотрудниками задумывался над смыслом своих деяний. Эти беседы любопытны не столько взглядами, какие в них высказывались, сколько тем, что позволяют ближе всмотреться в самих собеседников, в их побуждения и отношения, и притом смягчают впечатление их нетрезвой и беспорядочной обстановки. Сквозь табачный дым и звон стаканов пробивается политическая мысль, освещающая этих дельцов с другой,

более привлекательной стороны. Раз в 1722 г., в веселую минуту, под влиянием стаканов венгерского, Петр разговорился с окружавшими его иностранцами о тяжелых первых годах своей деятельности, когда ему приходилось разом заводить регулярное войско и флот, насаждать в своем праздном, грубом народе науки, чувства храбрости, верности, чести, что сначала все это стоило ему страшных трудов, но это теперь, слава богу, миновало, и он может быть спокойнее, что надобно много трудиться, чтобы хорошо узнать народ, которым управляешь. Это были, очевидно, давние, привычные помыслы Петра; едва ли не он сам начал продолжавшуюся и после него обработку легенды о своей творческой деятельности. Если верить современникам, эта легенда у него стала даже облекаться в художественную форму девиза, изображающего ваятеля, который высекает из грубого куска мрамора человеческую фигуру, и почти до половины окончил свою работу. Значит, к концу шведской войны Петр и его сотрудники сознавали, что достигнутые военные успехи и исполненные реформы еще не завершают их дела, и их занимал вопрос, что предстоит еще сделать. Татищев¹² в своей *Истории Российской* передает рассказ об одной застольной беседе, слышанной, очевидно, от собеседников. Дело было в 1717 г., когда блеснула надежда на скорое окончание тяжелой войны. Сидя за столом на пиру со многими знатными людьми, Петр разговорился о своем отце, об его делах в Польше, о затруднениях, какие наделал ему патриарх Никон. Мусин-Пушкин¹³ принялся выхвалять сына и унижать отца, говоря, что царь Алексей сам мало что делал, а больше Морозов с другими великими министрами; все дело в министрах: каковы министры у государя, таковы и его дела. Государя раздосадовали эти речи; он встал из-за стола и сказал Мусину-Пушкину: «В твоём порицании дел моего отца и в похвале моим больше брани на меня, чем я могу стерпеть». Потом, подошедши к князю Я. Ф. Долгорукому, не боявшемуся спорить с царем в Сенате, и, став за его стулом, говорил ему: «Вот ты больше всех меня бранишь и так больно досаждаешь мне своими спорами, что я часто едва не теряю терпения; а как рассужу, то и увижу, что ты искренно меня и государство любишь и правду говоришь, за что я внутренно тебе благодарен; а теперь я спрошу тебя, как ты думаешь о делах отца моего и моих, и уверен, что ты нелицемерно скажешь мне правду». Долгорукий отвечал: «Изволь, госу-

дарь, присесть, а я подумаю». Петр сел подле него, а тот по привычке стал разглаживать свои длинные усы. Все на него смотрели и ждали, что он скажет. Помолчав немного, князь говорил так:

«На вопрос твой нельзя ответить коротко, потому что у тебя с отцом дела разные: в одном ты больше заслуживаешь хвалы и благодарности, в другом — твой отец. Три главные дела у царей: первое — внутренняя расправа и правосудие; это ваше главное дело. Для этого у отца твоего было больше досуга, а у тебя еще и времени подумать о том не было, и потому в этом отец твой больше тебя сделал. Но когда ты займешься этим, может быть, и больше отца сделаешь. Да и пора уж тебе о том подумать. Другое дело — военное. Этим делом отец твой много хвалы заслужил и великую пользу государству принес, устройством регулярных войск тебе путь показал; но после него неразумные люди все его начинания расстроили, так что ты почти все вновь начинал и в лучшее состояние привел. Однако, хоть и много я о том думал, но еще не знаю, кому из вас в этом деле предпочтенье отдать: конец войны прямо нам это покажет. Третье дело — устройство флота, внешние союзы, отношения к иностранным государствам. В этом ты гораздо больше пользы государству принес и себе чести заслужил, нежели твой отец, с чем, надеюсь, и сам согласишься. А что говорят, якобы каковы министры у государей, таковы и дела их, так я думаю о том совсем напротив, что умные государи умеют и умных советников выбирать и верность их наблюдать. Потому у мудрого государя не может быть глупых министров, ибо он может о достоинстве каждого рассудить и правые советы отличить». Петр выслушал все терпеливо и, расцеловав Долгорукого, сказал: *Благий рабе верный! В мале был еси мне верен, над многими ты поставлю.* «Меншикову и другим сие весьма было прискорбно, — так заканчивает свой рассказ Татищев, — и они всеми мерами усиливались озлобить его государю, но ничего не успели».

Петр прожил свой век в постоянной и напряженной физической деятельности, вечно вращаясь в потоке внешних впечатлений, и потом развил в себе внешнюю восприимчивость, удивительную наблюдательность и практическую сноровку. Но он не был охотник до досужих общих соображений; во всяком деле ему легче давались подробности работы, чем ее общий план; он лучше сооб-

ражал средства и цели, чем следствия; во всем он был больше делец, мастер, чем мыслитель. Такой склад его ума отразился и на его политическом и нравственном характере. Петр вырос в среде, совсем неблагоприятной для политического развития. То были семейство и придворное общество царя Алексея, полные вражды, мелких интересов и ничтожных людей. Придворные интриги и перевороты были первоначальной политической школой Петра. Злоба сестры выбросила его из царской обстановки и оторвала от сросшихся с ней политических понятий. Этот разрыв сам по себе не был большой потерей для Петра: политическое сознание кремлевских умов XVII в. представляло беспорядочный хлам, составившийся частью из унаследованных от прежней династии церемониальных ветошей и вотчинных привычек, частью их политических вымыслов и двусмыслиц, мешавших первым царям новой династии понять свое положение в государстве. Несчастье Петра было в том, что он остался без всякого политического сознания, с одним смутным и бессодержательным ощущением, что у его власти нет границ, а есть только опасности. Эта безграничная пустота сознания долго ничем не наполнялась. Мастеровой характер усвоенных с детства занятий, ручная черная работа мешала размышлению, отвлекала мысль от предметов, составляющих необходимый материал политического воспитания, и в Петре выросла правитель без правил, одухотворяющих и оправдывающих власть, без элементарных политических понятий и общественных сдержек. Недостаток суждения и нравственная неустойчивость при гениальных способностях и обширных технических познаниях резко бросались в глаза и заграничным наблюдателям 25-летнего Петра, и им казалось, что природа готовила в нем скорее хорошего плотника, чем великого государя. С детства плохо направленный нравственно и рано испорченный физически, невероятно грубый по воспитанию и образу жизни и бесчеловечный по ужасным обстоятельствам молодости, он при этом был полон энергии, чуток и наблюдателен по природе. Этими природными качествами несколько сдерживались недостатки и пороки, навязанные ему средой и жизнью. Уже в 1698 г. английский епископ Бернет заметил, что Петр с большими усилиями старается победить в себе страсть к вину. Как ни мало был Петр внимателен к политическим порядкам и общественным нравам Запада, он при своей чуткости не мог не заметить, что тамошние

народы воспитываются и крепнут не кнутом и застенком, а жестокие уроки, данные ему под первым Азовом, под Нарвой и на Пруте, постепенно указывали ему на его политическую неподготовленность, и по мере этого началось и усиливалось его политическое самообразование; он стал понимать крупные пробелы своего воспитания и вдумываться в понятия, вовремя им не продуманные, о государстве, народе, о правде и долге, о государе и его обязанностях. Он умел свое чувство царского долга развить до самоотверженного служения, но не мог уже отрешиться от своих привычек, и если несчастья молодости пожогли ему оторваться от кремлевского политического жеманства, то он не сумел очистить свою кровь от единственного крепкого направителя московской политики, от инстинкта произвола. До конца он не мог понять ни исторической логики, ни физиологии народной жизни. Впрочем, нельзя слишком винить его за это: с трудом понимал это и мудрый политик и советник Петра Лейбниц¹⁴, думавший и, кажется, уверявший Петра, что в России тем лучше можно насадить науки, чем меньше она к тому подготовлена. Вся преобразовательная его деятельность направлялась мыслью о необходимости и всемогуществе властного принуждения; он надеялся только силой навязать народу недостающие ему блага и, следовательно, верил в возможность своротить народную жизнь с ее исторического русла и вогнуть в новые берега. Потому, радея о народе, он до крайности напрягал его труд, тратил людские средства и жизни безрасчетно, без всякой бережливости. Петр был честный и искренний человек, строгий и взыскательный к себе, справедливый и доброжелательный к другим; но по направлению своей деятельности он больше привык обращаться с вещами, с рабочими орудиями, чем с людьми, а потому и с людьми обращался, как с рабочими орудиями, умел пользоваться ими, быстро угадывал, кто на что годен, но не умел и не любил входить в их положение, беречь их силы, не отличался нравственной отзывчивостью своего отца. Петр знал людей, но не умел или не всегда хотел понимать их. Эти особенности его характера печально отразились на его семейных отношениях. Великий знаток и устроитель своего государства, Петр плохо знал один уголок его, свой собственный дом, свою семью, где он бывал гостем. Он не ужился с первой женой, имел причины жаловаться на вторую и совсем не поладил с

сыном, не уберег его от враждебных влияний, что привело к гибели царевича и подвергло опасности самое существование династии.

Так Петр вышел непохож на своих предшественников, хотя между ними и можно заметить некоторую генетическую связь, историческую преемственность ролей и типов. Петр был великий хозяин, всего лучше понимавший экономические интересы, всего более чуткий к источникам государственного богатства. Подобными хозяевами были и его предшественники, цари старой и новой династии; но те были хозяева-сидни, белоручки, привыкшие хозяйничать чужими руками, а из Петра вышел подвижной хозяин-чернорабочий, самоучка, царь-мастеровой.



ПЕТР ВЕЛИКИЙ СРЕДИ СВОИХ СОТРУДНИКОВ

I

Мы привыкли представлять себе Петра Великого более дельцом, чем мыслителем. Таким обыкновенно видали его и современники. Жизнь Петра так сложилась, что давала ему мало досуга заранее и неторопливо обдумывать план действий, а темперамент мало внушал и охоты к тому. Спешность дел, неуменье, иногда и невозможность выждать, подвижность ума, необычайно быстрая наблюдательность — все это приучило Петра задумывать без раздумья, без колебания решаться, обдумывать дело среди самого дела и, чутко угадывая требования минуты, на ходу соображать средства исполнения. В деятельности Петра все эти моменты, так отчетливо различаемые досужим размышлением и как бы рассыпающиеся при раздумьи, шли дружно вместе, точно вырастая один из другого, с органически-жизненной неразделимостью и последовательностью. Петр является перед наблюдателем в вечном потоке разнообразных дел, в постоянном деловом общении со множеством людей, среди непрерывной смены впечатлений и предприятий; всего труднее вообразить его наедине с самим собою, в уединенном кабинете, а не в людной и шумной мастерской.

Это не значит, что у Петра не было тех общих руководящих понятий, из которых составляется образ мыслей человека; только у Петра этот образ мыслей выражался несколько по-своему, не как подробно обдуманый план действий или запас готовых ответов на всевозможные запросы жизни, а являлся случайной импровизацией, мгновенной вспышкой постоянно возбужденной мысли, ежеминутно готовой отвечать на всякий запрос

жизни при первой с ним встрече. Мысль его вырабатывалась на мелких подробностях, текущих вопросах практической деятельности, мастерской, военной, правительственной. Он не имел ни досуга, ни привычки к систематическому размышлению об отвлеченных предметах, а воспитание не развило в нем и склонности к этому. Но когда среди текущих дел ему встречался такой предмет, он своей прямой и здоровой мыслью составлял о нем суждение так же легко и просто, как его зоркий глаз схватывал структуру и назначение впервые встреченной машины. Но у него всегда были наготове две основы его образа мыслей и действий, прочно заложенные еще в ранние годы под неуловимыми для нас влияниями: это — неослабное чувство долга и вечно напряженная мысль об общем благе отечества, в служении которому и состоит этот долг. На этих основах держался и его взгляд на свою царскую власть, совсем непривычный древнерусскому обществу, но бывший начальным, исходным моментом его деятельности и вместе основным ее регулятором. В этом отношении древнерусское политическое сознание испытывало в лице Петра Великого крутой перелом, решительный кризис.

Ближайшие предшественники Петра, московские цари новой династии, родоначальник которой сел на московский престол не по отцовскому завещанию, а по всенародному избранию, конечно, не могли видеть в управляемом ими государстве только свою вотчину, как смотрели на него государи прежней династии. Та династия построила государство из своего частного удела и могла думать, что государство для нее существует, а не она для государства, подобно тому как дом существует для хозяина, а не наоборот. Избирательное происхождение новой династии не допускало такого удельного взгляда на государство, составлявшего основу политического сознания государей Калитина племени¹. Соборное избрание дало царям нового дома новое основание и новый характер их власти. Земский собор просил Михаила на царство, а не Михаил просил царство у земского собора. Следовательно, царь необходим для государства, и хотя государство существует не для государя, но без него оно существовать не может. Идеей власти как основы государственного порядка, суммой полномочий, вытекающих из этого источника, исчерпывалось все политическое содержание понятия о государе. Власть исполняет свое назначение, если только не бездействует, независимо от

качества действия. Назначение власти править, а править — значит приказывать и взыскивать. Как исполнить указ — это дело исполнителей, которые и отвечают перед властью за исполнение. Царь может спросить совета у ближайших исполнителей, своих советников, даже у советных людей всей земли, у земского собора. Это его добрая воля и много-много требование правительственного обычая или политического приличия. Дать совет, подать мнение о деле, когда его спрашивают, — это не политическое право Боярской думы или земского собора, а их верноподданническая обязанность. Так понимали и так практиковали свою власть первые цари новой династии; по крайней мере так понимал и практиковал ее второй из них, царь Алексей, который даже не повторил тех неопределенных, никогда не обнародованных и ничем политически не обеспеченных обязательств, на которых целовал крест боярам — только боярам, а не земскому собору, — его отец. И с 1613 по 1682 г. никогда ни в Боярской думе, ни на земском соборе не возникало вопроса о пределах верховной власти, потому что все политические отношения устанавливались на основе, положенной избирательным собором 1613 г. Сами просили на царство, сами давайте и средства царствовать — такова основная нота в грамотах новоизбранного царя Михаила к собору.

Конечно, и по происхождению нового царственного дома, и по общему значению власти в христианском обществе христианская мысль и в составе московского самодержавия XVII в. могла найти идею долга царя как блюстителя общенародного блага и идею если не юридической, то нравственной его ответственности не только перед богом, но и перед землей; а здравый смысл указывал, что власть не может быть сама себе ни целью, ни оправданием и становится непонятной, как скоро перестает исполнять свое назначение — служить народному благу. Все это, вероятно, чувствовали и московские цари XVII в., особенно такой благодушный и набожный носитель власти, как царь Алексей Михайлович. Но они слабо давали чувствовать все это своим подданным, окруженные в своем дворце тяжелой церемониальной пышностью, при тогдашних, сказать мягко, суровых нравах и приемах управления, являясь перед народом земными богами в неземной величии каких-то царей ассирийских. Тот же благожелательный царь Алексей, может быть, и сознавал одностороннюю постановку своей власти; но у него не доставало сил пробиться сквозь накопившуюся

веками и плотно окутавшую его толщу условных понятий и обрядностей, чтобы вразумительно показать народу и другую, оборотную сторону власти. Это и лишало московских государей XVII в. того нравственно-воспитательного влияния на управляемое общество, которое составляет лучшее назначение и высшее качество власти. Своим образом правления, чувствами, какие они внушали управляемым, они значительно дисциплинировали их поведение, сообщали им некоторую наружную выдержку, но слабо смягчали их нравы и еще слабее проясняли их политические и общественные понятия.

В деятельности Петра Великого впервые ярко проявились именно эти народно-воспитательные свойства власти, едва заметно мерцавшие и часто совсем погасавшие в его предшественниках. Трудно сказать, под какими сторонними влияниями или каким внутренним процессом мысли удалось Петру перевернуть в себе политическое сознание московского государя изнанкой на лицо; только он в составе верховной власти всего яснее понял и особенно живо почувствовал «долженства», обязанности царя, которые сводятся, по его словам, к «двум необходимым делам правления»: к *распорядку*, внутреннему благоустройству, и *обороне*, внешней безопасности государства. В этом и состоит *благо отечества*, общее благо родной земли, русского народа или государства — понятия, которые Петр едва ли не первый у нас усвоил и выражал со всею ясностью первичных, простейших основ общественного порядка. Самодержавие — средство для достижения этих целей. Нигде и никогда не покидала Петра мысль об отечестве; в радостные и скорбные минуты она ободряла его и направляла его действия, и о своей обязанности служить отечеству, чем только можно, он говорил просто, без пафоса, как о деле серьезном, но естественном и необходимом. В 1704 г. русские войска взяли Нарву, смыв позор первого поражения. На радостях Петр говорил находившемуся в походе сыну Алексею, как необходимо ему, наследнику, для обеспечения торжества над врагом следовать примеру отца, не бояться ни труда, ни опасностей. «Ты должен любить все, что служит ко благу и чести отечества, не щадить трудов для общего блага; а если советы мои разнесет ветер, я не признаю тебя своим сыном». Впоследствии, когда возникла опасность исполнить эту угрозу, Петр писал царевичу: «За мое отечество и людей моих я живота своего не жалел и не жалею; как могу тебя непотреб-

ного пожалеть? Ты ненавидишь дела мои, которые я для людей народа своего, не жалея здоровья своего, делаю». Однажды какой-то знатный господин улыбнулся, видя, с каким усердием Петр, любя дуб, как корабельное дерево, сажал желуди по петергофской дороге: «Глупый человек,— сказал ему Петр, заметив его улыбку и догадавшись о ее значении: — ты думаешь, не дожить мне до матерых дубов? Да я ведь не для себя тружусь, а для будущей пользы государства». В конце жизни, больным отправившись в дурную погоду осматривать работы на Ладожском канале и усилив болезнь этой поездкой, он говорил лейб-медику Блюментросту²: «Болезнь упряма, природа знает свое дело; но и нам надлежит пешись о пользе государства, пока силы есть». Соответственно характеру власти изменилась и ее обстановка: вместо кремлевских палат, пышных придворных обрядов и нарядов — плохой домик в Преображенском и маленькие дворцы в новой столице, простенький экипаж, в котором, по замечанию очевидца, не всякий купец решился бы показаться на столичной улице; на самом — простой кафтан из русского сукна, нередко стоптанные башмаки со штопанными чулками — все платье, по выражению князя Щербатова⁸, писателя Екатеринина века, «было так просто, что и беднейший человек ныне того носить не станет».

Жить для пользы и славы государства и отечества, не жалеть здоровья и самой жизни для общего блага — такое сочетание понятий было не вполне ясно для обычного сознания древнерусского человека и мало привычно для его обиходной житейской практики. Он понимал служение государству и обществу как службу по назначению правительства или по мирскому выбору, смотрел на это как на повинность или как на средство для устройства личного и семейного благополучия. Он знал, что слово божие заповедует любить ближнего, как самого себя, полагать душу свою за *други своя*. Но под ближними он разумел прежде всего своих семейных и родных, как самых близких из ближних; а *другами своими* считал, пожалуй, и всех людей, но только как отдельных людей, а не как общества, в которые они соединены. В минуты всенародного бедствия, когда опасность грозила всем и каждому, он понимал обязанность и мог чувствовать в себе готовность умереть за отечество, потому что, защищая всех, он защищал и самого себя, как каждый из всех, защищая себя, защищал и его. Он понимал

общее благо как частный интерес каждого, а не как общий интерес, которому должно жертвовать частным интересом каждого. А Петр именно и не понимал частного интереса, не совпадающего с общим, не понимал возможности замкнуться в кругу частных, домашних дел. «Что вы делаете дома? — с недоумением спрашивал он иногда окружающих: — я не знаю, как без дела дома быть», т. е. без дела общественного, государственного. «Горько нам! он наших нужд не знает», — жаловались на него в ответ на это люди, утомленные его служебными требованиями, постоянно отрывавшими их от домашних дел: — «как бы присмотрел он хорошенько за своим домом да увидел, что либо дров не хватает, либо другого чего, так бы и узнал, что мы дома делаем». Вот это трудное для древнерусского ума понятие об общем благе и усиливался выяснить ему своим примером, своим взглядом на власть и ее отношение к народу и государству Петр Великий.

II

Этот взгляд служил общей основой законодательства Петра и выражался всенародно в указах и уставах как руководящее правило его деятельности. Но особенно любил Петр высказывать свои взгляды и руководящие идеи в откровенной беседе с приближенными, в компании своих «друзей», как он называл их. Ближайшие исполнители должны были знать прежде и лучше других, с каким распорядителем имеют дело и чего он от них ждет и требует. То была столь памятная в нашей истории компания сотрудников, которых подобрал себе преобразователь, — довольно пестрое общество, в состав которого входили и русские, и иностранцы, люди знатные и хитрые, даже безродные, очень умные и даровитые и самые обыкновенные, но преданные и исполнительные. Многие из них, даже большинство и притом самые видные и заслуженные дельцы, были многолетние и ближайшие сотрудники Петра: князь Ф. Ю. Ромодановский, князь М. М. Голицын, Т. Стрешнев, князь Я. Ф. Долгорукий, князь Меншиков, графы Головины, Шереметев, П. Толстой, Брюс, Апраксин⁴. С ними он начинал свое дело; они шли за ним до последних лет шведской войны, иные пережили Ништадтский мир и самого преобразователя. Другие, как граф Ягужинский, барон Шафиров, барон Остерман, Волынский, Татищев, Неплюев, Миних⁵, постепенно вступали в редевшие ряды на место раньше вы-

бывших князя Б. Голицына, графа Ф. А. Головина, Шенна, Лефорта, Гордона⁶. Петр набирал нужных ему людей всюду, не разбирая звания и происхождения, и они сошлись к нему с разных сторон и из всевозможных состояний: кто пришел юнгой на португальском корабле, как генерал-полицеймейстер новой столицы Девиер⁷, кто пас свиней в Литве, как рассказывали про первого генерал-прокурора Сената Ягужинского, кто был сидельцем в лавочке, как вице-канцлер Шафиров, кто из русских дворовых людей, как архангельский вице-губернатор, изобретатель гербовой бумаги, Курбатов⁸, кто, как Остерман, был сын вестфальского пастора; и все эти люди вместе с князем Меншиковым, когда-то, как гласила молва, торговавшим пирогами по московским улицам, встречались в обществе Петра с остатками русской боярской знати. Иноземцы и люди новые из русских, понимая дело Петра или нет, делали его, не входя в его оценку, по мере сил и усердия, по личной преданности преобразователю или по расчету. Из родовитых людей большинство не сочувствовало ни ему самому, ни его делу. Они были тоже люди преобразовательного направления, только не такого, какое дал реформе Петр. Они желали, чтобы реформа шла так, как повели было ее цари Алексей, Федор и царевна Софья, когда, по выражению князя Б. Куракина, Петрова свояка, «политес восставлена была в великом шляхетстве и других придворных с манеру польского и в экипажах, и в домовном строении, и в уборах, и в столах», с науками греческого и латинского языка, с риторикой и священной философией, с учеными киевскими старцами. Вместо того они видели политес с манеру голландского, матросского, с нешляхетскими науками — артиллерией, навтикой, фортификацией, с заграничными инженерами, механиками да с безграмотным и безродным Меншиковым, который всеми ими, родословными боярами, командует, которому даже сам фельдмаршал Б. П. Шереметев вынужден искательно писать: «Как прежде всякую милость получал через тебя, так и ныне у тебя милости прошу».

Нелегко было сладить столь разнохарактерный набор в дружную компанию для общей деятельности. Петру досталась трудная задача не только подыскивать годных людей для исполнения своих предприятий, но и воспитывать самих исполнителей. Неплюев впоследствии говорил Екатерине II: «Мы, Петра Великого ученики, проведены им сквозь огонь и воду». Но в этой суровой школе

применялись не одни только суровые воспитательные приемы. Посредством раннего и прямого общения Петр приобрел большое умение распознавать людей даже по одной наружности, редко ошибался в выборе, верно угадывал, кто на что годен. Но, за исключением иностранцев, да и то не всех, люди, подобранные им для своего дела, не становились на указанные им места готовыми дельцами. Это был добротный, но сырой материал, нуждавшийся в тщательной обработке. Подобно своему вождю, они учились на ходу, среди самого дела. Им нужно было все показать, растолковать наглядным опытом, собственным примером, за всяким присмотреть, каждого проверить, иногo ободрить, другому дать хорошую острастку, чтоб не дремал, а смотрел в оба.

Притом Петру нужно было приручать их к себе, стать к ним в простые и прямые отношения, чтобы личной к ним близостью вовлечь в эти отношения их нравственное чувство, по крайней мере чувство некоторой стыдливости, хотя бы только перед ним одним, и таким образом получить возможность действовать не только на ощущение официального страха должностного холопа, но и на совесть как не лишнюю подпорку гражданского долга или по крайней мере общественного приличия. В этом отношении, что касается долга и приличия, большинство русских сотрудников Петра вышло из старого русского быта с большими недочетами, а в западноевропейской культуре, при первом знакомстве с нею, им больше всего пришлось по вкусу ее последняя прикладная часть, что ласкала чувства и возбуждала аппетиты. Из этой встречи старых пороков с новыми соблазнами вышла такая нравственная неурядица, которая заставляла многих неразборчивых людей думать, что реформа несет только крушение добрых старых обычаев и ничего лучшего принести не может. Эта неурядица особенно ярко проявлялась в злоупотреблениях по службе. Свояк Петра князь Б. Куракин в записках о первых годах его царствования рассказывает, что после семилетнего правления царевны Софьи, веденного «во всяком порядке и правосудии», когда «торжествовало довольство народное», наступило «непорядочное» правление царицы Натальи Кирилловны, и тогда началось «мздоимство великое и кража государственная, что доньше (писано в 1727 г.) продолжается с умножением, а вывести сию язву трудно». Петр жестоко и безуспешно боролся с этой язвой. Многие из видных дельцов с Меншиковым впереди были за это под

судом и наказаны денежными взысканиями. Сибирский губернатор князь Гагарин ⁹ повешен, петербургский вице-губернатор Корсаков пытан и публично высечен кнутом, два сенатора тоже подвергнуты публичному наказанию, вице-канцлер барон Шафиров снят с плахи и отправлен в ссылку, один следователь по делам о казнокрадстве расстрелян. Про самого князя Я. Долгорукова, сенатора, считавшегося примером неподкупности. Петр говорил, что и князь Яков Федорович «не без причины». Петр ожесточался, видя, как вокруг него играют в закон, по его выражению, словно в карты, и со всех сторон подкапываются «под фортецию правды». Есть известие, что однажды в Сенате, выведенный из терпения этой повальной недобросовестностью, он хотел издать указ вешать всякого чиновника, укравшего хоть настолько, сколько нужно на покупку веревки. Тогда блюститель закона, «око государево», генерал-прокурор Ягужинский встал и сказал: «Разве ваше величество хотите царствовать один, без слуг и без подданных? Мы все воруюем, только один больше и приметнее другого». Человек снисходительный, доброжелательный и доверчивый, Петр в такой среде стал проникаться недоверием к людям и приобрел наклонность думать, что их можно обуздывать только «жесточью». Он не раз повторял Давидово слово, что *всяк человек есть ложь*, приговаривая: «Правды в людях мало, а коварства много». Такой взгляд отразился и на его законодательстве, столь щедром на жестокие угрозы. Впрочем, дурных людей не переведешь. Раз в кунсткамере он говорит своему лейб-медику Арескину ¹⁰: «Я велел губернаторам собирать монстры (уродов) и присылать к тебе; прикажи заготовить шкафы. Если бы я захотел присылать к тебе монстры человеческие не по виду телес, а по уродливым нравам, у тебя бы места для них не хватило; пускай шляются они во всенародной кунсткамере: между людьми они более приметны».

Петр сам сознавал, как трудно очистить столь испорченную атмосферу одной грозой закона, как бы суров он ни был, и вынужден был нередко прибегать к более прямым и коротким способам действия. В письме к непобедимому упрямцу сыну он писал: «Сколько раз я тебя бранивал, и не только бранил, но и бивал!» То же «отческое наказание», как назван в манифесте об отрешении царевича от престолонаследия такой способ исправления в отличие от «ласки и укоризненного выговора», Петр применял и к своим сподвижникам. **Нерав-**

городским губернаторам, которые в ведении своих дел «зело раку последуют», он назначал последний срок с угрозой, что потом станет уж «не словом, но руками с оными поступать». В этой ручной политической педагогике нередко появлялась в руках Петра его знаменитая дубинка, о которой так долго помнили и так много рассказывали по личному опыту или со слов испытавших ее на себе отцов русские люди XVIII в. Петр признавал в ней большие педагогические способности и считал ее своей неизменной помощницей в деле политического воспитания своих сотрудников, хотя знал, как трудна ее задача при неподатливости наличного воспитательного материала. Воротясь из Сената, вероятно, после крупного объяснения с сенаторами, и глядя увивающуюся около него любимую свою собачку Лизету, он говорил: «Когда бы упрямы так же слушались меня в добром деле, как послушна мне Лизета, я не гладил бы их дубиною; собачка догадливее их, слушается и без побой, а в тех заматерелое упрямство». Это упрямство, как спица в глазу, не давало покоя Петру. Занимаясь в токарной и довольный своей работой, он спросил своего токаря Нартова¹¹: «Каково я точу?» — «Хорошо, ваше величество!» — «Так-то, Андрей, кости я точу долотом изрядно, а вот упрямцев обточить дубиной не могу».

С царской дубинкой близко знаком был и светлейший князь Меншиков, даже, пожалуй, ближе других сподвижников Петра. Этот даровитый делец занимал совершенно исключительное положение в кругу сотрудников преобразователя. Человек темного происхождения, «породы самой низкой, ниже шляхетства», по выражению князя Б. Куракина, едва умевший расписаться в получении жалованья и нарисовать свое имя и фамилию, почти сверстник Петра, сотоварищ его воинских потех в Преображенском и корабельных занятий на голландских верфях, Меншиков, по отзыву того же Куракина, в милости у царя «до такого градуса взошел, что все государство правил, почитай, и был такой сильный фаворит, что разве в римских гисториях находят». Он отлично знал царя, быстро схватывал его мысли, исполнял самые разнообразные его поручения, даже по инженерной части, которой совсем не понимал, был чем-то вроде главного начальника его штаба, успешно, иногда с блеском командовал в боях. Смелый, ловкий и самоуверенный, он пользовался полным доверием царя и беспримерными полномочиями, отменял распоряжения его фельдмарша-

лов, не боялся противоречить ему самому и оказал Петру услуги, которых он никогда не забывал. Но никто из сотрудников не огорчал его больше, чем этот «мейн липсте фронт» (мой любимый друг) или «мейн герцбрудер» (мой сердечный брат), как называл его Петр в письмах к нему. Данилыч любил деньги, и ему нужно было много денег. Сохранились счета, по которым с конца 1709 по 1711 г. он издержал лично на себя 45 тыс. руб., т. е. около 400 тыс. на наши деньги. И он не стеснялся в средствах добывать деньги, как показывают известия о его многочисленных злоупотреблениях: бедный преображенский сержант впоследствии имел состояние, которое современники определяли в 150 тыс. руб. поземельного дохода (около 1300 тыс. на наши деньги), не считая драгоценных камней на 1½ млн. руб. (около 13 млн.) и многомиллионных вкладов в зарубежных банках. Петр не был скуп для заслуженного любимца; но такое богатство едва ли могло состояться из одних царских щедрот да из барышей беломорской компании моржевого промысла, в которой князь состоял пайщиком. «Зело прошу,— писал ему Петр в 1711 г. по поводу его мелких хищений в Польше,— зело прошу, чтобы вы такими малыми прибытками не потеряли своей славы и кредита». Меншиков и старался исполнить эту просьбу царя, только уж слишком буквально: избегал «малых прибытков», предпочитая им большие. Через несколько лет следственная комиссия по делу о злоупотреблениях князя сделала на него начет более 1 млн. руб. (около 10 млн. на наши деньги). Петр сложил значительную часть этого начета. Но такая нечистота на руку выводила его из терпения. Царь предостерегал князя: «Не забывай, кто ты был и из чего сделал я тебя тем, каков ты теперь». В конце своей жизни, прощая ему новые вскрывшиеся хищения, он говорил всегдашней его заступнице, императрице: «Меншиков в беззаконии зачат, во гресех родила его мать, и в плутовстве скончает живот свой; если не исправится, быть ему без головы». Кроме заслуг, чистосердечного раскаяния и ходатайства Екатерины, в таких случаях выручала Меншикова из беды и царская дубинка, покрывавшая забвением грех наказанного. Но и царская дубинка о двух концах: исправляя грешника одним концом, она другим роняла его во мнении общества. Петру нужны были дельцы с авторитетом, которых бы уважали и слушались подчиненные; а какое уважение мог внушать битый царем начальник? Петр надеялся устранить это

деморализующее действие своей исправительной дубинки, делая из нее строго келейное употребление в своей токарной. Нартов рассказывает, что он часто видал, как здесь государь знатных чинов людей потчевал за вины дубинкою, как они после того с веселым видом выходили в другие комнаты и в тот же день приглашаемы были к государеву столу, чтобы посторонние ничего не заметили. Не всякий виноватый удостоивался дубинки: она была знаком известной близости, доверия к наказуемому. Потому испытавшие такое наказание вспоминали о нем без горечи, как о милости, даже когда считали себя наказанными незаслуженно. А. П. Вольтер после рассказывал, как во время персидского похода, на Каспийском море Петр по наговорам недругов прибил его, бывшего тогда астраханским губернатором, тростью, заменявшей дубинку в ее отсутствии, и только императрица «до больших побой милостиво довести не изволила». «Но,—добавлял рассказчик,—государь изволил наказывать меня, как милостивый отец сына, своею ручкою и назавтра сам все милостивейше изволил в том обмыслиться, что вины моей в том не было, милосердуя, раскаялся и паки изволил меня принять в прежнюю свою высокую милость». Петр наказывал так лишь тех, кем дорожил и кого надеялся исправить этим средством. На доклад об одном корыстном поступке все того же Меншикова Петр отвечал: «Вина не малая, да прежние заслуги больше ее», подверг князя денежному взысканию, а в токарной прибил его дубиной при одном Нартове и выпроводил со словами: «В последний раз дубина; впредь смотри, Александр, берегись!»

Но когда добросовестный делец ошибался, делал невольный промах и ждал грозы, Петр спешил утешить его, как утешают в несчастье, умаляя неудачу. В 1705 г. Б. Шереметев испортил порученную ему стратегическую операцию в Курляндии против Левенгаупта¹² и был в отчаянии. Петр взглянул на дело просто, как на «некоторый несчастливый случай», и писал фельдмаршалу: «Не извольте о бывшем несчастье печальны быть, понеже всегдашняя удача многих людей ввела в пагубу, но забывать и паче людей ободривать».

III

Петр не успел стряхнуть с себя дребневого человека с его нравами и понятиями даже тогда,

когда воевал с ними. Это сказывалось не только в отеческой расправе с людьми знатных чинов, но и в других случаях, например, в надежде искоренить заблуждения в народе, выгоняя кнутом бесов из ложнобеснующихся — «хвост-де кнута длиннее хвоста бесовского» или в способе лечения зубов у жены своего камердинера Полу-боярова. Камердинер жаловался Петру, что жена с ним неласкова, ссылаясь на зубную боль. — «Хорошо, я полечу ее». Считая себя достаточно опытным в оперативной хирургии, Петр взял зубо-врачебный прибор и зашел к камердинерше в отсутствие мужа. «У тебя, слышал я, зуб болит?» — «Нет, государь, я здорова». — «Неправда, ты трусишь». Та, оробев, признала у себя болезнь, и Петр выдернул у нее здоровый зуб, сказав: «Помни, что жена да боится своего мужа, иначе будет без зубов». — «Вылечил!» — с усмешкой заметил он мужу, воротившись во дворец.

При умении Петра обращаться с людьми, когда нужно, властно или запросто, по-царски или по-отечески келейные поучения вместе с продолжительным общением в трудах, горях и радостях устанавливали известную близость отношений между ним и его сотрудниками; а участливая простота, с какою он входил в частные дела близких людей, придавала этой близости отпечаток задушевной короткости. После дневных трудов, в досужие вечерние часы, когда Петр по обыкновению или уезжал в гости или у себя принимал гостей, он бывал весел, обходителен, разговорчив, любил и вокруг себя видеть веселых собеседников, слышать непринужденную, умную беседу и терпеть не мог ничего, что расстраивало такую беседу, никакого ехидства, выходок, колкостей, а тем паче ссор и брани; провинившегося тотчас наказывали, заставляли *пить штраф* — опорожнить бокала три вина или одного *орла* (большой ковш), чтоб «лишнего не врал и не задирали». П. Толстой долго помнил, как он раз принужден был выпить штраф за то, что принялся чересчур неосторожно расхваливать Италию. Ему и в другой раз пришлось пить штраф, только уже за излишнюю осторожность. Некогда, в 1682 г., как агент царевны Софьи и Ивана Милославского¹³, он сильно замешался в стрелецкий бунт и едва удержал голову на плечах, но вовремя покаялся, получил прощение, умом и заслугами вошел в милость и стал видным дельцом, которым Петр очень дорожил. Однажды на пирушке у корабельных мастеров, подгуляв и разблагодужествовавшись, гости принялись

запросто выкладывать царю, что у каждого лежало на дне души. Толстой, незаметно уклонившийся от стаканов, сел у камелька, задремал, точно во хмелю, опустил голову и даже снял парик, а между тем, покачиваясь, внимательно прислушивался к откровенной болтовне собеседников царя. Петр, по привычке ходивший взад и вперед по комнате, заметил уловку хитреца и, указывая на него присутствующим, сказал: «Смотрите, повисла голова — как бы с плеч не свалилась». — «Не бойтесь, ваше величество, — отвечал вдруг очнувшийся Толстой: — она вам верна и на мне тверда». — «А! так он только притворился пьяным, — продолжал Петр: — поднесите-ка ему стакана три доброго флина (гретого пива с коньяком и лимонным соком), — так он поравняется с нами и так же будет трещать по-сорочьи». И, ударяя его ладонью по плечи, продолжал: «Голова, голова! кабы не так умна ты была, давно б я отрубить тебя велел». Щекотливых предметов, конечно, избегали, хотя господствовавшая в обществе Петра непринужденность располагала неосторожных или чересчур прямодушных людей высказывать все, что приходило на ум. Флотского лейтенанта Мишукова Петр очень любил и ценил за знание морского дела и ему первому из русских доверил целый фрегат. Раз — это было еще до дела царевича Алексея — на пиру в Кронштадте, сидя за столом возле государя, Мишуков, уже порядочно выпивший, задумался и вдруг заплакал. Удивленный государь с участием спросил, что с ним. Мишуков откровенно и во всеулышание объяснил причину своих слез: место, где сидят они, новая столица, около него построенная, балтийский флот, множество русских моряков, наконец, сам он, лейтенант Мишуков, командир фрегата, чувствующий, глубоко чувствующий на себе милости государя, — все это создание его государевых рук; как вспомнил он все это, да подумал, что здоровье его, государя, все слабеет, так и не мог удержаться от слез. «На кого ты нас покинешь?» — добавил он. — «Как на кого? — возразил Петр: — у меня есть наследник — царевич». — «Ох, да ведь он глуп, все расстроит». Петру понравилась звучащая горькой правдой откровенность моряка; но грубоватость выражения и неуместность неосторожного признания подлежали взысканию. «Дурак! — заметил ему Петр с усмешкой, треснув его по голове: — этого при всех не говорят».

Участники этих досужих товарищеских бесед уверяют, что самодержавный государь тогда как бы исчезал в ве-

селом госте или радушном хозяине, хотя мы, зная рассказы про вспыльчивость Петра, скорее расположены думать, что благодушные его собеседники должны были чувствовать себя подобно путешественникам, любующимся видами с вершины Везувия, в ежеминутном ожидании пепла и лавы. Случались, особенно в молодости, и грозные вспышки. В 1698 г. на пиру у Лефорта Петр едва не заколол шпагой генерала Шеина, вспыхнув на него за торговлю офицерскими местами в своем полку. Лефорт, удержавший раздраженного царя, поплатился за это раной. Однако, несмотря на подобные случаи, видно, что гости на этих собраниях все-таки чувствовали себя весело и непринужденно; корабельные мастера и флотские офицеры, подбадриваемые радушным потчеванием из рук развеселившегося Петра, запросто с ним обнимались, клялись ему в своей любви и усердии, за что получали соответственные выражения признательности. Частное, не официальное обхождение с Петром облегчалось одной новостью, заведенной еще во время потех в Преображенском и вместе со всеми потехами превратившейся незаметно в прямое дело. Верный рано усвоенному правилу, что руководитель должен прежде и лучше руководимых знать дело, в котором он ими руководит, и вместе с тем желая показать собственным примером, как надо служить, Петр, заводя регулярно армию и флот, сам проходил сухопутную и морскую службу с низших чинов: был барабанщиком в роте Лефорта, бомбардиром и капитаном, дослужился до генерал-лейтенанта и даже до полного генерала. При этом он позволял производить себя в высшие чины не иначе, как за действительные заслуги, за участие в делах. Производство в эти чины было правом потешного короля, князя-кесаря Ф. Ю. Ромодановского. Современники описывают торжественное пожалование Петра в вице-адмиралы за морскую победу при Гангуте в 1714 г., где он в чине контр-адмирала командовал авангардом и взял в плен командира шведской эскадры Эреншильда с его фрегатом и несколькими галерами. Среди полного собрания Сената восседал на троне князь-кесарь. Позван был контр-адмирал, от которого князь-кесарь принял письменный рапорт о победе. Рапорт был прочитан всему Сенату. Следовали устные вопросы победителю и другим участникам победы. Затем сенаторы держали совет. В заключение контр-адмирал, «в рассуждении верно оказанные и храбрые службы отечеству», единогласно провозглашен вице-адмиралом. Од-

нажды на просьбу нескольких военных о повышении их чинами Петр не шутя отвечал: «Постараюсь, только как заблагорассудит князь-кесарь. Видите, я и о себе просить не смею, хотя отечеству с вами послужил верно; надо выбрать удобный час, чтоб его величество не прогневать; но что ни будет, я за вас ходатай, хоть и рассердится; помолимся прежде богу, авось, дело сладится». Стороннему наблюдателю все это могло показаться пародией, шуткой, если не шутовством. Петр любил мешать шутку с серьезным, дело с бездельем; только у него обыкновенно выходило при этом так, что безделье превращалось в дело, а не наоборот. У него ведь и регулярная армия незаметно выросла из шуточных полков, в которые он играл в Преображенском и Семеновском. Нося армейские и флотские чины, он действительно служил, точно исполнял служебные обязанности и пользовался служебными правами, получал и расписывался в получении присвоенного чину жалованья, причем говаривал: «Эти деньги мои собственные; я их заслужил и могу употреблять, как хочу; но с государственными доходами надо поступать осторожно: в них я должен дать отчет богу». Службой Петра по армии и флоту с ее кесарским чинопроводством создавалась форма обращения, упрощавшая и облегчавшая отношения царя к окружающим. В застольной компании, в частных, внеслужебных делах, обращались к сослуживцу, товарищу по полку или фрегату, «басу» (корабельному мастеру) или капитану Петру Михайлову, как звался царь по морской службе. Становилась возможна доверчивая близость без панибратства. Дисциплина не колебалась, напротив, получала опору во внушительном примере: опасно было шутить службой, когда ею не шутил сам Петр Михайлов.

В своих воинских инструкциях Петр предписывал капитану с солдатами «братства не иметь», не брататься: это повело бы к поблажке, распушенности. Обращение самого Петра с окружающими не могло повести к такой опасности: в нем было слишком много царя для того. Близость к нему упрощала обхождение с ним, могла многому научить добросовестного и понятливого человека; но она не баловала, а обязывала, увеличивала ответственность приближенного. Он высоко ценил талант и заслугу и много грехов прощал даровитым и заслуженным сотрудникам. Но ни за какие таланты и заслуги не ослаблял он требований долга; напротив, чем выше ценил он дельца, тем взыскательнее был к нему и тем до-

верчивее полагался на него, требуя не только точного исполнения своих распоряжений, но, где нужно, и действий на свой страх, по собственному соображению и пощину, строго предписывая, чтобы в донесениях ему отнюдь не было привычного *как изволишь*. Никого из своих сотрудников не уважал он больше эрестферского и гумельсгофского победителя шведов Б. Шереметева, встречал и провожал его, по выражению очевидца, не как подданного, а как гостя-героя; но и тот нес на себе всю тяжесть служебного долга. Предписав осторожному и медлительному, к тому же не совсем здоровому фельдмаршалу ускоренный марш в 1704 г., Петр не дает ему покоя своими письмами, настойчиво требуя: «Иди днем и ночью, а если так не учинишь, не изволь на меня впредь пенять». Сотрудники Петра хорошо понимали смысл такого предостережения. Потом, когда Шереметев, не зная, что делать за неимением инструкций, отвечал на запрос царя, что согласно указу никуда идти не смеет, Петр с укоризненной иронией писал ему, что он похож на слугу, который, видя, что хозяин его тонет, не решается его спасать, пока не справится, прописано ли у него в наемном контракте вытаскивать из воды утопающего хозяина. К другим генералам в случае их неисправности Петр обращался уже без всякой иронии, с суровой прямоотой. В 1705 г., задумав нападение на Ригу, он запретил пропускать туда Двиной товары. Князь Репнин¹⁴ по недоразумению пропустил лес и получил от Петра письмо с такими словами: «Негг, сегодня получил я ведомость о вашем толь худом поступке, за что можешь шею заплатить; впредь же, аще единая щепка пройдет, ей богом клянись, без головы будешь».

Зато и умел Петр ценить своих сподвижников. Он уважал в них столько же таланты и заслуги, сколько и нравственные качества, особенно преданность, и это уважение считал одной из первейших обязанностей государя. За своим обеденным столом он пивал тост «за здоровье тех, кто любит бога, меня и отечество», и сыну вменял в непрременную обязанность любить верных советников и слуг, будут ли они свои или чужие. Князь Ф. Ю. Ромодановский, страшный начальник тайной полиции, «князь-кесарь» в шуточной компанейской иерархии, «собою видом как монстра, нравом злой тиран», по отзыву современников, или просто «зверь», как величал его сам Петр в минуты недовольства им, не отличался особенно выдающимися способностями, только «любил пить не-

престанно и других поить да ругаться»; но он был предан Петру, как никто другой, и за то пользовался его безмерным доверием и наравне с фельдмаршалом Б. П. Шереметевым имел право входить в кабинет Петра без доклада — преимущество, которое не всегда имел даже сам «полудержавный властелин» Меншиков. Уважением к заслугам своих сотрудников иногда получало у Петра задушевно-теплое выражение. Раз в разговоре с лучшими своими генералами, Шереметевым, М. Голицыным и Репниным, о славных полководцах Франции он с одушевлением сказал: «Слава богу, дожил я до своих Тюреннов, только вот Сюллия у себя еще не вижу»¹⁵. Генералы поклонились и поцеловали у царя руку, а он поцеловал их в лоб. Своих сподвижников Петр не забывал и на чужбине. В 1717 г., осматривая укрепления Намюра в обществе офицеров, отличившихся в войне за испанское наследство, Петр был чрезвычайно доволен их беседой, сам рассказывал им об осадах и сражениях, в которых участвовал, и с сияющим от радости лицом сказал коменданту: «Словно я нахожусь теперь в отечестве среди своих друзей и офицеров». Вспомнив раз о покойном Шереметеве (умер в 1719 г.), Петр, вздохнув, с грустным предчувствием сказал окружающим: «Нет уже Бориса Петровича, скоро не будет и нас; но его храбрость и верная служба не умрут и всегда будут памятны в России». Незадолго до своей смерти он мечтал соорудить памятники своим покойным военным сподвижникам — Лефорту, Шеину, Гордону, Шереметеву, говоря про них: «Сии мужи верностию и заслугами вечные в России монументы». Ему хотелось поставить эти памятники в Александро-Невском монастыре под сению древнего святого князя, невского героя. Рисунки памятников были уже отправлены в Рим к лучшим скульпторам, но за смертью императора дело не состоялось.

IV

Воспитывая себе дельцов самым обхождением с ними, требованиями служебной дисциплины, собственным примером, наконец, уважением к таланту и заслуге, Петр хотел, чтобы его сотрудники ясно видели, во имя чего он требует от них таких усилий, и хорошо понимали как его самого, так и дело, которое вели по его указаниям, — хотя бы только понимали, если уж не могли в душе почувствовать ни ему самому, ни его делу. Да и самое это

дело было настолько серьезно само по себе и так чувствительно всех задевало, что поневоле заставляло над ним задумываться. «Трехвременная жестокая школа», как называл Петр длившуюся три школьных семилетия шведскую войну, приучала всех проходивших ее учеников, как и самого учителя, ни на минуту не выпускать из виду тяжелых задач, какие она ставила на очередь, отдавать себе отчет в ходе дел, подсчитывать добытые успехи, запоминать и соображать полученные уроки и допущенные ошибки. В досужие часы, иногда и за пиршественным столом, в возбужденном и приподнятом настроении по случаю какого-нибудь радостного события в обществе Петра и завязывались беседы о таких предметах, к каким редко обращаются в минуты отдыха много занятые люди. Современники записали почти только монологи самого царя, который обыкновенно и заводил эти разговоры. Но едва ли где еще можно найти более явственное выражение того, о чем хотел Петр заставить думать и как настроить свое общество. Содержание бесед было довольно разнообразно: говорили о библии, о мощах, о безбожниках, о народных суевериях, Карле XII, о заграничных порядках. Иногда среди собеседников заходила речь и о предметах, более им близких, практических, о начале и значении того дела, которое они делали, о планах будущего, о том, что им предстоит еще сделать. Тут-то и сказывалась в Петре та скрытая духовная сила, которая поддерживала его деятельность и обаяние которой волей-неволей подчинялись его сотрудники. Видим, как война и возбуждаемая ею реформа поднимала их, напрягала их мысль, воспитывала их политическое сознание.

Петр, особенно к концу царствования, очень интересовался прошлым своего отечества, заботился о собирании и сохранении исторических памятников, говорил ученому Феофану Прокоповичу¹⁶: «Когда же мы увидим полную историю России?», неоднократно заказывал написать общедоступное руководство по русской истории. Изредка мимоходом вспоминал он в беседах, как начиналась его деятельность, и раз в этих воспоминаниях мелькнула древняя русская летопись. Казалось бы, какое участие могла принять в его деятельности эта летопись? Но в деловом уме Петра каждое приобретаемое знание, каждое набегающее впечатление получало практическую обработку.

Он начинал эту деятельность под гнетом двух наблю-

дений, вынесенных им из знакомства с положением России, как только он начал понимать его. Он видел, что Россия лишена тех средств внешней силы и внутреннего благосостояния, какие дают просвещенной Европе знание и искусство; видел также, что шведы и турки с татарами лишали ее самой возможности заимствовать эти средства, отрезав ее от европейских морей: «Разумным очам,— как он писал сыну,— к нашему нелюбозрению добрый задернули завес и со всем светом коммуникацию пресекли». Вывести Россию из этого двойного затруднения, пробиться к европейскому морю и установить непосредственное общение с образованным миром, сдернуть с русских глаз наброшенную на них неприятелем завесу, мешающую им видеть то, что им хочется видеть,— это была первая, хорошо выясненная и твердо поставленная цель Петра.

Однажды в присутствии гр. Шереметева и генерал-адмирала Апраксина Петр рассказывал, что в ранней молодости он читал летопись Нестора и оттуда узнал, как Олег посылал на судах войско под Царьград. С этих пор запало в нем желание сделать то же против врагов христианства, вероломных турок, и отомстить им за обиды, какие они вместе с татарами наносили России. Эта мысль окрепла в нем, когда во время поездки в Воронеж в 1694 г., за год до первого азовского похода, обозревая течение Дона, он увидел, что этой рекой, взяв Азов, можно выйти в Черное море, и решил завести в пригодном месте кораблестроение. Точно так же первое посещение города Архангельска породило в нем охоту завести и там строение судов для торговли и морских промыслов. «И вот теперь,— продолжал он,— когда при помощи божией у нас есть Кронштадт и Петербург, а вашей храбростью завоеваны Рига, Ревель и другие приморские города, строящимися у нас кораблями мы можем защищаться от шведов и других морских держав. Вот почему, друзья мои, полезно государю путешествовать по своей земле и замечать, что может служить к пользе и славе государства». В конце жизни, осматривая работы на Ладожском канале и довольный их ходом, он говорил строителям: «Видим, как Невой ходят к нам суда из Европы; а когда кончим вот этот канал, увидим, как нашей Волгой придут торговать в Петербург и азиаты». План канализации России был одною из ранних и блестящих идей Петра, когда это дело было еще новостью и на Западе. Он мечтал, пользуясь речной сетью России,

соединить все моря, примыкающие к русской равнине, и таким образом сделать Россию торговой и культурной посредницей между двумя мирами, Западом и Востоком, Европой и Азией. Вышневолоцкая система, замечательная по остроумному подбору вошедших в нее рек и озер, осталась единственным законченным при Петре опытом осуществления задуманного грандиозного плана. Он смотрел еще дальше, за пределы русской равнины, за Каспий, куда посылал экспедицию князя Бековича-Черкасского¹⁷, между прочим, с целью разведать и описать сухой и водный, особенно водный, путь в Индию; за несколько дней до смерти вспомнил он давнюю свою мысль об отыскании дороги в Китай и Индию Ледовитым океаном. Уже страдая предсмертными припадками, он спешил написать инструкцию Камчатской экспедиции Беринга¹⁸, которая должна была расследовать, не соединяется ли Азия на северо-востоке с Америкой,— вопрос, на который давно уже и настойчиво обращал внимание Петра Лейбниц. Передавая документ Апраксину, он говорил: «Нездоровье заставило меня сидеть дома; на днях я вспомнил, о чем думал давно, но чему другие дела мешали,— о дороге в Китай и Индию. В последнюю поездку мою за границу ученые люди там говорили мне, что найти эту дорогу возможно. Но будем ли мы счастливее англичан и голландцев? Распорядись за меня, Федор Матвеевич, все исполнить по пунктам, как написано в этой инструкции».

Чтобы быть умелой посредницей между Азией и Европой, России, естественно, надлежало не только знать первую, но и обладать знаниями и искусствами последней. На беседах, разумеется, заходила речь и об отношении к Европе, к иноземцам, приходившим оттуда в Россию. Этот вопрос давно, чуть не весь XVII век, занимал русское общество. Петра с первых лет царствования по низвержении Софьи сильно осуждали за привязанность к иноземным обычаям и к самим иноземцам. В Москве и Немецкой слободе много было толков о почестях, с какими Петр в 1699 г. хоронил Гордона и Лефорта. Он ежедневно навещал больного Гордона, оказавшего ему большие услуги в азовских походах и во второй стрелецкий мятеж 1697 г., сам закрыл глаза покойнику и поцеловал его в лоб; при погребении, бросив землю на опущенный в могилу гроб, Петр сказал предстоящим: «Я даю ему только горсть земли, а он мне дал целое пространство с Азовом». Еще с большей горестью хоронил Петр Ле-

форта: сам шел за его гробом, обливался слезами, слушающая надгробную проповедь реформатского пастора, восхвалявшего заслуги покойного адмирала, и прощался с ним в последний раз с сокрушением, вызвавшим крайнее удивление присутствовавших иностранцев; а на похоронном обеде сделал целую сцену русским боярам. Они не особенно скорбели о смерти царского любимца, и некоторые из них, пользуясь минутной отлучкой царя, пока накрывали поминальный стол, спешили убраться из дома, но на крыльце наткнулись на возвращавшегося Петра. Он рассердился и, воротив их в зал, приветствовал речью, в которой говорил, что понимает их побег, что они боятся выдать себя, не надеясь выдержать за столом притворную печаль. «Какие ненавистники! Но я научу вас почитать достойных людей. Верность Франца Яковлевича пребудет в сердце моем, доколе я жив, и по смерти понесу ее с собою в могилу!» Но Гордон и Лефорт были исключительные иностранцы: Петр ценил их за преданность и заслуги, как потом ценил Остермана за таланты и знания. С Лефортом он был связан еще личной дружбой и преувеличивал достоинства «дебашана французского», как называл его кн. Б. Куракин; готов был даже признать его начинателем своей военной реформы. «Он начал, а мы довершили», — говаривал о нем Петр впоследствии (зато и пошел в народе слух, что Петр был сын «Лаферта да немки беззаконной», подкинутый царице Наталье). Но к иностранцам вообще Петр относился разборчиво и без увлечения. В первые годы деятельности, заводя новые дела военные и промышленные, он не мог обойтись без них как инструкторов, сведущих людей, каких не находил между своими, но при первой возможности старался заменять их русскими. Уже в манифесте 1705 г. он прямо признается, что дорого стоившими наемными офицерами «желаемого не возмogli достигнуть», и предписывает более строгие условия приема их на русскую службу. Паткуль¹⁹ сидел в крепости за растрату денег, назначенных на русское войско; а с наемным австрийским фельдмаршалом Огильви²⁰, человеком деловитым, но «дерзновенником и досадителем», как называл его Петр, он кончил тем, что приказал его арестовать и потом «с неприязнью» отослать обратно.

Столь же расчетливо было отношение Петра и к иноземным обычаям, как оно сказывалось в беседах. Раз при шутовом столкновении с князем-кесарем из-за длинного бешмета, в каком Ромодановский приехал в Преоб-

раженское, Петр сказал, обращаясь к присутствовавшим гвардейцам и знатым господам: «Длинное платье мешало проворству рук и ног стрельцов; они не могли ни работать хорошо ружьем, ни маршировать. Для того-то велел я Лефорту пообрезать сперва зипуны и зарукавья, а потом сделать новые мундиры по европейскому обычаю. Старая одежда больше похожа на татарскую, чем на сродную нам легкую славянскую; не годится являться на службу в спальном платье». Петру же приписывали и обращенные к боярам слова о брэдобритии, отвечающие обычному тону его речи и образу мыслей: «Наши старики по невежеству думают, что без бороды не войдут в царство небесное, хотя оно отверсто для всех честных людей, с бородами ли они или без бород, с париками или плешивые». Петр видел только дело приличия, удобства или суеверия в том, чему старорусское общество придавало значение религиозно-национального вопроса, и ополчался не столько против самых обычаев русской старины, сколько против суеверных представлений, с ними соединенных, и упрямства, с каким их отстаивали.

Это старорусское общество, так ожесточенно обвинявшее Петра в замене добрых старых обычаев дурными новыми, считало его беззаветным западником, который предпочитает все западноевропейское русскому не потому, что оно лучше русского, а потому, что оно не русское, а западноевропейское. Ему приписывали увлечения, столь мало сродные его рассудительному характеру. По случаю учреждения в Петербурге ассамблей, очередных увеселительных собраний в знатных домах, кто-то при государе стал расхваливать парижские обычаи и манеры светского обхождения. Петр, выдавший Париж, возразил: «Хорошо перенимать у французов науки и художества, и я бы хотел видеть это у себя; а в прочем Париж воняет». Он знал, что хорошо в Европе, но никогда не обольщался ею, и то хорошее, что удалось перенять оттуда, считал не ее благосклонным даром, а милостью провидения. В одной собственноручной программе празднования годовщины Ништадтского мира он предписывал возможно сильнее выразить мысль, что иностранцы всячески старались не допустить нас до света разума, да проглядели, точно в глазах у них помутилось, и он признавал это чудом божьим, содеянным для русского народа. «Сие странно развести надлежит,— гласила программа,— и чтоб сенсу (смыслу) было довольно». Предание донесло

отзвук одной беседы Петра с приближенными об отношении России к Западной Европе, когда он будто бы сказал: «Европа нужна нам еще несколько десятков лет, а потом мы можем повернуться к ней задом».

В чем сущность реформы, что она сделала и что ей предстоит еще сделать? Эти вопросы все более занимали Петра по мере того, как облегчалась тяжесть шведской войны. Военные опасности всего более ускоряли движение реформы. Поэтому главное ее дело было военное, «чем мы от тьмы к свету вышли и прежде незнанные в свете ныне почитаемы стали», — как писал Петр сыну в 1715 г. А что дальше? На одной беседе, живо рисующей отношения Петра к сотрудникам и сотрудников друг к другу, на этот вопрос пришлось отвечать кн. Я. Ф. Долгорукому, правдивейшему законоведу своего времени, нередко смело спорившему с Петром в Сенате. За эти споры Петр иногда досадовал на Долгорукого, но всегда уважал его. Раз, воротившись из Сената, он говорил про князя: «Кн. Яков в Сенате прямой мне помощник: он судит дельно и мне не потакает, без красноречия режет прямо правду, несмотря на лицо». В 1717 г. блеснула наконец надежда на скорое окончание тяжелой войны, чего Петр желал нетерпеливо: в Голландии открылись предварительные переговоры о мире с Швецией, и был назначен конгресс на Аландских островах. В этом году раз, сидя за столом, на пиру со многими знатными людьми, Петр разговорился о своем отце, о его делах в Польше, о затруднениях, какие наделал ему патриарх Никон. Мусин-Пушкин принялся выхвалять сына и унижать отца, говоря, что царь Алексей сам мало что делал, а больше Морозов с другими великими министрами; все дело в министрах: каковы министры у государя, таковы и его дела. Государя раздосадовали эти речи; он встал из-за стола и сказал Мусину-Пушкину: «В твоём порицании дел моего отца и в похвале моим больше брани на меня, чем я могу стерпеть». Потом, подошедши к князю Я. Ф. Долгорукому и став за его стулом, говорил ему: «Вот ты больше всех меня бранишь и так больно досаждаешь мне своими спорами, что я часто едва не теряю терпения; а как рассужу, то и увижу, что ты искренно меня и государство любишь и правду говоришь, за что я внутренне тебе благодарен. А теперь я спрошу тебя, как ты думаешь о делах отца моего и моих, и уверен, что ты нелицемерно скажешь мне правду». Долгорукий отвечал: «Изволь, государь, присесть, а я подумаю». Петр сел под-

ле него, а тот по привычке стал разглаживать свои длинные усы. Все на него смотрели и ждали, что он скажет. Помолчав немного, князь начал так: «На вопрос твой нельзя ответить коротко, потому что у тебя с отцом дела разные: в одном ты больше заслуживаешь хвалы и благодарности, в другом — твой отец. Три главные дела у царей: первое — внутренняя расправа и правосудие; это — ваше главное дело. Для этого у отца твоего было больше досуга, а у тебя еще и времени подумать о том не было, и потому в этом отец твой больше тебя сделал. Но когда ты займешься этим, может быть, и больше отцова сделаешь. Да и пора уж тебе о том подумать. Другое дело — военное. Этим делом отец твой много хвалы заслужил и великую пользу государству принес, устройством регулярных войск тебе путь показал; но после него неразумные люди все его начинания расстроили, так что ты почти все вновь начинал и в лучшее состояние привел. Однако хоть и много я о том думал, но еще не знаю, кому из вас в этом деле предпочтение отдать; конец твоей войны прямо нам это покажет. Третье дело — устройство флота, внешние союзы, отношения к иностранным государствам. В этом ты гораздо больше пользы государству принес и себе чести заслужил, нежели твой отец, с чем, надеюсь, и сам согласишься. А что говорят, якобы каковы министры у государей, таковы и дела их, так я думаю о том совсем напротив, что мудрые государи умеют и умных советников выбирать и верность их наблюдать. Потому у мудрого государя не может быть глупых министров, ибо он может о достоинстве каждого рассудить и правые советы отличить». Петр выслушал все терпеливо и, расцеловав Долгорукого, сказал: *«Благий рабе верный, в мале был еси мне верен, над многими тя поставлю»*. «Меншикову и другим сие весьма было прискорбно, — так заканчивает свой рассказ Татишев, — и они всеми мерами усиливались озлобить его государю, но ничего не успели».

Скоро представился и удобный к тому случай. В 1718 г. следственное дело о царевиче вскрыло предосудительные сношения с ним одного из князей Долгоруких и дерзкие слова его о царе. Беда потерять доброе имя грозила фамилии. Но энергическое оправдательное письмо старшего в роде князя Якова к Петру, уваженное царем, помогло провинившемуся избавиться от розыска, а фамилии от бесчестья носить звание «злодейского рода».

Петра занимало не соперничество с отцом, не сче- ты с прошедшим, а результаты настоящего, оценка своей дея-

тельности. Он одобрил все, сказанное на пиру князем Яковом, согласился, что на ближайшей очереди реформы стало устройство внутренней расправы, обеспечение правосудия. Отдавая предпочтение в этом деле отцу, князь Долгорукий имел в виду его законодательство, особенно Уложение. Как практический законовед, он лучше многих понимал и значение этого памятника для своего времени, и его устарелость во многом для настоящего. Но и Петр не хуже Долгорукого сознавал это и сам возбудил вопрос об этом задолго до беседы 1717 г., еще в 1700 г. приказав пересмотреть и пополнить Уложение новоизданными узаконениями, а потом в 1718 г., вскоре после описанной беседы, предписал свести русское Уложение со шведским. Но ему не удалось это дело, как не удавалось оно и после него целое столетие. Князь Долгорукий не договаривал, говорил не все, что, по мысли Петра, было нужно. Законодательство — только часть предстоявшего дела. Пересмотр Уложения заставил обратиться к шведскому законодательству в надежде найти там готовые нормы, выработанные наукой и опытом европейского народа. Так было и во всем: для удовлетворения домашних нужд спешили воспользоваться произведениями знания и опыта европейских народов, готовыми плодами чужой работы. Но не все же брать готовые плоды чужого знания и опыта, теории и техники, того, что Петр называл «науками и искусствами». Это значило бы вечно жить чужим умом, «подобно молодой птице в рот смотреть», по выражению Петра. Необходимо пересадить самые корни на свою почву, чтобы они дома производили свои плоды, овладеть источниками и средствами духовной и материальной силы европейских народов. Это была всегдашняя мысль Петра, основная и плодотворнейшая мысль его реформы. Она нигде и никогда не выходила у него из головы, Осматривая «вонючий» Париж, он думал, о том, как бы видеть у себя такой же расцвет наук и искусств; рассматривая проект своей Академии наук, он при Блументросте, Брюсе и Остермане говорил Нартову, составлявшему проект Академии художеств: «Надлежит притом быть департаменту художеств, а паче механическому; желание мое насадить в столице сей рукомеслие, науки и художества вообще».

Война мешала решительному приступу к исполнению этой мысли. Да и самая эта война была предпринята с целью открыть прямые и свободные пути к тем же источ-

никам и средствам. Мысль эта росла в уме Петра по мере того, как перед его глазами начинал светиться желанный конец войны. Передавая Апраксину в начале января 1725 г. инструкцию Камчатской экспедиции, написанную уже слабеющей рукой, он признался, что это его давняя мысль, что, «ограждая отечество безопасностью от неприятеля, надлежит стараться находить славу государству чрез искусство и науки». Беспокойно заботясь о будущем, нередко говоря о своих недугах и возможности скорой смерти, Петр едва ли надеялся прожить две жизни, чтобы по окончании войны исполнить и это второе свое великое дело. Но он верил, что оно будет сделано, если не им, то его преемниками, и эту веру высказал как в словах — если только они были сказаны — о нескольких десятках лет русской нужды в Западной Европе, так и по другому случаю. В 1724 г. лейб-медик Блументрост просил отпавлявшегося по поручению Петра в Швецию Татищева подыскивать там ученых для Академии наук, открытие которой он подготовлял как будущий ее президент. «Напрасно ищите семян,— возразил Татищев,— когда самой почвы для посева еще не приготовлено». Вслушавшись в этот разговор, Петр, по мысли которого учреждалась Академия, отвечал Татищеву такую притчей. Некий дворянин хотел у себя в деревне мельницу построить, а воды у него не было. Тогда, видя обильные водой озера и болота у соседей, он начал с их согласия канал в свою деревню копать и материал для мельницы заготавливать, и хотя при жизни не успел этого к концу привести, но дети, жалея отцовых издержек, поневоле продолжали и доканчивали дело отца. Эта крепкая вера поддерживалась в Петре и со стороны таким славным ученым, как Лейбниц, давно предлагавшим ему и учреждение высшей ученой коллегии в С.-Петербурге с многосложными научными и практическими задачами, и исследование границ между Азией и Америкой, и широкие планы водворения наук и художеств в России с раскинутой по всей стране сетью академий, университетов, гимназий и, главное, с надеждой на полный успех этого дела. На взгляд Лейбница, это не беда, что здесь не доставало ни научных преданий и навыков, ни учебных пособий и вспомогательных учреждений, что Россия в этом отношении белый лист бумаги, по выражению философа, или непочатое поле, где надо все заводить вновь. Это даже лучше, потому что, заводя все вновь, можно избегнуть недостатков и ошибок, каких на-

делала Европа, потому что при возведении нового здания скорее можно достигнуть совершенства, чем при исправлении и перестройке старого.

V

Трудно сказать, кем была внушена или как возникла в уме Петра мысль о круговороте наук, тесно связанная с его просветительными помыслами. Мысль эта высказана в приписке к черновому письму, которое Лейбниц писал Петру в 1712 г.; но в письме, посланном к царю, эта приписка опущена. «Провидение,— писал философ в этой приписке,— по-видимому, хочет, чтобы наука обошла кругом весь земной шар и теперь перешла в Скифию, и потому избрало ваше величество орудием, так как Вы можете и из Европы и из Азии взять лучшее и усовершенствовать то, что сделано в обеих частях света». Может быть, эту мысль Лейбниц высказывал Петру в личной беседе с ним. Нечто похожее на ту же мысль как бы вскользь высказано и в одном сочинении славянского патриота Юрия Крижанича: после многих народов древнего и нового мира, поработавших на поприще наук, очередь дошла наконец и до славян. Но это сочинение, писанное в Сибири при царе Алексее, едва ли было известно Петру.

Как бы то ни было, в одной превосходной беседе с сотрудниками Петр изложил ту же мысль по-своему, кстати воспользовавшись ею, чтобы дать почувствовать некоторым из собеседников, что ему слышен идущий вокруг него шепот не о пользе, даже не о бесполезности наук, а о прямом вреде их. В 1714 г., празднуя спуск военного корабля в Петербурге, царь был в самом веселом расположении духа и за столом на палубе среди приглашенного на пир высшего общества много говорил об успешном ходе русского кораблестроения. Между прочим, он обратился с целой речью прямо к сидевшим около него старым боярам, которые видели мало проку в опытности и знаниях, приобретенных русскими министрами и генералами, искренне преданными реформе. Надобно иметь в виду, что речь изложена бывшим на торжестве немцем, брауншвейгским резидентом Вебером ²¹, который всего месяца два как приехал в Петербург и едва ли был в состоянии уловить и точно передать ее оттенки, хотя и называет ее самой глубокомысленной и остроумной из всех речей, им слышанных от царя. Читая его изложение, легко заметить, что некоторым мыслям царя он дал свою окраску и свое толкование.

«Кому из вас, братцы мои, хоть бы во сне снилось лет 30 тому назад,— так начал царь,— что мы с вами здесь, у Остзейского моря, будем плотничать и в одежде немцев, в завоеванной у них же нашими трудами и мужеством стране построим город, в котором вы живете, что мы доживем до того, что увидим таких храбрых и победоносных солдат и матросов русской крови, таких сынов, побывавших в чужих странах и возвратившихся домой столь смысленными, что увидим у себя такое множество иноземных художников и ремесленников, доживем до того, что меня и вас станут так уважать чужестранные государи? Историки полагают колыбель всех знаний в Греции, откуда по превратности времен они были изгнаны, перешли в Италию, а потом распространились было и по всем австрийским землям, но невежеством наших предков были приостановлены и не проникли далее Польши; а поляки, равно как и все немцы, пребывали в таком же непроходимом мраке невежества, в каком мы пребываем доселе, и только непомерными трудами правителей своих открыли глаза и усвоили себе прежние греческие искусства, науки и образ жизни. Теперь очередь приходит до нас, если только вы поддержите меня в моих важных предприятиях, будете слушаться без всяких отговорок и привыкнете свободно распознавать и изучать добро и зло. Это передвижение наук я приравниваю к обращению крови в человеческом теле, и сдается мне, что со временем они оставят теперешнее свое местопребывание в Англии, Франции и Германии, продолжатся несколько веков у нас и затем снова возвратятся в истинное отечество свое — в Грецию. Покамест советую вам помнить латинскую поговорку: «Ora et labora (молись и трудись) и твердо надеяться, что, может быть, еще на нашем веку вы пристыдите другие образованные страны и вознесете на высшую степень славу русского имени».

— Да, да, правда! — отвечали царю старые бояре, в глубоком молчании слушавшие его слова, и, заявив ему, что они готовы и будут делать все, что он им повелит, снова обеими руками ухватились за любезные им стаканы, предоставляя царю рассудить в глубине его собственных помышлений, насколько успел он убедить их и насколько мог надеяться достигнуть конечной цели своих великих предприятий.

Рассказчик придал этой беседе иронический эпилог. Петр огорчился бы, даже, пожалуй, сказал бы боярам

другую, менее возвышенную и ласковую речь, если бы заметил, что они отнесли к его словам так безучастно, себя на уме, как это представил иноземец. Ему известно было, как судили об его реформе в России и за границей, и эти суждения болезненно отзывались в его душе. Он знал, что там и здесь очень многие видели в его реформе насильственное дело, которое он мог вести, только пользуясь своей неограниченной и жестокой властью и привычкой народа слепо ей повиноваться. Стало быть, он не европейский государь, а азиатский деспот, повелевающий рабами, а не гражданами. Такой взгляд оскорбляет его, как незаслуженная обида. Он столько сделал, чтобы придать своей власти характер долга, а не произвола; думал, что на его деятельность иначе и нельзя смотреть, как на служение общему благу народа, а не как на тиранию. Он так старательно устранял все унижительное для человеческого достоинства в отношениях подданного к государю, еще в самом начале столетия запретил писаться уменьшительными именами, падать перед царем на колени, зимою снимать шапки перед дворцом, рассуждая так об этом: «К чему унижать звание, безобразить достоинство человеческое? Менее низости, больше усердия к службе и верности ко мне и государству — таков почет, подобающий царю». Он устроил столько госпиталей, богаделен и училищ, «народ свой во многих воинских и гражданских науках обучил», в *Воинских статьях* запретил бить солдата, писал наставление всем принадлежащим к русскому войску, «каковой ни есть веры или народа они суть, между собою христианскую любовь иметь», внушал «с противниками церкви с кротостью и разумом поступать по Апостолу, а не так, как ныне, жестокими словами и отчуждением», говорил, что господь дал царям власть над народами, но над совестью людей властен один Христос, — и он первый на Руси стал это писать и говорить, — а его считали жестоким тираном, азиатским деспотом. Об этом не раз заводил он речь с приближенными и говорил с жаром, с порывистой откровенностью: «Знаю, что меня считают тираном. Иностранцы говорят, что я повелеваю рабами. Это неправда: не знают всех обстоятельств. Я повелеваю подданными, повинующимися моим указам; эти указы содержат в себе пользу, а не вред государству. Надобно знать, как управлять народом. Английская вольность здесь не у места, как к стене горох. Честный и разумный человек, усмотревший что-либо вредное или приду-

мавший что полезное, может говорить мне прямо без боязни. Вы сами тому свидетели. Полезное я рад слушать и от последнего подданного. Доступ ко мне свободен, лишь бы не отнимали у меня времени бездельем. Недоброхоты мои и отечеству, конечно, мной недовольны. Невежество и упрямство всегда ополчались на меня с той поры, как задумал я ввести полезные перемены и исправить грубые нравы. Вот кто настоящие тираны, а не я. Я не усугубляю рабства, обуздывая озорство упрямых, смягчая дубовые сердца, не жестокосердствую, переодевая подданных в новое платье, заводя порядок в войске и в гражданстве и приучая к людскости, не тиранствую, когда правосудие осуждает злодея на смерть. Пускай злость клеветет: совесть моя чиста. Бог мне судья! Неправые толки в свете разносит ветер».

VI

Защищая царя от обвинения в жесткости, любимый токарь его Нартов пишет: «Ах, если бы многие знали то, что известно нам, дивились бы снисхождению его. Если бы когда-нибудь случилось философу разбирать архиву тайных дел его, вострепетал бы он от ужаса, что содельвалось против сего монарха». Эта «архива» уже разбирается и все яснее обнаруживает, по какой раскаленной почве шел Петр, ведя реформу со своими сотрудниками. Все вокруг него роптали на него, и этот ропот, начинаясь во дворце, в семье царя, широко расходился оттуда по всей Руси, по всем классам общества, проникая в глубь народной массы. Сын жаловался, что отец окружен злыми людьми, сам очень жесток, не жалеет человеческой крови, желал смерти отцу, и духовник прощал ему это грешное желание. Сестра, царевна Марья²², плакалась на бесконечную войну, на великие подати, на разорение народное, и «ее милостивое сердце снедала печаль от вздыханий народных». Ростовский архиерей Досифей, лишенный сана по делу о бывшей царице Евдокии, говорил на соборе архиереям: «Посмотрите, что у всех на сердцах, извольте пустить уши в народ, что в народе говорят». А в народе говорили про царя, что он враг народа, оморок мирской, подкидыш, антихрист, и бог знает, чего не говорили про него. Роптавшие жили надеждой, авось либо царь скоро умрет, либо народ поднимется на него; сам царевич признался, что готов был пристать к заговору против отца. Петр слышал этот ро-

пот, знал толки и козни, против него направленные, и говорил: «Страдаю, а все за отечество; желаю ему полезного, но враги пакости мне делают демонские». Он знал также, что было и на что роптать: народные тягости все увеличивались, десятки тысяч рабочих гибли от голода и болезней на работах в Петербурге, Кроншлоте, на Ладожском канале, войска терпели великую нужду, все дорожало, торговля падала. По целым неделям Петр ходил мрачный, открывая все новые злоупотребления и неудачи. Он понимал, что донельзя, до боли напрягает народные силы, но раздумье не замедляло дела; никого не щадя, всего менее себя, он все шел к своей цели, видя в ней народное благо: так хирург, скрепя сердце, подвергает мучительной операции своего пациента, чтобы спасти его жизнь. Зато по окончании шведской войны первое, о чем заговорил Петр с сенаторами, просившими его принять титул императора, это — «стараться о пользе общей, от чего народ получит облегчение». Узнавая людей и вещи, как они есть, привыкнув к дробной, детальной работе над крупными делами, за всем следя сам и всех уча собственным примером, он выработал в себе вместе с быстрым глазомером тонкое чутье естественной, действительной связи вещей и отношений, живое, практическое понимание того, как делаются дела на свете, какими силами и с какими усилиями поворачивается тяжелое колесо истории, то поднимая, то опуская судьбы человеческие. Оттого неудача не приводила его в уныние, а удача не внушала самонадеянности. Это, когда нужно, ободряло, а порой отрезвляло и сотрудников. Рассказывали, что после поражения под Нарвой он говорил: «Знаю, что шведы еще будут бить нас; пусть бьют; но они выучат и нас бить их самих; когда же ученье обходится без потерь и огорчений?» Он не обольщался ни успехами, ни надеждами. В последние годы жизни, лечась олонецкими целебными водами, он говорил своему лейб-медику: «Врачую тело свое водами, а подданных примерами; в том и другом исцеление вижу медленное; все решит время». Он ясно видел все трудности своего положения, в котором из 13 правителей 12 опустили бы руки, и в самую тяжелую пору своей жизни, во время следствия над царевичем, описывал судьбу Толстому с сострадательной изобразительностью стороннего наблюдателя: «Едва ли кто из государей сносил столько бед и напастей, как я. От сестры (Софьи) был гоним до зела: она была хитра и зла. Монахине (первой жене) несносен:

она глупа. Сын меня ненавидит: он упрям». Но Петр поступал в политике, как на море. Вся его бурная деятельность, как в миниатюре, изобразилась в одном эпизоде из его морской службы. В июле 1714 г., за несколько дней до победы при Гангуте, крейсируя с своей эскадрой между Гельсингфорсом и Аландскими островами, он был в темную ночь застигнут страшною бурей. Все пришли в отчаяние, не зная, где берег. Петр с несколькими матросами бросился в шлюпку, не слушая офицеров, которые на коленях умоляли его не подвергать себя такой опасности, сам взялся за руль, в борьбе с волнами, встряхнул опускавших руки гребцов грозным окриком: «Чего боитесь? Царя везете! С нами бог!», благополучно достиг берега, развел огонь, чтобы показать путь эскадре, согрел сбитнем полумертвых гребцов, а сам, весь мокрый, лег и, покрывшись парусиной, заснул у костра под деревом.

Неослабное чувство долга, мысль, что этот долг — неуклонно служить общему благу государства и народа, беззаветное мужество, с каким подобает проходить это служение, — таковы основные правила той школы, проводившей своих учеников сквозь огонь и воду, о которой говорил Неплюев Екатерине II. Эта школа способна была воспитывать не один страх грозной власти, но и обаяние нравственного величия. Рассказы современников дают только смутно почувствовать, как это делалось; а делалось, кажется, довольно просто, как бы само собой, действием неуловимых впечатлений. Неплюев рассказывает, как он с товарищами в 1720 г. по окончании заграничной выучки держал экзамен перед самим царем, в полном собрании адмиралтейской коллегии. Неплюев ждал представления царю, как страшного суда. Когда дошла до него очередь на экзамене, Петр сам подошел к нему и спросил: «Всему ли ты научился, для чего был послан?» Тот отвечал, что старался по всей своей возможности, но не может похвалиться, что всему научился, и, говоря это, стал на колени. «Трудиться надобно», — сказал на это царь и, оборотив к нему ладонью правую руку, прибавил: «Видишь, братец, я и царь, да у меня на руках мозоли, а все для того — показать вам пример и хотя бы под старость видеть себе достойных помощников и слуг отечеству. Встань, братец, и дай ответ, о чем тебя спросят, только не робей; что знаешь, сказывай, а чего не знаешь, так и скажи». Царь остался доволен ответами Неплюева и потом, ближе узнав его на корабельных постройках, от-

зывался о нем: «В этом малом путь будет». Петр заметил дипломатические способности в 27-летнем поручике галерного флота и в следующем же году прямо назначил его на трудный пост резидента в Константинополе. При отпуске в Турцию Петр поднял упавшего ему в ноги со слезами Неплюева и сказал: «Не кланяйся, братец! Я вам от бога приставник, и должность моя смотреть, чтобы недостойному не дать, а у достойного не отнять. Будешь хорошо служить, не мне, а более себе и отечеству добро сделаешь, а буде худо, так я истец, ибо бог того от меня за всех вас востребует, чтоб злomu и глупому не дать места вред делать. Служи верой и правдой; вначале бог, а по нем и я должен буду не оставить. Прости, братец! — прибавил царь, поцеловав Неплюева в лоб. — Приведет ли бог свидеться?» Они уже не свиделись. Этот умный и неподкупный, но суровый и даже жесткий служака, получив в Константинополе весть о смерти Петра, отметил в своих записках: «Ей-ей, не лгу, был более суток в беспамятстве; да иначе мне и грешно бы было: сей монарх отечество наше привел в сравнение с прочими, научил нас узнавать, что и мы люди». После, пережив шесть царствований и дожив до седьмого, он, по отзыву его друга Голикова²³, не переставал хранить беспредельное почитание к памяти Петра Великого и имя его не иначе произносил, как священное, и почти всегда со слезами.

Впечатление, какое производил Петр на окружающих своим обращением, своими ежедневными суждениями о текущих делах, взглядом на свою власть и на свое отношение к подданным, замыслами и заботами о будущем своего народа, самыми затруднениями и опасностями, с которыми ему приходилось бороться, — всей своею деятельностью и всем своим образом мыслей, трудно передать выразительнее того, как передал его Нартон. «Мы, бывшие сего великого государя слуги, воздыхаем и проливаем слезы, слыша иногда упреки жестокосердию его, которого в нем не было. Когда бы многие знали, что претерпевал, что сносил и какими уязвляем был горестями, то ужаснулись бы, колико снисходил он слабостям человеческим и прощал преступления, не заслуживающие милосердия; и хотя нет более Петра Великого с нами, однако дух его в душах наших живет, и мы, имевшие счастье находиться при сем монархе, умрем верными ему и горячую любовь нашу к земному богу погребем вместе с собою. Мы без страха возглашаем об отце нашем для того, что благородному бесстрашию и правде учились от него».

Нартов, подобно Неплюеву, как близкий человек, стоял под непосредственным влиянием Петра. Но деятельность преобразователя так захватывала общее внимание, ее побуждения были так открыты и так нравственно убедительны, что ее впечатление из тесного круга приближенных пробивалось в глубь общества, заставляло даже простые и грешные, но непредубежденные души понимать и чувствовать, чему она учила, и бояться царя, по удачному выражению Феофана Прокоповича, не только за гнев его, но и за совесть. Петру едва ли приходилось слышать о себе суждения, подобные высказанному Нартовым: он не любил этого. Но его должно было глубоко утешить предсмертное письмо некоего Ивана Кокошкина, полученное им в 1714 г. и сохранившееся в его бумагах. Лежа на смертном одре, этот Кокошкин страшится предстать пред лицом Божиим, не принеся чистого покаяния пресветлому монарху, покуда еще грешная душа с телом не разлучилась, и не получив прощения в своих грехах по службе: состоял он при рекрутских наборах в Твери и от тех рекрутских наборов брал себе взятки, кто что приносил; да он же Иван Кокошкин ему, государю, виновен; оговоренного в воровстве человека отдал в рекруты за своих крестьян. Великая награда государю стать заочно предсмертным судьей совести своего подданного. Петр Великий полностью заслужил эту награду.



РУССКОЕ ГОСУДАРСТВО ОКОЛО ПОЛОВИНЫ XVIII в. ...— ИМПЕРАТРИЦА ЕЛИЗАВЕТА.— ИМПЕРАТОР ПЕТР III

Русское государство в половине XVIII в.

Шесть царствований на протяжении 37 лет достаточно выяснили судьбу преобразовательного дела Петра по смерти преобразователя. Он едва ли узнал бы свое дело в этом посмертном его продолжении. Он действовал деспотически; но, олицетворяя в себе государство, отождествляя свою волю с народной, он яснее всех своих предшественников сознавал, что народное благо — истинная и единственная цель государства. После Петра государственные связи, юридические и нравственные, одна за другой порываются, и среди этого разрыва меркнет идея государства, оставляя по себе пустое слово в правительственных актах. Самодержавнейшая в мире империя, очутившаяся без установленной династии, лишь с кое-какими безместными остатками вымирающего царского дома; наследственный престол без законного престолонаследия; государство, замкнувшееся во дворце со случайными и быстро менявшимися хозяевами; сбродный по составу, родовитый или высокочинный правящий класс, но сам совершенно бесправный и ежеминутно тасуемый; придворная интрига, гвардейское выступление и полицейский сыск — все содержание политической жизни страны; общий страх произвола, подавлявший всякое чувство права: таковы явления, бросавшиеся в глаза иностранным дипломатам при русском дворе, которые писали, что здесь все меняется каждую минуту, всякий пугается собственной тени при малейшем слове о правительстве, никто ни в чем не уверен и не знает, какому святому молиться. Мыслящие люди, каких было крайне мало в тогдашнем правящем кругу, понимали опасное положение госу-

дарства, которое держится не правом, а попутным фактом и механическим сцеплением до первого удара изнутри или извне. Чувствовалась потребность в прочных законных основах порядка и в сближении правительства с управляемым обществом. И. И. Шувалов подавал императрице Елизавете проект «о фундаментальных законах»; граф П. И. Шувалов представлял Сенату о пользе для государства «свободного познания мнения общества»¹; но такие проекты находили себе вечный покой в архиве Сената. Не только такое трудное учредительное дело, как создание основных законов, но и простое упорядочение изданных уставов и указов, с которым кое-как сладили при царе Алексее, стало не под силу правительству в следующем веке, когда оно могло пользоваться средствами западноевропейской науки. С 1700 г. бессильно бились над новым Уложением, назначали для этого комиссии междуведомственные и просто ведомственные, из одних чиновников или с сословными представителями; по предложению Остермана даже одному немцу поручали всю кодификацию русских законов². Раз, 11 марта 1754 г., на торжественном заседании Сената с участием членов коллегий и канцелярий в присутствии императрицы рассуждали о страшной неурядице в судопроизводстве. Всегда находчивый граф П. И. Шувалов изъяснил, что помочь горю можно только сводом законов, а составить такой свод не из чего, потому что хотя и много указов, да нет самих законов, которые бы всем ясны и понятны были. Пожалев о своих верноподданных, которые не могут добиться правосудия, императрица Елизавета высказала, что первое всего надобно сочинить ясные законы, потом рассуждала, что нравы и обычаи изменяются с течением времени, почему необходима перемена и в законах, а в заключение заметила, что нет человека, который подробно знал бы все указы, «разве бы имел ангельские способности». Сказав это, Елизавета встала и ушла, а Сенат постановил приступить к сочинению ясных и понятных законов, которые и сочинял 80 лет, но не сочинил. Впрочем, тогда же была образована для этого дела при Сенате комиссия, в состав которой вошел один «десьянс-академии профессор». В год с чем-нибудь комиссия сработала две части свода, но обнаружила в своей работе так мало юридического смысла и подготовки, что ее труд не решились пустить в ход. Робкое бессилие перед порядком при безграничной власти над лицами, чем отличались у нас все правительства этой эпохи,— это обычная

особенность государства восточноазиатской конструкции, хотя бы с европейски украшенным фасадом. Та же особенность сказалась и в другом деле, довершение которого Петр оставил своим преемникам, — в определении сословных отношений. Здесь он не был чужд уравнительных стремлений именно на почве государственных повинностей. Он распространил некоторые специальные классовые повинности на несколько классов, какою была, например, податная, положенная им на все виды холопства, а воинская повинность стала даже всесословной. Это обобщение повинностей со временем должно было лечь в основу и правового уравнивания общественных классов. Приступить к этому уравниванию предстояло снизу, законодательной установкой крестьянских повинностей, особенно платежей и работ крепостных крестьян на господ. Вопрос этот уже при Петре бродил среди народа, как видно из сочинения Посошкова³, обсуждался в Верховном тайном совете при Екатерине I, в Кабинете министров при Анне⁴, нашел неутомимого ходатая крестьянских нужд в обер-прокуроре Сената Маслове, поволновал умы сановников и погас, как гасли после Петра все вопросы о коренных общественных реформах: «Большая часть, — писал Ягужинский Екатерине I, — токмо в разговорах о той и другой нужде с сожалением и тужением бывает, а прямо никто не положит своего ревнительного труда». При бессилии правительства дело пошло стихийным ходом, направляемым господствующей силой. Абсолютная власть без оправдывающих ее личных качеств носителя обыкновенно становится слугой или своего окружения, или общественного класса, которого она боится и в котором ищет себе опоры. Обстоятельства сделали у нас такой силой дворянство с гвардией во главе. Получив вольность, дворянская масса усаживалась по своим сельским гнездам с правом или возможностью бесконтрольно распорядиться личностью и трудом крепостного населения. Это усадебное сближение дворянства с крестьянством внесло самую едкую струю в процесс того нравственного отчуждения, которое, начавшись еще в XVII в. на юридической почве и постепенно расширяясь, легло между господами и простым народом, разъедая энергию нашей общественной жизни, дошло до нас и переживает всех теперь живущих. Вместе с тем общественный состав потерял равновесие своих составных элементов. По второй ревизии (1742—1747 гг.) насчитано было в 12 тогдашних губерниях России с Сибирью около 6660 тысяч податных

душ. Секретарь прусского посольства при русском дворе Фоккеродт⁵ в своем описании России, составленном лет 13 спустя после смерти Петра I, сообщает цифровые данные о неподатных классах русского общества, относящиеся к концу царствования Анны и полученные, по-видимому, из официальных источников. По его показанию, в коренных областях империи без провинций новоприсоединенных считалось потомственного дворянства около полу-миллиона лиц обоего пола, приказных людей, личных дворян до 200 тысяч, духовенства белого и черного с семействами первого до 300 тысяч. Эти показания, конечно, имеют цену только приблизительных, далеко не точных данных. Сопоставив эти цифры неподатных классов с итогом положенного в подушный оклад населения во второй ревизии, найдем, что на 100 податных плательщиков, городских и сельских, прямо или косвенно падало содержание 15 человек неподатных обоего пола. Тяжесть этого привилегированного бремени, лежавшего на податных плечах, станет для нас еще ощутительнее, если мы сравним его с количественным соотношением тех же классов 127 лет спустя в 43 губерниях Европейской России с преобладающим русским населением (без губерний остзейских, привислинских и литовских, без Финляндии и Бессарабской области). На сто лиц мужского пола податных состояний приходилось неподатных обоего пола:

	1740-е годы	1867 г.
Дворян потомственных	7,5	1,5
Дворян личных и служащих	3,0	1,0
Духовенства	4,5	2,3

Коренную Россию XIX в. нельзя причислить к странам, скудно наделенным привилегированными классами: духовенства, например, в православных русских губерниях в 1867 г. было вшестеро больше, чем в католических привислинских, и почти вшестеро больше, чем в протестантских остзейских. Однако естественный рост народной жизни, противодействуя насильственной социальной работе государства, снял с податного труда две трети кормившейся им привилегированной массы. Можно понять и даже почувствовать, почему так мало накопилось культурных сбережений у рабочего народа, так долго и непосильно работавшего на избранные классы. Это отягощение по вине закона 18 февраля 1762 г. еще увеличилось для крепостных несправедливостью, неравномерным распределением тягостей. Прежде крепостные вме-

сте с другими податными классами оплачивали войско, приказных и духовенство под предлогом внешней безопасности, внутреннего порядка и душевного пастырства. Сверх того, крепостные доплачивали еще особо своим помещикам за их обязательную службу, а таких помещиков с семействами приходилось не менее 14 человек на 100 их крепостных мужского пола (500 тысяч дворян обоого пола на 3449 тысяч помещичьих крепостных душ во второй ревизии без С.-Петербургской губернии). Но под каким предлогом и по отмене обязательной службы дворян их крепостные продолжали кормить их своим обязательным трудом, в то же время разделяя с остальными податными оплату содержания пенсионеров трех других неподатных классов? Переобременение помещичьих крепостных сказалось двумя признаками. Податное население в промежуток двух первых ревизий возросло более чем на 18%; но этот прирост крайне неравномерно распределялся между податными классами. В то время как городское население увеличилось более чем на 24%, а казенное крестьянство даже не менее чем на 46%, рост крепостного населения выразился приблизительно лишь в 12%; главной причиной этого могли быть только усиленные побегии от тягостей крепостного состояния. Другим признаком было усиление крестьянских бунтов. Народная масса очень чутка к общественной несправедливости, жертвой которой она становится. Мелкие вспышки среди крепостных, не разгоравшиеся при общем сравнительном довольстве в царствование Елизаветы, после нее, тотчас по издании манифеста 18 февраля, разрослись в такие размеры, что Екатерине II по вступлении на престол пришлось усмирять до 100 тысяч помещичьих крестьян и до 50 тысяч заводских.

Судьба реформ Петра Великого

Петр внес в свою преобразовательную деятельность не одну личную энергию, но и ряд идей, каковы понятие о государстве и взгляд на науку как государственное средство, и ряд задач, частью унаследованных, частью им впервые поставленных. Эти идеи и задачи сами собой складывались в довольно широкую программу. Петр хотел сделать свой народ богатым и сведущим, а для того помощью знания поднять его труд до уровня государственных нужд, даже по возможности до западноевропейского уровня, приобретением балтийского берега открыть

произведениям этого труда прямой и свободный путь на западные рынки, а влиятельным международным положением обеспечить своей стране общение с Западом и непрерывный приток оттуда технических и культурных средств. Он хорошо сознавал, что не выполнил этой программы, сделал более сильным и богатым государство, но не обогатил и не просветил народа, и, при праздновании заключения мира со Швецией в 1721 г., высказал Сенату, что дальнейшее дело — о мерах, от которых народ получил бы облегчение. Исполнена была реформа военно-финансовая; в своем продолжении она должна была стать социально-экономической, направленной к усилению производительных сил страны с помощью общественной самодеятельности. Он даже начал готовить такое продолжение: возложив дела политические, военные и финансовые на бюрократическое центральное управление, составленное из знатоков-специалистов различного и даже разноплеменного происхождения, он пытался перенести заботы по народному хозяйству и благоустройству в местное управление, придав ему общественный характер, призвав к самодеятельности два сословия: дворянство и высшее купечество. Но дело не пошло: промышленность после Петра не сделала заметных успехов, внешняя торговля как была, так и осталась пассивной в руках иностранцев; внутренняя падала, подрываемая нелепым способом взыскания недоимок посредством описи купеческих дворов и пожитков; многие бросали торговлю, рассчитывая тем оправдать свою недоимку. Город и по второй ревизии замер на своих 3% в составе всего податного населения. И управление перестраивалось вовсе не в духе двойной задачи, поставленной ему Петром. Оно получило вооруженное подкрепление: войско, стоявшее на страже внешней безопасности, стали теперь повертывать фронтом внутрь страны, гвардию для поддержания правительств, смотревших на свою власть как на захват, армию для сбора податей, для борьбы с разбоями, крестьянскими побегами и волнениями. Центральное управление не стало ни аристократическим по социальному составу, ни бюрократическим по деловой подготовке: его вели люди из знатного шляхетства вперемежку с выслужившимися разночинцами; но и те и другие, за редкими исключениями, были импровизированные администраторы, по тогдашним о них отзывам, столько же понимавшие свое дело, как и кузнечное. Сам Сенат не раз получал высочайшие выговоры за неуме-

лость и небрежность; высший руководитель управления, он так поставил подчиненные ему места, что никак не мог добиться от них подробной общей росписи доходов и расходов, остатков и недоимок за 27 лет (1730—1756 гг.). Перестроилось и областное управление. Городовые магистраты, подчиненные губернаторам и воеводам при Екатерине I, Елизавета восстановила в прежнем значении; но советы дворянских ландратов при губернаторах исчезли еще при Петре I, уступив место «комиссарам от земли», которых выбирало дворянство по уездам. После Петра I участие дворянства в местном управлении еще более локализовалось, рассыпалось по помещичьим усадьбам, которые стали центрами крепостных судебно-полицейских участков. Так дворянские губернские, а потом уездные общества, не укрепившись, разбились на усадебные гнезда. В то время как знатное и высокочинное шляхетство господствовало наверху, в центре низшее и среднее залегало в провинции, на крепостном дне. Впрочем, была мысль снова сомкнуть этих усадебных сельских начальников в сословные общества, расширив власть их за пределы крепостного села: в 1761 г. Сенат предоставил помещикам выбрать из своей среды в города воевод, которые бы имели деревни вблизи тех городов. Так выборный представитель дворянства становился на место коронного чиновника, правившего с выборной дворянской коллегией. Около того же времени кодификационная комиссия, составлявшая новое Уложение, проектировала какие-то «земские по провинциям съезды» дворянства, только не успела составить о них положения. Между тем в правительственном кругу уже ходил план общей постановки дворянства в управлении, имевший целью устранить недостаток подготовленных администраторов и судей. Граф П. И. Шувалов лучше многих сознавал вред от «неспособных правителей», как отзывался он об этих должностных импровизаторах, ворочавших делами в тогдашних правительственных местах. В обширной записке 1754 г. о сохранении народа он изъясняет Сенату, как устроить «приготовление людей к управлению губерниями, провинциями и городами, а через то приготовление людей к *главному* правительству». Областное управление должно стать «училищем для юношей, упражняющихся в российской юриспруденции». Потому при губернских учреждениях надобно завести «юнкеров» из дворянства, которые, начиная изучение дел с самых нижних чинов, постепенно,

по мере успехов восходили бы в секретари, воеводы, в губернские советники до самих губернаторов, а потом и до высших степеней центрального управления. План Шувалова представляется только разработкой мысли Петра I, который тоже заводил при коллегиях юнкеров из дворянских недорослей для подготовки к делам и предписывал производить секретарей только из дворян. Это был у него готовый подручный административный материал; но он не думал монополизировать гражданскую службу за дворянством, напротив,— хотел пополнять само дворянство выслужившимися разночинцами. Дворянский мандаринат Шувалова восстанавливал старый московский сословно-бюрократический тип управления, создавал из дворянства неистощимый рассадник чиновничества и прибавлял новое должностное кормление сословия к прежнему поземельному. Корня этого плана надобно искать не в мерах Петра I, а в челобитье восстановившего самодержавие Анны шляхетства о том, чтобы ему предоставлено было замещение высших должностей центрального и областного управления. В этих отдельных мерах, планах и проектах о дворянстве искал себе подходящей правовой формы крупный общий факт, выработавшийся из всей неурядицы той эпохи: это — начало *дворяновластия*. А этот факт — один из признаков крутого поворота от реформы Петра I после его смерти: дело, направленное на подъем производительности народного труда средствами европейской культуры, превратилось в усиленную фискальную эксплуатацию и полицейское порабощение самого народа. Орудием этого поворота послужило сословие, которое Петр мечтал сделать проводником европейской культуры в русское общество. Трудно сказать, чувствовали ли люди елизаветинского времени, что идут не по пути, указанному преобразователем. Но елизаветинец граф Кирилл Разумовский⁶, брат фаворита, человек образованный, несколько позднее при случае выразил это чувство. В 1770 г., когда знаменитый церковный вития Платон⁷, сказывая в Петропавловском соборе в присутствии императрицы и двора проповедь по поводу Чесменской победы, театрально сошел с амвона и, ударив посохом по гробнице Петра Великого, призывал его **восстать** и воззреть на свое любезное изобретение, на **флот**, Разумовский среди общего восторга добродушно шепнул окружающим: чего он его кличет? если он **встанет**, нам всем достанется. Случилось так, что именно Елизаветой, так часто заявляв-

шей о священных заветах отца, подготовлены были обстоятельства, содействовавшие тому, что в сословии, бывшем доселе привычным орудием правительства в управлении обществом, зародилось стремление самому править обществом посредством правительства.

Императрица Елизавета

Императрица Елизавета царствовала двадцать лет, с 25 ноября 1741 г. по 25 декабря 1761 г. Царствование ее было не без славы, даже не без пользы. Молодость ее прошла не назидательно. Ни строгих правил, ни приятных воспоминаний не могла царевна вынести из беспризорной второй семьи Петра, где первые слова, какие выучивался произносить ребенок, были *тятя, мама, солдат*, а мать спешила как можно скорее сбыть дочерей замуж, чтобы в случае смерти их отца не иметь в них соперниц по престолонаследию. Подрастая, Елизавета казалась барышней, получившей воспитание в девичьей. Всю жизнь она не хотела знать, когда нужно вставать, одеваться, обедать, ложиться спать. Большое развлечение доставляли ей свадьбы прислуги: она сама убирала невесту к венцу и потом из-за двери любовалась, как веселятся свадебные гости. В обращении она была то чересчур проста и ласкова, то из пустяков выходила из себя и бранилась, кто бы ни попадался, лакей или царедворец, самыми неудачными словами, а фрейлинам доставалось и большее. Елизавета попала между двумя встречными культурными течениями, воспитывалась среди новых европейских веяний и преданий благочестивой отечественной старины. То и другое влияние оставило на ней свой отпечаток, и она умела совместить в себе понятия и вкусы обоих: от вечерни она шла на бал, а с бала поспевала к заутрене, благоговейно чтит святыни и обряды русской церкви, выписывала из Парижа описания придворных версальских банкетов и фестивалей, до страсти любила французские спектакли и до тонкости знала все гастрономические секреты русской кухни. Послушная дочь своего духовника о. Дубянского и ученица французского танцмейстера Рамбура, она строго соблюдала посты при своем дворе, так что гастроному канцлеру А. П. Бестужеву-Рюмину⁸ только с разрешения константинопольского патриарха дозволено было не есть грибного, и во всей империи никто лучше императрицы не мог исполнить менуэта и русской пляски. Религиозное настроение согре-

валось в ней эстетическим чувством. Невеста всевозможных женихов на свете, от французского короля до собственного племянника, при императрице Анне спасенная Бироном от монастыря и герцогской саксен-кобургмейнингенской трущобы, она отдала свое сердце придворному певчему из черниговских казаков, и дворец превратился в музыкальный дом: выписывали и малороссийских певчих, и итальянских певцов, чтобы не нарушить цельности художественного впечатления, те и другие совместно пели и обедню и оперу. Двойственностью воспитательных влияний объясняются приятные или неожиданные противоречия в характере и образе жизни Елизаветы. Живая и веселая, но не спускавшая глаз с самой себя, при этом крупная и стройная, с красивым круглым и вечно цветущим лицом, она любила производить впечатление, и, зная, что к ней особенно идет мужской костюм, она установила при дворе маскарады без масок, куда мужчины обязаны были приезжать в полном женском уборе, в обширных юбках, а дамы в мужском придворном платье. Наиболее законная из всех преемников и преемниц Петра I, но поднятая на престол мятежными гвардейскими штыками, она наследовала энергию своего отца, строила дворцы в двадцать четыре часа и в двое суток проезжала тогдашний путь от Москвы до Петербурга, исправно платя за каждую загнанную лошадь. Мирная и беззаботная, она была вынуждена воевать чуть не половину своего царствования, побеждала первого стратега того времени Фридриха Великого⁹, брала Берлин, уложила пропасть солдат на полях Цорндорфа и Кунерсдорфа¹⁰; но с правления царицы Софьи никогда на Руси не жилось так легко, и ни одно царствование до 1762 г. не оставляло по себе такого приятного воспоминания. При двух больших коалиционных войнах, изурвавших Западную Европу, казалось, Елизавета со своей 300-тысячной армией могла стать вершительницей европейских судеб; карта Европы лежала перед ней в ее распоряжении, но она так редко на нее заглядывала, что до конца жизни была уверена в возможности проехать в Англию сухим путем,— и она же основала первый настоящий университет в России — Московский. Ленивая и капризная, пугавшаяся всякой серьезной мысли, питавшая отвращение ко всякому деловому занятию, Елизавета не могла войти в сложные международные отношения тогдашней Европы и понять дипломатические хитросплетения своего канцлера Бестужева-Рюмина. Но в своих

внутренних покоях она создала себе особое политическое окружение из приживалок и рассказчиц, сплетниц, во главе которых стоял интимный солидарный кабинет, где премьером была Мавра Егоровна Шувалова, жена известного нам изобретателя и прожектора, а членами состояли Анна Карловна Воронцова, урожденная Скавронская, родственница императрицы, и какая-то просто Елизавета Ивановна, которую так и звали министром иностранных дел: «Все дела через нее государыне подавали», — замечает современник. Предметами занятий этого кабинета были рассказы, сплетни, наушничества, всякие каверзы и травля придворных друг против друга, доставлявшая Елизавете великое удовольствие. Это и были «сферы» того времени; отсюда раздавались важные чины и хлебные места; здесь вершились крупные правительственные дела. Эти кабинетные занятия чередовались с празднествами. Смолоду Елизавета была мечтательна и, будучи великой княжной, раз в очаровательном забытьи подписала деловую хозяйственную бумагу вместо своего имени словами *Пламень огн...* Вступив на престол, она хотела осуществить свои девические мечты в волшебную действительность; нескончаемой вереницей потянулись спектакли, увеселительные поездки, куртаги, балы, маскарады, поражавшие ослепительным блеском и роскошью до тошноты. Порой весь двор превращался в театральное фойе: изо дня в день говорили только о французской комедии, об итальянской комической опере и ее содержателе Локателли, об интермеццах и т. п. Но жилые комнаты, куда дворцовые обитатели уходили из пышных зал, поражали теснотой, убожеством обстановки, неряшеством: двери не затворялись, в окна дуло; вода текла по стенным обшивкам, комнаты были чрезвычайно сыры; у великой княгини Екатерины в спальне в печи зияли огромные щели; близ этой спальни в небольшой каморе теснилось 17 человек прислуги; мебелировка была так скудна, что зеркала, постели, столы и стулья по надобности перевозили из дворца во дворец, даже из Петербурга в Москву, ломали, били и в таком виде расставляли по временным местам. Елизавета жила и царствовала в золоченой нищете; она оставила после себя в гардеробе слишком 15 тысяч платьев, два сундука шелковых чулок, кучу неоплаченных счетов и недостроенный громадный Зимний дворец, уже поглотивший с 1755 по 1761 г. более 10 миллионов рублей на наши деньги. Незадолго до смерти ей очень хотелось пожить в этом двор-

це; но она напрасно хлопотала, чтобы строитель Растрелли¹¹ поспешил отделать хотя бы только ее собственные жилые комнаты. Французские галантерейные магазины иногда отказывались отпускать во дворец новомодные товары в кредит. При всем том в ней, не как в ее курляндской предшественнице, где-то там глубоко под толстой корой предрассудков, дурных привычек и испорченных вкусов еще жил человек, порой прорывавшийся наружу то в обете перед захватом престола никого не казнить смертью и в осуществившем этот обет указе 17 мая 1744 г., фактически отменившем смертную казнь в России, то в неутверждении свирепой уголовной части Уложения, составленной в Комиссии 1754 г. и уже одобренной Сенатом, с изысканными видами смертной казни, то в недопущении непристойных ходатайств Синода о необходимости отказаться от данного императрицей обета, то, наконец, в способности плакать от несправедливого решения, вырванного происками того же Синода. Елизавета была умная и добрая, но беспорядочная и своенравная русская барыня XVIII в., которую по русскому обычаю многие бранили при жизни и тоже по русскому обычаю все оплакали по смерти.

Император Петр III¹²

Не оплакало ее только одно лицо, потому что было не русское и не умело плакать: это — назначенный ею самой наследник престола — самое неприятное из всего неприятного, что оставила после себя императрица Елизавета. Этот наследник, сын старшей елизаветинской сестры, умершей вскоре после его рождения, герцог Голштинский, известен в нашей истории под именем Петра III. По странной игре случая в лице этого принца совершилось заgrabное примирение двух величайших соперников начала XVIII в. Петр III был сын дочери Петра I и внук сестры Карла XII. Вследствие этого владельцу маленького герцогства Голштинского грозила серьезная опасность стать наследником двух крупных престолов, шведского и русского. Сначала его готовили к первому и заставляли учить лютеранский катехизис, шведский язык и латинскую грамматику. Но Елизавета, вступив на русский престол и желая обеспечить его за линией своего отца, командировала майора Корфа с поручением во что бы ни стало взять ее племянника из Киля и доставить в Петербург. Здесь Голштинского герцога Карла-Петра-

Ульриха преобразили в великого князя Петра Федоровича и заставили изучать русский язык и православный катехизис. Но природа не была к нему так благосклонна, как судьба: вероятный наследник двух чужих и больших престолов, он по своим способностям не годился и для своего собственного маленького трона. Он родился и рос хилым ребенком, скудно наделенным способностями. В чем не догадалась отказать неблагосклонная природа, то сумела отнять у него нелепая голштинская педагогия. Рано став круглым сиротой, Петр в Голштинии получил никуда негодное воспитание под руководством невежественного придворного, который грубо обращался с ним, подвергал унижительным и вредным для здоровья наказаниям, даже сек принца. Унижаемый и стесняемый во всем, он усвоил себе дурные вкусы и привычки, стал раздражителен, вздорен, упрям и фальшив, приобрел печальную склонность лгать, с простодушным увлечением веруя в свои собственные вымыслы, а в России приучился еще напиваться. В Голштинии его так плохо учили, что в Россию он приехал 14-летним круглым неучем и даже императрицу Елизавету поразили своим невежеством. Быстрая смена обстоятельств и программ воспитания вконец сбивала с толку и без того некрепкую его голову. Принужденный учиться то тому, то другому без связи и порядка, Петр кончил тем, что не научился ничему, а несходство голштинской и русской обстановки, бессмыслие кильских и петербургских впечатлений совсем отучило его понимать окружающее. Развитие его остановилось раньше его роста; в лета мужества он оставался тем же, чем был в детстве, вырос, не созрев. Его образ мыслей и действий производил впечатление чего-то удивительно недодуманного и недоделанного. На серьезные вещи он смотрел детским взглядом, а к детским затеям относился с серьезностью зрелого мужа. Он походил на ребенка, вообразившего себя взрослым; на самом деле это был взрослый человек, навсегда остававшийся ребенком. Уже будучи женат, в России, он не мог расстаться со своими любимыми куклами, за которыми его не раз заставляли придворные посетители. Сосед Пруссии по наследственному владению, он увлекался военной славой и стратегическим гением Фридриха II. Но так как в его миниатюрном уме всякий крупный идеал мог поместиться только разбившись на игрушечные мелочи, то это воинственное увлечение повело Петра только к забавному пародированию прусского героя, к простой игре в солда-

тики. Он не знал и не хотел знать русской армии, и так как для него были слишком велики настоящие живые солдаты, то он велел наделать себе солдатиков восковых, свинцовых и деревянных и расставлял их в своем кабинете на столах с такими приспособлениями, что если дернуть за протянутые по столам шнурки, то раздавались звуки, которые казались Петру похожими на беглый ружейный огонь. Бывало в табельный день он соберет свою дворню, наденет нарядный генеральский мундир и произведет парадный смотр своим игрушечным войскам, дергая за шнурки и с наслаждением вслушиваясь в батальные звуки. Раз Екатерина, вошедшая к мужу, была поражена представившимся ей зрелищем. На веревке, протянутой с потолка, висела большая крыса. На вопрос Екатерины, что это значит, Петр сказал, что крыса совершила уголовное преступление, жесточайше наказуемое по военным законам: она забралась на картонную крепость, стоявшую на столе, и съела двух часовых из крахмала. Преступницу поймали, предали военно-полевому суду и приговорили к смертной казни через повешение. Елизавета приходила в отчаяние от характера и поведения племянника и не могла провести с ним четверти часа без огорчения, гнева и даже отвращения. У себя в комнате, когда заходила о нем речь, императрица заливалась слезами и жаловалась, что бог дал ей такого наследника. С ее набожного языка срывались совсем не набожные отзывы о нем: «проклятый племянник», «племянник мой урод, черт его возьми!» Так рассказывает Екатерина в своих записках. По ее словам, при дворе считали вероятным, что Елизавета в конце жизни согласилась бы, если бы ей предложили выслать племянника из России, назначив наследником его 6-летнего сына Павла; но ее фавориты, задумывавшие такой шаг, не отважились на него и, перевернувшись по-придворному, принялись заискивать милости у будущего императора.

Не подозревая миновавшей беды, напутствуемый зловыми отзывами тетки, этот человек наизнанку, у которого спутались понятия добра и зла, вступил на русский престол. Он и здесь сохранил всю узость и мелочность мыслей и интересов, в которых был воспитан и вырос. Ум его, голштински тесный, никак не мог расшириться в географическую меру нечаянно доставшейся ему беспредельной империи. Напротив, на русском престоле Петр стал еще более голштинцем, чем был дома. В нем с особенной силой заговорило качество, которым скупая для

него природа наделила его с беспощадной щедростью: это была трусость, соединявшаяся с легкомысленной беспечностью. Он боялся всего в России, называл ее проклятой страной и сам выражал убеждение, что в ней ему непременно придется погибнуть, но нисколько не старался освоиться и сблизиться с ней, ничего не узнал в ней и всего чуждался; она пугала его, как пугаются дети, оставшиеся одни в обширной пустой комнате. Руководимый своими вкусами и страхами, он окружил себя обществом, какого не видели даже при Петре I, столь неразборчивом в этом отношении, создал себе собственный мирок, в котором и старался укрыться от страшной ему России. Он завел особую голштинскую гвардию из всякого международного сброда, но только не из русских подданных; то были большею частию сержанты и капралы прусской армии, «сволочь,— по выражению княгини Дашковой¹³,— состоявшая из сыновей немецких сапожников». Считая для себя образцом армию Фридриха II, Петр старался усвоить себе манеры и привычки прусского солдата, начал выкуривать непомерное количество табаку и выпивать непосильное множество бутылок пива, думая, что без этого нельзя стать «настоящим бравым офицером». Вступив на престол, Петр редко доживал до вечера трезвым и садился за стол обыкновенно навеселе. Каждый день происходили пирушки в этом голштинском обществе, к которому по временам присоединялись блуждающие кометы, заезжие певицы и актрисы. В этой компании император, по свидетельству Болотова¹⁴, близко его видавшего, говаривал «такой вздор и такие нескладницы», что сердце обливалось кровью у верноподданных от стыда пред иностранными министрами: то вдруг начнет он развешивать невозможные преобразовательные планы, то с эпическим воодушевлением примется рассказывать о небывалом победоносном своем походе на цыганский табор под Килем, то просто разболтает какую-нибудь важную дипломатическую тайну. На беду, император чувствовал влечение к игре на скрипке, считая себя совершенно серьезно виртуозом, и подозревал в себе большой комический талант, потому что довольно ловко выделял разные смешные гримасы, передразнивал священников в церкви и нарочно заменил при дворе старинный русский поклон французским приседанием, чтобы потом представлять неловкие книксены пожилых придворных дам. Одна умная дама, которую он забавлял своими гримасами, отозвалась о нем, что он совсем непо-

хож на государя. В его царствование было издано несколько важных и дельных указов, каковы были, например, указы об упразднении Тайной канцелярии, о позволении бежавшим за границу раскольникам воротиться в Россию с запрещением преследовать за раскол. Эти указы внушены были не отвлеченными началами веротерпимости или ограждения личности от доносов, а практическими расчетами людей близких к Петру, — Воронцовых, Шуваловых и других, которые, спасая свое положение, хотели царскими милостями упрочить популярность императора. Из таких же соображений вышел и указ о вольности дворянства. Но сам Петр мало заботился о своем положении и скоро успел вызвать своим образом действий единодушный ропот в обществе. Он как будто нарочно старался вооружить против себя все классы и прежде всего духовенство. Он не скрывал, напротив, заодно щеголял своим пренебрежением к церковным православным обрядам, публично дразнил русское религиозное чувство, в придворной церкви во время богослужения принимал послов, ходя взад и вперед, точно у себя в кабинете, громко разговаривал, высовывал язык священнослужителям, раз на троицын день, когда все опустились на колени, с громким смехом вышел из церкви. Новгородскому архиепископу Димитрию Сеченову¹⁵, первоприсутствующему в Синоде, дан был приказ «очистить русские церкви», т. е. оставить в них только иконы спасителя и божией матери и вынести остальные, русским священникам обрить бороды и одеваться, как лютеранские пасторы. Исполнением этих приказов повременили, но духовенство и общество всполошились: люторы надвигаются! Особенно раздражено было черное духовенство за предпринятую Петром III секуляризацию церковных недвижимых имуществ. Управлявшая ими Коллегия экономии, прежде подведомственная Синоду, теперь поставлена была в прямую зависимость от Сената и предписано было отдать крестьянам все церковные земли и с теми, какие они пахали на монастыри и архиреев, а из собираемых с церковных вотчин доходов назначить на содержание церковных учреждений ограниченные штатные оклады. Эту меру Петр не успел привести в исполнение; но впечатление было произведено. Гораздо опаснее было раздражение гвардии, этой щекотливой и самоуверенной части русского общества. С самого вступления на престол Петр старался всячески рекламировать свое безграничное поклонение Фридриху II. Он при всех набожно целовал бюст

короля, во время одного парадного обеда во дворце при всех стал на колени перед его портретом. Тотчас по воцарении он облекся в прусский мундир и носил чаще прусский орден. Пестрый и антично узенький прусский мундир был введен и в русской гвардии, заменив собой старый просторный темно-зеленый кафтан, данный ей Петром I. Считая себя военным подмастерьем Фридриха, Петр III старался ввести строжайшую дисциплину и в немного распущенных русских войсках. Каждый день происходили экзерциции. Ни ранг, ни возраст не освобождали от маршировки. Сановные люди, давно не выдавшие плаца, да к тому же успевшие запастись подагрой, должны были подвергнуться военно-балетной муштровке прусских офицеров и проделывать все военные артикулы. Фельдмаршал, бывший генерал-прокурор Сената, старик князь Никита Трубецкой¹⁶ по своему званию подполковника гвардии должен был являться на учение и маршировать вместе с солдатами. Современники не могли надивиться, как времена переменялись, как, по выражению Болотова, ныне больные и небольшие, и старички самые поднимают ножки и наряду с молодыми маршируют и так же хорошоохонько топчут и месят грязь, как и солдаты. Что было всего обиднее, сбродной голштинской гвардии Петр отдавал во всем предпочтение перед русской, называя последнюю янычарами. А в русской внешней политике хозяйничал прусский посланник, всем распоряжавшийся при дворе Петра. Прусский вестовщик до воцарения, пересылавший Фридриху II в Семилетнюю войну сведения о русской армии, Петр на русском престоле стал верноподданным прусским министром. Перед возмущенным чувством оскорбленного национального достоинства опять восстал ненавистный призрак второй бироновщины, и это чувство подогревалось еще боязнью, что русская гвардия будет раскассирована по армейским полкам, чем ей уже грозил Бирон¹⁷. К тому же все общество чувствовало в действиях правительства шатость и каприз, отсутствие единства мысли и определенного направления. Всем было очевидно расстройство правительственного механизма. Все это вызвало дружный ропот, который из высших сфер переливался вниз и становился всенародным. Языки развязались, как бы не чувствуя страха полицейского; на улицах открыто и громко выражали недовольство, без всякого опасения порицая государя. Ропот незаметно сложился в военный заговор, а заговор повел к новому перевороту.



ПЕРЕВОРОТ 28 ИЮНЯ 1762 г.

Лицом, во имя которого было предпринято движение, стала императрица, успевшая приобрести широкую популярность, особенно в гвардейских полках. Император дурно жил с женой, грозил развестись с ней и даже заточить в монастырь, а на ее место поставить близкую ему особу, племянницу канцлера графа Воронцова. Екатерина долго держалась в стороне, терпеливо перенося свое положение и не входя в прямые сношения с недовольными. Но сам Петр вызвал ее к действию. Чтобы переполнить чашу русского огорчения и довести всенародный ропот до открытого взрыва, император заключил мир (24 апреля 1762 г.) с тем самым Фридрихом, который при Елизавете приведен был в отчаяние русскими победами. Теперь Петр отказался не только от завоеваний, даже от тех, которые уступал сам Фридрих, от Восточной Пруссии, не только заключил с ним мир, но присоединил свои войска к прусским, чтобы действовать против австрийцев, недавних русских союзников. Русские скрежетали зубами от досады, замечает Болотов. За парадным обедом 9 июня по случаю подтверждения этого мирного договора император провозгласил тост за императорскую фамилию. Екатерина выпила свой бокал сидя. На вопрос Петра, почему она не встала, она отвечала, что не считала это нужным, так как императорская фамилия вся состоит из императора, из нее самой и их сына, наследника престола. «А мои дяди, принцы Голштинские?» — возразил Петр и приказал стоящему у него за креслом генерал-адъютанту Гудовичу¹ подойти к Екатерине и сказать ей бранное слово. Но, опасаясь, как бы Гудович при пере-

даче не смягчил этого неучтывого слова, Петр сам выкрикнул его через стол во всеуслышание. Императрица расплакалась. В тот же вечер приказано было арестовать ее, что, впрочем, не было исполнено по ходатайству одного из дядей Петра, невольных виновников этой сцены. С этого времени Екатерина стала внимательнее прислушиваться к предложениям своих друзей, какие делались ей, начиная с самой смерти Елизаветы. Предприятию сочувствовало множество лиц высшего петербургского общества, большею частью лично обиженных Петром. Таков был граф Никита Панин, елизаветинский дипломат и воспитатель великого князя наследника Павла²; такова была 19-летняя дама княгиня Дашкова, сестра фаворитки, имевшая через мужа большие связи в гвардии. Сочувствовал делу и архиепископ новгородский Дмитрий Сеченов, который по своему сану, разумеется, не мог принять прямого участия в заговоре. Но всего больше помогал делу втихомолку малороссийский гетман и президент Академии наук граф Кирилл Разумовский, богач, за щедрость чрезвычайно любимый в своем гвардейском Измайловском полку. Настоящими дельцами предприятия была гвардейская офицерская молодежь, преображенцы Пассек и Бредихин, измайловцы Ласунский и братья Рославлевы, конногвардейцы Хитрово³ и унтер-офицер Потемкин⁴. Центром, около которого соединялись эти офицеры, служило целое гнездо братьев Орловых⁵, из которых особенно выдавались двое, Григорий и Алексей: силачи, рослые и красивые, ветреные и отчаянно-смелые, мастера устраивать по петербургским окраинам попойки и кулачные бои насмерть, они были известны во всех полках как идолы тогдашней гвардейской молодежи. Старший из них Григорий, артиллерийский офицер, давно был в сношениях с императрицей, которые искусно скрывались. Заговорщики делились на четыре отделения, во главе которых стояли особые вожди, собиравшиеся для совещаний. Впрочем, не было обычного конспиративного ритуала, ни правильных собраний, ни рассчитанных приемов пропаганды; не заметно и подробно разработанного плана действий. Да в этом и не было надобности: гвардия давно была так воспитана целым рядом дворцовых переворотов, что не нуждалась в особой подготовке к подобному предприятию, лишь бы было популярное лицо, во имя которого всегда можно было поднять полки. Накануне переворота Екатерина считала на своей стороне до 40 офицеров и до 10 тысяч солдат

гвардии. Переворот не был нечаянным: его все ждали. Всего за неделю до него среди все усиливавшегося волнения по улицам столицы ходили толпы народа, особенно гвардейцев, и почти вьявь «ругали» государя. Впечатлительные наблюдатели считали часы в ожидании взрыва. Разумеется, к Петру шли доносы, а тот, веселый и беззаботный, не понимая серьезности положения, ни на что не обращал внимания и продолжал ветреничать в Ораниенбауме, не принимая никаких мер предосторожности, даже сам, как деятельный заговорщик против самого себя, раздувал тлевший огонь. Окончив бесполезно для России одну войну, Петр затевал другую, еще менее полезную, разорвав с Данией, чтобы возвратить отнятый ею у Голштинии Шлезвиг. Воинственно двигая силы Русской империи на маленькую Данию для восстановления целостности родной Голштинии, Петр в то же время ратовал за свободу совести в России. Синоду 25 июня дан был указ, предписывавший равенство христианских вероисповеданий, необязательность постов, неосуждение грехов против седьмой заповеди «ибо и Христос не осуждал», отобрание в казну всех монастырских крестьян: в заключение указ требовал от Синода непрерываемого исполнения всех мероприятий императора. Сумасбродные распоряжения Петра побуждали верить самым невероятным слухам. Так, рассказывали, что он хочет развести всех придворных дам с их мужьями и перевенчать с другими по своему выбору, а для примера развестись с собственной женой и жениться на Елизавете Воронцовой, что, впрочем, могло случиться. Становится понятным общее молчаливое соглашение во что бы ни стало избавиться от такого самодержца. Выжидали только благоприятного случая, и его подготавливал сам Петр своей датской войной. Гвардия с огорчением ожидала приказа выступить в поход за границу, и приезд государя в Петербург на проводы Панин считал удобным моментом для переворота. Но взрыв был ускорен случайным обстоятельством. К Пассеку вбежал встревоженный преображенский капитан с вопросом, скоро ли свергнут императора, и с известием, что императрица погибла; тревога солдат вызвана была слухами, какие распускали про Екатерину сами заговорщики. Пассек выпроводил солдата, уверив его, что ничего подобного не случилось, а тот бросился к другому офицеру, не принадлежавшему к заговору, и сказал ему то же самое, прибавив, что был уже у Пассека. Этот офицер донес о слышанном по начальству, и 27 июня

Пассек был арестован. Арест его поднял на ноги всех заговорщиков, испугавшихся, что арестованный может выдать их под пыткой. Ночью решено было послать Алексея Орлова за Екатериной, которая жила в Петергофе в ожидании дня именин императора (29 июня). Рано утром 28 июня А. Орлов вбежал в спальню к Екатерине и сказал, что Пассек арестован. Кое-как одевшись, императрица села с фрейлиной в карету Орлова, поместившегося на козлах, и была привезена прямо в Измайловский полк. Давно подготовленные солдаты по барабанному бою выбежали на площадь и тотчас присягнули, целуя руки, ноги, платье императрицы. Явился и сам полковник граф К. Разумовский. Затем в предшествии приводившего к присяге священника с крестом в руке двинулись в Семеновский полк, где повторилось то же самое. Во главе обоих полков, сопровождаемая толпой народа, Екатерина поехала в Казанский собор, где на молебне ее возгласили самодержавной императрицей. Отсюда она отправилась в новоотстроенный Зимний дворец и застала там уже в сборе Сенат и Синод, которые беспрекословно присоединились к ней и присягнули. К движению примкнули конногвардейцы и преображенцы с некоторыми армейскими частями и в числе свыше 14 тысяч окружили дворец, восторженно приветствуя обходившую полки Екатерину, толпы народа вторили войскам. Без возражений и колебаний присягали и должностные лица, и простые люди, все, кто ни попадал во дворец, всем тогда открыт. Все делалось как-то само собой, точно чья-то незримая рука заранее все приладила, всех согласила и вовремя оповестила. Сама Екатерина, видя, как радушно все ее приветствовали, ловили ее руку, объясняла это единодушие народным характером движения: все **приняли** в нем добровольное участие, чувствовали себя в нем самостоятельными деятелями, а не полицейскими куклами или любопытными зрителями. Между тем наскоро составили и раздавали народу краткий манифест, который возвещал, что императрица по явному и нелицемерному желанию всех верных подданных вступила на престол, став на защиту православной русской церкви, русской победной славы и внутренних порядков, совсем испроверженных. Вечером 28 июня Екатерина во главе нескольких полков, верхом, в гвардейском мундире старого петровского покроя и в шляпе, украшенной зеленой дубовой веткой, с распущенными длинными волосами, рядом с княгиней Дашковой тоже верхом и в гвардейском

мундире двинулась в Петергоф, куда в тот же день должен был приехать из Ораниенбаума император со свитой, чтобы обедать в Монплезире, петергофском павильоне, где помещалась Екатерина. С большим придворным обществом Петр подъехал к Монплезиру — он оказался пустым. Обшарили весь сад — нигде ее нет! Узнали, что императрица рано утром тайком уехала в Петербург. Все растерялись в недоумении. Три сановника, в том числе канцлер Воронцов⁶, догадываясь, в чем дело, вызвались ехать в Петербург разузнать, что там делается, и усоветить императрицу. Екатерина всенародно уверяла после, что им велено было даже убить ее в случае надобности. Разведчики, приехав в Петербург, присягнули императрице и не воротились. Получив кое-какие известия из Петербурга, в Петергофе принялись рассылать адъютантов и гусар по всем дорогам к столице, писать приказы, давать советы, как поступить. Решено было захватить Кронштадт, чтобы оттуда действовать на столицу, пользуясь морскими силами. Но когда император со свитой приблизились к крепости, оттуда было объявлено, что по нему будут стрелять, если он не удалится. У Петра не хватало духа, чтобы по совету Миниха⁷ спрыгнуть на берег или плыть к Ревелю, а оттуда в Померанию и стать во главе русской армии, находившейся за границей. Петр забился в самый низ галеры и среди рыданий сопровождавших экспедицию придворных дам поплыл назад в Ораниенбаум. Попытка вступить в переговоры с императрицей не удалась; предложение помириться и разделить власть осталась без ответа. Тогда Петр принужден был собственноручно переписать и подписать присланный ему Екатериной акт якобы «самопроизвольного» клятвенного отречения от престола. Когда Екатерина со своими полками утром 29 июня заняла Петергоф, а Петр дал увести себя туда из Ораниенбаума, его с трудом защитили от раздраженных солдат. В петергофском дворце от непосильных потрясений с ним сделался обморок. Несколько времени спустя, когда пришел Панин, Петр бросился к нему, ловил его руки, прося его ходатайства, чтобы ему было позволено удержать при себе четыре особенно дорогие ему вещи: скрипку, любимую собаку, арапа и Елизавету Воронцову⁸. Ему позволили удержать три первые вещи, а четвертую отослали в Москву и выдали замуж за Полянского. Случайный гость русского престола, он мелькнул падучей звездой на русском политическом небосклоне, оставив всех в недоумении, за-

чем он на нем появлялся. Бывшего императора удалили в Ропшу, загородную мызу, подаренную ему императрицей Елизаветой, а Екатерина на другой день торжественно вступила в Петербург. Так кончилась эта революция, самая веселая и деликатная из всех нам известных, не стоившая ни одной капли крови, настоящая дамская революция. Но она стоила очень много вина: в день въезда Екатерины в столицу 30 июня войскам были открыты все питейные заведения; солдаты и солдатки в бешеном восторге тащили и сливали в ушаты, бочонки, во что ни попало, водку, пиво, мед, шампанское. Три года спустя в Сенате еще производилось дело петербургских виноторговцев о вознаграждении их «за растащенные при благополучном ее величества на императорский престол восшествии виноградные напитки солдатством и другими людьми».

Дело 28 июня, завершая собою ряд дворцовых переворотов XVIII в., не во всем было на них похоже. И оно было исполнено посредством гвардии; но его поддержало открыто выразившееся сочувствие столичного населения, придавшее ему народную окраску. Притом оно носило совсем иной политический характер. В 1725, 1730 и 1741 гг. гвардия устанавливала или восстанавливала привычную верховную власть в том или другом лице, которые вожди ее представляли ей законным наследником этой власти. В 1762 г. она выступала самостоятельной политической силой, притом не охранительной, как прежде, а революционной, низвергая законного носителя верховной власти, которому сама недавно присягала. К возмущенному национальному чувству примешивалось в ней самодовольное сознание, что она создает и дает отечеству свое правительство, хоть и незаконное, но которое лучше законного поймет и соблюдет его интересы. Объясняя гвардейский энтузиазм, проявившийся в перевороте, Екатерина вскоре писала, что последний гвардейский солдат смотрел на нее, как на дело рук своих. И в ответ на эту революционную лояльность своей гвардии Екатерина поспешила заявить, что узурпация может стать надежным залогом государственного порядка и народного благоденствия. Когда в Петербурге улеглось движение, поднятое переворотом, излишества уличного патриотического ликования покрыты были торжественным актом, изъяснившим смысл совершившихся событий. Обнародован был второй, «обстоятельный» манифест от 6 июля. Это — и оправдание захвата, и исповедь, и обличение павшего вла-

етителя, и целая политическая программа. С беспощадной откровенностью разоблачаются преступные или потыдные деяния и злоумышления бывшего императора, которые, по уверению манифеста, должны были привести к мятежу, царубийству и гибели государства. Видя отечество гибнущее и вняв «присланным от народа избранным верноподданным», императрица отдала себя или на жертву за любезное отечество, или на избавление его от угрожавших опасностей. В лице низложенного императора манифест обличал и бичевал не злосчастную случайность, а самый строй русского государства. «Самовластие, — гласил манифест, — не обузданное добрыми и человеколюбивыми качествами в государе, владеющем самодержавно, есть такое зло, которое многим пагубным следствиям непосредственно бывает причиною». Никогда русская власть с высоты престола так откровенно не вешала своему народу такой печальной истины, что венец государственного здания, в коем он обитает, своим непрочным построением всегда грозит разрушить самое здание. В предотвращение этого бедствия императрица «наиторжественнейше» обещала своим императорским словом узаконить такие государственные установления, которые «и в потомки» предохранили бы целость империи и самодержавной власти, а верных слуг отечества вывели бы «из уныния и оскорбления».

Но и у этого переворота, так весело и дружно разыгравшегося, был свой печальный и ненужный эпилог. В Ропше Петра поместили в одной комнате, воспретив выпускать его не только в сад, но и на террасу. Дворец окружен был гвардейским караулом. Приставники обращались с узником грубо; но главный наблюдатель Алексей Орлов был с ним ласков, занимал его, играл с ним в карты, ссужал его деньгами. С самого приезда в Ропшу Петру нездоровилось. Вечером того же 6 июля, когда был подписан манифест, Екатерина получила от А. Орлова записку, писанную испуганной и едва ли трезвой рукой. Можно было понять лишь одно: в тот день Петр за столом заспорил с одним из собеседников; Орлов и другие бросились их разнимать, но сделали это так неловко, что хилый узник оказался мертвым. «Не успели мы разнять, а его уже и не стало; сами не помним что делали». Екатерина, по ее словам, была тронута, даже поражена этой смертью. Но, писала она месяц спустя, «надо идти прямо — на меня не должно пасть подозрение». Вслед за торжественным манифестом 6 июля по

церквам читали другой, от 7 июля, печальный, извещающий о смерти впавшего в преждестоковую колику бывшего императора и приглашавший молиться «без злопамятствия» о спасении души почившего. Его привезли прямо в Александро-Невскую лавру и там скромно похоронили рядом с бывшей правительницей Анной Леопольдовной⁹. Весь Сенат просил Екатерину не присутствовать при погребении.

Обзор изложенного

Читая манифест 6 июля, чувствуем, что стоим на каком-то важном переломе русской жизни. Он сулил нечто новое или дотоле неудавшееся, именно закономерное государство. Оглянемся несколько назад, чтобы видеть, как мало такое государство было подготовлено, как мысль о нем, вспыхивая по временам, скоро гасла. До конца XVI в. мы наблюдали русское государство, державшееся еще на основах вотчинного порядка, в котором государство считалось не народным союзом, а фамильным достоянием государя, подданный знал только свои обязанности, не имея законом обеспеченных прав. Казалось, Смутное время должно было очистить государство от последних остатков этого порядка: народ своими силами вышел из безурядицы, избрал новую династию, которая не строила государства, как ее предшественница, и не могла считать его своей вотчиной; он показал, что способен стать деятельным участником государственного строения, перестав служить простым строительным материалом. Действительно, после Смуты наблюдаем в московской государственной жизни два течения, из которых одно промывало себе новое земское русло, хотя другое тянуло к покинутым приказным берегам. Но по мере удаления от своего источника новая струя постепенно наклонялась к старой и к концу XVII в. слилась с нею. Вместе с новой династией оживали прежние вотчинные понятия и привычки. Родоначальник новой династии в своих правительственных актах старался показать народу, что видит в себе не народного избранника, а племянника царя Федора, и в этом родстве полагает истинную основу своей власти. Народная самодеятельность, вызванная Смутой, правда, закреплялась во всеобщем земском соборе; но в то же время падало его естественное основание, местное земское самоуправление, и сам земский собор не

отлился в твердое постоянное учреждение, скоро утратил свой первоначальный всеобщий состав и наконец замер, заметенный вихрем петровской реформы.

Петр I своими понятиями и стремлениями близко подошел к идее правового государства: он видел цель государства в *добре общем*, в народном благе, не в династическом интересе, а средство для ее достижения — в законности, в крепком хранении «прав гражданских и политических»; свою власть он считал не своей наследственной собственностью, а должностью царя, свою деятельность — служением государству. Но обстоятельства и привычки помешали ему привести свое дело в полное согласие с собственными понятиями и намерениями. Обстоятельства вынуждали его работать больше в области политики, чем права, а от предшественников он унаследовал два вредных политических предрассудка — веру в творческую мощь власти и уверенность в неистощимости народных сил и народного терпения. Он не останавливался ни перед чьим правом, ни перед какой народной жертвой. Став преобразователем в европейском духе, он сберег в себе слишком много московского допетровского царя, не считался ни с правосознанием народа, ни с народной психологией и надеялся искоренить вековой обычай, водворить новое понятие так же легко, как изменял покрой платья или ширину фабричного сукна. Вводя все насильственно, даже общественную самодеятельность вызывая принуждением, он строил правомерный порядок на общем бесправии, и потому в его правомерном государстве рядом с властью и законом не оказалось всеоживляющего элемента, свободного лица, гражданина.

Петру не удалось укрепить свою идею государства в народном сознании, а после него она погасла и в правительственных умах. Законным преемникам Петра, его внуку и дочери, была недоступна его государственная идея. Остальные смены приносили на престол нечаянных властителей, даже инородцев, которые не могли видеть в России не только своей вотчины, но и своего отечества. Государство замкнулось во дворце. Правительства, охранявшие власть даже не как династическое достояние, а просто как захват, которого не умели оправдать перед народом, нуждались не в народной, а в военно-полицейской опоре.

Но мутная волна дворцовых переворотов, фаворитов и опал своим прибоем постепенно наносила вокруг престола нечто похожее на правящий класс с пестрым соци-

альным составом, но с однофасонным складом понятий и нравов. Это была только новая формация военно-служилого класса, давно действовавшего при дворе московских государей-вотчинников под командой бояр. В опричнине Грозного этот класс получил яркую политическую окраску как полицейский охранный корпус, направленный против боярской и земской крамолы. В XVII в. верхний слой его, столичное дворянство, поглощая в себя отстатки боярства, становился на его место в управлении, а при Петре Великом, преобразованный в гвардию и приправленный дозой иностранцев, сверх того предназначался стать проводником западной культуры и военной техники. Государство не скупилось на вознаграждение дворянства за его административные и военные заслуги, увеличивало податное бремя народа на содержание дворян, роздало им громадное количество государственных земель и даже закрепостило за ними до двух третей сельского населения. Наконец, после Петра дворянство во всем своем составе через гвардию делает случайные правительства, освобождается от обязательной службы и с новыми правами становится господствующим сословием, держащим в своих руках и управление и народное хозяйство. Так формировалось это сословие из века в век, перелицовываясь по нуждам государства и по воспринимаемым попутно влияниям. К моменту воцарения Екатерины II оно составило *народ* в политическом смысле слова, и при его содействии дворцовое государство преемников Петра I получило вид государства сословно-дворянского. Правовое народное государство было еще впереди и не близко.



ИМПЕРАТРИЦА ЕКАТЕРИНА II

Основной факт эпохи. Манифест Екатерины II от 6 июля 1762 г. возвестил о новой силе, имевшей впредь направлять государственную жизнь России. Доселе единственным двигателем этой жизни, признанным в единственном основном законе империи, в уставе Петра Великого о престолонаследии, была всевластная воля государя, личное усмотрение. Екатерина объявила в манифесте, что самодержавное самовластие само по себе, без случайной, необязательной узды добрых и человеколюбивых качеств есть зло, пагубное для государства. Торжественно были обещаны законы, которые указывали бы всем государственным учреждениям пределы их деятельности. Как проводилось в государственную жизнь возведенное начало законности, в этом интерес царствования Екатерины II и ее преемников; как случилось, что именно Екатерине II пришлось возвестить это начало, в этом интерес ее личности, ее судьбы и характера.

Императрица Екатерина II. Июньский переворот 1762 г. сделал Екатерину II самодержавной русской императрицей. С самого начала XVIII в. носителями верховной власти у нас были люди, либо необычайные, как Петр Великий, либо случайные, каковы были его преемники и преемницы, даже те из них, кого назначала на престол в силу закона Петра I предыдущая случайность, как было с ребенком Иваном VI¹ и с Петром III. Екатерина II замыкает собою ряд этих исключительных явлений нашего во всем не упорядоченного XVIII в.: она была последней случайностью на русском престоле и провела продолжительное и необычайное царствование, создала

целую эпоху в нашей истории. Далее пойдут уже царствования по законному порядку и в духе установившегося обычая.

Ее происхождение. Екатерина по матери принадлежала к голштейн-готторпскому княжескому роду, одному из многочисленных княжеских родов Северной Германии, а по отцу — к другому тамошнему же и еще более мелкому владетельскому роду — ангальт-цербстскому. Отец Екатерины, Христиан Август из цербст-дорнбургской линии ангальтского дома, подобно многим своим соседям, мелким северогерманским князьям, состоял на службе у прусского короля, был полковым командиром, комендантом, а потом губернатором города Штеттина, неудачно баллотировался в курляндские герцоги и кончил свою экстерриториальную службу прусским фельдмаршалом, возведенный в это звание по протекции русской императрицы Елизаветы. В Штеттине и родилась у него (21 апреля 1729 г.) дочь Софья-Августа, наша Екатерина. Таким образом, эта принцесса соединяла в своем лице два мелких княжеских дома северо-западной Германии. Эта северо-западная Германия представляла в XVIII в. любопытный во многих отношениях уголок Европы. Здесь средневековый немецкий феодализм донашивал тогда сам себя, свои последние династические регалии и генеалогические предания. С бесконечными фамильными делениями и подразделениями, с принцами брауншвейг-люнебургскими и брауншвейг-вольфенбюттельскими, саксен-гомбургскими, саксен-кобургскими, саксен-готскими и саксен-кобург-готскими, мекленбург-шверинскими и мекленбург-стрелицкими, шлезвиг-голштейнскими, голштейн-готторпскими и готторп-эйтинскими, ангальт-дессаускими, ангальт-цербстскими и цербст-дорнбургскими это был запоздалый феодальный муравейник, суетливый и в большинстве бедный, донельзя перероднившийся и перессорившийся, копошившийся в тесной обстановке со скудным бюджетом и с воображением, охотно улетающим за пределы тесного родного гнезда. В этом кругу все жило надеждами на счастливый случай, расчетами на родственные связи и заграничные конъюнктуры, на желанные сплетения неожиданных обстоятельств. Потому здесь всегда сберегались в потребном запасе маленькие женихи, которые искали больших невест, и бедные невесты, тосковавшие по богатым женихам, наконец, наследники и наследницы, дожидавшиеся вакантных престолов. По-нятно, такие вкусы воспитывали политических космопо-

литов, которые думали не о родине, а о карьере и для которых родина была везде, где удавалась карьера. Здесь жить в чужих людях было фамильным промыслом, служить при чужом дворе и наследовать чужое—династическим заветом. Вот почему этот мелкокняжеский мирок получил в XVIII в. немаловажное международное значение: отсюда не раз выходили маленькие принцы, игравшие иногда крупные роли в судьбах больших европейских держав, в том числе и России. Мекленбург, Брауншвейг, Голштиния, Ангальт-Цербст поочередно высылали и к нам таких политических странников-чужедомов в виде принцев, принцесс и простых служак на жалованье. Благодаря тому что одна из дочерей Петра Великого вышла за герцога голштинского, этот дом получил значение и в нашей истории. Родичи Екатерины по матери, прямые и боковые, с самого начала XVIII в. либо служили на чужбине, либо путем браков искали престолов на стороне. Дед ее (по боковой линии) Фридрих Карл, женатый на сестре Карла XII шведского, в начале Северной войны сложил голову в одном бою, сражаясь в войсках своего шурина. Один ее двоюродный дядя, сын этого Фридриха Карла, герцог Карл Фридрих женился на старшей дочери Петра I Анне и имел неудачные виды на шведский престол. Зато сына его, Карла Петра Ульриха, родившегося в 1728 г. и рождением своим похоронившего мать, шведы в 1742 г., при окончании неудачной войны с Россией, избрали в наследники шведского престола, чтобы этой любезностью задобрить его тетку, русскую императрицу, и смягчить условия мира; но Елизавета уже перехватила племянника для своего престола, а вместо него навязала шведам не без ущерба для русских интересов другого голштинского принца — Адольфа-Фридриха, родного дядю Екатерины, которого русское правительство прежде проводило уже в герцоги курляндские. Другой родной дядя Екатерины из голштинских — Карл был объявлен женихом самой Елизаветы, когда она была еще цесаревной, и только скорая смерть принца помешала ему стать ее мужем. Ввиду таких фамильных случаев один старый каноник в Брауншвейге мог, не прягая своего пророческого дара, сказать матери Екатерины: «На лбу вашей дочери я вижу по крайней мере три короны». Мир уже привыкал видеть в мелком немецком князье головы, которых ждали чужие короны, оставшиеся без своих голов.

Екатерина родилась в скромной обстановке прусского

генерала из мелких немецких князей и росла резвой, шаловливой, даже бедовой девочкой, любившей попроказить над старшими, особенно надзирательницами, шегольнуть отвагой перед мальчиками и умевшей не смигнуть, когда трусила. Родители не отягощали ее своими воспитательными заботами. Отец ее был усердный служака, а мать, Иоанна-Елизавета, — неуживчивая и непопсовая женщина, которую так и тянуло на ссору и кляузу, ходячая интрига, воплощенное приключение; ей было везде хорошо, только не дома. На своем веку она исколесила чуть не всю Европу, побывала в любой столице, служила Фридриху Великому по таким дипломатическим делам, за которые стеснялись братья настоящие дипломаты, чем заслужила большой респект у великого короля, и незадолго до воцарения дочери умерла в Париже в очень стесненном положении, потому что Фридрих скупко оплачивал услуги своих агентов. Екатерина могла только благодарить судьбу за то, что мать редко бывала дома: в воспитании детей штеттинская комендантша придерживалась простейших правил, и Екатерина сама потом признавалась, что за всякий промах приучена была ждать материнских пощечин. Ей не исполнилось и 15 лет, когда в нее влюбился один из ее голштинских дядей, состоявший на саксонской, а потом на прусской службе, и даже добился от племянницы согласия выйти за него замуж. Но чисто голштинская встреча благоприятных обстоятельств разрушила эту раннюю идиллию и отвела ангальт-цербстскую принцессу от скромной доли прусской полковницы или генеральши, чтобы оправдать пророчество брауншвейгского каноника, доставив ей не три, а только одну корону, но зато стоимую десяти немецких. Во-первых, императрица Елизавета, несмотря на позднейшие увлечения своего шаткого сердца, до конца жизни хранила нежную память о своем так рано умершем голштинском женихе и оказывала внимание его племяннице с матерью, посылая им безделки вроде своего портрета, украшенного бриллиантами в 18 тыс. тогдашних рублей (не менее 100 тыс. нынешних). Такие подарки служили семье штеттинского губернатора, а потом прусского фельдмаршала немалым подспорьем в ненастные дни жизни. А затем Екатерине много помогла ее фамильная незначительность. В то время петербургский двор искал невесты для наследника русского престола и дальновидные петербургские политики советовали Елизавете направить поиски к какому-нибудь скромному владетель-

нэму дому, потому что невестка крупного династического происхождения, пожалуй, не будет оказывать должного послушания и почтения императрице и своему мужу. Наконец, в числе сватов, старавшихся пристроить Екатерину в Петербурге, было одно довольно значительное лицо в тогдашней Европе — сам король прусский Фридрих II. После разбойничьего захвата Силезии у Австрии он нуждался в дружбе Швеции и России и думал упрочить ее женитьбой наследников обеих этих держав. Елизавете очень хотелось женить своего племянника на прусской принцессе, но Фридриху жаль было расхотовать свою сестру на русских варваров, и он наметил ее за шведского наследника упомянутого выше ставленника Елизаветы из голштинских Адольфа-Фридриха для подкрепления своей дипломатической агентуры в Стокгольме, а за русского наследника хотел испоместить дочь своего верного фельдмаршала, бывшего штеттинского губернатора, рассчитывая создать из нее тоже надежного агента в столице страшной для него империи. Он сам признается в своих записках с большим самодовольством, что брак Петра и Екатерины — его дело, его идея, что он считал его необходимым для государственных интересов Пруссии и в Екатерине он видел лицо, наиболее пригодное для их обеспечения со стороны Петербурга. Все это и решило выбор Елизаветы, несмотря на то или скорее, между прочим, потому, что невеста по матери приходилась троюродной сестрой своему жениху. Елизавета считала голштинскую родню своей семьей и видела в этом браке свое семейное дело. Оставалось успокоить отца, старого лютеранина старой ортодоксальной школы, не допуская мысли о переходе дочери в греческую ересь, но его убедили, что религия у русских почти что лютеранская и даже почитание святых у них не приемлется. Помыслы 14-летней Екатерины шли навстречу тонким расчетам великого короля. В ней рано проснулся фамильный инстинкт: по ее признанию, уже с 7 лет у нее в голове начала бродить мысль о короне, разумеется, чужой, а когда принц Петр голштинский стал наследником русского престола, она «во глубине души предназначала себя ему», потому что считала эту партию самой значительной из всех возможных; позднее она откровенно признается в своих записках, что по приезде в Россию русская корона ей больше нравилась, чем особа ее жениха. Когда (в январе 1744 г.) из Петербурга пришло к матери в Цербст приглашение немедленно ехать с дочерью в Россию, Ека-

терина уговорила родителей решиться на эту поездку. Мать даже обиделась за своего влюбленного брата, которому Екатерина уже дала слово. «А мой брат Георг, что он скажет?» — укоризненно спросила мать. «Он только может желать моего счастья», — отвечала дочь, покраснев. И вот, окутанные глубокой тайной, под чужим именем, точно собравшись на недоброе дело, мать с дочерью спешно пустились в Россию и в феврале представились в Москве Елизавете. Весь политический мир Европы дался диву, узнав о таком выборе русской императрицы. Тотчас по приезде к Екатерине приставили учителей закона божия, русского языка и танцев — это были три основные предмета высшего образования при национально-православном и танцевальном дворе Елизаветы. Еще не освоившись с русским языком, заучив всего несколько расхожих фраз, Екатерина затвердила, «как попугай», составленное для нее исповедание веры и месяцев через пять по приезде в Россию при обряде присоединения к православию произнесла это исповедание в дворцовой церкви внятно и громко, нигде не запнувшись; ей дано было православное имя Екатерины Алексеевны в честь матери-императрицы. Это было первое торжественное ее выступление на придворной сцене, вызвавшее общее одобрение и даже слезы умиления у зрителей, но сама она, по замечанию иноземного посла, не проронила слезинки и держалась настоящей героиней. Императрица пожаловала новообращенной аграф и складень бриллиантовый в несколько сот тысяч рублей. На другой день, 29 июня 1744 г., чету обручили, а в августе 1745 г. обвенчали, отпраздновав свадьбу 10-дневными торжествами, перед которыми померкли сказки Востока.

Двор Елизаветы. Екатерина приехала в Россию совсем бедной невестой; она сама потом признавалась, что привезла с собой всего дюжину сорочек, да три-четыре платья, и то сшитые на вексель, присланный из Петербурга на путевые издержки; у нее не было даже постельного белья. Этого было очень мало, чтобы жить прилично при русском дворе, где во время одного дворцового пожара у Елизаветы сгорела только частица ее гардероба — до 4 тыс. платьев. Свои дворцовые наблюдения и впечатления тех лет Екатерина вспоминала потом с самодовольным спокойствием человека, издавека оглядывающегося на пройденную грязную дорогу. Дворец представлял не то маскарад с переодеванием, не то игорный дом. Дамы меняли костюмы по два, по три раза в день, императри-

ца — даже до пяти раз, почти никогда не надевая два раза одного и того же платья. С утра до вечера шла азартная игра на крупные суммы среди сплетен, подпольных интриг, пересудов, наущничества и флирта, флирта без конца. По вечерам сама императрица принимала деятельное участие в игре. Карты спасали придворное общежитие: другого общего примиряющего интереса не было у этих людей, которые, ежедневно встречаясь во дворце, сердечно ненавидели друг друга. Говорить прилично между собой им было не о чем; показать свой ум они умели только во взаимном злословии; заводить речь о науке, искусстве или о чем-либо подобном остерегались, будучи круглыми невеждами; половина этого общества, по словам Екатерины, наверное, еле умела читать и едва ли треть умела писать. Это была мундирная придворная лакейская, нравами и понятиями мало отличавшаяся от ливрейной, несмотря на присутствие в ее среде громких старофамильных имен, титулованных и простых. Когда играл фаворит граф А. Разумовский², сам держа банк и нарочно проигрывая, чтобы поддержать славу тороватого барина, статс-дамы и другие придворные крали у него деньги; действительный тайный советник и президент вотчинной коллегии министр своего рода князь Одоевский однажды тысячи полторы в шляпе перетаскал, отдавая краденые деньги в сенях своему слуге. С этими сановниками и поступали, как с лакеями. Жена самого бойкого государственного дельца при Елизавете — графа П. И. Шувалова служила молебны, когда ее муж возвращался с охоты того же Разумовского, не высеченный добродушным фаворитом, который бывал буен, когда напивался. Екатерина рассказывает, что раз на празднике в Ораниенбауме Петр III на глазах дипломатического корпуса и сотни русских гостей высек своих любимцев: шталмейстера Нарышкина, генерал-лейтенанта Мельгунова и тайного советника Волкова. Полоумный самодержец поступал со своими сановными фаворитами, как пьяный фаворит умной самодержицы мог поступить с любым придворным сановником. Тон придворной жизни давала сама императрица. Символизируя размеры и богатство своей империи, она являлась на публичных выходах в огромных фижмах и усыпанная брильянтами, ездила к Троице молиться во всех русских орденах, тогда существовавших. В будничном обиходе дворца царили нерящность и каприз; ни порядок придворной жизни, ни комнаты, ни выходы дворца не были устроены толково и

уютно; случалось, навстречу иноземному послу, являвшемуся во дворец на аудиенцию, выносили всякий мусор из внутренних покоев. Придворные дамы во всем должны были подражать императрице, но ни в чем не превосходить ее; осмелившиеся родиться красивее ее и одеться изящнее неминуемо шли на ее гнев: за эти качества она раз при всем дворе срезала ножницами «прелестное украшение из лент» на голове у обер-егермейстерши Нарышкиной. Раз ей понадобилось обрить свои белокурые волосы, которые она красила в черный цвет. Сейчас приказ всем придворным дамам обрить головы. С плачем расставались они со своими прическами, заменяя их безобразными черными париками. А то однажды, раздраженная пелладами своих четырех фаворитов, она в первый день пасхи разбранила всех своих 40 горничных, дала нагоняй певчим и священнику, испортила всем пасхальное настроение. Любя веселье, она хотела, чтобы окружающие развлекали ее веселым разговором, но беда — обмолвиться при ней хотя одним словом о болезнях, покойниках, о прусском короле, о Вольтере, о красивых женщинах, о науках, и все большею частью осторожно молчали. Елизавета с досадой бросала на стол салфетку и уходила.

Положение Екатерины при дворе. Екатерина ехала в Россию с мечтой о короне, а не о семейном счастье. Но в первое время по приезде она поддалась было иллюзии счастливого будущего: ей казалось, что великий князь любит ее даже страстно; императрица говорила, что любит ее почти больше, чем великого князя, осыпала ее ласками и подарками, из которых самые маленькие были в 10—15 тыс. руб. Но она скоро отрезвилась, почувствовав опасности, какими грозил ей двор, где образ мыслей был, переводя возможно мягче ее выражение, низкий испорченный (*lâche et corrompue*). Почва затряслась под ее ногами. Раз у Троицы сидят они с женихом на окне и смеются. Вдруг из комнат императрицы выбегает ее лейб-медик Лесток³ и объявляет молодой чете: «Скоро ваше веселье кончится». Потом, обратившись к Екатерине, он продолжал: «Укладывайте ваши вещи; вы скоро отправитесь в обратный путь домой!». Оказалось, что мать Екатерины перессорилась с придворными, замешалась в интригу французского уполномоченного, маркиза Шетарди⁴, и Елизавета решила выслать неугомонную губернаторшу с дочерью за границу. Ее потом и выслали, только без дочери. При этой опасности неожиданной раз-

луки жених дал понять невесте, что расстался бы с нею без сожаления. «Со своей стороны я,— прибавляет она как бы в отместку,— зная его свойства, и я не пожалела бы его, но к русской короне я не была так равнодушна». Незадолго до свадьбы она раздумалась над своим будущим. Сердце не предвещало ей счастья; замужество сулило ей одни неприятности. «Одно честолюбие меня поддерживало,— добавляет она, припоминая эти дни много после в своих записках,— в глубине души моей было я не знаю, что такое, что ни на минуту не оставляло во мне сомнения, что рано или поздно я добьюсь своего, сделаюсь самодержавной русской императрицей». Это предчувствие помогало ей не замечать или терпеливо переносить многочисленные терния, которыми был усыпан ее жизненный путь. После свадьбы 16-летняя вещая мечтательница вступила в продолжительную школу испытаний. Серо и черство началась ее семейная жизнь с 17-летним вечным недоростком. Впрочем, самые тяжкие уроки шли не со стороны мужа. С ним она еще кое-как, с грехом пополам уживалась. Он играл в свои куклы и солдаты, наделав глупостей, обращался за советом к жене, и та выручала его, выдавал ее головой в ее затруднениях, то принимался обучать ее ружейным приемам и ставить на караул, то ругал ее, когда проигрывал ей в карты, поверял ей свои амурные делишки с ее фрейлинами и горничными, нисколько не интересовался ее мыслями и чувствами и предоставлял ей заниматься вдоволь своими слезами и книгами. Так изо дня в день через длинный ряд лет тянулась супружеская жизнь, в которой царило полное равнодушие друг к другу, чуть не дружеское взаимное безучастие супругов, не имевших ничего общего, даже обоюдной ненависти, хотя они жили под одной кровлей и носили звание жены и мужа — не самый высокий, зато довольно привычный сорт семейного счастья в тех кругах. Настоящей тиранкой Екатерины была «дорогая тетушка». Елизавета держала ее, как дикую птицу в клетке, не позволяла ей выходить без спросу на прогулку, даже сходить в баню и переставить мебель в своих комнатах, иметь чернила и перья. Окружающие не смели говорить с ней вполголоса; к родителям она могла послать только письма, составленные в Коллегии иностранных дел; следили за каждым ее шагом, каждое слово подслушивалось и переносилось императрице с наговорами и вымыслами; сквозь замочные скважины подсматривали, что она делает одна в своих комнатах. Люди из

прислуги, которым она оказывала доверие или внимание, тотчас изгонялись из дворца. Раз по оскорбительному доносу ее заставили говеть в неурочное время только для того, чтобы через духовника выяснить ее отношение к красивому лакею, с которым она обменялась несколькими словами через залу в присутствии рабочих, и чтобы живее дать ей почувствовать, что для набожного двора нет ничего святого, именем императрицы ей запретили долго плакать по умершем отце на том основании, что он не был королем: не велика-де потеря. До поздних лет Екатерина не могла без сердечного возмущения вспомнить о таком бессердечии. Ласки и безумно щедрые подарки чередовались с более частыми грубыми выговорами, которые были тем обиднее, что нередко пересылались через лакеев; делая это лично, Елизавета доходила до иступления, грозившего побоями. «Не проходило дня,— пишет Екатерина,— чтобы меня не бранили и не ябедничали на меня». После одной из непристойных сцен, когда Елизавета наговорила «тысячу гнусностей», Екатерина поддалась было ужасному порыву: вошедшая к ней горничная застала ее с большим ножом в руке, который, к счастью, оказался так туп, что не одолел даже корсета.

Образ действий Екатерины. Это был минутный упадок духа перед невзгодами жизни. Но Екатерина явилась в Россию со значительной подготовкой ко всяким житейским невздам. В ранней молодости она много видела. Родившись в Штеттине, она подолгу жила на попечении бабушки в Гамбурге, бывала в Брауншвейге, в Киле и в самом Берлине, где видела двор прусского короля. Все это помогло ей собрать обильный запас наблюдений и опытов, развило в ней житейскую сноровку, привычку распознавать людей, будило размышление. Может быть, эта житейская наблюдательность и вдумчивость при ее природной живости была причиной и ее ранней зрелости: в 14 лет она казалась уже взрослой девушкой, поражала всех высоким ростом и развитостью не по летам. Екатерина получила воспитание, которое рано освободило ее от излишних предрассудков, мешающих житейским успехам. В то время Германия была наводнена французскими гугенотами, бежавшими из отечества после отмены Нантского эдикта Людовиком XIV⁵. Эти эмигранты принадлежали большею частью к трудолюбивому французскому мещанству; они скоро захватили в свои руки городские ремесла в Германии и начали овладевать

воспитанием детей в высших кругах немецкого общества. Екатерину обучали закону божию и другим предметам французский придворный проповедник патер Перар, ревностный служитель папы, лютеранские пасторы Дове и Вагнер, которые презирали папу, школьный учитель кальвинист Лоран, который презирал и Лютера и папу, а когда она приехала в Петербург, наставником ее в греко-российской вере назначен был православный архимандрит Симон Тодорский, который со своим богословским образованием, довершенным в немецком университете, мог только равнодушно относиться и к папе, и к Лютеру, и к Кальвину⁶, ко всем вероисповедным делителям единой христианской истины. Можно понять, какой разнообразный запас религиозных мирозерцаний и житейских взглядов можно было набрать при столь энциклопедическом подборе вероучителей. Это разнообразие, сливавшееся в бойкой 15-летней голове в хаотическое религиозное безразличие, очень пригодилось Екатерине, когда в ней, заброшенной к петербургскому двору ангальт-цербст-голштинской судьбой и собственным честолюбием, по ее словам, среди непрерывных огорчений «только надежда или виды не на небесный венец, а именно на венец земной поддерживали дух и мужество». Для осуществления этих видов понадобились все наличные средства, какими ссудили ее природа и воспитание и какие она приобрела собственными усилиями. В детстве ей твердили, и она сама знала с семи лет, что она очень некрасива, даже совсем дурнушка, но знала и то, что она очень умна. Поэтому недочеты наружности предстояло восполнять усиленной разработкой духовных качеств. Цель, с какой она ехала в Россию, дала своеобразное направление этой работе. Она решила, что для осуществления честолюбивой мечты, глубоко запавшей в ее душу, ей необходимо всем нравиться, прежде всего мужу, императрице и народу. Эта задача сложилась уже в 15-летней голове в целый план, о котором она говорит приподнятым тоном, не без религиозного одушевления, как об одном из важнейших дел своей жизни, совершавшемся не без воли провидения. План составлялся, по ее признанию, без чьего-либо участия, был плодом ее ума и души и никогда не выходил у нее из виду: «Все, что я ни делала, всегда клонилось к этому, и вся моя жизнь была изысканием средств, как этого достигнуть». Для этого она не щадила ни своего ума, ни сердца, пуская в оборот все средства от искренней привязанности до простой угодливости. Задача облег-

чалась тем, что она хотела нравиться надобным людям независимо как от их достоинств, так и от своего внутреннего к ним отношения; умные и добрые были благодарны ей за то, что она их понимает и ценит, а злые и глупые с удовольствием замечали, что она считает их добрыми и умными; тех и других она заставляла думать о ней лучше, чем она думала о них. Руководясь такой тактикой, она обращалась со всеми как можно лучше, старалась снискать себе расположение всех вообще, больших и малых, или по крайней мере смягчить неприязнь людей, к ней не расположенных, поставила себе за правило думать, что она во всех нуждается, не держалась никакой партии, ни во что не вмешивалась, всегда показывала веселый вид, была предупредительна, внимательна и вежлива со всеми, никому не давая предпочтения, оказывала великую почтительность матушке, которой не любила, беспредельную покорность императрице, над которой смеялась, отличное внимание к мужу, которого презирала, — «одним словом, всеми средствами старалась снискать расположение публики», к которой одинаково причисляла и матушку, и императрицу, и мужа. Поставив себе за правило нравиться людям, с какими ей приходилось жить, она усваивала их образ действий, манеры, нравы и ничем не пренебрегала, чтобы хорошенько освоиться с обществом, в которое втолкнула ее судьба. Она вся превратилась, по ее словам, в зрителя, весьма старательного, весьма скромного и даже видимо равнодушного, между тем прибегала к расспросам прислуги, обоими ушами слушала рассказы словоохотливой камер-фрау, знавшей соблазнительную хронику всех придворных русских фамилий со времен Петра Великого, и даже раньше, запаслась от нее множеством анекдотов, весьма пригодившихся ей для познания окружавшего ее общества, наконец, не брезгала даже подслушиванием. Во время продолжительной и тяжелой болезни вскоре по приезде в Россию Екатерина привыкла лежать с закрытыми глазами; думая, что она спит, приставленные к ней придворные женщины, не стесняясь, делились друг с другом рассказами, из которых она, не разрушая их заблуждения, узнавала много такого, чего никогда не узнала бы без такой уловки. «Я хотела быть русской, чтобы русские меня любили». По усвоенному ею способу нравиться это значило и жить по-русски, т. е. как жили толкавшиеся перед ней русские придворные. В первое время, по ее словам, она «с головой окунулась» во все дрязги

двора, где игра и туалет наполняли день, стала много заботиться о нарядах, вникать в придворные сплетни, азартно играть и сильно проигрываться, наконец, заметив, что при дворе все любят подарки от последнего лакея до великого князя-наследника, принялась сорить деньгами направо и налево; стоило кому похвалить при ней что-нибудь, ей казалось уже стыдно этого не подарить. Назначенных ей на личные расходы 30 тыс. руб. не хватало, и она входила в долги, за что получала обидные выговоры от императрицы. Она занимала десятки тысяч даже с помощью английского посла, что уже было близко к политическому подкупу, и к концу жизни Елизаветы довела свой кредит до такого истощения, что не на что стало сшить платья к рождеству. К тому времени по ее смете, не считая принятых ею на себя долгов матери, она задолжала свыше полумиллиона — не менее 3 млн. руб. на наши деньги — «страшная сумма», «которую я выплатила по частям лишь по восшествии своем на престол». Она прилагала свое правило и к другой хорошо подмеченной ею особенности елизаветинского двора, где религиозное чувство сполна разменялось на церковные повинности, исполняемые за страх или из приличия, подчас не без чувствительности, но и без всякого беспокойства для совести. С самого прибытия в Россию она прилежно изучала обряды русской церкви, строго держала посты, много и усердно молилась, особенно при людях, даже иногда превосходя в этом желания набожной Елизаветы, но страшно сердя тем своего мужа. В первый год замужества Екатерина говела на первой неделе великого поста. Императрица выразила желание, чтобы она постилась и вторую неделю. Екатерина ответила ей просьбой позволить ей есть постное все семь недель. Не раз заставляли ее перед образами с молитвенником в руках.

Ее занятия. Как ни была она гибка, как ни гнулась под русские придворные нравы и вкусы, окружающие чувствовали и давали ей понять, что она им не ко двору, не их поля ягода. Ни придворные развлечения, ни осторожное кокетство с придворными кавалерами, ни долгие остановки перед зеркалом, ни целодневная езда верхом, ни летние охотничьи блуждания с ружьем на плече по побережьям под Петергофом или Ораниенбаумом не заглушали чувства скуки и одиночества, просыпавшегося в ней в минуты раздумья. Покинуть родину для далекой страны, где надеялась найти второе отечество, и очутить-

ся среди людей одичалых и враждебных, где слова по душе сказать не с кем и никого не приручишь никакой уживчивостью,— в таком положении минутами меркла светлая мечта честолюбия, которая завела ее в такую нелюдимую пустыню. В первое время Екатерина много плакала втихомолку. Но всегда готовая к борьбе и самообороне, она не хотела сдаваться и из уныния сделала средство самовоспитания, духовного закала. Всего больше боялась она показаться жалкой, беззащитной жертвой. Выходки императрицы возмущали ее как человека; пренебрежение со стороны мужа оскорбляло ее как жену и как женщину; самолюбие ее страдало, но из гордости она не показывала своих страданий, не жаловалась на свое унижение, чтобы не стать предметом обидного сострадания. Наедине она обливалась слезами, но тотчас тихонько утирала глаза и с веселым лицом выбегала к своим фрейлинам. Настоящую, надежную союзницу в борьбе со скукой Екатерина встретила в книге. Но она не сразу нашла свою литературу. В Германии и в первое время по приезде в Россию она не обнаруживала особой охоты к чтению. Незадолго до свадьбы один образованный и уважаемый ею иностранец, опасаясь тлетворного влияния русского двора на ее ум, посоветовал ей читать серьезные книги, между прочим, «Жизнь Цицерона» и Монтескье⁷ о причинах величия и упадка Римской республики. С большим трудом <она> достала эти книги в Петербурге, но прочла две страницы о Цицероне, потом принялась за Монтескье, который заставил ее задуматься, но, не будучи в состоянии читать последовательно, она стала зевать и, сказав, вот хорошая книга, бросила ее, чтобы вернуться к нарядам. Однако невыносимо bestоловая жизнь, какую устроила своей племяннице Елизавета. пошлая компания (*l'insipite compagnie*), какой окружена была Екатерина, бессмысленные разговоры, которые она каждый день вокруг себя слышала, научили ее читать внимательнее, сделали для нее книгу убежищем от тоски и скуки. После свадьбы она, по ее словам, только и делала, что читала. «Никогда без книги и никогда без горя, но всегда без развлеченія» — так очерчивает Екатерина свое тогдашнее времяпровождение. В шуточной эпиграфии, которую она написала себе самой в 1778 г., она признается, что в течение 18 лет скуки и уединения (замужество) она имела достаточно времени, чтобы прочесть много книг. Сначала она без разбора читала романы; потом ей попались под руку сочинения Вольтера⁸,

которые произвели решительный перелом в выборе ее чтения: она не могла от них оторваться и не хотела, прибавляет она в письме к самому Вольтеру, читать ничего, что не было так же хорошо написано и из него нельзя было бы извлечь столько пользы. Но чтение не было для нее только развлечением. Потом она принимается за историю Германии, изданную в 1748 г. французским каноником Барром в 10 тяжеловесных томах, усидчиво прочитывая по одному тому в 8 дней, столь же регулярно изучает огромный, в четырех объемистых томах философский словарь Бэйля⁹, прочитывая по тому в полгода. Трудно даже представить себе, как она справлялась с этим словарем, продираясь сквозь чашу ученых цитат, богословских и философских учений, не все в них понимая, и как производила в своей голове логическое размещение познаний, извлекаемых из источника в алфавитном беспорядке. В то же время она прочитала множество русских книг, какие могла достать, не пугаясь очень трудных по неуклюжему изложению. Екатерина превращала свой спорт в регулярную работу, а работу любила доводить до крайнего напряжения сил, терпеливо коротала долгие часы в своей комнате за Барром или Бэйлем, как летом в Ораниенбауме по целым утрам блуждала с ружьем на плече или по 13 часов в сутки скакала верхом. Ее не пугало переутомление. Словно она пробоvala себя, делала смотр своим силам, физическим и умственным; ее как будто занимало в чтении не столько содержание читаемого, сколько упражнение внимания, гимнастика ума. И она изошрila свое внимание, расширила емкость своей мысли, без труда прочитала даже «Дух законов» Монтескье, вышедший в том же 1748 г., не швырнула его, зевая, со словами, что это хорошая книга, как прежде поступала она с другой книгой того же писателя, а «Анналы» Тацита своей глубокой политической печалью произвели даже необыкновенный переворот в ее голове, заставив ее видеть многие вещи в черном свете и углубляться в интересы, которыми движутся явления, проносиющиеся перед глазами.

Испытания и успехи. Но Екатерина не могла корпеть над своими учеными книгами спокойной академической отшельницей: придворная политика, от которой ее ревниво и грубо отталкивали, задевала ее за живое, была прямо по чувству личной безопасности. Ее выписали из Германии с единственной целью добыть для русского престола запасного наследника на всякий случай при фи-

зической и духовной неблагонадежности штатного. Долго, целых 9 лет, не могла она исполнить этого поручения и за такое замедление потерпела немало горестей. Впрочем, и рождение великого князя Павла (20 сентября 1754 г.) не заслужило ей приличного с ней обращения. Напротив, с ней стали поступать, как с человеком, исполнившим заказанное дело и ни на что более ненужным. Новорожденного как государственную собственность тотчас отобрали от матери и впервые показали ей только спустя 40 дней. Больную, заливавшуюся слезами и стонавшую, бросили одну без призора в дурном помещении между дверьми и плохо затворявшимися окнами, не переменяли ей белья, не давали пить. В это время великий князь на радостях пил со своей компанией, едва повернувшись у жены, чтобы сказать ей, что ему некогда с ней оставаться. Императрица подарила Екатерине 100 тыс. руб. за рождение сына. «А мне зачем ничего не дали?» — сказал страшно рассерженный Петр. Елизавета велела и ему дать столько же. Но в кабинете не оказалось ни копейки, и секретарь кабинета ради бога выпросил у Екатерины займы пожалованные ей деньги, чтобы передать их великому князю. Она старалась укрепить свое шаткое положение, всеми мерами и с заслуженным успехом приобретая сочувствие в обществе. Она хорошо говорила и даже порядочно писала по-русски; господствовавшая при дворе безграмотность извиняла ее промахи в синтаксисе и особенно в орфографии, где она в слове из трех букв делала четыре ошибки (исчо — еще). В ней замечали большие познания о русском государстве, какие редко встречались тогда среди придворного и правительственного невежества. По словам Екатерины, она, наконец, добилась того, что на нее стали смотреть, как на интересную и очень неглупую молодую особу, а иноземные послы незадолго до Семилетней войны писали про Екатерину, что теперь ее не только любят, но и боятся, и многие, даже те, кто находится в лучших отношениях к императрице, все-таки ищут случая под рукой угодить и великой княгине.

Граф А. П. Бестужев-Рюмин. Но общественное мнение в России и тогда, как всегда, было плохой опорой всякого политического положения. Екатерина искала более надежного союзника. Чрезвычайно пронзливый и подозрительный, непоколебимый в своих мнениях, упорный, деспотичный и мстительный, неуживчивый и часто мелочный, как характеризует его Екатерина, канцлер

граф А. П. Бестужев-Рюмин резко выделялся из толпы придворных ничтожеств, какими окружала себя Елизавета. Заграничный выученик Петра Великого, много лет занимавший дипломатические посты за границей, Бестужев-Рюмин хорошо знал отношения европейских кабинетов. Потом — креатура Бирона в кабинете министров императрицы Анны, присужденный к четвертованию, но помилованный после падений регента и из ссылки призванный к делам императрицей Елизаветой, он приобрел мастерство держаться при петербургском дворе, в среде, лишенной всякой нравственной и политической устойчивости. Ум его, весь сотканный из придворных каверз и дипломатических конъюнктур, привык додумывать каждую мысль до конца, каждую интригу доплетать до последнего узла, до всевозможных последствий. Раз составив мнение, он проводил его во что бы ни стало, ничего не жалея и никого не щадя. Он решил, что захватчивый король прусский опасен для России, и не хотел идти ни на какие сделки с разбойничьим государством, каким тогда слыла в Европе Пруссия. Он и Екатерину встретил враждебно, видя в ней прусского агента. И этому врагу, от которого она ждала себе всякого зла, она первая протянула руку, подхваченную с недипломатической доверчивостью. И они стали друзьями, как люди, молчаливо понявшие друг друга и умевшие вовремя забыть, чего не следовало помнить, приберегая, однако, за пазухой камень друг против друга. Их сблизили общие враги и опасности. С императрицей начались болезненные припадки. В случае ее смерти при императоре Петре III, настоящем прусском агенте, Бестужеву грозила ссылка из-за Пруссии, Екатерине — развод и монастырь из-за Воронцовой. Личные и партийные вражды усугубляли опасность. В женские царствования XVIII в. фавориты заместили роль прежних цариц, приводивших ко двору свою родню, которая и мучила придворную жизнь. У дряхлевшей Елизаветы явился новейший молодой фаворит И. И. Шувалов, который поднял придворный курс своей фамилии с ее приверженцами. Они увеличили число врагов страшного и ненавистного канцлера, которыми и без того был полон двор; они стали недругами и Екатерины за ее дружбу с Бестужевым. Оба друга насторожились и стали готовиться. Бестужев сочинил и сообщил Екатерине план, по которому она в случае смерти Елизаветы провозглашалась соправительницей своего мужа, а канцлер, оставаясь руководителем внешней по-

литики, становился во главе гвардейских полков и всего военного управления, сухопутного и морского. Но сотрудничество с мужем обещало Екатерине быть не более удачным, чем было супружество. Она хотела полной, а не долевого власти, решилась, по ее словам, царствовать или погибнуть. «Или умру, или буду царствовать»,— писала она своим друзьям. Она стала запасаться средствами и сторонниками, выпросила займы на подарки и подкупы 10 тыс. фунтов стерлингов у английского короля, обязавшись честным словом действовать в общих англо-русских интересах, стала помышлять о привлечении гвардии к делу в случае смерти Елизаветы, вступила в тайное соглашение об этом с гетманом К. Разумовским, командиром одного из гвардейских полков; вмешивалась исподтишка при участии канцлера в текущие политические дела. Но Семилетняя война налетела вихрем на обоих заговорщиков; канцлер повалился, Екатерина удержалась на ногах. Бестужев-Рюмин привык соединять в своей вражде Пруссию и Францию, друга Англии, а английская пенсия в 12 тыс. руб., подкрепляя 7-тысячный русский канцлерский оклад, подогревала его неостывшее убеждение в единстве интересов России и Англии. Теперь международные отношения перевернулись: Франция очутилась на стороне врагов Пруссии, а Англия дружила Фридриху II. Бестужев не умел извернуться; Шуваловы подорвали доверие к нему Елизаветы, и в феврале 1758 г. он был арестован. Он и Екатерина успели сжечь опасные бумаги; но следствие вскрыло их секретные сношения, ее переписку с главнокомандующим русской армии, действовавшей против Фридриха, строго воспрещенное вмешательство в политику. Императрица была страшно раздражена. В обществе пошли толки, будто Екатерину собираются выслать из России. «Надобно раздавить змею»,— шептали Петру враги Екатерины. Придворные боялись говорить с ней, как с опальной. Непристойная выходка великого князя сделала ее положение еще более щекотливым. Около того времени она опять готовилась стать матерью. Шальной супруг по этому поводу высказал окружающим свое крайнее недоумение. Екатерина выпрямилась во весь рост и приготовилась к самообороне. На угрозу высылкой она отвечала встречным ходом, написала императрице по-русски решительное письмо с просьбой отпустить ее домой в Германию, так как жить в России среди ненависти мужа и немилости императрицы стало для нее невыносимым.

мо. Елизавета обещала поговорить с ней; но разговор заставил ждать себя томительно долго. Екатерина измучилась и исплакалась, похудела, наконец, сказалась больной и потребовала духовника. Встревоженный гофмаршал граф А. Шувалов привел докторов, но она объявила им, что, умирая, нуждается в духовной помощи, что душа ее в опасности, а телу врачи уж больше не нужны. Дубянский, ее и императрицын духовник, выслушав ее подробный рассказ о своем положении, мигом устроил дело. Через день, уже за полночь, Екатерину позвали. Фаворит советовал ей для успеха оказать императрице хоть маленькую покорность. Екатерина пошла и на большую, бросилась на колени перед Елизаветой и не встала, когда та попыталась поднять ее. «Вы хотите, чтобы я отпустила вас к родным? — сказала Елизавета со слезами на глазах, — но у вас дети». — «Они в ваших руках, и лучше для них ничего не может быть». — «Но как объяснить обществу эту высылку?» — возразила Елизавета. — «Ваше величество объявите, если найдете удобным, чем я навлекла на себя вашу немилость и ненависть великого князя». — «А чем вы будете жить у своих родных?» — «Чем жила перед тем, как вы удостоили взять меня сюда». Елизавета была сбита с позиции и, вторично велев Екатерине встать, в раздумье отошла в сторону, чтобы сообразить, что делать дальше. Вспомнив, что она пришла распекать великую княгиню, она принялась упрекать ее во вмешательстве не в свои дела, в политику, попрекнула ее чрезмерной гордостью, напомнила, как четыре года назад она не хотела поклониться ей, императрице, как следует, и прибавила: «Вы воображаете, что никого нет умнее вас». Екатерина отвечала на все отчетливо и почтительно, а на последний упрек возразила, что если бы она так думала о себе, то не допустила бы себя до настоящего глупого положения. Во все это время великий князь поодаль шептался с графом Шуваловым. Уверенный, что Екатерине не выздороветь, он на радостях в этот самый день дал своей Воронцовой слово жениться на ней, как только овдовеет. Теперь, вовлеченный в разговор, в досаде, что Екатерина вовсе не собирается умирать, он набросился на нее. Та отвечала твердо и сдержанно на его озлобленные и нелепые речи. Ходя взад и вперед по комнате, Елизавета все более смягчалась и, подошедши к Екатерине, добродушно вполголоса сказала ей: «У меня еще много о чем говорить с вами», и при этом дала ей понять,

что не хочет говорить при свидетелях. «Я также не могу говорить, как ни сильно хочется мне открыть вам мое сердце и душу», — поспешила сказать Екатерина чуть слышно. Задушевный шепот дошел по назначению, тронул Елизавету; у ней навернулись слезы, и, чтобы скрыть свое волнение, «она отпустила нас» под предлогом позднего часа. Так описывает сама Екатерина этот полуторачасовой томительный разговор. Две захватчицы престола сцепились, и будущая одолела: ее же потом упрасивали не делать того, чем ей грозили, отказаться от мысли о возвращении в отечество, сильно-де печалившей императрицу и всех честных людей. Впечатление, вынесенное из разговора, Елизавета выразила окружающим в отзыве, что племянник ее — дурак, а великая княгиня очень умна.

Екатерина при императоре Петре III. Так Екатерина с бою взяла свое положение и к концу царствования Елизаветы настолько его упрочила, что благополучно прошла сквозь все придворные превратности. Умея уступить печальным обстоятельствам, она примирилась с незавидным положением молодой брошенной жены, даже извлекла из этого положения свои выгоды. Супружеский раздор помог разьединению политической судьбы супругов: жена пошла своей дорогой. Под конец жизни Елизавета совсем опустилась; ежедневные занятия ее, по словам Екатерины, сделались сплошной цепью капризов, ханжества и распушенности; нервы ее, развинченные мелкими раздражениями зависти и тщеславия, не давали ей покоя; ее мучила боязнь, как бы и ее не постигла участь, какую она сама устроила Анне Леопольдовне. Женщина без твердых правил и без всякого серьезного дела, но настолько умная, чтобы понимать нелепость своего положения, она впала в безысходную скуку, от которой спасалась только тем, что спала, сколько было возможно. В таком состоянии она могла уступить настойчивому представлению приближенных о необходимости изменить престолонаследие. При дворе одни думали о шестилетнем цесаревиче Павле с удалением из России обоих его родителей, другие хотели выслать только отца, видя в матери опору порядка; те и другие с тревогой ждали смерти Елизаветы, ничего не чая от ее племянника для России, кроме бедствий. В самой Елизавете эта тревога доходила минутами до ужаса, но, отвыкнув думать о чем-либо серьезно, она колебалась, а фавориты не внушили ей решимости. Воцарился Петр III. С пер-

вых же дней его царствования с Екатериной стали обращаться презрительно. Но роль жертвы была уже ей знакома; французский посол Бретейль¹⁰ в своих депешах вел дневник ее исполнения. В начале апреля 1762 г. он писал: «Императрица старается вооружиться философией, хотя это и противно ее характеру». В другой депеше он сообщает: «Люди, выдающие императрицу, говорят, что она неузнаваема, чахнет и, вероятно, скоро сойдет в могилу». Но она не сошла в могилу, но все время твердым, хотя и неслышным шагом шла по намеченному пути, подкрадываясь к престолу. Весь Петербург, приходя во дворец поклониться праху Елизаветы, видел Екатерину в глубоком трауре благоговейно стоящей у гроба покойной. При погребении она усерднее всех исполняла похоронные обряды русской церкви; и духовенство и народ были этим очень тронуты, и тем больше крепло их доверие к ней среди усиливавшегося ропота на безумства императора. По словам того же посла, она строго соблюдала все праздники и посты, все, к чему император относился так легкомысленно и к чему русские так равнодушны. Тот же посол вопреки своему апрельскому пророчеству о скорой смерти императрицы в начале июня должен был написать, что императрица обнаруживает мужество, ее любят и уважают все в такой же степени, в какой ненавидят императора. Мы видели, как воспользовалась Екатерина общим недовольством, особенно в гвардии, и со своими сообщниками произвела переворот, положивший конец шестимесячному царствованию Петра III.

Характер. Она родилась в неприветливой доле и рано спознала с лишениями и тревогами, неразлучными с необеспеченным положением. Но из родной обстановки, бедной и тесной, судьба в ранней молодости бросала ее на широкие и шумные политические сцены, где действовали крупные люди и делались крупные дела. Здесь Екатерина видела много славы и власти, обилие блеска и богатства, встречала людей, которые всем рисковали для приобретения этого, подобно Фридриху II, видела и людей, которые путем риска добивались всего этого, подобно императрице Елизавете. Виденные примеры соблазнили, возбуждали аппетит честолюбия, побуждая напрягать все силы в эту сторону, а Екатерина от природы не была лишена качеств, из которых при надлежащей выработке выделяются таланты, необходимые для успеха на таком соблазнительном и скользком поприще.

Екатерина выросла с мыслью, что ей самой надобно прокладывать себе дорогу, делать карьеру, вырабатывать качества, необходимые для этого, а замужество доставило ей отличную практику такой работы, не только указало цель ее честолюбию, но и сделало достижение этой цели вопросом личной безопасности. И она умело повела свою работу. С детства ей толковали, что она некрасива, и это рано заставило ее учиться искусству нравиться, искать в душе того, чего не доставало наружности. Чтобы быть чем-нибудь на свете, писала она, припоминая свои детские думы, надобно иметь нужные для того качества; заглянем-ка хорошенько внутрь себя, имеются ли у нас такие качества, а если их нет, то разовьем их. И она открывала или развивала в себе свойства высокой житейской ценности, отчетливое знание своего духовного инвентаря, самообладание без сухости, живость без возбуждения, гибкость без вертлявости, решительность без опрометчивости. Ее трудно было застать врасплох; она всегда была в полном сборе; частый смотр держал ее силы наготове, в состоянии мобилизации, и в житейских столкновениях она легко направляла их против людей и обстоятельств. В обращении она пускала в ход бесподобное умение слушать, терпеливо и внимательно выслушивать всякий вздор, угадывать настроение, робкие или не находившие слов мысли собеседника и шла им на подмогу. Это подкупало, внушало доверие, располагало к откровенности; собеседник чувствовал себя легко и непринужденно, словно разговаривал сам с собой. К тому же наперекор обычной склонности людей замечать чужие слабости, чтобы пользоваться ими во вред другим, Екатерина предпочитала изучать сильные стороны других, которые при случае можно обратить в свою пользу, и умела указать их самому обладателю. Люди вообще не любят чужих поисков в своей душе, но не сердятся, даже бывают тронуты, когда в них открывают достоинства, особенно малозаметные для них самих. В этом умении дать человеку почувствовать, что есть в нем лучшего, тайна неотразимого обаяния, какое, по словам испытавшей его на себе княгини Дашковой, Екатерина производила на тех, кому хотела нравиться, а она хотела нравиться всем и всегда, считая это своим ремеслом. Увоенная ею манера обхождения с людьми сослужила ей неоценимую службу в правительственной деятельности. Она обладала в высокой степени искусством, которое принято называть даром внушения, умела не приказыв-

вать, а подсказывать свои желания, которые во внушаемом уме незаметно перерождались в его собственные идеи и тем усерднее исполнялись. Наблюдательное обращение с людьми научило ее узнавать их коньки, и, посадив такого дельца на его конька, она предоставляла ему бежать, как мальчику верхом на палочке, и он бежал и бежал, усердно подстегивая самого себя. Она умела чужое самолюбие делать орудием своего честолюбия, чужую слабость обращать в свою силу. Своим обхождением она облагодарила жизнь русского двора, в прежние царствования походившего не то на цыганский табор, не то на увеселительное место. Заведен был порядок времяпровождения; не требовались строгие нравы, но обязательны были приличные манеры и пристойное поведение. Вежливая простота обхождения самой Екатерины даже с дворцовыми слугами была совершенным новшеством после обычной грубости прежнего времени. Только под старость она стала слабеть, капризничать и прикрикивать, впрочем, всегда извиняясь перед обиженным с признанием, что становится нетерпеливой. Как с людьми, точно так же поступала она и с обстоятельствами. Она старалась примениться ко всякой обстановке, в какую попадала, как бы она ни была противна ее вкусам и правилам. «Я, как Алкивиад¹¹, уживусь и в Спарте, и в Афинах»,— говорила она, любя сравнивать себя с героями древности. Но это значит поступаться своими местными привязанностями, даже нравственными убеждениями. Так что же? Она ведь была эмигрантка, добровольно променявшая природное отечество на политическое, на чужбину, избранную поприщем деятельности. Любовь к отечеству была для нее воспоминанием детства, а не текущим чувством, не постоянным мотивом жизни. Ее происхождение мелкой принцессы северной Германии, гибкость ее природы, наконец, дух века помогли ей отрешиться от территориального патриотизма. Из ангальт-цербстского лукошка ей было нетрудно подняться на космополитическую точку зрения, на которую садилась тогдашняя философская мысль Европы, а Екатерина сама признавалась, что «свободна от предрассудков, и от природы ума философского». При всем том она была слишком конкретный человек, слишком живо чувствовала свои реальные аппетиты, чтобы витать в заоблачной космополитической пустыне, довольствуясь голодной идеей всечеловечества. Ее манила земная даль, а не небесная высь. Оправдываясь в усвоении образа

жизни русского двора, о котором она отзывалась как нельзя хуже, она писала в записках, что ставила себе за правило нравиться людям, с какими ей приходилось жить. Необходимость жить с людьми не по выбору заставила ее с помощью философского анализа пополнить это правило, чтобы спасти хоть тень нравственной независимости: среди чужих и противных людей жить по-ихнему, но думать по-своему.

Для Екатерины жить смелоду значило работать, а так как ее житейская цель состояла в том, чтобы уговорить людей помочь ей выбиться из ее темной доли, то ее житейской работой стала обработка людей и обстоятельств. По самому свойству этой работы она в других нуждалась гораздо больше, чем другие нуждались в ней. Притом судьба заставила ее долго вращаться среди людей, более сильных, но менее дальновидных, которые вспоминали об ней только тогда, когда она им надобилась. Потому она равно усвоила себе мысль, что лучшее средство пользоваться обстоятельствами и людьми — это плыть до времени по течению первых и служить не слепым, но послушным орудием в руках вторых. Она не раз отдавалась в чужие руки, но только для того, чтобы ее донесли до желаемого ею места, до которого она не могла сама добраться. В этом житейском правиле источник сильных и слабых свойств ее характера и деятельности. Применяясь к людям, чтобы приручить их, она и с их стороны ждала взаимности, расположения стать ручными. Людей упрямых, с неподатливым характером или готовых идти напролом она не любила; они и не подходили к ней или уходили от нее, так что ее победы над чужими душами облегчались нечувствительным для нее подбором субъектов. С другой стороны, она была способна к напряжению, к усиленному, даже непосильному труду, и потому себе и другим казалась сильнее самой себя. Но она больше привыкла работать над своими манерами и над способом обращения с людьми, чем над самой собой, над своими чувствами и побуждениями; потому ее манеры и обращение с людьми были лучше ее чувств и побуждений. В ее мышлении было больше гибкости и восприимчивости, чем глубины и вдумчивости, больше выправки, чем творчества. Недостаток нравственного внимания и самостоятельной мысли сбивали Екатерину с правильного пути развития, на который она была поставлена своей счастливой природой. Она рано поняла, что познание людей каждый должен начинать с самого себя.

Екатерина принадлежала к числу довольно редких людей, умеющих взглянуть на себя со стороны, как говорится, объективно, как на любопытного прохожего. Она подмечала в себе слабости и недостатки с каким-то самодовольством, не прикрашивая их, называя настоящими именами, без малейшего угрызения совести, без всякого позова к сожалению или раскаянию. Будучи 15 лет она написала наскоро для одного образованного иностранца свой философский портрет. Спустя 13 лет она перечитала это свое изображение «философа в 15 лет» и была поражена, что в таком возрасте так уже хорошо знала все изгибы и тайники своей души. Это удивление и было каплей искустельного яда, попавшей в ее самопознание. Она не сводила глаз с любопытного прохожего, и на ее глазах он вырастал в обаятельный образ; природная гордость и закал души среди горестей делали для него невыносимой мысль быть несчастным; он являлся рыцарем чести и благородства и даже начинал перерождаться из женщины в мужчину. Екатерина пишет про себя в записках, что у нее ум и характер, несравненно более мужской, чем женский, хотя при ней оставались все приятные качества женщины, достойной любви. Древо самопознания без достаточного нравственного удобрения дало нездоровый плод — самомнение.

В сочинениях Екатерины отразились и разнообразные интересы, и увлечения ее возбужденной мысли. Немка по рождению, француженка по любимому языку и воспитанию, она занимает видное место в ряду русских писателей XVIII в. У нее были две страсти, с годами превратившиеся в привычки или ежедневные потребности, — читать и писать. В свою жизнь она прочла необъятное количество книг. Уже в преклонные лета она признавалась своему секретарю Храповицкому, что читала книг по шести вдруг. Начитанность возбуждала ее литературную производительность. Она много писала по-французски и даже по-русски, хотя с ошибками, над которыми подшучивала. Обойтись без книги и пера ей было так же трудно, как Петру I без топора и токарного станка. Она признавалась, что не понимает, как можно провести день, не измарав хотя одного листа бумаги. Недавно наша Академия наук издала ее сочинения в 12 объемистых томах. Она писала в самых разнообразных родах: детские нравоучительные сказки, педагогические инструкции, политические памфлеты, драматические пьесы, автобиографические записки, сотрудничала в журналах, переводила

ла из Плутарха¹² жизнь Алкивиада и даже составила житие преп. Сергия Радонежского. Когда у нее появились внуки, она принялась для них за русские летописи, заказывала выписки и справки профессору Чеботареву¹³, графу Мусину-Пушкину¹⁴ и другим лицам и составила удобочитаемые записки по русской истории в частях с синхронистическими и генеалогическими таблицами. «Вы все твердите мне, что я пройдоха,— писала она Гримму,— а я вам скажу, что стала настоящей архивной крысой»¹⁵. Ее сочинения не обнаруживают самобытного таланта. Но она была очень переимчива и так легко усвоила чужую идею, что присвоила ее себе; у нее то и дело слышны отзвуки и перепевы то мадам Севинье¹⁶, то Вольтера, Монтескье, Мольера¹⁷ и т. п. Это особенно заметно в ее французских письмах, до которых она была большая охотница. Ее переписка с Вольтером и заграничным агентом бароном Гриммом — это целые томы. Она превосходно усвоила стиль и манеру своих образцов, современных французских писателей, особенно их изящное и остроумное балагурство. Содержание очень разнообразно, но тон везде одинаков, видимо непринужденный и изысканно-игривый, и таким тоном она пишет и о таинстве евхаристии, и о политике, и о своем дворе, и о нездоровье комнатной собачки. В письмах слова значительно лучше мыслей. Очень большое место в своей писательской деятельности Екатерина отводила драматургии. Она была главной поставщицей репертуара на театр в своем Эрмитаже, где она собирала избранное общество. Она писала пословицы, или водевили, комедии, комические оперы, даже «исторические представления из жизни Рюрика и Олега, подражание Шекспиру». Олег был сыгран на городском театре в Петербурге по случаю мира с Турцией в Яссах (1791 г.) с необычайной пышностью; на сцену выступало более 700 исполнителей и статистов. Бедный Храповицкий¹⁸ ночи просиживал, переписывая пьесы императрицы и сочиня арии и куплеты к ее операм и водевилям,— сама Екатерина никак не могла сладить со стихами. В своих пьесах Екатерина изображала шведского короля, мартинистов, своих придворных. Трудно сказать, насколько сама она сказала в своей драмомании. Правда, в ее характере и образе действий было много драматического движения. От природы веселая, она не могла обойтись без общества и сама признавалась, что любила быть на людях. В своем интимном кругу она была проста, любезна, шутлива,

и все чувствовали себя около нее весело и непринужденно. Но она преображалась, выходя в приемную залу, принимала сдержанно-величественный вид, выступала медленно, некрупными шагами, встречала представлявшихся стереотипной улыбкой и несколько лукавым взглядом светло-серых глаз. Манера держаться отражалась и на всей деятельности, образуя вместе с ней цельный состав характера. В каком бы обществе ни вращалась Екатерина, что бы она ни делала, она всегда чувствовала себя как бы на сцене и потому слишком много делала на показ. Задумав дело, она больше думала о том, что скажут про нее, чем о том, что выйдет из задуманного дела; обстановка и впечатление были для нее важнее самого дела и его последствий. Отсюда ее слабость к рекламе, шуму, лести, туманившей ее ясный ум и соблазнявшей ее холодное сердце. Она больше дорожила вниманием современников, чем мнением потомства; за то и ее при жизни ценили выше, чем стали ценить по смерти. Как она сама была вся созданием рассудка без всякого участия сердца, так и в ее деятельности больше эффекта, чем блеска, чем величия, творчества. Казалось, она желала, чтобы ее самое помнили дольше, чем ее деяния.



ИМПЕРАТРИЦА ЕКАТЕРИНА II (1729—1796)

I

Для Екатерины II наступила историческая давность. Это налагает некоторые особые обязательства на мысль, обращающуюся к обсуждению ее деятельности, устанавливает известное отношение к предмету, подсказывает точку зрения.

В ее деятельности были промахи, даже крупные ошибки, в ее жизни остаются яркие пятна. Но целое столетие легло между нами и ею. Трудно быть злопамятным на таком расстоянии, и именно при мысли о наступлении второго столетия со дня смерти Екатерины II в памяти ярче выступает то, за что ее следует помнить, чем то, чего не хотелось бы вспоминать.

Царствование Екатерины II — это целая эпоха нашей истории, а исторические эпохи обыкновенно не замыкаются в пределы людского века, не кончаются с жизнью своих творцов. И время Екатерины II пережило ее самое, по крайней мере после четырехлетнего перерыва было официально воскрешено манифестом второго ее преемника, объявившего, что он будет царствовать по законам и по сердцу своей бабки¹. Екатерину и по смерти ее восхваляли или порицали, как восхваляют или порицают живого человека, стараясь поддержать или изменить его деятельность. И Екатерины II не миновал столь обычный и печальный вид бессмертия — тревожить и ссорить людей и по смерти. Ее имя служило мишенью для полемического прицела в противников или приверженцев ее политического направления. Живые интересы и мнения боролись на ее могиле. Уронить ее бюст или удержать на пьедестале значило тогда дать то или другое направление жизни.

Столетняя давность, отделившая нас от Екатерины II, покрывает все эти споры и вражды. Наши текущие интересы не имеют прямой связи с екатерининским временем. Екатерина II оставила после себя учреждения, планы, идеи, нравы, при ней воспитанные, и значительные долги. Долги уплачены, и другие раны, нанесенные народному организму ее тяжелыми войнами и ее способом вести «свое маленькое хозяйство», как она любила выражаться о своих финансах, давно зарубцевались и даже закрылись рубцами более позднего происхождения. Из екатерининских учреждений одни действуют доселе в старых формах, но в духе новых потребностей и понятий, другие, как, например, местные судебные учреждения, отслужили свою службу и заменены новыми, совсем на них непохожими ни по началам, ни по устройству; наконец, третьи по своему устройству оказались неудачными уже при самой Екатерине, но их начала были сбережены для лучшей обработки дальнейшими поколениями. Такова система закрытых, оторванных от семьи воспитательных заведений Бецкого², замененная потом другим планом народного образования, над которым работала Комиссия народных училищ: гуманные идеи о воспитании, усвоенные Екатериной и Бецким, пригодились и потом, при другой системе, более близкой к современной педагогике. Из предположений или мечтаний Екатерины II одни, как, например, мысль об освобождении крепостных крестьян, были осуществлены после нее так, как она и не мечтала и как не сумела бы осуществить, если бы на то решилась, а другие были упразднены самою жизнью как излишние, каковой была мысль о создании *среднего рода людей* в смысле западноевропейской буржуазии. Точно так же и идеи юридические, политические и экономические, проводившиеся в указах и особенно в «Наказе» и казавшиеся в то время новыми и смелыми, или уже вошли в плоть и кровь нашего сознания и общежития или остались общими местами, пригодными украшать досужие беседы взрослых людей или служить темами для школьных упражнений. Что касается нравов, воспитанных влиятельными примерами и общим духом екатерининского времени, то они вообще признаны неудовлетворительными, хотя и пустили глубокие корни в обществе. Вопросы того времени — для нас простые факты, мы считаемся уже с их следствиями и думаем не о том, что из них выйдет, а о том, как быть с тем, что уже вышло.

Значит, счета потомства с Екатериной II сведены. Для нас она не может быть ни знаменем, ни мишенью; для нас она только предмет изучения. Сотая годовщина ее смерти располагает не судить ее жизнь, а вспомнить ее время; оглянуться на свое прошлое, а не тревожить старые могилы и среди похвальных слов и обличительных памфлетов осторожно пройти к простым итогам давно окончившейся деятельности.

Нелегко поставить мысль в такое отношение к царствованию Екатерины II. Старшие из тех, кому теперь приходится вспоминать это царствование по поводу исполнившегося столетия со дня его окончания, живо помнят еще поздние отзвуки двух резких и непримиримо противоречивых суждений о нем, сложившихся еще при жизни Екатерины II и долго державшихся в обществе после нее. Одни говорили о том времени с восторженным одушевлением или с умиленным замиранием сердца: блестящий век, покрывший Россию бессмертной, всесветной славой ее властительницы, время героев и героических дел, эпоха широкого небывалого размаха русских сил, изумившего и напугавшего вселенную. Прислушиваясь к этим отзвукам, мы начинали понимать донельзя приподнятый тон изданного шесть лет спустя по смерти Екатерины II и читанного нами на школьной скамье *«Исторического похвального слова Екатерине Второй»* Карамзина, смущавшие незрелую мысль выражения его о божественной кротости и добродетели, о священном духе монархии, эти сближения с божеством, казавшиеся нам ораторскими излишествами. По мнению других, вся эта героическая эпопея была не что иное, как театральная феерия, которую из-за кулис двигали славолубие, тщеславие и самовластие; великолепные учреждения заводились для того только, чтобы прослыть их основательницами, а затем оставались в пренебрежении, без надлежащего надзора и радения об их развитии и успехе; вся политика Екатерины была системой нарядных фасадов с неопрытными задворками, следствиями которой были полная порча нравов в высших классах, угнетение и разорение низших, общее ослабление России. Тщеславие доводило Екатерину, от природы умную женщину, до умопомрачения, делавшего ее игрушкой в руках ловких и даже глупых льстецов, умевших пользоваться ее слабостями, и она не приказывала выталкивать из своего кабинета министра, в глаза говорившего ей, что она премудрее самого господа бога. Проходим молчаливым отзывом о нравственном

характере Екатерины, которых нельзя читать без скорбного вздоха.

Оба взгляда поражают и смущают не только своей непримиримой противоположностью, но и своими особенностями. Так, второй из них вызывает удивленное недоумение подбором своих сторонников. Наиболее резкое и цельное выражение его находим в известной записке «*О повреждении нравов в России*» князя Щербатова, служившего при дворе Екатерины II, историографа и публициста, человека образованного и патриота с твердыми убеждениями. Автор писал записку про себя, не для публики, незадолго до своей смерти, случившейся в 1790 г., и собрал в этом труде свои воспоминания, наблюдения и размышления о нравственной жизни высшего русского общества XVIII в., закончив нарисованную им мрачную картину словами: «...плачевное состояние, о коем токмо должно просить бога, чтоб лучшим царствованием сие зло истреблено было». Но вот что заслуживает внимания. Известный дорожный сон Радищева, рассказанный в «*Путешествии из С.-Петербурга в Москву 1790 г.*» в главе «*Спасская Полесь*», — злая карикатура царствования Екатерины II³. Здесь, особенно во второй, патетической части сна, грезивший себя шахом, ханом или чем-то в этом роде автор, прозрев от прикосновения к его ослепленным властью и лестью глазам странницы Прямовзоры, т. е. истины, видит всю бессмыслицу своих деяний, казавшихся ему божественно-премудрыми, и общий тон картины и некоторые отдельные черты живо напоминают записку князя Щербатова. Человек другого поколения и образа мыслей, ультралиберал с заграничным университетским образованием, проникнутый самыми передовыми идеями века и любивший отечество не меньше князя Щербатова, понимавший и признававший величие Петра I, сошелся во взгляде на переживаемое ими время со старым доморожденным ультраконсервативом, все сочувствия которого тяготели к допетровской старине. Что еще замечательнее, к этим «печальным часам у двух разных дверей», как назвал князя Щербатова и Радищева один позднейший писатель, присоединяется любимый внук Екатерины, ставший потом вторым ее преемником, которого она еще в пеленках оторвала от семьи, чтобы воспитать его по своей педагогике и в своих идеях: на положение дел в государстве за последние годы жизни бабушки, которые он мог наблюдать, он смотрел не светлее князя Щербатова и Радищева. «В наших

делах,— писал он Кочубею⁴ за полгода до смерти Екатерины,— господствует неимоверный беспорядок: грабят со всех сторон, все части управляются дурно, порядок, кажется, изгнан отовсюду». «Я всякий раз страдаю,— признается он в другом месте письма,— когда должен являться на придворную сцену, и кровь портится во мне при виде низостей, совершаемых другими на каждом шагу для получения внешних отличий, не стоящих в моих глазах медного гроша». Да и сам Карамзин в записке «*О древней и новой России*», представленной императору Александру девятью годами позднее «*Похвального слова*», рядом с блестящими сторонами царствования Екатерины отмечает и крупные «пятна»: порчу нравов в палатах и хижинах, соблазнительный фаворитизм, недостаток правосудия, преобладание блеска над основательностью в учреждениях, прибавляя к этому, что в последние годы Екатерины ее больше осуждали, нежели хвалили. Если припомнить при этом еще известную заметку Пушкина о XVIII в., писанную около 1820 г. по свежим преданиям, то, и не упоминая о других, менее компетентных суждениях, современных или позднейших, можно понять характерно разнообразный состав того, что мы назвали бы протиекатерининской оппозицией.

И все же это были одинокие голоса, которые были слышны очень немногим, за исключением разве книги Радищева, раздавались шепотом, про себя или в тесном кругу и потому не могли расстраивать хорового суждения, так красноречиво выраженного в «*Похвальном слове*» Карамзина. И это суждение не совсем понятно и не столько по своему содержанию, сколько по своей возбужденности, по тому движению чувства и воображения, с которым оно высказывалось. Это был не исторический приговор, выведенный остывшей мыслью из обдуманых и проверенных воспоминаний о пережитом времени, а горячее, непосредственное впечатление еще живой действительности, долго не замиравшей и по смерти лица, которое было ее душой. Такое впечатление было необычным явлением в нашей истории: ни одно царствование, по крайней мере в XVIII в., даже царствование Петра Великого, не оставило после себя такого энтузиастического впечатления в обществе. Карамзин, конечно, выражал последний, наиболее обобщенный результат, высокую сумму того, что восторженные современники видели в деятельности Екатерины II, когда писал в конце своего «*Похвального слова*», что Россия в это деятельное

царствование, «которого главною целью было народное просвещение, столь преобразилась, возвысилась духом, созрела умом, что отцы наши, если бы они теперь воскресли, не узнали бы ее». Все это можно было сказать и о Петре Великом, даже с прибавлением, что его главною целью было еще и народное обогащение; люди времен Алексея Михайловича также не узнали бы своей старой московской *всёя Руси* в созданной его сыном Российской империи с С.-Петербургом, Кронштадтом, флотом, балтийскими провинциями, девятимиллионным бюджетом, новыми школами и т. п. Однако даже в обществе, захваченном реформой, не в простонародной массе, незаметно такого общего весело-умиленного отношения к памяти Петра, какое потом установилось к Екатерине II: слышны отдельные голоса, проникнутые набожным благоговением, да и то пополам с жалобой на затруднения и огорчения, какие приходилось испытывать преобразователю, а скоро, и именно в царствование Екатерины II, послышались и резкие порицания его дела.

Это впечатление, независимо от своей исторической верности, от точности, с какою отражалась в нем действительность, само по себе становится любопытным историческим фактом, характерным признаком общественной психологии. Оно тем любопытнее, что царствование Екатерины II нельзя причислить к спокойным и легким временам, о которых люди вспоминают с особенным удовольствием. Напротив, это была довольно тревожная и тяжелая для народа пора. Сравнительным спокойствием Россия пользовалась в первые пять лет царствования, если не считать серьезным нарушением спокойствия крестьянских бунтов, в которых, по счету самой Екатерины, в первый год царствования участвовало до 200 тыс. крестьян и против которых снаряжались настоящие военные экспедиции с пушками. Затем семилетний приступ внешних и внутренних тревог (1768—1774 гг.), начавшийся борьбою с польскими конфедератами, к которой вскоре присоединилась первая гурецкая война, а внутри между тем — чума, московский бунт и пугачевщина. Современники, например, князь Щербатов, думали, что первая турецкая война обошлась России дороже какой-либо прежде бывшей войны. Из официальных источников известно, что только первые два года этой шестилетней войны стоили до 25 млн. руб., что почти равнялось годовому казенному доходу тех лет. Кагульский бой был выигран 17-тысячным русским отрядом у 150-тысячной турецкой ар-

мии⁵. Но в августе 1773 г. Екатерина говорила в Совете, что с 1767 г. в пять наборов собрано уже со всей империи для пополнения армии до 300 тыс. рекрутов. За миром в Кучук-Кайнарджи⁶ в 1774 г. следовало 12-летнее затишье во внешней политике: это было время усиленной внутренней деятельности правительства, эпоха законобесия (*législomanie*), как выражалась Екатерина, когда вводились новые губернские учреждения; учреждены были комиссия народных училищ и ссудный банк, обнародованы *Устав благочиния*, жалованные грамоты дворянству и городам, устав народных училищ 1786 г. и другие важные государственные акты. Почти повсеместным голодом 1787 г. открылся второй приступ тревог, не прекращавшийся до смерти Екатерины: вторая турецкая война, тяжелая не менее первой, и в одно время с нею война шведская, две войны с Польшей перед вторым и третьим ее разделом, персидский поход, финансовый кризис, военные приготовления к борьбе с революционной Францией. Из 34 лет царствования 17 лет борьбы внешней или внутренней на 17 лет отдыха! Недаром преемник Екатерины в циркуляре, разосланном к европейским дворам по вступлении на престол, называл Россию «единственную в свете державой, которая находилась 40 лет в несчастном положении истощать свое народонаселение». Значит, людям, пережившим сорокалетие с 1756 г., с начала Семилетней войны, оно представлялось временем непрерывного военного напряжения.

Правда, и результаты царствования были очень внушительны. Екатерина любила подсчитывать их, все чаще оглядываясь на свою деятельность по мере ее развития. В 1781 г. граф Безбородко⁷ предоставил ей инвентарь ее деяний за 19 лет царствования: оказалось, что устроено губерний по новому образцу 29, городов построено 144, конвенций и трактатов заключено 30, побед одержано 78, замечательных указов издано 88, указов для облегчения народа — 123, итого 492 дела! К этому можно прибавить, что Екатерина отвоевала у Польши и Турции земли с населением до 7 млн. душ обоего пола, так что число жителей ее империи с 19 млн. в 1762 г. возросло к 1796 г. до 36 млн., армия со 162 тыс. человек усилена до 312 тыс., флот, в 1757 г. состоявший из 21 линейного корабля и 6 фрегатов, в 1790 г. считал в своем составе 67 линейных кораблей и 40 фрегатов, сумма государственных доходов с 16 млн. руб. поднялась до 69 млн., т. е. увеличилась более чем вчетверо, успехи промышленности выразились в

умножении числа фабрик с 500 до 2 тыс., успехи внешней торговли балтийской — в увеличении ввоза и вывоза с 9 млн. до 44 млн. руб., черноморской, Екатериною и созданной, — с 390 тыс. в 1776 г. до 1900 тыс. руб. в 1796 г., рост внутреннего оборота обозначился выпуском монеты в 34 года царствования на 148 млн. руб., тогда как в 62 предшествовавших года ее выпущено было только на 97 млн. Значение финансовых успехов Екатерины ослаблялось тем, что видное участие в них имел питейный доход, который в продолжение царствования увеличен был почти вшестеро и к концу его составлял почти третью часть всего бюджета доходов. Притом Екатерина оставила более 200 млн. долга, что почти равнялось доходу последних 3½ лет царствования.

Результаты царствования, как ни были они важны, могли давать себя чувствовать медленно, по мере своего обнаружения, ощутительнее младшим поколением, воспринимавшим уже сложившееся впечатление царствования, чем старшим, в которых оно складывалось; во всяком случае эти результаты могли скорее питать, чем зародить это впечатление. Сами по себе они могли вызвать удивление, даже благоговение, какое питали к Петру I, но не восторженное обаяние.

В памяти людей, 100 лет назад оплакивавших смерть Екатерины, прежде всего выступали из прожитой дали явления, особенно сильно поразившие в свое время их воображение и чувство: Ларга, Кагул, Чесма, Рымник⁸ и победные празднества, слезы, пролитые при чтении «Наказа», Комиссия 1767 г., торжественные собрания и речи наместников и дворянских предводителей при открытии губернских учреждений, блестящие оды, придворные маскарады, на которых в десятках дворцовых комнат толпилось 8540 масок, путешествие императрицы в Крым со встречавшими ее на пути иллюминациями на 50 верст в окружности, с волшебными дворцами и садами, в одну ночь созданными. Не одни Таврические сады, но и целые Новороссии вырастали из-под земли, целые флоты всплывали из-под неведомых черноморских волн в немногие годы; «монархиня повелела, и глас ее, как лира Амфионова, творит новые грады, если не великолепием, то своею пользою украшенные» (Карамзин). Недаром екатерининская Россия некоторым иностранцам-современникам представлялась волшебною страной (*paus de féerie*). Воспоминания об этих явлениях, пережитых на протяжении 34 лет, соединяясь в быстро дви-

гавшуюся ослепительную панораму, собирали рассеянные ощущения, ими вызванные, в цельное и сильное впечатление. Большинство тогда еще не знало закулисной механики всех этих семирамидных чудес, да если бы и знало, еще неизвестно, стало ли бы думать о них иначе: впечатление любимой пьесы не ослабляется знанием того, как, с какими усилиями и жертвами она разучивается и ставится. В записках современников Екатерины, ее переживаниях, останавливает на себе внимание одна черта. Они знают и трезво описывают темные стороны тогдашней правительственной деятельности и общественной жизни: небрежность и злоупотребление администрации, неподготовленность и недобросовестность судей, праздность и грубость дворянства, его нелады с крестьянами, пустоту общежития, общее невежество. Но когда они отрывались от этих вседневных печально-привычных явлений своего быта и пытались обыкновенно по поводу смерти Екатерины бросить общий взгляд на ее век, отдать себе отчет в его значении, их мысль как бы невольно, с незамечаемой ею последовательностью, переносилась в другой, высший порядок представлений, и тогда они начинали говорить о всесветной славе Екатерины, о мировой роли России, о национальном достоинстве и народной гордости, об общем подъеме русского духа, и при этом речь их приподнималась и впадала в тон торжественных од екатерининского времени.

Они высказывали этот взгляд без доказательств, не как свое личное суждение, а как установившееся общепринятое мнение, которое некому оспаривать и не для чего доказывать. Очевидно, здесь читатель мемуаров имеет дело не с исторической критикой, а с общественной психологией, не с размышлением, а с настроением. Люди судили о своем времени не по фактам окружавшей их действительности, а по своим чувствам, навеянным какими-то влияниями, шедшими поверх этой действительности. Они как будто испытали или узнали что-то такое новое, что мало подняло уровень их быта, но высоко приподняло их самосознание или самодовольство, и, довольные этим знанием и самими собой, они смотрели на свой низменный быт свысока, со снисходительным равнодушием. Их чувства и понятия стали выше их нравов и привычек; они просто выросли из своего быта, как дети вырастают из давно сшитого платья. Можно даже думать, что самый пессимизм людей, мрачно смотревших на царствование Екатерины, черпал долю своей силы в этом общем

духовном подъеме, происшедшем в это же царствование, и без того не был бы столь взыскателен. Если это так, то Екатерине пришлось испытать приятное и почетное неудобство, какое испытывает хороший преподаватель, который, чем успешнее преподает, тем более усиливает требовательность учеников и помогает им замечать еще не побежденные недостатки своего преподавания.

Впечатление — совместное дело обеих сторон: и источника влияния и среды, его воспринимающей. Победы и торжества, законы и учреждения, блеском которых была окружена Екатерина, конечно, должны были сильно действовать на умы. Но в этом окружении и сама власть принимала позу, в какую она не становилась прежде, являлась перед обществом с другою физиономией, с непривычными манерами, словами и идеями. Эта новая постановка власти усиливала и действие самой ее обстановки, создавала настроение, без которого все эти победы и торжества, законы и учреждения ее не произвели бы на общество такого сильного впечатления. С этой стороны впечатление царствования Екатерины — очень важный момент в истории не только нашего общественного сознания, но и государственного порядка.

Некоторые свойства характера Екатерины II и особенности ее политического воспитания имели первостепенное значение в этой новой постановке власти, как и в образовании впечатления, произведенного <ее> царствованием.

II

Достоинно внимания, что люди, близко наблюдавшие Екатерину II, принимаясь разбирать ее характер, обыкновенно начинали с ее ума. Правда, в уме не отказывали ей даже ее недруги, кроме ее мужа, который, впрочем, и не считался компетентным экспертом в таком деле. Однако это не была самая яркая черта характера Екатерины: она не поражала ни глубиной, ни блеском своего ума. Конечно, такому «умнику», как ее ставленник король польский Станислав Понятовский⁹, который не мог шагу ступить без того, чтобы не сказать красивого словца и не сделать глупости, ум Екатерины II должен был казаться необъятной величиной. «Там очень умны, там, — писал он про Екатерину г-же Жоффрен¹⁰, — но уж очень гоняются за умом». Последнее — напраслина на Екатерину и сказано по привычке судить о других по себе: кто гоняется

за тем, чем уже владеет? Екатерина была просто умна и ничего более, если только это малость. У нее был ум не особенно тонкий и глубокий, зато гибкий и осторожный, сообразительный, *умный* ум, который знал свое место и время и не колол глаз другим, Екатерина умела быть умна к стати и в меру. Она, которой со всех сторон напевали в уши о ее великом уме, так простодушно признавалась доктору Циммерману на вершине своей славы, что знала весьма много людей несравненно умнее ее. У нее вообще не было никакой выдающейся способности, одного господствующего таланта, который давил бы все остальные силы, нарушая равновесие духа. Но у нее был один счастливый дар, производивший наиболее сильное впечатление: память, наблюдательность, догадливость, чутье положения, умение быстро схватить и обобщить все наличные данные, чтобы вовремя принять решение, выбрать тон, в случае надобности благоразумная мораль и умеренно согретое чувство — все эти мелкие пружины, из деятельности которых складывается ежедневная житейская работа ума, Екатерина умела приводить в движение легко и ежеминутно, когда бы это ни понадобилось, без заметного для зрителя усилия. Эта всегдашняя готовность к мобилизации сообщала Екатерине чрезвычайную живость без увлечения. Она всегда была в полном сборе, в обладании всех своих сил. Странническая молодость Екатерины, ранняя привычка жить среди чужих людей много содействовала этой, говоря языком старых учебников психологии, постоянной *самособранности*. Отсюда же ее находчивость в неожиданных затруднениях: ее трудно было застать врасплох, и при умении собираться с мыслями она быстро соображала, чего от нее требует минута. Та же привычка жить не дома, сталкиваться с чужими людьми, в которых она нуждалась больше, чем они в ней, вместе с чутьем среды и положения рано развила в Екатерине наблюдательность, соединенную с уживчивостью: я могу приноровляться ко всяким характеристам, говорила она Храповицкому, уживусь, как Алкивиад, и в Спарте и в Афинах. Наблюдательность — на это дело больше охотников, чем мастеров. Екатерина достигла большого искусства в этом деле и выработала на то свои приемы. Она охотнее наблюдала людей, чем вещи, рассчитывая, что через знающих людей лучше узнает вещи, чем собственным изучением. Наперекор общей склонности замечать чужие слабости, чтобы ими пользоваться, Екатерина думала, что если нуждаешься в дру-

гих, то полезнее изучать их сильные стороны, на которые надежнее можно опереться. И она вслушивалась и всматривалась во всякого чем-нибудь выдающегося человека, изучала его мышление, знание, взгляды на людей и вещи. В обращении она старалась блистать разговором, чтобы не мешать высказываться собеседнику. Зато в ней удивлялись искусству слушать, долго и терпеливо выслушивать всякого, о чем бы кто ни говорил с ней; притом собеседника своего она изучала больше самого предмета беседы, хотя тому казалось наоборот. Так вместе со знанием людей Екатерина выработала себе и лучшее средство приобретать их — внимание к *человеку*, умение войти в его положение и настроение, угадывать его нужды, задние мысли и невысказанные желания: вовремя дав собеседнику почувствовать, что и он сам и его слова понятны в наилучшем для него смысле, она овладевала его доверием. В этом заключалась тайна неотразимого влияния, какое, по словам испытавшей его на себе княгини Дашковой, Екатерина умела своим восхитительным обращением производить на тех, кому хотела нравиться. Привычка слушать могла даже превращаться у нее в автоматическую манеру: слушая знакомую возвышенно-скудную трескотню какого-нибудь Бецкого, она сохраняла вид внимания, думая совсем о другом. И она хорошо знала людей, с которыми ей приходилось вести дела, от своей горничной Марьи Саввишны Перекусихиной¹¹ до короля Фридриха II Великого. Эти свойства помогли ей выработать пригодные средства действия в среде, где ей пришлось действовать.

«Като (Cathos, как звали Екатерину в обществе Вольтера) лучше видеть издали»,— писала Екатерина Гримму в 1778 г., прося его отговорить 80-летнего фернейского пустынноика от непосильной для его лет поездки в С.-Петербург. Люди, близко видевшие ее, находили в ней немало слабостей. Ее упрекали в славолубии, «в самолюбии до бесконечности», в тщеславии, любви к лести. Может быть, корни этих слабостей лежали в самом ее характере, но, несомненно, в их развитии и формах обнаружения принимала участие ее политическая судьба. Честолюбие и слава суть потаенные пружины, которые приводят в движение государей, сказал однажды Фридрих II русскому послу, говоря о Екатерине. Но Екатерине необходимо было пользоваться этими пружинами по расчетам безопасности. Слава была для нее средством упрочить за собой приобретенное положение. Эта необходи-

мость, возбуждая самолюбие, удерживала от ослепительного самомнения. Екатерина знала, что самомнение, принимающее притязание за таланты,— лучшее средство стать смешным, а она больше всего боялась стать предметом смеха или сострадания, что было и небезопасно в ее положении. У нее было осмотнительное, даже мнительное самолюбие, заставлявшее ее соображать замыслы и притязания со средствами оправдать их. Она признавала необходимым иметь такие оправдательные средства, но была настолько уверена в себе, что надеялась всегда найти их, когда того потребует положение. Чтобы быть кем-нибудь на этом свете, пишет она, припоминая размышления своего детства, надобно иметь нужные для того качества: заглянем-ка хорошенько внутрь себя, имеются ли у нас такие качества, а если их нет, то разоведем их. При такой осмотнительности, находчивая и решительная в мелких случаях, она имела привычку колебаться перед крупными делами, взвешивать вероятности успеха и неудачи, советоваться, выведывать мнения.

В этой мнительности при постоянной заботе о мнении света, кажется, надобно искать и корни ее слабости к лести. Трудно подумать, чтобы при своей трезвой, положительной натуре, чуждавшейся всего мечтательного и платонического, Екатерина могла любить лесть просто за доставляемое ею чувство самодовольства и при своем самолюбии не оскорбляться обидным мнением, какое льстец имеет к своей жертве. Но, пробиваясь на простор из тесной доли, она смолоду научилась знать цену людскому мнению, и ее всегда страшно занимал вопрос, что о ней думают, какое производит она впечатление. Одобрительные отзывы были для нее что аплодисменты для дебютанта — возбуждали и поддерживали ее силы, ее веру в себя. Достигнув власти, она видела в таких отзывах признание своих добрых намерений и сил исполнить их и считала своею обязанностью быть благодарной. Когда уволенный от должности Державин¹² в 1789 г. поднес Екатерине через секретаря ее Храповицкого вместе с прошением и свою «Фелицу», с каким удовольствием прочитала она секретарю стихи из этой оды:

Еще же говорят неложно.
Что будто навсегда возможно
Тебе и правду говорить.

и сказала Храповицкому: «On peut lui trouver une pla-

се» *. Ее недостаток был в том, что наемное усердие кларков она нередко принимала за выражение чувств увлеченной и благодарной публики. Но она обижалась лостью, когда подозревала в ней неискренность. Вольтер, один из самых усердных, но не самый ловкий из ее льстецов, не раз получал от нее почтительные и нежные щелчки за неловкость, а не за усердие. Со временем панегирики вошли в состав придворного и правительственного этикета: Екатерине жужжали в уши ее эпопею иноземные послы и сановники на куртагах и табельных торжествах, директор кадетского корпуса Бецкий — на кадетских представлениях Чесменского боя, директор театра Елагин¹³ — на публичных спектаклях с куплетами о Кагуле или Морейской экспедиции, генерал-прокурор князь Вяземский — в сенатских докладах и финансовых отчетах. Екатерина привычным слухом внимала всему этому песнопению как выражению обязательного усердия по долгу службы и присяги и, только когда певцы славы начинали уж слишком больно резать ухо фальцетом от избытка усердия, обращаясь к окружающим со стыдливой оговоркой: «Il me loue tant, qu'enfin il me gôtera» **. Она любила почтительное отношение к себе, и когда император Иосиф II¹⁴, в котором она видела только немощ физическую и духовную, в 1780 г. приехал к ней на поклон в Могилев, то стал и человеком очень образованным, и «головой, самой основательной, самой глубокой, самой просвещенной, какую я знаю», хотя она и подшучивала язвительно над панихидой, отслуженной им в Петербурге за упокой души Вольтера из уважения к его набожной ученице. Но, когда И. И. Шувалов, возвратясь из Италии, сообщил ей, что там художники делают ее профиль по бюстам или медалям Александра Македонского и вполне довольны получаемым сходством, она шутила над этим с видимым самодовольством. Не видать также, чтоб она сердилась на своего заграничного корреспондента Гримма, который в шутливом письме приписал ей на 52-м году жизни «наружность матери амуров». Но тому же Гримму она признавалась, что на нее благотворно действовали не похвалы, а злословие, побуждавшее ее отомстить ему, делами доказать его лживость.

С летами, когда европейские знаменитости стали величать ее самой дивною женщиной всех времен, привыч-

* Следует ему найти место (фр.).

** Он меня так много хвалит, что в конце концов избалует (фр.).

ка к удаче сделала ее несколько самонадеянной и очень обидчивой. Она раздражалась не только порицанием ее действий, но и мнениями, с которыми была несогласна. Это нередко вводило ее в вопросы и в противоречие с собой. Это был смелый шаг с ее стороны — во французском переводе представить вниманию французского общества свой «Наказ», наполненный выписками из книг, и без того хорошо там известных. Но французских экономистов с Тюрго¹⁵ во главе за то, что они осмелились разбирать «Наказ» и даже прислать ей этот разбор, она обозвала дураками, сектой, вредной для государства. Она не могла простить Рейналю¹⁶ его отзыва, что ей ничего не удастся, и называла его ничего не стоящим писателем. Даже свой вкус она считала обязательным для других и за это раз была наказана своим главным кухмистером Барманом. Екатерина любила архитектуру, живопись, театр, скульптуру, но музыки не понимала и откровенно признавалась, что для нее это шум и больше ничего. Веселая и смешливая, сама признававшая веселость наиболее сильной стороной своего характера, она допускала исключение только для комической оперы, и выписанный из Италии маэстро Паизиелло¹⁷ веселил ее на ее эрмитажном театре оперой «Le philosophe ridicule» * где, по ее словам, морила ее до упаду ария, в которой положен на музыку кашель. Она заставляла посещать эту оперу даже святейший синод, который, по ее словам, «также смеялся до слез вместе с нами». Она вообще любила веселый репертуар и раз за обедом спросила Бармана, нравится ли ему «Die schöne Wienerin» **, фарс, особенно ее увлекавший. «Да бог знает, оно как-то грубо», — отвечал простодушно несообразительный кухмистер. Екатерина вспыхнула и едва ли удачно поправила положение, заметив в тоне той же *schöne Wienerin*: «Я желала бы, чтобы у моего главного кухмистра был такой же тонкий вкус (разумеется, кухонный), как тонки его понятия!»

Впрочем, бюсты Александра Македонского не усыпляли в ней ее истинной силы — энергии. Приняв решение после некоторых колебаний, она действовала уже без раздумья, и тогда все на свете в ее глазах становилось прекрасным: и положение империи, и дела сотрудников, и ее собственные дела — все благоденствовало, пело и плясало. Во время первой турецкой войны, когда на За-

* «Смешной философ» (фр.).

** Прекрасная Венера (нем.).

паде трубили уже об истощении России, Екатерина писала Вольтеру, что у нее в империи нигде ни в чем нет недостатка, нет крестьянина, который не ел бы курицы, когда хотел, везде поют благодарственные молебны, пляшут и веселятся, а когда в 1769 г. русские дела шли совсем плохо и недоброжелатели Екатерины потирали руки от удовольствия, пророча ей скорое падение, она писала подруге своей матери Бьелке: «Пойдем бодро, вперед! — поговорка, с которою я провела одинаково и хорошие, и худые годы, и вот прожила 40 лет, и что значит настоящая беда в сравнении с прошлым?» Бодрость была одним из самых счастливых свойств характера Екатерины, и она старалась сообщать ее своим сотрудникам в самых простых формах. Когда австрийцы, во все время первой турецкой войны грозившие России заступиться за турок, завершили свое заступничество тем, что отняли у своих клиентов Буковину, с каким самодовольством писала она князю Репнину¹⁸, что цесарцы непременно поссорятся с турками и будут побиты, а она руки в боки, фертом будет сидеть да смотреть на это, повторяя: вот так удружили! Екатерина не выносила уныния. «Для людей моего характера, — признавалась она, — ничего нет в мире мучительнее сомнения». Притом уныние вождя расстраивает команду, и Екатерине подчас приходилось поступать, подобно людям, над которыми они с Гриммом шутили в своей переписке, которые поют ночью на улице, чтобы показать, что они не трусы, а еще более из боязни, как бы не струсить. Только раз, когда получено было известие, что турки объявили войну (вторую), замечена была ее минутная робость, и она с упавшим духом начала было говорить об изменчивости счастья, о непрочности славы и успехов, но скоро пришла в себя, с веселым видом вышла к придворным и всем вдохнула уверенность в успехе. Так рассказывает очевидец. В этих случаях Екатерину выручало ее испытанное самообладание, выработанное ею еще в те времена, когда в незавидном положении брошенной жены, оскорбляемая мужем как жена и как женщина, и в возможном будущем с клобуком русской инокини на своей вольтерьянской голове, она наедине обливалась слезами, но тотчас вытирала глаза и как ни в чем не бывало, с веселым лицом выходила в общество. Недаром она хвалилась, что никогда в жизни не падала в обморок. Очень редко, и то лишь в первые шаткие годы царствования, видали ее задумчивой. До поздних лет, на седьмом десятке, в добрые, как и худые дни, она встреча-

ла являвшихся по утрам статс-секретарей со своей всегдашней, всем знакомой улыбкой, сидя на стуле за маленьким выгибным столиком в белом гродетуровом капоте и белом флеровом немножко набекрень чепце на довольно густых еще волосах, со свежим лицом и с полным ртом зубов (одного верхнего неоставало), в очках, если вошедший заставлял ее за чтением, в ответ на низкий поклон ласково, со своим характерным поворотом головы под прямым углом протягивала руку и, указывая на стул против себя, своим протяжным и несколько мужским голосом говорила: «Садитесь».

Живость без возбужденности требовала работы, и современники удивлялись трудолюбию Екатерины. Она хотела все знать, за всем следить сама. Находя, что человек только тогда счастлив, когда занят, она любила, чтобы ее тормозили, и признавалась, что от природы любит суетиться и чем более работает, тем бывает веселее. Последняя работа стала ее привычкой и спасала ее от скуки, которой она так боялась. Занятия шли у нее в строго размеренном порядке, однообразно повторявшеюся изо дня в день чередой, но, по ее словам, в это однообразие входило столько дела, что ни минуты не оставалось на скуку. Когда наступали важные внешние или внутренние дела, она обнаруживала усиленную деятельность, по ее выражению, суетилась, не двигаясь с места, работала, как осел, с 6 часов утра до 10 вечера, до подушки, «да и во сне приходит на мысль все, что надо было бы сказать, написать или сделать». Сам Фридрих II дивился этой неутомимости и с некоторой досадой спрашивал русского посла: «Неужели императрица в самом деле так много занимается, как говорят? Мне сказывали, что она работает больше меня».

В молодости она много работала над своим образованием и рано запаслась разнообразными сведениями. Свою начитанность она объясняла житейскими неудачами, доставившими ей для того много досуга. В шуточной эпитафии самой себе, написанной в 1778 г., она признается, что 18 лет скуки и уединения (т. е. замужества, 1744—1762 гг.) заставили ее прочесть множество книг. Приобретенный запас она старалась пополнять и на престоле. Она хотела стоять в уровень с умственным и художественным движением века. С.-Петербургский Эрмитаж со своими картинами, ложами Рафаэля¹⁹, тысячами гравюр, камней — монументальный свидетель ее забот о собирании художественных богатств, а в самом Петер-

бурге и его окрестностях, особенно в Царском Селе, сохранились еще многие сооружения работавших по ее заказам иностранных мастеров Тромбара, Кваренги, Кameron, Клериссо, не говоря уже о Фальконете, а также и о русских художниках Чевакинском, Баженове и многих других²⁰. Из Плутарха, Тацита и других древних писателей, прочитанных ею во французских переводах, из романов, драм, опер, разных историй она запаслась множеством политических и нравственных примеров, изречений, анекдотов, острот, поговорок, разнообразных мелких сведений, которыми она поддерживала гостиную *causerie* * на своих вечерах и украшала свою обширную переписку. В научном и литературном движении Запада она хотела участвовать не одними щедрыми подарками, пенсиями, покупками по пожалованному ей там званию царско-сельской Минервы, но и прямым знакомством с ученою литературой как образованный человек своего времени. При свидании в Могилеве Екатерина самодовольно удивилась, заметив, что «Эпохи» Бюффона²¹ еще не попадались Иосифу II под руки. Сама она прочитала эту книгу с увлечением и признавалась, что Бюффон своим творением прибавил ей мозгу. Она штудировала историю астрономии Бальи, торопит свою Академию наук определением широты и долготы городов С.-Петербургской губернии, изучает Гиббона²², английского законоведа Блекстона²³, обрабатывает русские летописи, чтобы составить историю России для своих внуков, и даже погружается в сравнительное языковедение, чему опять помогло одно домашнее горе. Летом 1784 г. умер Ланской²⁴. Екатерина, называвшая его своим воспитанником, была безутешна, опасно занемогла сама, оправилась, но замкнулась в своем кабинете, не могла ни есть, ни спать, не выносила лица человеческого. Почуввав беду, прискакал из Крыма другой воспитанник — Потемкин и вместе с Ф. Орловым²⁵ осторожно пробрался к Екатерине. Она расплакалась, за ней заревели оба утешителя, и «я почувствовала облегчение», — добавляет она, описывая эту сцену. Она хотела утопить свое горе в усиленном чтении и принялась за присланное ей незадолго перед тем многотомное филологическое сочинение *in quarto* французского ученого Кур де Жебеленя²⁶ «*Monde primitif*» **. Она увлеклась мыслью автора о первобытном, коренном языке, праотце

* болтовню (фр.).

** «Первобытный мир» (фр.).

всех позднейших, обложилась всевозможными лексиконами, какие могла собрать, и принялась составлять сравнительный словарь всех языков, положив в основу его русский, собирая для него материалы, тормошила филологическими запросами и поручениями своих послов при иностранных дворах, губернаторов, даже восточных патриархов и самого маркиза Лафайета²⁷. Эти словарные хлопоты кончились тем, что работа со всеми собранными материалами была передана академику Палласу²⁸, который к 1787 г. и приготовил первый том издания под заглавием *«Сравнительные словари всех языков и наречий, собранные десницею всевысочайшей особы»*.

Наиболее сильное действие на политическое образование Екатерины оказало ее столь известное знакомство с тогдашнею литературой просвещения — с Монтескье и Беккариа²⁹, которыми она так усердно воспользовалась для своего *«Наказа»*, и особенно с Вольтером, которого она благоговейно называла своим учителем и которому писала, что желала бы знать наизусть каждую страницу его *«Опыта»* всеобщей истории; по смерти его она выражала желание, чтоб его изучали, затверживали наизусть, и писала, что изучение его образует граждан, гениев, героев и писателей, разовьет сто тысяч талантов. Вольтеру она была благодарна и за то, что он, по ее словам принцу де Линю, ввел ее в моду. Но к другим литературным корифеям она потом охладела и жаловалась тому же принцу, что они навели на нее скуку и не поняли ее. Она не любила людей, натертых чужим умом и знанием, как говорила она, повторяя выражение своей приятельницы г-жи Жоффрен. Но сама она была так восприимчива, так быстро схватывала и усвояла чужую идею, что присвояла ее себе, а в источнике видела только ее развитие или же развивала ее по-своему. Отсюда ее склонность подражать и пародировать. Прочитала она в немецком переводе драматические хроники Шекспира, и у нее явился свой *«Рюрик»*, «историческое представление, подражание Шакеспиру». Из внимательного изучения политической литературы она едва ли вынесла какой-либо определенный, цельный план нормального государственного устройства. В упомянутой эпитафии она называет себя женщиной с добрым сердцем и республиканскою душой, именно с *душой*, а не с образом мыслей, соответствующим такому политическому порядку. Как все люди, больше наблюдавшие, чем размышлявшие, она не исчерпывала усвояемой идеи до дна, до глубины ее корней,

а овладевала ею лишь настолько, чтоб ее можно было растолковать другим без особенных усилий и развить в понятные всем последствия. О Блекстоне, который был для нее обильным источником юридических сведений и законодательных идей, она писала, что ничего не берет из его сочинений прямо, целиком, а только вытягивает оттуда нить, которую разматывает по-своему. Но это изучение приучило ее мысль размышлять о таких трудных предметах, как государственное устройство, происхождение и состав общества, отношение лица к обществу, дало направление и освещение ее случайным политическим наблюдениям, уяснило ей основные понятия права и общежития, те политические аксиомы, без которых нельзя понимать общественной жизни и еще менее можно руководить ею. Так как в тогдашних теориях политика неразрывно связывалась с гражданской моралью, то политические понятия Екатерины окрасились тем несколько туманным благодушным свободомыслием, которое усваивается именно добрым сердцем больше, чем сознанием, и не облекается в какие-либо практически пригодные учреждения или законы, а выражается больше в приемах и духе управления, растворяется в чувство общего доброжелательства к человеку и человечеству, в желание им счастья и свободы от всякого гнета и заблуждения. Это и были те «мои принципы», которые потом подробно и систематически изложены были в «Наказе» и на которые она указывала Комиссии об уложении, как на основание нового законодательства, ею предпринятого. Она начала обдумывать их еще до воцарения, руководимая каким-то внутренним голосом, который, как она признается в своих мемуарах, ежеминутно внушал ей, что рано или поздно она достигнет русского престола. Сохранилось несколько записочек, в которых она набрасывала мысли, мимолетно набегавшие среди чтения и вызванных им размышлений. «Я желаю только добра стране, куда бог меня привел,— писала она,— слава страны составляет мою собственную — вот мой принцип; была бы я очень счастлива, если б мои идеи могли этому способствовать». Эти идеи относились и к внешней и к внутренней политике. Обширной империи, нуждающейся в населении, необходим мир. В этом отношении едва ли полезно обращать наших инородцев в христианство: многоженство лучше содействует умножению населения. «Власть без народного доверия ничего не значит для того, кто хочет быть любимым и славным». Для

этого стоит только принять в основание действий народное благо и правосудие. «Хочу общей цели — сделать счастливыми, а не каприза, ни странностей, ни жестокости». Средства действий — правда и разум, который, будьте уверены, возьмет верх в глазах толпы. Правосудию и христианской религии противно рабство. Все люди рождаются свободными. «Хочу повиновения законам, а не рабов». Но разом освободить русских крестьян нельзя: этим не приобретешь любви землевладельцев, исполненных упорства и предрассудков. Но есть легкий способ: *постановить* освобождать крестьян при продаже имений, и вот через сто лет народ свободный. «Свобода — душа всех вещей, без тебя все мертво». Необходимы новые законы. Единственное средство узнать, хорош или нет новый закон, — распустить о нем слух на рынке и велеть доносить, что про него говорят. «Но кто вам донесет о последствиях в будущем?» Необходимо отменить варварский обычай пытки, ненавистную конфискацию имущества виновных, чрезвычайные судные комиссии, особенно секретные, к которым, «мне кажется, всю мою жизнь буду чувствовать отвращение». Однако главное дело не в законах. «Снисхождение, примирительный дух государя сделают более, чем миллионы законов, а политическая свобода даст душу всему. Часто лучше внушать преобразование, чем их предписывать». Всегда государь виноват, если подданные против него огорчены, писала Екатерина в 1765 г. в наставлении своему сыну и потомкам: «Изволь мериться на сей аршин; а если кто из вас, мои дражайшие потомки, сии наставления прочтет с уничтожением, так ему более в свете и особливо в российском счастья желать, нежели пророчествовать можно». С годами, под веянием житейского опыта ее мысль несколько остыла и возвратила свою природную трезвость, даже с оттенком какого-то шутивного пессимизма. «*Tout se mange dans ce monde — si*», — сказала она однажды Храповицкому, увидев, как галки и вороны клевали червей, выползших из земли после дождя. Все-то на свете ест друг друга, и под влиянием этого наблюдения она писала, что только посредственные головы могут увлекаться мечтой о вечном мире. Юношеские идеи не были брошены, но получили более тесное применение: были переведены из политики в литературу. «Я вполне понимаю ваши великие начала, — говорила она своему гостю Дидро³⁰ в 1774 г., — только с ними хорошо писать книги, но плохо действовать. Вы имеете дело с бумагой,

которая все терпит, а я, бедная императрица, имею дело с людьми, которые почувствительнее и пощекотливее бумаги». Поблекла и юношеская вера в силу правды и разума. «Род человеческий склонен к неразумию и несправедливости,— писала Екатерина доктору Циммерману,— если бы он слушался разума и справедливости, то *в нас* (государях) не было бы нужды». Прежде разум и правда казались ей необходимыми и достаточными опорами власти, желающей быть благотворной и сильной, а теперь сама власть представлялась ей печально необходимою заплатой на прорехах человеческой природы, образуемых недостатком этих благодетельных сил.

III

Таковы личные средства, принесенные на престол Екатериной. Они состояли в гибкости и энергии характера, «в волюшке,— по её выражению,— против которой не устоит никакое препятствие», в житейском опыте, сообщавшем ей тот «закал души», которым она так гордится в своих записках, в чутье среды и умение к ней применяться, в значительной выработке политического мышления и в обильном запасе гуманных политических идей, не вполне ясных и соглашенных между собою, едва выходявших из расплавленного состояния, не успевших еще отлиться в твердые убеждения и много-много кристаллизовавшихся в добрые намерения. Но она знала по опыту и записала в одной из записочек, что «недостаточно быть просвещенным и иметь наилучшие намерения и даже власть исполнить их». Надобны еще обдуманые приемы действия, подходящие исполнители, подготовленные умы и слаженные интересы.

«У меня много постоянства и великое уважение к истине»,— наставительно писала однажды Екатерина датскому королю Христиану VII³¹. Отклоняя от себя излишние похвалы, она любила приписывать свои успехи сотрудникам и счастью: «Поверьте,— говорила она принцу де Линю³²,— я только что счастлива, и если мною несколько довольны, то это потому, что я несколько постоянна и одинакова в своих привычках». Но князь Щербатов упрекает ее в такой изменчивости, «что редко и один месяц одинаковая у ней система в рассуждении правления бывает». Должно быть, этот упрек относится больше к её приемам действия. В этом отношении она не была особенно строга. Ссылаясь на пример дон Базилио

в «Севильском цирюльнике», она писала: «И у меня есть кой-какие маленькие правила, которые я прилагаю с известным разнообразием». Она думала, что каждый принимает тон и склад своего положения и что для успеха в этом мире иногда необходимо разнообразить свою походку. Держась известных принципов, она не считала необходимым возводить в неподвижную систему приемы действия, сообразуемые с вечно меняющимися минутами. Сопоставляя представительные французские собрания при Калонне и Неккере³³ со своею Комиссией 1767 г., она писала: «Мое собрание депутатов вышло удачным, потому что я сказала им: знайте, вот каковы мои начала; теперь выскажите свои жалобы; где башмак жмет вам ногу? Мы постараемся это поправить; у меня нет системы, я желаю только общего блага». Оставаясь верной раз поставленным задачам, она не держалась педантически однообразных приемов действия, умозрительно рассчитанных и не согласованных с наличными условиями дела. Она вообще не принадлежала к числу людей, готовых во имя порядка ввести анархию, и не хотела своему правoverию старообрядчески жертвовать самою верой. Такой выбор приемов показывает, что из политической философии путем ее изучения Екатерина извлекла больше политики, чем философии. Этот выбор облегчался уменьем Екатерины смотреть в глаза действительности прямо и просто и даже находить в своем юморе утешение при виде неустрашимых зол. «Меня обворовывают точно так же, как и других, но это хороший знак и показывает, что есть что воровать», — писала она г-же Бьелке в 1775 г. Притом, слабо чувствуя на себе давление местных обычаев и преданий как пришедшая из другого мира, она была свободнее в выборе способов действия и установке своих отношений, и ей было легче, чем Марии-Терезии или Георгу III³⁴, подшучивать над китайскими людьми, которые, по ее довольно наглядному уподоблению, всегда сидят по уши в своих обычаях и преданиях и не могут высморкаться, не справляясь с ними.

Она не отказывалась от такой же свободы действия и в своих отношениях к сотрудникам. Она ценила их заслуги, это было одним из основных ее правил. «Кто не уважает заслуги, — писала она в одной из ранних своих записок, — тот сам их не имеет; кто не старается отыскать заслугу и не открывает ее, тот не достоин и не способен царствовать». К такому энергическому признанию

заслуги обязывало Екатерину и особенное значение людей с заслугами для того порядка, какой она считала необходимым для России и в ней поддерживала. Как самодержавная императрица она думала, что ход дел в государстве зависит не столько от его устройства, сколько от его управителей. Негодуя на дурное ведение дел в современной ей Англии при конституции, считавшейся лучшею в Европе, она писала: «Вот что значит мальчишки; но прежде дела шли иначе, стало быть, не формы, а деятели виноваты». Однако не видно, чтоб Екатерина усиленно искала талантов. «Когда мне в молодости,— признавалась она,— случалось встретить умного человека, во мне тотчас рождалось горячее желание видеть его употребленным ко благу страны». Но с годами она стала относиться к этому хладнокровнее и даже считала возможным обойтись без поисков за дарованиями, хотя и любила и умела пользоваться попадавшимися под руку. Она не боялась и не чуждалась людей даровитых, но считала неспособных более удобными сотрудниками. «Бог нам свидетель, что мы, круглые невежды, не имеем никакой особенной склонности к дуракам на высоких местах». Но, думала она, нельзя же отыскивать людей по картинке, по своему фасону или идеалу, да и нет нужды в таких поисках. Нужные люди всегда найдутся, когда понадобится. «Всякая страна способна доставлять людей, необходимых для дела. Я никогда не искала и всегда находила под рукою людей, которые мне служили, и большею частью служили хорошо». Екатерина относилась к способным людям точно так же, как к собственным способностям: нет таких людей вокруг, надо их сделать из тех, какие есть. Значит, дело не в том, чтоб искать людей, а в том, чтоб уметь пользоваться теми, кто под рукою, и искусство править в том, «чтобы со всякими людьми заставляя дела идти как можно лучше». Может быть, такой взгляд был лишь обобщением счастливой случайности: Екатерине посчастливилось при вступлении на престол среди *всяких* людей найти под рукою таких, с которыми можно было вести дела хорошо. Однако в начале царствования она однажды жаловалась французскому послу Бретейлю на неспособность своих министров, прибавив, что, к счастью, молодые люди подают ей утешительные надежды. Она начала царствовать с людьми елизаветинской школы, т. е. с самоучками: с Бестужевым-Рюминым, Шаховским, Шуваловым, Воронцовыми, Паниными, Голицыными, Румянцевым, Чернышовыми. Она

нуждалась в них, они ей усердно служили, некоторые очень много для нее сделали; она их ценила, но не любила, втихомолку подсмеивалась над ними и постепенно почти со всеми разошлась. Она считала полезным обновлять правительственный персонал и любила новых людей, которых ставила подле старых или на их место, чтобы, по ее словам, мешать ржавчине останавливать колеса и пришпоривать бездарности. Может быть, за эту склонность менять людей и приписывали ей правило, выразившееся ею в известной поговорке о выжатом лимоне. Она хотела иметь *своих* людей, образовать свою школу из новых талантов, ею открытых. «Я не боюсь чужих достоинств,— говорила она,— напротив, желала бы иметь вокруг себя одних героев и все на свете употребляла, чтобы сделать героями тех, в ком видела малейшее к тому призвание». Но ей нелегко было найти таких людей вокруг себя. Вельможи, ее окружавшие, страдали не одним только тем недостатком, что, по свидетельству статс-секретаря Грибовского³⁵, за немногими исключениями, не умели правильно писать по-русски. Среди них скорее можно было найти приятных собеседников вроде обер-шталмейстера Л. Нарышкина или графа А. Строганова³⁶, чем дельцов. В этом кругу меркой способности к делам служила еще старая поговорка, слышанная Н. Паниным «у престола государева от людей, его окружающих», и записанная им в одном докладе Екатерине: «Была бы милость, всякого на все станет». Но Екатерине уже нельзя было руководиться этою поговоркой в выборе своих сотрудников. Люди с крупными умственными и нравственными достоинствами, образованные и любившие горячо свое отечество, но скромные и прямые, подобные учителю математики при великом князе Павле Порошине³⁷, как-то плохо уживались при ее дворе, хотя в инструкции генерал-прокурору она и обещала опытами показать, что у двора честные люди живут благополучно. Оставалось выбирать из пособников в перевороте 28 июня или из людей, указанных Румянцевым, Салтыковым, Паниным, Потемкиным. Между ними оказывались люди деловитые и не без дарований, чаще с притязаниями вместо дарований, с честолюбием и воображением, решительно превозмогавшими их силы и всякую действительность, бойкие и смелые игроки в судьбу, легко перекраивавшие карту Европы, составлявшие планы разрушения существующих государств и восстановления когда-то существовавших, чертившие будущие границы Российской импе-

рии с шестью столицами (С.-Петербург, Москва, Берлин, Вена, Константинополь, Астрахань — по проекту Платона Зубова³⁸). Екатерина была очень доверчива и пристрастна к своим избранникам, преувеличивала их способности и свои надежды на них, ошибалась в первых и обманывалась в последних; но она пользовалась не только их силами, но и самыми слабостями, возбуждала их служебную ревность и соревнование друг с другом и со старыми дельцами, умеряла соперничество, не допуская его до открытой вражды. Осторожный и ленивый Н. Панин, с одной стороны, напевал ей одно, отважный и тоже ленивый Григорий Орлов, с другой — другое противоположное, а она, по ее выражению, курц-галопом выступала между обоими вечно враждовавшими друг с другом советниками, и, несмотря на их вражду, «дела шли и шли большим ходом». Одним приемом она еще более усиливала исполнительную ревность своих сотрудников. В отношении к ним ей чаще удавалось принятое ею правило в проведении реформ: лучше подсказывать, чем приказывать. Хорошо изучив людей, она знала, кому какое дело поручить можно, и так осторожно внушала намеченному исполнителю свою мысль, что он принимал ее за свою собственную и тем с большим рвением исполнял ее. Поощряемые милостивым вниманием и возбуждаемые взаимным соперничеством, наперерыв один перед другим, стараясь отличиться, эти люди, выхваченные наверх часто житейской случайностью с довольно глубокого низа, внесли в ход дела большое оживление, производили много шума и движения, сделали немало и полезного, но при этом тратили страшно много средств. Они, конечно, произвели впечатление на современников: рассказы об екатерининских орлах долго не умолкали в русском обществе, и Карамзин только с ораторским преувеличением резюмировал эти рассказы, когда говорил в своем «*Похвальном слове*», что «только во время Екатерины видели мы волшебные превращения нежных сибаритов в суровых чад Лакедемона, видели тысячи российских Альцибиадов». Но надежды, возложенные на молодежь в начале царствования, едва ли были оправданы; иначе великий князь Александр в упомянутом письме к Кочубею не написал бы о людях, занимавших высшие места в 1796 г., что он не желал бы иметь их у себя и лакеями. Суворов³⁹ в счет идти не может: этот удивительный талант сложился и проявлялся так независимо и своеобразно, казался такою счастливой слу-

чайностью, что его трудно отнести к которой-либо школе, елизаветинской или екатерининской.

Впрочем, недостаток хороших дельцов не был самым большим затруднением, с которым приходилось бороться Екатерине. Гораздо труднее было сладить с программой деятельности, продиктованной положением Екатерины и настроением русского общества по вступлении ее на престол. Это была очень сложная и запутанная программа. Екатерина взяла свою власть, а не получила ее. Власть захваченная всегда имеет характер векселя, по которому ждут уплаты, а по настроению русского общества Екатерине предстояло оправдать разнообразные и несогласные ожидания. Новое правительство, созданное общественным движением против прежнего, конечно, должно было действовать наперекор ему. Прежнее правительство вооружило против себя общество пренебрежением к национальным интересам; новое правительство обязывалось действовать в национальном духе. Призвол прежнего правительства вызвал сильное возбуждение во всем обществе, даже в простом народе, и, по словам манифеста 6 июля 1762 г. не оставалось никого, «кто бы в голос с отвагою и без трепета не злословил государя». Роптали на новое иго немецкое, когда прусский посол Гольц правил Россией, а русский император, по словам прусского короля Фридриха II, служил Пруссии как ее министр. Не успели перемереть люди, пережившие бироновщину, и уж опять немцы, когда же этому будет конец? Пора русскую православную веру и русскую народную честь прочно оградить от таких испытаний. Новое правительство должно было разумно-либеральным образом действий рассеять впечатление испытанного самовластия, сдержать развязавшиеся языки и успокоить общество какими-либо гарантиями порядка и приличия. Впереди негодовавшего общества стояла гвардия — привилегированное, самонадеянное и довольно распушенное войско, сделавшее уже несколько государственных переворотов, поставившее несколько правительств, и его принялись облекать «в обряды неудобь носимые», т. е. в прусские мундиры, муштровать по-пруски, обзывали янычарами, унижали перед голштинским сбродом и собирались гнать за границу на войну с Данией за какую-то там Голштинию. Кроме полковых, казарменных интересов, у этой гвардии были еще интересы сословные, деревенские. По своему составу она была тогда еще дворянским войском: в ней служил цвет сосло-

вия, ее настроение быстро распространялось по дворянским сельским усадьбам. У дворянства в это время возникали свои заботы. Оно было, наконец, уволено *в чистую*: законом 18 февраля 1762 г. его служба из государственной повинности превращена была в простое требование гражданского долга. Но с обязательной службой тесно связано было, как следствие с причиной, владение крепостными людьми. Сословие смутно почувствовало приближение кризиса в своем положении и зарождение тревожного вопроса: что же станет с их имениями, державшимися на крепостном труде? Что станут делать они сами, вольные дворяне, без службы? Еще живее почувствовали крестьяне, что с отменой обязательной службы их господ в крепостном праве весы общественной правды наклонились в одну сторону; со времени издания закона 18 февраля усиливаются крестьянские волнения.

Перед этими столь разнообразно взволнованными умами стала Екатерина со своей революционной по происхождению властью и со своими либеральными идеями. Эти умы были уже несколько подготовлены; если не прямо к этим новым идеям, то вообще к новизнам в мышлении, как и в жизни. Подготовка началась с самой половины того века. Во-первых, Семилетняя война дала русским офицерам-дворянам не одни лавры, но и хозяйственные уроки. Участник войны Болотов уверяет в своих записках, что все лучшее служившее тогда в армии российское дворянство, насмотревшись в немецких землях всей тамошней экономии и порядков и получив потом в силу благодетельного манифеста о вольности увольнение от военной службы, «в состоянии было всю свою прежнюю весьма недостаточную деревенскую экономию привести в несравненно лучшее состояние». Притом с того же времени в русском обществе пробуждаются литературные и эстетические вкусы, развивается охота к чтению, к романам, романсам, музыке, к занятиям, питающим чувства, а чувства — предтечи идей. А в крестьянской среде бродили уже и самые идеи: на другой год царствования Екатерины в народе пущен был подложный указ императрицы с обвинением дворянства в том, что оно весьма пренебрегает закон божий и «государственные права».

Так перед Екатериной встречались, сталкивались и пересекались довольно разносторонние, даже противоположные, течения, интересы и настроения: оскорбленное

чувство национального достоинства, «великое роптание на образ правления последних годов», гвардейские притязания, дворянские помыслы о новых поприщах деятельности и страхи за старые права, крестьянские ожидания, наконец, ее собственные идеи и мечты, благоприятные для одних и тревожные для других, но непривычные для всех умов. Екатерине предстояло действовать популярно, либерально и осторожно и в преобразовательном и в охранительном направлении, щадить одни сословные интересы и охранять другие, им враждебные, но самой стоять выше тех и других, ставя впереди всех интересы всенародные согласно с основным правилом, неоднократно ею высказанным»: «Боже избави играть печальную роль вождя партии,— напротив, следует постоянно стараться приобрести расположение всех подданных». Сверх всего этого, необходимо было предупредить попытки недовольных в гвардии повторить соблазнительное по успеху дело 28 июня во имя другого лица, пресекать «дешперальные и безрассудные *coups*», как она выражалась. Очевидно, программа Екатерины была довольно сложна и несвободна от противоречий. Она попыталась примирить их по указаниям своего опыта и наблюдения и по соображениям своей гибкой мысли. Находя невозможным ни согласить столь различные задачи, ни пожертвовать одними в пользу других, она разделила их, т. е. каждую задачу проводила в особой сфере правительственной деятельности. Дан был большой ход внешней политике посредством усиленного действия на нее национальных чувств и интересов. Чтобы занять праздное дворянство и определить его новое положение в государстве и обществе, предпринята была широкая реформа областного управления и суда. Наконец, отведена была своя область и новым идеям: на них строилась проектированная система русского законодательства, они проводились как принципы в отдельных узаконениях, вводились в ежедневный оборот мнений как стимулы умов и нравственные регулятивы общежития, были допущены в литературу и даже в школу как образовательное средство и как архитектурное украшение правительственного производства. Но при законодательной, литературной и педагогической пропаганде новых идей Екатерина не трогала исторически сложившихся основ русского государственного строя, предоставляя самим идеям века перерабатывать порядки места. Так распланировалось исполнение программы.

Екатерине нужны были громкие дела, крупные, для всех очевидные успехи, чтобы оправдать свое воцарение и заслужить любовь подданных, для приобретения которой она, по ее признанию, ничем не пренебрегала. Внешняя политика представлялась для того наиболее удобным полем действия при внутренних средствах России и при том положении, какое она заняла в Европе по окончании Семилетней войны. Екатерина старалась поднять и укрепить его с двух сторон, настраивая умы и импонируя на кабинеты. Корифеи европейской мысли, с которыми она вела такие дружеские сношения, располагали общественное мнение Европы в пользу России, распространяя о ней благоприятные сведения, разбивая предубеждение. Но иностранные дипломаты уже в самом начале царствования жаловались на гордый и высокомерный тон Екатерины во внешних делах, который нравился ее подданным. «У меня лучшая армия в целом мире, — говорила она Бретейлю в 1763 г., — у меня есть деньги, а через несколько лет у меня будет много денег». Опираясь на эти средства, Екатерина смело приступила к решению обоих стоявших на очереди вопросов внешней политики, давних и трудных вопросов, из которых один состоял в необходимости продвинуть южную границу России до Черного моря, а другой — в воссоединении Западной Руси. Известно, как вела Екатерина оба этих главных дела своей внешней политики.

Можно различно судить — и судили различно — о приемах и результатах этой политики, но впечатление, произведенное ею на русское общество, едва ли подлежит спору. С. Т. Аксаков⁴⁰ помнил из своего детства, как в его семье плакали при вести о смерти Екатерины и говорили, что в ее царствование соседи нас не обижали и наши солдаты при ней побеждали всех и прославились. Это был слабый отзвук, доносившийся до приуральской глуши от шумных внешних дел Екатерины. Людям, стоявшим под более близким действием ее военных и дипломатических успехов, результатом их представлялся небывалый подъем международного значения России. Успехи, достигнутые внешней политикой Петра I, почувствовались в России довольно скромно. Даже ближайшие сотрудники Петра и то считали уже громадным успехом что они, русские люди, теперь «в общество политических народов присовокуплены», как выразился канцлер Головкин⁴¹ в приветственной речи Петру по поводу заключения Ништадтского мира. Великая Северная война, ко-

торую Россия завоевала себе место в семье европейских держав, самой продолжительностью и тяжестью своей ослабляла впечатление своих успехов. «Петр, выводя народ свой из невежества, ставил уже за великое и то, чтобы уравнивать оный державам второго класса», и поэтому первым предметом своей политики почитал какое-нибудь приобретение в Германии, подготавливал присоединение Голштинии к России, чтобы иметь голос в европейском концерте не в качестве русского царя, а по положению голштинского члена германского корпуса. О собственном абсолютном весе России он еще и не помышлял. Его взгляда держалось русское правительство и после него, несмотря на очевидный рост силы и влияния России. Так изображал международное положение России со времени Петра I до Екатерины II руководитель ее внешней политики Н. Панин, хорошо знавший политическую историю Европы своего века. Международная улица России по-прежнему оставалась тесна, ограничиваясь шведскими и польскими тревогами да турецко-татарскими опасностями: Швеция помышляла об отместке и начиналась недалеко за Петербургом; Польша стояла на Днепре; ни одного русского корабля не было на Черном море, по северному побережью его господствовали турки и татары, отнимая у России южную степь и грозя ей разбойничьими набегами. Тяжелое чувство учеников, во всем отставших от своих западных учителей, еще более удручало национальный дух. Прошло 34 года царствования Екатерины, и Польши не существовало, южная степь превратилась в Новороссию, Крым стал русскою областью, между Днепром и Днестром не осталось и пяди турецкой земли, контр-адмирал Ушаков⁴² с черноморским флотом, в 1791 г. дравшийся с турками недалеко от Константинополя, семь лет спустя вошел в Босфор защитником Турции, а в Швеции только душевно нездоровые люди, вроде короля Густава IV⁴³, продолжали думать об отместке. Международный горизонт России раздвинулся дальше ее новых пределов, и за ними открылись ослепительные перспективы, какие со времени Петра I едва ли представлялись самому воспаленному русскому глазу: взятие Константинополя, освобождение христианских народностей Балканского полуострова, разрушение Турции, восстановление Византийской империи. Держава второго класса стала считаться первою военною державою в Европе и даже, по признанию англичан, «морским государством, очень почтенным»; сам

Фридрих II в 1770 г. называл ее страшным могуществом, от которого через полвека будет трепетать вся Европа, а князь Безбородко в конце своей дипломатической карьеры говорил молодым русским дипломатам: «Не знаю, как будет при вас, а при нас ни одна пушка в Европе без позволения нашего выпалить не смела». Самого неповоротливого воображения не могли не тронуть такие ослепительные успехи. Но впечатление внешней политики заимствовало значительную долю своей силы от общественного возбуждения, вызванного ходом внутренних дел.

IV

Политические идеи, усвоенные Екатериной, по источникам своим были последним словом западноевропейской политической мысли, плодом работы многих сильных умов над вопросами о происхождении и законах развития государств и об их нормальном устройстве. Результаты этой работы не были еще руководящими началами политической жизни народов, по крайней мере на европейском материке, оставались идеалами передовых умов, дожидаясь своего места в кодексах. Даже в том виде, как они изложены в «Наказе» Екатерины, они представляли, говоря словами Карамзина, ряд «высочайших умозрений», и сколько надобно было усилий, чтоб эту «тончайшую метафизику преобразить в устав гражданский, всем понятный!». Эти идеи, еще нигде практически не испытанные в своей совокупности, Екатерина хотела применить к устройству своего государства, переработать их в статьи нового русского уложения. Этот замысел мог показаться плодом «воспламенного воображения», какое приписывал Екатерине Фридрих II. И, однако, Екатерина признавала такой опыт возможным в России, отставшей от Европы во всех отношениях, имевшей как писал тогда один английский посол из Петербурга, право на название образованного народа, одинаковое с Тибетским государством. У Екатерины были на то свои соображения. Она, во-первых, тогда еще крепко веровала в силу разума: будьте уверены, писала она в одной из своих ранних заметок, что разум возьмет верх в глазах толпы. Потом она считала себя со своими идеями особенно способной и расположенной действовать в стране, мало тронутой культурными влияниями и менее других зараженной историческими предрассудками. «Я люблю страны еще не

возделанные,— писала она,— верьте мне, это лучшие страны. Я годна только в России; в других странах уже не найдешь священной природы; все столько же искажено, сколько чопорно». Россия представлялась ей благодарным полем для просветительной работы. «Я должна отдать справедливость своему народу,— писала она Вольтеру,— это превосходная почва, на которой хорошее семя быстро возрастает; но нам также нужны аксиомы, неоспоримо признанные за истинные». Этими аксиомами и были идеи, которые она задумала положить в основание нового русского законодательства. Да, наконец, и Россия — все же страна, не совсем уже чужая Европе, и Екатерина строила свой преобразовательный план на силлогизме, в сжатом виде изложенном в начале I главы ее «Наказа»: Россия есть европейская держава; Петр I, вводя нравы и обычаи европейские в европейском народе, нашел такие удобства, каких и сам не ожидал. Заключение следовало само собой: аксиомы, представляющие последний и лучший плод европейской мысли, найдут в этом народе такие же удобства.

Но главным средством действия и надежным ручательством за успех была в руках Екатерины власть, которую она носила, та русская верховная власть, которую еще славянский публицист XVII в. Юрий Крижанич сравнивал с жезлом Моисеевым, способным выбить воду из камня, и силу которой Екатерина выражала по-своему в письме к Гримму, когда говорила о своих начинаниях, что все это еще пока на бумаге и в воображении, «но не полагайтесь на это: все это вырастет, как грибы, когда менее всего будут ожидать того». Екатерина поняла, что в просветительном движении эта власть может и должна стать в другое отношение к обществу, непохожее на то, какое существовало между обоими этими силами на Западе. Там общество через литературу поучало правительство; здесь правительство должно было направлять и литературу и общество. У вас, писала Екатерина Вольтеру, низшие научают, и высшим легко пользоваться этим наставлением; у нас — наоборот. Но, может быть, придворные рассказы и собственные наблюдения, собранные ею в России до воцарения, а вероятно, и чуть-чуть положения, как скоро она вошла во всю обстановку власти, внушили ей, что эта власть в своей прежней постановке, с теми средствами и приемами, какими она доселе пользовалась, не в состоянии взять на себя такого руковод-

ства. Здесь будет не лишним припомнить нечто из прошлого русской государственной власти.

Древняя Русь в своих политических верованиях, понятиях, общественных отношениях — во всем складе своего быта выработала очень обильный материал верховной власти, не *идеал*, а именно *материал*, которому московские государи по своим личным особенностям и по условиям своего положения придавали различные формы или физиономии: царь Иоанн Грозный — одну, царь Алексей — другую. Но во всяких руках древнерусская государственная власть пользовалась почти одинаковыми средствами действия на волю подвластных, за исключением церковной проповеди о *власти от бога* — проповеди, обращавшейся к совести верующего, — то были простейшие средства политической педагогики, стимулы, обращенные к элементарным инстинктам человека и первичным связям общежития; к стимулам второго рода относились, например, ответственность родственников за преступника, наказание его жены и детей конфискацией его имущества. Петр Великий не выработал нового типа власти, но переработал старую власть, дав ей новые средства действия, научное знание, небывалую энергию, поставив ей новые задачи и расширив ее пределы, особенно за счет церковной власти. Важно то, что Петр пытался изменить самое обращение власти к подданным. Древнерусская государственная власть обращалась к своим подданным если не всегда как властелин к рабам-домочадцам, то как строгий отец к детям-малолеткам, приказывая исполнять, не рассуждая или дозволяя рассуждать только о способе исполнения, а не о смысле и надобности исполняемого. Петр сохранил за властью прежнюю строгую физиономию, но несколько смягчил ее обращение, тон речи; но едва ли не первый в своих указах заговорил с народом о самых основах государственного порядка, о добре общем, о пользе народной, об обязанностях, «долженствах» государя. В повелителе сказался правитель; из-за грозного указа блеснул примиряющий принцип; в голосе домовладыки слышалось признание зрелости домочадцев. Власть обращалась не с одними угрозами к неисправному или непослушному подданному, но и с доверием к здравому смыслу народа, призывала его не только исполнять волю государя, но и рассуждать о необходимости ее исполнения для государства, о побуждениях, ею руководящих, а это уже призыв к некоторому участию в государственных делах, подго-

товка к политической самостоятельности, своего рода политическое воспитание. Петр расширил, зато и *заработал* свою власть, оправдав ее расширенными пределами, увенчав ее громадными успехами, стараясь уяснить ее народу не только как свое право, но и как его насущную потребность. Он и перешел в народную память как небывалый образ «царя, который даром хлеба не ел, пуше всякого мужика работал». Но этот образ, долженствовавший стать образцом, долго оставался одиноким, без подражателей. Ближайшие преемники и преемницы Петра не стеснили доставшейся им власти, но не были в состоянии оправдать ее, не понимали ни ее средств, ни задач, злоупотребляли первыми и забывали последние; некоторые, удерживая за собою эту власть, охотно слагали с себя бремя правления, лишь бы им оставили свободу предаваться своим удовольствиям. Скоро немцы, по выражению Винского⁴⁴, забившиеся, подобно однодневной мошке, в мельчайшие изгибы русского государственного тела, стали окружать и его голову. Бироновщина пронеслась над народом запоздалой татарщиной. С.-Петербург из русской столицы, построенной преобразователем на отвоеванной чужой земле, превращался в иностранную и враждебную колонию на русской земле. В оде Ломоносова на воцарение Екатерины II Петр Великий встает из гроба и, обозревая дела, приключившиеся в России с его смерти до этого воцарения, гневно восклицает:

На то дь воздвиг я град священный,
Дабы врагами населенный
Россиянам ужасен был?

Власть из источника закона стала превращаться в его замену, т. е. в самовластие, а частые смены на престоле, которых в 17 лет после смерти Петра I случилось пять и в большинстве не по какому-либо закону или естественному порядку, а по обстоятельствам, мало понятным народу, имели вид политических приключений и сообщали сменявшимся правительствам характер случайностей. Все это при тогдашнем значении власти в России производило разрушительное действие на общественный порядок. Мощь государства, по-видимому, возрастала и ширилась, но личность принижалась и мельчала, так что некому было надлежащим образом оценить и прочувствовать государственные успехи. Общественная жизнь в руководящих кругах становилась вялой и распушенной. Придворные интриги заменяли политику, великосветские

скандалы составляли новости дня. Умственные интересы гасли в жажде милостей и увеселений. Наиболее ощутительные успехи культуры и общежития, отмеченные современниками, обозначались при Екатерине I усиленною выпиской дорогих уборов из-за границы, при Анне — появлением бургонского и шампанского на знатных столах, при Елизавете — учащением разводов, введением английского пива женою канцлера Анной Карловной Воронцовой, английских контрдансов двумя великосветскими русскими барышнями, гостившими в Лондоне, и торжеством «весьма особливой философии», о которой писали в заграничные газеты из Москвы по случаю бывших здесь пожаров в 1754 г. во время пребывания здесь двора,— философии, «которая меньше нежели где индусии приключения чувствительными делает, ибо не примечается, чтобы оные хотя малую отмену производили в склонности жителей к весельям; всякой день говорится только о комедиях, комических операх, интермеццах, балах и тому подобных забавах». Строгим наблюдателям казалось, что Россия не являла и признаков просвещения. Великосветское общество презирало все русское, науками пренебрегало, и даже канцлер граф Воронцов, по самой должности своей имевший ближайшее отношение к просвещенной Европе, в начале царствования Екатерины с негодованием писал о своей образованной и любознательной племяннице Е. Р. Дашковой, что она «имеет нрав развращенный и тщеславный, больше в науках и пустоте время свое проводит».

Подобными же чертами и люди екатерининского времени любили изображать управление и высшее русское общество 1725—1762 гг., стоявшее у престола, дававшее власти наибольшее количество сановных слуг, служившее образцом для массы. Н. Панин в представленном Екатерине проекте Императорского совета прямо уподоблял правительственный порядок той эпохи «варварским временам, в которые не токмо установленного правительства, ниже письменных законов еще не бывало». В воспоминаниях о той эпохе царствование императрицы Елизаветы осталось светлою полосой благодаря памяти ее отца, ее добросердечию и набожности и некоторым полезным законам. Ее любили в память отца при жизни и гораздо более жалели о ней по смерти — печальная услуга, оказанная ее памяти племянником-преемником. Но это впечатление относилось больше к лицу, чем к порядку. Старые бедствия устранялись, но новые блага

чувствовались слабо. Временщики злые исчезли, но временщики не переводились. Общество было довольно покоем, но порядок ветшал и портился, не подновляемый и не доверяемый. Дела предоставляли идти, как они заведены были Петром Великим, мало думая о новых потребностях и условиях. Часы заводились, но не проверялись.

Власть без ясного сознания своих задач и пределов и с поколебленным авторитетом, с оскудевшими материальными и нравственными средствами, общественное мнение, питавшееся анекдотами и пересудами, без чувства личного и национального достоинства, весь порядок, державшийся страхом и произволом и направляемый, по выражению Н. Панина, «более силою персон, нежели властью мест государственных», при крайне низком уровне гражданского чувства и сознания общего интереса, без любви к отечеству, — в таких чертах можно представлять себе, по рассказам людей екатерининского времени, наследство, доставшееся Екатерине II от эпохи временщиков и случайных правительств.

Люди второй половины XVIII в., так гордившиеся своим превосходством перед отцами в образовании и общежитии, естественно, склонны были лучше помнить темные, чем светлые, стороны ближайшего к ним прошлого. Эта склонность могла быть сама по себе только благоприятна для Екатерины: о первых шагах ее по воцарении должны были судить по сравнению ее с ближайшими предшественниками. В этом отношении чего стоило одно царствование Петра III! После него надобно было *уметь* царствовать непопулярно. Но Екатерине нельзя было пользоваться властью по-прежнему. Прежде власть привыкла искать самых надежных опор порядка в силе и угрозе, наиболее действительных народносправительственных средств — в наказаниях. Екатерине надобно было искать таких опор и средств совсем в другом порядке влияний, обратиться к другим народнообразовательным приемам, более тонким, чем кнут и ссылка, и более справедливым, чем конфискация. По своему происхождению и воспитанию, по своей судьбе, по своему образу мыслей, наконец, она была слишком нова для России, чтобы сразу войти в привычную туземную, исторически пробитую колею. Она сама это сознавала и в первый год царствования признавалась французскому послу Бретейлю, что ей нужны годы и годы, чтоб ее подданные привыкли к ней. Притом ей нужно было слишком многое оправдать

в своем положении, чтобы предупредить попытки повторить против нее соблазнительное дело 28 июня. Властью, так приобретенной, как она была приобретена, нельзя было пользоваться втихомолку. Но было недостаточно и привычной беседы с народом в области уголовного права. Предстояло объяснить с обществом прямо, начистоту и даже ввести такое объяснение в обычный порядок управления, чтобы привести политику «в пристойную знатность пред публикою», как внушал Н. Панин. Словом, надобно было обратиться к умам и сердцам, а не к инстинктам. В цепи отношений, связующих власть с обществом, не было одного важного звена, которое Петр I пытался вставить, но которое после него не было закреплено и выпало. Это звено — народное убеждение, совместное дело власти и общества, слагающееся, с одной стороны, из сознания общего блага, с другой — из умения внушить это сознание и уверить в своей решимости и способности удовлетворить потребностям, составляющим общее благо. Екатерина понимала, как важно для успеха правительственных мер согласить с ними народное разумение. Объясняя Вольтеру некоторые статьи своего «Наказа», она писала, что единственное средство для законодателя заставить всех слушаться голоса разума, — это убедить, что его требования совпадают с основаниями общественного спокойствия, в котором все нуждаются и польза которого всякому понятна. Продолжая попытку Петра, Екатерина в эту сторону прежде всего направила свои усилия. Но, обращаясь к разуму народа, Екатерина будила в нем и чувства, которые способны были еще сильнее склонять умы на сторону законодателя.

Так предпринята была Екатериной достопамятная кампания, целью которой было завоевать народное доверие и сочувствие. Эта кампания велась выходами, поездками, разговорами, учаственным присутствием на заседаниях сената, более всего указами и манифестами. Начиная с манифестов 28 июня и 6 июля 1762 г. о воцарении при всяком удобном случае — в указах о взяточничестве, о разделении сената на департаменты, в манифесте о заговорщиках, в рескриптах русским послам и губернаторам, даже в частных беседах — настойчиво заявлялось о происхождении нового правительства, о его намерениях и заботах, о том, как оно понимает свои задачи и свое отношение к народу. Прежде всего предстояло выяснить источники приобретенной власти. Новое правительство было горячо приветствовано общественным мнением,

и общественное мнение было провозглашено законным политическим фактором, органом народного голоса, его приветствие, скрепленное присягой, формальным актом народного избрания. Манифест 28 июня гласил, что императрица *принуждена* была вступить на престол, побуждаемая опасностями, какими грозило всем верноподданым минувшее царствование, «а особливо видов к тому желание всех наших верноподданных явное и нелицемерное», потому престол принят «по всеобщему и единогласному наших верных подданных желанию и *прошению*», как было прибавлено в рескрипте о восшествии на престол русскому послу в Берлине для сообщения тамошнему двору. Бецкий простодушно думал, что 28 июня совершился привычный гвардейский переворот, которому он сам содействовал, подговаривая гвардейцев и разбрасывая деньги в народ, и потому считал себя главным его виновником. Раз, вторгнувшись к Екатерине, он на коленях умолял ее сказать, кому она считает себя обязанной своим воцарением. «Богу и избранию моих подданных»,—был ответ, который поверг Бецкого в совершенное отчаяние, так что он начал было снимать с себя александровскую ленту, считая себя недостойным этого знака отличия при таком непризнании его заслуг. Так как перемена на престоле произведена была, по словам манифеста, для избавления отечества от опасности, какими грозило прежнее царствование, от потрясения православной веры, уничтожения русской славы и чести, ниспровержения внутренних порядков и даже «от неизбежной почти опасности империи сей разрушения», как выразился в одном документе сенатор А. П. Бестужев-Рюмин, то на медалях в память коронации Екатерины была сделана надпись: «За спасение веры и отечества». Церковные проповедники, особенно архиепископ новгородский Димитрий Сеченов, первый член святейшего синода, еще смелее и восторженнее провозглашали Екатерину защитницей веры, благочестия и отечества, восстановительницей чести и достоинства своих подданных, «всех скорбей и печалей наших окончанием» и признавали событие 28 июня делом божим, чудным строением не человеческого ума и силы, но божиих несказанных судеб и его премудрого совета. «Будут чудо сие восклицать проповедники,— говорил в коронационном слове архиепископ Димитрий,— напишут в книгах историки, прочтут с охотою ученые, послушают в сладость некнижные, будут и последние роды повествовать чадам своим и прослав-

лять величие божие». Екатерина, разумеется, охотно усвоила взгляд церковных проповедников на дело 28 июня и думала увековечить его в законодательстве как достопамятный исторический факт: в сохранившемся собственноручном черновом проекте манифеста о престолонаследии она писала, что чудный промысел всевышнего «вручил нам самодержавство сей империи образом человеческим предвидением непостижимым».

На восторженные приветствия Екатерина отвечала решительным осуждением павшего правительства и заявлением широкой программы и совершенно нового направления начавшегося царствования. В манифестах и указах читали о вреде самовластия и губительных следствиях, какие от самовольного, необузданного и никакому человеческому суду не подлежащего властителя произойти не могут. С высоты престола пред богом целому свету сказывалось, «что от руки божией прияли всероссийский престол не на свое собственное удовольствие, но на расширение славы его и на учреждение доброго порядка и утверждение правосудия в любезном нашем отечестве», заявлялось правило неоспоримое, что тогда только обладатели государства прямо наслаждаются спокойствием, когда видят, что подвластный им народ не изнурен от разных приключений, а особливо от поставленных над ним начальников и правителей, возвещалось искреннее и нелицемерное желание прямым делом доказать, «сколь мы хотим быть достойны любви нашего народа, для которого признаваем себя быть возведенными на престол», и наиторжественнейше обещались императорским словом государственные учреждения прочные, на законах основанные, и выражалось упование предохранить этим целость империи и самодержавной власти, «*бывшим нечастием* несколько испроверженную, а прямых верноусердствующих своему отечеству вывести из уныния и оскорбления». И все это с уверениями в ежедневном материнском «о добре общем» попечении. Власть была достигнута переворотом не во имя права, не лицом династии, неправильно устраненным, как при воцарении Елизаветы, была захватом, а не возвратом права. Казалось бы, такой акт нуждался в оправдании, с ним надобно было как-нибудь примирить общество. Екатерина не делает ни того, ни другого: оправдывать приобретенную власть значило бы напрашиваться на сомнение в правильности ее приобретения; стараться примирить с ней общество значило бы заискивать у противников, выпрашивать у них

то, что уже было взято, наводит на мысль о ненужности случившегося, в том и другом случае ронять авторитет власти.

«Наказ» был систематическим изложением начал, которые заявлялись в манифестах и указах первых лет, приступом к исполнению наиторжественнейшего обещания, данного в манифесте 6 июля 1762 г., установить государственные учреждения, в которых управление шло бы по точным и постоянным законам. Многое в нем по новизне предметов могло показаться большинству читателей невразумительным, иное — неожиданным. Сам автор предвидел, что некоторые, прочитав «Наказ», скажут: не всяк его поймет. Непривычным к политическому размышлению умам нелегко было усвоить и объединить четыре определения политической свободы, одно отрицательное и три положительных. Государственная вольность по «Наказу»: 1) не в том состоит, чтобы делать все, что кому угодно, 2) состоит в возможности делать то, чего каждому надлежит хотеть, и в отсутствии принуждения делать то, чего хотеть не должно, 3) она есть право все то делать, что законы дозволяют, и 4) есть спокойствие духа в гражданине, происходящее от уверенности в своей безопасности. Русские умы впервые призывались рассуждать о государственной вольности, о веротерпимости, о вреде пытки, об ограничении конфискаций, о равенстве граждан, о самом понятии *гражданина* — о предметах, о которых рассуждать дотоле не считалось делом простых людей, — а те, чье это было дело, рассуждали о том очень мало. Всего более должны были поразить русского читателя те статьи «Наказа», где власть определяет самое себя, свое назначение и отношение к подданным. Слова сами по себе не могут составлять преступления по оскорблению величества; в самодержавии благополучие правления состоит отчасти в кротком и снисходительном правлении; великое несчастье для государства, когда никто не смеет свободно высказывать своего мнения; есть случаи, где власть должна ограничивать себя пределами, ею же самою себе положенными; лучше, чтобы государь только ободрял и одни законы угрожали; самодержавство разрушается, когда государь свои мечты ставит выше законов; льстецы твердят владыкам, что народы для них сотворены, «но мы думаем и за славу себе вменяем сказать, что мы сотворены для нашего народа, и по сей причине мы обязаны говорить о вещах так, как они быть должны»

«Никогда еще монархи не говорили с подданными таким пленительным, трогательным языком», — восклицал Карамзин в своем «*Похвальном слове*», воспроизводя впечатление первых русских читателей «*Наказа*». И сама власть, кажется, никогда еще не принимала в России такого облика и не становилась в такое отношение к обществу, как в екатерининских указах первых лет и в этом «*Наказе*». Она привыкла только требовать жертв от народа; теперь она за славу себе вменяла жертвовать собой для народа. Общее благо, прежде поглощаемое властью, теперь в ней олицетворялось. Она непосредственно обращалась к народу или с признаниями в принимаемых на себя обязанностях или с проповедью новых руководящих ею начал и понятий. Ее указы — чаще изложение оснований общежития, уроки политического благонравия или обличения чиновничьих и общественных пороков, чем повелительные законы: они, говоря тогдашним языком, больше просвещают умы и наклоняют волю к добру, чем предписывают действия или устанавливают отношения. Общее благо состоит в том-то и том-то, у нас то и это не в порядке, я денно-ночно пекусь об общем благе, каждый гражданин да разумеет, как подобает ему поступать в видах общего блага, — таков смысл и тон этих указов и манифестов. О полицейских предостережениях, о взысканиях за неисполнение упоминается как бы мимоходом, неохотно; разум и совесть призываются на место судьи и судебного пристава. Законодатель обращался к подданным не как к будущим преступникам, а как к настоящим гражданам и как бы говорил им: государство в вас самих и в ваших домах, а не в казармах или канцеляриях, в ваших мыслях, чувствах и отношениях. Предполагалось перевоспитать государевых холопов в гражданах государства, и в воспитательных уроках с ними обходились уже как с благовоспитанными гражданами. Потому знать мнение «публики» считалось полезным для правительства: в 1766 г. Екатерина приказала сенату обсудить, не лучше ли новое положение о дворянских банках напечатать в виде проекта за полгода до введения его в действие, чтобы желающие могли сообщить поправки и дополнения, даже не подписывая своих имен.

Когда люди, мнением которых мы дорожим, отказывают нам в достоинствах, которые у нас есть, мы обыкновенно падаем духом, как будто потеряли их, а когда приписывают нам достоинства, каких мы в себе не подзревали, мы ободряемся и стараемся приобрести их.

Когда с людьми, привыкшими к рабьему унижению перед властью, эта власть заговорила, как с гражданами, как с народом свободным, в них как бы в оправдание оказанной им чести стали вскрываться чувства и понятия, дотоле прятавшиеся или дремавшие. Началось это сверху, с ближайшего окружения власти, и, расширяясь, разрослось в устойчивое общественное настроение. Когда Сенат благодарил императрицу Елизавету за отмену внутренних таможен, она отвечала, что за удовольствие поставлять себе будет «авантажи своих подданных собственным своим предпочитать». Итак, собственные авантажи торжественно отделены от государственных или народных. Согласно с таким разделением Елизавета под конец жизни, а после нее и Петр III усиленно копили деньги и казенные доходы удерживали у себя, ничего или почти ничего не отпуская на государственные нужды, так что редко кто из служащих получал жалованье. Когда у них просили деньги на государственные потребности, они сердились и отвечали: «Доставайте, где знаете, а эти прибереженные деньги наши». Во время пожара в Лефортовских палатах в 1754 г. вытаскивали и поставленные там сундуки императрицы Елизаветы с серебряною монетой; у многих из них не оказалось дна, и пришлось штыками отгонять народ, хватавший рассыпанные по земле деньги. В первые дни царствования Екатерины II, когда ей доложили о крайней нужде в деньгах и о том, что русская армия в Пруссии уже восемь месяцев не получала жалованья, императрица в полном собрании Сената объявила, что, принадлежа сама государству, она считает и все ей принадлежащее собственностью государства и чтобы впредь не было никакого различия между интересом государственным и ее собственным, и приказала выдать из своих комнатных денег сколько было надобно на государственные нужды. У всех сенаторов выступили на глазах слезы; все собрание встало и в один голос благодарило императрицу за такой великодушный образ мыслей. Так рассказывала сама Екатерина. Сенат как главный орган власти и руководитель управления первый должен был воспринять и сообщить подведомственным местам новое направление: восставая против пытки, ему приказывала Екатерина преступников обращать к чистому признанию больше милосердием и увещанием, нежели строгостью и истязанием, вести дела без отягощения народного, без новых налогов, покрывая новые расходы «другими, благопристойнейшими спо-

собами»; генерал-прокурору Сената в секретнейшем наставлении ставилось на вид, что в высшем управлении «одна лишь форма канцелярская исполняется, а думать еще иные и ныне прямо не смеют, хотя в том и интерес государственный страждет», а губернаторам настойчиво предписывалось утесненных людей защищать. Простые люди, до которых не доходили такие предписания или которым не все было понятно в манифестах, постигали дух и направление нового правительства по слухам об ограничении пытки и конфискации, по распоряжениям против монополий и взяточничества, по указам о свободе торговли и удешевлении соли, о производстве подушной переписи без разорительных воинских команд, по отмене задержек на городских заставах и других мелких стеснений, устранение которых, однако, значительно облегчало общежитие и давало всем чувствовать, что башмак меньше прежнего жмет ногу.

«Все души успокоились, все лица оживились»,— говорит Карамзин, воспроизводя настроение, постепенно складывавшееся в обществе из всех этих столь непривычных впечатлений, какие оно тогда переживало. Это настроение восторженно выражалось при народных встречах Екатерины, особенно во время ее путешествия по Волге в 1767 г. Екатерина писала с дороги, что даже «иноплеменников», т. е. дипломатический корпус, ее сопровождавший, не раз прошибали слезы при виде народной радости, с какой ее встречали, а в Костроме граф Чернышев весь парадный обед проплакал, растроганный «благочинным и ласковым обхождением» местного дворянства, что в Казани готовы были постелить себя вместо ковра под ее ноги, а в одном месте в церкви мужики принялись свечи подавать, прося поставить их перед матушкой-царицей: это простонародный волжский ответ парижским философам, величавшим Екатерину царско-сельской Минервой. Чтение «Наказа» в Комиссии 1767 г. депутаты слушали с восхищением, многие плакали, особенно от слов 520-й статьи: «Боже сохрани, чтобы после окончания сего законодательства был какой народ больше справедлив и, следовательно, больше процветающ на земли; намерение законов наших было бы не исполнено — несчастье, до которого я дожить не желаю». Плакали при встречах императрицы, при чтении ее манифестов и «Наказа», плакали за парадными обедами в ее присутствии, плакали от радости при мысли, что бироновское прошлое уже не вернется; никогда, кажется, не было

пролито в России столько радостных политических слез, как в первые годы царствования Екатерины II.

В этих слезах было много серьезного: сквозь них проступал новый взгляд общества на власть и на свое отношение к ней. Из грозной силы, готовой только карать, о которой страшно было говорить и думать, власть превращалась в благодетельное, попечительное существо, о котором не могли наговориться, которым не умели нахвалиться. Эта политическая чувствительность постепенно приподнимала людей, наполняя их смутным ощущением наступающего благополучия. Эта приподнятость особенно выразительно сказалась в Комиссии 1767 г. Собрано было со всего государства свыше 550 представителей самых разнообразных вер, наречий, племен, состояний, умоначертаний, от высокообразованного представителя святейшего синода митрополита Новгородского Димитрия до депутата служилых мещеряков Исетской провинции муллы Абдуллы мурзы Тавышева и до самоедов-язычников, которые, как им ни толковали в Комиссии, никак не могли понять, что такое закон и для чего это людям понадобились законы,— всероссийская этнографическая выставка, представлявшая своим составом живые образчики едва ли не всех пройденных человечеством ступеней культуры. Депутаты призваны были со своими местными «нуждами и недостатками» для «трудного и кропотливого дела — составления кодекса законов, согласенных с этими нуждами и недостатками». Вступая в Комиссию, депутаты присягали по однообразной формуле, клятвенно обещаясь начать и окончить великое дело «в правилах богоугодных, человеколюбие вселяющих и добронравие к сохранению блаженства и спокойствия *рода человеческого*». На первом же шагу депутат переносился со своими низменными местными нуждами в область высоких идеалов человечества. При открытии Комиссии вице-канцлер в речи от имени императрицы призывал депутатов воспользоваться случаем прославить себя и свой век и приобрести благодарность будущих веков, порадеть об общем добре, о блаженстве рода человеческого и своих любезных сограждан. «От вас ожидают примера все подсолнечные народы,— говорил он,— очи всех на вас обращены». А недели через две маршал Комиссии Бибииков⁴⁵ поднял тон еще октавою выше, в речи самой Екатерине говорил уже, что «во всеобщем благополучии мы первенствуем», и, поднося ей от Комиссии титул *матери отечества*, прибавлял, что весь род челове-

ческий долженствовал бы предстать здесь и принести ей титул *матери народов*. Позднее подобные фразы стали стереотипами, заменявшими чувства; тогда они впервые отливались из наличных чувств или вливали такие чувства в раскрытые сердца. Точно подхваченные воздушным шаром, депутаты со своими руководителями отрывались от своих родных уездных и даже российских видов, и с захватывающей дух высоты им открывались необъятно широкие кругозоры, виднелись будущие века, народы, весь род человеческий. Все это немного ходульно и театрально, но во всем этом выражалась простая любовь к отечеству и сказывалась непривычка выражать просто внушаемые ею чувства национального достоинства и патриотической гордости по новизне ли самых этих чувств или по недостатку случаев выражать их. Да, наконец, театральная маршировка все же приучает не умеющих хорошенько ходить к приличной походке.

Но гордость отечеством обязывает быть достойным его сыном; без того она бахвальство и ничего более. Надобно быть справедливым к людям екатерининского времени: они остереглись одной опасности, какую грозит народная гордость, не поддались искушению приподняться на цыпочки, чтобы прибавить себе росту. Подъем духа сопровождался у них возбуждением умов, которое помешало им принять самомнение за национальное самосознание. Почувствовав важное значение своего отечества, они спешили хорошенько осмотреть себя, чтобы видеть, приготовлены ли они к выступлению на большую сцену. Они умели заметить и имели добросовестность сознаться, что не могут еще появиться в европейском свете так, как того требует достоинство их отечества, что величие и могущество империи, о чем Екатерина твердила иностранцам, опираются собственно на силы народной массы, а они, образованные и руководящие классы, обязанные выражать разум своего народа, еще не в состоянии стать достойными его выразителями. В этом сознании источник той горячей энергии, с какою заговорила при Екатерине журнальная и театральная сатира, по-видимому, так мало подходившая к блеску и успехам той эпохи. Самообличение было прямым следствием разумно направленного патриотического чувства: из любви к отечеству обличали себя, недостойных сынов его. Эта сатира не подняла заметно уровня жизни: частные и общественные недостатки и пороки остались на своих местах, но они были обличены и признаны, т. е. стали менее зара-

зительны, а это подавало надежду, что дети не все унаследуют от своих неисправимых отцов. Зато мысль необычайно оживилась, особенно благодаря «свободоязычню», простору, какой давала ей в литературе Екатерина, сама принимавшая деятельное участие в этом литературном движении. Обличая отечественные недуги, мыслящие люди того времени много передумали, и притом о таких предметах, что самая склонность размышлять о них есть уже признак значительного подъема умов. В этом помогло им, конечно, влияние просветительной литературы. Из записок Порошина и Винского видим, что в людях образованных и даже полуобразованных это влияние возбуждало интерес к политике и морали, к изучению устройства государств и состава людских обществ. Порошин, преподаватель математики при великом князе Павле, разговаривал со своим учеником о сочинениях Монтескье и Гельвеция⁴⁶, о необходимости читать их для просвещения разума, приготовлял для великого князя книгу *«Государственный механизм»*, в которой «хотел показать разные части, коими движется государство, изъяснить, например, сколько надобен солдат, сколько земледelec, сколько купец и пр. и какую кто долею споспешествует всеобщему благоденствию, что не может государство быть никоим образом благополучно, когда один какой чин процветает, а прочие в пренебрежении». Надобно много и много жалеть, что одному из образованнейших и благороднейших русских людей XVIII в. не удалось написать задуманного им сочинения, которое могло бы послужить прекрасным показателем роста русской политической мысли в том веке. Образованным людям екатеринского времени и принадлежит заслуга возбуждения целого ряда важных вопросов, над которыми много работала мысль дальнейших поколений: об отношении России к Западной Европе, об отношении новой России к древней, об изучении национального характера, о согласовании национального с общечеловеческим, самобытного народного развития с необходимостью подражать опередившим народам. Под влиянием непривычной работы мысли над вопросами морали, политики и общежития законодательный и литературный язык получил философско-моралистическую окраску, запестрел отвлеченной терминологией академического красноречия, выражающей нравственные основы и связи общежития. Пошли в ход слова *«добронравие»*, или *«благонравие»*, *«человечество»*, *«человеколюбие»*, *«попечение о благе общем»*,

«блаженство общее и частное», «отечество», «граждане», или «сограждане», «чувствительность», «чувствования человеческого сердца», «добродетельные души» и т. п. Таким языком блещит и изданный 8 апреля 1782 г. *Устав благочиния*, или *Полицейский*, где в «правилах добродетели» читаем такие статьи закона: «Не чини ближнему, чего сам терпеть не хочешь; в добром помогите друг другу, веди слепого, дай кровлю не имеющему, напои жаждущего»; в «правилах обязательств общественных» изображено: «Муж да прилепится к своей жене в согласии и любви, уважая, защищая и извиняя ее недостатки, облегчая ее немощи», а в числе требуемых от определенного к благочинию начальства поставлены «здравый рассудок, человеколюбие и усердие к общему труду». Особенно любимыми стали слова «общество» и «род человеческий». В 1768 г. граф Разумовский, благодаря Екатерину от имени Сената, присутственных мест и всего народа за пробное привитие оспы себе и сыну для примера подданным, говорил даже о «роде человеческом обоюбого пола», а по *Учреждению для управления губерний 1775 г.* земский исправник обязан отправлять свою должность «с доброхотством и человеколюбием к народу» и в случае эпидемии стараться «о излечении и сохранении человеческого рода». В памятниках XVII в., когда русский народ был разбит на множество мелких служилых и тяглых разрядов, или *чинов*, с особыми обязанностями, без общих дел и интересов, изредка мелькает выражение «общество христианское», ибо религия оставалась наиболее крепкой нравственной связью общежития. При Екатерине встречаем уже «российское общество»; Сенат в докладе императрице говорит об «обществе всех верноподданных», в жалованных грамотах 1785 г. устанавливаются термины: «дворянское общество», «общество градское», а в депутатских наказах 1767 г. находим даже ходатайство «о выборе судей всем обществом всего уезда» как всеобщей земской корпорацией. Так идея солидарности постепенно охватывала общественные слои, между которыми прежде не чувствовалось единения. В этом новом языке нет недостатка в красивых словах и неясных понятиях. Хорошие слова, став ходячими, в непривычном обществе скоро изнашиваются, теряют смысл, так что, произнося их «человек ничего уже не мыслит, ничего не чувствует», как говорил Стародум в «Недоросле». Такие слова не оказывали прямого действия на нравы и поступки, на подъем жизни, но, украшая речь, приучали

мысль к опрятности, заставляли ее держаться выше эгоизма и инстинкта, произвол личного понимания подчиняли требованиям общественного приличия. С этой стороны можно придавать народно-воспитательное значение указу 19 февраля 1786 г., предписавшему во всех деловых обращениях лиц к власти заменять слово «раб» словом «подданный». Хорошие слова часто, подобно костылям, поддерживают слабеющие мысли. Уж на что пылок был в защите сословных преимуществ дворянский депутат в Комиссии 1767 г. князь М. М. Щербатов, для которого сословное неравенство было своего рода политическим догматом, но и он в Комиссии оговаривался, что крепостные «суть равное нам создание», только «разность случаев возвела нас на степень властителей над ними». «Наказ» Екатерины иногда ссылается в своих положениях на закон христианский и закон естественный. Возражая на требование ограничения пытки и телесного наказания для одних только дворян, депутаты от городов, опираясь на те же законы — священный и естественный, которые «весьма не терпят лицепрятий», доказывали, что «вор — всегда вор, подлый он или благородный», и последнего, как человека просвещенного и знающего законы, следует наказывать даже строже, чем простолюдина, который часто совершает преступление по нужде или неведению. Да притом, прибавляли эти депутаты, по-своему становясь на точку зрения демократической монархии, в России от века монархическое, а не аристократическое правление, и «как подлый, так и благородный — все равно подданнейшие рабы все милостивейшей государыни». Модные слова подсказывали новые идеи, а идеи внушали дела, по крайней мере проекты дел. Одним из таких слов было тогда *просвещение*, о котором твердили и манифесты и журналы. В то время, когда свои и чужие наблюдатели уверяли, что русское дворянство считает невежество своим сословным правом (Винский), что цивилизовать его труднее, чем даже крестьян (Макартней), из среды этого культурно безнадежного класса посланы были в ту же Комиссию требования, чтобы при церквях учреждены были школы для крестьянских детей, «дабы знанием закона хотя мало поправить нравы их» (наказы копорского и ябургского дворянства), чтобы церковные причты обучали крестьянских мужеска пола детей, «от чего впредь уповательно подлый народ просвещенный разум иметь будет» (наказ крапивенского дворянства). В 1764 г. архангелогородский гражданин В. Крестинин⁴⁷, опреде-

ленный магистратом наблюдать за начальным обучением и потом издавший ряд дельных исторических сочинений о своей двинской родине, представил сенату даже проект обязательного обучения с хорошо обдуманном планом малых школ, в которых обучались бы всякого чина и обоого пола дети в городе *все* без исключения.

Это пробуждение умов по призыву власти — едва ли не самый важный момент в росте впечатления, какое оставило после себя царствование Екатерины. По крайней мере в «Фелице» особенным движением отличаются известные стихи:

...Ты народу смело
О всем и въявь и под рукой
И знать, и мыслить позволяешь.

Люди бывают особенно довольны и счастливы, когда их признают умными и способными рассуждать о самых важных предметах, и искренно признательны к тем, кто им доставил такое счастье. А теперь власть не только позволяла, но и предписывала народу обо всем знать и мыслить и способность рассуждать о самых важных предметах ставила в число общественных обязанностей гражданина. Депутаты, призванные манифестом 14 декабря 1766 г., должны были и привезти с собой наказы от своих избирателей с изложением местных «общественных нужд и тягостей» и потом принять участие в трудах Комиссии по составлению проекта нового уложения. Таким образом, на местные общества возлагалась тяжелая задача не только обсудить свое положение, свои интересы и потребности, но и согласить их с положением и интересами всего государства, подняться на точку зрения высшей политики и даже «пройти со вниманием течение минувших времен и рачительно разыскать все причины, вредившие общему благоденствию и силе законов», как писал в своем циркуляре по поводу манифеста 14 декабря правитель Малороссии Румянцев⁴⁸. Словом, представители народа призывались к участию не в управлении, а в самом устроении государственного порядка на новых началах. Никогда еще в нашей истории на народное представительство не возлагалось столь важное дело. Правда, вызывали в Комиссию уложения выборных от дворянства при Петре II, выборных от дворянства и купечества при Елизавете, но в первом случае работа Комиссии состояла только в пополнении старого Уложения 1649 г., а во втором — выборные призывались, как и в 1648 г.,

для слушания уже готового проекта Уложения, составленного правительственной Комиссией, а не для прямого участия в его составлении.

Известно, почему Комиссия 1767 г. не составила проекта нового Уложения и что в ней вскрылось. Депутатские наказы жаловались на отсутствие или непрочность первичных основ общежития и требовали, например, чтобы военные не били купечества и платили за забранные у него товары. Потом вскрылась непримиримая рознь сословных интересов: требовали исключительных привилегий, сословных монополий, и только в одном печальном желании разные классы общества дружно сошлись с дворянством — в желании иметь крепостных. Однако поверх всей этой неурядицы противоречивых понятий, взаимных сословных недоразумений, неслаженных или враждебных интересов, делавших невозможным составление стройного, справедливого и для всех безобидного уложения, откуда-то шло течение, которое несло семена будущего, лучшего порядка: оно проявлялось в требованиях издания закона «к приведению разного звания народа в содружество», всесословного участия в местном управлении, учреждения «кратких словесных судов», веротерпимости, учреждения академий, университетов, гимназий, городских и сельских школ и т. п. Это течение шло из общего возбуждения умов, начавшегося вместе с царствованием. Комиссия усилила его. Не все депутаты были люди «способнейшие и чистой совести», как требовал закон. Но они встретились в Комиссии с представителями высших правительственных учреждений и полтора года сидели плечо с плечом, присмотрелись друг к другу и сблизились, обменялись мыслями, напряженно обсуждая важнейшие вопросы общенародного блага и государственного благоустройства, памятуя призыв со стороны власти при открытии Комиссии: «Слава ваша в ваших руках». Вместе с этим призывом депутаты разнесли по всей России аксиомы, усвоенные из «Наказа», и впечатления, вынесенные из этой совместной работы. Оставалось дать подходящее дело гражданскому чувству, столь живо возбужденному, и политическому сознанию, столь заботливо подготовленному. Но, когда через несколько бурных лет, исполненных внешними и внутренними тревогами, в 1775 г. издано было *Учреждение для управления губерний*, призывавшее именно к такому делу, последовал отклик, не соответствовавший ни пробужденной энергии, ни возбужденным ожиданиям.

Тогда и после винили в этом известные недостатки губернских учреждений, «изящных на бумаге, но худо примененных к обстоятельствам России», по выражению Карамзина. Но в этих учреждениях блеснули две идеи, которые должны были привлечь к себе самое сочувственное отношение общества: это — участие выборных в местном управлении и суде, а в некоторых учреждениях, например в Приказе общественного призрения, совместное участие выборных от трех сословий: дворянства, городского и свободного сельского населения. Это последнее учреждение обещало быть особенно благотворным. Уже давно, приблизительно с половины XVII в., свободные классы русского общества, встречавшиеся для совместной деятельности на земских соборах и в некоторых местных учреждениях, начали расходиться, разделенные сословными правами и обязанностями, сословными интересами и предрассудками, и действовать одиноко, замыкаясь каждый в своем сословном кругу. Теперь власть призывала общество возобновить эту прерванную совместную деятельность на благодарном поприще народного образования и общественного призрения в особом всесословном учреждении, которое вместе с Совестным судом, подобно ему составленным, Учреждение называет «двумя источниками, на веки льющими благоденствие несчастным и бедствующим в роде человеческом и сопрягающими милость и суд воедино», и вслед затем взывает: «Как можно, чтоб сердца подданных, в коих не угасли сродная жалость и любовь к ближнему, чувствами своими не были тут соподобны величайшему монаршему человеколюбию!» Однако сердца подданных, отвечая чувствами своими человеколюбию законодательницы, отнеслись к ее призыву небрежно, а по местам и неопрятно: уездные дворяне иногда совсем не являлись на съезды для выборов, так что предводитель оставался один, напрасно посылая нарочных за подгородными помещиками, и должен был прибегать к заочным назначениям; выборы производились нередко с явным пристрастием и наглой несправедливостью, по выражению современника Болотова; люди благонамеренные и образованные или устранились от собраний, или были заглушаемы «благородной чернью» грубого и малограмотного деревенского дворянства, наполнявшего собрание, и эти собрания оставили в наблюдателях то общее впечатление, что там, «кроме нелепостей, ссор и споров о пустяках, никогда ни одно дельное дело не было предлагаемо».

Новые учреждения, дав дворянству господствующее положение в местном обществе и управлении, чрезвычайно подняли дух дворянства, но мало улучшили самое управление. Это похоже на какую-то загадку, но она разрешается некоторыми особенностями екатерининского дворянского общества, представляющими немалый народно-психологический интерес.

В росте общественного настроения, какое складывалось в царствование Екатерины II преимущественно в дворянской среде, был тревожный момент, о котором потом не любили вспоминать люди екатерининского века и который потому сгладился в воспоминаниях их ближайших потомков. Этот момент падает на время между изданием манифеста 1762 г. о вольности дворянской и прекращением пугачевского мятежа 1774 г. С отменой обязательной службы, привязывавшей дворянство к столицам, начался или усилился отлив дворян в деревню, но этот отлив задерживался крестьянскими волнениями, побегами и связанными с ними разбоями, делавшими жизнь дворянина в деревне очень небезопасной. Между тем отмена обязательной службы сословия отнимала основное политическое оправдание у крепостного права, и обе стороны скоро почувствовали это, каждая по-своему: среди дворян это чувство выразилось в опасении, как бы вместе со службой не сняли с них и власти над крепостными, а среди крепостных — в ожидании, что справедливость требует и с них снять крепостную неволю, как сняли с дворян неволю служебную. Комиссия об Уложении усилила опасения одних и ожидание других. В народ проникали смутные слухи, что в «Наказе» императрицы сказано нечто и в пользу «рабов». Пошли толки о перемене законов, о возможности крестьянам выхлопотать кой-какие выгоды; появился фальшивый манифест за подписью Екатерины, в котором читали, что «весьма наше дворянство пренебрегает божий закон и государственные права, правду всю изринули и из России вон выгнали, что российский народ осиротел». Эти толки и заставили Сенат запретить распространение «Наказа» в обществе. По распусшении Комиссии среди гвардейских офицеров шли недовольные толки об унижении дворянства, о вольности крестьян и холопей, об их непослушании господам: «Как дадут крестьянам вольность, кто станет жить в деревнях? Мужики всех перебьют: и так ныне бьют до смерти и режут». И само правительство задавало себе вопрос, что делать с этим освобожденным от службы служилым сословием,

чем занять его с пользой для государства? Граф Бестужев-Рюмин еще в 1763 г. в комиссии о дворянстве предлагал занять сословие деятельным участием в местном управлении, образовав из него местные сословные корпорации, чтобы дворяне не пришли в «древнюю леность». Того же участия и корпоративного устройства потребовало и само дворянство в Комиссии 1767 г. Ему было дано то и другое. Но как оно поняло предоставленное ему право? Оно увидело в нем не новый вид государственного служения *всего* дворянства взамен прежней обязательной службы, а недостававшее ему хозяйственное удобство каждого отдельного дворянина. На выборных капитанов-исправников, уездных судей и заседателей нижних земских и верхних земских судов оно посмотрело, как на своих ответственных уполномоченных, обязанных охранять интересы каждого дворянина в присутственных местах и спокойствие в деревнях, т. е. перенесло на них привычное понятие о своих приказчиках и управляющих, которые должны отвечать перед ними, господами, но за которых они не отвечают перед государством. Такой взгляд проглядывает в дворянских наказах депутатам Комиссии, так смотрел на дело и сам сенатор и бывший канцлер граф Бестужев-Рюмин: по его проекту выборные дворянские ландраты должны были стать для избравшего их общества «во всем опекунами и ходатаями по судебным земским местам в причиняемых дворянам утеснениях и обидах».

Введение губернских учреждений только укрепляло такой взгляд дворянства на свое новое положение. Уже целых 10 лет до манифеста об этих учреждениях сословие находилось в возбужденном состоянии: современники говорят, что манифест 19 сентября 1765 г. о государственном межевании произвел во всем государстве великое потрясение умов и всех деревенских владельцев заставил непривычно много мыслить и хлопотать о своих земельных имуществях: все сельские умы были поглощены этим делом, и не было конца разговорам о нем. Владельцам вековых дедовских гнезд впервые пришлось подумать и привести себе на память, как, на каком основании и в каких пределах они владеют ими. Скачка без памяти по соседям, переговоры и споры, растерянные поиски забытых или затерявшихся документов, справки в межевых канцеляриях и конторах, хлопоты, как бы урвать казенной земли при общем ее расхищении, взятки землемерам, плутни и захваты, ссоры и драки на ме-

же, расспросы про невиданные и диковинные астролябию и румбы, смех и горе, — надобно читать рассказы Болотова про всю эту межевую суету и землевладельческую горячку, чтобы живо представить себе и юридическую беспомощность сословия, и весь хаос дворянского землевладения, и скромный уровень общественного порядка. Эти люди, еще недавно встряхнутые ужасами чумы и пугачевщины, теперь призывались к участию в местном управлении. Новые наместничества открывались одно за другим в продолжение многих лет, поддерживая возбуждение умов, так что большую часть царствования дворянство жило ускоренным темпом. К торжественному открытию из усадебных углов съезжались в губернский или наместнический город все дворяне губернии с семействами, только что приходившие в себя от пережитых встрясок. Эти люди, среди праздной и малополезной для государства жизни представлявшие из себя «картину феодальных веков Европы», по выражению Карамзина, едва не забывшие отношений гражданина к государству, в торжественном собрании сословия слушали речь, в которой наместник со ступеней трона под портретом императрицы обращался к собравшимся, как к правящей корпорации, читали и толковали новое *Учреждение*, в котором видели исполнение обещаний первых манифестов и желаний, заявленных в их собственных наказах 1767 г., баллотировали своих предводителей, судей и заседателей, обедали у наместника, знакомились друг с другом, присутствовали на балах, маскарадах и спектаклях, нарочно для них устроенных, и с наставительным шепотом указывали своим семьям на изящных чиновных кавалеров, привезенных наместником из столицы, с французским языком, модными словами и манерами. Утомленные баллотировками, празднествами и новыми знакомствами, они возвращались в свои крепостные усадьбы с убеждением, что присутствовали при водворении крепкого порядка, которого не поколеблет уже никакая пугачевщина и в котором, что всего важнее, не осталось места для пугавших их воображение помыслов об осуществлении крестьянской «вольности мечты», и что теперь их усадебный сон вполне огражден от тревог выборными предводителями и исправниками. Любопытно, что эта уверенность сообщалась отчасти и крепостному населению. Впечатления, привезенные с открытия, обновлялись через каждое трехлетие на периодических дворянских собраниях, которые, укрепляя в дворянстве сознание своих великих государ-

ственных прав, особенно с издания жалованной грамоты 1785 г., вместе с тем приучали его к людскости и «благочинному обхождению». Люди, привыкшие в своих крепостных деревнях чувствовать себя единственными единицами, на дворянских собраниях, среди горячки белых шаров и выборных должностей, сменившей горячку межевых обходов и дешевых земельных покупок, учились впервые думать о пределах своей личности и понимать себе равных, ценить общественное мнение и сторониться перед встречным со своими деревенскими замашками. Все эти впечатления, разрастаясь и сливаясь, образовали среди дворян настроение, покоившееся на мысли, что они, благочинные граждане благоустроенного общества, преимущественно перед прочими сословиями призваны проводить на своих собраниях благие намерения власти, внушенные высокими идеями века. Что же касается до ежедневных подробностей местного управления, то это — дело дворянских уполномоченных, которых в том и не стесняли, пока те не касались личных дел каждого избирателя. Если дела шли несогласно с требованиями «правды, человеколюбия и общего блаженства», на которых строился закон, это считалось в порядке вещей, потому что этим требованиям придавалось не столько практическое, сколько народновоспитательное значение согласно с «Наказом», который гласил, что для успеха лучших законов необходимо «умы людские к тому приуготовить». Рассуждали, что прежде надобно облагородить ум и сердце людей, а потом улучшить их жизнь, сперва выучить человека плавать, а потом пускать его в воду. В умоначертании людей екатерининского времени произошел тот оборот мысли, какой наблюдаем в человеке с возбужденным воображением и с незанятым умом: деловые идеи незаметно перерождаются в досужие грезы, а когда люди грезят о счастье с мыслью о его невозможности, они мирятся с его отсутствием. Только таким оборотом мысли и можно объяснить психологию екатерининского вольтерьянца, у которого свободолюбивые мечты так мирно уживались с крепостною действительностью. Так и случилось, что возбуждение умов, подъем общественного духа не подняли заметно уровня общественного порядка.

Это раздвоенное настроение прошло самую резкую чертой, сказать прямее, самым глубоким рубцом по нравственной физиономии екатерининского общества и было последним моментом в образовании впечатления, вынесенного им из царствования Екатерины II. Начавшись

восторженной политической чувствительностью, оно в своем последовательном росте поднялось до патриотического чувства национального достоинства, перешло потом в умственное возбуждение, выразившееся в склонности к политическому размышлению, и завершилось пробуждением гражданского чувства, которое, проснувшись, так и осталось нервным движением, не успев переработаться в житейское дело. Однако и нравственные приобретения были очень важны: современники Екатерины и их ближайшие потомки были уверены, что при Екатерине показались первые искры национального самолюбия, просвещенного патриотизма, что при ней родились вкус, общественное мнение, первые понятия о чести, о личной свободе, о власти законов, что русские при ней, как бы по собственному внушению, стремились сравняться с народами, опередившими их на много веков (Вигель) ⁴⁹.

V

«Да посрамит небо всех тех, кто берется управлять народами, не имея в виду истинного блага государства»,— писала Екатерина. Ее совсем не мечтательный ум ласкала мечта стать преобразовательницей своего государства и воспитательницей своего народа, сеять добро на земле, которое переживало бы сеятеля, и не деликатно было бы не верить искренности ее признания, что ей нравится «та слава, которая не только в настоящем производит добро, но и в будущем создает бесчисленные поколения добрых». Она принесла на русский престол два средства действия: ум, исполненный философско-политических идей века, располагавших ее к тому, что она называла своею *легисломанией*, и характер, способный сдерживать философские увлечения, выработанный среди житейской толкотни более общением с живыми людьми, чем уединенною работой над самим собой. Она начала свою деятельность с убеждением в силе разума, долженствующего управлять народами, и с верой в разум народа, которым ей пришлось управлять. Она нашла под своею державною рукой страну с влиятельным внешним положением и неблагоустроенным внутренним порядком, государство с обильными материальными средствами и с расстроеными нравственными силами, не согласенными и враждебными интересами. Читая, наблюдая и размышляя, она решила, что действующие в России зако-

ны мало соответствуют положению государства, не поднимали, а понижали его благосостояние и извели множество народа, что сам Петр I не знал, какие законы надобны его государству, и что такая своеобразная страна, как Россия, невозделанная и не искаженная историей, нуждается не в пересмотре, а в коренной перестройке законодательства на новых началах, что здесь все надобно переделывать заново. Это была мысль скорее академического, чем политического ума. Не одна Екатерина смотрела на Россию, как на белый лист бумаги, еще не исчерченный историей, и она была не последняя, кто так смотрел на эту страну. Но такой взгляд значительно исправлялся другим соображением Екатерины, что надежнее самих законов образ действий власти, направляемый снисхождением и примирительным духом государя. Опыт и ближайшее знакомство со страной, особенно Комиссия 1767 г., показавшая Екатерине, «с кем дело имеем», убедили ее, что и у России есть свое прошлое, по крайней мере есть свои исторические привычки и предрассудки, с которыми надобно считаться. Она увидела, что без глубоких потрясений невозможно провести коренных реформ, каких потребовала бы система законодательства на усвоенных ею началах, и на совет Дидро переделать весь государственный и общественный порядок в России по этим началам посмотрела как на мечту философа, имеющего дело с книгами, а не с живыми людьми. Тогда она сократила свою программу, сознавая, что не может взять на себя всех задач русской власти, что то, что можно, далеко не все, что нужно. «Что бы я ни делала для России,— писала она,— это будет только капля в море». Но, утешала она себя, «после меня будут следовать моим началам» и докончат недоделанное. Когда добрый попечитель убеждается в несбыточности планов сделать зависящих от него людей счастливыми, создав им лучшее положение, он старается по крайней мере сделать их более довольными их прежним положением, внушив им лучшие мысли и чувства. Видя невозможность перестроить русскую жизнь новыми законами и учреждениями, Екатерина хотела лучше настроить русскую мысль новыми идеями и стремлениями, предоставив ей самой перестраивать жизнь. Не решившись стать радикальной преобразовательницей государства, она хотела остаться воспитательницей народа. Потому, не трогая основ существующего порядка, она стала действовать на умы. Власть, оставаясь военно-полицейским стражем внешней безопасности и

внутреннего благочиния, в ее руках стала еще проповедницей свободы и просвещения. Екатерина не стеснила пространства власти, но смягчила ее действие, приняв в руководство эти принципы, и тем сделала менее ощутительной ее беспределность, ибо руководящие принципы власти казались ее пределами. Екатерина не дала народу свободы и просвещения, потому что такие вещи не даются пожалованием, а приобретаются развитием и сознанием, зарабатываются собственным трудом, а не получаются даром, как милостыня. Но она дала умам почувствовать цену этих благ если не как основ общественного порядка, то по крайней мере как удобств частного, личного существования. Это чувство было тем ободрительнее, чем еще не ослаблялось тогда пониманием жертв и усилий, какими приобретаются эти блага, а теснота сферы, отведенной для их действия, не замечалась, узкость башмака не чувствовалась в обаянии «бессмертной славы, какую она приобрела во всем свете», говоря словами Болотова. Эта слава была новым впечатлением для русского общества, и в ней тайна популярности Екатерины. В ее всесветной славе русское общество впервые почувствовало свою международную силу, она открыла ему его самого: Екатерину восторгались, как мы восторгаемся артистом, открывающим и вызывающим в нас самим нам дотоле неведомые силы и ощущения; она нравилась потому, что через нее стали нравиться самим себе. С Петра, едва смея считать себя людьми и еще не считая себя настоящими европейцами, русские при Екатерине почувствовали себя не только людьми, но и чуть не первыми людьми в Европе. За это не ставили ей в счет ни ошибок ее внешней политики, ни неудобств внутреннего положения, ни поступков с Арсением Мацеевичем или Новиковым⁵⁰, недостойных ни ее ума, ни сана, ни приемов «маленького хозяйства», в котором, по тогдашним рассказам, платилось 500 руб. за пять огурцов для любимца и выходило угля для щипцов придворного парикмахера на 15 тыс. руб. в год. Общее настроение сглаживало эти неровности, вследствие которых империя последних лет царствования представляла по закону, по общему впечатлению стройное и величественное здание, а вблизи, в подробностях — хаос, неурядицу, картину с размахистыми и небрежными мазками, рассчитанными на дальнего зрителя.



НЕДОРОСЛЬ ФОНВИЗИНА

(Опыт исторического объяснения
учебной пьесы) ¹

Добрый дядя Стародум в усадьбе Простаковых, застав свою благодетельную племянницу Софью за чтением Фенелонова трактата о воспитании девиц, сказал ей:

— Хорошо. Я не знаю твоей книжки; однако читай ее, читай! Кто написал Телемака, тот пером своим нравов развращать не станет.

Можно ли применить такое суждение к самому *Недорослю*? Современному воспитателю или воспитательнице трудно уследить за той струей впечатлений, какую вбирают в себя их воспитанники и воспитанницы, читая эту пьесу. Могут ли они с доверчивостью дяди Стародума сказать этим впечатлительным читателям, увидев у них в руках Недоросля: «хорошо, читайте его, читайте; автор, который устами дяди Стародума высказывает такие прекрасные житейские правила, пером своим нравов развращать не может». *Имей сердце, имей душу, и будешь человек во всякое время. Ум, коль он только что ум, самая безделица; прямую цену уму дает благодетель.* Главная цель всех знаний человеческих — благодетель. Эти сентенции повторяются уже более ста лет со времени первого представления *Недоросля* и хотя имеют вид нравовучений, заимствованных из детской прописки, однако до сих пор не наскучили, не стали приторными наперекор меткому наблюдению того же Стародума, что «всечасное употребление некоторых прекрасных слов так нас с ними знакомит, что, выговаривая их, человек ничего уже не мыслит, ничего не чувствует». Но, кроме прекрасных мыслей и чувств Стародума, Правдина, Софьи, поучающих прямо своим простым всем открытым смыслом, в комедии есть еще живые лица с своими

страстями, интригами и пороками, которые ставят их в сложные, запутанные положения. Нравственный смысл этих драматических лиц и положений не декламируется громко на сцене, даже не нашептывается из суфлерской будки, а остается за кулисами скрытым режиссером, направляющим ход драмы, слова и поступки действующих лиц. Можно ли ручаться, что глаз восприимчивого молодого наблюдателя доберется до этого смысла разыгрываемых перед ним житейских отношений и это усилие произведет на него надлежащее воспитательное действие, доставит здоровую пищу его эстетическому ощущению и нравственному чувству? Не следует ли стать подле такого читателя или зрителя *Недоросль* с осторожным комментарием, стать внятным, но не навязчивым суфлером?

Недоросль включается в состав учебной хрестоматии русской литературы и не снят еще с театрального репертуара. Его обыкновенно дают в зимнее каникулярное время, и, когда он появляется на афише, взрослые говорят: это — спектакль для гимназистов и гимназисток. Но и сами взрослые охотно следуют за своими подростками под благовидным прикрытием обязанности проводников и не скучают спектаклем, даже весело вторят шумному смеху своих несовершеннолетних соседей и соседок.

Можно без риска сказать, что *Недоросль* доселе не утратил значительной доли своей былой художественной власти ни над читателем, ни над зрителем, несмотря ни на свою наивную драматическую постройку, на каждом шагу обнаруживающую нитки, которыми сшита пьеса, ни на устарелый язык, ни на обветшавшие сценические условия екатерининского театра, несмотря даже на разлитую в пьесе душистую мораль оптимистов прошлого века. Эти недостатки покрываются особым вкусом, какой приобрела комедия от времени и которого не чувствовали в ней современники Фонвизина. Эти последние узнавали в ее действующих лицах своих добрых или недобрых знакомых; сцена заставляла их смеяться, негодовать или огорчаться, представляя им в художественном обобщении то, что в конкретной грубости жизни они встречали вокруг себя и даже в себе самих, что входило в их обстановку и строй их жизни, даже в их собственное внутреннее существо, и чистосердечные зрители, вероятно, с горестью повторяли про себя добродушное и умное восклицание Простакова-отца: «хороши мы!». Мы живем в другой обстановке и в другом житейском складе; те же

пороки в нас обнаруживаются иначе. Теперь вокруг себя мы не видим ни Простаковых, ни Скотининых, по крайней мере с их *тогдашними* обличиями и замашками; мы вправе не узнавать себя в этих неприятных фигурах. Комедия убеждает нас воочию, что такие чудовища могли существовать и некогда существовали действительно, открывает нам их в подлинном первобытном их виде, и это открытие заставляет нас еще более ценить художественную пьесу, которая их увековечила. В наших глазах пьеса утратила свежесть новизны и современности, зато приобрела интерес художественного памятника старины, показывающего, какими понятиями и привычками удобрена та культурная почва, по которой мы ходим и злаками которой питаемся. Этого исторического интереса не могли замечать в комедии современники ее автора: смотря ее, они не видели нас, своих внуков; мы сквозь нее видим их, своих дедов.

Что смешно в *Недоросле*, и одно ли и то же смешит в нем разные возрасты? Молодежь больше всего смеется, разумеется, над Митрофаном, героем драмы, неистощимым предметом смеха, нарицательным именем смешной несовершеннолетней глупости и учащегося невежества. Но да будет позволено немного заступиться за Митрофана: он слишком засмеян. Правда, он смешон, но не всегда и даже очень редко, именно только в лучшие минуты своей жизни, которые находят на него очень нечасто. В комедии он делает два дела: *размышляет*, чтобы выпутаться из затруднений, в которые ставит его зоологическая любовь матери, и *поступает*, выражая в поступках свои обычные чувства. Забавны только его размышления, а поступки — нисколько. По мысли автора, он дурак и должен рассуждать по-дурацки. Тут ничего смешного нет; грешно смеяться над дураком, и кто это делает, тот сам становится достойным предметом своего смеха. Однако на деле Митрофан размышляет по-своему находчиво и умно, только — недобросовестно и потому иногда невпопад, размышляет не с целью узнать истину или найти прямой путь для своих поступков, а чтобы только вывернуться из одной неприятности, и потому тотчас попадает в другую, чем и наказывает сам себя за софистическое коварство своей мысли. Это самонаказание и вызывает вполне заслуженный смех. Он забавен, когда, объевшись накануне и для избежания неприятности учиться, он старается преувеличить размеры и дурные следствия своего обжорства, даже подличает перед матерью, чтобы ее раз-

жалобить; но, увертываясь от учителя, он подвергает себя опасности попасть в руки врача, который, разумеется, посадит его на диету, и, чтобы отклонить от себя эту новую напасть, сообразительно отвечает на предложение испугавшейся его болезни матери послать за доктором: «Нет, нет, матушка, я уж лучше сам выздоровлю», и убегает на голубятню. Он очень забавен со своей оригинальной теорией грамматики, со своим очень бойко и сообразительно изобретенным учением о двери существительной и прилагательной, за каковое изобретение умные взрослые люди, его экзаменовавшие торжественно, с митрофановским остроумием награждают его званием дурака. Но чувства и направляемые ими поступки Митрофана вовсе не смешны, а только гадки. Что смешного в омерзительной жалости, какая проняла объевшегося 16-летнего шалопая — в его тяжелом животном сне — при виде матери, уставшей колотить его отца? Ничего смешного нет и в знаменитой сцене ученья Митрофана, в этом бесподобном, безотраднo печальном квартете бедных учителей, ничему научить не могущих, — мамыши, в присутствии учащегося сынка с вязанием в руках ругающейся над ученьем, и разбираемого охотой жениться сынка, в присутствии матери ругающегося над своими учителями?.. Если современный педагог так не настроит своего класса, чтобы он не смеялся при чтении этой сцены, значит, такой педагог плохо владеет своим классом, а чтобы он был в состоянии сам разделять смех, об этом страшно и подумать. Для взрослых Митрофан вовсе не смешон; по крайней мере над ним очень опасно смеяться, ибо митрофановская порода мстит своей плодовитостью. Взрослые, прежде чем потешаться над глупостью или пошлостью Митрофана, пусть из глубины ложи представят себе свою настоящую или будущую детскую или взглянут на сидящих тут же, на передних стульях, птенцов своих, и налетевшая улыбка мгновенно слетит с легкомысленно веселого лица. Как Митрофан сам себя наказывает за свои сообразительные глупости заслуженными напастями, так и насмешливый современный зритель сценического Митрофана может со временем наказать себя за преждевременный смех не театральными, а настоящими, житейскими и очень горькими слезами. Повторяю, надобно осторожно смеяться над Митрофаном, потому что Митрофаны мало смешны и притом очень мстительны, и мстят они неудержимой размножаемостью и неуловимой прониза-

тельностью своей породы, родственной насекомым или микробам.

Да я и не знаю, кто смешон в *Недоросле*. Г-н Простаков? Он только неумный, совершенно беспомощный бедняга, не без совестливой чуткости и прямоты юродивого, но без капли воли и с жалким до слез избытком трусости, заставляющей его подличать даже перед своим сыном. Тарас Скотинин также мало комичен: в человеке, который сам себя характеризовал известным домашним животным, которому сама родная сестрица нежно сказала в глаза, что хорошая свинья ему нужнее жены, для которого свиной хлев заменяет и храм наук, и домашний очаг, — что комичного в этом благородном российском дворянине, который из просветительного соревнования с любимыми животными доцивилизовался до четверенок? Не комична ли сама хозяйка дома, госпожа Простакова, урожденная Скотинина? Это лицо в комедии, необыкновенно удачно задуманное психологически и превосходно выдержанное драматически: в продолжение всех пяти актов пьесы с крепколобым, истинно скотининским терпением ни разу она не смигнула с той жестокой физиономии, какую приказал ей держать безжалостный художник во все время неторопливого сеанса, пока рисовал с нее портрет. Зато она и вдвойне не комична: она глупа и труслива, т. е. жалка — по мужу, как Простакова, безбожна и бесчеловечна, т. е. отвратительна — по брату, как Скотинина. Она вовсе не располагает к смеху; напротив, при одном виде этой возмутительной озорницы не только у ее забитого мужа, но и у современного зрителя, огражденного от нее целым столетием, начинает мутиться в глазах, и колеблется вера в человека, в ближнего.

В комедии есть группа фигур, предводительствуемая дядей Стародумом. Они выделяются из комического персонала пьесы: это — благородные и просвещенные резонеры, академики добродетели. Они не столько действующие лица драмы, сколько ее моральная обстановка: они поставлены около действующих лиц, чтобы своим светлым контрастом резче оттенить их темные физиономии. Они выполняют в драме назначение, похожее на то, какое имеют в фотографическом кабинете ширмочки, горшки с цветами и прочие приборы, предназначенные регулировать свет и перспективу. Таковы они должны быть по тогдашней драматической теории; может быть, таковы они были и по плану автора комедии; но не совсем та-

кими представляются они современному зрителю, не забываящему, что он видит перед собой русское общество прошлого века. Правда, Стародум, Милон, Правдин, Софья не столько живые лица, сколько моралистические манекены; но ведь и их действительные подлинники были не живее своих драматических снимков. Они наскоро затверживали и, запинаясь, читали окружающим новые чувства и правила, которые кой-как прилаживали к своему внутреннему существу, как прилаживали заграничные парики к своим щетинистым головам; но эти чувства и правила так же механически прилипали к их замороженным, природным понятиям и привычкам, как те парики к их головам. Они являлись ходячими, но еще безжизненными схемами новой, хорошей морали, которую они надевали на себя как маску. Нужны были время, усилие и опыты, чтобы пробудить органическую жизнь в этих, пока мертвенных, культурных препаратах, чтобы эта моралистическая маска успела врасти в их тусклые лица и стать их живой нравственной физиономией. Где, например, было взять Фонвизину живую благовоспитанную племянницу Софью, когда такие племянницы всего лет за 15 до появления *Нодоросля* только еще проектировались дядюшкой Бецким в разных педагогических докладах и начертаниях, когда учрежденные с этой целью воспитательные общества для благородных и мещанских девиц по его заказу лепили еще первые пробные образчики новой благовоспитанности, а сами эти девицы, столь заботливо задуманные педагогически, подобно нашей Софье, только еще садились за чтение Фенелоновых и других трактатов о своем собственном воспитании? Художник мог творить только из материала, подготовленного педагогом, и Софья вышла у него свежеизготовленной куколкой благонаравия, от которой веет еще сыростью педагогической мастерской. Таким образом, Фонвизин остался художником и в видимых недостатках своей комедии не изменил художественной правде и в самых своих карикатурах: он не мог сделать живые лица из ходячих мертвецов или туманных привидений, но изображенные им светлые лица, не становясь живыми, остаются действительными лицами, из жизни взятыми явлениями.

Да и так ли они безжизненны, как привыкли представлять их? Как новички в своей роли, они еще нетвердо ступают, сбиваются, повторяя уроки, едва затвержденные из Лабрюйера, Дюкло ², Наказа и других тогдашних учебников публичной и привратной морали; но как новообра-

щенные, они немного заносчивы и не в меру усердны. Они еще сами не посмотрят на свой новенький нравственный убор, говорят так развязно, самоуверенно и самодовольно, с таким вкусом смакуют собственную академическую добродетель, что забывают, где они находятся, с кем имеют дело, и оттого иногда попадают впросак, чем усиливают комизм драмы. Стародум, толкующий госпоже Простаковой пользу географии тем, что в поездке с географией знаешь, куда едешь — право, не менее и не более живое лицо, чем его собеседница, которая с обычной своей решительностью и довольно начитанно возражает ему тонким соображением, заимствованным из одной повести Вольтера: «Да извозчики-то на что ж? Это их дело». Умные, образованные люди так самодовольно потешаются над этим обществом грубых или жалких дикарей, у которых они в гостях, даже над такими петыми дураками, какими они считают Митрофана и Тараса Скотинина, — что последний обнаружил необычную ему зоркость, когда спросил, указывая на одного из этих благородных гостей, Софьиного жениха: «Кто ж из нас смешон? Ха, ха, ха!» Сам почтенный дядя Стародум так игриво настроен, что при виде подравшихся в кровь братца и сестрицы, к которой в дом он только что приехал, не мог удержаться от смеха и даже засвидетельствовал самой хозяйке, что он от роду ничего смешнее не видывал, за что и был заслуженно оборван ее замечанием, что это, сударь, вовсе и не смешно. Во всю первую сцену пятого акта тот же честным трудом разбогатевший дядя Стародум и чиновник наместничества Правдин важно беседуют о том, как незаконно угнетать рабством себе подобных, какое удовольствие для государей владеть свободными душами, как льстецы отвлекают государей от связи истины и уловляют их души в свои сети, как государь может сделать людей добрыми: стоит только показать всем, что без благонравия никто не может выйти в люди и получить место на службе, и «тогда всякий найдет свою выгоду быть благонравным и всякий хорош будет». Эти добрые люди, рассуждавшие на сцене перед русской публикой о таких серьезных предметах и изобретавшие такие легкие средства сделать всех людей добрыми, сидели в одной из наполненных крепостными людьми усадеб многочисленных госпож Простаковых, урожденных Скотининых, с одной из которых насилу могли справиться оба они, да и то с употреблением оружия офицера, проходившего мимо со своей командой. Внимая этим собеседникам, точно слу-

шаешь веселую сказку, уносившую их из окружавшей их действительности «за тридевять земель, за тридесятое царство», куда заносила Митрофана обучавшая его «историям» скотница Хавронья. Значит, лица комедии, призванные служить формулами и образцами добронравия, не лишены комической живости.

Все это — фальшивые ноты не комедии, а самой жизни, в ней разыгранной. Эта комедия — бесподобное зеркало. Фонвизину в ней как-то удалось стать прямо перед русской действительностью, взглянуть на нее просто, непосредственно, в упор, глазами, не вооруженными никаким стеклом, взглядом, не преломленным никакими точками зрения, и воспроизвести ее с безотчетностью художественного понимания. Срисовывая, что наблюдал, он, как испытанный художник, не отказывался и от творчества; но на этот раз и там, где он надеялся творить, он только копировал. Это произошло оттого, что на этот раз поэтический взгляд автора сквозь то, что казалось, проник до того, что действительно *происходило*; простая, печальная правда жизни, прикрытая бьющими в глаза миражами, подавила шаловливую фантазию, обыкновенно принимаемую за творчество, и вызвала к действию высшую творческую силу зрения, которая за видимыми для всех призрачными явлениями умеет разглядеть никем не замечаемую действительность. Стекло, которое достигает до невидимых простым глазом звезд, сильнее того, которое отражает занимающие досужих зрителей блуждающие огоньки.

Фонвизин взял героев *Недоросля* прямо из житейского омута, и взял, в чем застал, без всяких культурных покрытий, да так и поставил их на сцену со всей неурядицей их отношений, со всем содомом их неприбранных инстинктов и интересов. Эти герои, выхваченные из общественного толока для забавы театральной публики, оказались вовсе не забавны, а просто нетерпимы ни в каком благоустроенном обществе: автор взял их на время для показа из-под полицейского надзора, куда и поспешил вернуть их в конце пьесы при содействии чиновника Правдина, который и принял их в казенную опеку с их деревнями. Эти незабавные люди, задумывая преступные вещи, туда же мудрят и хитрят, но, как люди глупые и растерянные, к тому же до самозабвения злые, они сами вязнут и топят друг друга в грязи собственных козней. На этом и построен комизм *Недоросля*. Глупость, коварство, злость, преступление вовсе не смешны сами по себе; смеш-

но только глупое коварство, попавшееся в собственные сети, смешна злобная глупость, обманувшая сама себя и никому не причинившая задуманного зла. *Недоросль* — комедия не лиц, а положений. Ее лица комичны, но не смешны, комичны как роли, и вовсе не смешны как люди. Они могут забавлять, когда видишь их на сцене, но тревожат и огорчают, когда встречаешь вне театра, дома или в обществе. Фонвизин заставил печально-дурных и глупых людей играть забавно-веселые и часто умные роли. В этом тонком различении *людей* и *ролей* художественное мастерство его *Недоросля*: в нем же источник того сильного впечатления, какое производит эта пьеса. Сила впечатления в том, что оно составляется из двух противоположных элементов: смех в театре сменяется тяжелым раздумьем по выходе из него. Пока разыгрываются роли, зритель смеется над положениями себя перехитрившей и самое себя наказывающей злой глупости. Но вот кончилась игра, ушли актеры, и занавес опустился — кончился и смех. Прошли забавные положения злых людей, но люди остались, и, из душного марева электрического света вырвавшись на пронизывающую свежесть уличной мглы, зритель с ущемленным сердцем припоминает, что эти люди остались и он их встретит вновь прежде, чем они попадутся в новые заслуженные ими положения, и он, зритель, запутается с ними в их темные дела, и они сумеют наказать его за это раньше, чем успеют сами наказать себя за свою же перехитрившую себя злую глупость.

В *Недоросле* показана зрителю зажиточная дворянская семья екатерининского времени в невообразимо хаотическом состоянии. Все понятия здесь опрокинуты вверх дном и исковерканы; все чувства выворочены наизнанку; не осталось ни одного разумного и добросовестного отношения; во всем гнет и произвол, ложь и обман и круговое, поголовное непонимание. Кто посильнее, гнетет; кто послабее, лжет и обманывает, и ни те, ни другие не понимают, для чего они гнетут, лгут и обманывают, и никто не хочет даже подумать, почему они этого не понимают. Жена-хозяйка вопреки закону и природе гнетет мужа, не будучи умнее его, и ворочает всем, т. е. переворачивает вверх дном, будучи гораздо его нахальнее. Она одна в доме лицо, все прочие — безличные местоимения, и когда их спрашивают, кто они, робко отвечают: «я — женин муж, а я сестрин брат, а я — матушкин сын». Она ни в грош не ставит мнение мужа и, жалуясь на господина, ру-

гается, что муж на все смотрит ее глазами. Она заказывает кафтан своему крепостному, который шить не умеет, и беснуется, негодуя, почему он не шьет, как настоящий портной. С утра до вечера не дает покоя ни своему языку, ни рукам, то ругается, то дерется: «тем и дом держится», по ее словам. А держится он вот как. Она любит сына любовью собаки к своим щенятам, как сама с гордостью характеризует свою любовь, поощряет в сыне неуважение к отцу, а сын, 16-летний детина, платит матери за такую любовь грубостью скотины. Она позволяет сыну объедаться до желудочной тоски и уверена, что воспитывает его, как повелевает родительский долг. Свято храня завет своего великого батюшки воеводы Скотинина, умершего с голоду на сундуке с деньгами и при напоминании об учении детей кричавшего: «не будь тот Скотинин, кто чему-нибудь учиться захочет», верная фамильным традициям дочь ненавидит науку до ярости, но бестолково учит сына для службы и света, твердя ему: «век живи, век учись», и в то же время оправдывает его учебное отвращение неопытным намеком на полагаемую ею конечную цель образования: «Не век тебе, моему другу, учиться: ты благодаря бога столько уже смыслишь, что и сам взведешь деточек». Самый дорогой из учителей Митрофана, немец, кучер Вральман, подрядившийся учить всем наукам, не учит ровно ничему и учить не может, потому что сам ничего не знает, даже мешаает учить другим, оправдывая перед матерью свою педагогику тем, что головушка у ее сына гораздо слабее его брюха, а и оно не выдерживает излишней набивки; и за это доступное материнско-простаковскому уму соображение Вральман—единственный человек в доме, с которым хозяйка обращается прилично, даже с посильным для нее уважением. Обобрав все у своих крестьян, госпожа Простакова скорбно недоумевает, как это она уже ничего с них содрать не может — такая беда! Она хвастается, что приютила у себя сиротку-родственницу со средствами, и исподтишка обирает ее. Благодетельница хочет пристроить эту сиротку Софью за своего братца без ее спроса, и тот не прочь от этого не потому, что ему нравится «девчонка», а потому, что в ее деревеньках водятся отличные свиньи, до которых у него «смертная охота». Она не хочет верить, чтобы воскрес страшный ей дядя Софьи, которого она признала умершим только потому, что уж несколько лет поминала его в церкви за упокой, и рвет и мечет, готова глаза выцарапать всякому, кто говорит ей, что он и не

умирал. Но самодур-баба — страшная трусиха и подличает перед всякой силой, с которой не надеется справиться, — перед богатым дядей Стародумом, желая устроить нечаянно разбогатевшую братнину невесту за своего сынка: но когда ей отказывают, она решается обманом насильно обвенчать ее с сыном, т. е. вовлечь в свое безбожное беззаконие самую церковь. Рассудок, совесть, честь, стыд, приличие, страх божий и человеческий — все основы и скрепы общественного порядка горят в этом простаковско-скотининском аду, где черт — сама хозяйка дома, как называет ее Стародум, и когда она наконец попала, когда вся ее нечестивая паутина разорвана была метлой закона, она, бросившись на колени перед его блюстителем, отпевает свою безобразную трагедию, хотя и не гамлетовским, но тартюфовским эпилогом в своей урожденной редакции: «Ах, я собачья дочь! Что я наделала!» Но это была минутная растерянность, если не было притворство: как только ее простили, она спохватилась, стала опять сама собой, и первую мысль ее было перепороть насмерть всю дворню за свою неудачу, и, когда ей заметили, что тиранствовать никто не волен, она увековечила себя знаменитым возражением:

— Не волен! Дворянин, когда захочет, и слуги высечь не волен! Да на что ж дан нам указ о вольности дворянства?

В этом все дело. «Мастерица толковать указы!» — повторим и мы вслед за Стародумом. Все дело в последних словах госпожи Простаковой; в них весь смысл драмы и вся драма в них же. Все остальное — ее сценическая или литературная обстановка, не более; все, что предшествует этим словам, — их драматический пролог; все, что следует за ними, — их драматический эпилог. Да, госпожа Простакова мастерица толковать указы. Она хотела сказать, что закон оправдывает ее беззаконие. Она сказала бессмыслицу, и в этой бессмыслице весь смысл *Недоросля*; без нее это была бы комедия бессмыслиц. Надобно только в словах госпожи Простаковой уничтожить знаки удивления и вопрос, переложить ее несколько патетическую речь, вызванную тревожным состоянием толковательницы, на простой логический язык, и тогда ясно обозначится ее неблагоприятная логика. Указ о вольности дворянства дан на то, чтобы дворянин волен был сечь своих слуг, когда захочет. Госпожа Простакова, как непосредственная наивная дама, понимала юридические положения только в конкретных, практиче-

ских приложениях, каковым в ее словах является право произвольного сечения крепостных слуг. Возводя эту подробность к ее принципу, найдем, что указ о вольности дворянства дан был на права дворян и ничего, кроме прав, т. е. никаких обязанностей, на дворян не возлагал, по толкованию госпожи Простаковой. Права без обязанностей — юридическая нелепость, как следствие без причины — нелепость логическая; сословие с одними правами без обязанностей — политическая невозможность, а невозможность существовать не может. Госпожа Простакова возомнила русское дворянство такую невозможностью, т. е. взяла да и произнесла смертный приговор сословию, которое тогда вовсе не собиралось умирать и здравствует доселе. В этом и состояла ее бессмыслица. Но дело в том, что, когда этот знаменитый указ Петра III был издан, очень многие из русских дворян подняли руки на свое сословие, поняли его так же, как поняла госпожа Простакова, происходившая из «великого и старинного» рода Скотининых, как называет его сам ее брат, сам Тарас Скотинин, по его же уверению, «в роде своем не последний». Я не могу понять, для чего Фонвизин допустил Стародума и Правдина в беседе со Скотининым трунить над стариной рода Скотининых и искушать генеалогическую гордость простака Скотинина намеком, что пращур его, пожалуй, даже старше Адама, «создан хоть в шестой же день, да немного попрежде Адама», что Софья потому и не пара Скотинину, что она дворянка: ведь сама комедия свидетельствует, что Скотинин имел деревню, крестьян, был сын воеводы, значит, был тоже дворянин, даже причислялся по табели о рангах к «лучшему старшему дворянству во всяких достоинствах и авангажах», а потому пращур его не мог быть создан в одно время с четвероногими. Как это русские дворяне прошлого века спустили Фонвизину, который сам был дворянин, такой неловкий намек? Можно сколько угодно шутить над юриспруденцией госпожи Простаковой, над умом г. Скотинина, но не над их предками: шутка над скотининской генеалогией, притом с участием библейских сказаний, со стороны Стародума и Правдина, т. е. Фонвизина, была опасным, обоюдоострым оружием; она наполняет комизм Кутейкина, весь построенный на пародировании библейских терминов и текстов, — неприятный и ненадежный комический прием, едва ли кого забавить способный. Это надобно хорошенько растолковать молодежи, читающей *Недоросля*, и истолковать в том смысле,

что здесь Фонвизин не шутил ни над предками, ни над текстами, а только по-своему обличал людей, злоупотребляющих теми и другими. Эту шутку может извинить если не увлечение собственным остроумием, то негодование на то, что Скотинины слишком мало оправдывали свое дворянское происхождение и подходили под жестокую оценку того же Стародума, сказавшего: «Дворянин, недостойный быть дворянином, подлее его ничего на свете не знаю». Негодование комика вполне понятно: он не мог не понимать всей лжи и опасности взгляда, какой усвоили многие дворяне его времени на указ о вольности дворянства, понимая его, как он истолковывался в школе простаковского правоведения. Это толкование было ложно и опасно, грозило замутить юридический смысл и погубить политическое положение руководящего сословия русского общества. Дворянская вольность по указу 1762 г. многими понята была как увольнение сословия от всех специальных сословных обязанностей с сохранением всех сословных прав. Это была роковая ошибка, вопиющее недоразумение. Совокупность государственных обязанностей, лежавших на дворянстве как сословию, составляла то, что называлось его *службой* государству. Знаменитый манифест 18 февраля 1762 г. гласил, что дворяне, находящиеся на военной или гражданской службе, могут оную продолжать или выходить в отставку по своему желанию, впрочем с некоторыми ограничениями. Ни о каких новых правах над крепостными, ни о каком сечении слуг закон не говорил ни слова; напротив, прямо и настойчиво оговорены были некоторые обязанности, оставшиеся на сословию, между прочим, установленное Петром Великим обязательное обучение: «чтобы никто не дерзал без учения пристойных благородному дворянству наук детей своих воспитывать под тяжким нашим гневом». В заключение указа вежливо выражена *надежда*, что дворянство не будет уклоняться от службы, но с ревностью в оную вступать, не меньше и детей своих с прилежностью обучать благопристойным наукам, а, впрочем, тут же довольно сердито прибавлено, что тех дворян, которые не будут исполнять обеих этих обязанностей, как людей нерадивых о добре общем, *повелевается* всем верноподданным «презирать и уничтожать» и в публичных собраниях не терпеть. Как можно было еще сказать яснее этого, и где тут *вольность*, полное увольнение от обязательной службы? Закон отменял, да и то с ограничениями, только обязательную срочность службы

(не менее 25 лет), установленную указом 1736 г. Дворяне простаковского разума были введены в заблуждение тем, что закон не предписывал прямо служить, что было не нужно, а только грозил карой за уклонение от службы, что было не излишне. Но ведь угроза закона наказанием за поступок есть косвенное запрещение поступка. Это юридическая логика, требующая, чтобы угрожающее наказание вытекало из запрещаемого поступка, как следствие вытекает из своей причины. Указ 18 февраля отменил только следствие, а простаковские законоведы подумали, что отменена причина. Они впали в ошибку, какую сделали бы мы, если бы, прочитав предписание, что воры не должны быть терпимы в обществе, подумали, что воровство дозволяется, но прислуге запрещается принимать воров в дом, когда они позвонят. Эти законоведы слишком буквально понимали не только слова, но и недомолвки закона, а закон, желая говорить вежливо, торжественно объявляя, что он жалуется «всему российскому благородному дворянству вольность и свободу», говорил приятного больше, чем хотел сказать, и старался возможно больше смягчить то, что было неприятно напоминать. Закон говорил: будьте так добры, служите и учите своих детей, а, впрочем, кто не станет делать ни того, ни другого, тот будет изгнан из общества. Многие в русском обществе прошлого века не поняли этой деликатной апелляции закона к общественной совести, потому что получили недостаточно мягкое гражданское воспитание. Они привыкли к простому, немного солдатскому языку петровского законодательства, которое любило говорить палками, плетями, виселицей да пулей, обещало преступнику ноздри распороть и на каторгу сослать, или даже весьма живота лишит и отсечением головы казнить, или нещадно аркебузировать (расстрелять). Эти люди понимали долг, когда он вырезывался кровавыми подтеками на живой коже, а не писался человеческой речью в людской совести. Такой реализм юридического мышления и помешал мыслителям вникнуть в смысл закона, который за нерадение о добре общем грозил, что нерадивые «ниже ко двору нашему приезд или в публичных собраниях и торжествах терпимы не будут»: ни палок, ни плетей, а только закрытие придворных и публичных дверей! Вышло крупное юридическое недоразумение. Тогдашняя сатира вскрыла его источник: это слишком распушенный аппетит произвола. Она изобразила уездного дворянина, который так пишет сыну об

указе 18 февраля: «Сказывают, что дворянам дана вольность; да черт ли это слышал, прости господи, какая вольность! Дали вольность, а ничего немощно своею волею сделать, нельзя у соседа и земли отнять». Мысль этого законоведа шла еще дальше простаковской, требовала не только увольнительного свидетельства от сословного долга, но и патента на сословную привилегию беззакония.

Итак, значительная часть дворянства в прошлом столетии не понимала исторически сложившегося положения своего сословия и недоросль, фонвизинский *недоросль Митрофан*, был жертвой этого непонимания. Комедия Фонвизина неразрывно связала оба эти слова так, что *Митрофан* стал именем нарицательным, а *недоросль* — собственным: недоросль — синоним Митрофана, а Митрофан — синоним глупого неуча и маменькина баловня. Недоросль Фонвизина — карикатура, но не столько сценическая, сколько бытовая: воспитание изуродовало его больше, чем пересмеяла комедия. Историческим прототипом этой карикатуры было звание, в котором столь же мало смешного, как мало этого в звании гимназиста. На языке древней Руси *недоросль* — подросток до 15 лет, дворянский недоросль — подросток, «поспевавший» в государеву ратную службу и становившийся *новиком*, «срослым человеком», как скоро поспевал в службу, т. е. достигал 15 лет. Звание дворянского недоросля — это целое государственное учреждение, целая страница из истории русского права. Законодательство и правительство заботливо устроили положение недорослей, что и понятно: это был подрастающий ратный запас. В главном военном управлении, в Разрядном московском приказе, вели их списки с обозначением лет каждого, чтобы знать ежегодный призывный контингент; был установлен порядок их смотров и разборов, по которым поспевших писали в службу, в какую кто годился, порядок надела их старым отцовским или новыми поместьями и т. п. При таком порядке недорослю по достижении призывного возраста было трудно, да и невыгодно долго залеживаться дома: поместное и денежное жалованье назначали, к первым «новичным» окладам делали придачи только за действительную службу или доказанную служебную годность, «кто чего стоил», а «избывая от службы», можно было не только не получить нового поместья, но и потерять отцовское. Бывали и в XVII в. недоросли, «которые в службу поспели, а службы не служили» и на смотры не являлись, «огурялись», как тогда говорили про таких

неслухов. С царствования Петра Великого это служебное «огурство» дворянских недорослей усиливается все более по разным причинам: служба в новой регулярной армии стала несравненно тяжелее прежней; притом закон 20 января 1714 г. требовал от дворянских детей обязательного обучения для подготовки к службе; с другой стороны, поместное владение стало наследственным, и наделение новиков поместьями прекратилось. Таким образом, тягости обязательной службы увеличивались в одно время с ослаблением материальных побуждений к ней. «Лыняние» от школы и службы стало хроническим недугом дворянства, который не поддавался строгим указам Петра I и его преемниц об явке недорослей на смотры с угрозами кнутом, штрафами, «шельмованием», бесповоротной отпиской имений в казну за ослушивание. Посошков³ уверяет, что в его время «многое множество» дворян веки свои проживали, старели, в деревнях живучи, а на службе и одною ногою не бывали. Дворяне пользовались доходами с земель и крепостных крестьян, пожалованных сословию для службы, и по мере укрепления тех и других за сословием все усерднее уклонялись от службы. В этих уклонениях выражалось то же недобросовестное отношение к сословному долгу, какое так грубо звучало в словах, слышанных тем же Посошковым от многих дворян: «Дай бог великому государю служить, а сабли б из ножен не вынимать». Такое отношение к сословным обязанностям перед государством и обществом воспитывало в дворянской среде «лежебоков», о которых Посошков ядовито заметил: «дома соседям своим страшен, яко лев, а на службе хуже козы». Этот самый взгляд на государственные и гражданские обязанности сословия и превратил дворянского недоросля, поспевавшего на службу, в грубого и глупого неуча и лентяя, всячески избежавшего от школы и службы.

Такой превращенный недоросль и есть фонвизинский Митрофан, очень устойчивый и живучий тип в русском обществе, переживший самое законодательство о недорослях, умевший «взвесь» не только деточек, по предсказанию его матери госпожи Простаковой, но и внучек «времен новейших Митрофанов», как выразился Пушкин. Митрофану Фонвизина скоро 16 лет; но он еще состоит в недорослях: по закону 1736 г. срок учения (т. е. звания) недоросля был продолжен до 20 лет. Митрофан по состоянию своих родителей учится дома, а не в школе: тот же закон позволял воспитываться дома недорос-

лям со средствами. Митрофан учится уже года четыре, и из рук вон плохо: по часослову едва бредет с указкой в руке и то лишь под диктовку учителя, дьячка Кутейкина, по арифметике «ничего не перенял» у отставного сержанта Цыфиркина, а «по-французски и всем наукам» его совсем не учит и сам учитель, дорого нанятой для обучения этим «всем наукам» бывший кучер, немец Вральман. Но мать очень довольна и этим последним учителем, который «ребенка не неволит», и успехами своего «ребенка», который, по ее словам, столько уже смыслит, что и сам «взведет» деточек. У нее природное, фамильное скотининское отвращение от ученья: «без наук люди живут и жили», внушительно заявляет она Стародуму, помня завет своего отца, сказавшего: «не будь тот Скотинин, кто чему-нибудь учиться захочет». Но и она знает, что «ныне век другой», и, труся его, с суетливой досадой готовит сына «в люди»: неученый поезжай-ка в Петербург — скажут, дурак. Она балует сына, «пока он еще в недорослях»; но она боится службы, в которую ему, «избави боже», лет через десяток придется вступить. Требования света и службы навязывали этим людям ненавистную им науку, и они тем искреннее ее ненавидели. В этом и состояло одно из трагикомических затруднений, какие создавали себе эти люди непониманием своего сословного положения, наделавшим им столько Митрофанов; а в положении сословия происходил перелом, требовавший полного к себе внимания.

В комедии Фонвизина, сознательно или бессознательно для ее автора и первых зрителей, нашли себе художественное выражение и эти затруднения, и создавшее их непонимание перелома в положении русского дворянства, который имел решительное влияние на дальнейшую судьбу этого сословия, а через него и на все русское общество. Давно подготовляемый, этот перелом наступил именно с минуты издания закона 18 февраля 1762 г. Много веков дворянство несло на себе тяжесть военной службы, защищая отечество от внешних врагов, образуя главную вооруженную силу страны. За это государство отдало в его руки огромное количество земли, сделало его землевладельческим классом, а в XVII в. предоставило в его распоряжение на крепостном праве и крестьянское население его земель. Это была большая народная жертва: в год первого представления *Недоросля* (1782) за дворянством числилось более половины (53%) всего крестьянского населения в старых велико-

российских областях государства — более половины того населения, трудом которого преимущественно питалось государственное и народное хозяйство России. При Петре I к обязательной службе дворянства прибавилось по закону 20 января 1714 г. еще обязательное обучение как подготовка к такой службе. Так дворянин становился государственным, служилым человеком с той минуты, как только дорастал до возможности взять учебную указку в руки. По мысли Петра, дворянство должно было стать проводником в русское общество нового образования, научного знания, которое заимствовалось с Запада. Между тем воинская повинность была распространена и на другие сословия; поголовная военная служба дворянства после Петра стала менее прежнего нужна государству: в устроенной Петром регулярной армии дворянство сохранило значение обученного офицерского запаса. Тогда мирное образовательное назначение, предположенное для дворянства преобразователем, все настойчивее стало выступать вперед. Готово было, ожидая деятелей, и благодатное, мирное поле, работая на котором дворянство могло сослужить отечеству новую службу, нисколько не меньше той, какую оно служило на ратном поле. Крепостные крестьяне бедствовали и разорялись, предоставленные в отсутствие помещиков произволу сборщиков податей, старост, управляющих, приказчиков, которых само правительство уподобляло волкам. Помещик считался тогда естественным покровителем и хозяйственным опекуном своих крестьян, и его присутствие рассматривалось как благодеяние для них. Потому и для государства дворянин в деревне стал не менее, если не более, нужен, чем в казарме. Вот почему со смерти Петра постепенно облегчались лежавшие на дворянстве тягости по службе, но взамен того осложнялись его обязанности по землевладению. С 1736 г. бессрочная военная служба дворянина ограничена 25-летним сроком, а в 1762 г. дано служащим дворянам право отставки по их усмотрению. Зато на помещиков возложена ответственность за податную исправность их крестьян, а потом обязанность кормить их в неурожайные годы и ссужать семенами для посевов. Но и в деревне государству нужен был образованный, разумный и человеколюбивый помещик. Потому правительство не допускало ни малейшего ослабления учебной повинности дворянства, угрозой отдавать неучей в матросы без выслуги загоняло недорослей в казенные школы, устанавливало периодические эк-

замены для воспитывавшихся дома, как и в школе, предоставляло значительные преимущества по службе обученным новикам. Самую обязанность дворянства служить стали рассматривать не только как средство комплектования армии и флота офицерским дворянским запасом, но и как образовательное средство для дворянина, которому военная служба сообщала вместе с военной и известную гражданскую выправку, знание света, людскость, обтесывала Простаковых и человекообразила Скотининых, вколачивала в тех и других радение «о пользе общей», «знание политических дел», как выражался манифест 18 февраля 1762 г., и побуждала родителей заботиться о домашней подготовке детей к казенной школе и службе, чтоб они не явились в столицу круглыми невеждами с опасностью стать посмешищем для товарищей. Такое значение службы живо чувствовала даже госпожа Простакова. Из-за чего она надрывается, хлопоча о выучке своего сынка? Она соглашается с мнением Вральмана об опасности набивать слабую голову непосильной для нее ученой пищей. «Да что ты станешь делать?» — горюет она; «ребенок, не выучась, поезжайка в тот же Петербург — скажут, дурак. Умниц-то ныне завелось много; их-то я боюсь». И фонвизинский бригадир уговаривает свою жену записать их Иванушку в полк: «Пусть он, служа в полку, ума набирается». Надобно было победить упорное отвращение от науки в дворянских детях, на которых указ императрицы Анны 1736 г. жаловался, что они предпочитают вступать в холопскую дворовую службу, чем служить государству, от наук убегают и тем сами себя губят. Ввиду опасности одичания неслужащего дворянства правительство долго боялось не только отменить, но и сократить обязательную службу сословия. На предложение комиссии Миниха установить 25-летний срок дворянской службы с правом сокращать его на известных условиях Сенат в 1731 г. возражал тем соображением, что богатые дворяне, пользуясь этими условиями, никогда волею своею в службу не пойдут, а будут дома жить «во всякой праздности и лени и без всяких добрых наук и обхождения». Надобно было отучить русских вральмановских учеников от нелепого мнения их учителя, выраженного им так простодушно: «Как будто бы российский дворянин уж и не может в свете авансировать без российской грамоты!» И вот в 1762 г. правительство решило, что упорство сломлено, и в манифесте 18 февраля торжественно возвести-

ло, что принудительной службой дворянства «истреблена грубость в нерадивых о пользе общей, переменялось невежество в здравый рассудок, благородные мысли вскоренили в сердцах всех истинных России патриотов беспредельную к нам верность и любовь, великое усердие и отменную к службе нашей ревность». Но законодатель знал пределы этой «беспредельной верности и отменной ревности» и потому заключил даруемую сословию «вольность и свободу» в известные условия, которые сводились к требованию, чтобы сословие по доброй совести продолжало делать то, что оно дотоле делало из-под палки. Значит, *принудительную срочность 25-летней службы закон заменил ее нравственной обязательностью*, из повинности, предписываемой законом, превратил ее в требование государственной благопристойности или гражданского долга, неисполнение которого наказуется соответственной карой — изгнанием из порядочного общества; так учебная повинность была подтверждена строго-настрога.

Дальнейшая судьба сословия была предначертана законодательством очень доброжелательно и довольно обдуманно. Дворянство выводили из столичных казарм и канцелярий в провинцию для деятельности на новом поприще. Законом 18 февраля ему облегчали служебную повинность настолько, чтобы она не мешала этой деятельности как повинность, и удерживали ее настолько, чтобы она помогала этой деятельности как образовательное средство. На этом провинциальном поприще дворянству предстояла двоякая работа — в деревне и в городе. В деревне ему предстояло позаботиться о заброшенном классе, крестьянстве, большей половиной которого оно владело на крепостном праве и которое составляло почти $\frac{9}{10}$ всего населения государства, которое вынесло на себе все военные и финансовые тягости страшной реформы, по наряду ставило рекрутов для полтавских и кунерсдорфских полей, по запросу отдавало последние деньги бироновским податным сборщикам и даже без запроса и наряда поставило такого рекрута науки, как Ломоносов. Дворянству предстояло своим знанием и примером приучить этот класс к трезвости, к правильному труду, производительному употреблению своих сил, к бережливому пользованию дарами природы, умелому ведению хозяйства, к сознанию своего гражданского долга, к пониманию своих прав и обязанностей. Этим благородное сословие оправдало бы, — нет, искупило бы исто-

рический грех обладания крепостными душами. Такой грех обыкновенно создавался завоеванием, а русское дворянство не завоевывало своих крестьян, и тем нужнее было ему доказать, что его власть не была нарушением исторической справедливости. Другое дело предстояло дворянству в городе. Когда *Недоросль* впервые появился на сцене, в полном ходу была реформа губернских учреждений, предоставлявшая дворянству преобладающее значение в местном управлении и суде. Как сословие дисциплинированное и приученное к общественной деятельности самым свойством своей обязательной службы, оно могло бы стать руководителем других классов местного общества, приучая их к самостоятельности и самообладанию, к дружной совместной работе, от которой они отвыкли, обособленные специальными сословными правами и обязанностями,— словом, могло бы образовать подготовленные кадры местного самоуправления, как прежде оно давало армии подготовленный офицерский запас.

Для той и другой деятельности, городской, как и деревенской, требовалась серьезная и осторожная подготовка, которой предстояло бороться с большими затруднениями. Прежде всего необходимо было запастись средствами, доставляемыми образованием, наукой. Дворянству предстояло на себе самом показать другим классам общества, какие средства дает для общежития образование, когда становится такой же потребностью в духовном обиходе, какую составляет питание в обиходе физическом, а не служит только скаковым препятствием, через которое перепрыгивают для получения больших чинов и доходных мест, или средством приобретения великосветского лоска как косметическое подспорье парикмахерского прибора.

Можно было опасаться, сумеет ли русское дворянство выбрать из бывшего в европейском обороте запаса знаний, идей, воззрений то, что было ему нужно для домашнего дела, а не то, чем можно было приятно наполнить досужее безделье. Опасение поддерживали вести, шедшие из-за границы, о посланных туда в науку русских молодых людей, которые охотнее посещали европейские австерии и «редуты» (игорные дома), чем академии и другие школы, и «срамными поступками» изумляли европейскую полицию. Грозил и другая опасность: в новые губернские учреждения дворянство могло принести свой старый привычный взгляд на гражданскую

службу как на «кормление от дел». Дворяне прошлого века относились к этой службе с пренебрежением, однако не брезговали ею ради ее «наживочных» удобств и даже пользовались ею как средством уклоняться от военной службы. Посошков в свое время горько сетовал на дворян «молодиков», которые «живут у дел вместо военного дела», да учатся, «как бы им наживать и службы отлынять».

Правительство начало заботиться об учебной подготовке дворянства к гражданской службе раньше, чем снята была с сословия срочная воинская повинность. По многопредметной программе открытого в 1731 г. шляхетного кадетского корпуса кадеты должны были обучаться, между прочим, риторике, географии, истории, геральдике, юриспруденции, морали. Образованные русские люди того времени, например Татищев (в *Разговоре о пользе наук и училищ* и в *Духовной*), настойчиво твердили, что всему русскому шляхетству после исповедания веры прежде всего необходимо знание законов гражданских и состояние собственного отечества, русской географии и истории. Разумеется, при Екатерине II «гражданское учение», которое воспитывало бы не столько ученых, сколько граждан, стало еще выше в предназначениях правительства. По плану Бецкого из преобразованного шляхетного корпуса дворянский недоросль должен был выходить воином-гражданином, знающим и военное, и гражданское дело, способным вести дела и в лагере, и в Сенате, короче, мужем одинаково пригодным *belli domique*.

Это было бы великое дело, если бы план удался и из среды Иванушек и Митрофанушек пошли бы такие разносторонне пригодные мужи. Случилось так, что в ту же осень, когда впервые сыгран был *Недоросль*, в Петербурге совершились два важных события: составлена комиссия об учреждении народных школ в России и открыт памятник Петру Великому. Знаменательное совпадение! Если бы дворянство шло путем, какой указан был ему Петром I, ода того века могла бы, пользуясь случаем, изобразить, как преобразователь, вышедши из своей петропавловской гробницы и «увидев себя на вольном воздухе» — выражение Екатерины II в письме к Гримму по поводу открытия памятника, — отверзает свои давно сомкнутые уста, чтобы сказать: *Ныне отпущаеши*. Но вышла не ода, а комедия, чтобы предостеречь сословие от опасности не попасть на указанный ему путь. *Недо-*

росль дает такое предостережение в резких, внушительных формах, понятных и публике, непривычной к комическим тонкостям; его понял даже брат попавшейся госпожи Простаковой, сам Тарас Скотинин, сказав: «Да этак и всякий Скотинин может попасть под опеку». В усадьбе г-жи Простаковой преобразовательно, для примера, разыграна дальнейшая судьба той части дворянства, которая мыслила и понимала свое положение по-простаковски. Сословию предстояло приготовиться к ответственной и патриотической роли руководителя местного управления и общества, а г-жа Простакова говорит: «да что за радость и выучиться? Кто посмышленее, того свои же братья тотчас выберут еще в какую-нибудь должность». Сословие призывалось к попечительной и человеколюбивой деятельности в крепостной деревне, а г-жа Простакова, видя, что чиновник наместника отнял у нее власть буйствовать в доме, в комической тоске восклицает: «Куда я гожусь, когда в моем доме моим же рукам и воли нет?» Зато господам Простаковым и опека. Ништо им!

В *Недоросле* дурные люди старого закала поставлены прямо против новых идей, воплощенных в бледные добродетельные фигуры Стародума, Правдина и других, которые пришли сказать тем людям, что времена изменились, что надобно воспитываться, мыслить и поступать не так, как они это привыкли делать, что дворянину бесчестно ничего не делать, «когда есть ему столько дела, есть люди, которым помогать, есть отечество, которому служить». Но старые люди не хотели понять новых требований времени и своего положения, и закон готов наложить на них свою тяжелую руку. На сцене представлено было то, что грозило в действительности: комедия хотела дать строгий урок непонятливым людям, чтобы не стать для них зловещим пророчеством.



ВОСПОМИНАНИЕ О Н. И. НОВИКОВЕ И ЕГО ВРЕМЕНИ

Полтора ста лет прошло от рождения Н. И. Новикова, и идет 77-й год со дня его смерти. Теперь осталось очень мало людей, которые могли бы его лично знать и помнить. Мы можем только вспоминать о нем. Таким воспоминанием позвольте на несколько минут занять ваше благосклонное внимание. Ничего не скажу ни нового, ни даже цельного, а только из общеизвестного о Новикове напомним то, чем особенно можно и должно помянуть его.

Н. И. Новиков, собственно, не писатель, не ученый и даже не особенно образованный человек в духе своего времени, по крайней мере сам он не признавал себя ни тем, ни другим, ни этим, хотя он и писал, даже хорошо писал, и издал много ценного научного материала, и своею деятельностью много лет привлекал к себе сочувственное и почтительное внимание всего образованного русского общества. Настоящим своим делом он считал издательство; на типографию и книжную лавку положил он лучшие силы своего ума и сердца. Типография, книжная лавка — это не просвещение, а только его орудия. Но именно как издатель и книгопродавец Новиков сослужил русскому просвещению большую службу, своеобразную и неповторенную. Нам теперь трудно представить себе типографскую и книгопродавческую деятельность, которою можно было бы сослужить такую службу. Правда, и в наше время нелегкое и немаловажное дело дать в руки простому читателю, не любителю и не ученому, полезную и приятную книгу, попасть во вкус и потребности грамотного общества; в малограмотные

времена Новикова это было во много раз труднее и важнее, чем теперь. Но Новиков по-своему понимал задачи печатного станка и повел свое дело так, что в его лице русский издатель и книгопродавец стал общественною, народно-просветительною силой, и постигшая Новикова катастрофа произвела на русское образованное общество такое потрясающее впечатление, какого, кажется, не производило падение ни одной из многочисленных «случайных» звезд, появлявшихся на русском великобританском небосклоне прошлого века.

Я наперед скажу, где причина такого небывалого на Руси явления, как могло получить такое значение скромное само по себе дело. Энтузиазм частных людей к делу народного образования, соединенный с чутким пониманием его нужд и недостатков и с расчетливым выбором средств их удовлетворения и устранения,— вот что особенно вспоминаем мы, собравшись почтить воспоминанием 150-ю годовщину рождения Н. И. Новикова.

Вспоминая деятельность Новикова, я прежде всего должен говорить именно о нуждах и недостатках современного ему русского просвещения, т. е. придать своему воспоминанию несколько одностороннее направление, теневую окраску. Но тени сами собой отступают назад перед светлыми чертами, так ярко отразившимися в деятельности Новикова и его друзей, и мы получаем возможность видеть русское общество того времени с обеих сторон, лицевой и оборотной.

При мысли о Новикове невольно перебираешь в памяти целый ряд явлений в умственной и нравственной жизни русского общества с самого начала прошлого века — так тесно связана была издательская деятельность Новикова с ходом нашего просвещения, особенно с судьбою книги на Руси, с историей книжного чтения. Мы привыкли в своем представлении соединять просвещение с книгой, как с одним из главных его средств или пособий. Но в истории нашего просвещения был момент, когда средство начинало удаляться от своей цели, когда книга грозила вступить во вражду с просвещением. Этот момент был дурным перепутьем между двумя великими реформами, какие вынесло русское общество в прошлом веке, между петровскою реформой порядков и екатерининскою реформой умов. Такой разлад между средством и целью подготовлен был некоторыми туземными и заносными условиями, действовавшими на состав и направ-

ление книжного чтения, каким питалось тогдашнее грамотное общество на Руси.

В древней Руси читали много, но немногое и немногие. Этим чтением с строго ограниченным содержанием и направлением вырабатывались мастера-начетчики, которые знали свою литературу, свое *божественное писание*, как они ее называли, не хуже, чем *отче наш* или святы. Такие начетчики не переводились у нас во весь XVIII век, не перевелись и доныне. Реформа Петра потребовала от высших служащих классов новых знаний, выходивших далеко за пределы древнерусского книжного кругозора, и заставила читать новые книги преимущественно учебного характера. Так как читали для ученья, а учились по долгу службы, то эта литература разновозрастных учебников не могла стать популярной ни в младших, ни в старших возрастах, не могла привить читателям внутренней потребности в ней, которая пережила бы ее внешнюю принудительность. Ведь любознательность ее записных потребителей поддерживалась более всего экзаменной проверкою и служебною ответственностью с энергическими последствиями той и другой, и по мере того, как со смертью Петра истощались эти деятельные писатели научного огня, гасла и самая любознательность и застаивались в пыли на полках все эти повелительно втиснутые Петром в руки временнообязанных читателей Пуффендорфии, Юсты Липсии, Кугорны, Девигнолы (Виньола), Гуйгенсы, Боргсдорфы, Бухнеры с их руководствами истории, политики, артиллерии, фортификации, с книгами *мирозрения* (космография), *марсовыми*, *архитектурными*, *слюзными* и другими подобными.

Было бы, однако, несправедливо утверждать, что эта сухая учебная литература бесследно свеивалась с обязанных учебною повинностью умов льготным временем ближайших преемников и преемниц преобразователя. Немного прочных знаний и отчетливых понятий умели почерпнуть из нее обязательные ее читатели, а их не обязанные службой сестры не почерпали никаких, ибо и не читали ее. Но тех и других она самым появлением и видом своим приручала к книге гражданской печати, освобождала от древнерусского страха перед ней, как перед аптечною банкой, и при всей скудости извлекаемого из нее научного содержания все же мирила с ней как с неизбежным злом на службе и в общежитии. И вот при близительности с половины царствования Елизаветы Петровны на ниву русского просвещения, все более очищав-

шуюся от засаженных Петром тощих цифирных и технических порослей, пал сначала редкими каплями освежительный дождь амурных песенок, усердно сочинявшихся доморощенными стихотворцами с легкой руки Сумарокова¹; по крайней мере современник Болотов в своих записках под 1752 г. рассказывает, что «самая нежная любовь, толико подкрепляемая нежными и любовными и в порядочных стихах сочиненными песенками, тогда получала первое только над молодыми людьми свое господство», но таких песенок было еще очень мало, и «они были в превеликую еще диковинку», и потому молодыми барынями и девицами «с языка были не спускаемы». А за песенками полился поток назидательно-пресных мещанских трагедий и сентиментально-пикантных романов, в изобилии изготовлявшихся на Западе. Колючая литература научного знания сменилась произведениями сердца и воображения, щекотавшими элементарные инстинкты, которые не нуждаются ни в подготовке, ни в поощрении. Из холодной и сухой области научной мысли перескочив прямо в распаренную наркотическую атмосферу вольного чувства и образа, светски образованные люди так живо почувствовали разницу между тою и другою средой, что наука и беллетристика, долженствующие идти об руку одна с другой к одной цели — к познанию жизни, в сознании этих людей стали непримиримыми врагами, и эти люди решили, что можно и должно вкушать сладкие плоды учения, отбрасывая его горький корень. Одногодки Новиков и Фонвизин молодостью своей попали в этот момент, и последний увековечил его в своем *Бригадире* (1766 г.) коротким и выразительным обменом мыслей между двумя образцовыми продуктами этого момента, Советницей и Иванушкой:

— Боже тебя сохрани,— говорит первая второму,— от того, чтобы голова твоя была наполнена чем иным, кроме любезных романов! Кинь, душа моя, все на свете науки. Не поверишь, как такие книги просвещают.

— *Madame!* — отвечает ей Иванушка,— вы говорите правду. Я сам, кроме романов, ничего не читывал.

А какое направление преобладало в этих романах, потреблявшихся русскими советницами и Иванушками, видно из рассказа того же Фонвизина о том, как он, будучи еще студентом Московского университета, взамен гонорара за перевод басен Гольберга получил от московского книгопродавца целую кучу иностранных книг, «соблазнительных, украшенных скверными эстампами» и

испортивших его воображение. Такие книги, очевидно, наиболее спрашивались тогдашнюю светскую молодежь. Людям, чувствовавшим потребность порядочности, надобно было, подобно фонвизинскому Сорванцову, отговариваться в обществе, что они не ставят своего невежества себе в достоинство.

Живописец Новикова в 1772 г. скорбит о том, что романы раскупаются вдесятеро больше наилучших переводных книг серьезного содержания, да и было о чем скорбеть. Хороший роман служит прекрасным пособием для познания жизни тому, кто в нем ищет и находит художественное объяснение своих случайных и хаотических житейских впечатлений; для такого читателя роман — художественная иллюстрация действительности; без того и лучший роман — пустая игрушка воображения, лубочная картинка, лишенная своей истолковательницы — подписи внизу. наших читателей и читательниц роман отучал от понимания действительности, заменяя им житейские опыты и наблюдения призраками, как детям куклы заменяют живых людей; подобно пушкинской Татьяне, они «влюблялись в обманы и Ричардсона, и Руссо»².

Подготовленный любовными песенками вроде сумароковских или николевских, вкус романической публики быстро изощрялся, поддерживая возбуждаемость усталого литературного аппетита. Начинали строго добродетельным семейным романом во вкусе ричардсоновой *Памелы*, продолжали романом тоже довольно добродетельным, вроде *Клариссы*, но уже с участием Ловеласа, а кончали ничем не прикрытыми приключениями вроде тех эстампов, на которые жаловался Фонвизин. Самые заглавия романов вторили изощрявшимся вкусам: *Российскую Памелу, или Приключения Марии, добродетельной поселянки*, сменяло *Геройство любви, или Изображение великодушного любовника*, а затем уже прямо следовала *Генриетта, или Гусарское похищение* в трех частях. Так народился у нас значительно разросшийся потом класс потребителей и особенно потребительниц романа, идиллически мечтательный род петиметров и кокеток с кисейными чувствами и «с чепухой сладких слов», как выразился некогда Княжнин³ о выведенном им в комедии *Чудаки* подобном продукте идиллии и романа. Жившие в России иностранцы с удивлением встречали в русском большом свете много дам и девиц, которые говорили на четырех-пяти языках, играли на разных инстру-

ментах и отлично знакомы были с произведениями известнейших романистов Франции, Англии и Италии. В этом знакомстве трудно искать любознательности, питавшей размышление. К этим дамам и девицам шло воззвание в переведенной тогда идиллии мадам Дезульер:

Овечки! ни наук, ни правил вы не зная,
Паситесь в тишине: не нужно то для вас.

Надобно сказать правду об этой идиллической чувствительности: для массы сердец она служила только приправой чувственности, не смягчая чувства. Мамаша после обычной утренней расправы на конюшне с крестьянами и крестьянками принималась за французскую любовную книжку и откровенно объясняла по-русски все прелести любви и нежности прекрасного пола своему тринадцатилетнему сыну (*Живописец* Новикова).

Среди самого разлива этого чувственно-чувствительного чтения стало проникать в наше общество влияние просветительной философии. Может быть, нигде в Европе эта философия так наглядно, как у нас, не выказалась обеими своими сторонами, лицевой и оборотной. В нашей разреженной культуре, как в решете, сор мысли как-то сам собою отсеивался от ее зерна. После 28 июня 1762 г. у нас было немало умных и благомыслящих людей, которые, становясь у дел, понимали, чем могут воспользоваться из содержания этой философии политика, право и общежитие, и русское законодательство стало провозвестником ее зиждательных идей. Но популярную силу этой философии составляли не столько планы построения нового порядка, сколько критика существующего, приправленная насмешкой. Наша модно образованная публика особенно понятливо воспринимала это критическое направление просветительной философии и не столько самую критику, сколько ее приправу. Подобно ночным мотылькам, которые ничего не видят при дневном свете, непривычные к размышлению умы слепо бросались на яркие парадоксы тогдашних *esprits forts* и на них сжигали последние остатки здравого смысла, уцелевшие от романов и идиллий. Развинченное ими вольное чувство, встретившись с вольною смеющеюся мыслью, спешило устранить все сдержки и преграды и прежде всего набросилось на простейшие нравственные связи. «Не щадить отца — вот прямая добродетель века!» — восклицает Советница в *Бригадире*, восхищенная скотским взглядом Иванушки на семейные отношения. В ли-

це одного из героев *Чудаков*, разбогатевшего самодур-дворянина из кузнецов Лентягина, Княжнин изобразил одного из этих выращенных новым духом времени и старыми нравами русских вольнодумцев, у которых протестующий философский смех перерождался в безразборчивое зубоскальство надо всем, а отрицание предрассудков — в забвение приличий, — словом, из свободы мысли выходило озорство почуявшего волю холопского темперамента. Тогда, по свидетельству Фонвизина, составлялись кружки молодежи, все философское упражнение которых состояло в богохульстве и кощунстве. Потеряв своего бога, заурядный русский вольтеррианец не просто уходил из его храма как человек, ставший в нем лишним, а, подобно взбунтовавшемуся дворовому, норвил перед уходом набуяннить, все перебить, исковеркать и перепачкать. Что еще прискорбнее, многими, если не большинством наших вольнодумцев, вольные мысли почерпались не прямо из источников, — это все-таки задавало бы некоторую работу уму, — а хватались ими с ветра, доходили до них отдаленными сплетнями из вторых-третьих рук: какой-нибудь молодой Фирлюфюшков (петиметр в комедии Екатерины II *Именины госпожи Ворчалкиной*), воротясь из Парижа, проповедовал их доверчивым зевакам-сверстникам, или старый высокочинный греховодник зазывал молодежь к себе на обеды, чтобы сообщить ей последние, самые свежие полученные из Парижа новости по части атеизма и материализма. Многим русским вольтеррианцам Вольтер был известен только по слухам как проповедник безбожия, а из трактатов Руссо до них дошло лишь то, что истинная мудрость — не знать никаких наук. С просветительною философией у нас повторилось то же, что бывало с сентиментально-назидательною беллетристикой: мать пушкинской Татьяны была от Ричардсона без ума:

Она любила Ричардсона
Не потому, чтобы прочла,
Не потому, чтоб Грандисона
Она Ловласу предпочла;
Но в старину княжна Алина,
Ее московская кузина,
Твердила часто ей об них.

Таким образом, открывалось неожиданное и печальное зрелище: новые идеи просветительной философии являлись оправданием и укреплением старого доморощенного невежества и нравственной косности. Обличитель-

ный вольтеровский смех помогал прикрывать застарелые русские язвы, не исцеляя их. Доисторические привычки и одичалые понятия, которые прежде припрятывались от глаз закона или которых стыдились перед добрыми людьми, как стыдятся неубранного домашнего сора перед гостями, теперь самодовольно выставлялись напоказ, как указание или требование природы. Новые идеи нравились, как скандалы, подобно рисункам соблазнительного романа. Философский смех освобождал нашего вольтерианца от законов божеских и человеческих, эмансипировал его дух и плоть, делал его недоступным ни для каких страхов, кроме полицейского, нечувствительным ни к каким угрызениям, кроме физических, — словом, этот смех становился для нашего вольнодумца тем же, чем была некогда для западного европейца папская индульгенция, снимавшая с человека всякий грех, всякую нравственную ответственность; да этот смех и там, кажется, был преемником, едва ли даже не был *натуральным сыном* этой самой индульгенции.

При каком угодно мнении о просветительной философии можно огорчаться таким ее употреблением. Порошин рассказывает в своих записках под 1765 г., как за несколько лет до того к одному московскому дворянину нанялся француз учить его детей французскому языку; после оказалось, что этот француз был вовсе не француз, а чухонец, и обучил он детей дворянина не французскому, а чухонскому языку. Нечто подобное тому, что испытал здесь французский язык, случилось у нас и с французскою философией: многие наши вольтерианцы поступили с ней совсем по-чухонски, под фирмой ее идей выдавали свои собственные темниковские или судогодские измышления и недомыслия. Еще один ветхозаветный мыслитель сказал, что и мудрое слово в устах малоумного становится безумием. Направление русских умов, таким образом воспринимавших просветительное влияние, становилось уже не усвоением европейской цивилизации, а болезненным расстройством национального смысла, не подготовленного к такому острому питанию. Привозные лекарства только растравляли старые туземные недуги, и приходилось лечить не только от болезней, но и от самого лечения.

Так книга, эта разносчица просвещения, стала ему помехой. В обеих литературах, беллетристической и философской, ставших у нас наиболее ходячими, наш просвещенный свет особенно охотно и успешно черпал лишь

чувства и идеи, мало пригодные для частного, как и для общественного блага, только соблазнявшие сердце и ум своею вольностью или недозволенностью. В то время строгие судьи видели в таком направлении мысли и вкуса только недомыслие и безвкусие, слепое увлечение, и надеялись исправить грех, открыть слепцам глаза насмешкой. Случилось так, что в одно время с первую турецкою войной, с борьбой против внешних врагов европейской цивилизации русские писатели снарядили целую экспедицию против внутренних недугов русского быта и просвещения, и в продолжение 5—6 лет, пока русские войска поражали турок и татар на море и на суше, русские сатирические журналы громили и доморощенные, и завозные пороки русского общества. Сама императрица с несколькими обличительными комедиями вступила волонтером в это патриотическое литературное ополчение под прозрачным вуалем всем знакомого неизвестного. Тогда двадцатипятилетним новобранцем выступил на литературно-издательском поприще и армейский поручик в отставке Н. И. Новиков, и его журналы *Трутень*, *Живописец* и *Кошелек* по смелости и меткости своей сатиры стали решительно впереди всей фаланги сатирических изданий тех годов. От журналов Новикова всего большее досталось и зараженному французским влиянием модному русскому свету; *Кошелек* даже выступил специальным партизаном против этого влияния. В журналах Новикова встречаем едва ли не самые яркие изображения типических продуктов галломании, именно русской галломании, львов и львиц тогдашнего большого света, щеголей и щеголих или столь памятных петиметров и кокеток с их кукольною выделкой и невероятным нравственным одичанием, с ходульными каблучками, буклями в виде крылышек горлицы и до облаков взбитыми прическами, с разученно нежною вскидкой взглядов, с вечными разговорами о любви и с ненавистью к наукам, к книгам, кроме тех, в которых они находили, говоря их языком, «слог расстеганный и мысли прыгающие» и которые они «фелитировали без всякой distraction». Что же вышло из этих благородных усилий русской сатиры? Есть основание опасаться, что она больше обогатила литературу, чем исправила нравы, научила добродетели только добродетельных. В *Живописце* есть статья самого Новикова, передающая юмористическую беседу писателей в разных родах с своими читателями. Между прочим, писателю комедий на его речи о нравственно-

исправительном действии комедии читатель отвечает: «Знай, когда ты меня осмеиваешь, тогда я тебя пересмеваю». Нечто подобное, кажется, случилось и с русской сатирой прошлого века. Даже более того: осмеиваемый шут, увидев свой карикатурный портрет на сцене или в сатирическом журнале, любовался им и хохотал не менее других зрителей. Добрая половина столичного партера, аплодировавшего комедиям Фонвизина, состояла из подлинников или живых иллюстраций его художественных карикатур, по крайней мере видела в них портреты своей близкой родни. Какою сатирой можно было донять фонвизинскую княгиню Халдину, которая любила одеваться при мужчинах, не находила ничего странного в том, что все ее дети уродились в друзей ее мужа,— ведь в мужниных же друзей, а не в каких-либо иных, поймите вы это,— и которая с гордостью добродетели говорила: «Мне стыдно чего-нибудь стыдиться»? Обличение бессильно против людей, которые, по выражению древнерусского летописца, *ни бога ся боят, ни человека ся стыдят*. Удары негодующей сатиры безболезненно падали на наших великосветских щеголей и щеголих прошлого века, служа только возбуждительным массажем для их износившихся в праздной суете или залежавшихся в сентиментальной апатии нервов. Более щекотливые надувались сердито, но не исправлялись. Что касается собственно вольнодумства как особого направления мыслей, сатирические журналы тех лет касались его лишь слегка, мимоходом, вероятно, потому, что оно не успело еще выделиться в такое направление из общего хаоса распушенных речей и мыслей. Впрочем, после, когда оно стало походить несколько на особое мирозерцание, обличение и на него не оказало заметного действия.

Зло, с которым боролась сатира, было не слабостью, не простым пороком, а нечто вроде порока сердца, т. е. болезнью, пороком просвещения, а болезни лечат, не осмеивают. Уж если злоупотреблять медицинским языком, эту болезнь можно назвать анемией общественного сознания и нравственного чувства, соединенной с неестественным отношением к окружающему. Общечеловеческая культура, приносимая иноземным влиянием, воспринималась так, что не просветляла, а потемняла понимание родной действительности: непонимание ее сменялось равнодушием к ней, продолжалось пренебрежением и завершалось ненавистью или презрением. Люди считали несчастьем быть русскими и, подобно Иванушке Фонви-

зина, утешались только мыслью, что хотя тела их родились в России, но души принадлежали короне французской.

Такое направление умов в высшем обществе грозило немалыми опасностями. Еще в древней Руси дворянство стало во главе русского общества как орган управления и землевладельческий класс. Петр Великий хотел упрочить и расширить это руководящее значение сословия, сделав его, по крайней мере верхний слой его — дворянство столичное, еще и проводником западноевропейского просвещения в России. Но что бы это был за руководящий класс, который не понимает руководимого им общества и даже презирает его! Он сам себя осуждал на упразднение, и тогда русское общество очутилось бы в руках провинциальных Простаковых и Скотининых с их Митрофанами и Николашками, в 18 лет едва одолевавшими азбуку (в комедии Екатерины II *О время!*).

Болезнь была тем серьезнее, что происходила не от каприза или увлечения отдельных лиц, а от причин, которые коренились в исторически сложившемся положении всего класса. Иноземное влияние не встречало надлежащей подкладки в элементарном общем образовании, которое давало бы умение воспринимать потребное, отбрасывая лишнее. Обязательная выучка дворянства совсем не давала такого образования, а модное гувернерское воспитание во многом было даже хуже простого невежества. Новая книга, попадавшая в руки взрослому просвещенному человеку, служила ему не дополнением, а заменой учебника. Новые идеи неслись поверх умов какими-то сухими туманами, застилая глаза и не освежая мысли, а только оставляя на ней сорный осадок в виде пустых фраз, дурных манер, непристойных выходок против общепринятого и т. п. Притом с освобождением от обязательной службы значительная часть дворянства поспешила избавиться от привычного, но надоевшего дела, для которого она училась, но не умела найти, да и не искала никакого нового общепольного дела, стала праздной. Деловая цель образования исчезла из глаз, и книга стала только средством приятно наполнять пустоту праздного и бесцельного существования. Этим определились направление умов и вкусов, выбор чтения и идей, характер воспитания. Привычка учиться для службы не выработала в сословии внутренней потребности образования, а отсутствие сословного дела уничтожило и общественное побуждение к тому.

Наконец, тогдашний класс «просвещенных людей» составлял очень тонкий слой, который случайно взбитой пеной вертелся на поверхности общества, едва касаясь его. Отделенный от народной массы привилегиями, нравами, понятиями, предубеждениями, не освежаемый притоком новых сил снизу, он замирал в своих искусственных, призрачных интересах и никому не нужных суетах. Не такими ли наблюдениями внушены были замечания одного иностранца (Макартнея), бывшего в России в начале царствования Екатерины II и писавшего, что русское дворянство самое необразованное в Европе, что русскому правительству труднее будет цивилизовать своих дворян, чем крестьян, и что им лучше было бы не иметь никакого образования, чем иметь такое, какое им дается, потому что оно не может сделать их полезными для общества?

Правительство Екатерины II чувствовало эти недуги русского просвещения и принимало меры против них. Отсюда его настойчивая проповедь о необходимости воспитания, которое нравственно переродило бы общество, его усиленные заботы о закрытых воспитательных заведениях, о создании «третьего чина», или среднего сословия, которое стало бы, как в других странах Европы, носителем научного образования, питомником просвещения в России. И. И. Бецкий в своих докладах императрице указывал именно на отсутствие у нас восприимчивой среды, питательной почвы, к которой могло бы прикрепиться научное образование, говорил, что люди, приобретающие такое образование, скоро теряли его и возвращались в прежнее невежество по недостатку спроса и практики для их знаний.

Эти просветительные усилия правительства не были свободны от иллюзий и недоразумений. Спешили заводить закрытые воспитательные училища. А где же учителя и учебники, где книги для чтения, которые восполняли бы учебники и учительские уроки? Как, наконец, подготовить общество к приему перерожденных в новых училищах питомцев, чтоб они не тонули в темной массе и не возвращались в прежнее невежество?

Новиков прямо и смело пошел навстречу этим усилиям и недоразумениям. Неизвестно, как складывался его взгляд на свое дело. Новиков появился в литературном мире как-то вдруг, исподтишка, без заметной подготовки. Сын достаточного, но небогатого дворянина, 16-ти лет исключенный из дворянской гимназии при Московском

университете «за леность», признававший себя и в старости невеждой, не знающий никаких языков, после 8 лет службы в гвардии он вышел в отставку армейским поручиком, а с 1769 г., когда ему было 25 лет, последовательно выступал с тремя лучшими в то время сатирическими журналами, привлек к себе обширный круг читателей, стал известным литератором и издателем, в то же время и после выпустил ряд ученых изданий по русской истории и литературе, из которых некоторые, особенно *Древняя российская вивлиофика*, сборник разнообразных памятников по русской истории, изданный при содействии Екатерины II, доселе не потеряли своей ученой цены. Из впечатлений и размышлений, накопившихся в продолжение 10-летних литературно-издательских опытов в Петербурге, у Новикова, по-видимому, сложился ясный взгляд на то, что ему следует делать. С этим взглядом он в 1779 г. переехал в Москву, заарендовал на 10 лет университетскую типографию с книжною лавкой и принялся за дело.

В 1792 г., разбитый постигнутою его бедой, Новиков на допросе произвел на враждебного ему следователя впечатление человека острого, догадливого, с характером смелым и дерзким. Бесспорно, Новиков был человек умный и решительный. Труднее было заметить в нем еще одну черту, это — энтузиазм сдержанный и обдуманый. У него было два заветных предмета, на которых он сосредоточивал свои помыслы, в которых видел свой долг, свое призвание, это — служение отечеству и книга как средство служить отечеству. Если в первом сказывалась одна из лучших исторических привычек старого русского дворянства, поднимавшаяся в лучших людях сословия на высоту нравственного долга, то во взгляде на книгу надобно видеть личную доблесть Новикова. И до него бывали дворяне, посвящавшие литературе свой служебный досуг. В лице Новикова неслужащий русский дворянин едва ли не впервые выходил на службу отечеству с пером и книгой, как его предки выходили с конем и мечом. К книге Новиков относился, мало сказать, с любовью, а с какою-то верой в ее чудодейственную просветительную силу. Истина, зародившаяся в одной голове, так веровал он, посредством книги родит столько же подобных правомыслящих голов, сколько у этой книги читателей. Поэтому книгопечатание считал он наивеличайшим изобретением человеческого разума.

На этой вере в могущество книги Новиков строил

практично обдуманый план действий. Этот план был тесно связан со взглядом на недостатки и нужду русского просвещения, какой просвечивает в изданиях и во всей деятельности Новикова. Один из главных врагов этого просвещения — галломания, не само французское просвещение, а его отражение в массе русских просвещенных умов, то употребление, какое здесь из него делали. «Благородные невежды», как называл Новиков русских галломанов, сходились с простыми невеждами старорусского покроя в убеждении, что они достаточно все понимают и без науки, что, «и не учась грамоте, можно быть грамотеем». Значит, вольномыслие не от учения, а от невежества, и есть не более как легкомыслие. Всякий мыслящий человек, так писал Новиков в одном из своих журналов, чувствует сострадание, взирая на простодушных людей, которые беззащитно увлекаются надменными и остроумными мудрованиями, разрушающими основы человеческого общежития, или гнушаются всем отечественным, обольщаясь наружным блеском иноземного. Истинное просвещение должно быть основано на совместном развитии разума и нравственного чувства, на согласовании европейского образования с национальной самобытностью. В составе воспитания Новиков не отставлял разума на задний план, не ронял цены научного образования, как это делали иногда литературные и даже должностные педагоги того времени. Неосторожно было набрасывать тень на разум в обществе, где и без того многие им тяготились, воздерживать от увлечения науками, которыми и без того не занимались. Когда Сумароков в речи при открытии Академии художеств восклицал: «воссияли науки — и погибла естественная простота, а с нею и чистота сердца», сколько господ Простаковых готовы были аплодировать этим желанным словам, так легко и просто разрешавшим все их материнские муки с своими Митрофанами! Ведь Руссо у нас потому особенно и был популярен, что своим трактатом о вреде наук оправдывал нашу неохоту учиться. В *Живописце* Новиков насмешливо сопоставлял мудрость доморощенных философов донаучной чистоты с учением Руссо, говоря им: «он разумом, а вы невежеством доказываете, что науки бесполезны». Новикову принадлежит честь одного из первых, кто заговорил у нас о разграничении заимствуемого и самобытного, о черте, за которую не должно переступать иноземное влияние. В *Кошельке* 1774 г. он восстает против мнения, что русские должны заимст-

зовать у иноземцев все, даже характер, который у всякого народа свой особый: не одной же России отказано в нем и суждено скитаться по всем странам, побираясь обычаями у разных народов, чтоб из этой сборной культурной милостыни составить характер, никакому народу не свойственный, а идущий к лицу только обезьянам.

Где же было найти у нас опору истинному просвещению? Такою опорой не мог быть большой свет ничему не хотевших учиться вольтерянцев и модных петиметров: здесь надобно было предоставить мертвым хоронить своих мертвецов. Екатерина с Бецким задумывала отнять у всего дворянства принадлежавшее ему с Петра значение хранителя и проводника европейского научного образования и передать это значение особому «среднему сословию», подобному французской буржуазии, сделав его специальным питомником наук и художеств. Но такого сословия не существовало в России, его еще надобно было созидать. Это была радикальная мера, хлопотливая и несколько самонадеянная. В ней сказался философский XVIII век, любивший кроить общество по своим идеям. Новиков думал, что удобнее кроить платье по плечу, чем выламывать плечо по платью. Он надеялся обойтись наличными средствами, не ломая общества: ведь легче издавать полезные книги для читателей из готовых сословий, чем создавать особое сословие для чтения полезных книг. Он рассчитывал не на средний род людей, которого у нас не было, а на средний круг читателей, и его расчет состоял в том, чтобы из грамотного люда разных сословий создать читающую публику. В этой среде он находил благоприятные задатки для успехов просвещения. Он сам на себе испытал ее значение для литературы: его *Живописец* выдержал в прошлом веке пять изданий. Новиков объяснял такой успех журнала тем, что он пришелся по вкусу мещан, ибо, добавлял он, у нас те только книги четвертыми и пятыми изданиями печатаются, которые этим простосердечным людям по незнанию ими чужестранных языков нравятся. В самом выборе чтения здесь можно было найти более просвещенного вкуса и любознательности: по словам Новикова, в числе любимых книг у мещан были *Синописис*, учебник русской истории, *Совершенное воспитание детей* и тому подобные книги, не пользовавшиеся никаким уважением просвещенных людей большого света.

«Имей душу, имей сердце», — проповедовала гуманная педагогика века, а это была прекрасная проповедь

при бездушной школьной выучке и бессердечном вертопрашестве светской мысли. Но мало сказать доброе правило, надобно еще *сотворить* и *научить*, указать, как его исполнить, и подать пример исполнения. И в деле просвещения есть своя черновая часть. Сколько нужно понести пыли и грязи, чтобы вырастить хлебный злак? Современный сеятель просвещения, выходя на свою ниву, находит много готовых вспомогательных средств для своего дела: не говоря о широко распространенном сознании пользы учения, о внутренней потребности образования в значительной части общества, об обильном запасе учебной и образовательной литературы, достаточно вспомнить о довольно налаженном типографском и книгопродавческом деле. Правда, в книжном деле у нас и теперь *бывают* прискорбные недоразумения: так, нередко книга и читатель ищут друг друга и не находят, как будто играют друг с другом в жмурки с завязанными глазами; порой появляются книги, которых некому читать, и есть охотники чтения, которым нечего читать. Во времена Новикова таких недоразумений было несравненно больше, а вспомогательных средств просвещения гораздо меньше, даже совсем мало. В единственной тогда университетской столице просвещения было всего две книжные лавки, годовой оборот которых не превышал 10 тыс. рублей; в провинции книга была редкостью и продавалась втридорога, на что жаловался сам Новиков; издательское дело велось так вяло, что не поспевало за спросом читателей простонародных романов и повестей вроде *Бовы Королевича* или *Еруслана Лазаревича*, и были отставные подьячие, кормившиеся перепиской таких произведений. Новиков видел, что надо начинать дело с самого начала, с черновых вспомогательных средств просвещения, и, надев рабочий передник, не побрезговал подойти к типографской сажке и стать за пыльным прилавком книжной лавки. В обществе, где, по сознанию самого новиковского *Живописца*, даже звание писателя считалось постыдным, надобно было иметь немалую долю решимости, чтобы стать типографщиком и книжным торговцем и даже видеть в этих занятиях свое патриотическое призвание. У Новикова с энергией и предприимчивостью соединялась та добросовестность мысли, которая побуждает выбирать себе дело по наличным силам, не преувеличивая своих сил по внушениям затейливого самомнения. Этим отчасти можно объяснить его

нелюбовь действовать одиноко, без товарищей. Зато он глубоко верил в могущество совокупного труда и умел соединять людей для общей цели. Именно на поприще народного образования обнаружил он это умение собирать раздробленные силы в большое дружное дело.

Московский кружок Новикова — явление, не повторившееся в истории русского просвещения. Можно радоваться, что такой кружок составил именно в Москве, где особенно трудно было ожидать его появления. Про эту столицу русского просвещения, единственный тогда университетский город в России, Сумароков, конечно, в припадке капризного раздражения, писал, что там все улицы вымощены невежеством «аршина на три толщиной». Правда, это был тогда город разнообразных крайностей. В его многочисленном дворянском обществе с довольно независимым, даже оппозиционным настроением, направляемым выброшенными из С.-Петербурга величиями, у которых прошлое было лучше будущего и которые потому бранили настоящее,— в обществе, где встречались носители всех перебивавших в России мирозерцаний от *Голубиной книги* до *Системы природы* Гольбаха⁴ и где на одном и том же пиру за менюэтом иногда следовал доморощенный трепак, среди суетливого безделья и дарового довольства нашлось десятка два большею частью богатых или зажиточных и образованных людей, которые решились жертвовать своим досугом и своими средствами, чтобы содействовать заботам правительства о народном просвещении. Некоторые из этих людей стоят биографии и все — самого теплого воспоминания. Из них рядом с Новиковым мне бы хотелось поставить прежде других И. В. Лопухина⁵. Чтение его записок доставляет глубокое внутреннее удовлетворение: как будто что-то проясняется в нашем XVIII в., когда всматриваешься в этого человека, который своим появлением своим обличает присутствие значительных нравственных сил, таившихся в русском образованном обществе того времени. С умом прямым, немного жестким и даже строптивым, но мягкосердечный и человеколюбивый, с тонким нравственным чувством, отвечавшим мягкому и тонкому складу его продолговатого лица, вечно сосредоточенный в работе над самим собой, он упорным упражнением умел лучшие и редкие движения души человеческой переработать в простые привычки или ежедневные потребности своего сердца. Читая его записки, невольно улыбаешься над его усилиями. уверить читате-

ля, что его любовь подавать милостыню — не добродетель, а природная страсть, нечто вроде охоты, спорта; что с детства он привык любоваться удовольствием, какое доставлял другим, и для того нарочно проигрывал деньги крепостному мальчику, приставленному служить ему; что во время его судейской службы в уголовной палате, совестном суде и Сенате сделать неправду или не возражать против нее было для него то же, что взять в рот противное кушанье,— не добродетель, а случайность, каприз природы, вроде цвета волос. Все это очень напоминает красивую застенчивую женщину, которая краснеет от устремленных на нее пристальных взглядов и старается скрыть свое лицо, стыдясь собственной красоты как незаслуженного дара. Мы если не больше сочувствуем нашему высшему крепостническому обществу прошлого века, то лучше понимаем его, когда видим, что оно если не помогло, то и не помешало воспитаться в его среде человеку, который, оставаясь баринком и сторонником крепостного права, сберег в себе способность со слезами броситься в ноги своему крепостному слуге, которого он, больной, перед причащением, в припадке вспыльчивости только что разбил за неисправность. И в то время не на каждом шагу встречалась привычка во всяком Петрушке искать человека и во всяком человеке находить ближнего. А по другую сторону Новикова надобно поставить И. Г. Шварца⁶, по выражению Новикова, немчика, с которым он, поговорив раз, на всю жизнь до самой его смерти сделался неразлучным. Откуда-то из Трансильвании попав домашним учителем в Могилев, а оттуда в Москву на профессорскую кафедру в университете, Шварц полюбил приютившую его чужбину, как не всегда любят и родину, и посвятил ей все еще молодые силы своего ума, весь жар своего горячего сердца. Восторженный и самоотверженный педагог до тончайшей фибры своего существа, неугомонный энтузиаст просвещения, вечно горевший, как неугасимый очаг, и успевший сжечь себя дотла в 33 года жизни, Шварц будил высшее московское общество, где был желанным гостем, без умолку толкуя в знатных и образованных домах о необходимости составить общество для распространения истинного просвещения в России, будил и университетскую молодежь своими одушевленными мистическими лекциями о гармонии наук в изучении таинств природы, о связи духа и материи, о союзе между богом и человеком, о стремлении к свету и добру, к познанию божества

и внутреннего человека. А для изображения С. И. Гамалеи⁷, правителя канцелярии московского главнокомандующего, у меня не найдется и слов: хотелось бы видеть такого человека, а не вспоминать о нем. Я недоумеваю, каким образом под мундиром канцелярского чиновника, и именно русской канцелярии прошлого века, мог уцелеть человек первых веков христианства. Гамалею подобает житие, а не биография или характеристика. Сомневаюсь, сердился ли он на кого-нибудь хоть раз в свою жизнь. Во всем мире только с одним существом он воевал непримиримо — это с своим собственным, с его пороками и страстями, и с какими страстями! — с нюханьем табаку, например, и т. п. Когда ему предложили обычную в то время награду за службу крепостными в количестве 300 душ, он отказался: ему-де не до чужих душ, когда и с своею собственной он не умеет справиться. Слуге, укравшему у него 500 руб. и пойманному, он подарил украденные деньги и самого его отпустил с богом на волю; но он не мог простить себе ежегодной траты 15 руб. на табак, которую считал похищением у бедных, и постарался победить столь преступную привычку, обратив новое сбережение на милостыню. Блаженный в лучшем смысле этого слова, которого современники справедливо прозвали «божьем человеком»! И другие члены кружка были проникнуты тем же новиковским или лопухинским духом; это были лучшие, образованнейшие люди московского общества: князя Трубецкие и Черкасский, И. П. Тургенев⁸ и другие, между которыми и Московский университет имел своих представителей в лице куратора Хераскова⁹ и нескольких профессоров. Среди этого товарищества просвещения и благотворительности радушно хозяйкой на Покровке и в подмосковном Очакове, самоотверженною пособницей и ободрительницей в каждом деле и затруднении кружка являлась царившая в нем энергичная княгиня Варвара Александровна Трубецкая, урожденная княжна Черкасская, одна из прекраснейших русских женщин прошлого века, у которой ни дух времени, ни светское образование, ни таланты и влияние на окружающих не ослабили силы и непосредственности христианского чувства. Надобно думать, что дух и состав кружка сообщали ему большую притягательную силу, если ревностным сподвижником его стал богач, скуцавший жизнью от пресыщения ее благами, сын бывшего недоброй памяти петербургского генерал-полицмейстера, П. А. Татищев, своим значительным вкла-

дом давший возможность осуществить заветную мечту Шварца об основании просветительного общества; а другой богач, сын верхотурского ямщика и уральского горнозаводчика, Г. М. Походяшин, тронутый речью Новикова о помощи нуждающимся в голодный 1787 г., построил свое огромное состояние щедрыми пожертвованиями на дела просвещения и благотворения, но, умирая в бедности, услаждал свои последние минуты тем, что с умилением смотрел на портрет Новикова как своего благодетеля, указавшего ему истинный путь жизни.

Эта нравственная сила многим членам кружка далась не даром. Когда мы читаем признание Новикова, что он мучился сомнениями, находясь на распутье между вольтерьянством и религией, и не имел краеугольного камня, на котором мог бы основать свое душевное спокойствие, когда И. В. Лопухин рассказывает в своих записках, как он, быв усердным читателем Вольтера и Руссо и задумав распространять в рукописях свой перевод из восхитившей его *Системы природы* Гольбаха, вдруг охвачен был чувством неопisanного раскаяния, не мог заснуть прежде, нежели сжег приготовленную к пропаганде красивую тетрадку вместе с черновой, и успокоился вполне только тогда, когда написал *Рассуждение о злоупотреблении разума некоторыми новыми писателями*, когда мы читаем о подобных пароксизмах совестливой мысли, может быть, мы впервые застаем образованного русского человека в минуту тяжкого раздумья, какое ему не раз пришлось и не раз еще придется переживать впоследствии. Это раздумье, естественно, рождалось из самого положения русского образованного человека. Запоздалый работник в культурной мастерской, принужденный учиться у тех, кого должен был догонять, он уже в продолжение двух-трех поколений привык обращаться к западноевропейской мысли за советом, к общественному порядку, в котором эта мысль вырабатывалась, за опытами и уроками. Но западноевропейский разум, вырабатывавший и эту мысль, и этот порядок, в прошлом веке потянуло в противоположные стороны. Фонвизин резкими чертами изобразил это раздвоение, когда писал из Франции в 1777 г., что там при невероятном множестве способов к просвещению весьма нередко глубокое невежество с ужасным суеверием, что одни воспитываются духовенством в сильном отвращении к здравому рассудку, а другие заражаются новою философией, так что встречаются почти только крайности — или рабство, или нахальство

разума. В борьбе, возникшей из этого раздвоения, европейская мысль, постепенно разгораясь и разгорячаясь, приняла отрицательное направление, из светоча превратилась в зажигательный факел и решительно пошла против служившего ей очагом общественного порядка. Тогда русский образованный человек, если он притом был еще и человек мыслящий, почувствовал себя в неловком положении: служивший ему образцом строй понятий, чувств, общественных отношений был осужден как неразумный. Звание отечественной гражданственности, над которым он призван был трудиться, нельзя стало продолжать ни по старым образцам, ни по новым идеалам. В ожидании огромного крушения, не надеясь ничего найти на Западе для этой постройки, кроме раскаленной лавы да гнилых развалин, он вынужден был искать доморощенных средств. Но, видя вокруг себя умы, больше воспаленные, чем просвещенные новыми идеями, люди новиковского направления решили, что для улучшения общественного порядка каждый отдельный человек, пока не касаясь его оснований, должен обратиться к самому себе, сосредоточить работу на своей личности, на своем личном умственном и нравственном усовершенствовании, чтоб этой дробною мозаическою работой приготовить живой годный материал для будущего общества. Так понимал этих людей хорошо знакомый с ними Карамзин: он называл их христианскими мистиками, пренебрегавшими школьною мудростью, но требовавшими от своих учеников истинных добродетелей и не вмешивавшимися в политику. Та же мысль о необходимости и достаточности личного усовершенствования для подъема общественного порядка высказывалась и в любимых книгах этих людей, и в их собственных признаниях. «В школах и на кафедрах твердят: люби бога, люби ближнего, но не воспитывают той натуры, коей любовь сия свойственна». Это говорит И. В. Лопухин в своих записках, настаивая на необходимости для человека морально переродиться, чтобы сродниться с евангельскою нравственностью и стать в христианские отношения к ближним, к обществу. А как эти люди считали возможным достигнуть такого перерождения и чего от него ожидали, о том читайте в книге английского моралиста Иоанна Масона о самопознании, переведенной членом кружка И. П. Тургеневым и кружку же посвященной¹⁰. Эта книга учит, что, чем лучше мы себя познаем, тем с большею пользой занимаем то место в жизни человеческой, на какое мы по-

ставлены провидением, и что успехи в науке познания самого себя сопровождаются быстрым и счастливым изменением нравов и мыслей человеческих. Могут сказать, что в таком взгляде много оптимистического самообольщения, что нравственный уровень обществ так же мало зависит от совершенства отдельных его членов, как мало поднимается температура окружающего воздуха от подъема ртути в термометре, который держит теплая рука. Я и не вхожу в разбор этого взгляда, а хочу только отметить момент, когда, по моему мнению, образованный русский человек впервые почувствовал затруднительность своего культурного положения и как он пытался выйти из этого затруднения. Опять скажут: люди новиковского кружка нашли такой выход, потому что были масоны, мартинисты, и их христианские добродетели сильно омрачены этою сектантскою тенью. Можно сказать и так, можно и наоборот: они потому стали и масонами, что нашли такой выход из своего затруднения, больше масонствовали, чем были масонами; они — воспользуемся их же фигурным языком — вступили в состав «малого избранного народа» вольных каменщиков только для того, чтобы самих себя переработать в пригодные камни для мысленного храма Соломонова, т. е. для будущего идеального русского общества. Что же касается их добродетелей, то я не берусь судить, насколько нравственная доблесть Гамалеи тускнела оттого, что он прикрывал ее от недоброжелательных людских глаз театральным рубищем какого-то масонства. Но, когда я припоминаю, как отзывался о Новикове архиепископ московский Платон, испытывавший его в законе божием по распоряжению императрицы и заявивший, что он молит бога, чтобы не только в его пастве, но и во всем мире были такие христиане, каков Новиков. У меня не хватает решимости искать пятен на христианстве этого мистика: ведь я не сумею быть православнее православного русского иерарха.

Вспоминая о Новикове и его сотрудниках, я хотел напомнить характер светского образования в России их времени, их взгляды на недостатки и нужды этого образования и на свойства истинного просвещения, их цели, планы и нравственные средства. Но мне едва ли необходимо подробно говорить о том, как они проводили свои взгляды, какие материальные средства вводили в свое дело, какие встретили препятствия и чего добились: все это, кажется, достаточно известно, и я могу ограничиться наиболее крупными чертами, не входя в подробности.

План действий, как он обнаружился в предприятиях кружка и по частям был высказан в записках Лопухина и изданиях Новикова, можно изложить в таких чертах. Для успеха правительственных попечений о народном просвещении необходимо содействие частных лиц, соединяющих свои силы и средства с целью споспешествовать воспитанию юношества в полезных обществу науках и издавать книги, утверждающие корень чистой нравственности и добродетели. Для этого такие общества частных людей на свои средства, во-первых, устрояют пробные или образцовые учебно-воспитательные заведения, во-вторых, готовят надежных учителей и воспитателей при помощи университета и, в-третьих, разборчивым изданием книг и журналов создают самобытную, дельную печать для обширного круга читателей. Такими способами можно вывести русское просвещение из тесного круга оторванных от народа «просвещенных людей», модно воспитанного высшего дворянства, в широкий мир «простосердечных мещан», простого грамотного люда, и обдуманном сочетании общечеловеческих и национально-исторических элементов дать этому просвещению самобытный склад, который изменит дух общества, господствующее направление умов. Что было осуществлено из этого плана, который сам по себе есть уже немалая заслуга русскому просвещению?

Арендуя у Московского университета типографию и книжную лавку, Новиков имел в виду прежде всего потребности домашнего и школьного образования. Он старался, во-первых, составить достаточно обильный и легко доступный запас полезного и занимательного чтения для обширного круга читателей, во-вторых, войти в общение с университетом, чтобы воспользоваться его силами и средствами для приготовления надежных учителей. Расстроенную университетскую типографию он вскоре привел в образцовый порядок и менее чем в 3 года напечатал в ней больше книг, чем сколько вышло из нее в 24 года ее существования до поступления в руки Новикова. Он издавал книги довольно разнообразного содержания, особенно заботясь о печатании книг духовно-нравственных и учебных: в числе 366 книг, отпечатанных им до конца 1785 г., менее чем в 7 лет аренды, насчитываем около сотни изданий первого рода и более 30 учебников, разноязычных букварей, словарей, грамматик и т. п.

Новиков нашел деятельную поддержку в образовавшемся из его друзей по мысли Шварца *Дружеском уче-*

ном обществе, которое при торжественном открытии своем в 1782 г. объявило одной из своих задач печатание и даровую раздачу учебных книг по школам. Указ 1783 г. о вольных типографиях дал возможность обществу завести две собственные типографии на имя своих членов — Новикова и Лопухина; потом, в 1784 г., завелась еще обширная компанейская типография, когда из дружеского кружка Новикова образовалось издательское товарищество на полях под фирмой *Типографской компании*, со складочным капиталом в 57 500 руб. (более 150 тыс. руб. на наши деньги) и с поступившим от Новикова запасом книг на 320 тыс. руб. по продажной цене. При таких средствах Новиков превосходно устроил сбыт книг, завел комиссионеров, вступил в сношение с петербургскими книгопродавцами и вообще чрезвычайно оживил книжную торговлю в России. Случилось неслыханное дело: книжная лавка Новикова у Воскресенских ворот по спросу ее товара стала соперничать с модными магазинами Кузнецкого моста. Вместо двух существовавших в Москве книжных лавок с оборотом в 10 тыс. руб. при Новикове и под его влиянием явилось их здесь до 20, и книг продавали они ежегодно тысяч на 200 руб. Ежегодный доход *Типографской компании*, по показанию Новикова, простирался свыше 40 тыс. руб., доходя в иные годы до 80 тыс. руб. О размерах предприятия можно судить по тому, что после закрытия компании в 1791 г., когда все дело ее было разрушено, несмотря на обширный сбыт изданных ею книг, их оставалось еще по каталожной цене без малого на 700 тыс. руб. (более 1½ млн. на наши деньги), не считая 25 тыс. экземпляров книг, сожженных или переданных в духовную академию и университет.

Трудно сметить даже на глаз, какие успехи достигнуты были такими усилиями. Люди, близкие к тому времени и к самому Новикову, утверждали, что он не распространил, а создал у нас любовь к наукам и охоту к чтению; что благодаря широкой организации сбыта и энергическому ведению дела новиковская книга стала проникать в самые отдаленные захолустья и скоро не только Европейская Россия, но и Сибирь начала читать. Если частный случай что-нибудь доказывает, я приведу библиографическую подробность из своего детства: в деревенской глуши, где нецерковная книга была большой редкостью, мне попались две изданные Новиковым поэмы — *Иосиф Битобэ* и *Потерянный рай* Мильтона¹¹ и вместе с альманахом Карамзина *Аглаей* были в числе

первых книг, мною прочитанных. Новиков хотел сделать чтение ежедневною потребностью грамотного человека и, кажется, в значительной мере достиг этого. Число подписчиков *Московских Ведомостей*, издание которых он взял на себя вместе с арендой университетской типографии, при нем увеличилось всемерно (с 600 до 4 тыс.). При них выходили прибавления разнообразного содержания: по литературе, сельскому хозяйству, натуральной истории, химии и физике, также листы для детского чтения. Не упоминаю о других московских периодических изданиях Новикова. Он был не только типографщиком и книгопродавцем, но и издателем, выбирал, что нужно печатать, заказывал работы переводчикам и сочинителям, небывалым гонораром оживил переводную и оригинальную письменность, отдавая предпочтение произведениям научным и духовно-нравственным. Этим он внес в текущую литературу того времени новую струю, шедшую против господствовавшего направления умов и литературных вкусов тогдашнего светского общества. Книжная лавка Новикова, откуда шла эта струя, получила своеобразный вид, и в ней бывали характерные сцены: приходил покупатель, рылся в книжных новостях, разложенных на прилавке, находил все издания духовно-нравственного содержания, которых не хотел покупать, спрашивал, почему нет романов; Новиков отвечал, что переводчики что-то перестали носить ему такие сочинения, и, набрав связку книг, какие были на прилавке, просил покупателя принять их от него в дар. После сам Новиков показывал следователю об усилении спроса на духовные книги, а один из учеников Новикова писал, что целое море душе-спасительных книг было им пущено против потока вольнодумческих сочинений. В продолжение 10 арендных лет издательская и книгопродавческая деятельность Новикова в Москве вносила в русское общество новые знания, вкусы, впечатления, настраивала умы в одном направлении, из разнохарактерных читателей складывала однородную читающую публику, и сквозь вызванную ею усиленную работу переводчиков, сочинителей, типографий, книжных лавок, книг, журналов и возбужденных ими толков стало пробиваться то, с чем еще незнакомо было русское просвещенное общество: это — *общественное мнение*. Я едва ли ошибусь, если отнесу его зарождение к годам московской деятельности Новикова, к этому *новиковскому десятилетию* (1779—1789). Типографщик, издатель, книгопродавец, журналист, историк литерату-

ры, школьный попечитель, филантроп, Новиков на всех этих поприщах оставался одним и тем же — сеятелем просвещения.

Это новиковское десятилетие — одна из лучших эпох и в истории Московского университета. В тот год, когда Новиков взял в аренду университетскую типографию, этот университет доживал свое первое двадцатипятилетие. Но он еще не успел закончить своего обзаведения: были аудитории и кафедры, профессора и студенты, была обстановка и личный состав науки, но сама наука с трудом пробивалась сквозь то и другое, не успела еще обжиться на новоселье. Число студентов в иные годы не доходило и до сотни; иногда на всем юридическом, как и на всем медицинском факультете, оставалось по одному студенту и по одному профессору, который читал все науки своего факультета; студенты занимались в университете не более 100 дней в году; родной речи почти не слышно было с кафедр; люди хорошего общества еще побаивались пускать в университет своих сыновей; благовоспитанность не всегда примечалась и порой как будто даже совсем отсутствовала. У Новикова литературная и издательская деятельность еще в Петербурге неразрывно соединялась с педагогической и благотворительной: с кружком тамошних друзей он основал два училища для бедных детей и сирот и в пользу этих школ назначил выручку от издававшегося им журнала *Утренний Свет*. Московский кружок по господствовавшему в нем направлению умов мог только усилить и расширить деятельность, начатую Новиковым в Петербурге. Главным дельцом по воспитательной части стал, разумеется, Шварц. Подготовка учителей было настоятельнейшею потребностью русского просвещения. Став профессором в 1779 г. и по поручению университета составляя учебники и проекты об улучшении преподавания, Шварц набрал у своих друзей пожертвований, присоединил к ним 5 тыс. руб. своих кровных сбережений и в конце того же года открыл при университете *учительскую семинарию*, в которой стал инспектором и начал преподавать педагогику. Так началась деятельность открывшегося позднее «Дружеского учебного общества», которое чрез епархиальных архиереев стало вызывать из духовно-учебных заведений лучших учеников, чтобы готовить их на свой счет к учительскому поприщу в университетской семинарии. Через 3 года в этой семинарии было уже до 30 стипендиатов, на содержание которых общество давало по 100 руб. на че-

ловека, купив притом дом для их помещения; в числе их находились два будущие с.-петербургские митрополита: Михаил и Серафим. Задумав переводить и издавать лучшие иностранные сочинения и желая заготовить себе хороших переводчиков, в которых чувствовался крайний недостаток, «Дружеское общество» по мысли Шварца в 1782 г. учредило при университете другую семинарию, *переводческую*, или *филологическую*, в которую приняло 16 студентов; из них шестеро переведенных из духовных семинарий содержались на средства уже известного нам Татищева, остальные — на счет других членов кружка. Лучших своих питомцев «Дружеское общество» посылало для довершения образования за границу. Заботы общества распространялись на всех студентов: им подыскивали занятия, заказывали литературные работы, переводы и статьи для изданий общества. Студенты, преимущественно питомцы общества, были сотрудниками и даже руководителями периодических изданий Новикова — *Вечерней Зари* 1782 г. и *Покоящегося Трудюлюбца* 1784 г. Неугомонный педагог общества не ограничивался этим: ему хотелось снабдить выходящего из университета студента возможно обильнейшим запасом надобного в пути багажа. Сверх лекций в университетской аудитории об эстетической критике он читал еще у себя на дому приватный курс о видах познания и особый курс «философской истории» для семинаристов Общества, к которым присоединялись и посторонние слушатели «всякого рода и звания», по выражению одного из них, так что эти домашние лекции превращались сами собой в публичные курсы. Их цель обнаруживалась в их действии: они противодействовали вольнодумству. В этом направлении, может быть, наиболее сильное влияние имело на студентов устроенное Шварцем *Собрание университетских питомцев*. Это было если не первое, то, наверное, второе в России общество, составленное из учащейся молодежи. Это студенческое общество имело целью образование ума и вкуса своих членов, их нравственное усовершенствование, упражнение в человеколюбивых подвигах. Студенты на заседаниях читали и обсуждали свои литературные опыты, произносили речи на моральные темы, задумывали издания с благотворительною целью. Все это, конечно, было молодо, суетливо, немножко нервозно; молодежь больше чувствовала, чем познавала науку. Но по-тогдашнему и это разве было мало? В штатных лампах науки, прежде больше декорировавших, чем

освещавших университетские стены, что-то затеплилось: дайте срок — они разгорятся. Среди студентов стали зарождаться нравственная товарищеская солидарность, склонность к размышлению, некоторый навык самонаблюдения и та способность загораться от идей, которая, как фонарь впотьмах, предшествует исканию истины. Трудно проследить поприща, по которым рассыпались питомцы «Дружеского общества», как трудно уследить, куда попадали книги, которые оно рассеивало. Известно, что оно дало Московскому университету одного директора (т. е. ректора) и пять профессоров.

Так кружок Новикова стал посредником, через которого завязалось тесное нравственное общение между московским обществом и Московским университетом. Эта связь не прервалась с исчезновением связующего звена, поддерживаемая взаимным нравственным тяготением и обоюдными научными услугами. Общество дало университету несколько профессоров, ожививших университетское преподавание. Университет, с своей стороны, немного позднее воспитал в своих аудиториях профессоров, ожививших общественную мысль и не раз собиравших московское общество на студенческих скамьях. Нет нужды напоминать всем памятные имена их. Кажется, университет не остался в долгу перед обществом. Да и зачем им сводить счета между собою? Ведь они оба будут тем богаче, чем больше задолжают друг другу.



**РЕЧЬ, ПРОИЗНЕСЕННАЯ В ТОРЖЕСТВЕННОМ
СОБРАНИИ МОСКОВСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА 6 ИЮНЯ 1880 г.
В ДЕНЬ ОТКРЫТИЯ ПАМЯТНИКА ПУШКИНУ**

Значение Пушкина не ограничивается его местом в истории того, что он сам считал собственно литературой, т. е. в истории литературы художественной. У него есть место и в более тесной литературной области: в его творчестве есть сторона специальная, но близкая всякому, для кого русское слово родное. Его творения представляют интерес и для русского историка.

Я разумею здесь не тот интерес, какой имеет для историка всякий памятник поэзии. В этом смысле вся поэтическая деятельность Пушкина принадлежит нашей истории. Пушкин отделен от нас целым поколением. Новый слой понятий и забот, ему неизвестных и чуждых его времени, образовался над его могилой. Он был свидетелем стремлений и отношений, от которых уже далеко отодвинулись мы. Художественная красота его произведений приучила нас с любовью повторять то, чего мы уже не разделяем, эстетически любоваться даже тем, чему мы не сочувствуем нравственно; в стихе, лучше которого мы не знаем доселе, подчас звучат воззрения, которые для нас — общественная или нравственная археология. С этой стороны все написанное Пушкиным — исторический документ, длинный ряд его произведений — поэтическая летопись его времени.

И сам Пушкин — уже вполне историческое явление, представитель исчезнувшего порядка идей, хотя исполнения некоторых его благих чаяний мы ждем доселе. Мы изучаем его так же, как изучаем людей XVIII и XVII вв. Независимо от своего таланта для нас он наиболее выразительный образ известной эпохи. Самые недо-

статки его имеют для нас не столько биографический, сколько исторический интерес. Мы ошибемся в цене его современников, если забудем, сколько сил этого велико-лепного таланта потрачено было на ветер, на детские игрушки для взрослых. Пушкин имел печальное право более всех, говоря словами другого поэта, благодарить свое время

За жар души, растрченный в пустыне.

Без Пушкина нельзя представить себе эпохи 20-х и 30-х годов, как нельзя без его произведений написать истории первой половины нашего века. При каком угодно взгляде на Пушкина, на значение его поэзии за ним останется страница в нашей истории.

Но его нельзя обойти и в нашей историографии, хотя он не был историком по ремеслу — ни по призванию, прибавят, может быть, иные. Вернее, он только мало знал отечественную историю, хотя и не меньше большинства образованных русских своего времени. Но он живее их чувствовал этот недостаток и гораздо более их размышлял о том, что знал. Из его заметок и журнальных статей видим, какое сильное впечатление произвел на него исторический труд Карамзина, как он следил за современной исторической письменностью. По мере созревания его мысли и таланта усиливалась и его историческая любознательность. В последние годы, как известно, он много занимался родной стариной даже в архивах. Он иногда обращался к русскому прошедшему, чтобы найти материал для поэтического творчества, взять фабулу для поэтического создания. Но я хочу сказать не об этих пьесах. *Борис Годунов, Полтава, Медный Всадник* — читая их, мы готовы забыть, что это исторические сюжеты: эстетическое наслаждение оставляет здесь слишком мало места для исторической критики.

Иное значение имело для Пушкина ближайшее к нему столетие. Он вырос среди живых преданий и свежих легенд XVIII в. Екатерининские люди и дела стояли к нему ближе, чем он сам стоит к нам. Там он угадывал зарождение понятий, интересов и типов, которыми дорожил особенно или которые встречал постоянно вокруг себя. Об этом веке он заботливо собирал сведения и знал много. Он мог рассказать о нем гораздо больше того, что занес в свои записки, заметки, анекдоты и т. п. Иногда он облакал явления этого времени в художественную форму повести или романа. Во всем этом нет следов про-

должительного и систематического изучения. Но здесь рядом с поспешными суждениями встречаем замечания, которые сделали бы честь любому ученому историку. Наша историография ничего не выиграла ни в правдивости, ни в занимательности, долго развивая взгляд на наш XVIII в., противоположный высказанному Пушкиным в одной кишиневской заметке 1821 г. Сам поэт не придавал серьезного значения этим отрывочным, мимоходом набросанным или неоконченным вещам. Но эти-то вещи и имеют серьезную цену для историографии. Пушкин был историком там, где не думал быть им и где часто не удается стать им настоящему историку. *Капитанская дочка* была написана между делом, среди работ над пугачевщиной, но в ней больше истории, чем в *Истории пугачевского бунта*, которая кажется длинным объяснительным примечанием к роману. Я хочу напомнить об историческом интересе, который заставляет читать и перечитывать эти второстепенные пьесы Пушкина.

Наш XVIII век гораздо труднее своих предшественников для изучения. Главная причина тому — большая сложность жизни. Общество заметно пестреет. Вместе с социальным разделением увеличивается в нем и разнообразие культурных слоев, типов. Люди становятся менее похожи друг на друга, по мере того как делаются неравноправнее. Воспроизвести процесс этого нравственного разделения гораздо труднее, чем разделения политического. С половины века выступают рядом образчики типов разнохарактерного и разновременного происхождения. Чем далее, тем классификация их становится труднее. Часто недоумеваешь, к какой эпохе приурочить зарождение того или другого из них, в каком порядке разложить их по историческим витринам.

Между этими типами есть один — может быть, самое своеобразное явление общественной физиологии. Он зародился лет 200 назад и, вероятно, долго проживет после нас. Ему трудно дать простое и точное название: в разные поколения он являлся в чрезвычайно разнообразных формах. Достаточно указать на два имени в его генеалогии, чтобы видеть степень его изменчивости. Едва ли не первым блестящим образчиком этого типа был администратор и дипломат XVII в. А. Л. Ордин-Нащокин. Но скучающий от безделья Евгений Онегин был в прямой нисходящей поэтическим потомком этого исторического дельца. Дадим этому типу имя сложное, как и он

сам. Это русский человек, который вырос в убеждении, что он родился не европейцем, но обязан стать им. Вот уже 200 лет этот тип господствует над остальными и по влиянию на наше общество, и по своему интересу для историка. Без его биографии пустеет история нашего общества последних двух столетий. Около него сосредотачиваются, иногда от него исходят самые важные умственные, а подчас и политические движения.

При всей видимой изменчивости основные черты типа остаются одни и те же во всех фазах его развития. Следя за ними, удивляешься не тому, что отцы и дети выходят так непохожи друг на друга, а тому, что столь непохожие друг на друга люди — все-таки отцы и дети. Разнообразие видов одного типа происходит от различных способов решения культурного вопроса, который лежит в самой его сущности: родившись русским и решив, что русский не европеец, как сделаться европейцем? Первое поколение этого типа вообще склонялось к той мысли, что все русское надобно делать по-западноевропейски. Второе — уже думало, что все русское хорошо было бы переделать в западноевропейское. Чувствуя свое невежество, иногда находили, что надобно заимствовать с Запада свет знания, но без огня, которым можно обжечься; а в другое время брала верх уверенность, что можно взять этот свет целиком, только не следует подносить его близко к глазам. чтобы не обжечься. Далее, одни думали, что можно стать европейцем, оставаясь русским; другие настаивали, что необходимо для этого перестать быть русским, что вся тайна европеизации для нас заключается в совлечении с себя всего национального. Существовало даже убеждение, не лишнее остроумия и, может быть, существует доселе, что если человечность наша себе высшее выражение в европеизме, то надобно иметь в себе возможно меньше западноевропейского, чтобы стать европейцем. Что еще замечательнее, это убеждение едва ли не первые начали высказывать у нас русские с западноевропейскими фамилиями.

Вы видите, милостивые государи, что этот тип нельзя упрекнуть в упрямстве и застое: в нем, напротив, слишком много нравственной гибкости и умственного движения. Все это затрудняет его историческое изучение, научную классификацию его разновидностей. Пушкин интересовался этим типом и любил некоторые его явления. Он и сам представлял одну из его разновидностей, даровитую, восприимчивую, блестящую. Его на-

блюдал он вокруг себя и из этих наблюдений создал свою эпопею Евгения Онегина. Сознательно или нет, на разновременных вариантах того же с особенной любовью останавливался он и в преданиях прошедшего. Этим он и помог много историку в изучении любопытного типа. В длинном ряду эскизов и повестей, оконченных и неоконченных: в *Арапе Петра Великого*, в *Дубровском*, в *Капитанской дочке* и др., перед читателем проходят разнохарактерные фигуры этого типа, появившиеся на пространстве слишком ста лет. Надеюсь, вы охотно позволите мне ограничиться простым хронологическим каталогом этих не лишенных занимательности физиономий.

Позади их всех стоит чопорный Гаврила Афанасьевич Р. в *Арапе Петра Великого*. Это невольный, зачисленный в европейцы по указу русский. Все его понятия и симпатии принадлежат еще старой, неевропейской России, хотя он не прочь послужить на новой службе и сделать карьеру. Это еще не тип европеизированного русского, а скорее русская гримаса европеизации, первая и кислая. Вкус новой культуры еще не привился, но это вопрос недолгого времени. Сам *арап* Ибрагим, к сожалению, остался недорисованным в неоконченной повести. Можно только догадываться по некоторым штрихам, что из него имел выйти один из петровских дельцов — людей, хорошо нам знакомых по Нартовым, Неплюевым и др. Это характеры резкие и жесткие, но хрупкие по недостатку гибкости и потому неживучие: они вымирали уже при Екатерине II. Зато живуч был общественно-физиологический вид, представленный в лице молодого К., Ибрагимова товарища по курсу высшей европеизации в парижских салонах. Это русский пети-метр XVIII в., великосветский русский шалопай на европейскую ногу, «скоморох», по выражению старого князя Лыкова в *Арапе*, или «обезьяна, да не здешняя», как назван он в одной комедии Сумарокова. В *Арапе Петра Великого* он еще не на своем месте, не в пору вернулся из-за моря и испытывает неудобства рано прилетевшей ласточки. Полная весна наступит для него в женские эпохи, при двух Аннах, двух Екатеринах и одной Елизавете. При Петре ему холодно и неловко в его нарядном кафтане среди деловых людей, которые скидали рабочие куртки только по праздникам. Со временем он будет нужным и важным человеком в праздном обществе; теперь он шут поневоле, и Петр колет ему глаза его бар-

хатными штанами, каких не носит и царь. Троекуров в *Дубровском* — постаревший петиметр в отставке, приехавший в деревню дурить на досуге. У младших петровских дельцов часто бывали такие дети. Живя в более распущенное время, они теряли знания и выдержку отцов, не теряя их appetitов и вкусов. Невежественный и грубый Троекуров, однако, старается дать дочери модное воспитание с гувернером французом и выдает замуж за самого модного барина. Троекуровы родились при Елизавете, процветали в столице, дурили по захоlustьям при Екатерине II, но посеяны они еще при Аннах. Это миниатюрные провинциальные пародии временщиков столицы, которых превосходно характеризовал граф Н. Панин, назвав «припадочными людьми». «Как увидишь его, Троекурова,— говорил местный дьячок,— страх и ужас! А спина-то сама так и гнется, так и гнется»... Особенно удался Пушкину в *Дубровском* князь Верейский, достойный зять Троекурова. Это — настоящее создание екатерининской эпохи, цветок, выросший на почве закона о вольности дворянства и обрызганный каплями росы вольтерьянского просвещения. Князь Верейский — едва ли не самый ранний экземпляр новой разновидности нашего типа, которая развилась очень быстро. Подобными ему людьми до скуки переполняется высшее русское общество с конца царствования Екатерины. За границей они растрчивали богатый дедовский и отцовский запас нервов и звонкой наличности и возвращались в Россию лечиться и платить долги. Князь Верейский *жил* за морем и, приехав *умирать* в Россию, напрасно пытался оживить угасшие силы и затеями сельской роскоши, и расцветшей на сельском приволье дочерью Троекурова. Он, иначе, тоньше редижированный Троекуров: его европеизированное варварство из острого и буйного троекуровского переродилось в тихое, меланхолическое, не под гуманизирующим влиянием Монтескье или Вольтера, а просто потому, что тесть привез в деревню из Петербурга мускулы и нервы, чего зять уже не привез из Парижа. Отсюда «непрестанная» скука князя Верейского, которая с его легкой руки стала непременной особенностью дальнейших видов этого типа. Дубровский-отец — лицо, любопытное по своей литературной судьбе. Это — любимое некомическое лицо нашей комедии XVIII в., ее Правдин, Стародум или как там еще оно называлось. Но оно никогда не удавалось ей. Это потому, что екатерининская комедия хотела изобразить в нем

человека старого петровского покроя, а при Екатерине II такой покроей уже выводился. Пушкин отметил его вскользь, двумя-тремя чертами, и, однако, он вышел у него живее, правдивее, чем в комедии XVIII в. Дубровский-сын — другой полюс века и вместе его отрицание. В нем заметны уже черты мягкого, благородного, романтически протестующего и горько обманутого судьбой александровца, члена Союза Благоденствия¹. Среди образов XVIII в. не мог Пушкин не отметить и *недоросля* и отметил его беспристрастнее и правдивее Фонвизина. У последнего Митрофан сбивается в карикатуру, в комический анекдот. В исторической действительности недоросль — не карикатура и не анекдот, а самое простое и повседневное явление, к тому же не лишенное довольно почтенных качеств. Это самый обыкновенный, нормальный русский дворянин средней руки. Высшее дворянство находило себе приют в гвардии, у которой была своя политическая история в XVIII в., впрочем, более шумная, чем плодотворная. Скромнее была судьба наших Митрофанов. Они всегда учились понемногу, сквозь слезы при Петре I, со скукой при Екатерине II, не делали правительство, но решительно сделали нашу военную историю XVIII в. Это — пехотные армейские офицеры, и в этом чине они протопали славный путь от Кунерсдорфа до Рымника и до Нови. Они с русскими солдатами вынесли на своих плечах дорогие лавры Минихов, Румянцевых и Суворовых. Пушкин отметил два вида недоросля или, точнее, два момента его истории: один является в Петре Андреевиче Гриневе, невольном приятеле Пугачева, другой — в наивном беллетристе и летописце села Горюхина Иване Петровиче Белкине, уже человеке XIX в., «времен новейших Митрофане». К обоим Пушкин отнесся с сочувствием. Недаром и капитанская дочь М. И. Миронова предпочла добродушного армейца Гриневу остроумному и знакомому с французской литературой гвардейцу Швабрину. Историк XVIII в. остается одобрить и сочувствие Пушкина и вкус Марьи Ивановны.

Такова у Пушкина коллекция художественно-исторических портретов, которые все изображают один и тот же тип в его видоизменениях. Ряд их замыкается современником поэта — Е. Онегиным. Герой особого рода, но, однако, сродни своим предшественникам: и Троекуров, и Верейский, и Митрофаны всех сортов — все они прямые или боковые его предки. Онегин — лицо, столько же историческое, сколько поэтическое. Мы все читали

сочинения и записки людей, чаявших обновления России после войн за освобождение Европы. Припоминая читанное, мы знаем, чем *были* Онегины после 1815 г. Поэма Пушкина рассказывает, чем *стали* они после 1825 г. Это Чацкие, уставшие говорить и с разбитыми надеждами, а поэтому скучающие. Позже, у Лермонтова, они являются страдающими от скуки на горах Кавказа, как другие в то время страдали, хотя и не от одной скуки, за горами Урала.

Так, у Пушкина находим довольно связную летопись нашего общества в лицах за 100 лет с лишком. Когда эти лица рисовались, масса мемуаров XVIII в. и начала XIX в. лежала под спудом. В наши дни они выходят на свет. Читая их, можно дивиться верности глаза Пушкина. Мы узнаем здесь ближе людей того времени, но эти люди — знакомые уже нам фигуры. «Вот Гаврила Афанасьевич! — восклицаем мы, перелистывая эти мемуары, — а вот Троекуров, князь Верейский» — и т. д., до Онегина включительно. Пушкин не мемуарист и не историк, но для историка большая находка, когда между собой и мемуаристом он встречает художника. В этом значение Пушкина для нашей историографии, по крайней мере главное и ближайшее значение.



ПАМЯТИ А. С. ПУШКИНА

Для чего мы празднуем юбилейные годовщины великих деятелей нашего прошлого? Не для того ли, чтобы питать национальную гордость воспоминаниями о своих великих поколениях? Едва ли. Национальная гордость — культурный стимул, без которого не может обойтись человеческая культура. Национальное самомнение, как и национальное самоуничижение, — это только суррогаты народного самосознания. Надобно добиваться настоящего блага, истинного самосознания без участия столь сомнительных побуждений.

Самосознание — трудное и медленное дело, венчающее работу человека или народа над самим собой, и достигается разносторонними путями. Праздники в память людей, двинувших или облегчивших эту работу, — минутные остановки, чтобы осмотреться, перевести дух, оглянуться на пережитое, сосчитать прожитые годы. Так в пути оглядываются назад, чтобы по выдающимся пунктам сообразить пройденное расстяжение и проверить направление.

Великие деятельности — проверочные моменты народной жизни. Каким-то трудно уловимым процессом общения лица с окружающей средой в них собираются мелкие, раздробленные интересы и стремления и действием личного творчества перерабатываются в цельное и крупное дело, которое в одно и то же время и вскрывает запас нажитых обществом сил и средств, и предрекает их дальнейшее развитие. Такие деятельности — и показатели народного роста, и указатели направления его жизни. В них, как в зеркале, мы видим самих себя, сквозь

них всматриваемся в собственную душу; они объясняют нам нас самих. Великие исторические могилы тем и памятни, что оживляют народное самосознание.

На протяжении двух последних столетий нашей истории были две эпохи, решительно важные в движении русского самосознания. Они ознаменованы деятельностью двух лиц, работавших на очень далеких одно от другого поприщах, но тесно связанных логикой исторической жизни. Один из этих деятелей был император, другой— поэт. *Полтава* и *Медный Всадник* образуют поэтическую близость между ними.

Древняя Русь, целые века изнывая в изнурительной борьбе с восточным варварством, оторванная этой борьбой от живого общения с образованным Западом, из доступного домашнего материала и домашними средствами с трудом сколотила невзрачное, тяжелое, но прочное государство. В ней скрывались богатые материальные средства, которых она не умела найти и разработать, а силы духовные росли кое-как, без надлежащего призора и ухода, не зная сами себя. Петр Великий разглядел те и другие и начал с первых, мощными мозолистыми руками взрыл это, как он говорил, божие благословение, втуне под землю скрывающееся, призвав на помощь техническое знание Запада, и трудным ломаным путем из Москвы через Полтаву, Гангут и Ништадт вдвинул Россию в семью европейских держав и народов. С той минуты Европа была объединена и закончена, впервые стала цельной и сплоченной, Западно-Восточной Европой. Оплакивая смерть своего преобразователя, и Россия впервые почувствовала сквозь слезы свою столь неожиданно и быстро создавшуюся международную и политическую мощь. Это было чувство ей непривычное и незнакомое; оно и было первым движением пробуждавшегося народного самосознания. Но силы духовные все еще оставались как бы в забытьи, в привычном коснении, да и новая материальная работа, грозно заданная народу, мало помогала их возбуждению. Петр трогал их мимоходом, отдельными толчками, вызывая в лучших умах первые проблески русской политической мысли, а в массе — крики боли, выражавшиеся в заговорах, в протестующих подпольных памфлетах и темных толках про антихриста и близкую кончину мира. Конечно, и они, эти силы, не были совсем безучастны в работе Петра: они сказывались в политической выносливости, с какою народ, несмотря на свое чувство боли и эти протесты, отдавал все, и труд, и достояние, и

жизнь, на пользу государства. Но преждевременно оторванный от своего дела, Петр завещал дальнейшим поколениям средство доверить его, оставил своему народу ключ, которым можно было бы разомкнуть сковывавшие его дух цепи,— насажденную им науку.

И ключ понадобился скоро. Один русский писатель недавнего прошлого хорошо сказал, что Петр своей реформой сделал вызов России, ее гению, и Россия ответила ему.

Но ответ дан был не сразу: и Пушкин исторически подготавливался; между ним и Петром легло три поколения. На призыв, раздавшийся с престола, прежде всего откликнулся человек с самого низа общества и откликнулся так, что преобразователь из глубины своей петропавловской гробницы был вправе воскликнуть: *ныне отпускаеши*. Холмогорский крестьянский сын, отведав московской славяно-греко-латинской, а потом марбургской немецкой науки, внес первое русское и очень крупное имя в историю европейского научного знания. Потом в неширокий еще поток русского просвещения введена была тонкая, но довольно энергическая струйка вроде электрического тока. Петр брал с Запада, что находил пригодным для России в самой его жизни, брал готовое, бытовое, практически испробованное — парики, кафтаны, машины, мастерства, учебники, государственные коллегии. Идеи и чувства, над которыми много нужно работать, чтобы переработать их в нравы, в житейские отношения, занимали его гораздо менее. Он и английский парламент понял и оценил именно с этой практической стороны: на одном заседании в присутствии короля, наслушавшись речей оппозиции, Петр сказал своим: «Весело слушать, когда сыны отечества открыто говорят королю правду; вот чему должно у англичан учиться». Екатерина II поступала иначе: брезгая как философ исторической действительностью, не желая марасть рук не всегда опрятной практикой западноевропейской жизни, она брала оттуда прямо идеалы, последние лучшие слова западноевропейской мысли, которые и на родине-то казались светлыми и несбыточными мечтами. Уровень русской жизни не поднялся, но Екатерина добилаь некоторого подъема русских умов. С той поры над нашей доморощенной действительностью стала парить идея, чуждая, заимствованная идея, но все же служившая путеводной звездой для тех, кто из родной мглы искал выхода к вифлеемскому свету.

Я не скажу фразы, если скажу, что поэзия Пушкина была подготовлена последовательными усилиями двух эпох — Петр I и Екатерина II. Целый век нашей истории работал, чтобы сделать русскую жизнь способной к такому проявлению русского художественного гения. Что сказало в этой поэзии? До сих пор она не перестает изумлять разнообразием своих мотивов: здесь и детская сказочка, и детская песенка про птичку божью, и знобящий душу анализ скупого рыцарского сердца перед раскрытыми сундуками с золотом, и *Брожу ли я вдоль улиц шумных*, и *Безумных лет угасшее веселье*, и разгулье удалое, и злые речи Мефистофеля, и священный ужас поэта, внимающего кроткому поэтическому укору московского митрополита, и озаренная теплым светом холодная пустыня скупающей души великосветского бродяги, и «горный ангелов полет, и гад морских подземный ход, и дольней лозы прозябанье».

Пушкин не был поэтом какого-либо одинокого чувства или настроения, даже целого порядка однородных чувств и настроений: пришлось бы перебрать весь состав души человеческой, перечисляя мотивы его поэзии. Недаром муза еще в младенчестве вручила ему семитольную цевницу, способную на семь ладов петь и «гимны важные, внушенные богами, и песни мирные фригийских пастухов». Перечитывая его лирические пьесы в хронологическом порядке, испытываешь какую-то ободряющую поэтическую качку от этой быстрой смены несходных чувств и образов, где летучей очередью в стройном разнозвучии проносятся и скучно-грустные впечатления зимней дороги под звуки длинной разгульно-тоскливой песни ямщика, и исполненное светлых надежд послание в Сибирь декабрьским заточникам, и шаловливый альбомный комплимент, и высокое призвание поэта в величавом образе библейского пророка, а рядом в *Поэте* так жизненно-просто объяснены и самые эти кажущиеся столь своенравными переходы от низменной сцены малодушных состояний к вдохновенным подъемам свыше призванного духа. Это необъятное протяжение поэтического голоса, дававшее ему силу «владеть и смехом и слезами», еще расширялось необычайной восприимчивостью и гибкостью поэтического понимания, умением проникать в самые разнообразные людские положения, вживаться в чужую душу, всевозможные мирозверцания и настроения, в дух самых отдаленных друг от

друга веков и самых несродных один другому народов, воспроизводить и коран и Анакреона, и Шенье и Парни, и Байрона и Данте¹, и рыцарские времена и песни западных славян, и волшебные сказания старинной русской былины и темную эпоху Бориса Годунова, и не остывшие еще предания пугачевской и помещичьей старины. И из этого плавного и мирного потока впечатлений складывается в воображении образ поэта, который не живет, а горит, постепенно разгораясь ровным и сильным пламенем, сжигая нечистую примесь возраста и времени и в себе самом переплавляя в образы и звуки разнообразнейшие движения человеческой души, великие и малые явления человеческой жизни.

Да в поэзии Пушкина и нет ни великого, ни малого: все уравнивается, становясь прекрасным, и стройно укладывается в цельное мирозерцание, в бодрое настроение. Простенький вид и величественная картина природы, скромное житейское положение и трагический момент, самое незатейливое ежедневное чувство и редкий порыв человеческого духа — все это выходит у Пушкина реально-точно и жизненно-просто и все освещено каким-то внутренним светом, мягким и теплым. Источник этого света — особый взгляд на жизнь, вечно бодрый, светлый и примирительный, умеющий разглядеть затерявшиеся в житейской сумятице едва тлеющие искры добра и порядка и ими осветить темный смысл людских зол и недоразумений. Как сложился, откуда внушен этот взгляд? Конечно, прежде всего усилиями счастливо одаренного личного духа, стремящегося проникнуть в затемняемый житейскими противоречиями смысл жизни. Вспомните, как Пушкин ночью, в часы бессонницы, тревожимый «жизни мышью беготней», вслушиваясь в ее скучный шепот, силился понять ее смысл и учил ее темный язык. Но неуловимы источники и способы поэтического понимания, умеющего и вокруг себя подметить незаметное для простого глаза, рассеянные там и сям проблески разума жизни и собрать их в светоч, способный осветить темные пути и цели нашего существования. Тот же взгляд просвечивает из глубины русского народного мышления и чувствования, в наших песнях и пословицах, в ходе истории нашего народа, в основе всего его бытового склада. Заглянув пристально в самого себя, каждый из нас найдет его и в основе своего личного настроения, не мимолетного, случайно набегающего, а того постоянного настроения, которым определяются направление и темп жизни каждого

из нас. Вникните в него еще поглубже, разберите мотивы поддерживаемого им настроения, и вы увидите, что они даже не специфически русские, национальные, а общечеловеческие мотивы общежития. Да разве это чье-либо национальное дело или монополия каких-либо избранных поколений, а не всегдашняя и общая задача человеческого духа — внести нравственный порядок в анархию людских этношений, как некогда творческое слово вызвало зримый нами космос из мирового хаоса?

Поэзия Пушкина — русский народный отзвук этой общечеловеческой работы. Общечеловеческим ее содержанием и направлением измеряется и ее значение для нашего национального самосознания. Она впервые показала нам, как русский дух, развернувшись во всю ширь и поднявшись полным взмахом, попытался овладеть всем поэтическим содержанием мировой жизни, и восточным и западным, и античным и библейским, и славянским и русским. Этой широтой поэтического захвата она дала нам почувствовать, какие нетронутые силы таятся в глубине выросшего ее народного духа, ожидая своего призыва на общечеловеческое дело. Вместе с тем она приподняла настроение, повысила тон жизни русского читающего общества, дав столько новой изящной пищи сердцу и воображению, необъятно расширила наш поэтический кругозор, обогатив наш духовный обиход таким запасом отовсюду собранных чувств, впечатлений и образов, разновременных и разнородных картин и воспоминаний, облеченных в небывалые по совершенству литературные формы. Русский читатель более прежнего стал любить свой язык, ценить свою словесность, чтить своего писателя, наконец, уважать самого себя и свое отечество; за многое привычное в русской жизни ему стало теперь стыдно, иное стало казаться нетерпимым, другое обязательным, если не по чувству нравственного долга, то хотя из приличия. Литература перестала быть развлечением для скучающих, стала серьезным, ответственным делом, убежищем и органом мыслящих людей. Но что еще важнее для нашего самосознания: если через поэзию Пушкина мы стали лучше понимать чужое и серьезнее смотреть на свое, то через нее же мы сами стали понятнее и себе самим и чужим. В тоне и настроении этой поэзии, в свойстве и сочетании основных мотивов, ее вдохновлявших, во взгляде поэта на жизнь, во всем складе его мирозерцания впервые обозначился духовный облик русского чело-

века. В одной пьесе Пушкин сам назвал свой поэтический голос эхом русского народа. Но он видел народность писателя не в особенностях языка, не в выборе предметов из отечественной истории, а в особом образе мыслей и чувствований, принадлежащем исключительно какому-либо народу, в его особенной физиономии, создавшейся физическими и нравственными условиями его жизни и отражающейся в его поэзии. Вот эта физиономия русского народа с его образом мыслей и чувствований и отразилась образно и внятно в поэзии Пушкина. Это, как и сама эта поэзия, народ восприимчивый и наблюдательный, с трезвым и бодрым взглядом на жизнь, терпеливый и исполненный терпимости, чуждый сомнений и непритязательный, благодарный судьбе за радость и за горе, умеющий ценить хорошее чужое и шутить над дурным своим, простодушно и задушевно отзывчивый на все человеческое, незлопамятный и осторожный, мирный и примирительный.

В *Медном Всаднике*, помните, есть два стиха с вопросами, обращенными к гиганту, который «с простертою рукою сидит на бронзовом коне»:

Какая дума на челе?
Какая сила в нем сокрыта?

Сто лет спустя после рождения Пушкина мы можем ответить на эти вопросы. Дума на челе,—разумеется, о будущем России, а сокрытая в нем сила сказалась в том, что он овладел народной массой, похожей на ту бесформенную скалу, на которой остановился его бронзовый конь, и державно простертою рукою начал над ней свою преобразовательную работу. Та же сила сказалась еще в том, что русский поэт, ставший возможным по мановению той же простертой руки, сквозь окружавшее его общество, о котором я ради памятного дня ничего не хочу сказать, кроме того, что ему, право, было бы не грешно и не трудно быть немного получше,—сквозь это общество первый прозрел в народной массе тот облик народа, который и отпечатлел в своей поэзии. Этим он преудкал задачу и дальнейшим поколениям: точно запечатлев в своем самосознании образ своего народа, провиденный поэтом, мы и наши потомки обязаны отделять от своего народного существа все лишнее, как случайный нарост, пока не предстанет пред миром и русский народ с тем об-

ликом, который провиден поэтом. Тогда и исполнится то, о чем некогда мечтал Пушкин вместе с Мицкевичем², тогда еще «мирным, благосклонным»

«...о временах грядущих,
Когда народы, распри позабыв,
В великую семью соединятся»...

В этой мирной семье народов под знаменем Петра **Великого** и займет свое место мирный русский **народ**.



ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН И ЕГО ПРЕДКИ

День памяти Пушкина — день воспоминаний. Я начну с воспоминаний о себе самом.

Я родился не много лет спустя по смерти Пушкина. Но, пока я и мои сверстники, получившие одинаковое со мною воспитание, пока мы были юны, Пушкин не переставал быть нашим современником. Мы не спрашивали, жив ли Пушкин. Мы знали, что он живет и будет жить, и это было для нас так же ясно и просто, как то, что небо синее и будет синеть. Когда нам говорили, что он умер, что его давно нет, в этих словах нам чужалось что-то нескладное, похожее на неудачную риторическую фигуру.

В те годы мы читали и перечитывали *Евгения Онегина*. Теперь, после стольких лет и стольких житейских впечатлений, свеявших ощущение молодости, трудно припомнить и еще труднее рассказать, чем был для нас этот роман лет 30 назад. Одно можно сказать с уверенностью, что мы отнеслись к нему, как не относились современники Пушкина и как едва ли относится к нему молодое поколение, несколько лет назад теснившееся при открытии московского памятника Пушкину. При жизни Пушкина *Евгений Онегин* был предметом критики или удивления как крупная литературная новость. Теперь он просто предмет изучения как историко-литературный памятник. Для нас он не был ни тем, ни другим: мы не разбирали его, как разбирали тогда новые повести Тургенева, но мы и не комментировали его, как *Слово о полку Игореве* или *Недоросля*. Он не был для нас только роман в стихах, случайное и мимолетное литературное впечатление; это было событие нашей молодости,

наша биографическая черта, перелом развития, как выход из школы или первая любовь. При первом чтении мы беззащитно отдавались обаянию стиха, описаний природы, задушевности лирических отступлений, любовались подробностями, составлявшими декорации драмы, разыгранной в романе, не обращая особого внимания на самую драму. Потом, перечитывая роман, мы стали вдумываться и в эту драму, в ее несложную фабулу и трагическую развязку, задавать себе вопросы и из ответов на них извлекать житейские правила. Мы горько упрекали *Онегина*, зачем он убил Ленского, хотя не вполне понимали, из-за чего Ленский вызвал Онегина. Каждый из нас давал себе слово не отвергать так холодно любви девушки, которая его так полюбит, как Татьяна любила Онегина, и особенно, если напишет ему такое же хорошее письмо. Читая *Онегина*, мы впервые учились наблюдать и понимать житейские явления, формулировать свои неясные чувства, разбираться в беспорядочных порывах и стремлениях. Это был для нас первый житейский учебник, который мы робкою рукой начинали листовать, доучивая свои школьные учебники; он послужил нам «дрожущим гибельным мостком», по которому мы переходили через кипучий темный поток, отделявший наши школьные уроки от первых житейских опытов. Может быть, такое отношение к роману было педагогическим недосмотром наших воспитателей или нашим эстетическим пороком; может быть, это было только преждевременным и излишним напряжением эстетического чувства, предохранившим нас от многих действительных пороков. Я этого не знаю; я только отмечаю факт, не ценя его, не произнося приговора над своею молодостью. Судите вы и, если угодно, осуждайте за это нас или наших воспитателей. А факт тот, что после 1837 г. воспиталось поколение, которое уже не застало Пушкина в живых и на нравственную физиономию которого его роман более, чем другие его произведения, положил особую, немножко сентиментальную складку. Было ли это нашим несчастьем или даром, незаслуженно нам доставшимся, на этот вопрос можно отвечать и так и этак, но в том и другом случае будет виновата случайность нашего рождения. Людям, родившимся годами 10—15 раньше нас, приходилось читать этот роман среди неумолкнувших еще споров о Пушкине. Молодежь, которая принималась за *Онегина* немного позднее нас, читала его под действием иных, нелитературных веяний, которые были прине-

сены новым течением, обнаружившимся в нашем обществе с половины 1850-х годов. Мы попали, так сказать, в литературное затишье, начали читать *Онегина*, когда э Пушкине вспоминали, но уже не спорили, а новые влияния еще не успели донестись до школьных скамеек, на которых мы сидели.

Все это я счел не лишним припомнить и некоторым из присутствующих напомнить по поводу годовщины смерти Пушкина. Ведь мы собрались, чтобы оглянуться на полстолетие, протекшее с того времени, и вспомнить, чем был для нас этот поэт в это полстолетие. Жизнь поэта — только первая часть его биографии; другую и более важную часть составляет посмертная история его поэзии. Некто из людей, начавших сознавать себя раньше, чем многие и многие из вас начали дышать, и решился занести свою строчку в эту посмертную часть, отважился выступить из редющего уже ряда своих сверстников, чтобы сказать, чем был для него и для них Пушкин со своим романом.

Помню еще, что из действующих лиц романа всего менее задумывались мы в первое время над его героем. Мы не задавали себе вопроса, кто он, хороший или дурной человек, дельный или пустой малый. Он оставался для нас на каком-то туманном возвышении, с которого мы не сводили его в ряды простых людей, чтобы разглядеть, благовоспитанный ли он человек, удобный ли товарищ. Мы едва ли полюбили его, а наши сверстницы, наверное, не влюблялись в него, как влюбилась Татьяна. Но и мы и они любовались им: он оставался для нас поэтическим образом, в котором нам нравились самые недостатки, как становятся милы отдельные некрасивые черты на милом лице. Еще менее приходило нам в голову доискиваться, откуда и как попал он в русское общество. Этот «чужак печальный и опасный» проходил в нашем воображении приятным и таинственным незнакомцем, которого мы не догадывались спросить об адресе. Мы не настолько знали тогдашнее общество, чтоб угадать, на кого он похож. Притом мы так мало задумывались над отношением поэтического творчества к действительности, что нам нелегко было растолковать самый смысл вопроса, что это такое: поэтическая ли греза, переложенная в великолепные стихи, или портрет, срисованный с живого человека. Мы видели, что это несовременная нам быль: вокруг себя мы не замечали и не предполагали ничего подобного. Но мы чувствовали, что

это и не сказка, что герои этого романа существуют на Руси где-то и когда-то и даже в очень близкое к нам время.

Не успели миновать наши школьные годы, мы только что затвердили *Онегина*, как на нас легли два новые литературные впечатления, и такие глубокие, каких не оставляли в нас дальнейшие произведения русской литературы. Эти впечатления впервые и направили наши мысли на вопрос, что такое *Онегин*. Мы прочитали *Дворянское гнездо* и *Обломова*. Вы, может быть, с удивлением спросите: что общего между этими пьесами, кроме таланта? Я не помню, что говорила тогда литературная критика об этих произведениях, и не могу угадать, что думали и думают, читая их, молодые люди, здесь присутствующие. Но нам они показались двумя частями одной книги об умирающих. Обе пьесы — похоронные песни: в одной отпевался известный житейский порядок, в другой — общественный тип. С Лизой Калитиной, уходившей в монастырь, отрекались от мира чувства и отношения известной дворянской среды, жертвой которых была отшельница, в лице Обломова, кашляя и кряхтя, лез умирать на печку последний наиболее беспомощный питомец и представитель этих же чувств и отношений. В обоих произведениях, совсем не как в *Евгении Онегине*, наше внимание приковали к себе гораздо более главные лица, чем их драматические положения. Мы спрашивали себя, почему эти лица, способные внести много добра в общество, не ужились в нем; нам было прискорбно чувствовать, что эти лица исчезающие, что мы уже не встретим их двойников. Мы вспоминали своего старого незнакомца *Онегина*, и нам почему-то казалось, что и он, лицо менее приятное и менее обещающее, принадлежит к тому же порядку явлений. Это сходство возбуждало в нас недоумение. После уже, слушая, читая и изучая, мы узнали, что наш век — время ускоренной смены разнохарактерных, совсем не похожих друг на друга типов. Тогда, сопоставляя названные произведения с *Евгением Онегиным*, мы начали внимательнее разбирать его. Это не была критика романа. У нас по-прежнему не поднималась на него критическая рука; он не ветшал для нас, не отставал от нас, а шел вровень с нами, или, лучше сказать, время бесследно шло мимо него, как оно идет мимо нестареющих античных статуй. Мы разбирали не роман, а только его героя, и с удивлением заметили, что это вовсе не герой своего времени и сам поэт не думал изобразить его та-

ким. Он был чужой для общества, в котсром ему пришлось вращаться, и все у него выходило как-то нескладно, невовремя и некстати. «Забав и роскоши дитя» и сын промотавшегося отца, 18-летний философ с охлажденным умом и угасшим сердцем, он начал жить, т. е. жечь жизнь, когда следовало учиться; приниматься учиться, когда другие начинали действовать; устал, прежде чем принялся за работу; суетливо бездельничал в столице, лениво бездельничал и в деревне; из чванства не умел влюбиться, когда это было нужно, из чванства же поспешил влюбиться, когда это стало преступно; мимоходом, без цели и даже без злости убил своего приятеля; без цели поездил по России: от делать-ничего вернулся в столицу донашивать истощенные разнообразным бездельем силы. И здесь, наконец, сам поэт, не кончив повести, бросил его на одной из его житейских глупостей, недоумевая, как поступить дальше с таким бестолковым существованием. Добрые люди в деревенской глуши смирно сидели по местам, досиживая или только еще насиживая свои гнезда; налетел праздный пришлец из столицы, возмутил их покой, сбил их с гнезд и потом с отвращением и досадой на самого себя отвернулся от того, что наделал. Словом, из всех действующих лиц романа самое лишнее — это его герой. Тогда мы начали задумываться над вопросом, который поставил поэт не то от себя, не то от лица Татьяны:

Что ж он, ужели подражанье,
Ничтожный призрак иль еще
Москвич в Гарольдовом плаще,
Чужих причуд истолкованье,
Слов модных полный лексикон...

Мы начали изучать его. Метод изучения был нам подсказан самой Татьяной. Мы старались пробраться украдкой в кабинеты людей того времени, разобрать книги, которые они читали и которые читали их отцы, с оставленными на полях отметками крестами и вопросительными крючками. Изучая так *Онегина*, мы все более убеждались, что это — очень любопытное явление и прежде всего явление вымирающее. Припомните, что он «наследник всех своих родных», а такой наследник обыкновенно последний в роде. У него есть и черты подражания в манерах, и Гарольдов плащ на плечах, и полный лексикон модных слов на языке, но все это не существенные черты, а накладные прикрасы, белила и румяна, которыми прикрывались и замазывались значки беспотомственной смерти. Далее мы увидели, что это не столько тип, сколько

ко гримаса, не столько характер, сколько поза, и притом чрезвычайно неловкая и фальшивая, созданная целым рядом предшествовавших поз, все таких же неловких и фальшивых. Да, Онегин не был печальною случайностью, нечаянною ошибкой: у него была своя генеалогия, свои предки, которые наследственно из рода в род передавали приобретаемые ими умственные и нравственные вывихи и искривления. Если вы не боитесь скуки, если печальная годовщина, нас собравшая, располагает вас к терпеливым воспоминаниям о нашем прошлом, вы позволите неумелою рукой перелистовать перед вами эту родословную Онегина.

Всего усерднее прошу вас об одном: преемственно сменявшиеся положения, которые я отмечу, не принимайте за моменты нашей жизни, соответствующие известным поколениям. Нет, я разумею более исключительные явления. Это были неестественные позы, нервные, судорожные жесты, вызывавшиеся местными неловкостями общих положений. Эти неловкости чувствовались далеко не всеми, но жесты и мины тех, кто их чувствовал, были всем заметны, бросались всем в глаза, запоминались надолго, становились предметом художественного воспроизведения. Люди, которые испытывали эти неловкости, не были какие-либо особые люди, были как и все, но их физиономии и манеры не были похожи на общепринятые. Это были не герои времени, а только сильно подчеркнутые отдельные нумера, стоявшие в ряду других, общие места, напечатанные курсивом. Так как масса современников, усевшихся более или менее удобно, редко догадывалась о причине этих ненормальностей и считала их капризами отдельных лиц, не хотевших сидеть, как сидели все, то эти несчастные жертвы неудобных позиций слыли за чудаков, даже иногда «печальных и опасных». Между тем жизнь текла своим чередом; среда, из которой выделялись эти чудаки, сидела прямо и спокойно, как ее усаживала история. Поэтому я не введу вас в недоумение, когда буду говорить об отце, дяде и прадеде Онегина. Онегин — образ, в котором художественно воспроизведена местная неловкость одного из положений русского общества. Это не общий или господствующий тип времени, а типическое исключение. Разумеется, у такого образа могут быть только историко-генетические, а не генеалогические предки.

Явления, которые я отмечу, были все однородного словного происхождения: предки Онегина все принадле-

жали к старинному русскому дворянству. Неловкости общих положений, заставлявшие некоторых людей принимать ненормальные позы и необычную жестикуляцию, обыкновенно происходили от недосмотров и увлечений, какие допускались при постановке нового образования, водворявшегося у нас приблизительно с половины XVII в. Это новое образование шло к нам с Запада, как прежде пришло из Византии. Первым восприемником и проводником этого нового образования стало дворянство, как носителем и проводником старого было духовенство. Поспешность и нетерпеливость, с какими вводилось это образование, и были причинами некоторых неловкостей в преемственно сменявшихся общих положениях сословия. Но, повторяю, это были местные неловкости, и ненормальные явления, ими вызванные, не могут войти в общую историю этого почтенного и много послужившего отечеству сословия.

Прадеда нашего героя надобно искать во второй половине XVII в., около конца Алексеева царствования, в том промежуточном слое дворянских фамилий, который вечно колебался между столичною знатью и провинциальным рядовым дворянством. Отец этого прадеда, какой-нибудь Нелюб-Злобин, сын такой-то, был еще нетронутый служака вполне старого покроя: он из года в год ходил в походы посторожить какую-нибудь границу отечества с пятком вооруженных холопов, по временам получал неважные воеводства, чтоб умеренным кормом пополнить оскудевшие от походов животы, а на частых деловых его бумагах вместо его подписи ставилась пометка, что отец его духовный, поп Иван, в его, Нелюбово, место руку приложил, затем что он, Нелюб, грамоте не умеет. Его сына ждала менее торная дорога. За бойкость его с 15 лет зачислили в солдатский полк нового, иноземного строя под команду немецких офицеров, за понятливость взяли в подьячие, за любознательность отдали в Спасский монастырь, на Никольской в Москве, к ученому киевскому старцу «учиться по латиням». С кислою гримасой принимался он за «грамматичное ученье» и то твердил по ходячим в то время словаркам исковерканные и вавилонски перемешанные греческие и польско-латинские вокабулы, написанные русскими литератами: *ликос* — волк, *луппа* — волчица, *спириды* — лапти, *офира* — молебен, *ярепосит* — болярин, *нектар* — пиво; то в ужасе от мысли, что все это ляхо-латинская ересь, неистово рвал свою грамматику и бежал к туземным благочестивым старцам

каяться в соблазне, но, успокоенный батогами, снова принимался твердить: *онагр* — дикий осел, *претор* — губная изба, *фулцгур* — молния, *скандализи ме* — соблазняют мя. Киевский старец заставлял молодого подьячего читать переводные космографии¹, втушал ему католические мнения о пресуществлении св. даров и об исхождении св. духа, обучал его польской речи и искусству слагать хитрые вирши. Набожный выученик, успешно пробегаая служебный путь, старался сделать благочестивое употребление из усвоенного иноземного искусства и на досуге перелагал в неуклюжие вирши акафист пресвятой богородице² или церковные песнопения о страстях Христовых. Но время шло, разгоралась петровская реформа, и чиновного латиниста с его виршами и всею грамматичною мудростью назначили комиссаром для приема и отправки в армию солдатских сапог. Тут-то, разглядывая сапожные швы и подошвы и помня государеву дубинку, он впервые почувствовал себя неловко со своим грузом киевской учености и со вздохом спрашивал: зачем этот киевский нехай, учивший меня строчить вирши, не показал мне, как шьют кожаные солдатские спириды?

Дети этого меланхолического комиссара уже подпадали под действие закона 1714 г. об обязательном обучении дворянства, учились в цифирной школе местного архиерейского дома, женились, отцами семейств являлись на царские смотры дворянских недорослей и по разбору компаниями, покидая жен, отправлялись за море для науки под наблюдением комиссара с инструкцией, в которой за нерадение «рукою самого монарха писан престрашный гнев и безо всякие пощады превеликое бедство». Эти компании рассеивались по всем важным приморским городам Западной Европы: Амстердаму, Венеции, Марсели, Кадиксу и пр. В «заграничных академиях» их обучали математике, «экипажеству» и механике, наукам «философским и дохтурским», но особенно «мореходским и сухопутским», навигации, инженерству, артиллерии, «черчению мачтапов», боцманству, артикулу солдатскому, танцевать, на шпагах биться, на лошадях ездить. За границей русские навигаторы бегали с учебной службы, спасаясь в монастыри на Афонской горе, должны были посещали австерии и «редуты», т. е. игорные дома, дрались там и убивали один другого, а к родным в Россию слали письма, жалуясь на нищету и разлуку, на то, что наука определена им самая премудрая и хотя бы пришлось им все дни живота своего на тех науках себя

трудить, а все-таки им не выучиться; что они на разные науки ходят, да без дела сидят, потому что языков иностранных не понимают и «незнамо учиться языка, незнамо — науки». Навигаторы молили родных походатайствовать за них у кабинет-секретаря Макарова³ или у самого генерал-адмирала Апраксина взять их к Москве и определить хотя бы последними рядовыми солдатами или хотя бы в тех же европейских краях быть, но обучаться какой-нибудь науке сухопутной, только бы не мореходству. В числе этих навигаторов оказался, и даже не один, прямой наследник неудачи нашего сапожного комиссара, его собственный сын или чужой — это все равно. Поступив солдатом в гвардейский Преображенский полк, он учился в военной академии в Петербурге и во время второй беременности жены, в конце царствования преобразователя, был послан в Голландию, забежал перед отъездом к доброй императрице, которая «на всякую нужду» дала ему 5 червонных, около 100 руб. на наши деньги; в Амстердаме учился лучше многих и преимущественно дельным наукам, которые наиболее ценил преобразователь, даже рапортовал местному русскому послу, что отказывается от шпажного и танцевального ученья, «понеже оно к службе его величества угодно быть не может»; вернувшись в Петербург, успешно сдал экзамен членам адмиралтейской коллегии, определился к делам, служил усердно, чая воздаяния, и тут впервые заметил, что времена переменялись. Великого императора уже не было в живых. Навигацкие науки уступили место другим вкусам. В Петербурге высшее общество дорого платило немцу за то, что «в барабаны бил и на голове стоял», и наш навигатор, попав в общество своих сверстников, очутился между двух огней. Одни, после Петра заболевшие тоской по родной старине, встретили его насмешками и ругательствами за «европейский обычай», привезенный им из Голландии; другие, одержимые вожделением к новизне, преследовали его кличками неуча, деревенского мужика за недостаточный запас европейского обычая, им привезенный, за незнание модного катехизиса, которым вменялось благородному шляхтичу в обязанность то самое шпажное и танцевальное искусство, которое он считал бесполезным; предписывалось намерения свои скрывать, губ рукой не утирать, в сапогах не танцевать, встречному знакомому приятным образом шляпу снимать за три шага, ни ближе, ни дальше, и глядеть на него весело и приятно, с благообразным постоянством. К тому

же ближайшие сотрудники Петра скоро перегрызлись. На их места явились неведомые люди из Митавы и Германии, алчные, подозрительные и жестокие. От них пострадал и наш навигатор. Раз на святках он отказался нарядиться и вымазаться сажей. За это его на льду Невы раздели донага, нарядили чертом и в очень прохладном костюме заставили простоять на часах несколько часов; он захворал горячкой и чуть не умер. В другой раз за неосторожное слово про Бирона его послали в Тайную канцелярию к Ушакову⁴, который его пытал, бил кнутом, вывертывал ему лопатки, гладил по спине горячим утюгом, забивал под ногти раскаленные иглы и калеккой отпускал в деревню, где он при малейшем промахе дворовых выходил из себя и, топоча ногами, бесконечно повторял: «Ах вы растрепоганные, растреокаянные, непытанные, немученные и ненаказанные!» Впрочем, он был добрый барин, редко наказывал своих крепостных, читал вслух себе самому Квинта Курция *Жизнь Александра Македонского*⁵ в подлиннике, занимался астрономией, водил комнатную прислугу в красных ливреях и напудренных волосах; страдая бессонницей, с гусиным крылом в руке сам изгонял по ночам сатану из своего дома, окуривая ладаном и кропя святою водою нечистые места, где он мог приютиться, пел и читал в церкви на клиросе, дома ежедневно держал монашеское келейное правило, но дружно жил с женой, которая подарила ему 18 человек детей, и, наконец, на 86-м году умер от апоплексического удара. Однако привезенные им из Голландии математические и навигацкие познания остались без употребления. К русской действительности этот ученый русский служака стал как-то криво, нечаянно и больно ушибся головой об ее угол и без особенной пользы, хотя и без вреда, всю остальную жизнь коптил небо, созерцая звезды.

Отцы Онегиных начинали свое воспитание при императрице Елизавете, кончали его при Екатерине II и доживали свой век при Александре I. Их детство протекало под впечатлениями веселой светской жизни, получившей «свое основание» под покровом доброй и умной дочери Петра. То было время отдыха от ужасов бироновщины; тогда начал развиваться в обществе «тонкий вкус во всем и самая нежная любовь, подкрепляемая нежными и в порядочных стихах сочиненными песенками, тогда получила первое над молодыми людьми свое господствие». Молодые дворяне, хорошо пристроенные в столице, 5—6

лет записанные в гвардейский полк рядовыми, лет в 15 производились в офицеры, допускались на французские комедии, дважды в неделю дававшиеся на придворном театре, бывали на детских балах, где в присутствии императрицы танцевало пар по 50 детей, строго выдерживая все attitudes * взрослых господ и госпож, участвовали в вельможеских бал-маскарадах, длившихся по 48 часов сряду, приветствовали русских барышень, которые привозили из Лондона невиданные в Петербурге английские контрадансы и за то на много дней становились героинями столичного света. Из сферы веселых лиц и речей они нечувствительно переносились в сферу приятных книг и идей. Закон 1714 г. не прошел бесследно. Правда, теперь уже не требовалась петровская военно-техническая выучка, любимая навигацкая наука преобразователя упала при его дочери, не любившей моря, кадетов шляхетского корпуса на целые недели отрывали от учебных занятий, заставляя их разучивать и играть новую трагедию Сумарокова. Но обязательное обучение, не давая значительно-го запаса научных сведений, приучало к процессу выучки, делало ее привычною сословною повинностью, а потом светским приличием и даже возбуждало некоторый аппетит к знанию. Дворянин редко учился с охотой тому, что требовалось по узаконенной программе, но он привыкал учиться чему-нибудь, хотя обыкновенно выучивался не тому, что требовалось по программе. К 6-летнему гвардейцу выписывали сперва из Берлина m-me Ruinau, потом из Парижа m-lle Berger подороже, наконец, m-r Raoult еще дороже, потому что он не только мог преподавать le francais, «но и в том, что называется belles lettres **», был гораздо сведущ». Отец выписывал для сына из Голландии, приюта французских мыслителей, библиотеку assez bien choisie *** из лучших французских поэтов и историков, и лет с 12 гвардейский сержант уже осваивался с Расином, Корнелем, Буало ⁶ и даже с самим Вольтером. В царствование Екатерины он подходил к самым источникам света. По желанию самой императрицы он посещал фернейский скит Вольтера с толпою других молодых офицеров, «жадничавших» видеть философа и слушать его разговоры, не миновал и «ада молодых людей», как тогда звали Париж питомцы петровской школы,

* позы (фр.).

** беллетристика (фр.).

*** Довольно хорошо подобранную (фр.).

бывал на ужинах, где два философа, три *dames d'esprit* *, один еврей, один капеллан с православным секретарем русского посла и с швейцарским капитаном-кальвинистом часа по четыре сыпали *bons mots* **, рассказывая анекдоты, рассуждая о бессмертии души, о предрассудках, о всевозможных вопросах науки, морали и эстетики. По возвращении в Россию, покинув службу в гвардии, он занял административную должность, но не мог привыкнуть к делам, переехал в свою губернию; задумав служить по выборам, был выбран в дворянские заседатели совестного суда, но соскучился, дожидаясь дел, которых в три года поступило ровно три и не было решено ни одного, пробовал заняться сельским хозяйством, но только сбил с толку управляющего и старосту, хотел по крайней мере пожить весело, окружил себя шутами и шутихами, составил себе выездную свиту из арабов, башкир и калмыков, потчевал гостей частыми обедами, балами и псовой охотой с дворовою музыкой и цыганскою пляской и, наконец, устав и заглянув в долговую книгу, махнул на все рукой и окончательно переселился в деревню доканчивать давно начатую и сложную работу изолирования себя от русской действительности. Здесь он вечно пасмурным брюзгой уединился в своем кабинете:

С печальной думою в очах,
С французской книжкою в руках.

С этой книжкою в руках где-нибудь в глуши Тульской или Пензенской губернии он представлял собою очень странное явление. Усвоенные им манеры, привычки, симпатии, понятия, самый язык — все было чужое, привозное, все влекло его в заграничную даль, а дома у него не было живой органической связи с окружающим, не было никакого житейского дела, которое он считал бы серьезным. Он принадлежал к сословию, которое, держа в своих руках огромное количество главных производительных сил страны, земли и крестьянского труда, было могущественным рычагом народного хозяйства; он входил в состав местной сословной корпорации, которой предоставлено было широкое участие в местном управлении. Но свое сельское хозяйство он отдавал в руки крепостного приказчика или наемного управляющего немца, а о делах местного управления не считал нужным и думать; ведь

* рассудительные дамы (*фр.*).
** остроты (*фр.*).

на то есть выборные предводители и исправники. Так ни сочувствия, ни интересы, ни воспоминания детства, ни даже сознание долга не привязывали его к среде, его окружавшей. С детства, как только он стал себя помнить, он дышал атмосферою, пропитанною развлечением, из которой обаяниями забавы и приличия был выкурен самый запах труда и долга. Всю жизнь помышляя о «европейском обычае», о просвещенном обществе, он старался стать своим между чужими и только становился чужим между своими. В Европе видели в нем переодетого европейски татарина, а в глазах своих он казался родившимся в России французом. В этом положении культурного межеумка, исторической ненужности было много трагизма, и мы готовы жалеть о нем, предполагая, что ему самому подчас становилось невыразимо тяжело чувствовать себя в таком положении. Некоторые действительно не выносили его и пускали себе пулю в лоб, но это были редкие люди, которым не удавалось вполне уединить себя от действительности, которые не умели заживо бальзамировать себя, чтобы защитить свое мертворожденное мирозерцание от разрушительного действия времени и свежего воздуха. Большинству людей этого рода удавалась операция такого бальзамирования довольно легко, без мучительных кризисов, без потуг тоски и даже скуки. Заурядный екатерининский вольнодумец оставался добр и весел, не скучал и не тосковал. Тосковать будет его сын при Александре I в лице Чацкого, а скучать — его внук в лице Печорина при Николае I. Когда наступила пора серьезно подумать об окружающем, они начинали размышлять о нем на чужом языке, переводя туземные русские понятия на иностранные речения, с оговоркой, что хоть это не то же самое, но похоже на то, нечто в том же роде. Когда все русские понятия с такою оговоркой и с большею или меньшею филологическою удачей были переложены на иностранные речения, в голове переводчика получался круг представлений, не соответствовавших ни русским, ни иностранным явлениям. Русский мыслитель не только не достигал понимания родной действительности, но и терял самую способность понимать ее. Ни на что не мог он взглянуть прямо и просто, никакого житейского явления не умел ни назвать его настоящим именем, ни представить его в настоящем виде и не умел представить его, как оно есть, именно потому, что не умел назвать его, как следует. В сумме таких представлений русский житейский по-

рядок являлся такою безотрадною бессмыслицей, набором таких вопиющих нелепостей, что наиболее впечатлительные из людей этого рода, желавшие поработать для своего отечества, проникались «отвращением к нашей русской жизни», их собственное будущее становилось им противно по своей бесцельности, и они предпочитали «бытию переход в ничто». Но это были редкие случаи. Большинство, более рассудительное и менее нервное, умело обходить этот критический момент и от непонимания переходило прямо к равнодушию. Очутившись при помощи своеобразного метода изучения родной земли между двумя житейскими порядками, в каком-то пустом пространстве, где нет истории, русский мыслитель удобно устроился на этой центральной полосе между двумя мирами, пользуясь благами обоих, получая крепостные доходы с одной стороны, умственные и эстетические подаяния—с другой. Поселившись в этой уютной пустыне, природный сын России, подкинутый Франции, а в действительности человек без отечества, как называли его жившие тогда в России французы, он холодно и просто решал, что порядок в России есть *assez immoral**, потому что в ней *il n'y a presque aucune opinion publique*** , и думал, что этого вполне достаточно, чтоб игнорировать все, что делалось в России. Так незнание вело к равнодушию, а равнодушие приводило к пренебрежению. Чтоб оправдать это пренебрежение к отечеству, он загримировался миной мирового бесстрастия, мыслил себя гражданином вселенной, космополитизируя таким образом очень и очень доморощенный продукт, каким он был на самом деле. Так, он создавал себе «своевольное и приятное существование». Вольные мысли, которые он черпал из привозных книг, рассеивали его житейские огорчения, сообщали блеск его уму, украшали его речь, даже порой потрясали его нервы: космополитический индифферентизм не мешал литературной впечатлительности, не подавлял воспитанной чувствительными романсами времен Сумарокова наклонности к отвлеченным, беспредметным восторгам. Быть может, никогда культурный русский человек не плакал так легко и охотно даже от хороших слов, как во второй половине прошлого века,— плакал и только. Эстетические восторги и стереотипные философические слезы были только патологическими развлечениями, нервным

* довольно безнравственный (фр.).

** почти нет никакого общественного мнения (фр.).

моционом, но не отражались на воле, не становились нравственными мотивами. Вольномыслящий тульский космополит с увлечением читал и перечитывал страницы о правах человека рядом с русской крепостною девицей и, оставаясь гуманистом в душе, шел в конюшню расправляться с досадившим ему холопом. Культурно-психологический курьез, он ждет руки художника, но как передаточный пункт идей и преданий, как посредник «двух веков», готовых поссориться, он занимает видное место и в истории нашего общества.

Дети людей этого рода воспитывались в их преданиях, но не под их влиянием. Они наследовали многие из идей, убеждений, взглядов, привычек своих отцов, но не наследовали их вкусов, чувств и отношений к окружающему и не наследовали потому, что выросли и начали действовать под другими впечатлениями. К тому времени, когда они начали учиться, в воспитании знатного русского юношества произошел решительный перелом. Со времени французской революции в Россию наехало множество французских эмигрантов, кавалеров, графов, маркизов, аббатов, роялистов и католиков, даже иезуитов, которые, принявшись за воспитание молодых русских дворян, начали вытеснять гувернеров философского чекана, демократов, республиканцев и атеистов, дотоле господствовавших в знатных русских домах. Новые педагоги принесли с собою особую атмосферу, новые чувства и интересы. Они поворотили мысль воспитываемого ими юношества к предметам, которыми пренебрегали их вольнодумные предшественники, к вопросам веры и нравственности; еще важнее было то, что они не ограничивались украшением и развитием ума своих питомцев, но влияли и на их волю, пробуждали позыв к делу, к согласованию поступков с понятиями. Они не только поддержали, но и усилили в питомцах интерес к политическим вопросам, восставая против демократических понятий, какие распространяли педагоги старого, дореволюционного привоза. Несомненно, при их участии в молодом поколении праздные эстетические влечения и отвлеченные идеи отцов стали сменяться нравственными побуждениями и практическими идеалами с политической окраской, обрастать живою плотью. Наполеон довершил дело, начатое французскими эмигрантами. Политические события указали направление и цель пробужденным стремлениям. Дети людей Екатеринина века, защищая отечество на австрийских, прусских и, наконец, родных полях, дол-

жны были с оружием в руках стать против той самой Франции, которая для отцов многих из них была «отечеством сердца и воображения». Эта борьба приподняла их дух. Перед их глазами пронеслись великие события, которые решили судьбы народов и в которых они сами участвовали. Воротившись из похода домой, они чувствовали, что ушли от своих стариков «на сто лет вперед». Толкуя об отечестве вокруг бивачных костров на полях Прейсиш-Эйлау, Бородина, Лейпцига и под стенами Парижа⁷, они сделали два важных открытия. Они с прискорбием узнали, что Россия — единственная страна, в которой образованнейший и руководящий класс пренебрегает родным языком и всем, что касается родины. Потом еще с большей скорбью они убедились, что в русском народе таятся могучие силы, лишённые простора и деятельности, скрыты умственные и нравственные сокровища, нуждающиеся в разработке, без чего все это вянет, портится и может скоро пропасть, не принеся никакого плода в нравственном мире. С этой минуты они круто и прямо повернулись лицом к русской действительности, к которой отцы старались поставить их спиной, как стояли сами. Отцы не знали ее и игнорировали; дети продолжали не знать ее, но перестали игнорировать.

Но с минуты этого поворота люди, его сделавшие, разошлись и пошли различными путями. Одни пошли прямо вперед с нервной отвагой. Мысль «о зле существующего порядка и о возможности его изменения» стала исходной точкой всех их дум и размышлений. Но они смотрели на окружающее сквозь призму патриотической скорби, сменившей космополитическое равнодушие отцов, а в этой призме явления отражались под значительным углом преломления. Это мешало разглядеть достижимые цели, взвесить наличные средства, предусмотреть последствия. Они надеялись одним порывистым натиском сдвинуть с места скалу, которая стояла на дороге и которую они называли существующим порядком, разбежались и ударились об нее. Последствием удара было собственное крушение.

Другие пошли стороной, осторожно вглядываясь вдаль и озираясь вокруг. Они также питали много надежд и иллюзий, желали деятельности и готовились к ней, запасаясь идеями и иноземными образцами, которые можно было бы применить в отечестве. Но еще до 1812 г. они стали замечать, что преобразовательное движение, смело начатое правительством, тормозится чем-то таким,

что не зависит ни от Сперанского, ни от Аракчеева⁸, ни от чьей личной воли. Вглядываясь ближе, они увидели, что это была та же скала, или «грубая толща», как называл Сперанский русскую действительность, которая никак не хотела сдвинуться с места, как ее ни толкали. Они так же знали и понимали ее, как и другие, но они живее других почувствовали ее размеры и устойчивость, чувствовали и то, что они ничего с ней не могут сделать, что для этого нужны не та подготовка, не такие знания и навыки, какими обладали они и их отцы, что надобно переучиваться и перевоспитываться. Это было то же крушение, только не в силы, плохо рассчитавшей свое действие, а веры, поддерживавшей деятельность. Причиной крушения было открытие, что не во всем можно извернуться чужим умом и опытом, что если глупо вновь изобретать машину, уже изобретенную, то еще глупее жителю севера заимствовать костюм южанина, что нужно примениться к среде, а для этого необходимо изучать ее и потом уже преобразовывать, если она в чем окажется неудобной. Этим открытием разрушалось целое мирозерцание, воспитанное рядом поколений, привыкших сибаритски смотреть на Западную Европу как на русскую мастерскую, обязательную поставщицу машин, мод, увеселений, вкусов, приличий, знаний, идей, нужных России, и даже ответов на политические вопросы, в ней возникающие. Тогда люди, сделавшие это открытие, впали в уныние или нравственное оцепенение и опустили руки. После, оправившись от столбняка, одни из них стали кое-как прилаживаться к русской действительности и даже явились дельцами в царствование Николая, другие произнесли над ней отлучение от цивилизованного мира за то, что она не давалась их пониманию без изучения, третьи просто принялись изучать ее в подробностях.

Совершенно особенным образом подействовала патриотическая скорбь одних и уныние других на их младших братьев, которые по молодости лет не принимали участия в военных делах 1812—1814 гг. и не были вовлечены в движение, кончившееся катастрофой 14 декабря⁹. Они проходили школу тогдашнего столичного света с его показным умом, заученными приличиями, заменявшими нравственные правила, и с любезными словами, прикрывавшими пустоту общежития, как описала его в 1812 г. г-жа Сталь¹⁰. Эта школа давала много пищи злословию, вырабатывала «насмешку с желчью пополам», но не приучала ни к умственному труду, ни к практической дея-

тельности, напротив, отучала от того и другого, всего же более располагала к скуке. На наклонности, воспитанные такою школой, ложились чувства старших братьев, патриотическая скорбь одних, уныние других. Но то были накладная скорбь, наносное уныние; то и другое чувство в младших рядах поколения не было непосредственным житейским впечатлением, получалось из вторых рук. Из смешения столь разнородных влияний и составилось сложное настроение, которое от тогда стали звать *разочарованием*. Поэзия часто рисовала его байроновскими чертами, и сами разочарованные любили кутаться в Гарольдов плащ. Но в состав этого настроения входило гораздо более туземных ингредиентов. Здесь были и запас схваченных на лету идей с приправой мысли об их ненужности, и унаследованное от вольнодумных отцов брюзжание с примесью скуки жизнью, преждевременно и бестолково отведенной, и презрение к большому свету с неумением обойтись без него, и стыд безделья с непривычкой к труду и недостатком подготовки к делу, и скорбь о родине, и досада на себя, и лень, и уныние — весь умственный и нравственный скарб, унаследованный от отцов и дедов и прикрытый слоем острых или гнетущих чувств, внушенных старшими братьями. Это была полная нравственная растерянность, выражавшаяся в одном правиле: ничего сделать нельзя и не нужно делать. Поэтическим олицетворением этой растерянности и явился *Евгений Онегин*. Так я понимаю его, — правильно ли, судите сами. Прибавлю только, что Пушкин один из первых подметил эту новую разновидность русских чудаков. В 1822 г., когда он начал писать свой роман, было много и решившихся на все, и нерешительных патриотов, но разочарованные еще не бросались в глаза, как после 1825 г.

Такова родословная Онегина. Его предки — люди из дворянства, служившего проводником светского образования и органом управления. Это исключительные люди, которых слишком быстрая смена направлений образования и не всегда удачная его постановка ставила в неправильное положение. Сперва потребовалось школьное латинское образование, но под церковным руководством с целью оградить правосмыслие. Но многим, получившим такое образование, приходилось действовать там, где требовалась уже военно-техническая выучка, которой усиленно и подвергалась дворянская молодежь в царствование Петра I. Многим, получившим и такую выучку, пришлось действовать в обществе, в котором служебные

успехи много зависели от степени светской выправки и литературного образования служащего лица. Но эта выправка и это образование скоро получили такое ненормальное развитие, которое прививало идеи и вкусы, непригодные для государственной и земской деятельности дворянства, расширенной реформами Екатерины II. Тогда и образование высшего дворянства стало получать политическое направление и становилось ближе к русской действительности, к положению управляемого общества. Но такое образование при содействии унаследованных преданий и наклонностей и новых влияний сделало одних нетерпеливыми новаторами, хотевшими все перестроить разом, других — нерешительными пессимистами, не знавшими, что делать, а третьих повергло в настроение, лишавшее их способности и охоты делать что-либо. Эти последние — наши Онегины. С этими людьми, мелькавшими в русском обществе в 1820-х и 1830-х годах, такое настроение и умерло.

Но я слишком долго задержал ваше внимание на личных и исторических воспоминаниях. О Пушкине всегда хочется сказать слишком много, всегда наговоришь много лишнего и никогда не скажешь всего, что следует.



ГРУСТЬ

(Памяти М. Ю. Лермонтова, умер 15 июля 1841 г.)

Пятьдесят лет прошло с тех пор, как умер Лермонтов. Воспоминание о смерти поэта, без сомнения, напомнит нам и его поэзию. Да, напомнит, потому что мы успели уже забыть ее. Образцовые стихотворения Лермонтова с разрешения учебного начальства держатся еще в педагогическом обороте, и благодаря тому многие знают наизусть и *Бородино*, и *Ветку Палестины*, и даже *Пророка*. Но поэзия Лермонтова — только наше школьное воспоминание: в нашем текущем житейском настроении, кажется, не уцелело ни одной лермонтовской струны, ни одного лермонтовского аккорда. Жалеть ли об этом? Может быть — да, а может быть — и нет. Ответ зависит от оценки этой давно затихшей песни и от того, запал ли в нас от нее какой-нибудь отзвук, — лучше сказать, была ли она сама отзвуком какого-нибудь ценного общечеловеческого или по крайней мере национального мотива или в ней прозвучало чисто индивидуальное настроение, которое сложилось под влиянием капризных случайностей личной жизни и вместе с ней замерло, обогатив только запас редких психологических возможностей. В последнем случае поэзию Лермонтова едва ли стоит вызывать с такого кладбища учебной хрестоматии.

Педагогический успех поэзии Лермонтова может показаться неожиданным. Принято думать, что Лермонтов — поэт байроновского направления, певец разочарования, а разочарование — настроение, мало приличествующее школьному возрасту и совсем неудобное для педагога как воспитательное средство. Между тем после старика Крылова¹, кажется, никто из русских поэтов не ос-

тавил после себя столько превосходных вещей, доступных воображению и сердцу учебного возраста без преждевременных возбуждений, и притом не в наивной форме басни, а в виде баллады, легенды, исторического рассказа, молитвы или простого лирического момента. Неожиданно и то, что русский поэт первой половины нашего века стал певцом разочарования. Настроение, которое в поэзии обозначается именем великого английского поэта, сложилось из идеалов, с какими западноевропейское общество переступило через рубеж XVIII в., и из фактов, какие оно пережило в начале XIX в., — из идеалов, подававших надежду на невозможность подобных фактов, и из фактов, показавших полную несбыточность этих идеалов. Байронизм — это поэзия развалин, песнь о кораблекрушении. На каких развалинах сидел Лермонтов? Какой разрушенный Иерусалим он оплакивал? Ни на каких и никакого. В те годы у нас бывали несчастья и потрясения, но ни одного из них нельзя назвать крушением идеалов. Старые верования, исторически сложившиеся и укрепившиеся в общественном сознании, уцелели, а новые идеи еще не успели дозреть до общественных идеалов и сваялись как мечты отдельных умов, неосторожно отважившихся забежать вперед своего общества. Нам не приходилось сидеть на реках вавилонских, оплакивая родные разрушенные святыни, и даже о пожаре Москвы мы вспоминали неохотно, когда вежливою и сочувствующею рукой брали Париж.

Поэзия Лермонтова развивалась довольно своеобразно. Поэт не сразу понял себя; его настроение долго оставалось для него самой загадкой. Это отчасти потому, что Лермонтов получил очень раннее и одностороннее развитие, ускорявшееся излишним количеством внешних возбуждений. Рано пробудившаяся мысль питалась не столько непосредственным наблюдением, сколько усиленным и однообразным чтением, впечатлениями, какие навевались поэзией Пушкина, Гейне, Ламартина² и особенно «огромного Байрона», с которым он уже на 16 году был неразлучен, по свидетельству Е. А. Хвостовой. Этим нарушена была естественно очередь предметов размышления. То, чем усиленно возбуждалась ранняя мысль Лермонтова, были преимущественно предметы, из которых слагается жизнь сердца, притом тревожного и притязательного. Может быть, хорошо начинать жизнь такими предметами, но едва ли правильно начинать ими изучение жизни. С трудом разбираясь в воспринимае-

мых впечатлениях, Лермонтов вдумывался в беспокойное и хаотическое настроение, ими навевавшееся, рядился в чужие костюмы, примерял к себе героические позы, вычитанные у любимых поэтов, подбирал гримасы, чтобы угадать, которые ему к лицу, и таким образом стать на себя похожим. Для этой работы особенно много образов и приемов дала ему манерная и своенравно печальная поэзия Байрона, и в этом отношении ей трудно отказать в сильном влиянии на нашего поэта. От этих театральных ужимок осталось на поэтической физиономии Лермонтова несколько складок, следов беспорядочного литературного воспитания, поддержанного дурно воспитанным общественным вкусом. До конца своего недолгого поприща не мог он освободиться от привычки кутаться в свою нарядную печаль, выставлять гной своих душевных ран, притом напускных или декоративных, трагически демонизировать свою личность, — словом, казаться лейб-гвардии гусарским Мефистофелем. Было бы большою ошибкой видеть во всем этом один бутафорский прибор, только чуждые накладные краски, которые с годами должны были свалиться ветхою чешуей с поэтического подлинника, не оставив на нем своего следа. Эти изысканные приемы поэтического творчества появляются у Лермонтова в такие ранние годы, когда усвоенная манера не столько отражает, сколько направляет настроение души. Поэту уже не вернуть своих юных гордых дней; жизнь его пасмурна, как солнце осени суровой; он умер, душа его скорбит о годах развратных — все это пишет не более как 15-летний мальчик, посвящая друзьям свою поэму, свои «печальные мечты, плоды душевной пустоты». Когда успел пережить все эти нравственные ужасы благовоспитанный и прекрасно учившийся гимназист университетского благородного пансиона? Вторя этому настроению, в *Корсаре*, *Преступнике*, *Смерти* и других пьесах тех лет (1828—1830 гг.) являются все мрачные образы, печальные или ожесточенные; в юношеских тетрадах поэта уцелели наброски задуманных драм, все с ужасными сюжетами, с трагическими положениями. Из этих образов и положений постепенно складывается тип, который так долго владел воображением поэта. Сначала, например, в *Портрете*, *Моем демоне* и первом очерке *Демона* (1829 г.), он выступает в неясных общих очертаниях и потом получает определенный облик, даже несколько обликов в целом ряде поэм, драм и повестей, конченных и неконченных. Поэт лелеял этот тип как

свое любимое поэтическое детище, всматривался в него, ставил его в разнообразные позы и обстановки, изображал то печальным и влюбленным демоном, то мстительным русским дворовым холопом-пугачевцем, то диким кавказским горцем, то великосветским игроком, то ипохондриком-художником, то, наконец, кавказским офицером-баричем из высшего столичного света, не знающим, куда девать себя от скуки. На всех этих изображениях положена печать той «горькой поэзии», которую, по выражению самого поэта, наш бедный век выжимал из сердца ее первых проповедников; во всех них сказывается то чувство житейской нескладницы, противоречий людской жизни, которое проходит основным мотивом в ранних произведениях Лермонтова. Он с любовью искал этих противоречий и с наслаждением любовался ими, не отворачиваясь даже от самых пошлых, с таким мефистофельским злорадством изображенных им в стихотворении. *Что толку жить*. Недаром сам поэт сопоставлял себя с своим «хладным и суровым» демоном, называя себя зла избранником, который в жизни зло лишь испытал и злом веселился; припомним, что первоначально поэт думал изобразить демона торжествующим и жертву его страсти превратить в духа ада, как будто торжество зла тогда более гармонировало с его эстетическим настроением. Из всех этих несродных поэту усилий воображения и сердца он вынес, по его словам, усталую душу, объятую тьмой и холодом, еще далеко не достигнув рубежа молодости. Лермонтов быстро развивался. Согласно с привычным направлением своей мысли, он и этой небеспримерной особенности своего роста придавал трагическое значение. У него сложился взгляд на себя как на человека, рано отцветшего и преждевременно созревшего, успевшего отжить, когда обыкновенно только начинают жить. Любимым образом, к которому он обращался для своей характеристики, был тощий плод, до времени созревший, который сиротой висит между цветов, не радуя ни глаз, ни вкуса.

Ужасно стариком быть без седин..

В 1832 г., 18-ти лет от роду, Лермонтов писал в одном дружеском письме: «Все кончено; я отжил, я слишком рано созрел; далее пойдет жизнь, в которой нет места для чувств». Он стал думать, что пора мечтаний для него миновала, что он утратил веру, отцвел для наслаждений и потерял вкус в них; по крайней мере за год до

выхода из юнкерской школы (1833 г.), мечтая об офицерских эполетах и рисуя план своей жизни по окончании школьного курса, он писал, что сохранил потребность только в чувственных удовольствиях, в счастье осязательном, в таком, какое покушается золотом и которое можно носить с собою в кармане, как табакерку, чтобы оно только обольщало его чувства, оставляя в бездействии его усталую душу. В этой печальной повести поэта о своем нравственном разорении, конечно, не все действительный житейский опыт, а есть и доля поэтической мечты, есть даже немало заимствованных со стороны, вычитанных образов, принятых за свою собственную мечту. Но мысль, рано и долго питавшаяся такими образами и чувствами, должна была покрыть в глазах поэта людей и вещи тусклым светом; настроение уныния и печали, первоначально навевавшееся случайными, хотя бы даже призрачными впечатлениями, незаметно превращалось в потребность или в «печальную привычку сердца», говоря словами поэта. Это настроение, столь неблагоприятное для нравственного роста поэта, имело, однако, благотворное действие в другом отношении. Утомляемый или возбуждаемый впечатлениями, приносимыми со стороны, он рано начал искать пищи для ума в себе самом, много передумал, о чем редко думается в те годы, выработал то умение наблюдать и по наружным приметам угадывать душевное состояние, которое так ярко уже блестит местами в его ранней и наивной, но необыкновенно живой и бойкой *Повести*. Историю этих ранних и любимых дум своих, смутных, тревожных и настойчивых, он сам рассказал в стихотворении, помеченном 11 июня 1831 г. (*Моя душа, я помню, с детских лет.*) Эта пьеса, которую можно назвать одной из первых глав поэтической автобиографии Лермонтова, показывает, как рано выработалась в нем та неугомонная, вдумчивая, привычная к постоянной деятельности мысль, участие которой в поэтическом творчестве вместе с удивительно послушным воображением придает такую своеобразную энергию его поэзии.

Всегда кипит и зреет что-нибудь
В моем уме...

Было бы очень жаль, если бы чувства и манеры их выражения, рано усвоенные поэтом, дали окончательное направление его поэзии. Эти чувства и манеры были особенностью его поэтического воспитания, а не свойствами

его поэтической природы, и послужили только средством для него глубже понять свой талант. Ранние поэтические опыты Лермонтова были пробой пера, предварительною черною работой над своим талантом. Странное дело! Чем настойчивее готовился поэт к собственным похоронам, чем больше накапливался в его уме запас мрачных и печальных дум, тем чаще прорывались в его песне светлые ноты, тем выше поднимался ее тон. Это настроенное довольно рано начинает пробиваться из-под прежнего и становится особенно заметно по выходе поэта из юнкерской школы (в 1834 г.), когда он вступил в третье десятилетие своей жизни. Лермонтов иногда возвращался к прежним темам, перепевал свои старые песни под лад нового настроения. Сравните его пьесу 1830 г. *Я не люблю тебя* с пьесой 1837 г. *Расстались мы*. Тема обеих пьес: одна и та же — след, оставленный в воспоминании исчезнувшего сильною привязанностью, но мотивы различны. В первой пьесе *ее* образ, оставшийся в *его* душе, служит ему только бессильным напоминанием умчавшегося сна страстей и мук; во второй пьесе этот образ сохраняет еще часть силы своего подлинника над своим носителем, который не может разлюбить его как призрак своих лучших дней; самый момент, схваченный поэтом, оттенен несколько различно в обеих пьесах: в первой это разрыв, во второй — как будто только разлука. Эта перемена настроения сказалась и в новой развязке, какую дал поэт *Демону* в окончательной редакции поэмы: Тамара не достается навсегда духу-искусителю; ей все прощается за то, что она много страдала и любила. Новое настроение выразилось в целом ряде поэтических образов, которые каждый из нас так хорошо помнит смолоду. Мятажный парус, просящий бури, как будто в бурях есть покой, пустынные пальмы, наскучившие своим спокойным одиночеством и поплатившиеся жизнью за удовлетворенное желание порадовать чей-нибудь благосклонный взор, дубовый листок, оторвавшийся от родной ветви и на далекой чужбине напрасно просящий приюта у молодой избалованной чинары, одинокий старый утес, тихонько плачущий в пустыне после разлуки с погостившей у него золотой тучкой, наконец, этот двойной *Сон*, поражающий красотой скрытой в нем печали, в котором *он*, одиноко лежа в знойной долине Дагестана с пулей в груди, видит во сне, как *ей* среди веселого пира грезится его труп, истекающий кровью в долине Дагестана, — как непохожи эти образы на прежде ласкавшую воображе-

ние поэта дикую картину бурного океана, замерзшего с поднятыми волнами, в театральном виде мертвенного движения и беспокойства! В этих образах и жажда тревог и волнений без цели, без мысли о счастье, просто как привычная потребность беспокойного сердца, и грустная ирония жизни над горделивым и самолюбивым желанием стать источником счастья и радостей для других, и уединенная грусть о мимолетно скользнувшем счастье, и упрек бессердечному самодовольству счастливых людей, и безмолвная без жалоб обоюдосторонняя заочная скорбь разрываемого смертью взаимного счастья без возможности утешить друг друга в минуту разлуки — все мотивы, мало отвечающие эпопее бурных страстей, самодовольной тоски и гордого страдания, которыми проникнуты ранние произведения поэта. Наконец, ряд надменных и себялюбивых героев, все переживших и передумавших, брезгливых носителей скуки и презрения к людям и жизни, у которой они взяли все, что хотели взять, и которой не дали ничего, что должны были дать, завершается спокойно грустным библейским образом пророка, с беззлобною скорбью ушедшего от людей, которым он напрасно проповедовал любви и правды чистые ученья. Демонические призраки, прежде владевшие воображением поэта, потом стали казаться ему «безумным, страстным, детским бредом». То был не перелом в развитии поэтического творчества, а его очищение от наносных примесей, углубление таланта в самого себя. Новые образы постепенно выступали из беспорядочных и смутных юношеских видений, новые мотивы складывались из нестройных порывистых впечатлений по мере того, как зревшая мысль очищала их от тяжелого бреда неустановившейся фантазии. Лермонтов не выращивал своей поэзии из поэтического зерна, скрытого в глубине его духа, а, как скульптор, вырезывал ее из бесформенной массы своих представлений и ощущений, отбрасывая все лишнее. У него не ищите того поэтического света, какой бросает поэт-философ на мироздание, чтобы по-своему осветить соотношение его частей, их стройность или нескладичу, у него нет поисков смысла жизни; но в ее явлениях он искал своего собственного отражения, которое помогло бы ему понять самого себя, как смотрятся в зеркало, чтобы уловить выражение своего лица. Он высматривал себя в разнообразных явлениях природы, подслушивал себя в нестройной разноголосице жизни, перебирал один поэтический мотив за другим, чтобы угадать,

который из них есть его собственный, его природная поэтическая гамма, и, подбирая сродные звуки, поэт слил их в одно поэтическое созвучие, которое было отзвуком его поэтического духа. Это созвучие, эта лермонтовская поэтическая гамма — грусть как выражение не общего смысла жизни, а только характера личного существования, настроения единичного духа. Лермонтов — поэт не мирозерцания, а настроения, певец *личной грусти*, а не *мировой скорби*.

Мировая скорбь и личная грусть — между этими настроениями больше разницы, чем между словами, их выражающими. В лексиконе это синонимы, в психологии — почти антитезы. Психический процесс, который вводит в состояние мировой скорби, чаще всего называют разочарованием. Разочароваться — значит утратить веру в свой идеал, не самый идеал, а только веру в него, выйти из его обаяния. Идеал как мыслимый и желаемый порядок или поэтический обзор остается, только исчезает вера в его действительность или осуществимость. Можно сохранять убеждение в пригодности известного идеала для людей вообще и при этом потерять уверенность, годятся ли *эти* люди для *такого* идеала. Когда разрушается самый идеал, т. е. сознается его нелепость, тогда наступает не разочарование, а отрезвление. Но последнее состояние не может быть источником никакой скорби. Отрезвленный радуется торжеству здравого смысла над нелепою мечтой; разочарованный скорбит о торжестве нелепой действительности над разумным стремлением. Грусть — ни то, ни другое; ее источник — не торжество рассудка и не поражение идеала. Грусть — чувство довольно простое само по себе; но, как все такие чувства, она тем труднее поддается анализу. Ее понимаешь, пока чувствуешь, и перестаешь чувствовать, как только начнешь разбирать. По крайней мере, что такое грусть Лермонтова? Он был поэтом грусти в полном художественном смысле этого слова: он создал грусть как поэтическое настроение, из тех разрозненных ее элементов, какие нашел в себе самом и в доступном его наблюдению житейском обороте. Потому не психологию надобно призывать для объяснения его поэзии, а его поэзия может пригодиться для психологического изучения того настроения, которое служило ей источником.

Грусть стала звучать в песне Лермонтова, как только он начал петь:

И грусти ранняя на мне печать...

Она проходит непрерывающимся мотивом по всей его поэзии; сначала заглушаемая звуками, взятыми с чужого голоса, она потом становится господствующей нотой, хотя и не освобождается вполне от этих чуждых звуков. Некоторыми наружными признаками и переходными моментами своей поэзии Лермонтов близко подходил к разным скорбным мирозерцаниям, философским или поэтическим, и к разочарованному презрению жизни и людей, и к пессимизму, который относится к мировому порядку, как брюзгливый учитель к торопливому экспромту рассеянного школьника, и к желчной спазматической тоске Гейне, для которой мир — досадно расстроенный музыкальный инструмент, а жизнь — раздражающая логика противоречий. Но все это — целые мирозерцания, создающие скорбное настроение. Поэзия Лермонтова — только настроение без притязания осветить мир каким-либо философским или поэтическим светом, расширяться в цельное мирозерцание. Притом некоторыми частями своего психологического состава это настроение существенно отличается от всех видов скорби. Скорбь есть грусть, обостренная досадой на свою причину и охлажденная снисходительным сожалением о ней. Грусть есть скорбь, смягченная состраданием к своей причине, если эта причина — лицо, и согретая любовью к ней. Скорбеть значит прощать того, кого готов обвинять. Грустить — значит любить того, кому страдаешь. Еще дальше грусть от мировой скорби. Эта последняя вызывается общею причиной, которая всех равно касается и если не во всех возбуждает скорбь, то носителей скорби заставляет скорбеть за всех. Грусть всегда индивидуальна, вызывается отражением житейских явлений в личном сознании и настроении. Но простое по своему психологическому составу, это настроение довольно сложно по мотивам, его вызывающим, и по процессу своего образования. Люди живут счастьем или надеждой на счастье. Грусть лишена счастья, не ждет, даже не ищет его и не жалуется.

У неба счастья не прошу
И молча зло переносу.

Однако это не есть состояние равнодушия, наступающее, когда простятся с счастьем и всеми надеждами на него. Это равнодушие достигается тем, что перестают любить, чего не удалось добиться, заставляют себя думать, что не стоит желать, на что напрасно надеялись. И в грусти теряют надежду достигнуть желаемого и лю-

бимого и даже мирятся с этой безнадежностью, но не теряют ни любви, ни желания. Что же любят и зачем желают? А желают, чтобы было что любить, и любят самое это желание. Потребность любить создает любимые предметы; жизнь может уничтожить их, но потребность остается, как «печальная привычка сердца». Человек нелегко поддается ударам судьбы или капризам случая; бороться с ними — его нравственная гордость. Его любовь можно заставить отказаться от всего любимого и даже примириться с утратой, с своим горем, но нельзя заставить отказаться от самой себя, совершить самоубийство; когда ничего не останется любить, она обратится на самое себя, будет любить свое собственное горе. Странное и, может быть, не совсем нормальное состояние, но довольно обыкновенное в действительности. Так муж продолжает любить жену, покинувшую его для другого; так вдова ходит на кладбище на свидание со своим покойником. Что продолжают они любить? Конечно, не чужую любовницу и не скелет, засыпанный землей. Оба они продолжают любить свое прежнее чувство, которым жили и которым не хотят поступиться: одна — в угоду произволу смерти, другой — в угоду произволу чужого сердца. В сильном и негибком характере это чувство может так исключительно сосредоточиться на одном впечатлении, что дальнейшие только напоминают и освежают его, не вытесняя, хотя бы давно уже не существовало предмета, его произведшего. Эта мономания сердца с поэтической силой выражена Лермонтовым в стихотворении *Нет, не тебя так пылко я люблю*:

В твоих чертах ищу черты другие;
В устах живых уста давно немые.

Наконец, как часто плачут, чтобы не тосковать, и грустят, чтобы не злиться! Значит, в грусти, как и в слезах, есть что-то примиряющее и утешающее. Вызываемая потребностью продолжить погибшее счастье или заменить не сбывшееся, она сама становится нравственной потребностью как средство борьбы с невзгодами и обманами жизни:

...Сладость есть
Во всем, что не сбылось...

Усилиями сердца можно усладить и горечь обманутых надежд. Правда, все это напоминает медведя, который с голода сосет собственную лапу. Но чем ненормальнее такой диеты настроение печального поэта, влюбляющего-

ся в собственную печаль? Человек, переживший опустошение своей нравственной жизни, не умея вновь населить ее, старается наполнить ее печалью об этом запустении, чтобы каким-нибудь стимулом поддержать в себе падающую энергию. Никто из нас никогда не забудет одной из последних пьес Лермонтова, которая всегда останется единственной по неподражаемому сочетанию энергичского чувства жизни с глубокою, скрытою грустью, — пьесы, которая своим стихом почти освобождает композитора от труда подбирать мотивы и звуки при ее переложении на ноты: это стихотворение *Выхожу один я на дорогу*. Трудно найти в поэзии более поэтическое изображение духа, утратившего все, чем возбуждалась его деятельность, но сохранившего жажду самой деятельности, одной деятельности, простой, беспредметной. Не уцелело ни надежд, ни даже сожалений; усталая душа ищет только покоя, но не мертвого; в вечном сне ей хотелось бы сохранить биение сердца и восприимчивость любимых внешних впечатлений. Грусть и есть такое состояние чувства, когда оно, утратив свой предмет, но сохранив свою энергию и от того страдая, не ищет нового предмета и не только примиряется с утратой, но и находит себе пищу в самом этом страдании. Примирение достигается мыслью о неизбежности утраты и внутренним удовлетворением, какое доставляет стойкое чувство. В этом моменте грусть встречается и расходится с радостью: последняя есть чувство удовольствия от достижения желаемого; первая есть ощущение удовольствия от мысли, что необходимо лишение и что его должно перенести. Итак, источник грусти — не торжество нелепой действительности над разумом и не протест последнего против первой, а торжество печального сердца над своею печалью, примиряющее с грустною действительностью. Такова по крайней мере грусть в поэтической обработке Лермонтова.

Как и под какими влияниями сложилось такое настроение поэта? Своим происхождением оно тесно соприкасается с нравственною историей нашего общества. Поэзия Лермонтова всегда останется любопытным психологическим явлением и никогда не утратит своих художественных красок; но она имеет еще значение важного исторического симптома. Лермонтов — поэт по преимуществу лирический; его творчество воспроизводило почти исключительно жизнь сердца и касалось трудноуловимых ее мотивов. Господствующее место среди мотивов этой жизни занимает личное счастье. Вопрос об этом счастье,

о том, в чем оно состоит и как достигается, всегда составлял важную и тревожную задачу для человеческого сердца. Поэзия Лермонтова подходила к этому вопросу с обратной его стороны, с изнанки, если можно так выразиться: она пыталась указать, в чем не следует искать счастья и как можно без него обойтись. Ныне вопрос о счастье не любят ставить во всем его объеме. Состав счастья так осложнился, что не выдержал прежней своей цельности и распался на разнообразные свои элементы, на специальности. В обществе говорят о богатстве, гигиене, гражданских добродетелях, талантах, успехах по службе или среди женщин; говорить о счастье вообще позволено только очень молодым девицам, притом лишь монологически, подобно профессору, при общем молчании аудитории, да и это допускается лишь потому, что за одними девицами оставлено пока право быть наивными в обществе. В состав счастья вошло столько разнообразных благ, что самый смелый эвдемонический аппетит не надеется сладить со всеми. Каждый, смотря по напряжению и растяжимости своих желаний, выбирает себе какое-либо одно благо или подбирает несколько сподручных благ и на их достижении вырабатывает силы своего ума и сердца, разучивая более и менее высокую октаву счастья. Поверхностный и всеобъемлющий, т. е. за все хватающийся дилетантизм признан неудобным и в сердечной жизни, как во всякой другой; в интересе технического успеха рядом с разделением труда усиливается и специализация наслаждений. Так, стремление к счастью раздробилось на отдельные житейские *охоты*, своего рода спорты сердца. Самое слово *счастье* стало непопулярно, потеряло свое прежнее обаяние и приобрело специфический, немного приторный запах женского института. Это потому, что над счастьем много смеялись легкомысленные люди, а люди серьезные перестали ясно понимать значение этого слова. Но если пострадала ясность понимания и цельность вкуса счастья, то культ его сохранил прежнюю силу. Не все отчетливо понимают, что такое счастье вообще; но то конкретное, что разумеют под этим словом, те специальные блага, которые выбирает себе каждый из общего запаса счастья, составляют смысл, цель и сильнейший стимул личного существования. Идею счастья мы прививаем к своему сознанию воспитанием, оправдываем общим мнением людей, наконец, извиняем всеми инстинктами своей природы. Разружьте эту идею, и мы перестанем понимать, для чего родимся

и живем на свете. Мы менее огорчаемся, когда безуспешно ищем счастья, чем когда не находим его там, где искали. Так жаждущие в знойной пустыне более удовлетворяются раздражающим призраком воды, чем простою мыслью, что воды нет. Отсутствие счастья делает нас менее несчастными, чем его невозможность.

Были, однако, сострадательные попытки освободить людей от идолослужения этой идее, заставить их усилиями ума и сердца, напряженною работой над своею волей отказаться от личного земного счастья как от обязательной цели жизни, священной заповеди блаженства. Один из процессов этой эмансипации от ига счастья особенно знаком каждому из нас. С наименьшим трудом удастся эта работа простым верующим христианам. Они не знают ни философских, ни физиологических оправданий учения об эвдемонизме, о житейском благополучии, а воспитание в духе долга и смирения регулирует у них деятельность инстинктов. Так создается очень простой и ясный взгляд на жизнь. Правило жизни — самоотвержение. Не мир своими благами обязан служить притязаниям лица, а лицо своими делами обязано оправдать свое появление в мире. Стрдание признается благодатным призывом к этому оправданию, а житейская радость — напоминанием о ее незаслуженности. Христианин растворяет горечь страдания отрадною мыслью о подвиге терпения и сдерживает радость чувством благодарности за незаслуженную милость. Эта радость сквозь слезы и есть христианская грусть, заменяющая личное счастье. Христианская грусть слагается из мысли, что личное существование должно служить целям мирового порядка, следовать путям провидения, и из чувства, что мое личное существование не оправдывает этого назначения; значит, она слагается из идеи долга и чувства смирения. Говорим о христианской грусти не по нравственному христианскому вероучению, которое учит не грустить, а надеяться и любить; разумеем грусть, какою она является в домашней практике христианской жизни, терпимой христианским нравоучением. Неподражаемо просто и ясно выразил эту практическую христианскую грусть истовый древнерусский христианин царь Алексей Михайлович, когда писал, утешая одного своего боярина в его семейном горе: «И тебе, боярину нашему и слуге, и детям твоим через меру не скорбеть, а нельзя, чтоб не поскорбеть и не прослезиться, и прослезиться надобно, да в меру, чтоб бога наипаче не прогневать».

Поэтическая грусть Лермонтова была художественным отголоском этой практической русско-христианской грусти, хотя и не близким к своему источнику. Она и достигалась более извилистым и трудным путем. Лермонтов родился и вырос в среде, в которой житейские условия воспитали неумеренную жажду личного счастья. Лучи образования, искусственно и не всегда толково проведенные в эту среду, возбудили, но не направили ее сонной мысли, не научили ее человечнее понимать людские отношения. Напротив, они сделали ее самоувереннее и притязательнее и развили в ней гастрономию личного счастья изысканными приправами; его стали искать не в одних материальных благах, не в одной бесцельной власти над ближним: науки и искусства, мировой порядок и само провидение обязаны были служить ему под опасением быть наказанными за ослушание сердитым пессимизмом и неверием со стороны такого прихотливого и раздражительного мирозерцания. Среди искусственной юридической и хозяйственной обстановки, доставлявшей много досуга, но мало побуждений к размышлению, целые поколения образованных господ и госпож питались таким мирозерцанием, жертвуя прямыми своими интересами и обязанностями усилиям воспитать в своей среде безукоризненные образцы тонкого вкуса и изысканного общежития. Эти поколения и создали ту удивительную культуру сердца, которая утонченностью и ненужностью воспитанных ею чувств, соединенных с крайне неустойчивою нервною и моральною системой, так напоминает старинную барскую теплицу с ее дорогою и прихотливою флорой, способною занять ботаника только разве тем, что она служила удачным опытом борьбы с климатом и хозяйственным смыслом. По лучшим произведениям нашей беллетристики пятидесятих и шестидесятих годов еще памятно превосходно изображенные образчики этой тепличной, нервной, сантиментально-вялой и нравственно-уступчивой культуры.

Сильному уму не много нужно было усилий, чтобы понять противоречие столь искусственно сложившейся и хрупкой среды. Лермонтов стал к ней в двусмысленное отношение. Родившись в ней и привыкнув дышать ее воздухом, он не восставал против коренных ее недостатков; напротив, он усвоил много дурных ее привычек и понятий, что делало столь неприятным его характер, как и его обращение с людьми. Редко платят такую тяжелую дань предрассудкам и порокам своей среды, какую заплатил

Лермонтов. Он был блестящей иллюстрацией и печальным оправданием пушкинского *Поэта*, в минуты безделья, пока божественный глагол не касался его слуха, умел быть ничтожней всех ничтожных детей мира или по крайней мере любил таким казаться. Но при таком практическом примирении с воспитавшей его средой тем недолимее было его нравственное отчуждение от нее. Он как будто мстил ей за противные жертвы, какие принужден был ей принести, и при каждой оглядке на себя в нем вспыхивала горькая досада на это общество, подобная той, какую в увечном человеке вызывает причина его увечья при каждом ощущении причиняемой им неловкости. Поэт

...по праву мести
Стал унижать толпу под видом лестии...

По его признанию, общество всегда казалось ему собранием людей бесчувственных, самолюбивых в высшей степени и полных зависти, к которым он с безграничным презрением обращал свою ненависть. При виде этого «надменного, глупого света с его красивой пустотой» как ему хотелось дерзко бросить этому свету в глаза железный стих, облитый горечью и злостью! Но Лермонтову не из чего было выковать такой стих, и он не стал сатириком. В его стихе иногда звучала сатирическая нота, он был способен на злую и горькую остроту, но был лишен той острой горечи и злости, какую необходимо полить сатирический стих. У Лермонтова было слишком много лиризма, под действием которого сатирический мотив растворялся в элегическую жалобу, как это случилось с его *Думой*. Очень рано и выразительно сказалась эта связь сатирического негодования с ослаблявшей его грустью в одной мимолетной заметке 16-летнего поэта, уцелевшей в его тетради 1830 г.: «в следующей сатире всех разругать и одну грустную строфу». А потом, во имя чего восстал бы Лермонтов против порядков, нравов и понятий современного общества, во имя каких правил и идеалов? Ни вокруг себя, ни в себе самом не находил он элементов, из которых можно было бы составить такие правила и идеалы; ни наблюдение, ни собственное мирозерцание не давали ему положительной сатирической темы, без которой сатира превращается в досужее зубоскальство. Лучшее, что он мог заимствовать у своего общества, была все та же эстетическая культура сердца, заменявшая нравственные правила тонкими чувствами, общественные и другие идеалы — мечтами о личном счастье.

Он возмущался против общества, среди которого вращался, но мирился с общежитием, к которому привык.

Я любил

Все обольщенья света, но не свет...

Однако он чувствовал, что этими обольщениями он нравственно связан и с самым нелюбимым светом, и не мог порвать этой связи, хотя порой и стыдился ее. От этого света вместе с понятиями и привычками унаследовал он и раннюю возбужденность чувств, которой сам дивился и которой любил наделять своих героев: трех лет он плакал, растроганный песнью матери, десяти лет был уже влюблен. Ему тяжело было поднимать сатирический бич на это общежитие, хотя порой он и хлестал им самое общество и даже страдал за это. Ему пришлось бы бить по собственным больным местам, до которых и без того было больно дотронуться. Не имея сил бичевать испорченное общежитие, с которым он так тесно соприкасался, он обратил печальную мысль на болезни, которыми сам заразился через это соприкосновение. Эта печаль прошла две фазы в своем развитии. Первая была порой бурного и ожесточенного разочарования. Прежде всего своею тревожною мыслью и тонким чутьем поэт постиг пустоту и призрачность тех благ, из которых люди его общества строили свое личное счастье и в которых он сам искал его.

И презирал он этот мир ничтожный,
Где жизнь — измен взаимных вечный ряд,
Где радость и печаль — все призрак ложный,
Где память о добре и зле — все яд.

Это зрелище развеяло его собственные юношеские мечты и отравило ему вкус жизни. Бывало, и он молил о счастье. Теперь

...тягостно мне счастье стало,
Как для царя венец...

После, незадолго до смерти, в *Валерике*, поражающим сосредоточенною и жестокою печалью, которую так редко выдерживал Лермонтов, он в сжатой, как бы схематической исповеди изложил ход своего разочарования, последовательными моментами которого были: любовь, страдание, бесплодное раскаяние и, наконец, холодное размышление, убившее последний цвет жизни. Невозможно счастье, так и не нужно его, — таков был несколько надменный и детски-капризный вывод, вынесенный поэтом из первых житейских испытаний. Но эти самые

утраты и поражение «сердца, обманутого жизнью», помогли поэту одержать важную победу над своим сомнением. Верный духу и мирозерцанию своей среды, он начал сознательную жизнь мыслью, что он — центр и душа мирового порядка. В одном письме 18-летний философ, размышляя о своем «я», писал, что ему страшно подумать о том дне, когда он не будет в состоянии сказать: я, и что при этой мысли весь мир превращается для него в ком грязи. Теперь он стал скромнее и в *Думе* пропел похоронную песню ничтожному поколению, к которому принадлежал сам. Эта победа облегчила ему переход в новую фазу его печального настроения, в состояние примирения с своею печалью. Он переставал волноваться и скорбеть о своей «пустынной душе», опустошенной «бурями рока», и понемногу населял ее мирными желаниями и чувствами. Наскучив бурями природы и страстей, он начинал любить

Поутру ясную погоду,
Под вечер тихий разговор...

Присматриваясь к этим мирным явлениям природы и к тихим разговорам людей, он стал чувствовать, что и счастье может он постигнуть на земле, и в небесах видит бога. Счастье возможно, только надобно сберечь способность быть счастливым, а если она утрачена, следует довольствоваться пониманием счастья: так переиначился теперь прежний взгляд поэта. Из этого признания возможности счастья и из сознания своей личной неспособности к нему и слагалась грусть Лермонтова, какой проникнуты стихотворения последних шести-семи лет его жизни.

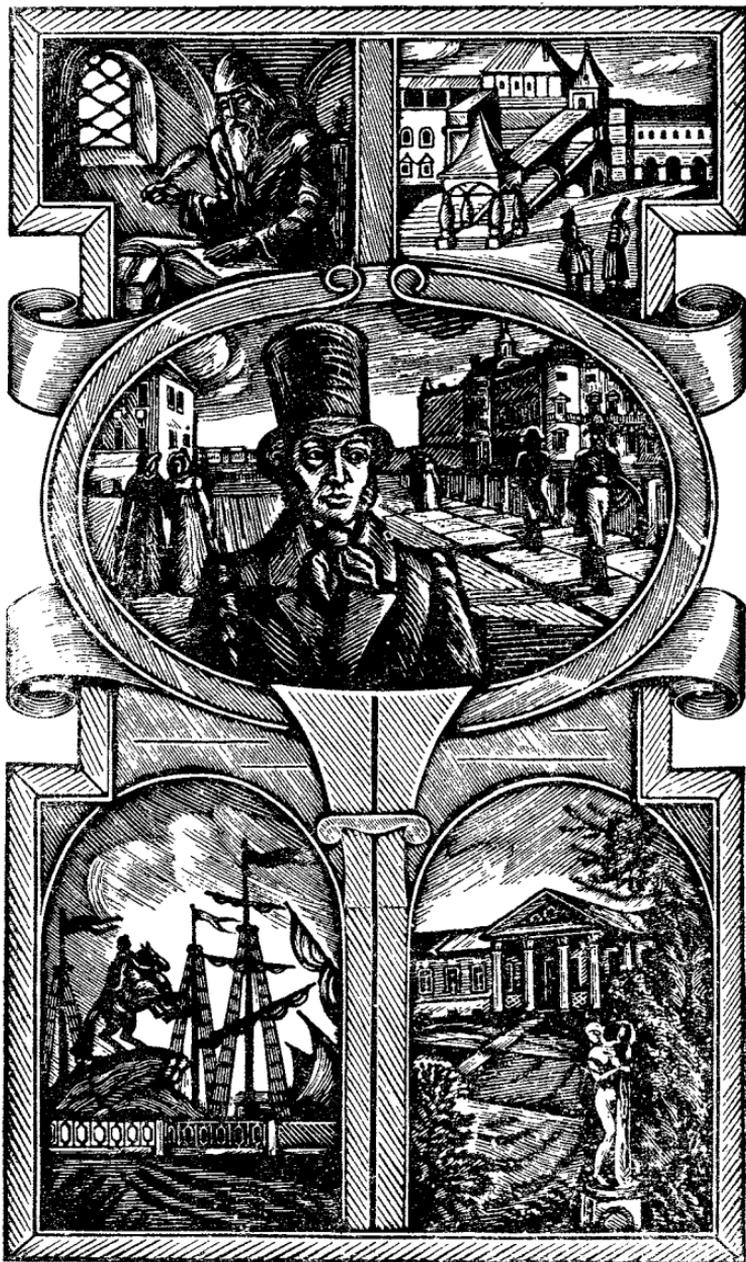
Теперь может показаться странным и непонятным процесс, которым развивалось поэтическое настроение Лермонтова. Это развитие, конечно, направлялось особенностями личного характера и воспитания поэта и характером среды, из которой он вышел и которая его воспитала. Изысканно тонкие чувства и мечтательные страдания, через которые прошла поэзия Лермонтова, прежде всего нашла и усвоила свое настоящее настроение, теперь на многих, пожалуй, произведут впечатление досужих затей старого барства, и нужно уже историческое изучение, чтобы понять их смысл и происхождение. Но самое настроение этой поэзии совершенно понятно и без исторического комментария. Основная струна его звучит и теперь в нашей жизни, как звучала вокруг Лермонтова. Она слышна в господствующем тоне русской песни —

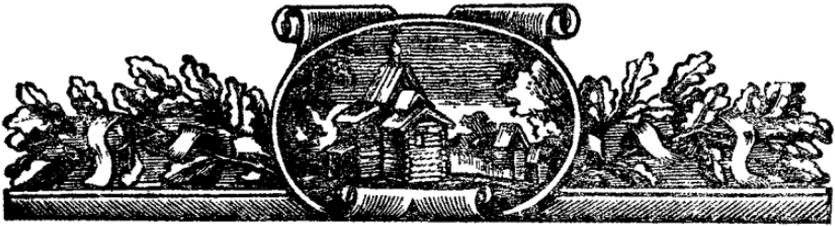
не веселом и не печальном, а грустном. Ее тону отвечает и обстановка, в какой она поется. Всмотритесь в какой угодно пейзаж русской природы: весел он или печален? Ни то, ни другое: он грустен. Пройдите любую галерею русской живописи и вдумайтесь в то впечатление, какое из нее выносите: весело оно или печально? Как будто немного весело и немного печально: это значит, что оно грустно. Вы усиливаетесь припомнить, что где-то было уже выражено это впечатление, что русская кисть на этих полотнах только иллюстрировала и воспроизводила в подробностях какую-то знакомую вам общую картину русской природы и жизни, произведшую на вас то же самое впечатление, немного веселое и немного печальное,— и вспомните *Родину* Лермонтова. Личное чувство поэта само по себе, независимо от его поэтической обработки, не более как психологическое явление. Но если оно отвечает настроению народа, то поэзия, согретая этим чувством, становится явлением народной жизни, историческим фактом. Религиозное воспитание нашего народа придало этому настроению особую окраску, вывело его из области чувства и превратило в нравственное правило, в преданность судьбе, т. е. воле божией. Это — русское настроение, не восточное, не азиатское, а национальное русское.

На Западе знают и понимают эту *резиньяцию*; но там она — спорадическое явление личной жизни и не переживалась как народное настроение. На Востоке к такому настроению примешивается вялая, безнадежная опущенность мысли, и из этой смеси образуется грубый психологический состав, называемый фатализмом. Народу, которому пришлось стоять между безнадежным Востоком и самоуверенным Западом, досталось на долю выработать настроение, проникнутое надеждой, но без самоуверенности, а только с верой. Поэзия Лермонтова, освобождаясь от разочарования, навеянного жизнью светского общества, на последней ступени своего развития близко подошла к этому национально-религиозному настроению, и его грусть начала приобретать оттенок поэтической резиньяции, становилась художественным выражением того стиха-молитвы, который служит формулой русского религиозного настроения: *да будет воля твоя*. Никакой христианский народ своим бытом, всею своею историей не прочувствовал этого стиха так глубоко, как русский, и ни один русский поэт доселе не был так способен глубоко проникнуться этим народным чувством и дать ему художественное выражение, как Лермонтов.

ДЕЯТЕЛИ
ИСТОРИЧЕСКОЙ
МЫСЛИ







И. Н. БОЛТИН

(умер 6 октября 1792 г.)

Сто лет прошло со смерти Болтина¹. Имя этого русского историка давно забыто, а его труды по русской истории перестали читать, кажется, даже раньше, чем перестали помнить имя их автора. Его тяжеловесные фолианты давно вышли из состава оборотной русской исторической литературы, которой питается русская любознательная публика, и отложены в запасный фонд русской историографии, до которого редко дотрагивается даже рука специалиста. Шлецер² своим критическим исследованием о Несторе, изданным в начале нынешнего столетия, отодвинул Болтина от внимания исследователей отечественной истории, а Карамзин своим блестящим трудом закрыл его от глаз читающей русской публики. Но в свое время Болтин пользовался известностью как знаток русской истории. Сам надменный Шлецер, с немецким пренебрежением относившийся ко всем русским исследователям русской истории, для Болтина допускал исключение, признавая его единственным русским историком, кое-что смыслившим в истории своего отечества. Пользуясь столетнею годовщиной Болтина, можно вспомнить этого историка и не столько его самого, сколько его время, те условия, при которых выработывалась историческая мысль этого писателя, не самого блестящего, но одного из самых умных и приятных русских писателей XVIII в. На поминках говорят не столько о самом покойнике, сколько о том, что любил он, а Болтин больше всего любил Россию своего времени.

Он был сам виноват в том, что его учебно-литературная известность была так скоротечна. Прежде всего он

сам слишком мало заботился о приобретении и упрочении такой известности. Он не был ученым-историком по профессии. Его практическая деятельность шла вдали от летописей и архивов: начав службу рядовым конногвардейского полка, он продолжал ее чиновником таможенного ведомства и кончил генерал-майором и членом военной коллегии. К этому надобно прибавить, что Болтин был деловитым и добросовестным служакой, а потому не располагал большим досугом. Но он находил время учиться, много читал и с особенным прилежанием собирал втихомолку сведения по русской истории, считая знакомство с родною стариной нравственною обязанностью образованного человека. Русскому образованному человеку того времени было гораздо труднее исполнить эту обязанность, чем теперь: тогда это не значило выслушать курс русской истории в высшем учебном заведении или прочитывать несколько популярных сочинений по этому предмету. Тогда надобно было самому кропотливо собирать источники и разбираться в них, запастись вспомогательными средствами для их чтения и истолкования, наводить мелочные справки; в то время, чтобы быть студентом русской истории, необходимо было стать для самого себя профессором этого предмета.

Правда, тогда существовали уже два важные пособия, значительно облегчавшие труд изучения отечественной истории. Одно из них состояло в появлении любительских собраний отечественных древностей. В наше время занимающемуся изучением русской истории открыто много казенных и общественных древнехранилищ, музеев и архивов, в которых собраны разнообразные памятники русской старины, письменные и вещественные; есть и частные богатые коллекции, любезные владельцы которых радушно делятся своими сокровищами с теми, кто в них нуждается. В прошедшем столетии собрания первого рода были неизвестны или трудно доступны, а последние очень редки. Было богатое собрание рукописей по русской истории у отца русской научной историографии В. Н. Татищева, но оно сгорело вскоре по смерти владельца в его подмосковском имении (умер в 1750 г.). Известный академик и историограф Миллер³ также скопил обильный запас рукописных материалов по русской истории, который был куплен императрицей Екатериной II и вошел в состав московского архива Министерства иностранных дел. Много старинных рукописей и бумаг осталось после комиссара и подрядчика вре-

мен Петра I Крекшина, пытавшегося описать жизнь преобразователя и долго собиравшего материалы для его истории. Эти рукописи и бумаги были потом куплены А. И. Мусиным-Пушкиным и вошли в состав его драгоценной рукописной библиотеки, той библиотеки, гибель которой в московский пожар 1812 г. никогда не перестанет вызывать тяжелый вздох из груди всякого, кто не считает изучения русской истории бесполезным делом. Этот самый граф Мусин-Пушкин, церемониймейстер двора, а потом обер-прокурор св. Синода и президент академии художеств, был типическим представителем образовавшегося в царствование Екатерины II кружка «любителей отечественной истории», как они сами себя называли.

Это коллекционное любительство и надобно признать вторым важным пособием, много содействовавшим успешному изучению русской истории во второй половине прошлого столетия. Немного странно ставить наклонность к собиранию памятников родной старины, спорт своего рода, в числе научных исторических пособий наряду с географическими картами, указателями, словарями и т. п. Но эта наклонность у Мусина-Пушкина и его ученых друзей осложнялась такими качествами, соединена была с такими задачами, благодаря которым ее грешно было бы назвать простым спортом. Эта наклонность поддерживалась в них таким взглядом на дело и такою любовью к нему, которыми они умели до некоторой степени восполнять недостаток технических пособий и одолевать научные затруднения, какие ставил этот недостаток изучению отечественной истории. Их антикварский дилетантизм поддерживался побуждениями, не похожими на те, коими руководились Татищев и Миллер. Эти последние имели в виду цели практического или профессионального свойства. Первый из них, деловой человек суровой петровской школы, горный чиновник-золотоискатель, а потом губернатор, приведен был к собиранию и ученой обработке материалов для истории и географии России государственною нуждой, административною потребностью в исторических и географических справках. Для второго эта работа была делом по долгу службы, как русского академика и историографа по штатной должности с окладом. В любителях русской старины, подобных Мусину-Пушкину, можно заметить некоторую родственную связь с практическим взглядом Татищева на дело: и они видели в своем занятии служение на пользу отечества. Но, как занятие добровольное, не положен-

ное в число штатных обязанностей русского гражданина, оно соединено было с неприятностями и требовало некоторой доли самоотвержения, гражданского мужества. Не говорим о том, что такой любитель-коллекционер на каждом шагу подвергался опасности потратить даром время и деньги, впасть в забавную погрешность по самой новости дела, по недостатку технических пособий. В образованном русском обществе того времени оставалось еще немало людей, не умевших растолковать себе смысла этого патриотическо-археологического донкихотства. Они видели в этом занятии досужую затею, привлекательную разве только по своей бесспорной ненужности, и, слыша о жертвах, приносимых этому странному делу, разводили руками с таким же комичным удивлением, с каким встретили бы мы газетное известие о спортсмене, решившемся проползти ничком от Москвы до Петербурга. Зато и наши спортсмены «родной старины» мстили своим насмешникам самым беспощадным христианским великодушием: они не только весело, без ненависти и злости шли по саркастическому терновнику, которым усыпали их плохо протоптанный путь, но даже находили досуг выражать сожаление о людях, которые принимали на себя неблагодарный и непосильный труд смеяться над ними. Так, Мусин-Пушкин, говоря в одном из своих ученых изданий о людях модного французского воспитания, тех самых людях, которые особенно ядовито глумились над любителями старины и более всего отечественной старины, с непритворною жалостью скорбит о том, что, привыкши просыпаться за полдень, никогда не видали они красоты солнечного восхода и не испытали удовольствия слушать утреннее божие славословие. Это были превосходные живые сюжеты для тогдашнего водевиля; но они нисколько не боялись опасности увидеть в театре самих себя из партера на сцене. Такой счастливый характер, надобно думать, вырабатывался в них при помощи их своеобразного отношения к предмету своей охоты: в свою возню с манускриптами они вносили такой взгляд на дело или, выражаясь любимым словечком их же собственного изделия, такое «умоначертание», которое помогало им не только побеждать технические трудности чтения и разумения древних летописей и актов, но даже понимать и ценить столь обветшалое и отсталое нравственное и политическое миросозер-

цание, какое светится сквозь неуклюжие и неразборчивые строки этих незанимательных для тогдашнего философского ума и сердца произведений отжившего суеверия и произвола. Эти археологические Плюшкины были не простые любители-собиратели от скуки или по дурной привычке, а набожные поклонники отечественной старины; собрание древнего письменного тряпья и металлического хлама было для них не развлечением от нечего делать, а делом пиетета, нравственно-патриотического влечения, одним из способов служения человечеству, как тогда любили говорить. Среди пыльной ветоши, уцелевшей от родной старины наперекор времени и на зло тогдашним абстрактным инженерам будущего, для наших наивных и конкретных любителей старины не было вещей нужных и ненужных, памятников более важных и менее важных: всякая древняя русская рукопись, всякая древняя монета, найденная в пределах России, еще прежде, чем они успевали ее прочесть и обследовать, самим своим видом, каждая по-своему, вещала им о родной старине, была наглядным и осязательным выражением ее духа. На их благоговейный археофильский взгляд эти ветхие хартии и свитки в своих таинственных складках хранили то, что выветрилось из легкомысленных современных умов и сердец, добрые обычаи старины, «отцов наших почтенные нравы», черты самобытного национального характера. Это не могильные памятники с печальными надписями об угасшей жизни; это молчаливые сторожа, оставленные при народном сокровище на время иноземного нашествия и ждущие возврата хозяина — русского национального самосознания. Наши любители, кажется, и на самих себя начинали смотреть тоже как на сторожей, приставленных оберегать собираемые ими памятники до появления историографа, который бы по ним достойно воссоздал историю отечества. Не считая себя призванными к такому делу, они относились довольно платонически к вещам, которыми они так дорожили. Внимательно рассматривая скопидомно собираемые ими рукописи, «извлекая из-под спуда кроющиеся в них и свету неизвестные древности нашей отрывки», они обогащали свои исторические познания и при этом на каждом шагу встречали любопытные новости, иногда делали и капитальные открытия, от которых затуманились бы глаза у современного специалиста. Находка Мусиным-Пушкиным *Слова о полку Игореве*, изданного им в 1800 г., была

блестящим завершением патриотических усилий наших антиквариев-любителей XVIII в. Но это были сдержанные открыватели, не спешившие выставлять напоказ свои архивные Америки; они вообще мало и осторожно издавали, особенно под своими именами, еще меньше печатали ученых исследований, довольствуясь комментариями издаваемых памятников. Это не уменьшает огромной услуги, оказанной ими русской историографии: они сберегли много драгоценных памятников нашей старины, возбуждали интерес к ней в равнодушном к предметам подобного рода обществе, и каким бы досужим бездельем ни казались еще многим в этом обществе их археологические хлопоты, они своим влиятельным положением в свете ободряли более робких и не так благоприятно поставленных работников. Вспомнить о них — значит пожалеть, что их уж нет.

Такое отношение к памятникам старины не могло не оказать действия на направление и задачи исторического их изучения, говоря точнее, это отношение само устанавливалось теми же задачами, какие ставили себе патриоты-любители при этом изучении. Отечественная история не была для них только предметом научной любознательности; они искали в ней ответов на живые практические запросы и нужды текущей жизни, надеялись найти в ней восполнение того, чего, по их мнению, недоставало современному русскому обществу. Таким образом, их любопытство вполне органическим стимулом входило в состав цельного общего взгляда, какой к концу XVIII в. установился в тесном кругу русских образованных людей на русскую историю, на задачи и приемы изучения русского прошедшего и на отношение этого прошедшего к современному положению вещей.

Обдуманное и своеобразное выражение этого взгляда находим в сочинениях Болтина. Он сам принадлежал к числу описанных любителей и был одним из наиболее видных по уму и образованию людей в их кругу. Довольно трудно рассказать, каким процессом мысли и изучения выработался у него этот взгляд. У него заметно еще меньше писательского нетерпения, чем у других подобных ему любителей того времени. Он не был охотником выставлять свои ученые занятия напоказ, предпочитая вести их втихомолку, хотя и любил вместе с другими провозглашать, что извлечь из-под спуда неизвестные свету остатки русской древности значит «услужить отечеству». До преклонных лет он, по-видимому, все еще счи-

тал себя учеником, все готовился. Некоторые вскрывшиеся потом следы этой подготовки показывают, как он тяжело вооружался. Объездив чуть не всю Россию, везде ко всему прислушиваясь и присматриваясь, изучая нравы, обычаи, костюмы, говоры, промыслы и общественные отношения, он в то же время «чрез многие лета в отечественной истории упражняясь», делал выписки из русских летописей, грамот и других сочинений, составлял общий географический словарь России, изучал язык памятников древнерусской письменности и начал составлять толковый славяно-русский словарь. Вместе со светскими людьми модного французского воспитания он усердно читал наиболее популярных писателей новой французской литературы: Бэйля, Вольтера, Монтескье, Мерсье⁴, Рейналя, Руссо и других, и в то же время изучал более старых и даже средневековых западных историков и публицистов: Лорьера, Конринга, Шопена, Буше, Клеманжи, Бомануара⁵, не исключая и писавших по-латыни Бодена⁶ с его *Методом* и Потгизера (*De conditione et statu servorum apud Germanos*). По усвоенной смолоду привычке делать выписки из читаемой книги, рукописи, документа Болтин накопил себе путем разнообразного и усидчивого многолетнего чтения огромный запас бумажного материала; после него осталось до ста связок разных его рукописей, которые куплены были Екатериной II. В числе этих бумаг оказался даже сделанный Болтиным и собственноручно перебеленный перевод французской энциклопедии. Что цельного могло выработаться из такого разнообразного изучения и какое научное или практическое употребление надеялся Болтин сделать из своего запаса цитат, переводов, заметок, записок, житейских наблюдений, исторических анекдотов? Он вел эти работы для себя, «для собственного моего удовольствия», по его признанию, руководясь своею личною любознательностью и не ставя себе никакой определенной учено-литературной цели. Но он был слишком умен, рассудителен и практичен, притом до самой смерти слишком занят по службе, чтобы стать бесцельным кабинетным мешком книжной всякой всячины, уличным коробейником своего настольного любимца Бэйлева словаря или праздным салонным разносчиком пикантных идей французских энциклопедистов. Эти разносторонние изучения и наблюдения должны были объединяться какою-нибудь более серьезною целью или по крайней мере разумным побуждением, которое и вскры-

лось случайно. Когда Болтину неожиданно для него самого пришлось мобилизовать для литературной полемики разнообразные исторические, географические, этнографические и другие познания, они у него оказались в готовности и обдуманно и искусно направлены были к одной цели, к возможно многостороннему и глубокому уяснению памятников и смысла отечественной старины и ее связи с настоящим состоянием России. Стало быть, эти сведения заготавливались и обрабатывались с тою же целью, хотя при этом и не имелось в виду, что какой-нибудь иностранец Леклерк⁷ заставит взяться за перо и привести весь заготовленный арсенал в боевое печатное движение. В Болтине по его характеру и «умоначертанию» при той обстановке, в какой он вращался, и без иностранца Леклерка могла родиться потребность в историческом изучении, направленном к такой цели. В самом русском обществе, как и в русской литературе того времени, стоял такой хаос исторических, политических, моралистических и разных других суждений, увлечений и недоразумений, от которого у размышляющего и восприимчивого человека могла закружиться голова и заколебаться почва под ногами, и у рассудительного патриота само собою рождалось желание собственными усилиями приобрести твердую точку опоры среди этого вавилонского столпотворения и отдать себе отчет в том, что творится вокруг, откуда все это пошло и как все это привести в порядок. Нравственно-патриотическая потребность приобрести возможную устойчивость, говоря его словами, «в защищении правды и отечества» от кривых или спутанных толков, раздававшихся вокруг, заставила Болтина приняться за разностороннее историческое изучение «для собственного удовольствия», не помышляя об ученом авторитете. Он хотел освоиться с прошедшим и настоящим России, с прошедшим и настоящим Западной Европы; как военный человек, он считал необходимым для усиления своей боевой готовности привести себя в состояние становиться фронтом на все четыре стороны, но главный его фронт был обращен в сторону отечественной старины, наименее укрепленную и подвергавшуюся наиболее отважным нападкам со стороны «напоенных сенским воздухом гг. наших полуфранцузов», как выразился Н. И. Новиков. На этой оборонительной линии Болтин хотел приобрести полную самостоятельность, черпать научные средства из самых источников и не боялся неопытной работы их очистки, со-

бирал и сличал летописи, проверял и восстанавливал тексты, толковал темные слова и обороты древнего языка. При сходстве интересов и понятий он сблизился с Мусиным-Пушкиным, «крайним древностей наших любителем», как он его называл, и засиживался в богатой рукописной библиотеке своего приятеля, торопливо просматривая надписи и почерк рукописей. Скрытая грусть звучит в его словах, когда он за три года до своей смерти писал, полемизируя с кн. Щербатовым, что не имел еще времени прочесть все эти заманчивые редкости, обещающие много важных открытий, как бы предчувствуя, что он уже не успеет это сделать.

Болтин пользовался авторитетом глубокого знатока русской истории среди людей, его знавших и интересовавшихся этим предметом. К нему обращались за указаниями, спрашивали о его мнениях; сама императрица пользовалась его содействием в своих занятиях русской историей и даже отдавала на его суровый суд то, что она, по ее выражению, «марала по истории» (*que je griffonnais sur l'histoire*). Но ему было уже 50 лет, а в русской литературе еще не появлялось прямых следов, накопленных его многолетними трудами исторических знаний. Вероятно, эти знания вместе с ним и умерли бы, если бы с 1783 г. не начала издаваться в Париже под пышным заглавием *История древней и новой России* некоего Леклерка. Не случилось ничего особенного: французский врач по профессии и русский педагог, даже почетный член русской Академии наук, по игре случая, по авантюре, чувствительный поэт и аферист, немножко Дон-Кихот и немножко Хлестаков, Леклерк перехватил наскоро несколько известий у своего соотечественника Левека⁸ и несколько у русских своих корреспондентов, в том числе у кн. Щербатова, и, сказав, как умел, сообщенное ему и им прочитанное, смастерил из всего этого многотомную книгу, в которой обещал изложить всестороннюю историю России, т. е. дал читателю кучу «всякой всячины», как выразился Болтин. Между прочим, новый историк наговорил немало обидных вещей для русского национального самолюбия и наделал много новых ошибок, которых не успели еще сделать другие историки России. Все это было в порядке вещей: к иностранным щипкам национального самолюбия давно уже привыкло русское общество, а в сфере новых ошибок за иностранными повествователями о России и тогда признавалось, как признается теперь, право на бесконечные

новизны и открытия. Это право еще до Леклерка было подтверждено Вольтером, который на запрос, зачем он в своей книжке о Петре Великом искажил доставленные ему из России материалы, отвечал, что он не привык слепо списывать со всего, что ему присылают, что у него есть свой взгляд. Однако ворчливый старик Болтин, читая «лжи и клеветы» Леклерка на Россию, вскипятился не хуже набожного старообрядца, у которого в молельной накурили табаком, и он вознегодовал не столько на французского курильщика, сколько на нечестивый смрад, им напущенный. Он принялся писать критические примечания и писал их для себя, для удовлетворения своего возмущенного чувства, не помышляя об их издании; но, говорят, кн. Потемкин и другие приятели критика уговорили его приготовить разбор книги Леклерка к печати, а императрица в 1788 г. на свой счет издала этот труд в двух томах. Один из корреспондентов Леклерка, кн. Щербатов, сам автор обширной истории России, почувствовал себя задетым критикой Болтина и возражал. Болтин отвечал, и загорелась полемика, следствием которой были новые два тома критических примечаний Болтина на первые томы истории кн. Щербатова.

Остается поблагодарить «дерзкого клеветника и сущего вралю», как не совсем учтиво величает сердитый генерал-майор своего противника: своею легкомысленною болтовней заносный историограф заставил туземного знатока выйти из его любительского молчания и выступить с готовым цельным и стройным взглядом на прошедшее и настоящее России, т. е. с такою новостью, которая едва ли не впервые появлялась в нашей литературе с выходом толстых книг Болтина в четвертую долю листа. Но этому взгляду по самому характеру своего труда критик не мог придать цельного изложения, высказывал его по частям, осколками, когда разбираемая книга давала к тому повод. Только собирая и склеивая эти разбросанные в разных местах осколки, можно восстановить цельность и стройность исторических воззрений Болтина, впрочем, со значительными недомолвками и пробелами, которые можно восполнить только догадками.

Этот взгляд имел самую тесную связь с ходом просвещения в России XVIII в. и, рассматриваемый отдельно от него, покажется совершенно неожиданным. В самом деле, человек, имевший европейское образование, черпавший знание и идеи из тех же источников, которые

ми питались тогдашние русские вольтерьянцы, этот самый человек высказывал воззрения, очень близкие ко взглядам его противника кн. Щербатова, только без сентиментальности последнего. Болтин нередко выступает одним из тогдашних стародумов допетровского закала, своего рода боковым предком славянофильства,— и это со своим любимым словарем Бэйля в руках!

Такие кажущиеся несообразности в явлениях русского просвещения XVIII в. происходили оттого, что русский просвещенный человек того века при видимой своей педагогической простоте и элементарности был очень сложным умственным и нравственным составом, в который входили разные культурные элементы, притом в разнообразных сочетаниях, иногда очень досуже и замысловато придуманных. Прежде всего над этим составом много поработало законодательство, применяя его то к текущим практическим и притом материальным нуждам государства, то к отвлеченным воззрениям законодателей, руководившихся лишь снисходительным вниманием к потребностям общества, а иногда вступавшим даже в открытую полемику с его понятиями и вкусами. Достаточно припомнить превосходный в своем роде *Устав шляхетного сухопутного кадетского корпуса для воспитания и обучения благородного российского юношества 1766 г.* с сопровождающими его педагогическими трактатами, чтобы видеть, каким сложным санитарно-морально-дидактическим процессом надеялись тогдашние руководители воспитания «вкоренить в нежные сердца добронравие и любовь к трудам, словом, новым воспитанием новое бытие нам даровать и новый род подданных произвести». С своей стороны и русское общество приложило старание, чтобы еще более осложнить состав русского просвещения, вводя в воспитание юношества если не прямо антилегальные, то внелегальные и большею частью решительно антипедагогические элементы и мотивы, например, знакомя 12—13-летних недоростков с пикантными произведениями тогдашней французской литературы. Благодаря этому участию общества в воспитании своего юношества предписанные педагогические программы иногда получали такое практическое исполнение и приводили к таким наглядным результатам, к таким нравственным и умственным формациям, каких и не предвидел законодатель, и он уж, конечно, не начертал бы такой программы, если бы их предвидел. Законодательству не привыкать терпеть такие неудачи. Известно,

какое трудное и великое дело составить удачный закон. «Не так легко писать законы, как для больных рецептов», — ядовито замечает Болтин в одном месте Леклерку, коля ему глаза его ремеслом. Но двусторонняя рецептура русского просвещения XVIII в. не прошла легко и бесследно. Трудно объяснить, как это случилось, но можно заметить, что это просвещение начало плескаться в противоположные стороны, подобно беспорядочно взболтанной воде в мелком сосуде. В русском просвещенном обществе все заметнее выступали резкие крайности, неговорчивые контрасты, вытесняя переходные, уживчивые и житейски удобные комбинации; происходила своего рода поляризация просвещения. Взгляды обращались в противоположные стороны, потому что, как выразился один русский писатель начала XVII в. о своих современниках, каждый повертывался спиной к другому, и одни смотрели на восток, а другие на запад. Одни, познав просвещение, ничего уже не хотели знать, кроме просвещенных стран, и отворачивались от своего отечества, подобно сумароковскому петиметру, который и своего русского языка знать не хотел и жаловался, зачем он родился русским. Другие, наблюдая печальные плоды просвещения в современной действительности, отворачивались от нее и от самого просвещения и переселялись помыслами и чувствами в допетровскую старину, где искали добрых нравов и самобытных понятий и находили все это, находили и много такого, чего там не было, но чего искали. Русские полуфранцузы, ослепленные светом европейского просвещения, не видели уже ничего светлого в родной среде, и она в их глазах наполнялась непроглядною тьмой, а архирусские староверы мысли, насмотревшись на эти темные пятна современно-го просвещения, боязливо или брезгливо закрывали глаза и мысленно переносились в прошедшее; но свет бил и на их опущенные веки, и под его болезненным действием их исторические воспоминания превращались в фантастические миражи. Так и западное просвещение, и русская действительность с обеих сторон терпели напраслину и становились без вины виноваты: первое — в том, что им не умели пользоваться и, вместо того чтобы освещать темные предметы, слепили их собственные глаза, а вторая — в том, что в ней искали того, чего не находили или находили то, чего не желали.

Зрелище странного движения представило бы русское просвещенное общество, если бы составилось толь-

ко из чистых западников и восточников, повернувшихся спинами друг к другу, среди многого множества людей непросвещенных, но тоже кое о чем размышлявших,— это общество лебедя, щуки и рака. К счастью, приблизительно с половины века, с того времени, когда сверстники Болтина выходили из детства, а в это общество стали проникать или в нем самом пробивались новые течения, под влиянием которых оба господствовавшие в нем непримиримые типа просвещенных людей начали разлагаться и перерождаться, образуя новые культурные составы, между которыми стали возможны мирные встречи и обоюдные уступки. Прежде всего господство Бирона и немцев, нашествие «сатаны и аггелов его», по выражению елизаветинских церковных ораторов, вместе с внешними успехами России пробудили патриотическое одушевление, чувство народной гордости. Потом под накладные французские парики стали проникать новые заносные идеи, и их встречали там тем гостеприимнее, что они были землячки этих париков, приходили с тех же сенских берегов, на которых еще до их прихода поселились сердцем их новые послушные адепты. С одной стороны, «молодые кошуны, ненавидящие свое отечество», как их характеризовал потом Новиков, привыкшие пересмежать самые добродетели предков наших, под давлением патриотической возбужденности окружающих стали поджимать губы и внимательнее присматриваться к столь неожиданно для них ободрившейся отечественной действительности, а новые просветительские идеи, упавшие на бригадирских Иванушек как новая повинность светского приличия, вообще приневоливали их серьезнее смотреть на вещи. Перед этим более серьезным взглядом все заметнее выступали пятна и в западном влиянии, и в проводившей его у нас реформе Петра, с которой западники вели бытие России и свое собственное. Скептическое отношение к Западной Европе овладевало даже такими людьми, которые по своему образованию не могли быть суеверными европеодами и сами много черпали из европейского культурного запаса для своего просвещения: подобно Фонвизину, они только и замечали в Европе, что там-то «во всем генерально хуже нашего», а там-то «весьма много свинства» и т. п. С своей стороны, и идиллики родной старины стали благосклоннее относиться к людям модного воспитания, замечая в них зачатки серьезного мышления; начали трезвее смотреть на отечественную старину и на Западную Европу, а что было

всего важнее, пришли наконец к той простой, но всегда трудно усвояемой мысли, что великие предки не могли совершенно выродиться в негодных потомков, не оставив достойных продолжателей своего дела, что старина живет в современной действительности. Так обе стороны сделали взаимные уступки: одни поступились несколько своими западными идеалами, другие — своими противоевропейскими антипатиями и археологическими иллюзиями, а те и другие вместе — своим общим равнодушием к настоящему положению отечества. Внимание к современной действительности, расширяясь и усложняясь новыми интересами и чувствами, постепенно выросло в любовь к отечеству. Эта любовь и послужила почвой, на которой враждебные воззрения могли встретиться мирно и понять друг друга. На страницах тогдашних журналов разыгрывались любопытные полемики и высказывались характерные признания. Так, в *Зрителе* 1792 г. западник из Орла, отвечая на упреки патриотов в наклонности унижать отечественное, пишет: «Вы душевно привязаны к своему отечеству, и я тоже. Как же одна причина могла произвести разные действия? А вот почему: вы любите его, как любовницу, а я — как друга». Когда противники заспорят о качестве своей привязанности к одному и тому же предмету, дело непременно кончится тем, что предмет общей привязанности сблизит и помирит соперников. Укоренившись на этой питательной почве, самые воззрения и настроения несколько переродились: если, с одной стороны, фетишистское поклонение Западной Европе стало сменяться почтительным отношением к западноевропейской науке, научною любознательностью, то и, с другой — чувство народной гордости переходило в чувство нравственной связи с родным народом, самопрославление сменялось стремлением к самопознанию. Эти перемены в воззрениях и настроениях не могли не оказать прямого действия и на ход, задачи и приемы исторического изучения, особенно изучения отечественной истории. Мысль *открыть свету* древность и славные дела русского народа, в чем видел задачу русской историографии Ломоносов, теперь соединилась с потребностью *уяснить себе самим* ход и смысл своего прошлого; потребность написать достойную историю своего народа усложнилась мыслью о необходимости прежде изучить ее основательно; наконец, нападки на русскую жизнь со стороны пробудили желание познакомиться для сравнения с историческою жизнью других стран.

Исторический взгляд Болтина вырос и воспитался на этой почве сближения и примирения враждовавших воззрений и настроений, и с этой стороны он сам по себе, помимо своих научных качеств, является выразительным признаком известного перелома в умах или известного уровня, до которого поднялось общественное сознание. Важно уже одно то, что это был *взгляд*, попытка составить себе ясное и отчетливое представление о целом предмете, которое, легко проникая в умственный оборот общества, незаметно направляло и исправляло ходячие мнения, будило общественную мысль, как несколько капель хорошего вина незаметно оживляют кровообращение.

Впрочем, мы поступили довольно произвольно, взявшись за определение особого *исторического* взгляда Болтина: такого *особого* взгляда у него не было. У него были убеждения и чувства религиозные, нравственные, политические, гражданские, в состав которых входили и известные исторические представления; но эти убеждения и чувства так органически срослись друг с другом при помощи единства своих оснований, а эти представления проходили через них такими неуловимыми нервными нитями, что их трудно разнять и расщипать на отдельные волокна. Его цельное «умоначертание» построено было так просто и уютно, что его неудобно разгородить на мелкие клетки, по которым можно было бы разместить его понятия и правила, одни по категориям чистого мышления, другие по соображениям житейской мудрости. Потому и исторический взгляд Болтина трудно выделить из общей связи его воззрений. Обсуждая современную действительность, он ни на минуту не забывал истории, как, объясняя историческое явление, он не выпускал из глаз своего времени. У него были свои мысли о прошедшем и настоящем России, как и свои чаяния о ее будущих судьбах. Но прошедшее и настоящее были для него только навязанные привычкой грамматические формы выражения непрерывного исторического процесса или оптические иллюзии, подобные впечатлению движущегося по небесному своду солнца. Трудно припомнить русского исторического писателя, который бы яснее сознавал, что старина живет в современном, и живет чувствовал в старине корни современного. Иногда он совершенно врасплох захватывает мысль читателя на далекой древности и ставит ее прямо перед каким-либо выразительным явлением своего времени, освещающим эту древность. Оспаривая мнение кн. Щербато-

ва, будто древние новгородцы вследствие своих торговых успехов и богатства привыкли к сластолюбию, Болтин утверждает, что торговля к сластолюбию не приучает, причем ссылается на пример торговых и воздержанных голландцев и тут же прибавляет: «Противное сему в самих себе обретаем, ни торговли, ни богатства не имея, в роскоши и сластолюбии всех богатейших народов превзошли». Тот же кн. Щербатов неловко рассказал о том, как Всеволод III⁹, желая подкрепить против врагов своего приятеля и киевского посаженника Рюрика, потребовал у него себе несколько городов из его княжества. Вот отличный друг, возражает Болтин, и надежное средство к подкреплению: подобным образом ныне (писано в 1789—1790 гг.) прусский король предлагает Польше, видя ее изнеможение, чтобы она для умножения своих сил уступила ему Данциг и Торн. Эту цельностью взгляда объясняется калейдоскопическое разнообразие аргументации у Болтина; чего-чего только не встретишь в его полемическом арсенале, начиная элементарной истиной исторической азбуки и кончая последним словом тогдашней политической и исторической литературы: рядом идут у него общий исторический закон и наивный архаический обычай русского захолустья, трактат о причинах возвышения цен в России XVIII в., замечания о значении счастья и свободы и историческая справка о том, как понимают поцелуй у разных народов. Такая видимая хаотичность — обычный признак мирозозерцаний, выработанных путем опыта и наблюдения на самом толоке жизни, а не в тишине закуренного кабинета, где отвлеченным мышлением отливаются математические схемы, прозрачные и кристаллически правильные, как альпийские льды, но зато ломкие и холодные, как они же. У Болтина графическая размеренность воззрений заменялась живою подвижностью гибкого соображения; у него все было так слажено и пригнано одно к другому, что его сложный научный прибор легко приводился в движение; житейское наблюдение влекло за собой ряд исторических соображений, из которых сами собой, без видимой нажимки, выпадали научный вывод или практическое правило.

Может быть, исторические суждения Болтина в свое время потому и не произвели заслуженного впечатления, что их нельзя было оторвать от всего склада его мыслей и убеждений, а тогда таких сложных и цельных умственных и нравственных складов не любили или не понимали в русском обществе. Здесь в тот век было не мало силь-

ных, даже слишком сильных и прямолинейных характеров, подобных однополчанину и приятелю Болтина кн. Потемкину, но было большою редкостью цельное мирозерцание. Вероятно, это происходило оттого, что сильные характеры создаются как-то природой или складом обстоятельств, а цельные мирозерцания — только внутреннею личною работою человека над самим собой. Пародируя известную фразу Фигаро о графе Альмавиве, можно сказать, что в русском обществе XVIII в. умели родиться сильные люди, но не умели вырабатываться цельные умы. Всего труднее было в этом обществе, где давали тон «случайные» люди века, жившие день за день, мыслившие сами себя только минутными дождевыми пузырями, — всего труднее было вкоренить здесь мысль, что в истории нет ничего случайного и мир не творится вновь каждый день с восходом солнца, что эти постоянно лопающиеся пузыри возникают и исчезают по точному смыслу законов вековечного исторического процесса и эти безродные знаменитости, выкидываемые капризом фортуны на поверхность жизни, могут, буде того пожелают, умирать без потомства, но не сумеют обойтись без предков. Зато как раз по умственной мерке и даже по вкусу тогдашнему просвещенному русскому обществу приходился другой прием исторической методики Болтина. Это общество привыкло все русское мерить западно-европейской меркой и таким образом подготовилось к сравнительно-историческому взгляду на вещи, а такой взгляд был одним из принципов того «умоначертания», которого держались русские образованные люди болтинского образа мыслей. Только у них этот взгляд имел более сложное происхождение. Политические и исторические идеи просветительной литературы века в том составе, как они воспринимались просвещенными русскими людьми, поселяли в их сознании немало противоречий и недоразумений. Рационалистическая обработка и космополитическая тенденция этих идей располагали к таким отвлеченным построениям человеческого общежития, которые были столь же далеки от русской, как и от европейской действительности, являлись не выражением или поправкой, а подчас радикальным отрицанием и горьким осуждением существующего исторически сложившегося порядка. В этих новых воззрениях явственно выступали две мысли: 1) о закономерности исторического процесса и 2) о возможности построить, точнее, перестроить жизнь человечества по началам разума. Охотно усвоили себе

эти мысли, но считали их несовместимыми и затруднялись их примирением, потому что в исторической закономерности видели нечто фаталистическое, следовательно, неразумное, а вечные начала разума не всегда достаточно отличали от капризного прожектерства разумников. При более углубленном обсуждении предмета находили и внутреннее логическое согласие между этими видимо непримиримыми тезисами. Неразумная историческая действительность, если уж решено, что она неразумна, есть плод злоупотребления историческими силами, происходящего от непонимания их свойств и законов их действия, а может быть, и самая неразумность ее есть только наше недоразумение, подобное тому, как, не умея предостеречься от так называемых возмущений в физической природе, иногда с досадой считаем их отступлениями от физически закономерного или провиденциально направляемого порядка. Значит, неразумная действительность есть не более как плод нашего собственного неразумия или недоразумения, а разумная перестройка ее будет только восстановлением либо нормального закономерного действия исторических сил, либо правильного понимания действующего исторического порядка.

Боимся взвести напраслину на современных Болтина русских мыслителей, утверждая, что они предвосхитили гегелианское понимание разумности существующего; но что живущие люди своим неразумием могут испортить существование себе и своим ближайшим потомкам, это по крайней мере у Болтина высказывается не раз явственно и даже настойчиво. Эта мысль возможна только при ясном представлении о нормальном и разумном ходе вещей, а космополитические теории и рационалистические приемы мышления, помощью которых составилось это представление, сведены были русскими мыслителями к тому окончательному итогу, что закономерное и разумное развитие общества есть развитие естественное, непринужденное, согласное с условиями климата и почвы, следовательно, самобытное, не подгоняемое и не искривляемое искусственно сторонними влияниями. Так западноевропейская мысль дала нашим патриотам-мыслителям оружие против излишеств западноевропейского влияния, а когда последнее пыталось встать за свою оспариваемую монополию, новые неучитываемые толчки, полученные от рассерженных завоевателей взбунтовавшеюся русскою мыслью, помогли ей продвинуться еще на шаг вперед в своей мятежной диа-

лектике и захватить новые опорные пункты, сделать дальнейшие выводы из похищенного украдкой у западноевропейской философии тезиса. В этой самобытности и беда ваша, возражали обиженные учителя, потому что вы самобытны, как варвары, непричастные общей жизни просвещенного мира: для вас самих и всего человечества было бы выгоднее, если бы вы в меньшей мере обладали этой доблестью. Это возражение вызвало со стороны атакуемых особую тактику самообороны, целое национально-оборонительное мышление, оставившее некоторые следы в тогдашней и последующей литературе. Диалектическая схема этой апологетики была довольно проста. Заезжие наблюдатели в литературе и гостинных, выписные гувернеры в учебных комнатах возражали: «Все у вас дурно, да ничего хорошего в России и не бывало, и вы только обезьяны, способные перенимать». Им отвечали: «А у вас во всем генерально хуже нашего, и мы больше люди, нежели вы». Так или почти так формулировалась сущность прений самими русскими полемистами. В наиболее наивной или запальчивой форме эта полемика очень походила на дипломатический обмен мыслей, бывающий между поссорившимися детьми, когда один маленький забияка угостит другого известным словом, на которое, по словам Гоголя, так щедр человек, а обиженный ответит ему: «Ты сам такой же».

В этой перебранке русских апологетов скрывался несомненный зародыш сравнительно-исторического метода. Они становились на любимую космополитическую точку зрения своих противников, замечали их логическую непоследовательность и размышляли: нас отлучают от человечества только за то, что мы не во всем похожи на западных европейцев, не отказывая в звании людей даже эскимосам, которые ни на что не похожи; стало быть, не умеют ни мыслить правильно, ни судить справедливо, «а если бы взяли на себя труд рассматривать вещи добросовестно и беспристрастно и сравнивать их философским взглядом с тем, что мы видим в остальном человеческом роде, то увидели бы, что русский народ стоит приблизительно в уровень с остальными народами Европы». Последние слова принадлежат автору *Антидота*, апологетического труда, направленного против соотечественника Леклерка и его товарища по ремеслу изделия напраслин на Россию. Этот безымянный автор (Екатерина II) выработывал свои историко-апологетические

взгляды из одинакового материала с патриотами болтинского кружка и даже при их прямом содействии. Он упрекает своего ученого противника в том, что, ненавидя народ русский, он не рассматривает человека как жителя вселенной, везде одинакового, и чувствуется добрая капля яду в словах автора, когда он говорит, что иностранцы, не прощая русским желания оставаться самими собой, негодуют на то, что эти русские у себя дома смеют казаться им иностранцами. Космополитическая точка зрения помогла нашим мыслителям по-своему разбираться в исторических явлениях, столь тенденциозно запутываемых. «Люди везде люди,— писал Фонвизин из-за границы,— прямо умный и достойный человек везде редок». Значит, последний — местная редкость, а общечеловеческое — то, что обыкновенно и что везде встречается. Поэтому темные пятна, выступающие в жизни отдельных народов, русского, как и других, надобно поставить на счет общего несовершенства человеческой природы, а подвиги и доблести, как злаки, выращиваемые местными силами климата и почвы, должны быть причислены к качествам национального характера, ни у кого не заимствуемым и никем не повторяемым, имеющим свой корень во «врожденном свойстве душ российских». Стало быть, необходимо изучать местную отечественную историю, но непременно совместно с общею историей человечества, чтобы распознать, какие страсти и пороки свойственны нам как людям и какие доблести должны быть усвоены нами как русскими. Такое развитие космополитической идеи можно признать довольно неожиданным и гибким оборотом русской патриотической диалектики прошлого века: космополитизм, обыкновенно враждебный местному, национальному, как чему-то зоологическому, был употреблен опорой и стимулом патриотического чувства и из историко-философского мирозерцания, из идеального общечеловеческого мерила превратился в простой методологический прием, стал чем-то вроде химической кислоты, употребляемой для очистки туземного металла от общечеловеческой примеси. В такой диалектике сказалось напряжение оборонительного отпора, вызванного усиленным натиском, какой во имя человечества делали тогда на самобытность русской жизни. В этом методологическом космополитизме не могло быть много того оптимизма, к какому были склонны чистые космополиты. Один из последних, молодой «русский путешествен-

ник» по Западной Европе, ребром поставил совершенно обратную формулу космополитизма в своих путевых письмах, печатавшихся в последний год жизни Болтина, сказав: «Все народное ничто пред человеческим; главное дело быть людьми, а не славянами». Такой космополитизм, по признанию его проповедника, питался созерцанием природы, как обширного сада, в котором зреет «божественность человечества». Если бы Болтин, согласно тогдашним учениям, видевший в природе прежде всего известное сочетание условий климата и почвы, влияющих на образование национальных характеров, встретил эту формулу и это признание Карамзина у своего приятеля Леклерка, может быть, он с своею обычною иронией записал бы в критических на него примечаниях: и мы — граждане мира, сыны человечества, поколику мир во зле лежит и поколику мы грешные люди. Болтину не пришлось встретиться с Карамзиным на учебно-литературной арене. Но его друзья, патриоты-апологеты, дожили до печального торжества над своими противниками, увидев, как они после революции сидели и плакали на дымившемся еще пожарище своего космополито-оптимистического мирозерцания, и горше всех плакал Карамзин. Когда русскому путешественнику по Западной Европе привелось самому стать русским историком, он написал в предисловии к своему монументальному труду: «Истинный космополитизм есть существо метафизическое или столь необыкновенное явление, что нет нужды говорить об нем, ни хвалить, ни осуждать его. Мы все — граждане, в Европе и в Индии, в Мексике и в Абиссинии; личность каждого тесно связана с отечеством; любим его, ибо любим себя». Признание абиссинского гражданства наравне с европейским со стороны настоящего русского историка, которого всю жизнь поджидал Болтин, вполне оправдало его патриотическую апологетику, и покойный генерал-майор, сошедший в могилу среди двусторонней борьбы с невежественными хулителями и с невнимательными почитателями русской истории, дождался наконец хотя посмертного права сказать: *ныне отпущаеши...*

Запальчивая полемика, какой подогревалась патриотическая апологетика Болтина, была наносным стимулом его критики, навязанным его задорными или самоуверенными противниками. Если снять этот налет, под ним окажутся здравые положения исторической науки, не лишенные новизны для тогдашней русской историо-

графии. Во-первых, довольно последовательно было выведено из тогдашних философских взглядов, что национальная самобытность сама по себе не подлежит осуждению с разумной и общечеловеческой точки зрения как вещь, терпимая и даже поощряемая общим строем мировых сил, который не убивает особей, напротив, поддерживает их, приспособляя их к местным условиям, ибо мироздание построено на гармонии индивидуальностей, а не на однообразии безличностей. Возражая своему противнику, видевшему во всех отраслях древнерусского управления только зверство, политическое невежество и склонность русских грабить соседей, Болтин писал, что не следует приписывать одному народу пороков и страстей, общих всему человечеству в известные времена, на известных ступенях развития; но он не перегибал в противную сторону положения космополитов об отношении народного к общечеловеческому, как тогда делали в русских патриотических журналах и гостиных, не утверждал, что человечеству свойственны только пороки и страсти и лишь один русский национальный характер слагается только из добродетелей. Он не идеализировал ни древней, ни новой России, не говорил, что у нас все было хорошо, не отрицал недостатков русской жизни; он только не любил много говорить о них, с библейскою совестью страшился вскрыть срам матери своей. Зато при каждом злостном указании западноевропейского оппонента на политический, социальный, домашний или религиозный недостаток России он приводил в движение весь запас своей огромной начитанности, собирал все средства своего остроумия, чтобы доказать, что на Западе было не лучше, если еще не хуже нашего, и доказывал это с жаром, подчас поднимавшимся выше границ общепринятого приличия, с фактической изобразительностью, удручающей самое выносливое историческое воображение. Конечно, не надо забывать, что мы имеем дело не с кабинетным ученым, составляющим научную диссертацию, а с патриотическим бойцом, отстаивавшим обижаемую чужаком родину. Но этой полемике нельзя отказать и кое в каком научном, именно методологическом значении: она приучала, обороняя свое, пристально всматриваться в чужое. В этом состоял второй основной научный результат исторической критики Болтина: освобождаясь от полемической горячки, его патриотическая оборона русской жизни превращалась в спокойное сравнительное изуче-

ние русской истории, а такое изучение побуждало искать законов местной народной истории и тем приучало понимать закономерность общего исторического процесса.

Форма подстрочных критических примечаний, притом с постоянными полемическими отступлениями, мало помогала стройному выражению основных исторических взглядов критика и последовательному приложению его методики к явлениям русской истории. Дело специального изучения — собрать и свести в нечто цельное отдельные текстуальные толкования и фактические объяснения Болтина, которые сам Шлецер признавал новыми и превосходными. Понимая Болтина, прежде всего припоминаешь условия, в которых стояло у нас историческое изучение сто лет назад, интересы, которые возбуждали историческую мысль, средства, какими она располагала, препятствия, с какими ей приходилось бороться. Только припомнив все это, поймешь, чего стоили Болтину иные выводы и соображения, которые крупными зернами золота блестят в беспорядочной массе критических справок, фактических подробностей и полемических излишеств. Всего ценнее в сочинениях Болтина самое отношение автора к делу, которому он посвящал свой досуг: он смотрел на него как на «служение отечеству», т. е. как на дело, которое следует делать серьезно, сосредоточенно. Такое значение сообщала в его глазах отечественной истории конечная цель ее, народное самопознание, которое достигается путем сложного и разборчивого изучения. Называя себя не более, как трутнем в республике наук, поедая чужие труды, Болтин не признавал себя настоящим историком, потому что предъявлял «истории, пишемой в настоящий просвещенный век», требования, которых удовлетворить не считал себя способным, и даже думал, что написать историю народа едва ли под силу одному человеку при всех дарованиях, на то потребных. История не летопись: «не все то пристойно для истории, что прилично для летописи». Отсутствие полной хорошей истории России он объясняет не недостатком исторических материалов, «припасов», а тем, что нет «искусного художника, который бы умел те припасы разобрать, очистить, связать, образовать, расположить и украсить». Что же пристойно для истории? Болтин отлично усвоил себе проведенное Вольтером в его знаменитом *Опыте о нравах* различие между преходящими, случайными явлениями, не укладывающимися в цепь ис-

торических причин и следствий, и коренными постоянными фактами истории, между «приключениями мимоходящими и обычаями». Понимая требования прагматизма не смешивать и не разрывать «союза времен и происшествий», следить за обстоятельствами, нужными «для исторической связи и объяснения последственных бытий, причин их и следствий», Болтин с особенным вниманием вникал в учреждения, законы, занятия, нравы, обычаи, понятия, знания, в бытовые мелочи, поговорки, восстанавливая таким образом ткань быта, как бы сказать, физиологическую клетчатку, по которой шла жизнь народа. Ни у кого еще из русских исторических писателей этот новый порядок исторических фактов не выступал так отчетливо и настойчиво и никто из них до Болтина, кажется, не подходил так близко к наиболее сокрытым пружинам народной жизни, не докапывался до таких глубоких ее течений. Привычка наблюдать явления этого порядка сообщила ему чутье последовательности исторического процесса. Оспаривая быструю перемену в нравах Руси, вдруг освободившейся от своего варварства с принятием христианства, Болтин возражает кн. Щербатову, что такая перемена была бы чудом несравненно большим, чем стон идола, которого, по летописи, св. Владимир повелел стащить в Днепр.

В этих явлениях, которыми обозначалось последовательное движение народной жизни, Болтин искал постепенного проявления народного «умоначертания», самобытного содержания национального характера. Это помогло ему найти «точку времени», которую можно было бы принять за начало нашей истории: таким начальным моментом должно быть время, с которого стало обнаруживаться это содержание. Наша история началась с зачатием нашего народа, а это случилось, когда встретились и породнились его родители, племена, от которых он произошел. Эта встреча совершилась с приходом Рюрика и руссов к новгородским славянам, что повело к слиянию встретившихся пришельцев и туземцев, образовавших русский народ. «Следственно Рюриково пришествие есть эпоха зачатия русского народа», который, может быть, нечто заимствовал в своем характере от родителей, но со временем заимствованное стало незаметно: «возмужало дитя, оказались новые склонности, особенный нрав, от обстоятельств и вещей его окружавших породившиеся». Соединившиеся славяне и руссы вобрали в себя много других племен, и так составилась цель-

ный великий народ, «который нравы и свойства получил сообразные климату, правлению и воспитанию, под коими он жил».

Не столько важно такое начало истории, сколько то методологическое удобство, которое извлек из него Болтин. Показав, почему бесполезно «далее Рюрика возводить нашу историю и терять время в тщетных разысканиях», он погубил целый прием учености, процветавший некогда у нас и у других народов, которые старались отыскать себе праотцов среди детей и внуков Ноя, как бы боясь, «чтобы не назвал их кто незаконнорожденными», если они не запасутся библейскою генеалогией. Правда, и он мог обойтись без «тщетных разысканий» о неведомых народах, некогда населявших нашу страну; но он поступил с этим этнографическим столпотворением больше по-военному, чем по-ученому. Он разделил эти народы на 4 дивизии, на скифов — татар, гуннов — калмыков, сарматов — финнов и славян, и между ними распределил прочие племена сомнительного происхождения, литву, ятвягов и самих варягов поверстал в сарматы, киргизов зачислил в скифы, даже козар нашел возможным произвести в славяне. Только перед русскими он остановился было в раздумье, но потом и их откомандировал к кимврам, т. е. к тем же сарматам. Развивая мысль Ломоносова о смешанном племенном составе исторических народов, Болтин придавал научное значение не «первоначальной породе» их составных элементов, а новым образованиям, происходившим от их смешения и создавшим новые национальные типы, которые и являются настоящими деятелями в истории. Это дало Болтину смелость высказать своеобразную мысль, что хотя мы должны назвать своими праотцами и славян, смешавшихся с русскими, но все заимствованное от них «климат и время превратили в русское и едва ли осталась в жилах наших одна капля крови славянской», и это случилось не с одними славянами, но и со многими другими элементами, коих «имена и природы погрузились в название и природу русского народа», образовавшего из себя новую историческую особь. Такая постановка дела отвязала мысль Болтина от генеалогических басен и этнографических гипотез и облегчила ему переход к изучению культурно-исторических фактов, скрытых в надежных памятниках. Возражая Леклерку, представившему русских IX и X вв. кочевниками и первобытными лесными дикарями, Болтин немногими крупными

и выразительными чертами изобразил тогдашний уровень русской гражданственности в небольшой, но яркой картинке, которую пополнял в других местах своих сочинений и в которой доселе нечего поправить.

Так, переступая через порог русской истории, Болтин знал, как и куда идти: хорошо выясненная точка отправления и верно намеченная цель с обеих сторон освещали ему путь в этой темной области знания. Полемизируя с своими противниками, он и прорепетировал с ними всю русскую историю, пересмотрел ее важнейшие факты в поперечном, как и в продольном ее разрезе, останавливаясь на выдающихся эпохах или следя за отдельными учреждениями на всем пути их развития. Принятие христианства, политический порядок удельных веков, татарское иго, Грозный, Смутное время и царствование Михаила, главные моменты русского законодательства с их памятниками, судьбы русского дворянства с крепостным правом и другими слившимися с судьбой сословия учреждениями, условия экономического быта народа — все это проходит перед читателем в постоянно меняющейся панораме, освещаемой попеременно то формулой закона исторического процесса, то параллелью однородных явлений западноевропейской истории, то сопоставлением с современным автору состоянием России; и среди этих монографических изображений автор вслед за любопытными данными о населенности современной ему России в легком, но глубоко обдуманном сравнительно-историческом очерке, доказывая Леклерку, что общирность России не истощает ее сил, описывает образование и распространение Русского государства в связи с колонизацией страны и обрусением встречных инородцев.

Вооружая современного читателя наблюдениями над действием исторических сил и над ходом жизни древней Руси, Болтин подводил его к XVII в., к своему времени, и заставлял его сличать явления своего века как с этим действием, так и с этим развитием. В каком виде должен был представиться просвещенному читателю его век при таком сопоставлении? Под влиянием местных физических и исторических условий русский народ вышел довольно своеобразным и менее похожим на другие европейские народы, чем похожи они друг на друга. Это естественно: «Государства европейские во многих чертах довольно сходны между собою; зная о половине Европы, можно судить о другой, применяясь к первой; но

о России судить таким образом невозможно, понеже она ни в чем на них не похожа», хотя переживала одинаковые с ними затруднения и положения, имела сходные «поведения и деяния». Она нажила себе свои нравы и обычаи, «качества сердца и души», которые, может быть, не лучше, хоть и не хуже чужих, но свои и на чужие не похожи. Но все эти обычаи и нравы одинаково добры; но они помогли народу устроить общежитие, которое тоже, если не лучше, то и не хуже, чем у других, а качество народных нравов и обычаев определяется их способностью соединять людей и устроить общежитие. В самобытных нравах и обычаях выражается и ими поддерживается духовная энергия народа, даже его физическая крепость, они сообщают ему нравственную физиономию. Но самобытность не обязывает к неподвижности, и энергия не есть инерция. Условия жизни русского народа изменялись, новые уничтожали или ослабляли действие старых; это и было причиною, «что нынешние наши нравы со нравами наших праотцов никакого сходства не имеют». Не должно изменять насильем «народные начала и образ их умствования; удобнее законы сообразить нравам, нежели нравы законам; последнего без насилия сделать невозможно». Надобно очень хорошо знать сердце человеческое, чтобы при исправлении нравов не сделать лишнего, поражая пороки, не ослабить добродетелей. Словом, нравы должны не срезываться хирургически, как мозоли, а перерождаться физиологически, как обновляется вещество в живом организме. Вся эта столь известная теперь историческая физиология целиком прилагалась к жизни русского общества для проверки нормальности ее отправления. Древняя Русь выработала самобытные нравы и обычаи, полезные для общежития, но страдала недостатком просвещения. Следовало сохранить свои нравы и обычаи и заимствовать просвещение, знания и искусства. Поступили наоборот: частью по вине закона, частью по увлечениям общества, по принуждению или по легкомыслию заимствовали не столько чужое просвещение, сколько чужие нравы, притом дурные, забывая свои добрые с их нравственными опорами, любовью к отечеству, привязанностью к вере отцов. «Итак, мы старое позабыли, а нового не переняли и, став непохожими на себя, не сделали тем, чем быть желали».

Таково было последнее русское слово сравнительно-исторического изучения русского прошедшего в XVIII в.,

и никто не сказал этого слова лучше Болтина. Век русского просвещения был осужден во имя просвещения за то, что с помощью этого просвещения пытался стереть своеобразную физиономию народа и забыть свое прошлое. Но кто были эти мы, столь безнадежно осужденные? Это не могла быть современная Болтину Россия, которую он защищал с такою любовью, с таким знанием и искусством. Притом именно Болтиным впервые высказана у нас в литературно-ученой обработке мысль, что современность есть живой музей древностей, ходячая летопись прошедшего. Очевидно, это была та часть просвещенного русского общества, которая успела отрешиться от «народных начал и образа умствования их», созданных русскою историей. Итак, во имя разума и просвещения европейски образованный человек осудил своих точно так же образованных соотечественников за то, что они отрицали отечественную старину и оставшуюся ей верной современность как неразумную и непросвещенную. Как могло это случиться? Очень просто: эти соотечественники, скучая трудными источниками европейского просвещения и черной работой, какой оно добывалось из них, пили только его сладкие капли в виде последних слов просветительной литературы, в которых сказывалось ее презрение не только к русскому, но и ко всякому прошедшему, ее непонимание законов и сил не только русской, но и всякой истории. Болтин был слишком просвещенный человек, чтобы довольствоваться последними словами просвещения, и слишком умный человек, чтобы не вникнуть в его источники и приемы, которыми он и воспользовался для уяснения хода и смысла как родного, так и чужого прошедшего. Его правило было: «необходимо нужно, читая книги, а паче пишуци историю, понимать чтимое». Притом он черпал образование не из одних чуждых источников. Он отлично знал свое отечество и по своему домашнему воспитанию, и по многообразным житейским наблюдениям, и по усидчивым документальным справкам. Двойным светом, туземным и заимствованным, он воспользовался не так, как тогда было в обычае на Руси — пользоваться тем и другим отдельно. Тогда одни употребляли только первый для того, чтобы не замечать второго, а другим второй помогал только презирать первый. Болтин воспользовался туземным просвещением, чтобы уметь правильно употреблять заимствованное, а заимствованным — чтобы лучше ценить туземное, и обоими вместе — чтобы

осветить родное прошлое сравнительно с европейским. Потому можно отнести ему особое место в русской историографии. И прежде, и после него были русские историки России, которые пытались взглянуть на нее европейским историческим взглядом. Болтин победил европейского историка России, который хотел посмотреть на нее тем же взглядом; победителю подобает звание русско-европейского историка, который и на историю Европы первый попытался взглянуть русским историческим взглядом.

Несмотря на успехи русской историографии после Болтина, его сочинения доселе не утратили интереса. По ним все легче видеть, как вопросы, давно возбужденные и не переставшие занимать нас, ставились и решались сто лет назад лучшими русскими мыслителями того времени. Этим сравнением наглядно вымеряется пространство, пройденное русскою мыслью. С умом, привыкшим размышлять о строении и жизни человеческих обществ, Болтин стал перед скудным запасом едва разобранных фактов нашей истории и перед необозримой грудой совсем нетронутых изучением исторических памятников. Своею трезвою, немного сухою мыслью, согретою теплым патриотическим чувством и вооруженною небрежным, но острым словом, он пытался проследить по этим памятникам протекшую жизнь своего отечества, сопоставляя ее на каждом шагу с жизнью остальной Европы,— он первый попытался это сделать и не без успеха, стоившего ошибок и больших усилий. Он не идеализировал древней Руси, не думал воскресить старину, воротить вчерашний день, подобно кн. Щербатову и другим просвещенным староверам своего времени, но он считал долгом гражданина изучить родную старину, потому что это изучение вскрывает корни и уясняет смысл тех жизненных начал, которые составляют силу современности. Это внушило ему простые правила методики народного самопознания: наблюдайте других, чтобы лучше знать себя, помните, чем вы были, чтобы понять, чем вы стали, и пока не всмотритесь в себя, не спешите походить на других. Поставленные Болтиным вопросы стали после него очередными задачами русской историографии, а высказанные им мысли незаметно проникли в общество и в литературу, оторвались от своего источника и безыменными каплями затерялись в общественном сознании. У нас нередко повторяют, что впервые сказал Болтин, и очень редко припоминают, что Болтин первый сказал это.



ПАМЯТИ И. Н. БОЛТИНА

Общество истории и древностей российских постановило в настоящем году почтить память И. Н. Болтина, со смерти которого прошло ровно сто лет. Обществу, посвящающему свои труды изучению памятников отечественной истории, есть за что помянуть теплым словом этого писателя-историка. В столетие, протекшее со дня смерти Болтина, историческое изучение России достигло значительных успехов, прошло две стадии, явственно обозначившиеся появлением двух капитальных творений по русской истории, созданных Карамзиным и Соловьевым. Труды Болтина не оставались безучастными в этом движении русской историографии; по крайней мере решительно можно сказать, что достигнутые ею успехи без этих трудов достигались бы с большими усилиями. В другом месте¹ я пытался объяснить исторические взгляды и приемы Болтина в связи с ходом просвещения и движением самосознания в русском обществе XVIII в. Теперь, исполняя желание Общества, я предложу его благосклонному вниманию попытку определить значение исторических трудов Болтина в ходе русской историографии.

Один из любителей отечественной истории, каких у нас немало было в прошедшем столетии, Болтин начал писать в последние годы своей 58-летней жизни. Но эти поздние литературные опыты были только завершением многолетних усидчивых занятий русской историей. Строгий в понимании обязанностей историка и скромный в оценке своих личных учено-литературных средств, Болтин не считал себя настоящим историком и думал, что самое большее, что он призван сделать,— это собирание и

предварительная обработка «припасов», материалов для отечественной истории. В реестре бумаг, оставшихся после Болтина и купленных Екатериной, не находим следов работы над каким-либо цельным историческим повествованием; но он считал себя достаточно вооруженным, чтобы предпринять критическую проверку чужого сочинения по русской истории или ученое издание древнего русского памятника с объяснениями.

Только в последние годы жизни Болтину представились случаи, побудившие его выступить в литературе историческим критиком и комментатором и обнаружить обширные и разнообразные исторические знания, накопленные многолетними усидчивыми трудами. В 1783 г. вышел в Париже *Histoire de la Russie ancienne et moderne** известного Леклерка. В 1786 г. у Болтина были уже готовы два объемистые тома критических *Примечаний* на пять томов этой Истории, напечатанных к тому году. Кн. М. М. Щербатов, который с 1770 г. начал издавать обширную *Историю российскую от древнейших времен*, почел себя задетым некоторыми замечаниями Болтина и в 1789 г. напечатал в свое оправдание Письмо к одному приятелю. Болтин в том же году издал свой *Ответ* на это письмо. Пространно отбив нападения противника и уверив его и публику, что в разборе книги Леклерка он отнюдь не подразумевал кн. Щербатова, генерал-майор Болтин в конце *Ответа* сам перешел в наступление и написал 19 возражений, направленных против самой *Истории* кн. Щербатова, прибавив в заключение, что все приведенное в разборе из этой истории суть только цветочки, а ягоды он приберет «для переду». Эти обещанные ягоды и были собраны и приготовлены для публики в двух больших томах *Критических примечаний* на первые два тома *Истории* кн. Щербатова. Энергичский критик, невзирая на недуги возраста, начал эти примечания в том же 1789 г. и, по-видимому, успел кончить их еще до конца следующего, 1790 г., когда умер кн. Щербатов (12 декабря), как можно догадываться по тому, что у Болтина нет намека на это. Но публика прочитала новый труд уже по смерти автора, когда его приятель и товарищ по занятиям гр. А. И. Мусин-Пушкин издал его в 1793 и 1794 гг. Со своей стороны и кн. Щербатов не успокоился и, несмотря на зарок в письме к приятелю не отвечать на новые возражения Болтина, прочитав его

* «История России древней и современной» (фр.).

Ответ, не утерпел, подходя уже к своей могиле, собрался с силами и написал *Примечания на Ответ* Болтина, составившие целую книгу. И эта книга увидела свет только по смерти своего автора, уже в 1792 г., так что едва ли успел прочитать ее тот, против кого она была направлена, как сам кн. Щербатов, воюя с *Ответом* Болтина, не знал, какие два громовые тома готовил против него неутомимый его противник. Так учено-литературная борьба Болтина с кн. Щербатовым, представляющая во многих отношениях один из самых занимательных эпизодов в ходе русской историографии, была dokonчена типографским станком, когда оба борца уже сошли с арены и успели подать друг другу руки при загробной встрече.

Окончив полемику со вторым противником, Болтин перешел к более мирным ученым работам. Он входил в состав тесного кружка «любителей отечественной истории», душой которого был упомянутый граф А. И. Мусин-Пушкин, «крайний древностей наших любитель», по выражению Болтина, составитель знаменитой по своему богатству и по своей несчастной судьбе рукописной библиотеки. В ученых сношениях с этим любительским кружком находилась сама Екатерина II, которая по смерти Болтина писала о нем и о Мусине-Пушкине, что они много занимались русской историей. Друзья копались в древних рукописях, как в золотоносной почве русской историографии, читали, комментировали, сужали любознательную императрицу справками, делали открытия, научную цену которых сами затруднялись определить,— словом, находились в положении геогностов, которые, прокопав первые мелкие шурфики, начинают чутя, какое обильное металлическое содержание найдут в более глубоких пластах дальнейшие изыскатели, которые до них докопаются. Екатерина, пользуясь учеными услугами любителей, не оставалась безучастна в их успехах. По указу 11 августа 1791 г., исходатайствованному Мусиным-Пушкиным, синодальным обер-прокурором в св. Синод скоро прислано было много летописей и других рукописных памятников из монастырских архивов...

Можно подивиться умственной бодрости больного старика, который в том же году, в котором вышла его *Русская Правда* и осенью которого он умер, удосужился исполнить еще одну критическую работу, в некоторых отношениях даже самую трудную из всех ученых работ, им исполненных. Разумею разбор драмы Екатерины II из жизни Рюрика. Благодаря Болтину судьба этой дра-

мы стала любопытным эпизодом из истории русской литературы прошлого века, живо характеризующим как действующие в нем лица, так и общество, среди которого они действовали. Некоторые черты этого эпизода были потом не без юмора рассказаны самой Екатериной в письме к Гримму.

Трудясь над своими *Записками* по русской истории для русского юношества, она пришла к некоторым догадкам касательно Рюрика, поддерживаемым всего только немногими словами, какие обронил Нестор в своей летописи (*quelques mots lâchés par Nestor* *), да одной страницей в *Истории Швеции* Далина². Она потому не решилась внести таких рискованных конъектур в настоящую историю, но ей вздумалось (*il me prit fantaisie*) найти им место в поэзии, построив из них историческую драму, образцом для которой послужил не кто другой, а прямо сам Шекспир, которого автор тогда читал в немецком переводе. Драма была написана и без имени автора напечатана в 1786 г. под заглавием *Подражание Шакеспиру, историческое представление из жизни Рюрика*. Никто не обратил внимания на анонимную пьесу, и Рюрик лет пять пролежал в книжных лавках мертворожденным или умирающим младенцем. В 1792 г. Болтин чрез Мусина-Пушкина поднес императрице в рукописи свой разбор истории кн. Щербатова. Екатерина, три года назад уже издавшая на свой счет примечания Болтина на историю Леклерка и пользовавшаяся его указаниями при чтении русских летописей, задумала реабилитировать свое погибшее творение, призвав на помощь опытного диагнозу знатока критика, так как, по ее признанию, «она охотно готова была отдать на суровый суд Болтина то, что марала по истории». Когда раз Екатерина заговорила с Мусиным-Пушкиным о своем многострадальном Рюрике, сетуя на невнимание к нему, тот смешался: оказалось, что ни он, ни Болтин, к стыду обоих знатоков русской истории, не только не читали, даже и в глаза не видали драмы императрицы с ее историческими конъектурами. Но Болтин поправил дело, принялся объяснять драму, которая по его просьбе скоро была напечатана с его примечаниями и пошла в ход, была даже переведена по-немецки. Учено-художественное дитя ожило в критических руках опытной няньки. Екатерина не рассказывает, как произведена была сама операция, как Болтин

* несколько оброненных Нестором слов (фр.).

исполнил ее намек или желание, выраженное Мусину-Пушкину. Чтобы видеть это, надобно взять в руки самые примечания Болтина. Дело было чистым искушением для нашего критика: надобно было остаться правдивым, не становясь неприятным, хвалить без лести и усмешки и судить, не обличая и не огорчая,— словом, резать правду автору, помня хлеб-соль хозяйки.

Генерал-майор Болтин с искусством истинного тактика одержал победу над своим положением, явился беспристрастным судьей писательницы, не нарушив обязанностей кавалера к даме. Для этого он из критика превратился в комментатора и даже в педагога, объяснял, где нужно было исправить, и исправлял, что следовало зачеркнуть, учил, где нужно было обличать. Прежде всего подысканы были для драмы исторические источники, из коих иные едва ли подозревал и сам драматург, потом создания чистой фантазии были подбиты мягкой подкладкой сложных исторических справок и соображений или представлены вольно-поэтическими вымыслами, «прилично выдуманскими», слова и действия героев, не встретившие никакой опоры в исторических источниках, подперты доводами исторической логики, непредумышленные общие места развились в метко схваченные черты древнего быта или даже цельные исторические картины, нечаянно удачные обмолвки оказались результатом исторической эрудиции, а недоразумения или простые промахи либо явились смелыми гипотезами, во всяком случае возможными, хотя и могущими встретиться с гипотезами, более вероятными, либо превратились в неясные намеки, которые и истолкованы в разборе с остроумной находчивостью и полным прибором ученой критики, как истолковывал Болтин темные места древних памятников в других своих сочинениях. Драма поставила древнему Новгороду целых трех посадников вместо одного надлежащего. *Всякому* известно, тонко поясняет комментатор, что в Новгороде было всегда по одному посаднику, и рядом ученых соображений приходит к выводу, что один был только *степенный*, действительный посадник, которого и надо разуметь под первым из выведенных в драме; но от него надо отличать посадников *старых*, бывших, какими, конечно, и были двое остальных и каких всегда могло быть и больше двоих, сколько угодно. В заключении всего в разборе подобраны места драмы, где Рюрик, Аскольд и другие ее лица высказывают любимые идеи времени об отечестве, о вла-

сти, общественном порядке, вычитанные этими передовыми людьми IX в. из Наказа Екатерины по изданию 1767 г. Так Болтин, бережно приняв хилое дитя, оправил и оживил, спеленал его и, слегка потянув за нос, как это делали в старину повивальные бабушки с новорожденными, показал его публике, причем, не скрывая имени матери, пожелавшей остаться неизвестной, сближением пьесы с Наказом незначай приподнял перед читателем край прозрачного вуаля, ее покрывавшего. Его звали судить драму перед присяжными знатоками, но он, щадя материнское сердце и не кривя ученой совестью, предпочел растолковать смысл пьесы самому ее автору в присутствии публики. Автор, очевидно, хорошо знал критика, а критик еще лучше понимал автора, и оба остались отменно довольны друг другом, ибо изрядно обдумали, что делали. Немного месяцев, вероятнее недель, спустя умный критик закрыл глаза, а благородный автор купил оставшиеся после него ученые бумаги.

Я нарочно остановился на примечаниях Болтина к драме Екатерины. В этом небольшом труде, которому суждено было стать лебединой песнью Болтина, может быть именно потому с наибольшей наглядностью отразились особенности этого исторического критика, несмотря на то, что в этом труде историческая критика идет об руку с литературой *courtoisie* *. По такому специальному поводу, как драма из времен Рюрика, критик приводит в движение разнообразные исторические источники, и русские летописи, и скандинавскую Эдду, и песню Рагнара Лодброка, даже современные акты русского законодательства, толкует имена и термины древних памятников, обращается к явлениям других стран и времен — все это для того, чтобы глубже вникнуть в быт славянорусского общества столь отдаленного века, в его нравы, понятия, учреждения. Это своего рода историческая программа, примерно демонстрированная на частном случае, на отдельном факте, где автор обозначил и очередные задачи русской историографии и способы их разрешения, и пределы, до которых можно было вести работу при наличных средствах.

Задачи, стоявшие на очереди, как их понимал Болтин, указывались ему современным положением русской историографии, и это положение создано было трудами ближайших его предшественников. Русская научная исто-

* изящной (фр.).

риография в лице начинателя своего Татищева непосредственно примыкает к древнерусскому летописанию, составляя органическое его продолжение. Не ставя далеких целей и не чертя широких планов, Татищев решил, что надобно начинать новое дело с начала, т. е. разыскать источники, собрать, разобрать и свести материал, прежде всего летописи, скромно прибавив к его тексту посильные пояснения в примечаниях. Он и составил такой свод, доселе не сходящий со стола занимающегося русской историей. Но, стоя одной ногой в ряду древнерусских летописцев, он считал возможным ступить другой немного вперед, в область исторического исследования. Во введении и первой части труда он предпослал своему летописному своду научное определение истории, ее задач, средств и приемов, и длинный ряд ученых предварительных разысканий, направленных к тому, чтобы прояснить тот начальный момент нашей истории, с которого идет нить летописного повествования, чтобы это повествование не начиналось с пустого темного места. Таким образом, Татищев дал русской истории ученые рамки, заключил ее древнейший источник в методологическую оправу и [дал] первые попытки комментария в примечаниях.

Что мог он сделать больше? По крайней мере он сделал то, что было нужно. Надобно припомнить отношение русского общества к отечественной истории при Татищеве, изображаемое частью самим Татищевым, чтобы видеть, что больше ничего нельзя было сделать. Тогда в русском обществе слышались самые смутные суждения об этом предмете. Один толковал, что у русских нет «историй древних» и поэтому им не по чему узнать свою древность. Другие поддакивали, но с прибавкой: да не было и «деяний» важных, потому не стоит изучать эту древность. Одни оправдывали свое незнание русской истории, презирая научную историографию, другие оправдывали неудовлетворительную наличную историографию, не находя ничего хорошего в самой русской истории, в самой отечественной старине. Наконец, третьи, желая устранить жалобы тех и других, принимались украшать эту старину или, по выражению Татищева, «баснями закрывать сущую правость сказания древних», но этим только оправдывали тех и других, поддерживая презрение первых и невежество вторых. Татищев, показывая свой свод, как бы говорил в ответ всем толкам: вот сущее правое сказание древних, не искаженное новейшим уче-

ным баснословием — послушаем прежде его,— и в оправдание своих слов дал беспрепятственно говорить древнему летописцу, не перебивая его рассказа, а сам стал в стороне, в ряду слушателей, только порой делая в примечаниях заметки по поводу этого рассказа.

Ломоносов смелее взялся за дело. Он читал древние русские летописи и самого Татищева и нашел, что в русской старине есть и деяния важные, «разные дела и герои, греческим и римским подобные», но только не было у нас искусства, «каковым греческие и латинские писатели своих героев к полной славе предали вечности». Так намечены были и дальнейшие задачи русской историографии и даже частью ее метод: предстояло вскрыть в источниках достойное знания содержание русской истории и путем сравнительного изучения поставить его рядом с историей других народов. Его параллель русской и римской истории, «некоторое общее подобие в порядке деяний российских с римскими», важна не по своей научной ценности, а как первое наивное выражение научного приема, которым должна была с большим умением воспользоваться дальнейшая русская историография.

Сравнение однородных явлений неизбежно вело к общим выводам, к познанию законов истории, и достаточно припомнить рассуждение Ломоносова об образовании народов путем племенных смешений, его положение, что «народы от имен не начинаются, но имена народам даются», чтобы видеть, как полезен был для русской историографии этот прием даже в своем зачатке.

Кн. Щербатов хотел быть продолжателем Ломоносова в русской историографии. Он думал, что накопилось уже достаточно научных средств, чтобы изобразить «разные состояния, в которых было мое отечество, разные его перемены и знатные случившиеся в нем дела», т. е. изобразить в прагматической последовательности течение жизни народа. Он, кажется, первый ввел в нашей историографии прием разграничивать периоды истории обзорами внутреннего состояния страны или «рассмотрением о состоянии России, ее законов, обычаев и правлений». Но и личные и научные средства Щербатова далеко отставали от его смелой задачи и даже от его научных приемов. И он любит сравнивать русские явления с фактами всеобщей истории. Но это сравнение является у него не вспомогательным средством научного познания, а прикрытием его личного недостатка, незнания хода русской истории, недостаточного изучения ее явлений.

Всеобщую историю он знал лучше русской; явления первой ему растолковывали другие историки; русских явлений он сам растолковывать себе не успел и, чтобы разглядеть их, поневоле брал готовый чужой светильник. Его исторические сравнения имели один источник с постоянными галлицизмами его изложения и напоминают русский разговорный язык великосветских наших людей екатеринского времени, пересыпавшийся французскими словами вследствие неумения выразить известные понятия по-русски. Недостаточное изучение памятников отечественной истории, даже непонимание их языка сказывается у него в обильных и часто забавных недоразумениях, за которые ему так больно досталось потом от Болтина: княжна Малфрида, одна из языческих жен Владимира, преобразилась у него в богатыря Малфреда храброго, насекомое *прузи* — в племя пруссов, *полковой стяг* — в сенной стог и т. п. без конца.

Таковы были научные опыты, унаследованные Болтиным от важнейших его предшественников. В этих опытах он мог найти много поучительных уроков и предостережений. Успехи, достигнутые предшественниками, избавляли его от необходимости начинать дело сначала; их ошибки указывали ему, чего не следовало повторять; его личный ум и образование давали ему средства угадать, что следовало делать дальше, в каком направлении продолжать дело. Сохранился небольшой документ, в котором вскрывается ход ученой подготовки Болтина как русского историка. Для современного магистранта русской истории очень назидательны некоторые особенности этой подготовки. Это — реестр рукописным бумагам Болтина, купленным Екатериною после его смерти за десять тысяч руб. Всех бумаг показано в реестре 83 нумера, или связки. За исключением черновиков печатных сочинений Болтина, это все подготовительные работы по изучению истории всеобщей и русской и вспомогательных наук. Во-первых, видно, как Болтин изучал всеобщую историю. Он делал обширные выписки из словаря Бэйля, из энциклопедического французского лексикона, сопровождая их своими примечаниями, выписывал из сочинений Гиббона, Смита (по немецкой истории), Вольнея³. Из печатных трудов Болтина знаем, что эти уцелевшие по смерти его выписки были лишь скудными остатками его обширных работ по изучению новой и даже средневековой литературы всеобщей истории. Далее следуют обширные выписки из разнообразных памятников русской

истории, из летописей, разрядных книг, Уложения, Большого Чертежа, Четьи-Миней ⁴, из бумаг Посольского приказа. Очень крупный отдел в реестре составляют бумаги, указывающие на работы Болтина по славяно-русской лексикографии. Болтин был членом Российской академии ⁵ с самого ее открытия в 1783 г. и принимал очень деятельное участие в ее трудах по составлению академического словаря, так что в 1786 г. Академия увенчала его «труды и усердия» золотой медалью. В протоколах Академии за те годы отмечено, что Болтин сообщил Академии для словаря «великое число слов, выписанных из многих книг славянских, яко плод долговременных трудов своих», давал полезные советы и указания касательно плана и состава словаря. Независимо от того, он много работал над составлением своего особого «Толкового славяно-русского словаря». В реестре обозначено несколько связок тетрадей с материалами для этого обширного труда. Кроме того, в реестре показан «Географический и исторический словарь, объясняющий местности, в летописях упоминаемые, и слова, вышедшие из употребления». Отмечена в реестре еще какая-то «Роспись на российско-гражданский лексикон». Но самый видный отдел в реестре составляют описания семи наместничеств Русской империи. Митрополит Евгений ⁶ в своем словаре русских светских писателей сообщил известие, что Екатерина поручила Болтину составить историческое, географическое и статистическое описание Российской империи, для чего повелела собрать по всем губерниям нужные для того сведения, которые и были ему доставлены. Трудно сказать, были ли показанные в реестре описания простые сборники доставленных сведений или обработанные историко-статистические описания. В печатных трудах Болтина встречаем драгоценные статистические данные о рекрутских наборах, о монетном деле, о народонаселении России по областям и сословиям, почерпнутые из этих местных источников и из архивов разных центральных ведомств. Русская историография никогда не перестанет жалеть о том, что эти описания наместничеств погибли вместе со всеми другими бумагами Болтина и с самой библиотекой его приятеля гр. Мусина-Пушкина, которому они были показаны императрицей.

Без сомнения, реестр очень неполно отражает ход подготовительных исторических занятий Болтина. Но и по нему можно видеть план этих занятий, а из-за плана выступают задачи русской историографии, которые Бол-

тин ставил на первую очередь. В своих работах он не выпускал из вида своих предшественников, хотел продолжать путь, ими начатый.

Особенно крепко держался он за своего любимого Татищева, труды которого он собирал и изучал с особенным вниманием. В его бумагах находилась какая-то «Роспись на первые пять книг Геродотовой истории», писанная рукою Татищева, выписки и примечания на Стоглав из *Истории* Татищева и три части его же «Российского исторического, географического, политического и гражданского лексикона», изданные по смерти Болтина графом Мусиным-Пушкиным. Болтин верно угадал, что нужно было делать после Татищева. Татищев старался собрать и свести основные источники русской истории, прежде всего летописи. Болтин видел, что далее предстоит, во-первых, выучиться читать эти памятники, понимать язык их. Отсюда его заботы о толковом историческом и других словарях. И он достиг замечательного для его времени искусства в чтении и объяснении древнерусских памятников. Без его перевода и комментария *Русской Правды* доселе нельзя обойтись при изучении этого трудного документа. В поставленном Болтиным требовании — прежде чем воссоздать по памятникам цельную и стройную историю России, надобно уметь читать и понимать эти памятники, — состоял первый важный шаг вперед, сделанный Болтиным после Татищева в научной постановке дела изучения русской истории.

Но Болтину принадлежала заслуга и второго, не менее важного шага. Сквозь тусклые и невнятные, часто отрывочные строки древних памятников предстояло разглядеть то, что составляет основное содержание, фон истории — это сеть ежедневных людских отношений, из которых сплетается человеческое общежитие, историческая жизнь народов. В постановке этой задачи сказалось влияние современной ему европейской историографии, которая в критическом изучении ставила на первый план учреждения, обычаи, нравы, верования, понятия народов. Болтин первый начал у нас серьезное и систематическое изучение этих глубоких течений русской исторической жизни и доселе остается одним из лучших их знатоков. К явлениям этого порядка он и применил сравнительный прием изучения. Недостатки и ошибки учено-литературных противников помогли ему технически усовершенствовать этот прием. Защищая честь отечества от напраслин иноземного историка России, он старался рассмот-

реть, лучше ли складывалась и шла жизнь других народов и от каких условий зависело ее превосходство, таким образом учился измерять сравнительно уровни развития народов. С другой стороны, толкуя противникам смысл непонятого ими древнего факта, учреждения, обычая или понятия, он показывал его отдаленные отрасли в современном складе жизни и призывал настоящее на помощь для объяснения прошедшего. Прошедшее живет в настоящем, и настоящее, следовательно, есть один из основных источников для изучения прошедшего. Мысль, что современность есть музей древностей, живая летопись прошедшего, впервые настойчиво была проведена Болтиным. Этим объясняется, почему Болтин отдавал так много времени и усилий изучению современного положения России. В своем *Ответе* кн. Щербатову он писал, что «деяния исторические весьма тесно сопряжены с познанием той страны, в которой они происходили», т. е. с познанием ее настоящего положения. Таким образом, сравнительное историческое изучение, по Болтину, состоит в сравнении как однородных явлений в жизни разных народов, так и разновременных явлений в жизни одного и того же народа.

Таковы были наиболее крупные методологические заслуги, оказанные Болтиным русской историографии. Своими опытами он показал, что надо знать и как поступать, чтобы толково объяснить исторические тексты и исторические факты. Применяя выработанную методологическую технику к изучению русской истории, Болтин *истолковал много темных мест в древних наших памятниках*, еще больше объяснил *непонятых прежде явлений* нашей истории и восстановил ход развития целых *учреждений*, так что в конце XVIII в. стало возможно составить дельную стройную историю по крайней мере древней России. С помощью своих научных приемов и знаний Болтин сложил довольно цельный взгляд на ход всей русской истории и даже успел вывести из него некоторые заключения нравственного характера, пригодные для практического разрешения тревог, волновавших современное ему русское общество. Эти заключения все сводились к одному главному: конечная цель изучений отечественной истории должна заключаться в познании и укреплении нравственных начал русской жизни.

Я без меры утомил бы Ваше внимание изложением этого взгляда. Вместо того позвольте мне повторить последние строки суждения о Болтине, высказанного в напечатанной уже статье...



И. Н. М. КАРАМЗИН

Карамзин смотрит на исторические явления, как смотрит зритель на то, что происходит на театральной сцене. Он следит за речами и поступками героев пьесы, за развитием драматической интриги, ее завязкой и развязкой. У него каждое действующее лицо позирует, каждый факт стремится разыграть в драматическую сцену. По временам является на сцену и народ; но он остается на заднем плане, у стены, отделяющей сцену от кулис, и является обыкновенно в роли *deus ex machina* * или в виде молчаливой, либо бестолково галдящей толпы. Он выводится не как историческая среда, в которой действуют герои, а тоже в роли особого героя, многоголового действующего лица. Герои Карамзина действуют в пустом пространстве, без декораций, не имея ни исторической почвы под ногами, ни народной среды вокруг себя. Это — скорее воздушные тени, чем живые исторические лица. Они не представители народа, не выходят из него; это особые люди, живущие своей особой героической жизнью, сами себя родят, убивают один другого и потом куда-то уходят, иногда сильно хлопнув картонной дверью. Они ведут драматическое движение, но сами не движутся, не растут и не стареют, уходя со сцены такими же, какими пришли на нее: русские князья Южной Руси XI—XII в. говорят, мыслят и чувствуют так же, как русские князья Северной Руси XIV и XV в., т. е. как мыслил историк. Это люди разных хронологических периодов, но одинакового исторического возраста. Они говорят и делают, что заставляет их говорить и делать автор, потому что

* «Бог из машины» (лат.) — неожиданно появляющаяся сила, разрушающая безвыходное положение.

они герои, а не потому что они герои, что говорят и делают это. От времени до времени сцена действий у Карамзина пустеет: герои прячутся за кулисы, и зритель видит одни декорации, обстановку, быт, житейский порядок — это в так называемых внутренних обозрениях... Но среди этого житейского порядка не видать живых людей и не поймешь его отношения к только что ушедшим героям: не видно ни того, чтобы из их речей и поступков должен был сложиться именно такой порядок, ни того, чтобы их речи и поступки были внушены таким порядком. Таким образом, у Карамзина действующие лица действуют без исторической обстановки, а историческая обстановка является без действующих лиц. Потому действующие лица кажутся невозможными, а обстановка действия ненужной. Но, лишенные исторической обстановки, действующие лица у Карамзина окружены особой нравственной атмосферой: это — отвлеченные понятия долга, чести, добра, зла, страсти, порока, добродетели. Речи и поступки действующих лиц у Карамзина внушаются этими понятиями и ими же измеряются; это своего рода лампочки, прикрытые от зрителя рампой и бросающие особый от общего освещения залы свет на сцену. Но Карамзин не заглядывает за исторические кулисы, не следит за исторической связью причин и следствий, даже как будто неясно представляет себе, из действия каких исторических сил слагается исторический процесс и как они действуют. Потому у него с целой страной совершаются неожиданные повороты, похожие на мгновенную передвижку театральных декораций, вроде, например, его взгляда на ход дел в Русской земле до Ярослава I и после него, в удельное время, когда, по его словам, «государство, шагнув в один век от колыбели своей до величий, слабело и разрушалось более 300 лет». Зато нравственная правда выдерживается старательно: порок обыкновенно наказывается, по крайней мере всегда строго осуждается, страсть сама себя разрушает и т. п. Взгляд Карамзина на историю строился не на исторической закономерности, а на нравственно-психологической эстетике. Его занимало не общество с его строением и складом, а человек с его личными качествами и случайностями личной жизни; он следил в прошедшем не за накоплением средств материального и духовного существования человечества и не за работой сил, вырабатывавших эти средства, а за проявлениями нравственной силы и красоты в индивидуальных образах или массовых дви-

жениях, за этими, как он говорит, «героями добродетели, сильными мышцею и душою, или за яркими чертами ума народного свойства, нравов, драгоценными своею древностью». Он не объяснил и не обобщил, а живописал, морализировал и любовался, хотел сделать из истории России не похвальное слово русскому народу, как Ломоносов, а героическую эпопею русской доблести и славы. Конечно, он много помог русским людям лучше понимать свое прошлое; но еще больше он заставил их любить его. В этом главная заслуга его труда перед русским обществом и главный недостаток его перед исторической русской наукой.

П. Н. М. КАРАМЗИН

Оптимизм, космополитизм, европеизм, абсолютизм, республиканизм — оставлены. Остался сентиментальным моралистом XVIII в. и приверженцем просвещения, как лучшего пути к доброй нравственности, которая — основание государственного развития и благоустройства. Остались и особенности его духа, развитые его литературной деятельностью, впечатлительность без анализа впечатлений, изобразительность без чутья движения, процесса. Наблюдения и принесенные ими разочарования из либералиста в консерватора-патриота: «Всякое гражданское общество, веками утвержденное, есть святыня для граждан; насильственные потрясения губительны». Перемена во взгляде на реформу Петра. Впрочем, уцелел и еще один след влияния на него просветительной философии: историческая методика школы Руссо. Сочувствие к республиканскому правлению в «*Марфе Посаднице*» — влечение чувства, не внушение ума: политические и патриотические соображения склоняли к монархии, и притом к самодержавной. В той же повести слова кн. Холмского. В спорах о лучшем образе правления для России он стоял на одном положении: Россия прежде всего должна быть великою, сильною и грозною в Европе, и только самодержавие может сделать ее таковою. Это убеждение, вынесенное из наблюдения над пространством, составом населения, степенью его развития, международным положением России, Карамзин превратил в закон основной исторической жизни России по методу опрокинутого исторического силлогизма: самодержавие — коренное начало русского государственного *современного* порядка; следовательно, его развитие — основной факт русской исторической жизни, самая сильная тенденция всех ее условий.



ПАМЯТИ Т. Н. ГРАНОВСКОГО

(умер 4 октября 1855 г.)

Полвека прошло, как закрылась могила Грановского¹. От него пошло университетское предание, которое чувствует, которое носит в себе всякий русский образованный человек. Все мы более или менее — ученики Грановского и преклоняемся перед его чистою памятью, ибо Грановский, не другой кто, создал для последующих поколений русской науки идеальный первообраз профессора. Едва он успел закрыть глаза, а Соловьев, Дмитриев, Бабст², Кавелин, Чичерин уже благоговейно приникают к памяти человека, с которым расходились в иных научных взглядах, в складе ума и характера. Их соединяла с Грановским идея, которая в свое время и привлекала студентов в его аудиторию.

Грановский преподавал науку о прошедшем, а слушатели выносили из его лекций веру в свое будущее, ту веру, которая светила им путеводной звездой среди самых беспросветных ночей нашей жизни. Лекции Грановского о Греции и Риме, о феодальном средневековье воспитывали деятельную любовь к русскому отечеству, ту энтузиастическую жажду работы на его благо, ту крепость общественного духа, которая помогла лучшим русским людям минувшего полувека пронести на своих плечах сквозь вековые препятствия все тягости преобразовательной эпохи. История, сохраняя в чтениях Грановского свой строгий характер науки, становилась учительницей жизни. Это Грановский научил свою аудиторию ценить научное знание как общественную силу. С его времени, с его публичных лекций Московский университет стал средоточием лучших чаяний и помыслов для образованного

русского общества. Грановский завязал ту внутреннюю духовную связь между Московским университетом и обществом, которая крепка доселе и для обоих стала старозаветной традицией. *Наш университет, наш Грановский*—эти слова стали привычными выражениями в Москве с того времени. Эта связь в многотысячном лице московского студенчества тонкими нитями расходилась далеко-далеко от Москвы во все стороны. В эпоху общего нравственного колебания и общественного уныния Грановский, вещая правду и свободу, стоял на своем месте твердо и прямо. Имя его стало лозунгом, символом общественного возрождения, совершаемого переработкой слова науки в дело жизни.

Таково предание, сложившееся о Грановском в продолжение пятидесяти лет со дня его смерти. Можно было бы думать, что мысль Грановского, привыкшая работать над великими мировыми делами и деятелями, неохотно обращалась к отечественной истории, к ее невзрачным или печальным явлениям, о которых повествуют тощие страницы его летописей. Но русская история стояла вокруг Грановского со всеми своими тяжелыми условиями, над которыми поработали века. От этой истории, точнее, от действительности, ею созданной, невозможно было укрыться в академическую келью: она вторгалась в каждое независимое личное существование со своими грубыми требованиями. Да и натура Грановского была не такова, чтобы он мог стать ученым-отшельником. Он рано почувствовал, что только упорной борьбой можно пронести сквозь толщу тогдашней жизни общественные начала, которым он решил служить. Он искал вокруг себя и прежде всего в своей аудитории свежих сил, которые можно было бы подготовить к делу. В 1845 г., предупреждая задуманную студентами орацию, Грановский, тогда 32-летний преподаватель, сказал в аудитории своим слушателям, что он и они принадлежат к молодому поколению, в руках которого жизнь и будущность отечества, что им предстоит долгое служение «нашей великой России», преобразованной Петром, идущей вперед и с одинаковым презрением относящейся и к клевете иноземцев, которые видят в нас только легкомысленных подражателей Западу, и к «старческим жалобам людей, которые любят не живую Русь, а ветхий призрак, вызванный ими из могилы, и нечестиво преклоняются перед кумиром, созданным их праздным воображением». «Побережем себя на великое служение»,— сказал в заключение Грановский.

В этих словах выразился его взгляд на свое профессорское дело, а в этом взгляде сказалось глубокое понимание окружающих условий, в которых жило русское общество. Нужно было действовать не только на мысль, но и на *настроение* и готовить деятелей для будущего. Грановский и смотрел на свою аудиторию как на школу гражданского воспитания. Художественная обработка изложения, мягкий пафос профессора помогали слушателю переноситься в область общественно-исторических идей, которые в будущем, в деятелях, выраставших из слушателей, уже сами приложатся к действительности и облагоделят ее. Грановский не проводил своих идей как запретного товара среди поразительной наивности правительства, видевшего конституционную прокламацию в альманахе, и среди пугливого общества, чужавшего запах революции в трескучем письме Погодина. Лояльно-прямо, возвышенно и художественно он воспитывал в слушателях на своих исторических построениях, на уроках, даваемых ходом истории, идею долга и ответственности перед обществом. И этим Грановский шевелил смутную тревогу в людях николаевского режима. Его долго не пускали в деканы, чтобы затруднить ему общение со студентами и влияние на строй преподавания, ославили чуть не тайным революционером, а после его всколыхнувших московское общество публичных курсов позаботились, чтобы в Москве забыли, что такое публичные университетские лекции. Но самую идею профессорской деятельности Грановского все более цепеневшие казенные руки уловить и задуть были бессильны.

Жизненная драма Грановского навеивает глубокую грусть. Грановский верил и надеялся, верил в свое дело и надеялся на его успех. Веру он мужественно сберег до конца, но успех становился все безнадежнее, особенно после 1848 г., хотя в личности Грановского соединялись свойства, способные в другом порядке обеспечить ему торжество. Он обладал в высшей степени силой нравственного обаяния, тайна которого скрывалась во всем его духовном складе. Это был оптимист в лучшем смысле слова. Не игнорируя зла, он во всем и во всех искал добра, в каждом явлении умел находить положительную сторону; в его широком взгляде на жизнь и историю смягчались слишком односторонние или резкие направления. Так отзывались о нем люди, хорошо его знавшие, без различия личного к нему отношения. Отрицание было совсем не свойственно его ясному и стройному уму. Но, примири-

тельный по природе, он не был уступчив в принципах. Мягкость отношений соединялась у него с твердостью характера; никого не вызывая на бой, он никому не хотел сдаваться. Между тем вокруг себя он видел только нетерпимость или духовную апатию. Под гнетом господствовавшего порядка люди озлоблялись или теряли нравственное и общественное понимание. Известен невольный идейный разрыв Грановского с ближайшими друзьями, известно и то, как он утратил веру в их эмигрантскую деятельность. Еще более известны ужасные слова его про славянофилов: «Эти люди противны мне, как гробы; от них пахнет мертвечиной; ни одной светлой мысли, ни одного благородного взгляда; оппозиция их бесплодна, потому что основана на одном отрицании всего, что сделано у нас в полтора столетия новейшей истории». Но, разорвав с обеими оппозициями в обществе, он не стал менее подозрителен для правительства, и там не могли ничего усвоить из того, за что он стоял. Он изверился, наконец, и в будущем. Заступаясь за Петра, он написал Герцену полные уныния слова: «Надобно носить в себе много веры и любви, чтобы сохранить какую-нибудь надежду на будущность самого сильного и крепкого из славянских племен; наши матросы и солдаты славно умирают в Крыму, но жить здесь никто не умеет». Но Грановский умел сохранить эту веру и любовь, остался рыцарем, как его называли, благороднейшим крестоносцем, шедшим беззаветно к своей обетованной цели, без надежды на победу, но и без страха перед поражением. Весть о падении Севастополя заставила его плакать. Всего за несколько недель до смерти, уже больной, он писал: «Будь я здоров, я ушел бы в милицию, без желания победы России, но с желанием умереть за нее; душа наболела за это время; здесь все порядочные люди поникли головами». И, однако, он не опускал рук. В последнем письме он жалуется на несвоевременность своей болезнью, через двое суток покончившей его жизнь: у него много спешной работы; ему, как декану, надо много сделать для факультета, для улучшения преподавания; он задумал с Кудрявцевым журнал *Исторический сборник*, надеясь, что «эластическое слово *исторический* дало бы издателям возможность касаться самых жизненных вопросов», уговаривает Кавелина стряхнуть лень и снова **взяться** за дело... Грановский не разбивал своих скрижалей.

В 1855 г. Грановскому случилось увидеть портрет Петра Великого, писанный с мертвого, вероятно, тотчас после кончины преобразователя. «Мне кажется,— писал Грановский,— я был бы в состоянии по целым часам стоять перед этой картиной; я охотно отдал бы за нее любимые книги мои». Его поразило выражение бледного лица на фоне красной подушки: «Верхняя часть божественно прекрасного лица запечатлена величавым спокойствием; мысли нет более, но выражение ее осталось. Такой красоты я не видел никогда. Но жизнь еще как будто не застыла в нижней части лица. Уста сжаты гневом и скорбью; они как будто дрожат. Целый вечер смотрел я на это изображение человека, который дал нам право на историю и едва ли не один заявил наше историческое призвание».

Теперь, спустя 50 лет по смерти Грановского, можно еще представить себе скорбный облик, с каким он ушел из жизни, подобный посмертному облику любимого им Петра, можно представить его в сонме таких же обликов, таких же теней гнева и скорби: Кавелин, думавший, что с освобождением крестьян все в России изменится к лучшему, С. М. Соловьев, веривший, что восстающий от времени до времени русский богатырь вынесет Россию на своих плечах, Чичерин, в 1860-х годах предпочитавший «честное самодержавие несостоятельному представительству», а 30 лет спустя принужденный печатать за границей свои последние и заветные мысли, и много, много других, менее видных людей. Все это были люди меры и порядка, надеявшиеся на улучшение действительности, и все они были обмануты в своих надеждах. Каждый независимый русский общественный деятель таит в себе хотя малую крупицу Петра Великого, своего духовного родоначальника, и каждый уходит с той же печатью гнева и скорби на сомкнутых устах.



СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ СОЛОВЬЕВ

(умер 4 октября 1879 г.)

С. М. Соловьев родился 5 мая 1820 г. в Москве. Отец его, протоиерей Михаил Васильевич, был законоучителем в Московском коммерческом училище. Первоначальное образование Сергей Михайлович получил дома и только уже на 14-м году поступил в I Московскую гимназию прямо в третий класс. Окончив гимназический курс в 1838 г. с отличным успехом (имя его осталось на золотой доске I гимназии), он перешел в Московский университет на первое отделение философского факультета, как тогда назывался историко-филологический факультет. Из гимназии он вынес основательное знание древних классических языков, и им посвящен был первый литературный опыт, явившийся в печати с именем Соловьева: это была произнесенная им на гимназическом акте при выпуске речь «О значении древних классических языков при изучении языка отечественного». Изучение древних языков продолжалось и в университете, где в то время сильно действовал на умы слушателей своими блестящими и полными новизны лекциями о древней истории профессор римской словесности Д. Л. Крюков. По рассказу самого Соловьева, Крюков даже предлагал ему специально готовиться под его руководством к занятию кафедры римской словесности. Но Соловьев уже решил выбор ученой специальности, посвятив себя изучению истории, преимущественно отечественной. В это же время, когда Соловьев был на втором курсе (1839 г.), начал свою столь памятную в истории Московского университета ученую деятельность только что вернувшийся из-за границы преподаватель всеобщей истории Т. Н.

Грановский. Вместе со многими товарищами Соловьев подчинился обаятельному действию сильного таланта; впоследствии исторические занятия сблизили его с Грановским, Соловьев стал потом его ближайшим товарищем и до конца его жизни остался связан с ним самой тесной дружбой.

В студенческие годы Соловьева русскую историю преподавал в Московском университете известный М. П. Погодин¹. Тогда уже близилась к концу его профессорская деятельность, прекратившаяся неожиданно для него самого в 1844 г., когда он по некоторым причинам покинул службу в университете в надежде вернуться туда года через два,—и уже не возвращался. Погодин заметил даровитого студента, прилежно и с успехом занимавшегося изучением отечественной истории. Задумав оставить университет на время, Погодин года за два до своей отставки, предупредив совет об этом намерении, указал ему в числе других кандидатов для замещения своей кафедры (Григорьева и Бычкова) и на студента Соловьева, бывшего тогда на последнем курсе.

Тотчас по окончании университетского курса новому кандидату 1-го отделения философского факультета представился случай побывать за границей и там довершить свое историческое образование. Он отправился туда с семейством графа А. Г. Строганова, которому рекомендовал молодого кандидата тогдашний попечитель Московского учебного округа граф С. Г. Строганов². Соловьев пробыл за границей два года (1842—1844 гг.). Проездом он посещал Берлинский университет, бывал, между прочим, в аудитории Неандера; в Праге познакомился и много беседовал об истории славянства и России с Шафариком и другими чешскими учеными³. Но главным местом его заграничных занятий был Париж. Здесь он много читал и много слушал, посещая усердно лекции Ампера, Кинэ, Ленормана, Мишле, Рауль-Рошетта, Ж. Симона, Ф. Шаля, также Фр. Араго⁴ и Мицкевича. К изучению истории России он старался подготовить себя основательным знакомством с историей всеобщей, особенно с теми ее явлениями, которые имеют прямую или косвенную связь с фактами нашего прошедшего. Впрочем, и на чужой стороне не прекращались занятия отечественной историей: в Париже Соловьев если не писал, то обдумал и подготовил свою магистерскую диссертацию, которую представил факультету вскоре по возвращении в Москву, в начале 1845 г.,

выдержав перед тем экзамен на степень магистра русской истории.

Возвратившись из-за границы, Соловьев чрезвычайно быстро прошел ряд испытаний, обязательных для ученого, ищущего профессуры, хотя эти испытания в то время были несравненно сложнее и труднее, чем стали теперь: так, публичной защите диссертации в то время предшествовал диспут в закрытом заседании факультета, чем приобреталось право на словесный экзамен и на публичную защиту диссертации. Выдержав магистерский экзамен в начале 1845 г., он дважды напечатал и в октябре того же года защитил магистерскую диссертацию: *«Об отношениях Новгорода к великим князьям»*. Через год факультету была уже представлена им докторская диссертация: *«История отношений между русскими князьями Рюрикова дома»* — объемистая книга в 700 страниц. Такая скорость тем удивительнее, что она не отразилась заметно на качестве ученой работы и что, в то время как писалась эта книга, автору ее пришлось работать над другим делом, самым трудным в ученой жизни профессора: в июле 1845 г., по предложению попечителя, он был избран преподавателем русской истории в Московском университете, читать свой первый курс в университете, — а после защиты магистерской диссертации утвержден был на кафедре русской истории, впрочем, только в звании исправляющего должность адъюнкта, хотя уже имел степень магистра. Определение совета Московского университета, дозволявшее печатать представленную Соловьевым на степень доктора диссертацию, состоялось 18 декабря 1846 г., в июне следующего года диссертация была защищена, а в промежутке 27-летний магистр русской истории успел сдать экзамен на степень доктора исторических наук, политической экономии и статистики — экзамен, на котором ему предложено было 11 вопросов из этих наук, а также из древней и новой географии. В три года со времени возвращения из-за границы — два экзамена и две диссертации с четырьмя диспутами, не считая первого курса русской истории, читанного студентам в 1845/46 академическом году, не считая и ряда статей, написанных в то же время: русские ученые поднимались редко по лестнице ученых степеней так быстро и с таким успехом. Уже в те годы Соловьев в совершенстве обладал тем умением беречь время, которое дало ему возможность сделать так много впоследствии.

Обе диссертации создали автору громкую известность не только в тесном кругу ученых, но и во всем читающем обществе. Первое его исследование, выпущенное в свет в ограниченном количестве экземпляров, разошлось так быстро и так настойчиво спрашивалось публикой, что в 1846 г. автор принужден был с некоторыми пополнениями перепечатать его в *«Чтениях Общества истории и древностей российских»*. По свидетельству одного тогдашнего московского литератора-наблюдателя, первую диссертацию Соловьева «все литературные партии встретили самым решительным одобрением без различия мнений». Вторую диссертацию встретили с таким же, если не с большим сочувствием, которое сказалось и на диспуте (9 июня 1847 г.) и в печати. «Диспут блестящий!» — так начал упомянутый наблюдатель свой отчет о нем: «Несмотря на летнее время,— продолжает он,— когда Москва пустеет, большая университетская аудитория была полна; кроме профессоров и студентов, было много лиц сторонних; некоторые посетители и посетительницы не задумались для ученого торжества приехать с дач; публика живо заинтересовалась и следила с участием за диалектикой и доводами говоривших», а говорили, возражая Соловьеву, Грановский, Бодянский⁵, Кавелин и студент Клеванов. Незадолго до диспута ученый из другого литературного лагеря, враждебного тому, к которому примкнул Соловьев, известный И.Д. Беляев⁶ в *«Московском городском листке»* поместил о его книге небольшую, но бойкую статейку, подобные которой ему редко удавалось писать потом: здесь рецензент называл труд Соловьева «книгой, по своему превосходному содержанию долженствующей быть настольною у каждого занимающегося русскою историей», книгой, которую «можно прочесть с удовольствием десять раз и больше»; строгая логическая последовательность в выводах, по признанию критика, царит над всем сочинением; выводы и факты являются в книге чем-то неразрывным, родным друг другу; иногда даже дивишься, прибавляет Беляев, отчего прежние историки не замечали того, что так естественно и просто открыл Соловьев.

Успех обеих диссертаций, не устаревших и доселе, объясняется не одним талантом автора, но и его серьезной подготовкой: в этих первых ученых опытах своих начинавший историк выступил уже с обдуманними историческими понятиями, с определенным взглядом на задачи и приемы исторического изучения. Этот взгляд опре-

делился с помощью раннего и близкого знакомства Соловьева с современным состоянием исторической науки на Западе; знакомство это началось еще на студенческой скамье в Москве, и потому ему преимущественно посвящены были двухлетние заграничные занятия. В *«Москвитянине»* в 1843 г. напечатана была чрезвычайно живая, с юношеским одушевлением написанная статья о Парижском университете, под которой стоит пометка: «Прага Чешская, 23 июня 1843 г.». С большим увлечением, которое сообщается и читателю, передает здесь московский слушатель французских профессоров впечатления, накопившиеся в нем в продолжение академического года, когда он усердно посещал Сорбонну. Это ряд метких характеристик преподавателей, которых он слушал в Париже, с остроумными замечаниями о характере и манерах французского университетского преподавания. Мишле, например, выдержками из его лекций очерчен во весь рост с его отвращением к системе, с внешней беспорядочностью и болтливостью изложения и с блестящей, ловко заостренной и иногда очень меткой отдельной фразой. Но Соловьев не увлекался восторженной импровизацией французских профессоров; отдавая должное внешним качествам их преподавания, он хорошо видит его внутренние недостатки, превращающие университетскую лекцию в публичную ораторскую речь. Очевидно, не под влиянием этих более ораторских, чем ученых, чтений складывался взгляд Соловьева на задачи и приемы научного исторического исследования. Притом курсы, слушанные им в Париже, по крайней мере те, о которых он отдает отчет в своей пражской статье, и по содержанию своему были слишком далеки от того порядка исторических явлений, на котором он потом останавливал преимущественное внимание в своих исследованиях, а в краткой автобиографической статье, составленной им для *«Словаря профессоров Московского университета»* (1855), он сам заметил, что за границей «он продолжал исторические занятия, разрабатывая преимущественно те предметы, которые имели ближайшее отношение к его главному предмету — отечественной истории». В Париже он слушал в 1842—1843 гг. чтения С. Марка Жирардэна о французской драме, Ф. Шалля — по истории немецкой литературы, Кинэ — по истории древней немецкой, итальянской и испанской литературы, Ампера — о французской литературе XVII в., Россе С. — Илера — о состоянии Италии до основания Рима, филолога Па-

тэна — о комедиях Теренция, Ж. Симона — о философии, Ленормана, преемника Гизо по кафедре новой истории, — о евангелии и христианстве, наконец, Мишле, курс которого, называвшийся философией истории, по-видимому, мало соответствовал своему названию. Разнообразие этих курсов свидетельствует о широкой любознательности молодого кандидата, посвятившего себя изучению отечественной истории, но его исторические взгляды выработывались больше путем обширного чтения, чем под влиянием заграничной университетской кафедры. В то время изучена была Соловьевым большая часть важнейших произведений западноевропейской исторической литературы, многочисленные выписки из которых он хранил в своих бумагах. Из всех представителей европейской историографии XIX в. никого не ставил он так высоко, как Гизо⁷, а из исторических произведений прошлого столетия великое научное значение придавал он философии истории Вико⁸ (*Scienza nuova*). Эти имена бросают некоторый свет на источник и характер общих исторических воззрений, которые легли в основание трудов Соловьева по русской истории.

С начала нынешнего века европейская историческая литература стала заметно принимать иное направление, какое лишь изредка появлялось в ней прежде отдельными робкими попытками без взаимной связи и последовательного развития. Философски, а *più oì* построенные схемы в истории стали терять прежнюю цену, как еще раньше потеряли ее разные историко-дидактические построения судеб человечества. Исторический опыт, тяжелые и быстрые перемены, часто совершенно непредвиденные, какие были испытаны европейскими обществами с конца прошедшего столетия, привели к мысли, что в истории, помимо той пищи, какую она доставляет философскому и эстетическому созерцанию, есть еще сторона, более важная для изучения и более нужная для практических потребностей настоящего и будущего, — это природа и действие сил и условий, участвующих в построении человеческих обществ. Историческая мысль стала внимательно всматриваться в то, что можно назвать механизмом человеческого общежития. В этом наблюдении она пошла двумя путями, направляемая различными впечатлениями, какие вынесены были из недавнего опыта. Этот опыт состоял из ряда потрясений, совершившихся и в политической жизни обществ и вызванных борьбою и сменой разных государственных порядков, и, чтобы

найти причину столь великих и неожиданных крушений, одни наблюдатели обратились к рассмотрению политической конструкции, кладки разных обществ и изучению процесса, каким они складывались. Но один и тот же политический порядок имел неодинаковую судьбу в разных местах, приводил к различным последствиям; порядок, по-видимому, наиболее разумно проектированный и обещавший прочно обеспечить человеческое благополучие, на иной почве не принимался, портился, разрушал спокойствие и благосостояние целого общества и уступал место другому, казавшемуся худшим, как будто в деле политических учреждений кладка, технически лучшая, может быть негодной на иной исторической почве. И потому другие наблюдатели сосредоточивали свое внимание на свойствах этой почвы и того материала, который из нее извлекался для построения общества. Так задача исторического исследования раздвоилась: для одних предметом его сделались преимущественно генезис и развитие политических форм и социальных отношений, политика и право, для других — рост национальных преданий и обычаев, дух и быт народа. Это раздвоение по существу своему не давало повода к антагонизму обоих направлений в исторической науке: оно, собственно, было не более как простым разделением труда в работе над одним и тем же предметом; однако же это разделение иногда принималось за различие самых воззрений, принципов и вызывало борьбу.

Соловьев присоединился к первой из этих школ, если можно так назвать указанные направления, господствовавшие в исторической литературе. Преемство политических форм, происхождение и развитие сословного расчленения общества и т. п. — таковы были предметы, на которых он прежде и больше всего сосредоточил свое внимание, как только принялся за самостоятельную работу отечественной истории по окончании приготовительных занятий. С таким взглядом на задачи исторического изучения возвратился он в 1844 г. из-за границы, и присутствие программы, построенной на таком взгляде, заметно уже в содержании первого университетского курса, читанного им в 1845/46 академическом году. В подробном «Отчете о состоянии и действиях Московского университета» за этот год читаем, что исправляющий должность адъюнкта магистр Соловьев преподавал по собственным запискам русскую историю студентам 3-го курса 1-го отделения философского факультета и 2-го

курса юридического по 4 часа в неделю, предполагая довести свой курс до новейших времен: «Преподаватель особенно обращает внимание своих слушателей на родовой быт, господствовавший в древней Руси, и постепенный переход его в быт государственный; равно обращает особенное внимание на отношение между Русью московской и Русью литовской и на историю сословий». Сверх того, студентам 4-го курса философского факультета он преподавал по 2 часа в неделю *специальный курс*, предметом которого была «история междуцарствия». В отчетах ближайших следующих лет находим указания только на содержание этих специальных курсов: в 1846—1847 гг. читана была история царствования трех первых государей из дома Романовых, в 1847—1848 гг. история Петра Великого и т. д. Но уже из отчета за первый год преподавательской деятельности Соловьева достаточно видны содержание и характер его другого курса, который студенты слушали прежде специального: это был общий обзор истории России, столь памятный всем его слушавшим, который останавливался там, откуда профессор в следующем году предполагал вести более подробное его продолжение. Так уже в первые годы Соловьев установил тот порядок преподавания, которого он долго держался потом: начав специальное изложение с эпохи, на которой прервалась «История государства Российского» Карамзина, Соловьев с каждым годом понемногу подвигался все дальше вперед, но студент специально знакомился с доставшейся ему эпохой, уже подготовленный к тому общим курсом русской истории с древнейших времен. Содержанием этого курса была именно смена политических форм с объяснением исторических обстоятельств, при которых одна из них зарождалась, падала и переходила в другую, и с указанием перемен, какие при господстве той или другой из них происходили в составе общества и во взаимных отношениях его частей. С течением времени фактические подробности в этом курсе сглаживались все более, так что он превратился, наконец, в непрерывную цепь обобщений, в историко-философскую формулу политического и социального развития России.

Тот же самый взгляд на задачи исторического изучения проходит и по обеим диссертациям Соловьева, и последовательное проведение в них этого взгляда было главной причиной сильного впечатления, какое они произвели на читающее общество. Такое генетическое изучение форм и отношений государственного и обществен-

ного быта России было тогда если не совершенной новостью в нашей историографии, то во всяком случае явлением, к которому еще не привыкли, которому предшествовали слабые попытки в этом роде. А в обеих первых книгах Соловьева, даже в их заглавиях, как в устном изложении с университетской кафедры, так потом в «Истории России» на первом плане именно отношения. В диссертации об отношениях Новгорода к князьям сделана попытка объяснить социальное происхождение и первоначальное устройство русского города древнейшего времени; здесь же впервые высказана была мысль, которой потом историк дал такую важную роль в ходе политической истории России, — мысль о политическом значении новых городов, возникших в Северной Руси XII в.; среди которых сложилось понятие об отдельной княжеской собственности, об *уделе*, сменившее прежний порядок владельческих отношений между князьями, основанный на понятии об общности, нераздельности владения. Задачей исследования было изучение «характера новгородского народовластия», решение вопроса: «Был ли Новгород республикою, в которой развивался особый быт, не имевший ничего общего с бытом других городов русских, отделился ли он своим бытом при Ярославе I, или отделился от новой Руси вместе со старой и потом, оставшись один представителем последней, не мог удержать старины и преклонился перед городами юными?»

Тот же взгляд во второй диссертации приложен к кругу явлений нашей политической истории, еще более широкому. В нашей исторической литературе это был первый опыт, имевший целью вывести из одного начала и изобразить в виде непрерывного, последовательного процесса ряд форм политического быта, сменившихся в России с половины IX до конца XVI в. Восстанавливая этот процесс, Соловьев высказался решительно против искусственного деления нашей истории, против названий одного периода удельным, другого монгольским, дающих неверное понятие о характере времени или разрывающих естественную связь событий, «естественное развитие общества из самого себя». Книга об отношениях русских князей Рюрикова дома по основной своей мысли имеет тесную внутреннюю связь с исследованием о новгородских отношениях, развивает положения, намеченные в последнем. В этой книге получил окончательную обработку факт, который обозначен был Соловьевым как главное содержание его первого университетского кур-

са,— факт постепе́нного перехода родовых отношений, служивших первоначальным основанием порядка княжеского владения, в отношения государственные. Посредствующим моментом, через который совершился этот переход от одного порядка к другому, служило понятие о княжестве как об отдельной собственности князя, понятие, происхождение которого объяснено было автором в исследовании о Новгороде и которое, на его взгляд, возникло из отношений, установившихся между новыми городами Северной Руси и князем. Что вызвало государственные отношения, спрашивает исследователь, и что дало им торжество над родовыми? Ответом на этот вопрос служит такой ряд исторических соображений: по распадении Ярославова княжеского рода на семьи, часто одна другой враждебные, семья северных князей не развивается в род, как это было на юге, где обособлявшиеся княжеские семьи стремились опять развиться в роды с прежними родовыми отношениями; на Севере первоначальная княжеская семья, отделившись от южных, в дальнейшем развитии своем распадается на такие же отдельные семьи, которые не смыкаются в родовое целое, между которыми не повторяются прежние родовые отношения: это потому, что нет условия, при котором только они и могли повториться, «нет более понятия об общности, нераздельности владения»; отсюда «постоянное разделение и постоянная борьба между княжествами», что «дает сильнейшему возможность подчинить себе слабейшие: эта возможность основывается на понятии об отдельной собственности, которая исключала родовое единство; понятие же об отдельной собственности явилось на Севере вследствие преобладания там городов новых, которые, получив свое бытие от князя, были его собственностью». Таким образом, родовой быт, господствовавший в древней Руси, является началом, из которого последовательно развился ее политический порядок, и самый этот быт как исходная точка развития древнерусских политических форм исследован историком более в явлениях политического порядка, чем в явлениях гражданского общежития, в кругу частных гражданских понятий и отношений.

Со времени возвращения своего из-за границы Соловьев удивительно много пишет: в одно время с обеими диссертациями и вслед за ними составлен был им ряд значительных по объему статей не только по русской, но и по всеобщей истории. В 1846 и 1847 гг., когда писалась

и печаталась книга об отношениях князей, напечатаны были в разных периодических изданиях исследования о нравах и обычаях древней Руси от времен Ярослава I до нашествия монголов, о состоянии духовенства в России до половины XIII в., о местничестве, о Мстиславе Храбром, о Данииле, князе галицком⁹; сверх того, изложена была русская летопись для первоначального чтения и составлены два очерка по всеобщей истории *«Рим»* и *«Варвары»*. В 1848 г. приготовлены были к печати две обширные статьи, из которых одна содержала в себе обзор событий русской истории от кончины царя Феодора Иоанновича до вступления на престол дома Романовых, другая — очерк истории Малороссии до подчинения ее царю Алексею Михайловичу. Исследования, обзоры, очерки, критики и рецензии идут непрерывным рядом до 1851 г., продолжают и далее, вливаясь потом из разных повременных изданий, подобно притокам большой реки, в *«Историю России с древнейших времен»*. Следует также припомнить, что к 1850 г. у Соловьева был уже готов на кафедре цельный общий курс древней русской истории и специально изложена была история XVII и начала XVIII в

Такой усиленной ученой деятельностью приготовлялся Соловьев к труду, который стал главным делом его жизни и навсегда связал его имя с успехами русской исторической науки и русского общественного сознания. Важнейшие источники древней русской истории были уже им изучены, важнейшие ее явления обдуманы и приведены во взаимную связь, когда 30-летний историк, по достижению профессорского звания (в июле 1850 г. утвержден был ординарным профессором), предпринял, как он сам замечает в своей упомянутой выше автобиографической записке, «труд написать полную отечественную историю с древнейших времен до настоящего». В августе 1851 г. вышел первый том этой *«Истории»*, и потом в продолжение 27 лет каждый следующий том с неизменной точностью являлся через год после предшествующего.

Появление этого капитального труда многими встречено было с некоторым недоверием: многим еще казалось слишком смелым писать историю России после Карамзина. Но знаменитая книга Карамзина, прочитанная столь многими, воспитавшая в обществе нашем столь живой интерес к собственному прошедшему, была отражением умственного состояния этого общества, которое уже было отжито им до половины XIX в.; она не отвечала на

исторические вопросы, которые успели выступить в нашем общественном сознании со смерти знаменитого историографа, не отвечала требованиям, с какими стали обращаться к историографии. Около половины нашего века в истории искали уже не одних «удовольствий для сердца и разума», не пищи для воображения, не «созерцания многообразных случаев и характеров, которые занимают умы или питают чувствительность», но искали и других, более сухих и прозаических указаний. Присутствие этой потребности в нашей литературе за много лет до выхода первого тома *«Истории России»* Соловьева, между прочим, доказывается появлением исторического труда, отличающегося мыслью и талантом, но составленного слишком торопливо и без достаточной подготовки, — *«Истории русского народа»* Полевого¹⁰.

Пока историческая критика разберется в огромном труде Соловьева и оценит его научные результаты, обновим еще раз в памяти то, что было нами в нем читано в продолжение столь многих лет, те основные мысли, в которых выразился взгляд историка на ход нашей истории и которые надолго останутся точкой отправления и опоры для дальнейшего изучения русского прошедшего. Этот взгляд, обнимая собой девять веков жизни русского народа, проходит чрез длинный ряд томов *«Истории»* цельной связующей их нитью, которая, о чем никогда не перестанет жалеть русская историческая наука, прерывается на последней четверти прошлого столетия, оставляя нас без последнего слова, без окончательного суждения историка, которое не только осветило бы смысл и значение этого века в нашей истории, но и бросило бы луч исторического света на времена, еще более к нам близкие.

Когда Соловьев начинал писать первый том своей *«Истории России»*, процесс русской исторической жизни, как он понимал его, уже представлялся ему вполне ясно, и оставалось только изложить его подробности. Взгляд на этот процесс определился и установился в первых трудах историка, который остался верен ему и впоследствии. В предисловии к первому тому этот взгляд тот же, каким находим его и 13 лет спустя, когда повествователь, дошедши до конца XVII в., на минуту остановился, чтобы оглянуться на оставшееся позади его время. Согласно с задачей исторического изучения, рано им усвоенной, он поставил главной целью своего труда воспроизвести последовательный рост политической и социальной жизни России. «Не делить, не дробить русскую ис-

торию на отдельные части, периоды, но соединять их, следить преимущественно за связью явлений, за непосредственным преемством форм, не разделять начал, не рассматривать их во взаимодействии, стараться объяснить каждое явление из внутренних причин — вот обязанность историка в настоящее время, как понимает ее автор предлагаемого труда». Преемство именно политических и общественных форм, в какие облекалась жизнь русского народа, несколько раз изложено было историком и в главном труде и отдельных опытах. Так, в одной статье 1857 г. это преемство изображено кратко в виде схемы, отмечающей только самые крупные явления, главные моменты исторического процесса.

На нашей равнине до Рюрика живет несколько редко разбросанных народцев славянских и финских. Они живут особыми, замкнутыми, самостоятельными родами. В некоторых племенах на севере эти роды были приведены к единству под одну общую власть сначала силою, были покорены пришлыми варягами. По изгнании последних родовая особенность высказалась в усобицах, «встал род на род». Тогда обращаются к недавно испытанному средству, уже добровольно призывают общую власть. Пользуясь соединенными силами призвавших племен, князья подчиняют себе все остальные. Вместо племен по соединении их являются волости, каждая со своим князем, но эти князья все — члены одного нераздельного рода, и эта нераздельность поддерживает единство земли во время государственного младенчества. Потом волости соединяются в государство, их князья исчезают, является единовластие. По окончании медленного вследствие громадности страны процесса государственного объединения Русское государство получает возможность войти в систему европейских государств с сильным влиянием.

В *«Истории России»* эта историческая формула раскрывается в таких приблизительно чертах.

Некогда какой-то враг вытеснил славян, именно наших предков, с Дуная, погнав их на девственный северо-восток, из лучшей страны в худшую. Так история-мачеха заставляла их населить страну, где природа является мачехою для человека, тогда как немцы шли в обратном направлении, на юго-запад, из худших стран в лучшие, в области Римской империи, где природа для человека — мать и где притом была уже цивилизация. В этом причина различия всей истории этих двух племен —

братьев по происхождению. Наши славяне со своими родами, с их князьками разбросались, затерялись на великой Русской равнине, в поселках по Днестру, Днепру, Оке и т. д. Их городки — огороженные села. Из соседней степи налетят кочевники: городки падали, и степной хищник запрягал славянских женщин в свою телегу. Промчится буря, и все тихо по-прежнему; от хищников остается одна пословица: «Изгибоша аки Обри»; силы не возбуждаются постоянным присутствием врага, как у германцев в соседстве с римлянами. Но и для наших славян пробил час исторической жизни. На Днепре показываются лодки: плывет из Новгорода русский князь с дружиной. «Платите нам дань», — говорят они в каждом встречном селении. Дело не новое: несут меха, чтобы сбрызнуть гостей поскорее. Но гости не уходят, усаживаются в Киеве, рубят городки, ходят по рекам и речкам за данью. Люди уходят из сел, покидая своих родовых князьков, селятся около городков, где есть льгота и защита, можно много заработать, уходят с князем в поход на Царьград, вступают в дружину, где жить хорошо: от всех почет и всего вволю. Племенное деление исчезает: население делится на сословия — на княжих *мужей*, полных людей, и на полулюдей, *мужи́ков*, последние — на городских промышленников и на сельчан; земля делится не на племенные области, а на княжения, называющиеся по именам главных городов, правительственных средоточий.

Так изменился быт населения под влиянием правительственного начала, но и последнее подпало влиянию туземного быта. В населении равнины господствовал родовой быт: по смерти Ярослава до конца XII в. и между князьями действуют родовые отношения, на них основан порядок владения землей, которую князья считают нераздельным достоянием всего своего рода, отсюда сильное, непрерывное движение, передвижка князей из волости в волость по старшинству, борьба, споры, усобицы. Но эта беспорядочная беготня князей по волостям не давала последним обособляться, волею-неволею вовлекала их в общую жизнь, создавала общие всем им интересы, укореняла в них сознание своей взаимности, нераздельности всей земли и, таким образом, положила прочное основание государственному и народному единству. Отдельные племена с призванием князей приведены были в связь, преимущественно внешнюю; благодаря родовым княжеским отношениям, со смерти Ярослава является

впервые русский народ. Теми же отношениями определился и склад общества. Увлеченная вихрем княжеского движения дружина не приобрела самостоятельного положения ни в качестве оседлых землевладельцев по областям, как феодальное дворянство на западе, ни в качестве наследственных областных правителей, как польское вельможество; оставаясь бродячим военным братством с правом служить какому захочет князю, она не привыкла действовать дружно; каждый руководился личными, а не сословными интересами. Но при подвижности князей и их дружин получают значение главные города областей со своими вечами: они — сила постоянная — пользуются ослаблением князей от усобиц; область смотрит, что скажут, как решат на вече в ее старшем городе, и привыкает руководиться этим решением. Так подле власти князя является власть городского веча, но та же подвижность князей мешала точно определить отношения обеих властей друг к другу. Бродячие князья, не думающие ни о чем прочном, постоянном, бродячие дружины, городские веча с первоначальными формами народных собраний без всяких определений, без крепких форм, способных упрочить местное самоуправление; и, наконец, высшее духовенство во главе с митрополитом-греком, чужим человеком без языка перед народом и влияния — таковы созданные или поддержанные родовыми княжескими отношениями элементы русского общества XI и XII вв.

Как же вышло это общество из такого жидкого, колеблющегося состояния?

Пользуясь неурядицей, кочевники стали одолевать Русь в своем напоре из степи. Это заставило часть жителей юго-западной Украины выселиться в страны, более спокойные, дальше на северо-восток, в область верхней Волги. Но здесь уже хозяйничает князь; поселенцы садятся на его земле, в его городах, получают от него льготы, всем ему обязаны, от него во всем зависят. Из этой зависимости развивается здесь сильная княжеская власть, какой не было на юго-западе, и вместе с ней — оседлость князя, привязанность к своему княжеству, а отсюда — понятие *о моем*, о княжестве как собственности князя. Так на севере со времени Андрея Боголюбского являются основания нового политического порядка. Понятие об отдельной собственности развивает в князьях стремление увеличить свое княжество на счет других, прекращается передвижка князей из волости в

волость, родовые отношения рушатся, происшедшее отсюда разъединение князей помогает одному из них, сильнейшему, подчинить других. Таким является князь московский: он присоединяет к своим владениям чужие и низводит своих ближайших родственников, удельных князей, в положение подданных, отнимая у них одно право за другим. Так совершается переход родовых отношений между князьями в государственные: Русская земля на севере собирается и образуется Московское государство.

Но эти политические успехи достигнуты были не без больших национальных и нравственных потерь. Юго-Западная Русь, обессиленная с отливом исторической жизни на северо-восток, вконец разоренная татарами, отделяется от Северо-Восточной, подчиняется Литве, а через нее Польше и долго тратит свои силы в бесплодной для своего народного развития борьбе за народность. С другой стороны, русский человек, одинокий, заброшенный в мир варваров, затерянный в северо-восточных пустынях, забытый своими и забывший о своих по отдаленности, вышел из общения с европейско-христианскими народами, в каком находился, живя на юго-западе, и целые века двигался все далее в пустыни востока, живя в отчуждении от западных сограждан. Отсюда слабость материального, общественного и духовного развития. Общественные силы растут туго. Двор московского князя в XIV и XV вв. наполняется знатными пришельцами с разных сторон. Но это боярство живет еще преданиями отжившей старины, привычками вольных дружин XII в., держится за свое право перехода, когда переходить стало уже не к кому. Запоздалые притязания ведут к борьбе, которая при Грозном принимает кровавый характер и кончается не в пользу знати.

И город на севере не удерживает прежнего значения. Ростов Великий падает, побежденный новыми княжескими городами, тотчас по смерти Андрея Боголюбского и не поднимается более¹¹. Падает потом и Новгород Великий, вследствие прилива богатств неестественно вздувшийся в государство, но представлявший собою библейскую статую с золотою головой и глиняными ногами: низшие слои общества были против своекорыстной знати немногих, правивших делами города фамилий и помогли их гибели. При неразвитости торговли и промышленности в земледельческом государстве города его бедны и слабы, в них не прививается даже самоуправление, ка-

кое пытался дать им Грозный. При слабости других сил одна великокняжеская власть развивается на просторе; при разбросанности населения, недостатке сознания общих интересов раздробленные части общества стягиваются сильною правительственною централизацией, как разбитый член стягивается хирургической повязкой. Новые тяжести, вызванные внешним положением объединившегося государства, постоянною борьбой на востоке, юге и западе, мешают подняться общественным силам. Сословия закрепляются: служилое — обязательно военной службой, городское и сельское — тяглом; для обеспечения дохода казны и служилого помещика горожане прикрепляются к городам, крестьяне — к земле. Те и другие бегут от закрепления, куда можно, более всего на Дон, в степь, в казаки. Когда государство начинает сжимать вольное казачество, последнее опрокидывается на государство; в начале XVII в., по пресечении старой династии, оно вмешивается в Смуту, начатую людьми, питавшими старинные притязания, и потрясшую государство в самом основании: неоднократно поднималось и потом в XVII и XVIII вв. Но государство устояло. При первых трех царях новой династии оно готовится вступить в общую жизнь с Западною Европой, занять место среди европейских держав. Начинаются важнейшие преобразования, под влиянием которых воспитывается Петр: он доканчивает начатое, решает нерешенное. Усвоение европейской цивилизации, имевшее при Петре материальные цели, во второй половине XVIII в. рождает потребность в духовном, нравственном просвещении.

Таков ряд мыслей, на основе которых развивался рассказ историка. Большая часть их была новостью, когда их впервые высказывал Соловьев, и стала теперь достоянием нашего общественного сознания.

В жизни ученого и писателя главные биографические факты — книги, важнейшие события — мысли. В истории нашей науки и литературы было не много жизней, столь же обильных фактами и событиями, как жизнь Соловьева. Поминать ее не перестанет наш университет, с которым она была связана в продолжение 40 лет. Соловьев был питомцем этого университета, 34 года преподавал в нем, 6 лет стоял во главе его как ректор, наконец, в его аудитории получил первую обработку главный труд жизни Соловьева. Еще в 1843 г. в статье о Парижском университете он писал о заключении русским обществом «святого союза» с русским университетом «для дружно-

го, братского прохождения своего великого поприща». «История России», ставшая крупным фактом в развитии нашего общественного сознания, служит новой связью, скрепляющею этот союз, и оба союзника не забудут последнего урока, какой сам собою вытекает из исторического процесса, изображенного Соловьевым. Обзор этого процесса он закончил словами: «Наконец, в наше время просвещение принесло необходимый плод: познание вообще привело к самопознанию», а самопознание, прибавил бы он, если бы довел свой рассказ до нашего времени, должно привести к *самодеятельности*.



С. М. СОЛОВЬЕВ КАК ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

Сегодня 16-я годовщина смерти С. М. Соловьева. Многие ли из нас, здесь присутствующих, помнят его как преподавателя? По крайней мере далеко не все. Преподавание принадлежит к разряду деятельностей, силу которых чувствуют только те, на кого обращены они, кто непосредственно испытывает на себе их действие; стороннему трудно растолковать и дать почувствовать впечатление от урока учителя или лекции профессора. В преподавательстве много индивидуального, личного, что трудно передать и еще труднее воспроизвести. Писатель весь переходит в свою книгу, композитор — в свои ноты, и в них оба остаются вечно живыми. Раскройте книгу, разверните ноты, и, кто умеет читать то и другое, перед тем воскреснут их творцы. Учитель — что проповедник можно слово в слово записать проповедь, даже урок; читатель прочтет записанное, но проповеди и урока не услышит.

Но и в преподавании даже очень много значит наблюдение, предание, даже подражание. Всегда ли знаем мы, преподаватели, свои средства, их сравнительную силу и то, как, где и когда ими пользоваться? В преподавательстве есть своя техника, и даже очень сложная. Понятное дело: преподавателю прежде всего нужно внимание класса или аудитории, а в классе и аудитории сидят существа, мысль которых не ходит, а летает и поддается только добровольно. В преподавании самое важное и трудное дело заставить себя слушать, поймать эту непоседливую птицу — юношеское внимание. С удивлением вспоминаешь, как и чем умели возбуждать и задер-

живать это внимание иные преподаватели. П. М. Леонтьев¹ совсем не был мастер говорить. Живо помню его приподнятую над кафедрой правую с вилкообразно вытянутыми пальцами руку, которая постоянно надобилась в подмогу медленно двигавшемуся, усиленно искавшему слов, как будто усталому языку, точно она подпирала тяжелый воз, готовый скатиться под гору. Но, бывало, напряженно следишь за развертывавшейся постепенно тканью его ясной, спокойной, неторопливой мысли, и вместе с ударом звонка предмет лекции, какое-нибудь римское учреждение, вырезывался в сознании скульптурной отчетливостью очертаний. Казалось, сам бы сейчас повторил всю эту лекцию о предмете, о котором за 40 минут до звонка не имел понятия. Известно, как тяжело слушать чтение написанной лекции. Но когда Ф. И. Буслаев² вступал торопливым шагом на кафедру и, развернув сложенные, как складывают прошения, листы, исписанные крупными и кривыми строками, начинал читать своим громким, как бы нападающим голосом о скандинавской Эдде или какой-нибудь русской легенде, сопровождая чтение ударами о кафедру правой руки с зажатым в ней карандашом, битком набитая *большая словесная*, час назад только что вскочившая с холодных постелей где-нибудь на Козихе или Бронной (Буслаев читал рано по утрам первокурсникам трех факультетов), эта аудитория едва замечала, как пролетали 40 урочных минут. Не бесполезно знать, какими средствами достигаются такие преподавательские результаты и какими приемами, каким процессом складывается ученическое впечатление. В этом отношении воспоминание об учителе может пригодиться и тому, кто не был его учеником.

Я сел на студенческую скамью в Московском университете в пору, не скажу упадка,— об этом грешно и подумать,— а в пору кратковременного затишья исторического преподавания. Я не застал ни Грановского, ни Кудрявцева. Единственным преподавателем всеобщей истории был С. В. Ешевский. В. И. Герье находился еще за границей, и мне пришлось слушать его уже по окончании курса³. Ешевский был превосходный, строгий, но уже угасавший профессор; мы его и похоронили весной 1865 г. при выходе нашего курса из университета. Он читал нам курсы по древней и средней истории с продолжительными перерывами по болезни, а последний год, когда стояла на очереди новая история, не читал совсем. Мы его очень любили, немного побаивались и с глубокой скорбью шли

за его гробом. Сколько помнится, Соловьев читал на третьем курсе общий обзор истории древней Руси, на четвертом более подробный курс русской истории XVIII в. В 1863 г., когда я начал его слушать, это был цветущий 42-летний человек. Не помню теперь, почему мне не пришлось послушать его ни разу до третьего курса; кажется, потому, что его лекции совпадали с лекциями Ф. И. Буслаева или Г. А. Иванова, которых мы не пропускали. На третьем курсе студент уже перестает блуждать по аудиториям с бездонным вниманием и вечно раскрытым ртом, вбирающим все, что ни попадетс я ему питательного по пути. Он уже становится несколько разборчив во впечатлениях и знаниях, начинает понимать удовольствие «свое суждение иметь» и даже покритиковать профессора. По аудиториям, театрам, заседаниям ученых обществ он уже довольно набрался впечатлений; пружина восприимчивости от усиленного нажима несколько поослабла и погнулась, и, пользуясь этим, из-под нее все с большим напряжением выступает прижатая дотол е другая сила— потребность разобраться в воспринятом, задержать и усвоить набегающие впечатления, пропитать их собственным духом,— словом, он начинает чувствовать себя хозяином своего я и в состоянии уже ухватить себя за свои собственные усы.

В момент этого перелома начали мы слушать Соловьева. Обыкновенно мы уже смирно сидели по местам, когда торжественной, немного раскачивающейся походкой, с откинутым назад корпусом вступала в *словесную внизу* высокая и полная фигура в золотых очках, с необильными белокурыми волосами и крупными пухлыми чертами лица без бороды и усов, которые выросли после. С закрытыми глазами, немного раскачиваясь на кафедре взад и вперед, не спеша, низким регистром своего немного жирного баритона начинал он говорить свою лекцию и в продолжение 40 минут редко поднимал тон. Он именно *говорил*, а не *читал*, и говорил отрывисто, точно резал свою мысль тонкими удобоприемлемыми ломтиками, и его было легко записывать, так что я, по поручению курса составлявший его лекции, как борзописец, мог записывать его чтения слово в слово без всяких стенографических приспособлений. Сначала нас смущали эти вечно закрытые глаза на кафедре, и мы даже не верили своему наблюдению, подозревая в этих опущенных ресницах только особую манеру смотреть; но много после

на мой вопрос об этом он признался, что действительно никогда не видел студента в своей аудитории.

При отрывистом произношении речь Соловьева не была отрывиста по своему складу, текла ровно и плавно, пространными периодами с придаточными предложениями, обильными эпитетами и пояснительными синонимами. В ней не было фраз: казалось, лектор говорил первыми словами, ему попадавшимися. Но нельзя сказать, чтобы он говорил совсем просто: в его импровизации постоянно слышалась ораторская струнка; тон речи всегда был несколько приподнят. Эта речь не имела металлического, стального блеска, отличавшего, например, изложение Гизо, которого Соловьев глубоко почитал как профессора. Чтение Соловьева не трогало и не пленяло, не било ни на чувства, ни на воображение; но оно заставляло размышлять. С кафедры слышался не профессор, читающий в аудитории, а ученый, размышляющий вслух в своем кабинете. Вслушиваясь в это, как бы сказать, говорящее размышление, мы старались ухватиться за нить развиваемых перед нами мыслей и не замечали слов. Я бы назвал такое изложение прозрачным. Оттого, вероятно, и слушалось так легко: лекция Соловьева далеко не была для нас развлечением, но мы выходили из его аудитории без чувства утомления.

Легкое дело — тяжело писать и говорить, но легко писать и говорить — тяжелое дело, у кого это не делается как-то само собой, как бы физиологически. Слово — что походка: иной ступает всей своей ступней, а шаги его едва слышны; другой крадется на цыпочках, а под ним пол дрожит. У Соловьева легкость речи происходила от ясности мысли, умевшей находить себе подходящее выражение в слове. Гармония мысли и слова — это очень важный и даже нередко роковой вопрос для нашего брата, преподавателя. Мы иногда портим свое дело нежеланием подумать, как надо сказать в данном случае, корень многих тяжких неудач наших — в неуменье высказать свою мысль, одеть ее, как следует. Иногда бедненькую и худенькую мысль мы облечем в такую пышную форму, что она путается и теряется в ненужных складках собственной оболочки и до нее трудно добраться, а иногда здоровую, свежую мысль выразим так, что она вянет и блекнет в нашем выражении, как цветок, попавший под тяжелую жесткую подошву. Во всем, где слово служит посредником между людьми, а в преподавании особенно, неудобно как переговорить, так и недоговорить. У Со-

Соловьева слово было всегда по росту мысли, потому что в выражении своих мыслей он следовал поговорке: сорок раз примерь, и один раз отрежь. Голос, тон и склад речи, манера чтения—вся совокупность его преподавательских средств и приемов давала понять, что все, что говорилось, было тщательно и давно продумано, взвешено и измерено, отваяно от всего лишнего, что обыкновенно пристаёт к зреющей мысли, и получило свою настоящую форму, окончательную отделку. Вот почему его мысль чистым и полновесным зерном падала в умы слушателей.

Гармония мысли и слова! Как легко произнести эти складные слова и как трудно провести их в преподавании! Думаю, что возможность этого находится за пределами преподавательской техники, нашей дидактики и методики и требует чего-то большего, чего-то такого, что требуется всякому человеку, а не преподавателю только. Студенты, как известно, обладают особым чутьем профессорской подготовки: они очень быстро угадывают, излагает ли им преподаватель продуманные и проверенные знания, хорошо выдержанные и устоявшиеся воззрения, или только вчерашние приобретения своего ума, сырые мысли, если можно так выразиться. Слушая Соловьева, мы смутно чувствовали, что с нами беседует человек, много и очень много знающий и подумавший обо всем, о чем следует знать и подумать человеку, и все свои передуманные знания сложивший в стройный порядок, в цельное мирозерцание, чувствовали, что до нас доносятся только отзвуки большой умственной и нравственной работы, какая когда-то была исполнена над самим собой этим человеком и которую должно рано или поздно исполнить над собой каждому из нас, если он хочет стать настоящим человеком. Этим особенно и усиливалось впечатление лекций Соловьева: его слова представлялись нам яркими строками на освещенном изнутри фонаре. Оно и понятно: студенту старших семестров уже виднеется жизненный путь, на который ему придется вступить по окончании учебных годов, и он уже без студенческой беззаботности и самоуверенности начинает раздумывать, как-то вступит он на этот скользкий путь и какой походкой пойдет по нему. В этом раздумье он уже с деловым, не праздным любопытством и с молчаливым уважением присматривается и прислушивается к тем из старших, которые идут по этому пути твердыми прямыми шагами, с твердым и ясным взглядом на людей и на вещи. После, став ближе к Соловьеву и начав гото-

виться к профессуре под его руководством, я получил некоторую возможность следить за непрерывной, строго размеренной и разнообразной работой неутомимого ума, и я понял, как вырабатывается и во что обходится эта гармония мысли и слова. Чего только он не знал, не читал, чем не интересовался и о чем не думал! Он внимательно и с удивительной экономией досуга следил за иностранной литературой по географии, по всему кругу наук исторических и политических, как и за текущими международными отношениями. Прочитать дельную книжку какого-нибудь французского, немецкого или английского путешественника по Индии или Центральной Африке было для него наслаждением, которым он спешил поделиться с близкими людьми. Я уже не говорю о русской литературе, о русских делах и отношениях. Помню, я посетил его незадолго до смерти, когда приговор жизни был уже произнесен и исход болезни определен. С третьего слова он спросил меня: «А что новенького в литературе по нашей части? Давно ничего не читал». — Я встречал немного таких образованных и деятельных умов, а судьба нередко и незаслуженно дарила меня счастьем встречаться с образованными и мыслящими людьми.

Я не решаюсь сказать, входила ли русская история центральной составной частью в состав этого цельного и широкого мирозерцания. Я не решаюсь на это потому, что знаю, как много места занимали в выработке этого мирозерцания общие вопросы религии и науки. Я могу только утверждать, что на русскую историю он положил всего больше своего научного труда. Но я не говорю об его *«Истории России»*, о нем как об ученом: это вопрос русской историографии, одна из страниц истории русского просвещения, и таких страниц, на которых с отрадой будет всегда останавливаться и раздумываться мыслящий русский человек. Вы позволили мне занять теперь ваше благосклонное внимание беседой о профессорском преподавании Соловьева, об его университетском курсе русской истории. Вместе с другими учениками Соловьева я часто докучал ему просьбой издать этот курс в какой-либо из тех редакций, в каких он излагал его из году в год с университетской кафедры; и я до сих пор не могу понять, почему он не сделал этого, даже неохотно вел разговор об этом. С ним вообще трудно было завести речь об его сочинениях; сам он был до несправедливости скромного о них мнения, и отзываться о них с похвалой в его присутствии значило сделать ему

неприятность. Ему и говорили об издании курса только как о его профессорской обязанности, даже прибегали к такому изысканному соображению, что его курс вовсе и не принадлежит ему одному, не ссть его личное дело, что это беседа профессора со студентами, следовательно, совместная работа профессора и его аудитории. Он называл это плохим софизмом, не стоящим и пятак, и прекращал разговор об этом. Прибавлю в пояснение, что Соловьев очень любил остроты и при всяком удачном словце, при нем сказанном, шарил у себя в кармане со словами: «Ах, жаль, пятак не случилось!» Конечно, превосходная первая глава XIII тома его *«Истории»*, содержащая в себе общий обзор хода древней русской истории, вместе со статьями общего характера, напечатанными в посмертном издании некоторых сочинений С. М. Соловьева, каковы *«Начало Русской земли»*, *«Древняя Россия»*, *«Исторические письма»* и др., дают некоторую возможность читателю представить себе содержание и даже характер этого общего курса. В этих статьях есть все, что проводилось и развивалось в курсе; но для читателя останутся неуловимы концепция содержания и впечатление изложения, а в преподавании это — главное, если не все. Соловьев давал слушателю удивительно цельный, стройной нитью проведенный сквозь цепь обобщенных фактов взгляд на ход русской истории, а известно, какое наслаждение для молодого ума, начинающего научное изучение, почувствовать себя в обладании цельным взглядом на научный предмет. В курсе Соловьева эта концепция и это впечатление были тесно связаны с одним приемом, которым легко злоупотребить, но который в умелом преподавании оказывает могущественное образовательное влияние на слушателя. Обобщая факты, Соловьев вводил в их изложение осторожной мозаикой общие исторические идеи, их объяснявшие. Он не давал слушателю ни одного крупного факта, не озарив его светом этих идей. Слушатель чувствовал ежеминутно, что поток изображаемой перед ним жизни катится по руслу исторической логики; ни одно явление не смущало его мысли своей неожиданностью или случайностью. В его глазах историческая жизнь не только двигалась, но и размышляла, сама оправдывала свое движение. Благодаря этому курс Соловьева, излагая факты местной истории, оказывал на нас сильное методологическое влияние, будил и складывал историческое мышление: мы сознавали, что не только узнаем новое, но и понимаем узна-

ваемое, и вместе учились, как надо понимать, что узнаем. Ученическая мысль наша не только пробуждалась, но и формировалась, не чувствуя на себе гнета учительского авторитета: думалось, как будто мы сами додумались до всего того, что нам осторожно подсказывалось.

Эти общие идеи, которыми перевивались факты русской истории, могут показаться элементарными, но их необходимо продумать на университетской скамье, и только тогда они становятся такими элементарными. С двух сторон Соловьев освещал излагаемые им исторические факты: одну из них можно назвать прагматической, другую — моралистической. Настойчиво говорил и повторял он, где нужно, о связи явлений, о последовательности исторического развития, об общих его законах, о том, что называл он необычным словом — *историчностью*. Вы думаете, легкое дело растолковать сидящему на школьной скамье понятие об основах людского общежития, об историческом процессе, о закономерности исторической жизни! Я встречал взрослых и по-своему умных людей, которым никак не удавалось усвоить себе самую идею исторического процесса. У Соловьева сравнения, аналогия жизни народов с жизнью отдельного человека, отвлеченные аргументы и, наконец, его столь известная и любимая фраза *естественно и необходимо*, повторявшаяся при всяком случае, как припев, — все врезывало в сознание слушателя эту идею исторической закономерности. С другой стороны, — да не покажется нам это странным, — Соловьев был историк-моралист: он видел в явлениях людской жизни руку исторической Немезиды или, приближаясь к языку древнерусского летописца, *знамение правды божией*. Я не вижу в этом научного греха: эта моралистика у Соловьева была та же прагматика, только обращенная к сознанию своею нравственною стороною, та же научная связь причин и следствий, только приложенная к явлениям добра и зла, помышления и воздействия. Соловьев был историк-моралист в том простом смысле, что не исключал из сферы своих наблюдений мотивов и явлений нравственной жизни. Кто из слушателей Соловьева не запомнил на всю жизнь этих нравственных комментариев, что «общество» может существовать только при условии жертвы, когда члены его сознают обязанность жертвовать частным интересом интересу общему, что уже первоначальное, естественное общество человеческое, семейство, основано на жертве, ибо отец и мать перестают жить для самих себя, что обще-

ство тем крепче, чем яснее между его членами сознание, что основа общества есть «жертва», что «европейское качество всегда торжествовало над азиатским количеством» и что это качество состоит в «перевесе сил нравственных над материальными», что величие древней Руси заключалось в сознании своих несовершенств, в сбереженной ею способности не мириться со злом, в искреннем и горячем искании выхода в положение лучшее посредством просвещения. Все это, повторяю, довольно элементарно, но все это должно быть продумано на студенческой скамье и только на ней может быть продумано, как следует.

В детстве, помню, где-то я видел старинные колонны, обвитые вьющимся растением. Свежая жизнь бежала по холодному мрамору старины и так стройно обвивала его, что мне казалось, будто эти вьющиеся побеги растут из самого мрамора. Когда я вслушивался, как Соловьев перевивал факты нашей истории общими историческими идеями, своею прагматикой и моралистикой, мне не раз вспоминались эти старые колонны с обвивающими их побегами вьющегося растения и мне думалось, что эти идеи органически выростали из объясняемых ими фактов.

Вот что счел я небесполезным в день памяти Соловьева — припомнить об его университетском преподавательстве. Сколько знаю, Соловьев никогда не был учителем среднеучебного заведения; он везде, где преподавал, был профессором. Но его университетский курс помогает уяснить отношение гимназического преподавания истории к университетскому. Мы знаем разницу между тем и другим; но у того и другого есть и точка соприкосновения. Неудобно профессорствовать, читать лекции в *классе*; неудобно и сказывать урок в *аудитории*: в первом случае гимназист преждевременно забегает в настроение студента, во втором студент огорчается своим невольным возвращением в положение гимназиста. Учитель истории рассказывает ученикам, что *было*; профессор рассуждает со студентами, что это былое *значило*. Но Соловьев так *рассуждал* со студентами о былом, что они живо представляли себе, *как* это происходило; желательно, чтобы учитель так *рассказывал* о былом, чтобы ученикам хотелось *рассуждать* о том, что оно значило. Выражу так это отношение, не умея выразить его удачнее.



ПАМЯТИ С. М. СОЛОВЬЕВА

(умер 4 октября 1879 г.)

Двадцать пять лет прошло со дня кончины С. М. Соловьева. Смерть застала историка за XXIX томом его *«Истории России с древнейших времен»* и прервала его тридцатилетний труд на полужизне.

Когда стало известно, что работа, столько лет привлекавшая к себе внимание образованного русского общества, остановилась навсегда, что замерла энергия, ее двигавшая, первым побуждением было воздать должное покойному ученому, оценить, что сделал он своим многолетним трудом для науки, для изучения русской истории, для национального самопознания. Время строго проверяет чувства и суждения. Двадцать пять лет — достаточно продолжительный срок для проверки. Пишущий эти строки, которому досталась ответственная честь стать преемником С. М. Соловьева по кафедре, под первым впечатлением понесенной утраты написал несколько внушенных чувством ученика строк о характере почившего историка и значении его труда. Перечитав написанное четверть века спустя, автор не нашел преувеличения, к какому обыкновенно располагает еще не закрытая могила. Скорее напротив: черты кажутся бледными и неполными, взгляд недостаточно широким. Этим впечатлением оправдывается решимость предложить вниманию читателя этот спешный коротенький очерк, анонимно помещенный в давно прерванном издании. По нему можно отчасти судить, как значение этих 29 томов *«Истории России»* уяснялось и росло по смерти историка, разрушая опасения и его собственные предсказания, что громадная книга будет скоро снята со стола и забыта.

...Биография и историческая критика спокойно и на досуге опишут его жизнь и характер, изобразят ход и значение его учено-литературной деятельности, его образ мыслей и убеждения, его взгляд на исторические судьбы России. Под неостывшим еще впечатлением тяжелой утраты попытаемся припомнить хотя только наружные, самые поверхностные черты его как ученого.

Соловьев рано стал и до конца жизни остался ученым. Он умер, не дожив до конца своего 60-го года; но имя его уже 34 года известно в русской ученой литературе. Его деятельность в эти 34 года была разделена между архивами, университетской аудиторией и письменным столом его кабинета. Он удивительно много и правильно работал и на успехи русской исторической науки имел влияние, которое пока трудно еще оценить достаточно. С 1845 г., когда появилось его первое исследование по русской истории, и до последней строки, им написанной незадолго до смерти, он работал в одном направлении, которое прямо или косвенно отразилось на ходе всей русской исторической литературы. В движении русской историографии это время можно смело обозначить именем Соловьева: живущие ныне писатели, вместе с ним наиболее поработавшие над историей своего отечества, охотно согласятся с этим. Вооружившись приемами и задачами, выработанными исторической наукой первой половины нашего века, он первый пересмотрел всю массу исторического материала, оставшегося от жизни русского народа с половины IX до последней четверти XVIII в., связав одной мыслью разорванные лоскуты исторических памятников, и вынес на свет всю наличность уцелевших фактов нашей истории.

Есть и будут десятки трудолюбивых исследователей русского прошедшего, которые останавливаются и будут останавливаться на том или другом факте долгие Соловьева, изучают и будут изучать то или другое явление подробнее, чем изучал он; но каждый из них, чтобы идти прямо и твердо в своей работе, должен начинать с того, чем кончил Соловьев свою речь о том же, и он, как маяк, еще долго будет служить первым указателем пути даже для тех, кто далеко разойдется с ним в своих последних выводах. В 1851 г. вышел первый том его *«Истории России»*, и с тех пор каждый год читатель получал новый том в урочное время с точностью, которой не могла побе-

дять даже предсмертная болезнь автора: умирая, он сдал ХХІХ том в типографию почти законченным; перо выпало из руки недалеко от предположенного конца книги—описания казни Пугачева. Никогда прежде в продолжение почти трех десятилетий в нашу историческую литературу не вливалось так последовательно, такой непрерывной струей столько свежих знаний. После продолжительного и трудного пути повествователь подходил уже к порогу нашего века; жизнь одного поколения отделяла его от времени наших отцов, когда оборвалась нить его повести и его жизни. Он напоминает своей деятельностью нашего древнего колонизатора, который, отыскав протоптанную тропу по опушке дремучего леса, первый отважился продолжить ее в не пройденную никем глубь и упал, когда уже стал показываться просвет с другой стороны чащи.

Сам историк очень спокойно смотрел на значение труда, которому он отдал 30 лучших лет своей жизни. Задолго до смерти он высказывал уверенность, что в недалеком будущем напишут историю России лучше его; за собой он удерживал только заслугу первой тяжелой расчистки пути, первой обработки сырого материала. Но по многим причинам 29 томов его *«Истории»* не скоро последуют в могилу за своим автором. Даже при успешном ходе русской исторической критики в нашем ученом обороте надолго удержится значительный запас исторических фактов и положений в том самом виде, как их впервые обработал и высказал Соловьев: исследователи долго будут их черпать прямо из его книги, прежде чем успеют проверить их сами по первым источникам. Еще важнее то, что Соловьев вместе с огромным количеством прочно поставленных фактов внес в нашу историческую литературу очень мало ученых предположений. Трезвый взгляд редко позволял ему переступить рубеж, за которым начинается широкое поле гаданий, столь удобное для игры ученого воображения. При недостатке твердых оснований Соловьев скорее готов был обойти вопрос, подвергаясь упрекам критики, чем решить его какой-либо остроумной догадкой, которая поселила бы самодовольную уверенность, что вопрос покончен, или легла бы лишним камнем на пути для других исследователей. Вот почему от такой продолжительной и быстрой работы над неопрятным, неочищенным материалом у Соловьева осталось так мало *ученого сора*. Найдут разные недостатки в его огромном труде; но нельзя упрекнуть его в одном,

от которого всего труднее освободиться историку: никто меньше Соловьева не злоупотреблял доверием читателя во имя авторитета знатока.

Это был ученый со строгой, хорошо воспитанной мыслью. Черствой правды действительности он не смягчал в угоду патологическим наклонностям времени. Навстречу фельетонным вкусам читателя он выходил с живым, но серьезным, подчас жестким рассказом, в котором сухой, хорошо обдуманый факт не приносился в жертву хорошо рассказанному анекдоту. Это создало ему известность *сухого* историка. Как относился он к публике, для которой писал, так же точно относился он и к народу, историю которого писал. Русский до мозга костей, он никогда не закрывал глаза, чтобы не видеть темных сторон в прошедшем и настоящем русского народа. Живее многих и многих патриотов чувствовал он великие силы родного народа, крепче многих верил в его будущее; но он не творил из него кумира. Как нельзя больше был он чужд того грубого пренебрежения к народу, какое часто скрывается под неумеренным и ненужным воспеванием его доблестей или под высокомерным и равнодушным снисхождением к его недостаткам. Он слишком глубоко любил и уважал русский народ, чтобы льстить ему, и считал его слишком взрослым, чтобы под видом народной истории сказывать ему детские сказки о народном богатстве.

Историй Соловьев не ронял до памфлета. Он умел рассматривать исторические явления данного места и времени независимо от временных и местных увлечений и пристрастий. Его научный исторический кругозор не ограничивался известными градусами географической широты и долготы. Изучая крупные и мелкие явления истории одного народа, он не терял из вида общих законов, правящих жизнью человечества, коренных оснований, на которых строятся людские общества. Мыслитель скрывался в нем за повествователем; его рассказ развивался на историко-философской основе, без которой история становится забавой праздного любопытства. Оттого исторические явления стоят у него на своих местах, освещены естественным, а не искусственным светом; оттого в его рассказе есть внутренняя гармония, историческая логика, заставляющая забывать о внешней беллетристической стройности изложения.

Широта исторического взгляда была отражением широты его исторического образования. В области русской

истории трудно быть специалистом более Соловьева. Не много будет после него ученых, которым удастся так последовательно и полно изучить источники нашей истории. Но Соловьев не закапывался в свою специальность. В этом отношении он — поучительный образец, особенно для занимающихся отечественной историей, между которыми часто проявляется склонность уединяться в своей цеховой келье. Первый мастер своего дела, Соловьев хранил в себе хорошие свойства ученых старого времени, когда научные специальности еще не расходились между собою так далеко, как разошлись они теперь. Образцовые произведения исторической и политической литературы Европы со времени Геродота и до наших дней он изучал в подлинниках и знал превосходно. Библейские книги были ему знакомы, как древние русские летописи. Знатки поражались внимательностью, с какой он следил за текущей иностранной литературой по истории, географии, этнографии и другим смежным отраслям знания; для них остается неразрешимой загадкой, где находил время для этого человек, с такой педантической точностью исполнявший свои служебные обязанности, постоянно писавший в периодических изданиях и ежегодно издававший новый том *«Истории России»*. В минуты отдыха он особенно охотно говорил о какой-нибудь замечательной литературной новости, иностранной или русской, часто очень далекой от предмета его текущих специальных занятий. Феноменально счастливая память помогала этой безустанной работе. Казалось, эта память не умела забывать, как мысль, которой она служила, не умела уставать. Наблюдатель, изучив свойства его таланта, образ его мыслей, круг его интересов, наконец с недоумением останавливался перед самым устройством его ума: оно поражало его, как редкий ученый механизм, способный работать одинаково, спокойно и правильно бесконечное число часов, перерабатывая самый разнообразный материал. Он знал тайну искусства удвоять время и восстанавливать силы простой переменой занятий. Ни годы, ни житейские тревоги, ни физический недуг не могли ослабить живости его умственных интересов. Прошедшим летом, прикованный болезнью к креслу, он не мог оторваться от только что изданной переписки Погодина со славянскими учеными и знакомым, пришедшим навестить больного и напрасно усиливавшимся сдерживать его участие в разговоре, передавал свои воспоминания о Шафарике и народно-литературном движении среди чехов сороковых годов

с живостью недавнего впечатления, хотя прошло уже 37 лет с тех пор, как он был в Праге. Вслед за тем показал он только что полученный выпуск географического труда Реклю¹, где помещен рисунок старинного деревянного храма в Норвегии, близко напоминающего своей архитектурой московский храм Василия Блаженного, готов был без конца рассуждать о происхождении и значении этого сходства. Недели за три до смерти голосом, которого уже не хватало на окончания слов, он еще спрашивал посетителя: не вышло ли чего новенького по нашей части? Интерес знания еще живо горел, когда гасла физическая жизнь.

Эта энергия умственных интересов поддерживалась единственно нравственной бодростью и не знала тех искусственных возбуждений, которые приходят со стороны на помощь писателю. Соловьев никогда не заблуждался насчет количества читателей своей книги; он даже преувеличивал равнодушие к ней публики. Говоря об увеличивающемся спросе на книгу, о необходимости новых изданий разных ее томов, он объяснял это исключительно заглавием своего труда и размножением казенных и общественных библиотек, которым надобно же иметь на полках *«Историю России с древнейших времен»*. Но он принадлежал к числу людей, готовых проповедовать в пустыне. Для Соловьева книга его была задачей жизни, а для таких людей задача жизни имеет значение иноческого обета.

Его нравственный характер очень поучителен. Готовый поступиться многим в своей теории родовых княжеских отношений на Руси в виду достаточных оснований, Соловьев не допускал сделок в нравственных отношениях; осторожный в решении научных вопросов, он был решителен в вопросах нравственных, потому что основные правила, которыми он руководился при решении этих последних вопросов, имели в его сознании значение не теории, а простой математической аксиомы. Это был один из тех характеров, которые вырубаются из цельного камня; они долго стоят прямо и твердо и обыкновенно падают вдруг, подточенные не столько временем, сколько непогодой.

II

Все это бледно, неполно, поверхностно. Сказать это теперь — значит сказать слишком мало. К двадцать пятой годовщине смерти историка стало ясно и общепризн-

нано многое, что лишь смутно предчувствовалось или чаялось при гробе. Большое компактное издание «Истории» в шести полновесных книгах, начатое в 1893 г., стало быстро расходиться, и три года спустя, когда явился подробный указатель к этим книгам, первые три книги вышли уже вторым изданием. Труд жил, продолжал свою работу и по смерти автора. К нему обращался образованный читатель, желавший расширить, упорядочить и освежить идеями и конкретными впечатлениями свои познания по русской истории. Работой над неисчерпаемым запасом данных, почерпнутых из первых, часто нетронутых источников, фактов, обдуманно подобранных и прагматически истолкованных, начинало пробу своей мысли уже не одно поколение молодых ученых, приступавших к научному изучению нашего прошлого. Целый ряд специальных исследований, посвященных ученой разработке отдельных фактов, эпизодов, учреждений, источников нашей истории, шел от положений, изложенных в «Истории России», в ней искал первых руководительных указаний и ею же проверял свои выводы и открытия, даже когда частично пополнял и поправлял ее. В популярных изложениях русской истории нередко сквозят материал, фон, мысли и краски, данные тем же произведением. Широкие обобщения и сопоставления, стереотипные положения о естественности и необходимости исторических явлений, о закономерности в истории, параллели между личной, индивидуальной и массовой народной жизнью — такие общие исторические идеи, которыми Соловьев любил, как световыми полосками, прокладывать в своем изложении фон исторической жизни, оказывали формирующее действие на мышление русского читателя, еще не отвыкшего мешать историю с анекдотом, мирили его с мыслью, что и в истории есть своя таблица умножения, свое непререкаемое *дважды два*, без которого немислимо никакое историческое мышление, невозможно даже никакое людское общежитие.

Все это было признано и ценилось еще при жизни историка. Теперь, отдаленные от него таким пространством времени, можем ввести в его оценку еще один мотив: к признанию того, что им сделано для русской истории, можно присоединить сожаление о том, что преждевременная смерть помешала ему сделать. В минуту смерти речь об этом могла показаться неуместной жалобой; через 25 лет такое сожаление — спокойно-грустное

вспоминание о научной потере, которая для русской историографии осталась доселе невознагражденной.

Эта утрата ближайшим образом касалась русской истории XVIII в. В *«Истории России»* этот век впервые вскрывался во всей полноте своего нетронутого наукой содержания и в непрерывной, тщательно выясненной преемственной связи с его *девятью* предшественниками. Уже три четверти столетия были пройдены историком, пером и словом которого более 30 лет возбуждалось и поддерживалось внимание русского читающего общества и учащегося юношества к своему прошлому. Тогда уже привыкали думать: еще несколько лет, еще немного усилий неутомимого труда, и этот век, русский XVIII век, столь важный в судьбах нашего отечества, исполненный столь громких дел, вызвавший столько шумных и разногласных толков своими грехами и успехами, наконец предстанет перед читателем в цельном научном изображении.

В XIII томе *«Истории России»*, где изложены царствование Федора Алексеевича и следовавшая за смертью этого царя московская Смута 1682 г., автор поставил рядом с общим заглавием своего труда другое, частное, повторенное и в дальнейших пяти томах до смерти Петра Великого: *«История России в эпоху преобразования»*. Большую половину XIII тома занимает предпосланная царствованию Федора вводная глава, в которой за общим обзором хода древней русской истории следует превосходное изображение состояния России перед эпохою преобразования. Таким образом, на 1676 г., когда началось царствование Федора, сам историк провел раздельную черту между древней и новой Россией. Этот XIII том появился в 1863 г. Семнадцать лет писал Соловьев новую русскую историю. Быстро развившаяся болезнь остановила работу, которая по возрасту автора могла бы продолжаться еще немало лет. Неоконченный XXIX том, изданный по смерти историка в 1879 г., доводит обзор внешней политики до 1774 г., когда был заключен мир с Турцией в Кучук-Кайнарджи, а в описании внутреннего состояния России прерывается на делах 1772 г., перед самым мятежом Пугачева, казнь которого (в январе 1775 г.) предположено было закончить этот том. Соловьев признавался, что не рассчитывает вести свой труд дальше царствования Екатерины II. Рассказ о нем начат в XXV томе. Если первые 12 лет деятельности этой императрицы потребовали пяти томов, то на остальные 22

года необходимо было не менее шести. И если бы плану историка суждено было осуществиться, читатель получил бы громадный исторический труд в 35 томах, из коих 23 были бы посвящены изображению всех 120 лет нашей новой истории с последней четверти XVII до последних лет XVIII в. Так «*История России*», по замыслу автора, — собственно история новой России, подготовляемой к преобразованию, преобразуемой и преобразованной, и первые 12 томов труда — только пространное введение в это обширное повествование о петровской реформе.

Дело биографии рассказать о редко удающемся совмещении в одном лице качеств, которым удивлялись в Соловьеве, такой научной подготовки, широты исторического взгляда, любви и способности к непрерывной умственной работе, умения беречь время, силы воли, наконец, такого запаса физических сил, личных условий, встреча которых сделала возможным создание «*Истории России*». Оглядываясь на этот труд на расстоянии 25 лет от минуты, навсегда его прервавшей, невольно останавливаешься мыслью на его отношении к своему времени, спрашиваешь себя, что он давал своему времени и что воспринимал от него. Это довольно сложный вопрос, относящийся к истории нашего общества, просвещения, нашего общественного самосознания. Было бы опророчливо входить в разбор такого вопроса в воспоминании *по случаю*; но позволительно сделать некоторые сопоставления.

Первые томы «*Истории России*» появлялись в то время, когда в русском литературном мире, не в литературе и не в обществе, а именно в кругу людей, близко стоявших к литературе, но в ней вполне не высказывавшихся, боролись два взгляда на наш XVIII век, собственно на петровскую реформу, наполнявшую его собой и своими разносторонними последствиями. Это очень известные взгляды сороковых и пятидесятих годов прошлого столетия. Люди, смотревшие одним из этих взглядов, видели в реформе Петра пробуждение России, поднятой на ноги толчком могучей руки преобразователя, который, призвав на помощь средства западноевропейской цивилизации, вывел Россию из ее векового культурного застоя и бессильного одиночества и заставил развивать свои мощные, но дремавшие силы в общечеловеческой жизни, в прямом общении с образованным европейским миром. Другие находили, что в последовательном и самобытном движении нашей народной жизни реформа Петра произвела насильственный перерыв, сбивший ее с прямой ис-

торической дороги в чужую сторону, убивший зачатки ее самобытного развития чуждыми формами и началами, навязанными ей гениальным капризом. Смотри на дело с противоположных точек зрения, пользуясь для наглядного выражения своих взглядов образами, взятыми из различных порядков явлений, обе стороны сходились в одном основном положении; обе признавали, что реформа Петра была глубоким переворотом в нашей жизни, изменившим русское общество сверху донизу, до самых его корней и основ; только одна сторона считала этот переворот великой заслугой Петра перед человечеством, а другая — великим несчастьем для России.

Читающее русское общество относилось к борьбе обеих сторон не безучастно, но довольно эклектично, выбирая из боровшихся мнений, что кому нравилось, охотно слушало речи одних о самобытном развитии скрытых сил народного духа, одобряло и суждения других о приобщении к жизни культурного человечества. Притом новое время наступало, принося новые потребности и заботы, поворачивая прошедшее другими сторонами, с которых не смотрели на него ветераны обоих лагерей, возбуждая вопросы, не входившие в программу старого спора о древней и новой России. Начиналась генеральная переверстка мнений и интересов, предвиделся общий пересмотр застоявшихся отношений. Среди деловых людей крепла мысль, что все равно, пошла ли русская жизнь с начала XVIII в. прямой или кривой дорогой, что это вопрос академический: существенно важно лишь то, что полтора столетия спустя она шла очень вяло, нуждалась в обновлении и поощрении. Умы стали практичнее относиться к вопросу о месторождении форм и начал жизни; многие становились на ту точку зрения, что пусть известные формы и начала и не совсем самородны по происхождению, лишь бы они вызвали к действию дремлющие или опустившиеся народные силы, помогли справедливо развязать запутавшиеся узлы общественных отношений. Во всяком случае можно безобидно сказать, что в начале шестидесятых годов прошлого столетия в нашем обществе не существовало прочно установившегося, господствующего взгляда на ход и значение нашей истории в последние полтора века. В это время, в пору сильнейшего общественного возбуждения и самых напряженных ожиданий, в самый разгар величайших реформ, когда-либо испытанных одним поколением, в год издания Положения о земских учреждениях и Судебных уставов 20 ноября,

Соловьев издал XIV том своей «Истории России», в котором начал рассказ о царствовании Петра после падения царевны Софьи и описал первые годы XVIII в.

Казалось, редко работа историка так совпадала с текущими делами его времени, так прямо шла навстречу нуждам и запросам современников. Соловьеву пришлось описывать один из крутых и глубоких переломов русской жизни в те именно годы, когда русское общество переживало другой такой же перелом, даже еще более крутой и глубокий во многих отношениях. И, однако, то время нельзя признать особенно благоприятным для развития в обществе интереса к отечественной истории. Общий подъем настроения, конечно, давал историку много сильных возбуждений, много наблюдений, пригодных для исторического изучения, а начавшаяся многосторонняя перестройка быта располагала к историческим справкам, задавала вопросы, усиленно побуждавшие искать указаний в опыте прошедшего. Это сказалось в сильном оживлении русской исторической литературы, в появлении ряда монографий, имевших прямую связь с текущими вопросами, с готовившимися или совершавшимися переменами в положении крестьян, в судостроительстве и местном управлении. Но самому обществу было по-видимому, не до опытов прошедшего: внимание всех было слишком поглощено важностью настоящего и надеждами на ближайшее будущее. При первых успехах преобразовательного движения в обществе возобладало немного благодушное настроение, покоившееся на уверенности, что дело решено бесповоротно и пойдет само собой, лишь бы не мешали его естественному ходу, силе вещей. При таком настроении не любят оглядываться. Чего можно искать в темном прошедшем, когда в приближавшейся дали виднелось такое светлое будущее? При виде желанного берега охотнее считают, сколько узлов осталось сделать, чем сколько сделано. Оптимизм так же мало расположен к историческому размышлению, как и фатализм.

И дела пошли своим естественным ходом: порывы сменялись колебаниями, уверенность уступала место унынию. Стороннему наблюдателю Россия представлялась большим кораблем, который несется на всех парусах, но без карт и компаса. От появления случайностей, недостаточно предусмотренных, от преемственной смены подъемов и понижений духа в общественном сознании, наконец, отложилось одно несколько выяснившееся исто-

рическое представление, что русская жизнь безвозвратно сошла со своих прежних основ и пробует стать на новые. Тогда русская история опять разделилась на две неравные половины: дореформенную и реформированную, как прежде делилась она на допетровскую и петровскую, или древнюю и новую. Решив, что Россия сошла со старых основ своей жизни, в обществе по этому решению строили свое историческое мышление. Так явилась новая опора для равнодушия к отечественному прошлому. Еще недавно думали: зачем оглядываться назад, когда впереди так много дела и так светло? Теперь стали думать: чему может научить нас наше прошлое, когда мы порвали с ним всякие связи, когда наша жизнь бесповоротно перешла на новые основы?

Но при этом был допущен один немаловажный недостаток. Любуясь, как реформа преображала русскую старину, не доглядели, как русская старина преображала реформу. Эту встречную работу прошлого замечали, негодовали на нее, но ее недостаточно строго учитывали, считали только временным неудобством или следствием несовершенства человеческой природы. Скорбели, видя, как исполнительные органы, подобно старым дьякам московских приказов, клавшим в долгий ящик указы самого царя Алексея Михайловича, замедляли исполнение или изменяли смысл и направление актов верховной власти, внушенных доверием к разуму и нравственному чувству народа. Негодовали на консервативную пугливость людей, которые в неосторожной вспышке незрелой политической мысли или в мужественном презрении противозаконных, но обычных околичностей видели подкоп под вековые основы государственного порядка и испуганно обращались по принадлежности со стереотипным предостережением, *saveant consules*, а это значило в переводе, чтобы опасность была предотвращена соответственным испугу градусом восточной долготы. Образованные и состоятельные классы, обязанные показать своим поведением, как следует переходить со старых основ жизни на новые, выставляли из своей среды деятелей, являвшихся в уголовных отделениях новообразованных окружных судов печально-убедительными показателями уровня, на каком покоились их нравы. При таких примерах слишком взыскательное отношение к тому, как только что вышедшие на волю крестьяне понимали и практиковали дарованное им сословное самоуправление, было бы общественной несправедливостью.

При своей замкнутой жизни и строго размеренной работе Соловьев внимательно и чутко следил за важными событиями того тревожного времени, волнуясь и негодую на все, что мешало успехам преобразовательного движения. В журнальных статьях он по временам отзывался на текущие вопросы, занимавшие русское общество. Достаточно вспомнить хотя бы его «*Исторические письма*» 1858 г., начинающиеся указанием на то, как много жизнь требует от науки, как много объяснений требует настоящее от прошедшего. Здесь же он высказал и свой взгляд на отношение науки к жизни. «Жизнь,— писал он,— имеет полное право предлагать вопросы науке; наука имеет обязанность отвечать на вопросы жизни; но польза от этого решения для жизни будет только тогда, когда, во-первых, жизнь не будет торопить науку решить дело как можно скорее, ибо у науки сборы долги, и беда, если она ускорит эти сборы, и, во-вторых, когда жизнь не будет навязывать науке решение вопроса, заранее уже составленное вследствие господства того или другого взгляда; жизнь своими движениями и требованиями должна возбуждать науку, но не должна учить науку, а должна учиться у нее».

Все знали, что историк — сторонник одного из указанных выше взглядов, что он даже один из самых убежденных и сильных его защитников в нашей исторической литературе. Но с каждым дальнейшим томом читателю становилось все яснее, что изображение реформы делается не под исключительным углом зрения, какой установлен был взглядом его стороны, что, не изменяя основным ее воззрениям, он значительно преломляет их, исправляя и углубляя привычные суждения. В пяти томах, посвященных собственно деятельности Петра, и потом во всех дальнейших читатель встречает полное изображение реформы с многообразными последствиями и связями, какие соединяли с ней все явления нашей внешней и внутренней жизни как при самом преобразователе, так и при его преемниках и приемницах до последней четверти того века — и все это на основании изучения обширнейшего, большею частью нетронутого исторического материала, изучения, какого не предпринимал еще ни один русский ученый до Соловьева. Историк остался верен благоговейному удивлению перед деяниями Петра, который в его повествовании вырастает в величавый, колоссальный образ, во всю свою историческую величину. Но история не превращалась в эпос: самый процесс ре-

формы при Петре и после него описан удивительно просто иль, как говорится, объективно, со всеми колебаниями и ошибками, с намеренными и нечаянными уклонениями в сторону и с тревожными, как бы инстинктивными поворотами на прежний путь. Читатель, переживший реформы императора Александра II, мог по книге Соловьева с большим для себя назиданием наблюдать, во что обходился, каких усилий и жертв стоил Петру каждый успех в общем улучшении народной жизни, как при каждом шаге могучего двигателя старина силилась отбросить его назад, как, по печально удачному выражению Посошкова, «наш монарх на гору сам — десять тянет, а под горы миллионы тянут» — короче, сколько условности, метафоры в наших словах, когда мы, из своей обобщающей дали оглядываясь на прошлое, говорим о переходах народной жизни со старых основ на новые.

Но самое сильное и поучительное впечатление, какое выносил из книги читатель, заключалось во взгляде на происхождение реформы, на ее отношение к древней Руси. «Никогда,— писал историк в заключительной оценке деятельности Петра,— ни один народ не совершал такого подвига, какой был совершен русским народом в первую четверть XVIII века». «История ни одного народа не представляет нам такого великого, многостороннего преобразования, сопровождавшегося такими великими последствиями как для внутренней жизни народа, так и для его значения в общей жизни народов, во всемирной истории». И рядом с этим читаем суждение о реформе Петра как о перевороте, необходимо вытекшем со всеми своими последствиями из условий предшествовавшего положения русского народа, что деятельность Петра была подготовлена всей предшествовавшей историей, необходимо из нее вытекала, требовалась народом. Итак, ни личного произвола, ни насильственного, хотя бы творческого перерыва в естественном движении народной жизни, ничего чудесного не понадобилось для научного объяснения единственного в своем роде исторического дела, совершенного «величайшим из исторических деятелей», как назвал Соловьев Петра I: достаточно было простой мысли, что народная жизнь никогда не порывает со своим прошедшим, что такой разрыв — только новая метафора.

В повествовании о времени, следовавшем за смертью Петра, по мере того как оскудевал запас подготовительных трудов в русской исторической литературе и историк оставался один перед громадным сырым материалом,

перед мемуарами, журналами Сената, бумагами Государственного совета, делами польскими, шведскими, турецкими, австрийскими и т. д., *«История России»* все более переходила к летописному, погодному порядку изложения, изредка прерываемому главами о внутреннем состоянии России, с очерками просвещения за известный ряд лет. Но мысль о реформе как связующая основа в ткани проходит в повествовании из года в год, из тома в том. Читая эти 11 томов, иногда как будто забываешь, что постепенно удаляешься от времени Петра. Меняются лица и обстановка, а преобразователь как будто продолжает жить, наблюдает за своими преемниками и преемницами, одобряет или порицает их деятельность: так живо чувствуется действие его идей и начинаний, либо непонимание тех и других в мерах и намерениях его продолжателей, и так часто напоминает об этом сам историк, для которого реформа Петра — неизменный критерий при оценке всех развивающихся из нее или после нее явлений.

Так читатель приближается к концу третьей четверти века, и тут прерывается рассказ, покидая его накануне пугачевщины, перед эпохой усиленной внутренней деятельности правительства, перед обществом, которому этот мятеж впервые так ярко и так грозно осветил его положение. Но было бы в высшей степени желательно, чтобы именно эту эпоху, конец века, изобразил историк, описавший его начало и продолжение. То было время житейской проверки того, чем жило русское общество дотол; тогда и в самом обществе появляются первые попытки спокойно, без вражды и без обожания взглянуть на дело Петра. С наступлением нового века возникнут такие внутренние потребности, придут такие сторонние влияния, которые поставят правительству и обществу задачи, не стоявшие перед Петром. Но до той поры дела бежали, еще движимые толчком, полученным от Петра. Оставалось подвести итоги, подсчитать результаты и объяснить неожиданности. Один из питомцев Петра выразился о преобразователе: «На что в России ни взгляни, все его началом имеет, и что бы впредь ни делалось, от сего источника черпать будут». Но к исходу века откуда-то очерпались дела, не сродные сему источнику. Петр ограничил пытку, и если сражение при Лесной, где преобразованная русская армия в 1708 г. впервые победила шведов, не имея численного превосходства, было, говоря словами Петра, «первой солдатской пробой» его дела, то

распространение телесных наказаний на привилегированные сословия три четверти века спустя после указа о пытке можно признать последней законодательной пробой того же дела, только с другой стороны. Одна из любопытнейших частей нашей истории — судьба петровских преобразований после преобразователя — осталась недосказанной в книге Соловьева. Долгим трудом воспроизведенное, глубоко продуманное историческое строение силлогизма русской жизни в продолжение столетия роковым образом перервалось перед моментом, которого читатель давно ждал с напряженным вниманием, — перед завершительным *итак*. Этот перерыв оставил и, может быть, надолго в научной полутьме наш XVIII век. Вот чего жаль, и вот в чем потеря. Никто ближе Соловьева не стоял к источникам истории этого века, никто глубже его не проникал в наиболее сокрытые ее течения; ничье суждение не помогло бы больше успешному разрешению трудных вопросов, какие она ставит. Об историческом труде Карамзина Соловьев писал, что остановка его на Смутном времени, отсутствие подробной истории XVII в., этого моста между древней и новой Россией, надолго должны были способствовать распространению мнения, что новая русская история есть следствие произвольного уклонения от прежнего правильного пути. Соловьев перекинул этот мост, восстановил историческую связь между древней и новой Россией, разрушил предрассудок о произвольном уклонении; но и у него остался недостроенным путь между началом и концом XVIII в. Отсюда ряд недоумений. Век, начавшийся усиленными правительственными заботами о народном просвещении, заведением русской книгопечатни за границей, завершился закрытием частных типографий в самой России. Правнук преобразователя, впервые заговорившего об *отечестве* в высоком народно-нравственном, а не в узком местническом смысле этого слова, о служении отечеству как о долге всех и каждого, запретил употребление самого этого слова. Если никогда ни один народ не совершал такого подвига, какой был совершен русским народом в первой четверти XVIII в., то редко когда идея исторической закономерности подвергалась такому искушению, как в последней его четверти.

Повторю: в двадцать пятую годовщину смерти Соловьева, вспоминая, что сделала эта трудовая жизнь для русского исторического сознания, сожалеешь неволью о том, что смерть помешала ей сделать.



К. Н. БЕСТУЖЕВ-РЮМИН

2 января текущего года (1897 г.) мы лишились К. Н. Бестужева-Рюмина, 21 год состоявшего членом нашего Общества¹. Имя покойного принадлежит русской историографии, в летописях которой историческая критика отведет его ученым трудам подобающее почетное место. Мы теперь под несвежавшимся еще впечатлением понесенной потери почтим его память благодарным товарищеским воспоминанием.

Старших из здесь присутствующих я прошу Вас перенестись воспоминаниями лет за 40 назад, к концу 50-х годов.

Я принадлежу по возрасту к поколению тех из Вас, милостивые государи, чье историческое мышление пробуждалось в то время, делая первые усилия в познании родного прошлого. Едва одолев учебники истории всеобщей и русской, мы тогда усиленно читали *«Четыре характеристики»* Грановского в изданном Кудрявцевым в 1856 г. собрании его сочинений, Костомарова *«Богдана Хмельницкого»* и *«Бунт Стеньки Разина»* в вышедших тогда уже (1859) вторых изданиях, первые тома *«Истории»* Соловьева, его же *«Исторические письма»* и статьи Кудрявцева, Кавелина, Буслаева, Чичерина² и др. в *«Русском вестнике»*, *«Отечественных записках»*, *«Современнике»*. Припомним также, что за этим чтением нас гораздо сильнее удерживало возбужденное общим движением любопытство юношеского ума, чем юношески незрелое понимание читаемого. Мы смутно чувствовали, что и в русской историографии веет новым духом, который проникал тогда во все отношения, в самые сокровенные углы русской жизни.

Теперь, спустя 40 лет, много перечитав и передумав, быв свидетелями широкого и разностороннего развития русской историографии, мы можем оглянуться на то далекое время с чувством некоторого самодовольства: наше тогдашнее смутное чутье нас не обманывало; мы знаем теперь, что русское историческое изучение переживало тогда глубокий перелом, успевший уже обнаружиться внушительными признаками. Археографическая комиссия обнародовала уже свои первые капитальные серии русских исторических источников, летописей и актов и в 1859 г. выпускала VII том *«Дополнений к Актам историческим»*. В подмогу ей начали действовать Виленская и Киевская комиссии для разбора древних актов. Предпринято было немало других изданий памятников отечественной старины. Накоплялся значительный запас печатного архивного материала, и вместе с тем все более выяснялось, что в тысячу раз богатейший материал таится в рукописных книгохранилищах и архивах, ожидая работников. Сколько нового открыло тогда одно *«Описание»* Горского и Невоструева, начавшее выходить с 1856 г.! С другой стороны, на смену старым собирателям памятников народного творчества и быта — Максимовичу, Сахарову, Снегиреву, Терещенку³, — выступил ряд их деятельных продолжателей: Бессонов, Рыбников, Даль, Шенин, а в 1860 г. Общество любителей российской словесности постановило издать песни, собранные П. Киреевским⁴. Много свежих или уже испытанных ученых сил с редкой энергией и превосходной подготовкой принимались за обработку этого нового сырого и разнообразного материала, изданного и неизданного: Буслаев, Афанасьев, Забелин, Победоносцев, Кавелин, Чичерин, Дмитриев, Тихонравов, Пыпин⁵ и много-много других; в 1857 г. вышел первый том *«Истории русской церкви»* Макария⁶ — и среди всех этих разнообразных, трудолюбивых и талантливых работ спокойным, мерным шагом, своей особой дорогой, по возможности никого не задевая, но и не выпуская из вида чужих трудов, выходила с 1851 г. *«История России с древнейших времен»* Соловьева, своими неизменными из года в год октябрьскими томами, обозначая движение русской исторической науки, как часовая стрелка указывает на циферблате движение времени. Очевидно было, что течение русской историографии страшно дробилось, разбивалось на необозримо разносторонние специальные русла, и возникал вопрос, как следить за этим все увеличивавшимся разветвлением русско-

исторической изыскательности, чтобы не потерять нити общего направления русской исторической мысли.

В этот момент в *«Московском обозрении»* 1859 г. появилась без подписи автора обширная статья *«Современное состояние русской истории, как науки»*. Я был тогда еще слишком юн, далек от Москвы и от ученого мира и лишь много лет спустя узнал, что это статья Бестужева-Рюмина, а узнал это из приобретенного мною еще в студенческие годы экземпляра *«Московского обозрения»*, на котором было написано: «Воспитаннику 3-го спец. класса Феодору Строкину на память от издателя». Под статьей рукой внимательного читателя, сделавшего в книге на полях много заметок, карандашом подписано: Бестужев. Бестужев-Рюмин участвовал в издании *«Московского обозрения»*. Около того же времени он преподавал историю в Московских корпусах: не он ли сделал эту надпись, даря книгу со своей статьей одному из старших своих учеников? Я не знаю, какое впечатление произвела эта статья на своих читателей при своем появлении. Перечитывая ее теперь, видим, что она написана бойко и живо и обличает в авторе человека много читавшего, который при случае кстати припомнит и издания Сахарова, и различие между поэзией и историей по Аристотелю⁷, и Геро-де-Сешеля⁸, требовавшего себе из библиотеки законов Миноса⁹ для составления Французской конституции 1793 г., и сделает надлежащую выдержку из Маколея, Грановского, Юлиана Шмита¹⁰. Главное содержание статьи — критический разбор первых восьми томов *«Истории»* Соловьева. Но чтобы быть вполне справедливым к своему учителю, которого он слушал в Московском университете, критик обзревает, как понимали историю и как пользовались источниками предшественники Соловьева, писавшие полную историю России: кн. Щербатов, Карамзин и Полевой, потом говорит о состоянии разработки источников в эпоху появления *«Истории»* Соловьева и всему этому предпосылает изложение современных требований от историка как выразителя народного самопознания. Требования очень суровы и трудно выполнимы — это те сложные, возвышенные, словом, идеальные требования, какие, со слов великих мастеров историографии или глядя на их мастерские произведения, любят предъявлять молодые читатели и начинающие ученые, но над которыми добродушно покачивают головой искушенные опытом и трудом обыкновенные историки. Соловьев, разумеется, не вполне удовлетворительно выдержал

вооруженную такими требованиями критику своего ученика, хотя последний и отнесся к нему с большим почтением.

Но эта большая статья гораздо важнее была для самого автора, чем для Соловьева и других современных русских историков, столь же строго им разобранных. Я думаю, что этот первый большой опыт Бестужева-Рюмина по русской истории окончательно сложил его взгляд на научное дело и на задачи его собственной научной деятельности. Он, 30-летний ученый, в этой первой серьезной пробе своего ученого пера, обозревая движение русской историографии, продумал в последовательном порядке основные факты нашей истории, пересмотрел ее источники с Карамзиным, Соловьевым и Кавелиным в руках, воочию убедился, как осторожно и обдуманно надобно ими пользоваться, на образцах поучился технике исторической работы. Его критические уроки, сказанные учителям, несомненно гораздо более научили самого критика, чем их.

Этим определялось дальнейшее направление его ученых работ. Отправляясь от основательного изучения состояния, в каком он застал русскую историографию при своем вступлении на ученое поприще, он потом всю жизнь оставался зорким наблюдателем ее движения. Я даже не умею назвать, кто бы с большим вниманием следил за русской исторической литературой нашего времени. Призванный через несколько лет преподавать русскую историю в С.-Петербургском университете, он, сколько мне известно, и в свои курсы вводил вместе с обзором русских исторических источников обзор новейшей русской историографии. Всякий начинающий дельный исследователь по русской истории был им тотчас замечаем и встречал в нем внимательного и доброжелательного ценителя. Помню, видаясь с ним в давние редкие приезды его в Москву, бывало, едва успеваешь отвечать на его нетерпеливые вопросы, кто чем занимается в Москве из молодых ученых по русской истории, что кто задумывает написать, не найдено ли чего нового в рукописях в московских архивах. Сам он не брался за большие специальные работы по неизданным архивным или рукописным источникам. Правда, он оставил крупный след в разработке русских исторических источников: в 1868 г. вышла его известная диссертация «О составе русских летописей до конца XIV в.». Этим трудом он укрепил в нашей исторической литературе прием изучения, который при умелом обраще-

нии с ним приносит плодотворные результаты — это тонкий критический разбор составных частей памятника и их часто трудноуловимого происхождения. Я назвал бы этот прием, как он был выработан Бестужевым-Рюминым на изучении древнейших летописных сводов — *химическим анализом* исторического источника.

В общем движении русской историографии он шел до конца своей особой дорогой, избрал себе здесь свое специальное дело, и это дело прямо отвечало на вопрос, поставленный широким развитием русского исторического изучения: он следил за все осложнявшимся движением русской исторической литературы, сводил, подсчитывал ее научные итоги, наблюдал ее общее направление и по временам отмечал в ней сомнительные или неосторожные уклонения. Плодом этих многочисленных наблюдений и изучений и была его «Русская история», первый том которой вышел в 1872 г. Он сам объясняет задачу этого труда в первых строках предисловья... «Цель этой книги — представить результаты, добытые русскою историческою наукою в полтораста лет ее развития, указать на пути, которыми добывались и добываются эти результаты, и вместе с тем ввести в круг источников, доступных в настоящее время ученой деятельности». Кто из занимающихся русской историей переносит эту своеобразную книгу с письменного стола на полку! Она ежеминутно надобится, как путеводитель при обзоре осматриваемого города. Ее своеобразность в том, что в ней настоящий текст в нижней половине ее страниц, в этих неистощимо обильных цитатах и примечаниях, а верхняя половина — только прагматический фон или фактическая канва, по которой тщательной и удивительно терпеливой рукой выведены лучшие усилия и успехи русского труда и ума по изучению родного прошлого. Нисколько не умаляя и не преувеличивая этого труда, можно сказать, что это не только русская история, но и история работы русской мысли над русской историей. Сам автор хотел дать в своей книге руководство или, лучше, пособие приступающим к самостоятельному изучению русской истории. Собирая, сопоставляя и разбирая мнения, высказанные в литературе, он не выставляет на первый план своих, а высказывает их только кстати, как научную возможность или робкий призыв ученой братии к содействию, проверке и поправке. Книга составила постепенно из университетских чтений, в которых профессор, по его признанию, всегда давал много места оценке источников и пособий и критическому изложению высказываемых в науке мнений.



Ф. И. БУСЛАЕВ КАК ПРЕПОДАВАТЕЛЬ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬ

Что сделал Буслаев для изучения русской истории? Задав себе этот вопрос, я прежде всего вспомнил свои студенческие годы. Я уверен, так поступит каждый ученик Буслаева, когда спросит себя, что сделал он для *его* отрасли знания, для избранной им науки, если она входила в обширную область научного ведения, в пределах которой трудился Буслаев.

И я думаю, что это—недаром. Теперь в этой обширной области у нас трудится много работников и большею частью благодаря Буслаеву. Складывается значительная литература предмета. Первые, элементарные сведения по этому предмету, сообщаемые профессором и даже гимназическим учителем, суть только наиболее признанные в этой литературе положения науки. В этом случае профессор и учитель — только ученые посредники между литературой и аудиторией или классом.

Тридцать пять лет назад, когда я начал в Московском университете слушать Буслаева, положение дела было совсем иное. Большая часть того, что он повторял в аудитории из печатного, была недавно напечатана им же самим. Многие, что он сообщал своей аудитории, студент узнавал раньше читателя. Буслаев был не посредник между своей аудиторией и литературой своего предмета, а первый поставщик той и другой. Ученикам его часто приходилось первым усвоить его идеи, новые факты, приемы их изучения и потом проводить их в преподавании, частной беседе, даже в литературе. Но всякий ученик Буслаева по роду своих дальнейших занятий может с достаточной полнотой и глубиной оценить его как ученого,

взвесить его значение в той науке, которой посвящена была его ученая деятельность. Но в личных воспоминаниях каждого о том, как он учился у Буслаева, могут найтись черты, впечатления и замечания, которые пригодятся для изображения того, как усвоились и распространялись ученые взгляды Буслаева, как они отражались в преподавании и литературе,— словом, может оказаться пригодный материал хотя не для истории самой науки, то по крайней мере для истории русского просвещения.

С такими именно мыслями и обратился я к своим студенческим воспоминаниям, чтобы отдать себе отчет в значении Буслаева для изучения русской истории. Я вступил в Московский университет и стал слушать Буслаева в тот самый 1861 год, когда появились два тома его *Исторических очерков* русской народной словесности и искусства; в этом издании были собраны и приведены в некоторую систему исследования и характеристики, рассеянные в разных изданиях, с исправлениями и пополнениями. Не только специалист, но и простой образованный читатель мог по 34 «главам», точнее монографиям, этого обширного издания в связанном подборе следить за развитием основной мысли и метода исследователя. Но этим изданием далеко не завершилась ученая деятельность исследователя, а только очерчивался круг явлений, избранных им для изучения, намечалась программа и выяснялись задачи дальнейших работ. Когда я стал слушателем Буслаева, его ученая деятельность шла полным ходом. И после издания *Очерков* аудитория продолжала для него стоять впереди публики. Многие исследования, появлявшиеся потом в печати, составлялись из курсов, читанных им в университете. Будущая ученая биография Буслаева, конечно, выяснит связь его профессорской и авторской деятельности, восстановив отношение его печатных исследований к его университетским курсам: это отношение — вообще очень любопытное дело как для определения влияния университетского преподавания на нашу научную литературу, так и для истории русского просвещения, и биография профессора, так долго преподававшего и так много писавшего, как Буслаев, может пролить яркий свет на эту всеми живо чувствуемую и признаваемую, но еще далеко не выясненную связь университета с литературой.

Впрочем, как бы много ни писал профессор по своей науке, он не может перелить в свои сочинения всего сво-

его преподавательского влияния. Воображаемая публика, от которой писатель отделен типографией и книжной лавкой, никогда не заменит аудитории, живьем присутствующей прямо перед глазами преподавателя и возбуждающей его своим немым, но выразительным вниманием. Поэтому перу остаются недоступны многие средства действия, какими обладает живое слово. С кафедры идут дидактические и методологические впечатления, которые уносятся слушателями и которых печатный станок никогда не передает читателю. Но и эти неуловимые впечатления не пропадают бесследно в общем движении науки... И прежде всего мы обязаны Буслаеву тем, что он растолковал нам значение языка как исторического источника. Теперь это значение так понятно и общеизвестно; но тогда оно усвоилось с некоторым трудом и не мной одним. Живо помню впечатление, произведенное на меня чтением статьи «Эпическая поэзия». Это было в 1860 или 1861 г. Заглавие вызвало во мне привычные школьные представления об эпосе, Магабхарате, Илиаде, Одиссее, о русских богатырских былинах. Читаю и нахожу нечто совсем другое. Вместо героических подвигов и мифических приключений я прочитал в статье лексикографический разбор, вскрывший в простейших русских словах вроде *думать*, *говорить*, *делать* сложную сеть первичных житейских впечатлений, воспринятых человеком, и основных народных представлений о божестве, мире и человеке, какие отложились от этих впечатлений.

С течением времени, слушая Буслаева в аудитории и на квартире, читая сочинения его собственные и чужие, какие он нам указывал, вдумываясь в дело, мы постепенно входили в круг идей, внушавших совсем непривычное представление о содержании, границах и приемах изучения той отрасли знания, которую называют историей словесности.

В моей памяти, как и в студенческих заметках, уцелели следы того диалектического процесса, какой задавал Буслаев нашему мышлению и которым мы усвоили столь новые для нас воззрения. Может быть, вспомнить эти усилия студенческой мысли не будет лишним не для самой науки, конечно, а для истории университетского образования и для биографии Буслаева.

Первое и главное произведение народной словесности есть самое *слово*, язык народа. Слово—не случайная комбинация звуков, не условный знак для выражения мысли, а творческое дело народного духа, плод его поэтиче-

ского творчества. Это — художественный образ, в котором запечатлелось наблюдение народа над самим собой и над окружающим миром. В первых своих очертаниях этот образ заключился в корне слова. По мере накопления опыта и наблюдения, по мере осложнения впечатлений и отношений и первичный образ разрастается в *верованиях*, в идею божественной силы, незримо присутствующей в видимом мире, потом в миф, в представление о видимом, ощутительном проявлении этой незримой силы, в закон или житейское правило, устанавливаемое этим верованием и представлением, наконец, в обычай и предание, созидаемые верованиями, мифами и законами путем их передачи из поколения в поколение. Вместе с тем по мере развития понятий и отношений корни слов обрастали этимологическими и фонетическими новообразованиями; система грамматических форм, первичное коренное значение слова последовательно изменялось и разветвлялось, давая от себя сложную систему производных, складывалась синонимическая и омонимическая лексика, выражавшая оттенки и соотношение впечатлений и явлений и т. д. Так язык рос вместе с народной жизнью, и его история есть летопись этой жизни и летопись художественная, своего рода эпопея, в поэтических образах отразившая народные верования, понятия, убеждения, обычаи и права в темную эпоху их зарождения.

Все это теперь кажется так просто и элементарно. Но, усвоенные вовремя, эти элементарные сведения о строении языка и его отношении к жизни народа оказали нам потом неоценимую услугу. Немногим ученикам Буслаева пришлось по выходе из университета заниматься специально историей русского языка и литературы: из нашего выпуска 1865 г., если не ошибаюсь, никто не избрал этой специальности. Но многим из нас пришлось после иметь дело со старыми текстами, с памятниками древней письменности, и, сидя за ними, мы с благодарностью вспоминали и вспоминаем доселе уроки и советы Буслаева. Уча нас строению языка и его связи с народным бытом, он учил нас читать древние памятники, разбирать значение, какое имели слова на языке известного времени, сопоставлять изучаемый памятник с другими одновременными и посредством этого разбора и сопоставления приводить его в связь со всем складом жизни и мысли того времени.

Я не берусь говорить, что сделал он, собственно, для изучения словесности. Упомяну об этом только по связи с другою заслугой, оказанною им изучению русской исто-

рии. В изучении русской словесности он поставил новые задачи и принял новый метод. Главным предметом его внимания была народность, и отрасль знания, на которой он сосредоточивал свои работы, он сам называл сравнительным изучением народности, этой новой наукой XIX в., по его выражению. Перемена, внесенная этою новою наукой в направление изучения словесности, состояла в том, что научный интерес от отдельных памятников личного творчества перенесен был на народную массу. Он подробно изложил эту перемену в начале своей монографии *Сравнительное изучение народного быта и поэзии*. «В прежнее время,— пишет он здесь,— ...главнейшие предметы для этой науки — язык, религия, начатки семейного и общественного быта, народная поэзия и обычное право. Все эти предметы должны быть изучаемы сравнительно. Необходимость такого изучения вытекает из открывающегося все явственнее факта первобытного сродства индоевропейской семьи народов и даже народов всего земного шара, т. е. сродства общечеловеческого». Сравнительная грамматика и сравнительная мифология языков индоевропейских, по его словам, привели к тем результатам... Материалы для такого изучения заключаются в разнообразных формах словесного творчества народа: краткие изречения, заговоры, пословицы, поговорки, клятвы, загадки, приметы, песни, сказки и пр.— все эти разрозненные члены эпического предания, в которых выражалось народное мирозерцание, в которых сказывалась народная душа и которых поэтому можно назвать источниками науки народной психологии. Но не одна устная словесность народа дает такие материалы: самородное творчество народа разорванными отзвуками западало и в письменную словесность. Восстановить связь между устной народной и письменною словесностью было задачей и заслугой Буслаева. В его ученом плане история литературы получала новый, научный склад и характер: из критико-библиографического обзора отдельных памятников письменности без внутренней связи, являвшихся более или менее удачными, но всегда случайными проявлениями личного творчества, история словесности превращалась в изображение течений литературного творчества с указанием их народных источников, картину стройного и последовательного развития народного духа и быта, насколько тот и другой отразился в памятниках устной и письменной словесности, и не только словесности, но и искусства. Для восстановления этой связи устной словес-

ности с письменной Буслаев предпринял неутомимое и широкое изучение обильного рукописного запаса, какой накопился в наших древлехранилищах, частных и общественных, и какой он сам мог найти на рынке старых книг и рукописей.

Это был другой общий источник как для истории русской словесности, так и для русской истории, и в изучение этого обильного и мало тронутого источника Буслаев внес большое оживление, даже, можно сказать, новое направление, благотворно отразившееся на успехах русской историографии вообще. Древнерусская письменность, почти исключительно духовная, церковная по своему содержанию, рассматривалась прежде как выражение нового христианского порядка жизни, какой строился на старой языческой почве русского народа. Этот порядок должен был стать на языческой почве, подавив в ней все корни и поросли языческой старины. Но предполагалось, что эта христианская письменность по положению письменного дела в древней Руси питала мысль и чувство только высших классов общества и, слабо действуя на простонародье, на эту старую языческую почву, ничего и от нее не заимствовала, была от нее изолирована. Она представлялась течением, шедшим поверх общенародной жизни, освещавшим ее, но за нее не зацеплявшимся. Из этой письменности опускалась на народную жизнь освежительная, но скоро высыхавшая роса, а по временам падали грозные обличения, но самый этот быт своими отношениями, повериями и чувствами не поднимался до высоты порядка, какой проводился в этой письменности. Так, например, в житиях русских святых история литературы черпала преимущественно образчики благочестия отдельных древнерусских людей. В этой то письменности, в чуде жития, в набожной легенде, в миниатюре, которою украшались поля рукописей, даже в ином назидательном сказании Буслаев стал находить мотивы и образы чисто народного происхождения, как в пословице, загадке и т. п. Многие главы первого тома его *Исторических очерков* и весь второй том, носящий заглавие *Древнерусская народная литература и искусство*, посвящены изысканию этих народных мотивов и образов в древнерусской литературе. Можно сказать, что это — ряд монографий, дающих частичные ответы, прямые или косвенные, на один общий вопрос о влиянии народных поверий, мифов, понятий и обычаев на древнерусскую письменность. Оказалось, что течение, шедшее

поверх старой русской жизни, не было совсем с ней общено, питалось и ее испарениями.

Так восстановлена была связь древнерусской письменности с ее туземными народными источниками. В содействии этому делу состояла несомненная научная заслуга Буслаева, частью испытанная мною на самом себе. Я помню, как оживился интерес к древнерусской рукописной литературе, и я раскрывал древнерусскую рукопись с нетерпеливой надеждой найти в ней свежие следы древнерусского народного быта и мышления. Изучение древнерусской письменности оживилось потому, что расширилось и углубилось. В ней стали искать отражение не одних только идеалов, норм пришлого порядка, который водворялся на Руси и часто терпел неудачи, но и той среды, которая его медленно и не всегда понятно воспринимала. Таким образом, по этой письменности стали изучать совместную работу новых культурных влияний и старых туземных сил, которые перерабатывались теми влияниями в культурные средства. Разумеется, и изучение письменности тем самым осложнилось, сделалось труднее: ее стало необходимо изучать в неразрывной связи и с народным бытом и мышлением.

Его эстетическая и патриотическая антипатия к искусственной литературе во имя самородной народной словесности не помешала его ученому беспристрастию помирать противниц и соединить их в единый цельный неисчерпаемый источник истории русской народной жизни — мысли и художественной фантазии...



РУССКАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ 1861—1893 гг.

Русская история в составе умственных интересов образованного русского общества не занимает особенно видного места. Интерес к ней посредственный, живой, но сдержанный, ближе к недоумению, чем к равнодушию. Такое отношение объясняется с обеих сторон, со стороны как историков, так и самого общества, даже с некоторых других сторон, независимых ни от историков, ни от общества.

Людам надобится прошедшее, когда они уяснят себе связь и характер текущих явлений и начнут спрашивать, откуда эти явления пошли и к чему могут привести. Когда, например, в обществе почувствуется, что обычный ход дел, составляющих ежедневное содержание жизни, начинает колебаться и расстраиваться, обнаруживать противоречия и создавать затруднения, каких прежде не ощущали, это значит, что условия жизни начинают приходить в новые сцепления, наступает перемена, складывается новое поколение. Тогда рождается потребность овладеть ходом дел, возникших как-то нечаянно, самопроизвольно, «в силу вещей», как принято выражаться о явлениях, возникающих без участия чьей-либо сознательной воли. Чтобы освободить свою жизнь от такого стихийного характера и дать разумное направление складывающейся новой комбинации отношений, люди стараются выяснить цель, к которой ее желательно было бы направить, а эта цель обыкновенно составляется из совокупности интересов, господствующих в данную минуту. Эта естественная потребность в целесообразности и обращает умы к прошедшему, где ищут и исторического оправдания этим интересам и практических указаний на

средства к достижению желаемой цели. В усилении исторической любознательности всегда можно видеть признак пробудившейся потребности общественного сознания ориентироваться в новом положении, создавшемся помимо его или при слабом его участии, и это пробуждение, в свою очередь, свидетельствует, что новое положение уже достаточно упрочилось и раскрылось, чтобы дать почувствовать свои последствия. Общественное сознание тем и отличается от личного, что последнее обыкновенно идет от установленных причин к возможным последствиям, а первое, наоборот, расположено восходить к искомым причинам от данных последствий.

Последние четыре десятилетия минувшего века нельзя признать особенно благоприятным временем для правильного и деятельного развития в нашем обществе наклонности к историческому размышлению, особенно об отечественном прошлом. Во все это время обществу было не до прошлого: общее внимание было слишком поглощено важностью настоящего и надеждами на ближайшее будущее. Это не значит, что положение, создавшееся реформами, являлось неожиданно, независимо от общественного сознания. Напротив, оно давно ожидалось и требовалось мыслящим обществом, как вполне созревшая народная потребность, даже как историческая необходимость, и значительно запоздало явиться. Чувство этой просрочки давало реформам несколько ускоренный, торопливый ход, неудобства которого не могли не отразиться на их успехе. Но реформы предпринимались по обдуманному плану, строились на началах, признанных наилучшими, обсуждались в учреждениях, в печати и в обществе, соображались с наличными условиями. Правда, проекты реформ страдали иногда недостатком точных и полных исторических справок. Но готовых исторических указаний, практически пригодных, преобразователи не находили ни в общественном сознании, ни в исторической литературе, а сами они не могли же стать и историками-исследователями. Затруднение состояло не в самих реформах, а во взгляде общества на их возможные последствия. Здесь допущена была некоторая благодушная непредусмотрительность, создавшая два момента, одинаково не благоприятных для исторического сознания. В начале господствовало убеждение, что начинания, истекающие из столь благих намерений и благонадежных соображений, сами собой, естественно принесут плоды, соответствующие своим источникам. Делаем и дали идти сво-

им естественным ходом, а сами стали нетерпеливо ждать предположенных плодов, желая только, чтобы не мешали естественному течению дел, той же «силе вещей». Это был первый антиисторический момент в общественном сознании, возбужденном реформами. Чего могли искать в темном прошедшем, когда в близкой дали виднелось светлое будущее? В виду желанного берега охотнее считают, сколько узлов осталось сделать, чем сколько сделано. Что может историческое изучение изменить или предотвратить в судьбе, предрешенной бесповоротно? Оптимизм также мало расположен к историческому размышлению, как и фатализм.

И дела пошли своим естественным ходом...

Стороннему наблюдателю Россия представлялась большим кораблем, который несется на всех парусах, но без карт и компаса.

Так из преобразовательных последствий, недостаточно предусмотренных и направленных, сложилось положение, с которым чувствовали себя не в силах справиться. От всех этих *порывов, колебаний* из стороны в сторону, преемственных подъемов и понижений народного духа в общественном сознании отложилось, кажется, только одно несколько выяснившееся историческое представление — что русская жизнь сошла с своих прежних основ и пробует стать на новые. Русская история опять разделилась на две неравные половины периода, дореформенную и реформированную, как прежде делилась на допетровскую и петровскую или древнюю и новую, как они еще назывались. Это представление было вторым антиисторическим моментом общественного сознания, вышедшим из одного источника с первым, — из невнимания к исторической закономерности и к наличности исторически нажитых сил. Повторяя, что реформированная Россия сошла со старых основ своей жизни, не хотели припомнить, что в исторической жизни таких чудес механических перемещений не бывает. Это была простая неудачная метафора, взятая из порядка понятий, совсем не соответствующего историческому процессу, — одна из тех метафор, с помощью которых люди заставляют себя думать, что они поняли непонятное. Ничего особенного не случилось с Россией в царствование имп. Александра II: случилось то, что бывало со всяким историческим народом, что бывает со всяким человеком, не успевшим умереть в детстве, — обнаружилась *работа времени*, наступил переход из возраста в возраст, из подопечных лет в совершенно-

летие, подошел призывный год. В истории каждого исторического народа бывал период, когда правительство, по какому бы шаблону оно ни было сформировано, думало и действовало за управляемое им общество, опекало его, предписывало ему образ мыслей, чувств и верований, правила благоповедения. Потом, когда пробивал урочный час, правительство, чуткое к движению времени, приглядывавшееся, как ползет *историческая стрелка*, понемногу ослабляло бразды правления и, не выпуская их из рук, нечувствительными манипуляциями правящего ума приучало народ своими зрелыми глазами отыскивать свою историческую дорогу. Особенностью русского совершеннолетия было разве только то, что оно наступило немного поздно, что русский народ слишком долго засиделся сиднем в своем детстве, что, впрочем, случилось и с одним из его богатырей, что он освободился от крепостного права (когда его старшие европейские братья успели забыть, что оно у них когда-либо существовало, и *очистили свой быт*, свои нравы от всяких следов его). Император Александр II совершил великую, но запоздалую реформу России: в величии реформы — великая историческая заслуга императора; в запоздалости реформы — великое историческое затруднение русского народа.

Но общество решило, что Россия сошла с старых основ своей жизни, и по этому решению настроило свое историческое мышление. Отсюда родился ряд практически недоразумений. Одно из них состояло в *новом оправдании* своего равнодушия к отечественному прошлому. Еще недавно думали: зачем оглядываться назад, в темную даль за спиной, когда впереди такое светлое и обеспеченное будущее? Теперь стали думать: чему может научить нас наше прошлое, когда мы порвали с ним всякие связи, когда наша жизнь бесповоротно перешла на новые основы? Такая диалектика была очень логична, но недостаточно благоразумна, потому что противоречила исторической закономерности, которая не любит противоречия и наказывает за него. Исторический закон — строгий дядька незрелых народов и бывает даже их изгладом, когда их глупая детская строптивость переходит в безумную готовность к *историческому самозабвению*. А потом, в этом самодовольном равнодушии к истории был допущен один немаловажный исторический недостаток. Любуясь, как реформа преображала русскую старину, недоглядели, как русская старина преображала реформу. Старая русская приказная рутинка сказывалась

в том, что важнейшие акты Верховной воли, внушенные доверием к здравому смыслу и нравственному чувству народа, изменялись в своем смысле или (искажались) в исполнении подозрительными дополнительными распоряжениями исполнительных органов. Разве не та же старинная полицейская пугливость обличала сама себя склонностью в неосторожной вспышке незрелой русской политической мысли видеть подкоп под вековые основы русского государственного строя и карать ее соответственным испугу градусом восточной долготы? И общество не всегда оказывалось на высоте положения, создавшегося реформами. Высшие классы, образованные и состоятельные, обязанные показать своим примером, как следует переходить со старых основ жизни на новые, дали в уголовном отделении окружных судов ряд публичных представлений, нежелательно ярко обозначивших нравственный уровень, на котором покоились их нравы. А что сделали крестьяне из дарованного им сословного управления, всем известно. Отвращение к труду, воспитанное крепостным правом в дворянстве и крестьянстве, надобно поставить в ряд важнейших факторов нашей новейшей истории. *Торжеством этой* настойчивой работы старины над новой жизнью было внесение в нравственный состав нашего общежития нового элемента — недовольства, и притом неискреннего недовольства, в котором недовольный винил в своем настроении всех, кого угодно, кроме самого себя, сваливал грех уныния с больной головы на здоровую. Прежняя общественная апатия уступила место общему ропоту, вялая покорность судьбе сменилась злоязычным отрицанием существующего порядка без проблеска мысли о каком-либо новом.

Истинная подкладка этого недовольства очевидна: это общий упадок благосостояния при частных искусственных исключениях. Недовольство обострялось чувством бессилия поправить положение, *в создании которого все участвовали и все умывали руки.* При таком настроении не могло образоваться живой связи между русской историографией и общественным сознанием. Общество недоумевало, с чем или зачем обращаться к своему прошлому, не ставило историческому исследователю внятных запросов, а исследователь не догадывался, на что ему отвечать, когда его ни о чем не спрашивали. Историография шла особняком, руководствуясь своими собственными академическими соображениями, состоянием

материала, очередь научных вопросов, указаниями иностранной исторической литературы.

Такое отношение, по-видимому, приходит к концу; по крайней мере желательно, чтобы оно возможно скорее изменилось. Противоречия положения настолько выяснились, затруднения, из него вытекающие, чувствуются так больно, что само собою рождается желание дать делам какое-либо менее случайное направление. В общественном сознании, если не ошибаемся, все настойчивее пробивается мысль, что предоставлять дела так называемому естественному их ходу значит отдавать их во власть дурных или неразумных сил, что *историческая закономерность состоит не в отсутствии сознательности*, не в стихийности жизни. Пробуждение этой мысли — признак потребности овладеть положением, создавшимся плохо предусмотренной и урегулированной борьбой неуравновешенных сил. Руководящим мотивом этой потребности должно быть убеждение, что мы вовсе не на другом берегу, лишенном всякой материковой связи с покинутым, что мы идем своей старой исторической дорогой, несем с собой средства, выработанные вековым народным трудом, недостатки, воспитанные в нас былыми народными несчастьями, задачи, поставленные нам условиями нашего прошлого. Если мыслящий русский человек, разделяя такой поворот общественного сознания, обратится к текущей русской историографии, он найдет ее приблизительно в таком состоянии, если его представить в самых общих очертаниях.

Усиленное внимание обращено на исторические источники, преимущественно неизданные и необследованные. Столичные и провинциальные учреждения, с Академией наук во главе, ученые комиссии и общества собирают, приводят в порядок и издают вещественные и письменные памятники старины. Губернские архивные комиссии ведут детальную работу над разнообразными местными материалами, образуя своими изданиями особый и уже значительный отдел в составе русской исторической литературы. В то же время ряд исследователей, в большинстве молодых людей, пробует свои силы в обработке нетронутого материала центральных архивов и один за другим издает или готовит монографии, освещающие те или другие факты из истории управления, общественного строя или народного хозяйства. В эту работу все сильнее вовлекается и история Западной России, пополняясь обильными и любопытными данными, выносимыми из ар-

живов в Москве, Вильне, Киеве. Если мысль и труд исследователя все чаще обращается к явлениям нашей истории последних столетий, то, с другой стороны, продолжается в разных местах нашего отечества, преимущественно в Южной России, давно начатая и поддерживаемая археологическими съездами разработка ископаемых памятников глубокой, долетописной старины. Захватив уже значительные районы изыскания, достигнув замечательных успехов в развитии техники приемов, эта трудная отрасль русского исторического изучения все более выясняет те таинственные связи и влияния, под действие которых становились предки русского народа, когда усаживались в пределах Восточно-Европейской равнины.

За этой сложной и разносторонней работой русской исторической мысли трудно уследить образованному человеку, по своему общественному положению не принимающему в ней непосредственного участия. Ближе касаются его попытки свести накопившийся запас материалов и частичных трудов в нечто цельное, воспроизвести наше прошлое в виде стройного исторического процесса, в котором выступали бы перед читателем как причины, его двигавшие, так и результаты, от него отлагавшиеся. В этом отношении наше читающее общество оценило *«Очерки по истории русской культуры»* г. Милюкова¹, представившего в нескольких цельных параллельных обзорах ход развития русской жизни с разных сторон: экономической, государственной, социальной и духовно-нравственной. Составить цельное и отчетливое представление о всем ходе нашей исторической жизни тем труднее читателю, что в нашей литературе, если не считать учебных руководств, доселе нет обстоятельного прагматического изложения событий русской истории, доведенного хотя бы до половины минувшего столетия. Покойный С. М. Соловьев не думал продолжать свою *«Историю России»* далее конца XVIII в., и смерть прервала ее на эпохе Кучук-Кайнарджийского мира 1774 г. Господин Иловайский² три года назад в IV томе своей *«Истории»* не спеша подошел к концу царствования Михаила Федоровича и недавно известил о скором выходе в свет V тома.

Работа русской историографии идет ровным ходом и в довольно миролюбивом духе. Былые богатырские битвы западников с славянофилами затихли и вместе с своими богатырями отошли в область героической эпопеи русской историографии. Постепенно растворяясь новыми влияниями и взаимными уступками, оба направления

сближались и привыкали друг к другу, теряли сектантскую исключительность и, ассимилируясь, жизненной частью своего состава входили в общее сознание, даже становились общим местом, а что было в них специфического, неуступчивого и нерастворимого, то пыталось кристаллизироваться в новые сочетания воззрений и гипотез под названиями государственников и народников, или как еще они в свое время назывались. Самый варяжский вопрос, имевший некоторое соприкосновение с обоими этими направлениями и так долго служивший пробным камнем историко-критической мысли для пришлых и туземных историков, вспыхивая по временам случайными столкновениями и чуть не осложнившись вопросом болгаро-гуннским, кажется, убедился, что ему не выйти из области уравнений с тремя неизвестными, и утратил надежду и охоту сложиться в убежденную и научно сформулированную теорию. Новых направлений с принципиальными разногласиями незаметно; слышны только споры методологического или экзегетического характера.



ЮБИЛЕЙ ОБЩЕСТВА ИСТОРИИ И ДРЕВНОСТЕЙ РОССИЙСКИХ

18 марта 1804 г. в Московском университете собрался под председательством ректора университета Х. А. Чеботарева кружок из ученых людей из 4 профессоров и двух сторонних лиц, одним из которых был Н. М. Карамзин, незадолго до того получивший звание историографа. Так открылись действия учено-исторического общества, возникшего при Московском университете, старейшего из существующих теперь в Москве ученых и литературных обществ. На первом же заседании общество усвоило себе название «*Общество истории и древностей российских*» и установило свою задачу — критическое издание русских летописей.

Общество возникло при Московском университете, образуя его органическую часть «в недрах его», как тогда выражались о новом учреждении, и в тесной связи с исторической аудиторией университета. Все первые члены общества были избраны «общим собранием профессоров Московского университета», действительные — из среды этих профессоров, в большинстве преподавателей истории, почетные — из сторонних лиц, «мужей просвещенных и сведущих в отечественной древней истории». Первым председателем Общества был избран ректор университета, первым секретарем Общества — секретарь университетского Совета.

Ближайший повод к образованию Общества шел из далека, от бывшего некогда русским академиком, теперь доживавшего свой век профессором Геттингенского университета А. Л. Шлецера, знаменитого исследователя

русской Начальной летописи. Добиваясь русского ордена за изданные в 1802 г. первые части исследования о Несторе, Шлецер в письме к графу Н. П. Румянцеву¹ высказал пожелание видеть полное издание древних русских летописей, а министр народного просвещения граф Завадовский² в начале 1804 г. доложил государю, что Шлецер выразил готовность соучаствовать с русскими учеными в таком издании. Государь повелел для этого дела составить особое общество при одном из русских «ученых сословий», т. е. высших учебных учреждений. Московскому университету и было предложено образовать такое общество.

Так основалось при Московском университете целое ученое Общество, ограничившее свою первоначальную задачу специальным делом критического издания русских летописей, а потом расширившее свои занятия на всю область источников русской истории. Было бы, однако, исторической неточностью, даже несправедливостью подумать, что единственно стороннему внушению Московский университет обязан заслугой, какую он оказал русской науке, образовав под своим кровом Общество истории и древностей российских. Гиттингенская идея о коллективной разработке русской истории нашла, и именно в Москве, восприимчивую среду, достаточно подготовленную к ее усвоению. Я не решусь занимать внимание присутствующих изложением истории нашего Общества: читателям, интересующимся его деятельностью, скоро будет предложен исторический ее обзор за пережитое Обществом столетие. Но да будет мне позволено обратить Ваше внимание на возникновение и развитие мысли с разработке отечественной истории соединенными усилиями нескольких лиц или особого учреждения. Может быть, при этом удастся отметить какую-либо не лишнюю значения черту из истории нашего самосознания.

Мысль о коллективной разработке нашей истории возникла задолго до Шлецера и до учреждения Общества истории и древностей российских. В этом отношении особенно выдается у нас XVI век: это была эпоха оживленного летописания, силившегося собрать свои средства и выбраться на новую дорогу. Тогда составлялись обширные летописные своды с подробными оглавлениями, генеалогическими таблицами русских и литовских государей, с географическими росписями и другими приспособлениями, как будто намекавшими на пробуждение потребности в научной обработке истории. В летописном

повествовании становятся заметны проблески исторической критики; в него пытаются внести методический план, даже провести в нем известную политическую идею. «Степенная книга царского родословия», пытаясь изобразить успехи верховной власти в России, располагает свое бытописание по генеалогической схеме, по «степеням» или «граням», династическим поколениям и имено в прямой нисходящей линии согласно с порядком преемства власти, о котором так настойчиво заботились московские великие князья. Предпринимается обширный летописный свод, начинающийся легендой о венчании Владимира Мономаха венцом византийского императора и выражением отважной мысли, что покой православного Востока должен держаться на современном господстве, «на общей власти» греческого царства и великороссийского «самодержавства», говоря проще, на плечах одной Москвы, когда она почувствовала себя, после падения Византии, единственной в мире блюстительницей и защитницей православия. В этих смелых порывах едва пробуждавшейся исторической мысли можно заметить московский правительственный почин и неясные следы какой-то собирательной историографической работы. По крайней мере уцелело неясное свидетельство, позволяющее думать, что один из самых деятельных дипломатов царя Иоанна Грозного в лучшую пору его царствования Алексей Адашев руководил какой-то работой над «летописцем лет новых», по всей вероятности над так называемой *«Царственной книгой»*, дошедшей до нас летописью царствования Иоанна.

В нашей истории я не знаю другой эпохи, которая произвела бы на русское общество такое сильное и притом двойственное действие, как Смутное время самозванцев. Русское общество вышло из того потрясения разоренным и просветленным, со страшной болью пережитых страданий и с обильным запасом новых опытов и мыслей. Недаром послы Земского собора в 1613 г., моля Михаила Федоровича принять царство, говорили, что теперь люди Московского государства «наказались все», т. е. научились многому. И историческая письменность тогда сделала у нас большой шаг вперед: народные бедствия помогли ей перейти от летописанья к историографии. Что делать: не раз замечено, что историческая мысль успешно растет из политых кровью развалин. Келарь Авраамий Палицын в своем *«Сказании об осаде Троицкого Сергиева монастыря»* так глубоко вдумывается в

причины Смуты, что современный историк немного может прибавить к его умным соображениям. Дьяк Иван Тимофеев в своем «*Временнике*», обозревая пережитое им страшное время, начиная с опричнины, удивительно чутко понимает связь и последовательность, внутреннюю логику исторических явлений. Это — настоящие историки-мыслители.

Но Авраамий Палицын и Иван Тимофеев были люди старого поколения. Смута многому их научила; но не она их воспитала. В их воспоминаниях и размышлениях еще чувствуется умственный подъем времен митрополита Макария³ и лучших лет Грозного. Но Смута сделала и другое свое дело: дальнейшее поколение понесло на себе тяжелые следствия погрома, пережитого отцами. Я не знаю, сказался ли этот упадок в чем-нибудь так явственно, как в нескольких архивных документах, из которых узнаем, как пытались писать русскую историю в царствование Алексея Михайловича. Здесь мы встречаемся с учреждением, которое по сродству задач, не по устройству, можно назвать ранним предшественником нашего Общества.

Указом 3 ноября 1657 г. царь Алексей Михайлович повелел учредить особое присутственное место, *Записной приказ*, а в нем сидеть дьяку Кудрявцеву⁴ и «записывать степени и грани царственные с великого государя Федора Ивановича», т. е. продолжать Степенную книгу, прерывающуюся на царствовании Иоанна Грозного. Начальник нового приказа должен был вести это дело с помощью двух старших и шести младших подьячих, которым на жалованье и на все канцелярские расходы ассигновано было 100 рублей, около 1700 р. на наши деньги, а для письма велено царем выдать из Посольского приказа 50 стоп бумаги. Эта, как бы сказать, историографическая комиссия устроилась трудно и далеко не по царскому указу. Ей отведено было помещение в тесной и гнилой «избенке», где притом рядом с историографами сидели арестанты со сторожившими их стрельцами. Младшие подьячие совсем не были назначены, а в выдаче бумаги Посольский приказ решительно отказал. С большими хлопотами сопряжены были поиски источников. Царь указал Кудрявцеву брать книги из приказов и «где он, дьяк, сведает». Тот обращался в один, в другой приказ, но получал ответ, что никаких книг, кроме приказных дел, нет, хотя после там оказались очень пригодные для дела рукописи и документы. Более года Кудрявцев наводил справки о надобных ему рукописях у частных лиц. Проведал

он о «Временнике» дьяка Тимофеева. Один москвич сказал ему, что этой книги надобно искать у князя Воротынского, а по догадке другого — скорее в доме князя Львова. Кудрявцев ходил к князю Воротынскому, который сказал, что были у него рукописи, да их у него взял дядя. В конце 1658 г. сам царь обратил внимание своего историографа на важное хранилище исторических памятников, на патриаршую библиотеку. Она была тогда по случаю удаления патриарха Никона в Воскресенский монастырь запечатана печатями кн. Трубецкого и Стрешнева. Кудрявцев достал опись этого книгохранилища и по ней отметил надобные ему рукописи. Царь указал взять эти книги у Стрешнева в Записной приказ. Но либо Стрешнева не оказывалось в Москве, либо Кудрявцеву не удавалось добиться доклада у князя Трубецкого, и царское повеление опять осталось неисполненным. Между тем Кудрявцев изучал собранные летописи, хронографы и другие памятники, слышал кое-что даже о польской хронике Стрыйковского⁵, составлял план своего труда и сообразил, что ему необходимы выписки из архивов разных приказов о делах военных, политических и церковных, которые должны найти место в его Степенной. По распоряжению царя он обратился в подлежащие приказы. Только Патриарший приказ ответил, что с требуемыми сведениями о патриархах, митрополитах и епископах с царствования Федора Ивановича в том приказе «записки не сыскано». Другие приказы, несмотря на настойчивые доклады Кудрявцева, не дали и такого ответа, а начальник одного из них потом откровенно признался, что ему со всеми своими подьячими требуемой выписки и в 10 лет не сделать. Сдавая свою должность в начале 1659 г., Кудрявцев не оставлял почти никаких ощутительных плодов своих 16-тимесячных историографических усилий, «по ся места в Записном приказе государеву делу и начала не учинено нисколько», как выразился его преемник. В приказе даже не оказалось старой Степенной книги, которую ему поручено было продолжать, и там не знали, чем она оканчивалась и с чего начинать ее продолжение. Но и второй дьяк ничего не сделал, хотя и подал добрую мысль собрать в Записной приказ степенные и летописные книги из архиерейских домов и монастырей. Очевидно, в тогдашней Москве к такому делу еще ничего не успели приладить, не были готовы ни умы, ни документы.

Неудачный опыт не погасил мысли составить русскую

историю посредством особого правительственного учреждения. Перенесемся в другую эпоху, к первым годам царствования императрицы Елизаветы. При Академии наук усердно трудился над русской историей приезжий ученый Герард Фридрих Миллер. Он почти 10 лет ездил по городам Сибири, разбирая тамошние архивы, проехал более 30 тыс. верст и в 1743 г. привез в Петербург необъятную массу списанных там документов. Через год он предложил учредить при Академии наук «Исторический департамент для сочинения истории и географии Российской империи» с особой должностью историографа во главе и с двумя при нем адъюнктами. Это — не только ученое, но и учебное учреждение: при нем состоят 1 переводчик и 2 переписчика, но в качестве студентов, а не подьячих, обучаются языкам и наукам, готовясь со временем стать адъюнктами. Департамент этот должен быть в Москве и на содержание его отпускается 3½ тыс. рублей, около 30 тыс. на наши деньги, значит, в 17—18 раз больше содержания Записного приказа; за то насколько же он и совершеннее последнего как по научным задачам, так и по организации! Но предложение Миллера не было принято Академией.

Время императрицы Екатерины II значительно изменило форму и выяснило задачи коллективной историографии. Тогда усиленно проявлялась склонность составлять вольные общества с целями экономическими, учебно-воспитательными, филантропическими, особенно учено-литературными. Все более крепла мысль, что не всем общественным потребностям в состоянии удовлетворить правительственные учреждения и для них вспомогательными средствами, а иногда и заместителями могут служить добровольные союзы частных лиц, одушевляемых одинаковыми стремлениями. Возникло Вольное экономическое общество «к поощрению в России земледелия и домостроительства»⁶; возникали или предполагались в Петербурге и Москве и другие общества с различными целями. С этим направлением умов можно связать любопытную попытку самой императрицы создать и для исторических работ переходную форму от правительственного учреждения к частному обществу. Указом 4 декабря 1783 г. она повелела назначить под начальством и наблюдением графа А. П. Шувалова⁷ несколько, именно до 10 человек, которые совокупными трудами составили бы полезные записки о древней истории, преимущественно же касающиеся России, делая краткие выписки из древних

русских летописей и иноземных писателей по известному довольно своеобразному плану. Эти ученые составляют «собрание»; но их избирает Шувалов, предпочитая при выборе «прилежность и точность остроумию», и представляет императрице. Между членами этого собрания должно быть три или четыре человека, не обремененных другими должностями или достаточно досужих, чтобы трудиться над этим поручаемым им делом, получая за этот труд особое вознаграждение. Собрание будет состоять под высочайшим покровительством. «Начальствующий» над ним распределяет труд между членами, наблюдает за успешным его течением, исправляет ошибки, собирает всех членов по своему усмотрению и представляет императрице труды собрания, которые с ее дозволения печатаются в вольной типографии на счет Кабинета. Отпускаемые из Кабинета на расходы по собранию суммы (на первое время 1000 рублей) расходуются по распоряжению начальствующего. Этот начальствующий не то директор миллеровского исторического департамента, не то председатель ученого исторического общества.

Общественное оживление, о котором я сейчас упомянул, с особенной силой проявлялось тогда в Москве, и средоточием его был именно Московский университет. При нем в 1771 г. возникло *Вольное российское собрание*. В 1782 г. кружок Новикова и Шварца образовал еще *Дружеское ученое общество*, в состав которого входило вместе с Шварцем еще несколько профессоров Московского университета. Движение захватило и учащуюся молодежь. Шварц устроил *Собрание университетских питомцев*; питомцы университетского Благородного пансиона также стали собираться для чтений и беседований. По закрытии Дружеского ученого общества и Вольного российского собрания основано было при университете в 1789 г. *Собрание любителей российской учености*. И в этом деле Москва смотрела на Запад. В предисловии к уставу Собрания любителей российской учености Московский университет писал: «Сколь много споспешествуют распространению наук ученые общества, открытые в европейских державах при университетах, свидетельствуют о том ощутительно многообразные труды их, которые преимущественно просвещенный век наш возвысили». Московские общества не были специально исторические; но в 6 частях трудов Вольного российского собрания помещено много исторических памятников и исследований, между прочим того же Миллера.

Так намечались состав и задачи учено-исторического общества. В указе императрицы Екатерины II просвещивает мысль, что предварительную работу историографии, собирание и первоначальную обработку исторического материала должно вести дружным совместным трудом многих по определенному плану. Московские общества, сейчас упомянутые, обнаружили зародившиеся стремления частных и должностных лиц соединять свои силы для просветительного дела, сосредоточиваясь вокруг университета, образуя при нем частные вспомогательные учреждения. Не будучи специально-историческими, названные московские общества имели тесную связь с Обществом истории и древностей российских. Чеботарев, Страхов и другие ранние члены этого общества входили прежде в состав Вольного российского собрания и Дружеского ученого общества и принесли с собой направление и взгляды новиковского кружка. Чеботарев, кроме того, работал над русскими летописями, делал из них выписки, составлял исторические карты для комиссии графа А. Шувалова.

Мы вправе сказать поэтому, что Московское общество истории и древностей российских возникло вполне исторически, выросло из просветительных потребностей и усилий, давно проявлявшихся в различных формах. Люди, помышлявшие об изучении родного прошлого, профессиональные ученые и простые любители, давно пробовали соединенными силами начать собирание и обработку памятников старины. При содействии Миллера, князя Щербатова и других Новиков вел издание своей *«Российской вивлиофики»*. Составляя свои записки касательно российской истории, императрица Екатерина пользовалась материалами, какие доставляли ей московские профессора Чеботарев и Барсов, а также указаниями «любителей отечественной истории» графа Мусина-Пушкина и генерал-майора Болтина. Случайно составлявшимся любительским кружкам и дружеским сотрудничествам не доставало только постоянной формы устройства и прочного пункта прикрепления. В Обществе истории и древностей российских при Московском университете найдены были и эта форма и этот пункт прикрепления. Предложение Шлецера русским ученым осуществилось потому, что встретилось с давно зревшей среди них мыслью. В идее этого Общества заключался и ответ на вопрос, затронутый Карамзиным, начинавшим тогда работать над своей *«Историей государства Российского»*. По

поводу основания нашего Общества он писал, что 10 обществ не сделают того, что делает один человек, совершенно посвятивший себя историческим предметам.

Совершенно справедливо, как справедливо и то, что один ученый человек, поддерживаемый трудами многих ученых обществ, делает вдесятеро больше ученого, работающего одиноко. Опыт самого Карамзина, как и опыт его предшественников, пытавшихся написать полную русскую историю, достаточно выяснил соотношение единоличной и коллективной работы над историей. Монументальный труд Карамзина создавался при живом, им самим признанном сотрудничестве Малиновского, Калайдовича⁸ и других членов нашего Общества, доставлявших историографу материалы из Московского архива Министерства иностранных дел, где они служили. Обработанное историческое произведение требует единства мысли, цельности состава, выдержанности приемов и направления и потому может быть только делом единоличного творчества; необходимые сложные подготовительные работы идут скорее в руках многих сотрудников. Стройное здание строится одним архитектором, но со многими работниками.

Как исполняло Общество свою задачу в прожитые им сто лет? Нам, живым его членам, которым выпало на долю начать сегодня второе столетие его существования, трудно отвечать на этот вопрос. Наше дело не судить наших покойных предшественников, а достойно продолжать их работу, не присвояя себе их заслуг и оставаясь верными их добрым заветам.

Если не поскучаете, я сделаю сухой перечень повременных изданий Общества, в которых главным образом выражалась его деятельность. С 1815 г. оно вело в разное время пять таких изданий: *«Записки и труды»*, *«Русские достопамятности»*, *«Русский исторический сборник»* и *«Чтения в имп. Обществе истории и древностей российских»*, издающиеся доселе. Во всех этих изданиях напечатана 251 книга, а в этих книгах помещено около 3300 статей, цельных памятников литературы и права, разных материалов и специальных исследований по истории русского и других славянских народов. В первые годы, согласно с первоначальной задачей Общества, внимание его было обращено почти исключительно на критическое издание Начальной летописи. Впоследствии оно издало целый ряд отдельных летописей; но для полного систематического издания этих памятников и это дело перешло к

учрежденной в 1834 г. при Министерстве народного просвещения Археографической комиссии, которой предсто-яло издать многочисленные исторические памятники, собранные шестилетней археографической экспедицией (1829—1834 гг.) в библиотеках и архивах Северо-Восто-чной и Средней России. Но как мысль о такой экспедиции, так и самый взгляд на состав древнерусских летописей, положенный в основу предпринятого Археографической комиссией Полного собрания русских летописей, вы-работаны были в среде нашего Общества тем самым П. М. Строевым⁹, его членом, который был и начальни-ком Археографической экспедиции. С течением времени деятельность Общества изменила свое направление, точ-нее, осложнялась, постепенно расширяя свою сферу, вме-сте с ростом своих сил и средств, захватывая все новые отрасли исторического ведения. В первом повременном издании преобладал элемент древностей. «Исторический сборник» под редакцией М. П. Погодина, не покидая археологической почвы, обращал усиленное внимание на первый так названный Погодиным *скандинавский* пе-риод нашей истории. В «Русских достопамятностях» ре-дактор Калайдович печатал преимущественно древние памятники литературы и права; «Временник» под редак-цией И. Д. Беляева широко тронул архивный материал по истории Московского государства. Наконец, «Чтения», совместив в вышедших доселе 208 полновесных книгах все прежние направления деятельности Общества, рас-ширили ее изучением истории славянской и малорусской, а также длинным рядом переводов иноземных сказаний о России и таким образом, по выражению И. Е. Забели-на, стали широкой и полноводной рекой, вобравшей в себя все прежние потоки, какими текла издательская деятельность Общества.

Добрые заветы предшественников должны одушевить их продолжателей! Наше Общество не лишено этих воз-буждений, не скудно добрыми заветами, идущими изда-лека, от начинателей того дела, над которым мы рабо-таем. В них надобно искать идеи, смысла этого дела; там же почерпаем мы внушения, возбуждающие и ук-репляющие наши силы на достойное его продолжение. Я припоминаю одну раннюю эпоху в истории нашего Об-щества, очень знаменательную в этом отношении. Она на-чинается 1811 г., восьмым годом существования Общест-ва, когда был утвержден его устав. Один из наиболее деятельных членов Общества, вступивший в состав его

в 1823 г., П. М. Строев, писал о той эпохе, что «в то время какой-то энтузиазм одушевил и членов и людей сторонних», и быть может, его разделяли все просвещенные москвичи. Члены Общества трудились с любовью, безвозмездно вели его издания отчетливо и скоро или помещали в них свои сочинения. «Светское общество, публика под именем благотворителей вносила изрядные суммы денег, огромное число книг, целые свои библиотеки. Такое одушевленное начало, особенная деятельность, трудолюбие и бескорыстие деятелей обещали успехи самые блистательные». Погром 1812 г. приостановил это оживленное движение. Но с 1815 г., когда возобновились заседания Общества и началось издание его трудов, насильственно подавленное оживление стало понемногу восстанавливаться. Тогда жизнь нашего Общества пришла в тесное соприкосновение с движением, очень памятным для русской исторической науки. Душой этого движения был человек, имя которого блещит одной из самых светлых точек в тусклом прошлом нашего просвещения. То был граф Н. П. Румянцев. Сын екатерининского героя, министр коммерции и потом государственный канцлер Александра I после Тизитского мира, проводник политики французского союза, образованный русский вельможа, воспитанный в духе просветительных космополитических идей XVIII в., граф Н. П. Румянцев на склоне жизни стал горячим поклонником национальной русской старины и неутомимым собирателем ее памятников, за что в 1817 г. был избран в почетные члены Общества истории и древностей российских. Не он один попадал в такой своеобразный и запутанный узел условий: русское просвещение шло тогда вообще перекрестными путями. Из водоворота острых международных отношений наполеоновской эпохи он укрылся в обитель археологии и палеографии. В подчиненном ему Московском архиве Министерства иностранных дел он поддержал и усилил ученую деятельность, внесенную туда историографом Миллером. Здесь он собрал вокруг себя кружок лиц, силы которых умел объединить и направить к одной цели. То были управляющие и служащие архива. Все это крупные имена в летописях русской историографии, и все они значатся в списках Общества истории и древностей российских. Установилась самая тесная связь между Обществом и архивом. Архив служил им золотonosным рудником, который они раскапывали, Общество — совещательным кабинетом. Румянцев поддерживал их, снаряжал из них ученые

экспедиции, тратил сотни тысяч на ученые предприятия и издания, заряжал их той страстью, которую сам называл «алчностью к отечественным древностям».

Мы не поймем тогдашнего русского археолога-любителя, т. е. не поймем большинства тогдашних членов нашего Общества, не войдем в их настроение, если не разберем разнообразных нитей, из которых сплеталась любовь тогдашнего образованного русского человека к отечественной истории и древностям.

Граф Н. П. Румянцев принадлежал к любопытному типу любителей отечественных древностей, появившемуся при Екатерине II, действовавшему при Александре I, и при этом сам неутомимо собирал и собрал коллекцию рукописей, составляющую лучшую часть рукописных сокровищ Румянцевского музея, в которой он сам видел свое настоящее богатство: «Я только тогда и кажусь...» Прибавьте к этому его почтительное отношение к своим сотрудникам, которые были подчинены ему по службе. Культ разума, в котором он был воспитан, превратился у него в почитание чужого ума, учености и таланта.

Все это — явления, важные для истории не только Общества истории и древностей, но и всего русского общества, его просвещения. Может быть, не будет лишним вспомнить их происхождение...

ПРИМЕЧАНИЯ

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПОРТРЕТЫ

О ВЗГЛЯДЕ ХУДОЖНИКА НА ОБСТАНОВКУ И УБОЮ ИЗОБРАЖАЕМОГО ИМ ЛИЦА

Лекция была прочитана В. О. Ключевским в Училище живописи, ваяния и зодчества весной 1897 г. Впервые опубликована в издании: Ключевский В. О. Сочинения. М., 1959. Т. VIII. С. 295—305 и в настоящем сборнике печатается с него.

Этой темой В. О. Ключевский интересовался и в дальнейшем, о чем можно судить по сохранившимся наброскам, относящимся к данной лекции и помеченным февралем 1898 г. (см. там же, с. 476—477):

«Нарядные иконостасы, пышные костюмы, обремененные жемчугом, металлом, камнями, формы отношений, столы с неодолимыми кучами яств и *права постельного жильца*. Подробности. Нищие и арстанты. Впечатление суетности тщеславия, грубого великолепия, низкопоклонства, раболепия.

<Все это производит> на нас, бюстителей, на расстоянии веков, не живущих мотивами этой жизни, впечатление чего-то тяжелого, громоздкого и неуклюжего: дела страстей и инстинктов, нехристианских чувств и интересов. Готовы дивиться, как это люди, знавшие I главу пророка Исаяи, <так поступали>. Но мы не обличаем, а изучаем.

Чтобы понять быт и человека, прежде всего надо быть справедливым, а для того снисходительно и доброжелательно войти в их чувства и потребности, войти с мыслью, что и мы в этом положении, на той ступени развития жили бы не лучше.

Мы, сторонние и равнодушные наблюдатели склада и формы чуждой нам и отдаленной от нас жизни, расположены судить о ней по впечатлению, какое она на нас производит. Не будет ли справедливее, человечнее и научнее брать во внимание при этом суждения и те чувства и соображения, с какими работали над этой жизнью ее строители, и те впечатления, которые на них производила их собственная работа? Чтобы понимать своего собеседника, надобно знать, как сам понимает он слова и жесты, которыми с вами объясняется, а обычаи и порядки старой жизни — это язык понятий и интересов, которым старинные люди объяснялись друг с другом и объясняются с нами, их потомками и наблюдателями.

Могучим стимулом, возбуждающим деятельность человека, служит его вера в себя, уверенность, что в нем есть качества, в которых он полагает свою силу и которые оправдывают его житейские стрем-

ления и притязания. Ему мало уверить других, что он действительно таков, каким хочет им казаться; еще важнее для него убедить самого себя, что он и другим хочет казаться таким, каков он на самом деле. Я не решаюсь сказать, что более льстит нам, доброе ли мнение других о нас или наше собственное мнение о себе самих. По крайней мере преувеличенное чужое мнение едва ли удовлетворяет, если не поддерживается самомнением. Но и без преувеличения можно ли по одной наружности чужого дела судить о его мотивах? Начинаящий художник... Люди нами изучаемых веков полагали свою силу и задачу между прочим в развитии своего религиозного чувства, набожности и благочиния. Известно, как в древней Руси богатые люди заботились об умножении и украшении своего «божия благословения», своих домовых божниц. Здесь не могло действовать религиозное тщеславие, желание щегольнуть перед другими своим набожным усердием: в молельные не пускали посторонних людей. Русский человек тех веков был уже и настолько христианином, что не мог любоваться своим нарядным богом, как любит дикарь-язычник. Но когда он, истрепанный житейской суетой, становился перед своими образами, богато украшенными золотом и дорогим камнем, он не жалел о своем богатстве, потраченном на их украшение, и только был доволен собой за то, что оно нашлось у него; строгие лики на иконах, глядевшие на него при свете лампад из своих массивных дорожных окладов, напоминали ему о суете земного, и он опять был доволен собой, что потратил свое богатство не на суетные блага, а на пользу душевную, на жертву благодарности святым устроителям нравственного порядка, строгие лики которых так кротко смотрели на него из своих дорожных окладов: скажи ему эти устроители, что надо отдать эти дорогие оклады на пользу бедных,— и он охотно готов был отнести их по назначению. Значит, иконная пышность воспитывала его к самопожертвованию, будила в нем сонное религиозное чувство. Не то же ли делаем и мы с собой, только другим подбором средств, когда, например, обращаемся к искусству и музыке, чтобы привести себя в желаемое настроение, которого не умеем устроить себе без этого искусственного возбуждения? Человек дорожит средствами, пробуждающими в нем чувство своих сил, потому что это чувство заставляет его уважать себя, а уважение к себе воздерживает от поступков, за которые перестанут уважать нас другие».

¹ *Наполеон I Бонапарт* (1769—1821) — французский государственный и военный деятель. Первый консул Французской республики в 1799—1804 гг., император Франции в 1804—1814 гг. и в марте — июне 1815 г. Родился в семье корсиканского адвоката. В 1784 г. окончил Бриенское военное училище, в 1785 г. — Парижскую военную школу. В 1792 г. вступил в Якобинский клуб. В 1793 г. после успешного штурма Тулона, проведенного по его плану, произведен из капитанов в бригадные генералы. В 1795 г. — командующий парижским гарнизоном, с 1796 г. — главнокомандующий армией в Италии, в 1798—1799 гг. руководил Египетской экспедицией; 9—10 ноября 1799 г. (18—19 брюмера VIII года Республики) произвел в Париже государственный переворот. С 1802 г. — пожизненный консул, в 1804 г. провозглашен императором.

Бисмарк Отто Эдуард Леопольд фон Шенхаузен (1815—1898) — германский государственный деятель, князь, в 1859—1862 гг. прусский посланник в России, в 1862 г. — во Франции. С 1862 г. — министр-президент и министр иностранных дел Пруссии. Осуществил

т. н. «объединение Германии сверху». После создания в 1867 г. Северо-Германского союза — бундесканцлер, с 1871 г. — рейхсканцлер Германской империи. С марта 1890 г. — в отставке.

² *Жорж Санд* (псевдоним Авроры Дюпен, по мужу баронесса Дюдеван; 1804—1876) — французская писательница; автор романов «Индиана» (1832), «Консуэло» (1843) и мн. др. Принимала участие в Февральской революции 1848 г.

³ *Пожарский* Дмитрий Михайлович (1578—1642) — князь, государственный и военный деятель. Из ветви рода князей стародубских. В 1598 г. стряпчий и член Земского собора, с 1602 г. — стольник, с 1613 г. — боярин. Участвовал в подавлении восстания И. Болотникова. В 1608—1610 гг. сторонник Василия Шуйского, в 1610 г. — воевода в Зарайске. Участник первого (1611 г.) и вместе с Кузьмой Мининым один из руководителей второго ополчения (1612 г.). В 1612—1613 гг. вместе с князем Д. Т. Трубецким руководил временным правительством. Позднее воевода в Можайске и Новгороде, руководитель многих приказов, в т. ч. Ямского, Разбойного, Московского судного и др.

⁴ *Остерман* Иван Андреевич (1725—1811) — граф, после переворота 1741 г. и воцарения Елизаветы Петровны переведен из гвардии в армию. В 1757 г. член русского посольства в Париже. При Екатерине II с 1774 г. член коллегии Иностранных дел, затем ее президент, вице-канцлер и канцлер. С 1797 г. — в отставке.

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ СЛЕДСТВИЯ РУССКОЙ КОЛОНИЗАЦИИ ВЕРХНЕГО ПОВОЛЖЬЯ... ВЛИЯНИЕ ПРИРОДЫ ВЕРХНЕГО ПОВОЛЖЬЯ НА НАРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО ВЕЛИКОРОССИИ И НА ПЛЕМЕННОЙ ХАРАКТЕР ВЕЛИКОРОССА

Очерк представляет собой XVII лекцию В. О. Ключевского в «Курсе русской истории». Печатается по изданию: Ключевский В. О. Сочинения. М., 1956. Т. I. С. 292—315.

В настоящем издании заголовок дан в сокращении. В «Курсе русской истории» XVII лекция озаглавлена: «Этнографические следствия русской колонизации Верхнего Поволжья. — Вопрос о происхождении великорусского племени. — Исчезнувшие инородцы окско-волжского междуречья и их следы. — Отношения русских поселенцев к финским туземцам. — Следы финского влияния на антропологический тип великоросса, на образование говоров великорусского наречия, на народные поверья Великороссии и на состав великорусского общества. — Влияние природы Верхнего Поволжья на народное хозяйство Великороссии и на племенной характер великоросса».

¹ *Иорнад* (Иордан) — историк VI в. н. э.; по происхождению алан или гот. Автор сочинения «О происхождении и истории готов» (551 г.).

² *Германарих* (ум. 375) — король остготов; объединил ост- и вестготов и способствовал созданию племенного готского союза между Доном и Днестром. Погиб в борьбе с пришедшими с востока гуннами.

³ *Тацит* Публий Корнелий (ок. 55—ок. 120) — римский политический деятель, историк; автор сочинений — «Германия», посвященного истории германцев I в. н. э., «История», «Анналы» и др.

⁴ *Даль* Владимир Иванович (1801—1872) — писатель, ученый-диалектолог, этнограф, составитель «Толкового словаря живого великорусского языка» (4 тт., 1861—1867), отразившего богатство словарного состава русского языка (более 200 тыс. слов, 30 тыс. пословиц и поговорок), собиратель и издатель русских пословиц, сказок, песен. Окончил медицинский факультет Дерптского университета; был близок с А. С. Пушкиным, В. А. Жуковским, И. А. Крыловым, Н. В. Гоголем. С 1838 г. — член-корреспондент Академии наук, с 1863 г. — ее почетный член.

⁵ *Грот* Яков Карлович (1812—1893) — ученый-филолог, академик, с 1889 г. вице-президент Академии наук; автор многочисленных работ по истории шведской и финской литературы, скандинавскому фольклору и мифологии; автор свода орфографических правил русского правописания, отразившего основы систематизации и унификации русского письма; исследователь и издатель творчества русской классической литературы XVIII—XIX вв.

⁶ *Калевала* — финский эпос, состоявший из множества рун.

⁷ *Святослав* Ярославович (ум. 1076) — князь черниговский, затем в 1073—1076 гг. великий князь Киевский.

⁸ *Олеарий* (Эльшлегер) Адам (ок. 1599—1671) — немецкий путешественник, писатель. В 1633 г. в составе шлезвиг-голштинского посольства приехал в Москву; в 1635—1639 гг. проехал через Россию по Волге к Каспийскому морю и в Персию. В 1647 г. опубликовал описание путешествий в «Московию».

⁹ *Авриль* Филипп (ум. 1698) — француз, католический миссионер, иезуит, путешественник. Дважды в 1680 г. приезжал в Москву в поисках сухопутного пути в Китай, что отразил в описании своего путешествия, изданного в Париже в 1692 г. Отправился в Китай морским путем и умер на острове Формоза (Тайвань).

¹⁰ *Феодосий Печерский* (ум. 1074) — церковный деятель, игумен Киево-Печерского монастыря, составил первый на Руси монастырский устав, принятый всеми древнерусскими монастырями; автор «поучений» и «посланий».

ЗНАЧЕНИЕ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ ДЛЯ РУССКОГО НАРОДА И ГОСУДАРСТВА

Публикация представляет собой речь В. О. Ключевского, произнесенную на собрании Московской Духовной академии (Сергиев Посад; ныне Загорск) в память Сергия Радонежского. Впервые напечатана в Богословском Вестнике, 1892. № XI (Сергиев Посад). Публикуется по последнему изданию: Ключевский В. Очерки и речи. Второй сборник статей. М., 1913. С. 199—215.

¹ *Сергий Радонежский* (Варфоломей Кириллович; ок. 1315/1319—1392) — церковный и политический деятель, происходил из боярского ростовского рода. В 1337 г. основал пустынь около г. Радонеж, превратившуюся в крупнейшее феодальное хозяйство — Троице-Сергиев монастырь, где стал игуменом. Сторонник усиления власти московских великих князей, объединения русских земель и борьбы против татаро-монгольского ига. Канонизирован православной церковью.

² *Сить* — река, приток Мологи. В 1238 г. на ее берегах русская рать во главе с великим князем владимирским Юрием Всеволодовичем потерпела поражение в сражении с татаро-монгольскими войсками.

³ *Иван Данилович Калита* (ум. 1340) — князь московский с 1325 г., великий князь владимирский с 1328 г. Сын первого московского князя Даниила Александровича. При нем Москва стала резиденцией митрополита (1326 г.).

⁴ *Юрий Данилович* (ум. 1325) — старший сын первого московского князя Даниила Александровича, внук Александра Невского; в 1303—1325 гг. — князь московский; в 1318—1322 гг. — великий князь владимирский; вел упорную борьбу с тверскими князьями за великое княжество Владимирское, опираясь на татаро-монгольскую поддержку. Женат на сестре хана Узбека.

⁵ *Симеон Иванович Гордый* (1316—1353 гг.) — старший сын Ивана Калиты; великий князь московский; продолжал политику отца по усилению Московского княжества, избегал столкновений с золотоордынскими ханами, поддерживал Новгород против Ливонского ордена и умело противодействовал расширению власти великого князя литовского Ольгерда на русские земли.

⁶ *Алексий* (1292 или 1298—1378 гг.) — церковный и политический деятель; епископ владимирский с 1345 г., митрополит Руси с 1354 г.; происходил из черниговского боярского рода; в малолетство князя Дмитрия Донского фактический правитель княжества. Канонизирован православной церковью в 1439 г.

⁷ *Стефан Пермский* (ок. 1340—1396 гг.) — с 1383 г. епископ Пермский; уроженец Устюга; распространитель христианства среди коми-зырян в Пермском крае, составитель азбуки для коми-зырян, не имевших письменности; основатель школы для подготовки духовенства; канонизирован православной церковью.

⁸ *Петр* (ум. 1326) — митрополит Руси с 1305 г.; союзник московских князей; перенес центр православной церкви из Киева во Владимир на Клязьме (1309 г.), затем в Москву (1326 г.). Канонизирован православной церковью в XIV в.

⁹ *Олег Иванович* (ум. 1402) — великий князь рязанский (с 1350 г.), соперник московских князей. После ряда военных столкновений с Москвой отошел от своей ориентации на Золотую Орду и Литовское великое княжество, заключил с Дмитрием Донским мир и в 1387 г. согласился на брак своего сына Федора с дочерью Дмитрия Софьей.

¹⁰ *Дмитрий Иванович Донской* (1350—1389) — великий князь московский, успешно боролся за великое княжение с суздальско-нижегородским князем Дмитрием Константиновичем и тверским князем Михаилом Александровичем, трижды отражал походы на Москву великого князя литовского Ольгерда (1368, 1370, 1372 гг.), нанес поражение в 1371 г. великому князю рязанскому Олегу. Впервые построил каменный кремль в Москве. Сплотил большинство русских князей, в 1376 г. поставил в зависимость от себя Казань и начал борьбу против Золотой Орды, в 1378 г. разбил мурзу Бегича на р. Воже (приток Оки), а в 1380 г. в Куликовской битве разгромил хана Мамаю. Несмотря на разгром Москвы в 1382 г. ханом Тохтамышем, восстановил союз русских князей под своим главенством и впервые передал сыну Василию по наследству великое княжение.

ДОБРЫЕ ЛЮДИ ДРЕВНЕЙ РУСИ

Публикация представляет собой речь В. О. Ключевского, прочитанную в пользу пострадавших от неурожая в Поволжье. Впер-

вые опубликована в Богословском Вестнике в 1892 г. № I (Сергиев Посад). Публикуется по последнему изданию: Ключевский В. Очерки и речи. Второй сборник статей. М., 1913. С. 140—162.

¹ *Годунов* Борис Федорович (ок. 1552—1605) — впервые упомянут в 1567 г. как член Опричного двора; около 1570 г. женился на дочери Малюты Скуратова; около 1574 г. сестра Годунова Ирина Федоровна — жена царевича Федора (будущего царя Федора Иоанновича); с 1580 г. — боярин. При царе Федоре с 1587 г. — фактически единоличный правитель государства. После смерти Федора Земским собором в 1598 г. избран царем. В 1598 г. добился от константинопольского патриарха Иеремии согласия на учреждение патриаршества в России (первый патриарх — Иов).

² Речь идет об освобождении крестьян от крепостной зависимости в России (1861 г.).

³ *Лжедмитрий II* (ум. 1610) — самозванец, происхождение неизвестно. Появился в 1607 г. в Стародубе-Северском, выдавал себя за царя Дмитрия Ивановича, якобы спасшегося во время московского восстания 1606 г. (т. е. за Лжедмитрия I). Поддержанный поляками и частью русского боярства, в том числе Романовыми, в мае 1608 г. разбил под Болховом войска Василия Шуйского и встал лагерем в с. Тушино под Москвой. Тайно обвенчался с вдовой Лжедмитрия I Мариной Мнишек, «признавшей» его своим спасшимся супругом. После начала открытой интервенции Польши в 1609 г. потерял поддержку поляков. Бежал в Калугу, где был убит.

⁴ *Шуйский* Василий Иванович (1552—1612) — князь, с 1584 г. боярин; в 1591 г. возглавлял следственную комиссию по делу о смерти царевича Дмитрия Ивановича. В июне 1605 г. перешел на сторону Лжедмитрия I, в мае 1606 г. возглавил заговор против него; после восстания в Москве и гибели Лжедмитрия I занял царский престол; дал «крестоцеловальную запись», ограничивавшую его власть; 17 июля 1610 г. свергнут, пострижен в монахи; вывезен поляками в Польшу, где умер.

⁵ *Гермоген* (ок. 1530—1612) — церковный деятель, патриарх. В 1578 г. постригся и стал архимандритом Казанского Спасо-Преображенского монастыря. С 1589 г. — митрополит Казанский. В 1605—1612 гг. патриарх. Требовал принятия православия Мариной Мнишек, польским королевичем Владиславом, претендовавшим на русский престол. В 1610 г. выступил против присяги бояр польскому королю Сигизмунду III и призывал к восстанию против польских оккупантов. Польские власти в Москве содержали его под домашним арестом, затем в темнице Чудова монастыря в Кремле, где он умер.

⁶ *Палицын* Авраамий (ум. 1626) — келарь Троице-Сергиева монастыря, автор «Сказания» об осаде монастыря поляками в 1608—1610 гг., ценнейшего источника по истории начала XVII в.

⁷ *Ртищев* Федор Михайлович (1626—1673) — государственный и культурный деятель; с 1645 г. — стряпчий, далее постельничий, дворецкий; с 1656 г. — окольничий. Ближний советник царя Алексея Михайловича; возглавлял приказы: Большого Дворца, Тайных дел и др.; организовал т. н. «Ртищевское братство» — школу при Андреевском монастыре, предшественницу Славяно-греко-латинской академии в Москве.

⁸ *Алексей Алексеевич* (1654—1670) — царевич, старший сын царя Алексея Михайловича и Марии Ильиничны.

⁹ *Мария Ильинична Милославская* (1625—1669) — русская царица, дочь боярина Ильи Даниловича Милославского (ум. 1668 г.), возглавившего русское правительство после Московского восстания 1648 г. Первая жена царя Алексея Михайловича, мать царевича Алексея царей Федора Алексеевича и Ивана V Алексеевича, правительницы царевны Софьи.

¹⁰ *Федор Алексеевич* (1661—1682) — царь, вступил на престол после смерти Алексея Михайловича (1676 г.).

ХАРАКТЕРИСТИКА ЦАРЯ ИВАНА ГРОЗНОГО

Очерк представляет собой XXX лекцию В. О. Ключевского в «Курсе русской истории». Печатается по изданию: Ключевский В. О. Сочинения. М., 1957. Т. II. С. 187—199.

¹ *Курбский* Андрей Михайлович (1528—1583) — политический и военный деятель, писатель; из рода ярославских князей. Входил в Избранную раду, участвовал в казанских походах 1545—1552 гг.; был в те годы близок к Ивану Грозному. Во время Ливонской войны с 1561 г. — во главе русских войск в Прибалтике. Опасаясь опалы, 30 апреля 1564 г. бежал в Литву. Возглавлял одну из польских армий в войне против России. В 1564—1579 гг. направил три послания Ивану Грозному, составившие их знаменитую переписку. Автор памфлета «История о великом князе Московском».

² *Юрий Васильевич* (1533—1563) — младший сын царя Василия III Ивановича, брат Ивана Грозного, князь Углицкий. Политической роли не имел.

³ *Шуйский Иван Васильевич* (ум. 1542) — боярин с 1532 г., на протяжении 1538—1542 гг. был дважды фактическим правителем страны.

⁴ *Бельские* — боярский и княжеский род. Гедиминовичи. Из них: Дмитрий Федорович (ум. 1551) — правитель страны в малолетство Ивана IV; Иван Федорович — в 1540—1542 гг. возглавлял правительство и был свергнут заговором группировки Шуйских; Иван Дмитриевич — боярин с 1560 г., с 1565 г. возглавил боярскую думу в земщине, участник Земского собора 1566 г. Погиб с семьей в 1571 г. при набеге на Москву крымских татар.

⁵ *Иоасаф* (Скрипицин) — митрополит московский. В 1540 г. ходатайствовал об освобождении из тюрьмы князя И. Ф. Бельского, вместе с ним был «первосоветником» царя; в январе 1542 г. низложен Шуйскими, сослан в Кирилло-Белозерский монастырь, затем переведен в Троице-Сергиев, где скончался.

⁶ *Филипп* (Федор Степанович Колычев, 1507—1569) — церковный и политический деятель, митрополит московский. Служил при дворе Елены Глинской. После мятежа Андрея Старичего (дядя Ивана IV) в 1537 г. бежал в Соловецкий монастырь и принял постриг. С 1548 г. игумен; с июля 1566 г. — митрополит. После публичного осуждения произвола опричнины в присутствии Ивана IV в 1568 г. низложен и заточен в Тверской Отроч-Успенский монастырь, где и задушен по приказу царя. В 1652 г. канонизирован православной церковью.

⁷ *Лютер* Мартин (1483—1546) — глава Реформации, основатель протестантизма. Родился в семье рудокопа, впоследствии разбогатевшего. Окончил в 1505 г. Эрфуртский университет со степенью магистра свободных искусств, поступил в августинский мона-

стырь в Эрфурте, с 1508 г. читал лекции в Виттенбергском университете, с 1512 г.— доктор богословия. 31 октября 1517 г. вывесил на дверях Замковой церкви в Виттенберге 95 тезисов, содержащих основные положения его религиозного учения. Отказался явиться в Рим на церковный суд. В 1520 г. публично сжег во дворе Виттенбергского университета папскую буллу об отлучении его от церкви. В «Обращении к христианскому дворянству немецкой нации» объявил делом нации борьбу с засильем пап. Укрылся от преследований по Вормскому эдикту 1521 г. в замке Вартбург курфюрста Фридриха Саксонского. Выступал против участников крестьянской войны 1524—1526 гг. под руководством Томаса Мюнцера. В 1522—1542 гг. перевел Библию на немецкий язык.

⁸ *Павел* — апостол (наст. имя — Савл). Родился в Тарсе в иудейской семье, был ревностным гонителем христиан. После «чуда на пути в Дамаск» (явление света и голоса с небес) перешел в христианство, проповедовал в Малой Азии, Греции, Риме, Испании. Ему приписываются 14 посланий, входящих в канон Нового завета.

⁹ *Анастасия Романовна Захарьина* (ум. 1560) — с 1547 г. жена царя Ивана Васильевича Грозного, мать царя Федора Иоанновича. Сестра основателя рода Романовых Никиты Романовича Захарьина — отца патриарха Филарета и деда царя Михаила Федоровича.

¹⁰ *Сильвестр* (ум. ок. 1566) — протопоп, политический деятель и писатель. Был священником в Новгороде, с 1540-х гг. — в Благовещенском соборе Московского Кремля. Приближен Иваном Грозным; один из руководителей Избранной рады. В 1560 г. удален от двора и пострижен в монахи. Обработал и дополнил «Домострой».

Адашев Алексей Федорович (ум. 1561) — один из руководителей правительства Избранной рады; окольничий, начальник Челобитного приказа, постельничий, ведал личным архивом Ивана Грозного, руководил составлением Государева Родословца и Разрядной книги. Дипломат, воевода в Ливонии в 1560 г., где умер.

Скуратов Малюта — Скуратов-Бельский Григорий Лукьянович, приближенный Ивана Грозного. Один из главных организаторов опричнины. Выдвинулся в 1569 г. как участник следствия и казни князя Владимира Андреевича Старицкого. В декабре 1569 г. задушил митрополита Филиппа. В январе 1570 г. участник разгрома Новгорода. Тесть Бориса Годунова. Убит в бою (1573).

¹¹ *Владимир Всеволодович Мономах* (1054—1125) — великий князь Киевский с 1113 г., сын князя Всеволода Ярославича, внук Ярослава Мудрого и византийского императора Константина Мономаха. С 1074 г. княжил в Чернигове. Участник княжеских съездов, руководитель походов против половцев. Призван на княжение в Киев во время восстания, вспыхнувшего после смерти князя Святополка Изяславича. «Устав» и «Поучение» Мономаха — литературные памятники Древней Руси.

¹² *Моисей* (по Библии) — предводитель израильских племен (первая пол. XIII в. до н. э.). Был чудом спасен в детстве, воспитан дочерью фараона, женился на египтянке. Призванный богом Яхве спасти израильские племена из рабства, вывел их из Египта через расступившиеся воды Красного моря. Яхве «вопрошавшим в пустыне» запретил вступить в землю «обетованную», и они во главе с Моисеем сорок лет скитались. На г. Синай бог дал Моисею скрижали с десятью заповедями. Моисею приписывается авторство Пятикнижия (Торы). «Пророк» в иудаизме, христианстве и исламе (Муса).

Давид (по Библии) — царь Израильско-Иудейского царства (конец XI в. — сер. X в. или первая пол. X в. до н. э.); зять царя Саула. Заподозрен в измене, бежал к филистимлянам. После гибели Саула провозглашен царем Иудеи; захватил Иерусалим; провел перепись населения, ввел налоги, создал наряду с народным ополчением отряды чужеземных телохранителей. Давиду традиционно приписывается составление псалмов.

Исайя, пророк (VIII в. до н. э.) — первый из т. и. «больших пророков» Ветхого завета. Принадлежал к знатному (возможно — царскому) роду. Автор глав 1—33 и 36—39 Книги Исайя Ветхого завета.

Григорий Назианзин (Григорий Богослов, ок. 330 — ок. 390) — греческий поэт и прозаик, церковный деятель и мыслитель. Учился в языческой высшей школе в Афинах, где подружился с Василием Великим. В 379 г. стал епископом в Константинополе, в 381 г. председательствовал на Втором Вселенском соборе.

Василий Великий (Василий Кесарийский, ок. 330—379) — христианский церковный деятель, один из Отцов церкви. В 379 г. — епископ Кессарии Каппадокийской. На славянские языки переведены его «Любомудрие» и «Шестоднев». Оставил большое эпистолярное наследие.

Иоанн Златоуст (344 или ок. 350—407) — константинопольский патриарх, идеолог восточно-христианской церкви. Получил образование в Антиохии в школе языческого ритор Ливания. Оратор, автор проповедей, панегириков, комментариев к Библии, псалмов и т. д. Ему приписывается авторство «Литургии Иоанна Златоуста». Способствовал изгнанию готов из Константинополя в 400 г. Причислен к лику святых.

Зевс — в древнегреческой мифологии верховный бог, владыка богов и людей. Сын титанов Кроноса и Реи, брат Посейдона и Аида; почитался как охранитель общественного порядка и семьи, установитель законов и обычаев. Считался отцом «младшего поколения» олимпийских богов — Аполлона, Артемиды, Ареса, Афины, Афродиты, Гефеста, Диониса и др., муз, харит и многих героев — Геракла, Персея и др.

Аполлон — в древнегреческой мифологии бог-целитель, прорицатель, бог мудрости, покровитель искусств.

Антенор — у Гомера самый разумный из старейшин Трои. Приютил Одиссея и Менелая, приехавших требовать выдачи Елены Прекрасной. После падения Трои дом его не тронут победителями.

Эней — один из защитников Трои, легендарный родоначальник римлян, бежавший после падения Трои в Италию. Герой «Энеиды» Вергилия. От Энея и его сына Иула вели свой род Кай Юлий Цезарь и Октавиан Август.

Иисус Навин — слуга и сподвижник Моисея. Книга Иисуса Навина — шестая в каноне Ветхого завета.

Геден (по Библии) — один из Судей израильских; умер, оставив от многих жен 70 сыновей, в т. ч. Авимелеха.

Авимелех (Авимелак, по Библии) — после смерти отца убил всех своих братьев и был избран царем жителями г. Сихема.

Иеффай (по Библии) — один из Судей израильских. Лишенный братьями наследства, стал предводителем разбойничьей шайки. Приглашен главой израильского ополчения и сверг иго аммонитян. Совершая жертвоприношение, сжег собственную дочь. История Иеффая изложена в Книге Судей Ветхого завета.

¹³ *Саул* (по Библии) — основатель Израильско-Иудейского царства в конце XI в. до н. э. Под его предводительством израильтяне освободились от ига филистимлян. После поражения на горе Гильбоа покончил с собой.

Соломон (по Библии) — царь Израильско-Иудейского царства в 965—928 гг. до н. э. (по другим данным, в 970—931 гг.). Сын царя Давида и его соправитель. Ему приписывается авторство Песни Песней, Экклесиаста и др.

¹⁴ *Стефан Баторий* (1533—1586) — сын трансильванского воеводы Стефана; в 1574 г. избран князем Трансильванским. В 1576 г. на польском сейме избран королем. Продолжил Ливонскую войну против Ивана Грозного, в 1579 г. взял Полоцк, в 1580 г. — Великие Луки, в 1581 г. осадил Псков, но потерпел неудачу. В 1582 г. заключил Ям-Запольский мир с русским государством.

¹⁶ *Карамзин Николай Михайлович* (1766—1826) — выдающийся русский писатель, историк и публицист. Глава русского сентиментализма. Автор «Истории Государства Российского» (12 тт., 1816—1829).

ЦАРЬ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ.— Ф. М. РТИЩЕВ

Очерк представляет собой LXI лекцию В. О. Ключевского в «Курсе русской истории». Печатается по изданию: Ключевский В. О. Сочинения. М., 1957. Т. III. С. 319—333.

¹ *Алексей Михайлович Романов* (1629—1676) — царь с 1645 г., сын царя Михаила Федоровича. Женат первым браком на Марии Ильиничне Милославской (дети — Алексей, Федор, Софья, Иван и др.), вторым — на Наталье Кирилловне Нарышкиной (дети — Петр, Наталья). При нем Земский собор принял «Уложение» 1649 г., были приняты Таможенный (1653) и Новоторговый (1667) уставы, произошло воссоединение Украины с Россией (1654), завершившееся Андрусовским перемирием с Польшей (1667 г.).

² *Филарет*, патриарх (ок. 1554—1633) — Федор Никитич Романов, племянник царицы Анастасии Романовны, двоюродный брат царя Федора Иоанновича, отец царя Михаила Федоровича. В 1600 г. царем Борисом Годуновым сослан и пострижен в Антониев Сийский монастырь. При Лжедмитрии I возвращен и поставлен митрополитом ростовским. Участвовал в его свержении. В октябре 1608 г. захвачен в Ростове отрядом Лжедмитрия II и отправлен в Тушинский лагерь, где наречен «патриархом». В сентябре 1610 г. возглавил «Великое посольство» под Смоленск, осажденный польскими войсками, отказался санкционировать условия договора с королем Сигизмундом III, арестован поляками и до сентября 1619 г. — в плену в Польше. После возвращения, в царствование сына Михаила фактический правитель.

³ *Морозов Борис Иванович* (1590—1661) — государственный деятель. «Дядька» (воспитатель) царя Алексея Михайловича, руководил приказами Большой Казны, Стрелецким, Аптекарским, Новой Четью. До 1648 г. фактический правитель государства. Во время восстания в Москве в 1648 г. царь, спасая его от гибели, отправил в ссылку, но вскоре вернул, после чего Б. И. Морозов не играл существенной роли в управлении. Женат на Анне Ильиничне Милославской, сестре царицы.

⁴ *Одоевский* Никита Иванович (ум. 1689) — русский государственный и военный деятель, князь. В 1646—1647 гг. главный воевода на южных границах страны; руководил подготовкой Соборного уложения (1649 г.). Участвовал в русско-польской войне 1654—1667 гг., неоднократно возглавлял посольства. При царе Федоре Алексеевиче фактический руководитель внешней политики государства.

⁵ *Боярская Дума* — развилась из боярского совета при великих князьях; высший государственный орган в XV в. при великих князьях, а затем при царях, осуществлявший законодательные, судебные и военно-административные функции. В Думу входили думные чины — бояре, окольничие, с начала XVI в. — думные дворяне. Упразднена в 1711 г. с образованием Сената.

⁶ *Никон* (в миру Никита Минов, 1605—1682) — церковный и политический деятель, патриарх. Родился в семье крестьянина; будучи священником, имел приход в Москве. Потеряв трех детей, принял монашество в Анзерском ските на Белом море. С 1643 г. игумен Кожозерского монастыря, в 1646 г. сблизился с царем Алексеем Михайловичем, стал архимандритом Новоспасского монастыря в Москве, в 1648 г. — митрополит новгородский, а с 1652 г. — патриарх; провел реформу церкви, приведшую к ее расколу. Добиваясь независимости церковной власти от светской, вступил в конфликт с царем Алексеем Михайловичем; на Соборе в 1666 г. лишен сана и сослан в Белозерский Ферапонтов монастырь, с 1676 г. — в Кирилловом монастыре, где и умер.

⁷ *Макарий*, патриарх Антиохийский — араб из Алеппо (Сирия). С 1636 г. — митрополит алеппский, с 1648 г. — патриарх Макарий III. На Московском поместном соборе 1656 г. поддержал Николая в его церковной реформе. Присутствовал на Соборе 1666 г., осудившем Никона.

⁸ *Хованский* Иван Андреевич — князь из рода Гедиминовичей, военный и политический деятель; был воеводой в Туле, Вязьме, Могилеве, Пскове, Новгороде и т. д. В 1659 г. — боярин. После разгрома восстания в Москве в 1662 г. руководил следственной комиссией. Во время Московского восстания 1682 г. — глава Стрелецкого приказа, пытался захватить власть и казнен по велению царевны Софьи (1682 г.).

⁹ *Милославский* Илья Данилович (ум. 1668) — боярин, князь; посланник в Константинополе (1643) и в Голландии (1648). После восстания в Москве в 1648 г. играл важную роль в управлении страной. Отец царицы Марии Ильиничны.

¹⁰ *Савва*, преподобный (ум. 1406) — ученик Сергия Радонежского, в обители которого был затем игуменом; около 1380 г. основал Сторожевский рожества Богородицы монастырь близ Звенигорода, где был настоятелем более 30 лет. Монастырь пользовался покровительством царей Алексея Михайловича и его сына Федора Алексеевича. Канонизирован православной церковью.

¹¹ *Мейерберг* Августин (1622—1698) — австрийский дипломат. В 1661—1662 гг. состоял в посольстве от имени императора Леопольда I для посредничества между Россией и Польшей. Оставил записки «Путешествие в Московию».

¹² *Ордин-Нащокин* Афанасий Лаврентьевич (ок. 1606—1680) — государственный и военный деятель, дипломат. С 1622 г. на военной службе в Пскове. В 1642 г. глава дипломатической миссии в Молдавию; с 1654 г. участвовал в русско-польской, а затем в русско-шведской войне (1656—1658 гг.). В 1658 г. вел успешные переговоры со шведами, завершившиеся Валиесарским договором, произведен в

думные дворяне; участвовал в переговорах с Речью Посполитой и в подписании Андрусовского перемирия (1667 г.), за что пожалован в бояре и поставлен во главе Посольского приказа. Участвовал в составлении Новоторгового устава (1667 г.); основал верфи на Западной Двине и Оке, мануфактуры; был инициатором устройства почты между Москвой, Ригой и Вильно (Вильнюс). В 1672 г. постригся под именем Антония в Крыпецком монастыре близ Пскова.

¹³ *Авакум* (ок. 1610 или 1620—1681) — церковный и политический деятель, писатель, сельский священник Нижегородского уезда; в 1640-х гг. в Москве входил в состав близких к царю ревнителей православия. Выступил против церковных реформ Никона и стал вождем церковного раскола и старообрядческого движения; арестован в 1653 г. и сослан, возвращен в 1662 г. в Москву, где при поддержке своих сторонников категорически отказался согласиться с церковной реформой, в 1666 г. церковным судом лишен сана, сослан в Пустозерск, где в 1681 г. сожжен. Автор многочисленных богословских сочинений и «Жития» — памятника литературы XVII в.

¹⁴ *Славинецкий* Епифаний — украинский ученый, монах; с 1649 г. в Москве; «главный справщик» и переводчик Печатного двора.

Полоцкий Симеон (1629—1680) — белорусский и русский церковно-общественный деятель, ученый, писатель, поэт (в миру Самуил Емельянович Петровский-Ситнианович). Окончил Киево-Могилевскую академию, в 1656 г. принял монашество, с 1664 г. — в Москве; с 1667 г. учитель царевича Алексея, после его смерти — царевича Федора и царевны Софьи. Автор трактата «Жезл правления» (1667), стихов, проповедей, перевода Псалтыри. В 1665 г. возглавил Законоспаскую школу по подготовке кадров для центральных правительственных учреждений. В 1678 г. основал в Кремле типографию.

А. Л. ОРДИН-НАШОКИН

Очерк представляет собой LVII лекцию В. О. Ключевского в «Курсе русской истории». Публикуется по изданию: Ключевский В. О. Сочинения. М., 1957. Т. III. С. 334—351.

¹ *Валиесарское перемирие* — договор о перемирии между Россией и Швецией, заключен в декабре 1658 г. в деревне Валиесари близ Нарвы. Русскую делегацию возглавлял А. Л. Ордин-Нащокин. Россия получила выход к Балтийскому морю; за ней на время перемирия (три года) оставались города (Юрьев и др.), занятые русскими войсками; восстанавливались торговые отношения между Россией и Швецией.

² *Коллинз* Сэмюэл (ум. до 1671) — врач царя Алексея Михайловича. Учился в Кембридже и Оксфорде. Приглашен в Россию в 1659 г., на русской службе до 1666 г. В 1671 г. в Лондоне опубликованы его записки «Нынешнее состояние России, изложенное в письме к другу, жителствующему в Лондоне».

³ *Андрусовское перемирие* — договор на 13 с половиной лет между Россией и Речью Посполитой; завершило русско-польскую войну за Украину и Белоруссию (1654—1667 гг.). Подписано 20 января 1667 г. в дер. Андрусово (Смоленск. у.) со стороны России — А. Л. Ординым-Нащокиным и со стороны Польши — Ю. Глебовичем. России возвращались Смоленское и Черниговское воеводства, Северская земля, Стародубский повет; признавалось воссоединение Левобережной Украины с Россией; Правобережная Украина и Белоруссия ос-

тавались за Речью Посполитой, Запорожская Сечь — под совместным управлением. Киев с округой по Андрусовскому перемирию оставался на 2 года за Россией, но был удержан навечно по условиям «вечного мира» (1686 г.).

⁴ *Дорошенко* Петр Дорофеевич (1627—1698) — гетман Правобережной Украины в 1665—1676 гг. Был полковником в войске Богдана Хмельницкого; в 1663 г. — генеральный есаул при гетмане П. Тетере. Недовольный условиями Андрусовского перемирия, пытался, опираясь на Турцию и Крым, продолжать борьбу с Польшей, в результате чего оказался в зависимости от турецкого султана и способствовал захвату им Подолии. Капитулировал перед русскими войсками в 1675 г. и присягнул на верность России; был отправлен воеводой в Вятку.

⁵ *Новоторговый устав* — протекционистский закон о внутренней и внешней торговле в России, составлен в 1667 г. по инициативе А. Л. Ордина-Нащокина. Состоял из введения, основной части (94 статьи) и приложения (7 статей) — «Устав торговле» для иностранцев. При покровительстве отечественному купечеству устав строго регламентировал правила торговли для иностранцев, особенно из Западной Европы — место (только приграничные города), время (срок ярмарок), перечень товаров; для них запрещалась розничная торговля; резко увеличивались для иностранцев таможенные пошлины.

КН. В. В. ГОЛИЦЫН.— ПОДГОТОВКА И ПРОГРАММА РЕФОРМЫ

Очерк представляет собой LVIII лекцию В. О. Ключевского в его «Курсе русской истории». Публикуется по изданию: Ключевский В. О. Сочинения. М., 1956. Т. III. С. 352—364.

¹ *Голицын* Василий Васильевич (1643—1714) — князь, с 1676 г. боярин, приближенный царя Федора Алексеевича. Фаворит царевны Софьи Алексеевны. В 1682—1689 гг. глава ряда приказов, в 1686 г. заключил «вечный мир» с Польшей. Руководил Крымскими походами 1687 и 1689 гг. После прихода к власти Петра I лишен боярства, вотчин, поместий, сослан в Архангельский край, где и умер.

² *Софья Алексеевна* (1657—1704) — царевна, дочь Алексея Михайловича и Марии Милославской, сестра царей Федора, Ивана и сводная сестра Петра I. Правительница России в 1682—1689 гг., официально регентша «при обоих царях» (Иване V и Петре I); в 1689 г. заточена в Новодевичий монастырь, в 1698 г. под именем Сусанны пострижена в монахини.

³ *Крижанич* Юрий (ок. 1618—1683) — хорват, католик, религиозный и политический деятель, писатель, сторонник объединения славянства под эгидой России. В 1659 г. прибыл в Россию и поступил на русскую службу, надеясь стать придворным историографом; был знаком с Б. И. Морозовым и Ф. М. Ртищевым. По неясным причинам в 1661 г. сослан в Тобольск. В 1671 г. возвращен в Москву и в 1677 г. отпущен за границу. Погиб в сражении при освобождении Вены от осады турецких войск. Оставил обширное научное и публицистическое наследие, в том числе посвященное России («Политика» и др.).

⁴ *Куракин* Борис Иванович (1676—1727) — князь, государственный деятель, дипломат. Свояк Петра I, женат на сестре царицы Евдокии Лопухиной. В 1697 г. послан в Италию учиться морскому

делу. С 1707 г. — посол в Риме, Лондоне, Ганновере, Нидерландах, с 1716 г. — в Париже. В Полтавской битве командовал Семеновским гвардейским полком. Оставил рукописное наследие, в т. ч. автобиографию и наброски большого сочинения об эпохе Петра Великого.

⁵ *Неплюев Иван Иванович* (1693—1773) — русский государственный деятель. Из бедных новгородских дворян. В 1714 г. поступил в Новгород в математическую школу, затем в Петербургскую Морскую академию. Учился в Венеции и Испании. С 1720 г. главный командир над строящимися морскими судами в Петербурге, в 1721—1734 гг. «резидент» в Константинополе, в 1742—1758 гг. начальник Оренбургского края, с 1760 г. — сенатор. Оставил автобиографическое сочинение «Жизнь Ивана Ивановича Неплюева, им самим описанная».

Змеев Венедикт Андреевич — думный дворянин, затем окольный, начальник Стрелецкого приказа. Отличился в войне 1654—1656 гг.

Украинцев Емельян Игнатьевич (1641—1708) — государственный деятель, дипломат. С 1660 г. подьячий Посольского приказа, в 1672—1673 гг. посланник в Швеции, Дании, Голландии, в 1689—1699 гг. управлял Посольским приказом. В 1699—1700 гг. посол в Турции, добился заключения выгодного для России Константинопольского мира; в 1707—1708 гг. посол в Польше.

⁶ *Тимофеев Иван* (ум. 1631) — политический деятель, писатель; в конце XVI в. дьяк в Москве, с 1607 г. на службе в Новгороде, в 1618—1628 гг. в Астрахани, Ярославле, Нижнем Новгороде. «Временник» И. Тимофеева — один из ценнейших исторических источников второй половины XVI — начала XVII в.

Хворостинин Иван Андреевич (ум. 1625) — князь, политический деятель, писатель; из рода ярославских князей. В 1605 г. фаворит Лжедмитрия I. Сослан Василием Шуйским в Иосифо-Волоколамский монастырь. В 1618—1619 гг. воевода в Переяславле-Рязанском, обвинен в ереси и сослан в Кирилло-Белозерский монастырь; постригся в монахи. Соч.: «Словеса дней и царей и святителей Московских еже есть в России».

⁷ *Медведев Сильвестр* (в миру Семен) — подьячий Тайного приказа, затем монах; историк, ученик С. Полоцкого. Сторонник царевны Софьи. Оставил записки о событиях правления царя Федора Алексеевича и Софьи («Созерцание...», 1684 г.).

⁸ *Паисий Лигарид* (1610—1678) — митрополит Газский с 1652 г. Учился в Риме, доктор богословия (1635 г.). Приглашен в Россию патриархом Никоном (1662 г.), но принял сторону царя; умер в Киеве. Его перу принадлежит «История об осуждении патриарха Никона».

⁹ *Иоаким* (1620—1690) — патриарх, из рода дворян Савеловых. В 1655 г. оставил военную службу и постригся. С 1664 г. — архимандрит Чудова монастыря в Кремле, с 1672 г. митрополит Новгородский. Патриарх с 1674 г. Автор сочинений против раскола.

¹⁰ *Романов Никита Иванович* (ум. 1654) — политический деятель, племянник патриарха Филарета, двоюродный брат царя Михаила Федоровича. Поддерживал группировку Шереметевых и Черкасского, оппозиционную правительству Б. И. Морозова. Участник Смоленского похода 1654 г. Богатейший человек своего времени, безден, все его имущество перешло к царю.

Матвеев Артамон Сергеевич (1625—1682) — государственный деятель, дипломат. Сын дьяка; в 1654 г. — в составе русской делегации на Переяславской раде, в 1656—1657 гг. — в посольстве в Поль-

ше. Во главе стрелецкого полка участвовал в подавлении московского восстания 1662 г. С 1669 г. возглавлял Малороссийский, с 1671 г. Посольский приказ, сменив А. Л. Ордина-Нащокина. С 1674 г. — боярин. Воспитатель царицы Натальи Кирилловны Нарышкиной. После смерти царя Алексея Михайловича в 1676 г. сослан, возвращен в Москву после избрания на царство Петра, убит стрельцами во время восстания в Москве (1682 г.).

ЖИЗНЬ ПЕТРА ВЕЛИКОГО ДО НАЧАЛА СЕВЕРНОЙ ВОЙНЫ

Очерк представляет собой LIX лекцию В. О. Ключевского в его «Курсе русской истории». В настоящем издании заголовок дан в сокращении. В «Курсе русской истории» лекция озаглавлена: «Жизнь Петра Великого до начала Северной войны.— Младенчество.— Придворный учитель.— Учение.— События 1682 г.— Петр в Преображенском.— Потешные — Вторичная школа.— Нравственный рост Петра.— Правление царицы Натальи.— Компания Петра.— Значение потех.— Поездка за границу.— Возвращение». Печатается по изданию: К л ю ч е в с к и й В. О. Сочинения. М., 1958. Т. IV. С. 5—28.

¹ *Нарышкина* Наталья Кирилловна (1653—1694) — дочь Кирилла Полуэктовича Нарышкина (1623—1691), боярина, по требованию восставших стрельцов в 1682 г. постриженного в Кирилло-Белозерский монастырь под именем Киприана. Русская царица, вторая жена Алексея Михайловича, мать Петра и царевны Натальи Алексеевны.

² *Крекшин* Петр Никифорович (1684—1763) — дворянин историк-любитель. Сбирал рукописные материалы по русской истории X—XVIII вв. Автор записок о времени Петра I.

³ *Соковнин* Федор Прокофьевич (ум. 1697) — боярин, старший брат Алексея Соковнина и раскольниц Евдокии Урусовой и Феодосии Морозовой.

⁴ *Морозова* Феодосия Прокофьевна (1632—1672) — боярыня, дочь П. Ф. Соковнина, окольничего, родственника Милославских. Замужем за братом Б. И. Морозова боярином Г. И. Морозовым. Овдовев, около 1670 г. под именем Феодоры тайно постриглась в монахини. Деятельница раскола, сподвижница протопопа Аввакума. Арестована в ноябре 1671 г., состояние ее конфисковано; вместе с сестрой — княгиней Е. П. Урусовой и женой стрелецкого полковника М. Г. Даниловой подвергнута пыткам. Уморена голодом в земляной тюрьме в Боровске. На ее смерть Аввакумом написано «О трех исповедницах слово плачевное».

⁵ *Урусова* Авдотья (Евдокия) Прокофьевна — вместе с сестрой была в заключении, подвергнута пыткам и уморена голодом в темнице в Боровске.

⁶ *Зотов* Никита Моисеевич (ок. 1644—1718) — «дядька» и учитель малолетнего Петра Алексеевича. В 1695 г. начальник походной канцелярии Петра I под Азовом. С 1701 г. глава Ближней канцелярии и Печатного приказа. С 1710 г. — граф.

⁷ *Котошихин* Григорий Карпович (ок. 1630—1667) — подьячий Посольского приказа. В 1658—1661 гг. в русском посольстве, ведшем переговоры со Швецией о заключении Валиесарского договора. В 1664 г. послан в войска князя Я. К. Черкасского «для ведения канцелярских дел», но перебежал к литовцам. С 1666 г. на шведской службе. По заказу шведского правительства написал сочинение, из-

данное в 1840 г. под названием «О России в царствование Алексея Михайловича». В Швеции казнен за убийство хозяина дома, в котором жил.

⁸ *Часослов* — православная богослужебная книга. Предназначена для чтецов и певцов. Заключает молитвы ежедневных служб: утрени, полунощницы, вечерни и др., а также т. н. «чины и молитвы к службам круга дневного». Различают Великий и Малый (сокращенный).

Псалтырь — сборник 150 т. н. «Давидовых псалмов», открывающий третий раздел Ветхозаветного канона Библии. Переведена на славянский язык Мефодием, в древнерусских списках известна с XI в. В средние века — основная книга для обучения грамоте.

Евангелие — группа повествований об Иисусе Христе. Основных (канонических) — четыре: Марка, Матфея и Луки — т. н. синоптические, т. е. «совместные» по содержанию, и сильно отличающиеся от них Евангелие от Иоанна. Один из главных источников христианского вероучения и культа, основная часть Нового Завета.

Апостол (Деяния апостолов) — богослужебная книга греко-русской церкви; содержит Деяния и Послания Апостолов. Предназначена для чтения в церкви во время богослужения.

⁹ *Александр Ярославич Невский* (ок. 1220—1263) — князь Новгородский (1236—1251 гг.), великий князь владимирский с 1252 г. Внук Всеволода Большое Гнездо, правнук Юрия Долгорукого. Разбил шведов в Невской битве 1240 г.; 5 апреля 1242 г. на льду Чудского озера (Ледовое побоище) разгромил войска Ливонского ордена. Канонизирован православной церковью.

Владимир Святославич Красное Солнышко (ум. 1015) — князь Киевский с. 980 г., сын князя Святослава Игоревича и его ключницы рабыни Милуши Любечанки; с 969 г. князь в Новгороде. После смерти отца одержал в 977 г. победу над старшим братом Ярополком. В 988 г. ввел на Руси христианство. Захватил Херсонес и заставил византийского императора Василия II выдать за него замуж сестру.

¹⁰ *Иван V Алексеевич* (1666—1696) — сын царя Алексея Михайловича и Марии Милославской, сводный брат Петра. После смерти старшего брата царя Федора Алексеевича отстранен от престола Нарышкиными; посажен на престол во время восстания 1682 г. и утвержден Земским собором «первым царем» совместно с Петром при регентстве Софьи. Отец будущей царицы Анны Иоанновны.

¹¹ *Меншиков Александр Данилович* (1673—1729) — государственный и военный деятель генералиссимус (1727 г.). Сын придворного конюха, с 1686 г. — денщик Петра I. Сопровождал царя в Азовских походах 1695—1696 гг. и в «Великом посольстве» 1697—1698 гг. С 1702 г. граф. С 1703 г. губернатор Ингерманландии, позднее Санкт-Петербургской губернии. Руководил строительством Петербурга, Кронштадта и др. В Северной войне одержал крупную победу в октябре 1706 г. при Калише; под Полтавой командовал левым флангом, затем возглавил преследование и вынудил шведов к капитуляции (1709 г.). С 1707 г. светлейший князь. В 1709—1713 гг. командовал русскими войсками в Польше, Курляндии, Померании и Гольштейне. В 1718—1724 гг. и 1726—1727 г. президент Военной коллегии. После смерти Петра I, опираясь на гвардию, возвел на престол Екатерину I и стал фактическим правителем России. В результате дворцовой борьбы обвинен в государственной измене и хищении казны и сослан с семьей в Березов.

¹² *Бутурлин* Иван Иванович (1661—1738) — генерал-лейтенант. С 1687 г. премьер-майор Преображенского полка. Под Нарвой попал в плен (1700 г.). В 1710 г. обменен на шведского генерал-майора Майерфельда. Участник боя при Гангуте (1714 г.). Активный деятель розыска по делу царевича Алексея. С 1718 г. командир Преображенского полка. При Петре II в 1727 г. попал в опалу, лишен чинов и сослан.

Голицин Михаил Михайлович (1675—1730) — генерал-фельдмаршал (1725 г.). С 1687 г. барабанщик Семеновского полка. В 1702 г. руководил штурмом Нотебурга, в 1708 г. одержал победу при Добром и отличился в бою при Лесной. В 1709 г. под Полтавой командовал гвардией. Участвовал в морском сражении при Гангуте. В 1720 г., командуя флотом, одержал победу при Гренгаме. В 1723—1728 гг. командовал войсками на Украине. С сентября 1728 г. президент Военной коллегии и член Верховного Тайного Совета. При Анне Иоанновне подвергся опале.

¹³ *Головин* Автоном Михайлович — комнатный стольник Петра I, полковник Преображенского полка. Участвовал во взятии Азова. В 1700 г. попал в плен под Нарвой. Обменен в 1718 г.

¹⁴ *Долгорукий* Яков Федорович (1639—1720) — военный и дипломатический деятель, князь. Участник борьбы с царевной Софьей и Азовских походов 1695—1696 гг. Попал в плен под Нарвой, в 1711 г. возвращен в Россию. Сенатор.

¹⁵ *Шакловитый* Федор Леонтьевич (ум. 1689) — государственный деятель, дипломат. В 1673 г. подьячий Тайного приказа, в 1682 г. думный дьяк, после казни князя И. А. Хованского возглавил Стрелецкий приказ. Стронник царевны Софьи. После прихода к власти Петра I казнен.

¹⁶ *Голицин* Борис Алексеевич (1654—1714) — князь. В 1689 г. активный сторонник Нарышкиных в борьбе с царевной Софьей. Во время пребывания Петра I за границей (1697—1698 гг.) вместе с Л. К. Нарышкиным и П. И. Прозоровским стоял во главе правительства. С 1683 по 1713 г. возглавлял Казанский приказ, управлял всем Поволжьем. В 1713 г. постригся в монахи.

¹⁷ *Нарышкин* Лев Кириллович (1668—1705) — боярин, брат царицы Натальи Кирилловны, дядя Петра I; в 1697—1698 гг. возглавлял правительство.

Стрешнев Тихон Никитич (1644—1719) — с 1686 г. боярин; с 1701 г. — глава Приказа военных дел; с 1708 г. — московский губернатор, с 1711 г. — сенатор.

¹⁸ *Желябужский* Иван Афанасьевич (1638 г. — после 1709 г.) — государственный деятель, дипломат. Служил в Конюшенном приказе (1666 г.) и приказе Казанского дворца (1680 г.), воеводой в Чернигове (1682 г.). Выполнял дипломатические поручения, участвовал в заключении Андрусовского перемирия (1667 г.) с Польшей. Оставил «Записки» с описанием событий 1682—1709 гг.

¹⁹ *Гордон* Патрик (Петр Иванович, 1635—1699) — на русской службе генерал и контр-адмирал. Родился в Шотландии, в 1655—1661 гг. служил в шведской и польской армиях. С 1661 г. на русской службе. Участник Чигиринских (1676—1678 гг.) и Крымских (1687—1689 гг.) походов. В 1689 г., командуя Бутырским полком, поддержал Петра I в борьбе с Софьей. Участник Азовских походов (1695—1696 гг.) и подавления стрелецкого восстания 1698 г. Оставил три тома дневников на английском языке.

²⁰ *Лефорт* Франц Яков (Франц Яковлевич, 1655—1699) — на русской службе генерал-лейтенант и адмирал (1695 г.). Выходец из

швейцарской купеческой семьи. Служил во французской и голландской армиях. С 1675 г. в России, участник русско-турецкой войны 1676—1681 гг. и Крымских походов 1687—1689 гг. В 1689 г. сблизился с Петром I. В Азовских походах 1695—1697 гг. командовал русским флотом, в 1697—1698 гг. возглавлял (вместе с Ф. А. Головиным и П. Б. Возницким) «Великое посольство».

²¹ *Ромодановский* Федор Юрьевич (ок. 1640—1717) — князь, государственный деятель. В 1686—1717 гг. возглавлял Преображенский приказ, ведавший политическим сыском. Фактически стоял во главе управления страной в периоды отсутствия Петра I, пользовался его неограниченным доверием.

²² *Апраксин* Федор Матвеевич (1671—1728) — военный и государственный деятель, генерал-адмирал, граф, сенатор; брат царицы Марфы, жены царя Федора Алексеевича; воевода в Архангельске (1692 г.), участник Азовских походов, начальник Адмиралтейского приказа (1700—1706 гг.); укреплял Азов, строил Таганрог; успешно оборонял Петербург и в 1710 г. взял Выборг, участник Гангутского сражения (1714 г.), президент Адмиралтейской коллегии (1717 г.); в 1712—1723 гг. губернатор Эстляндии, Ингерманландии, Карелии; в 1723—1726 гг. — командующий Балтийским флотом; член Верховного Тайного Совета (1726 г.).

²³ *Лопухина* Евдокия Федоровна (1669—1731) — царица, первая жена (с 1689 г.) Петра I, мать царицы Алексея Петровича; в 1698 г. пострижена в монахини. После процесса царевича Алексея в 1718 г. переведена из Суздаля в Ладожский Успенский монастырь, в 1725 г. — в Шлиссельбургскую крепость. После воцарения своего внука Петра II жила в Московском Вознесенском монастыре, пользовалась царскими почестями.

²⁴ *Возницын* Прокофий Богданович — дипломат. Третий посол в «Великом посольстве» 1697—1698 гг. Представлял Россию на Карловицком конгрессе 1698—1699 гг., где заключил на два года перемирие с Турцией.

²⁵ *Витсен* (Витзен) Николас (1641—1717) — голландский географ, бургомистр Амстердама. В 1664—1667 гг. с голландским посольством был в России; в 1687 г. издал в Амстердаме карту России с Сибирью; в 1692 г. издал получивший большую известность труд — «Северная и Восточная Татария».

²⁶ *Вильгельм III* (1650—1702) — сын Вильгельма II Оранского и дочери английского короля Карла I Генриетты, женат на своей двоюродной сестре Марии, дочери английского короля Якова II. С 1688 г. — английский король.

²⁷ *Рюйш* (Рейс) Фредерик (1638—1731) — голландский анатом. С 1665 г. в Амстердамском университете, с 1685 г. — профессор. Открыл эпителий, разработал особый способ бальзамирования трупов. В 1717 г. Петр I, обучавшийся у Рюйша анатомии, купил для Кунсткамеры почти всю его коллекцию.

²⁸ *Бозргав* (Бургав) Герман (1668—1738) — голландский профессор медицины. Его племянник Герман Бургаве-Каау (1705—1753), доктор медицины, с 1748 г. первый лейб-медик Елизаветы Петровны.

²⁹ *Карл XII* (1682—1718) — король Швеции с 1697 г. Руководил шведскими силами в Северной войне 1700—1721 гг. В 1700 г. одержал победу над союзной с Россией Данией и разбил русские войска под Нарвой. В 1701—1706 гг. вел боевые действия в Польше и Саксонии, вынудил польского короля, саксонского курфюрста

Августа II выйти из войны. Летом 1708 г. вторгся в Россию, после Полтавской битвы бежал в Турцию, вернулся в Швецию в 1715 г., Убит при осаде норвежской крепости Фредериксхалль.

ПЕТР ВЕЛИКИЙ, ЕГО НАРУЖНОСТЬ, ПРИВЫЧКИ, ОБРАЗ ЖИЗНИ И МЫСЛЕЙ, ХАРАКТЕР

Очерк представляет собой LX лекцию В. О. Ключевского в его «Курсе русской истории». Печатается по изданию: Ключевский В. О. Сочинения. М., 1958. Т. IV. С. 29—48.

¹ *Кнеллер* Готфрид (1648—1723) — художник-портретист. Родом из Любека. С 1674 г. в Лондоне, придворный живописец, баронет. Во время первого путешествия Петра I за границу написал в Утрехте его портрет.

² *Елизавета Петровна* (1709—1761) — дочь Петра I и Марты Скавронской (Екатерины I), царица после дворцового переворота 1741 г., с 1742 г. в мorganатическом браке с Алексеем Разумовским.

³ *Людовик XV* (1710—1774) — французский король с 1714 г., вступил на престол после смерти прадеда, Людовика XIV.

⁴ *Ягужинский* Павел Иванович (1683—1736) — государственный деятель и дипломат. Сын органиста, выходца из Литвы. С 1701 г. служил в гвардии; в 1720—1721 гг. посланник в Вене. В 1722—1726 гг. и 1730—1731 гг. генерал-прокурор сената, в 1726—1727 гг. полномочный министр при польском сейме в Гродно. С 1731 г. граф. В 1731—1734 гг. посол в Берлине. С 1735 г. кабинет-министр Анны Иоанновны.

⁵ *Фридрих Вильгельм I* (1688—1740) — король Пруссии с 1713 г., из династии Гогенцоллернов, отец Фридриха II Великого.

⁶ *Алексей Петрович* (1690—1718 гг.) — царевич, сын Петра I и Евдокии Лопухиной; с 1711 г. женат на Шарлотте Вольфенбютельской (ум. 1715 г.); в 1716 г. бежал в Вену к своему шурина австрийскому императору Карлу VI; был возвращен в Россию в конце 1717 г. и приговорен к смертной казни.

⁷ *Екатерина I Алексеевна* (1684—1727) — императрица. До принятия православия — Марта Скавронская, дочь литовского крестьянина Самуила Скавронского. В 1702 г. попала в русский плен в Мариенбурге (ныне Алуksне) и вскоре стала фактической женой Петра I. Церковный брак оформлен в 1712 г., коронована в 1724 г. После смерти Петра I возведена на престол гвардейскими частями во главе с А. Д. Меншиковым; управление страной осуществлялось Верховным Тайным советом во главе с А. Д. Меншиковым. Перед смертью подписала завещание о передаче престола царевичу Петру Алексеевичу, внуку Петра I. От брака Петра с Екатериной остались две дочери — Анна, замужем за герцогом Голштинским, мать будущего царя Петра III (1761—1762 гг.), и Елизавета Петровна, будущая императрица (1741—1761 гг.).

⁸ Мирный договор 1721 г., завершивший Северную войну между Россией и Швецией, был заключен в г. Ништадте (Финляндия). По договору к России переходили Лифляндия, Эстляндия, Ингрия и Карельский перешеек с Выборгом и Кексгольмом.

⁹ *Арсеньева* Дарья Михайловна (ум. 1728) — с 1706 г. жена А. Д. Меншикова.

¹⁰ *Адриан* (1636—1700) — архимандрит Чудова монастыря в Кремле, с 1686 г. митрополит Казанский и Свияжский, с 1690 г. пат-

риарх всея Руси. После смерти Адриана вплоть до Февральской революции 1917 г. управление православной церковью в России осуществлялось Синодом.

¹¹ *Леблон Жан Батист Александр* (1679—1719 гг.) — французский архитектор, приехал в Россию в 1716 г., участвовал в создании Петергофа, парка в Стрельне, Летнего сада в Петербурге.

¹² *Татищев Василий Никитич* (1686—1750) — русский государственный деятель, историк. Участник Северной войны. В 1720—1722, 1734—1737 гг. управлял казенными заводами на Урале, основал Екатеринбург (ныне Свердловск). В 1741—1745 гг. астраханский губернатор; автор «Истории Российской», первого русского энциклопедического словаря — «Лексикон Российский» и др.

¹³ *Мусин-Пушкин Иван Алексеевич* — сын комнатного стольника, окольничий, затем боярин. В 1689 г. воевода в Смоленске, в 1695 г. в Астрахани. Участник Полтавской битвы. С 1710 г. граф. В 1710—1717 гг. начальник Монастырского приказа, с 1711 г. сенатор, в 1726 г. — докладчик Екатерины I, в 1727 г. — заведующий Монетным двором. После вступления на престол Петра II отошел от дел.

¹⁴ *Лейбниц Готфрид Вильгельм* (1646—1716) — немецкий философ-идеалист, математик, физик, юрист, историк, языковед. Учился в Лейпцигском и Йенском университетах. С 1668 г. на службе у курфюрста Майнцского. В 1672—1676 гг. в Париже с дипломатической миссией. С 1676 г. придворный библиотекарь, затем историограф и тайный советник юстиции герцога Ганноверского. В 1700 г. — первый президент Берлинского научного общества (позднее — Академии наук). В 1711—1712 и 1716 гг. встречался с Петром I, предлагал ему ряд проектов по развитию образования и государственного управления в России.

ПЕТР ВЕЛИКИЙ СРЕДИ СВОИХ СОТРУДНИКОВ

Статья была опубликована В. О. Ключевским в 1901 г. в издании «Журнал для всех». Печатается по изданию: К л ю ч е в с к и й В. О. Сочинения. М., 1959. Т. VIII. С. 314—350.

¹ *Калитино племя* — династия русских великих князей и царей, Рюриковичей, потомков великого князя Ивана Даниловича Калиты, — Иван II, Дмитрий Донской, Василий I, Василий II Темный, Иван III, Василий III, Иван IV Грозный, Федор. Прервалась в 1598 г. со смертью Федора. К роду Ивана Калиты принадлежали и другие видные русские князья, родственники правящей династии (Юрий Галицкий, Дмитрий Шемяка, Василий Андреевич Старицкий и др.).

² *Блюментрост Лаврентий Лаврентьевич* (1692—1755) — придворный врач Петра I. Учился в Галле, Оксфорде и Лейдене, с 1714 г. лейб-медик царевны Натальи Алексеевны, с 1718 г. лейб-медик Петра I, заведующий императорской библиотекой и кунсткамерой. В 1725—1733 гг. первый президент Академии наук.

³ *Щербатов Михаил Михайлович* (1733—1790) — князь, общественный и государственный деятель, историк и публицист. С 1778 г. президент Камер-коллегии, с 1779 г. сенатор, с 1788 г. в отставке. Автор соч.: «О повреждении нравов в России», «История Российская от древнейших времен» (доведена до 1610 г.).

⁴ *Головин Иван Михайлович* (1672—1737) — адмирал, кораблестроитель, участник Азовского похода 1695—1696 гг., «Великого посольства», военных действий на Балтийском море (1714—1715 гг.), Персидского похода; с 1732 г. командир галерного флага на Балтике.

Головин Федор Алексеевич (1650—1706) — дипломат, военачальник; боярин, граф, генерал-фельдмаршал. Подписал Нерчинский договор 1689 г. с Китаем, участник Азовских походов, один из послов «Великого посольства»; ведал внешней политикой, строительством флота, Монетным двором.

Шереметев Борис Петрович (1652—1719) — военный деятель, дипломат. При дворе с 1671 г.; в 1680—1690-х гг. воевода в Пскове, Белгороде. С 1682 г. боярин. Генерал-фельдмаршал с 1701 г., граф с 1706 г. Во время Азовских походов и Северной войны командовал крупными армейскими соединениями в Прибалтике, Белоруссии, на Украине. Участник Полтавского сражения (1709 г.).

Толстой Петр Андреевич (1645—1729) — государственный деятель, дипломат, граф. Стронник царевны Софьи, после ее падения прикнуд к Петру I. В 1702—1714 гг. посол в Турции. С 1714 г. — сенатор. Добился возвращения из-за границы царевича Алексея Петровича и в 1718 г. возглавил следствие по его делу. С 1717 г. президент Коммерц-коллегии. В 1718—1726 гг. начальник Тайной канцелярии, с 1726 г. член Верховного Тайного совета. Попытался противодействовать стремлению А. Д. Меншикова выдать свою дочь за сына царевича Алексея Петра (в дальнейшем император Петр II), за что в 1727 г. был арестован и сослан в Соловецкий монастырь, где умер.

Брюс Яков Вилимович (1670—1735) — государственный деятель и ученый, граф (1721 г.). Происходил из знатного шотландского рода, его предки с 1647 г. жили в России. Участвовал в Крымских и Азовских походах, входил в состав «Великого посольства» 1697—1698 гг. В Полтавском сражении командовал артиллерией. В 1717 г. сенатор и президент Мануфактур- и Берг-коллегий. Вместе с А. И. Остерманом подписал в 1721 г. Ништадтский трактат. В 1726 г. вышел в отставку в чине генерал-фельдмаршала.

⁵ **Шафиров Петр Павлович** (1669—1739) — государственный деятель; барон (1710 г.). Родился в еврейской семье переводчика Посольского приказа. С 1691 г. переводчик Посольского приказа, в 1697—1698 гг. участвовал в «Великом посольстве»; с 1709 г. вице-канцлер, управляющий почтами. Сыграл важную дипломатическую роль во время Прутского похода (1711 г.). С 1717 г. вице-президент коллегии Иностранных дел. В 1723 г. обвинен в казнокрадстве, приговорен к смертной казни, замененной пожизненной ссылкой. В 1725 г. возвращен Екатериной I, президент Коммерц-коллегии, в 1730—1732 гг. посол в Тегеране. С 1733 г. снова президент Коммерц-коллегии.

Волынский Артемий Петрович (1689—1740) — государственный деятель, дипломат. В 1719—1724 гг. астраханский, в 1725—1730 гг. (с перерывами) — казанский губернатор. С 1738 г. кабинет-министр Анны Иоанновны. Автор «рассуждений» «О гражданстве», «Каким образом государям суд и милость иметь надобно» и др. В 1740 г. в результате интриг Э. Бирона и А. И. Остермана обвинен в измене и казнен.

⁶ **Шейн Алексей Семенович** (ум. 1700) — военный и государственный деятель. Боярин с 1682 г., ближний боярин с 1695 г. В 1680—1685 гг. воевода в Тобольске и Курске. В Крымских (1687—1689 гг.) и Азовском (1695 г.) походах воевода. В Азовском походе 1696 г. главнокомандующий сухопутными войсками. Во время «Великого посольства» 1697—1698 гг. оставлен Петром I начальником трех военных приказов. Руководил подавлением Стрелецкого восстания 1698 г.

⁷ *Девьер* Антон Мануйлович — португалец на русской службе. С 1718 г. генерал-полицейстер Петербурга. В 1727 г. был привлечен к следствию вместе с П. А. Толстым и сослан в Сибирь.

⁸ *Курбатов* Алексей Александрович (ум. 1721) — государственный деятель (из крепостных Б. П. Шереметева). В 1699 г. подал Петру I проект о введении гербовой бумаги. Получил олоу и принят на государственную службу. С 1711 г. вице-губернатор Архангельской губернии. В 1714 г. обвинен во взяточничестве и умер под следствием.

⁹ *Гагарин* Матвей Петрович — князь, сибирский губернатор, в 1721 г. казнен за служебные злоупотребления.

¹⁰ *Арескин* (Эрскин) Роберт (ум. 1718) — шотландский врач, лейб-медик Петра I. Доктор медицины и философии Оксфордского университета; с 1706 г. глава Аптекарского приказа.

¹¹ *Нартов* Андрей Константинович (1693—1756) — ученый, механик. Работал в московской школе математических и навигацких наук — от рабочего в 1705 г. до руководителя в 1712 г., затем — «личный токарь» Петра I. В 1718—1720 гг. был в Германии, Англии, Франции, учился в Париже. В 1724 г. представил проект учреждения «Академии разных художеств»; в 1742—1743 гг. руководил Академией наук и художеств. Оставил соч.: «Достоверные повествования и речи Петра Великого» (1727) и др.

¹² *Левенгаупт* Адам Людвиг (1659—1719) — шведский военачальник, генерал-лейтенант, граф. В 1706—1708 гг. губернатор Лифляндии и Курляндии. Двигаясь из Прибалтики через Белоруссию на соединение с Карлом XII, разгромлен в 1708 г. под Лесной. В Полтавском сражении командовал пехотой. У Переволочны принял у Карла XII командование и капитулировал. В 1709—1719 гг. в плену. После смерти Карла XII назначен министром королевой Ульрикой Элеонорой, но умер на пути в Швецию.

¹³ *Милославский* Иван Михайлович (ум. 1685 г.) — боярин, родственник Марии, первой жены царя Алексея Михайловича, возглавлял дворцовую борьбу против Нарышкиных и Петра I.

¹⁴ *Репнин* Аникита Иванович (1668—1726) — князь, военный деятель, генерал-фельдмаршал. В 1685 г. поручик потешной роты, участник Азовских походов 1695—1696 гг. В 1699 г. генерал-майор, в 1708 г. разжалован после поражения при Головчине, восстановлен после битвы при Лесной. В Полтавском сражении 1709 г. командовал центром. В 1709—1710 гг. руководил осадой и взятием Риги. С 1719 г. губернатор Лифляндии, одновременно в 1724—1725 гг. президент Военной коллегии.

¹⁵ *Тюрени* Анри де ля Тур д'Овернь (1611—1675) — французский полководец, маршал Франции (1643). Сын герцога Буйонского, внук Вильгельма I Оранского. С 1625 г. в голландской армии своего дяди принца Мориса Оранского, с 1630 г. на французской службе; в 1660 г. получил высшее воинское звание главного маршала.

Сюлли Максимилиен де Бетюн, барон де Рони (1560—1641) — французский государственный деятель, герцог (1606). Гугенот, один из ближайших советников короля Генриха IV (Наваррского), руководитель финансов. Оставил «Мемуары».

¹⁶ *Прокופович* Феофан (1681—1736) — церковный и общественный деятель, писатель; деятельный сторонник Петра I. Епископ с 1718 г., архиепископ с 1724 г. Окончил в 1698 г. Киево-Могилянский коллегиум. Принял униатство, учился в Польше и Риме. В 1704 г. возвратился в православие. Сопровождал Петра I в Прут-

ском походе (1711 г.), затем ректор Академии в Киеве. С 1715 г. в Санкт-Петербурге, с 1721 г. вице-президент Святейшего Синода. Автор соч.: «Слово о власти и чести царской» (1719 г.), «Духовный регламент» (1721 г.).

¹⁷ *Бекович-Черкасский* Александр (до крещения — Девлет-Кизден-Мурза, ум. 1717) — кабардинский князь. В 1707 г. отправлен Петром I за границу для учения, затем в Кабарде с дипломатическим поручением. В 1717 г. возглавил пятитысячную экспедицию в Хиву для переговоров о принятии хивинским ханом русского подданства. В Хиве убит, весь русский отряд уничтожен.

¹⁸ *Беринг* Витус (1681—1741) — датчанин, с 1704 г. на русской службе. Глава камчатских экспедиций по исследованию северной части Тихого океана и пролива между Северо-Восточной Азией и Америкой.

¹⁹ *Паткуль* Иоганн Рейнгольд (1660—1707) — ливонский политический деятель; добивался от шведской королевской власти восстановления прав и привилегий ливонского дворянства, в 1694 г. бежал к саксонскому курфюрсту Августу, затем содействовал его союзу с Россией против Швеции; с 1702 г. на русской службе. С 1704 г. был русским представителем в Варшаве; после мирного договора Августа II с Карлом XII (1706 г.) выдан шведам и ими казнен.

²⁰ *Огильви* Георг Бенедикт (1644—1710) — шотландец, фельдмаршал-лейтенант на австрийской службе, в 1704—1706 гг. на русской (генерал-фельдмаршал), затем на службе польского короля Августа II.

²¹ *Вебер* Христиан Фридрих — ганноверский резидент в России, автор соч.: «Преобразованная Россия» (тт. 1—3, 1721—1740), содержащего материалы о внутренней и внешней политике России, государственных, экономических и культурных реформах Петра I.

²² *Мария Алексеевна* — царица, дочь царя Алексея Михайловича и Марии Милославской. Была привлечена к следствию по делу царевича Алексея, арестована, освобождена в 1721 г.

²³ *Голицев* Иван Иванович (1735—1801) — историк, Курский купец. Собрал огромное количество рукописей, в том числе писем Петра I, и составил многотомный труд «Деяния Петра Великого» (1788—1789 гг.) с «дополнениями» (1790—1797 гг.).

РУССКОЕ ГОСУДАРСТВО ОКОЛО ПОЛОВИНЫ XVIII в. — ИМПЕРАТРИЦА ЕЛИЗАВЕТА — ИМПЕРАТОР ПЁТР III

Очерк представляет собой LXXIII лекцию В. О. Ключевского в его «Курсе русской истории». В данном издании заголовок сокращён. В «Курсе» лекция озаглавлена: «Русское государство около половины XVIII в.— Судьба реформы Петра Великого при его ближайших преемниках и преемницах.— Императрица Елизавета.— Император Пётр III». Публикуется по изданию: Ключевский В. О. Сочинения. М., 1958. Т. IV. С. 330—347.

¹ *Шувалов* Иван Иванович (1727—1797) — государственный деятель; с 1749 г. камер-юнкер, фаворит императрицы Елизаветы Петровны. С 1760 г. генерал-адъютант. Куратор Московского университета, создатель и первый президент Академии художеств (1757—1763 гг.). При Екатерине II в опале. В 1763—1777 гг. за границей, в «отпуске по болезни», выполнял ряд дипломатических поручений правительства.

Шувалов Петр Иванович (1710—1762) — государственный и военный деятель, участник переворота 25 ноября 1741 г., возведшего на престол Елизавету Петровну. С 1746 г. граф, с 1761 г. генерал-фельдмаршал. В 1750-х гг. фактически определял внутреннюю политику России. Автор проектов государственных, экономических и военных реформ. С 1757 г. начальник Оружейной канцелярии, изобрел т. н. секретную гаубицу и «шуваловский единорог».

² **Остерман** Андрей Иванович (Генрих Иогани Фридрих, 1686—1747) — государственный деятель, дипломат, граф. Сын лютеранского пастора. На русской службе с 1703 г. Принимал активное участие в заключении Ништадтского мира 1721 г.; с 1723 г. вице-президент коллегии Иностранных дел. С 1726 г. член Верховного Тайного совета, в 1725—1741 гг. вице-канцлер. При Ане Иоанновне фактический руководитель внешней и внутренней политики России. После переворота 1741 г. предан суду, приговорен к смертной казни, замененной пожизненной ссылкой в Березов.

³ **Посошков** Иван Тихонович (1652—1726) — публицист и экономист, автор «Книги о скудости и богатстве» (1724). После смерти Петра I заключен в Петропавловскую крепость, где умер.

⁴ **Анна Иоанновна** (1693—1740) — русская императрица с 1730 г., дочь царя Ивана V (Алексеевича), племянница Петра I. С 1710 г. замужем за герцогом Курляндским. Приглашена Верховным Тайным советом на определенных условиях («кондициях»), которые подписала, но при поддержке дворянства отказалась исполнять.

⁵ **Фоккеродт** Иогани Готхильф (ум. ок. 1750) — в 1717—1733 гг. секретарь прусского посольства в Петербурге, автор записок о России (1737 г.), изданных впервые в 1872 г. в Вене.

⁶ **Разумовский** Кирилл Григорьевич (1728—1803) — государственный деятель, граф (1744 г.). В 1743—1745 гг. учился за границей. Камергер, в 1746—1765 гг. президент Петербургской Академии наук, с 1750 г. гетман Украины. Активный участник переворота 1762 г., затем сенатор, генерал-адъютант. В 1764 г. после ликвидации гетманства генерал-фельдмаршал. В 1768—1771 гг. член Государственного Совета.

⁷ **Платон** (Левшин, 1737—1812) — церковный деятель, писатель и историк. Сын сельского причетника, учился в Московской Славяно-греко-латинской академии. В 1761 г. принял монашество; ректор Троице-Сергиевой семинарии. В 1763 г. обратил на себя внимание Екатерины II проповедью «О благочестии» и стал законоучителем наследника Павла Петровича. В 1766 г. архимандрит Троице-Сергиевой лавры, с 1768 г. — член Синода, с 1770 г. архиепископ Тверской, с 1775 г. Московский. Автор соч.: «Житие св. Сергия Радонежского», «Краткая российская церковная история».

⁸ **Бестужев-Рюмин** Алексей Петрович (1693—1766) — государственный деятель и дипломат. Граф (1742). В 1734—1740 гг. посол в Дании, в 1740 г. кабинет-министр. Участник дворцового переворота 1741 г., вице-канцлер, с 1744 г. канцлер. В 1758 г. обвинен в поддержке великой княгини Екатерины Алексеевны и приговорен к смертной казни, замененной ссылкой. После переворота 1761 г. восстановлен во всех званиях, произведен в генерал-фельдмаршалы, но от активной политической деятельности отошел.

⁹ **Фридрих II Великий** (1712—1786) — прусский король из династии Гогенцоллернов, полководец, представитель «просвещенного абсолютизма».

¹⁰ **Цорндорф** — селение в 10 км от Кюстрина (ныне с. Сарбиново близ Костшина, Польша), около которого во время Семилетней

войны 14 августа 1758 г. произошло сражение русской армии генерала В. В. Фермора (42 тыс. чел., 240 орудий) и прусской армии Фридриха II (33 тыс. чел., 106 орудий). Русская армия «удержала позиции», потеряв 16 тыс. чел. Фридрих II потерял свыше 11 тыс. чел.

Кунерсдорф — деревня восточнее Франкфурта-на-Одере. 1 августа 1759 г. соединенная русско-австрийская армия генерал-аншефа П. С. Салтыкова (41 тыс. русских, 18,5 тыс. австрийцев, 248 орудий) вступила с прусской армией Фридриха II (48 тыс. чел., 200 орудий). Прусская армия была полностью разгромлена, потеряв около 19 тыс. человек и 172 орудия. Союзники потеряли свыше 15 тыс.

¹¹ *Растрепали* Варфоломей Варфоломеевич (Бартоломео Франчески, 1700—1771) — глава русского барокко, в 1730—1763 гг. придворный архитектор. Среди его творений дворцы Бирона в Рундале (1736—1740) и Митаве (1738—1749), Большая дворец в Петергофе (1744—1752), Екатерининский дворец в Царском Селе (1755—1757), комплексы Смольного монастыря (1748—1754) и Зимнего дворца (1754—1762).

¹² *Петр III Федорович* (Карл Петер Ульрих, 1728—1762) — российский император в 1761—1762 гг. Сын герцога Карла Фридриха Гольштейн-Готторпского и царевны Анны Петровны, внук Петра I. В 1742 г. объявлен своей теткой Елизаветой Петровной наследником престола. С 1745 г. женат на принцессе Софии Фредерике Августе Ангальт-Цербстской, будущей императрице Екатерине II.

¹³ *Дашкова* Екатерина Романовна (1743 или 1744—1810) — политический и культурный деятель, директор Петербургской Академии наук (с 1783 г.). Дочь Р. И. Воронцова, воспитывалась в доме дяди, канцлера М. И. Воронцова; активная участница переворота 28 июня 1762 г. От руководства Академией отстранена в 1796 г. Павлом I. Ее «Записки» изданы в 1859 г. А. И. Герценом.

¹⁴ *Болотов* Андрей Тимофеевич (1738—1833) — писатель, ученый, мемуарист. Один из основателей русской агрономической науки; участник Семилетней войны. Оставил обширные мемуары «Жизнь и приключения А. Болотова, описанные самим им для своих потомков», содержащие материалы о быте, хозяйстве, событиях Семилетней войны, о перевороте 1762 г.

¹⁵ *Дмитрий Сеченов* (1708—1767) — церковно-политический деятель. Окончил Славяно-греко-латинскую академию. В 1732 г. постригся в монахи. В 1740 г. в сане архимандрита возглавлял миссию, крестившую «язычников и магометан» в поволжских губерниях, с 1742 г. архиепископ Нижегородский, с 1752 г. епископ Рязанский, с 1757 г. архиепископ Новгородский. В 1762 г. короновал Екатерину II, после чего стал митрополитом. В 1767 г. депутат от духовенства в комиссии по составлению нового Уложения. Председательствовал в Синоде, активно поддерживал политику Екатерины.

¹⁶ *Трубецкой* Никита Юрьевич (1699—1767) — государственный и военный деятель, князь, с 1756 г. генерал-фельдмаршал. В 1740—1760 гг. генерал-прокурор Сената, возглавлял следствие и суд над А. И. Остерманом (1741), А. П. Бестужевым-Рюминым (1758) и др. С 1760 г. сенатор и президент Военной коллегии, с 1763 г. в отставке.

¹⁷ *Бирон* Эрнст Иоганн (1690—1772) — фаворит императрицы Анны Иоанновны. С 1718 г. при дворе Анны Иоанновны в Курляндии, приехал с ней в Россию в 1730 г. в качестве обер-камергера. В 1737 г. при содействии императрицы избран герцогом Курляндским. По завещанию Анны Иоанновны после ее смерти в 1740 г. стал регентом при малолетнем Иване VI Антоновиче. После дворцового переворота

9 ноября 1740 г. приговорен к смертной казни, замененной ссылкой. Возвращен в Петербург Петром III, восстановлен Екатериной II на Курляндском герцогском престоле.

ПЕРЕВОРОТ 23 ИЮНЯ 1762 г.

Очерк представляет собой LXXIV лекцию В. О. Ключевского в его «Курсе русской истории». Публикуется по изданию: Ключевский В. О. Сочинения. М., 1958. Т. IV. С. 348—358.

¹ *Гудович* Иван Васильевич (1741—1820) — государственный и военный деятель, граф (1797), генерал-фельдмаршал (1807). Учился в Кенигсберге, Галле и Лейпциге, с 1785 г. генерал-губернатор Рязанской и Тамбовской губерний. С 1797 г. военный губернатор в Киеве, затем в Волынской и Минской губерниях. В 1800—1806 гг. в отставке, затем командующий войсками на Кавказе. В 1809—1812 гг. главнокомандующий в Москве, член Государственного совета.

² *Панин* Никита Иванович (1718—1783) — государственный деятель и дипломат, граф. Служил в конной гвардии. В 1747—1759 гг. посланник в Дании, затем в Швеции. В 1760—1773 гг. воспитатель великого князя Павла Петровича (будущего императора Павла I). В 1762 г. активный участник воцарения Екатерины II, в 1763—1781 гг. возглавлял коллегия Иностранных дел. С 1781 г. в отставке.

³ *Пассек* Петр Богданович (1736—1804) — участник переворота 1762 г., капитан Преображенского полка, затем генерал-губернатор *Ласунский* — капитан Измайловского полка, участник переворота 1762 г.

Хитрово Федор Алексеевич — секунд-ротмистр лейб-гвардии Конного полка, участник переворота 1762 г. Выслан из Петербурга за протест против возвышения Г. Г. Орлова.

⁴ *Потемкин* Григорий Александрович (1739—1791) — государственный и военный деятель, фаворит Екатерины II; камергер, генерал-фельдмаршал (1784 г.). В 1776 г. генерал-губернатор Новороссийской, Азовской и Астраханской губерний; получил от императора Иосифа II титул князя Священной Римской империи. В 1783 г. после присоединения Крыма удостоен титула светлейшего князя Таврического. С 1784 г. президент Военной коллегии, командовал армией в русско-турецкой войне 1787—1791 гг.

⁵ *Орлов* Григорий Григорьевич (1734—1783) — военный и государственный деятель. Окончил сухопутный шляхетский корпус, участвовал в Семилетней войне. Вместе с братьями Алексеем и Федором активнейший участник переворота 1762 г., граф (1762 г.). Фаворит Екатерины II, отец ее сына Алексея (будущего графа Бобринского, р. 1762); камергер; в 1763—1775 гг. генерал-фельдцейхмейстер. В 1772 г. возглавлял русскую делегацию в Фокшанах на переговорах с Турцией. Инициатор учреждения Вольного Экономического общества и его первый президент в 1765 г. С 1775 г. в отставке.

Орлов Алексей Григорьевич (1737—1808) — военный деятель, граф, генерал-аншеф, виднейший участник переворота 1762 г. После морской победы над турками при Чесме (1770 г.) как главнокомандующий флотом получил титул Чесменского.

⁶ *Воронцов* Михаил Илларионович (1714—1767) — государственный деятель и дипломат. Активный участник переворота 25 ноября 1741 г. и воцарения Елизаветы Петровны. С 1741 г. граф и вице-канцлер, в 1758—1762 гг. канцлер; с 1763 г. в отставке. Дядя Е. Р. Дашковой.

⁷ *Миних* Бурхардт Кристоф (Христофор Антонович; 1683—1767), на русской службе с 1713 г.; генерал-фельдмаршал; руководил строительством Ладожского и других каналов; при Анне Иоанновне президент Военной коллегии; во время русско-турецкой войны в 1730-х гг. командовал русскими войсками. После воцарения Елизаветы Петровны сослан в Пелымы. Возвращен из ссылки при Петре III и в дальнейшем был командиром балтийских портов и каналов.

⁸ *Воронцова* Елизавета Романовна — графиня, фаворитка императора Петра III, сестра Е. Р. Дашковой.

⁹ *Анна Леопольдовна* (1718—1746) — «правительница России» при своем малолетнем сыне императоре Иване VI Антоновиче. Дочь герцога Мекленбург-Шверинского и царевны Екатерины Ивановны (дочь царя Ивана V), племянница императрицы Анны Иоанновны. С 1739 г. замужем за принцем Антоном Ульрихом Брауншвейгским. Провозглашена регентшей после дворцового переворота, отстранившего от власти Бирона. Свергнута переворотом, возведшим на престол Елизавету Петровну, и сослана в Холмогоры.

ИМПЕРАТРИЦА ЕКАТЕРИНА II

Очерк представляет собой LXXV лекцию В. О. Ключевского в его «Курсе русской истории». В настоящем издании заголовок сокращен. В «Курсе» заголовок: «Основной факт эпохи — Императрица Екатерина II.— Ее происхождение.— Двор Елизаветы.— Положение Екатерины при дворе.— Образ действий Екатерины.— Ее занятия.— Испытания и успехи.— Граф А. П. Бестужев-Рюмин.— Екатерина при императоре Петре III.— Характер». Публикуется по изданию: Ключевский В. О., Сочинения. М., 1958. Т. V. С. 5—33.

¹ *Иван VI* (Иван Антонович, 1740—1764) — сын Анны Леопольдовны и герцога Антона Ульриха Брауншвейгского; номинальный император России до переворота 25 ноября 1741 г. Елизаветы Петровны. Содержался под стражей. При попытке поручика В. Я. Мировича освободить его из заключения по имевшейся у караула инструкции убит в Шлиссельбургской крепости.

² *Разумовский* Алексей Григорьевич (1709—1771) — сын украинского казака Григория Розума, с 1731 г. певчий украинской капеллы, фаворит царевны Елизаветы Петровны. После ее воцарения — камергер, генерал-поручик, с 1744 г. граф, с 1756 г. генерал-фельдмаршал. С 1742 г. в морганатическом браке с императрицей Елизаветой. С 1762 г. в отставке.

³ *Лесток* Иоганн Герман (1692—1767).— В 1713 г. прибыл в Петербург; по происхождению французский дворянин; лейб-хирург Екатерины I. Сыграл крупную роль в перевороте 1741 г. После того, как А. П. Бестужев-Рюмин перехватил его переписку с французским послом Шетарди, Лесток был арестован, приговорен к смертной казни, помилован и сослан; в 1762 г. освобожден Петром III с возвращением чинов и конфискованного имущества.

⁴ *Де ля Шетарди* Жак Иоахим Тротти (1705—1758) — французский дипломат и генерал, маркиз. В 1739—1744 гг. посол Франции в Петербурге. Поддерживал Елизавету Петровну, но в перевороте участия не принимал. Интриговал против А. П. Бестужева-Рюмина, возглавлявшего враждебную Франции партию сторонников сближения с Австрией и Англией; после перехвата курьера с бумагами выслан. С 1749 г. французский посланник в Турине.

⁵ *Людовик XIV* (1638—1715) — французский король с 1643 г. До 1651 г. регентшей была его мать Анна Австрийская, до 1661 г. фактически правил первый министр кардинал Д. Мазарини. В дальнейшем установил свою власть абсолютного монарха. Жестоко подавляя многочисленные народные восстания, вел активную внешнюю политику, направленную на установление политического господства Франции в Европе. В 1679—1680 гг. учредил Присоединительные палаты — специальный орган для изыскания прав французской короны на те или иные территории. Боролся с римским папой Иннокентием XI за подчинение церкви светской власти; в 1685 г. отменил Нантский эдикт 1598 г. о веротерпимости.

⁶ *Кальвин Жак* (1508—1564). — деятель Реформации; основатель и глава протестантского вероучения, широко распространившегося во Франции, Англии, Швейцарии, Нидерландах, Венгрии, Скандинавии, частично в Германии, и отражавшего интересы развивающейся буржуазии. Изгнанный королевской властью из Франции, обосновался в Швейцарии, где приобрел огромную власть и отличался крайней религиозной нетерпимостью. Автор «Наставления в христианской вере» (1536 г.).

⁷ *Монтескье Шарль Луи де Секонда*, барон де ля Бред (1689—1755) — французский просветитель, правовед, философ и писатель. Окончил католический колледж в 1705 г., изучал право в Бордо и Париже, с 1716 г. один из вице-президентов парламента (суда) в Бордо. С 1726 г. жил в Париже. В 1728 г. путешествовал по Италии, Пруссии, Нидерландам, в 1729—1731 гг. жил в Великобритании. Соч.: «Персидские письма» (1721), «О духе законов» (1748), «Размышления о причинах величия и падения римлян» (1734) и мн. др.

⁸ *Вольтер* (Франсуа Мари Аруз; 1694—1778 гг.) — крупнейший деятель французского просвещения XVIII в., писатель, философ, член Французской академии (с 1746 г.). Сын нотариуса, окончил иезуитский колледж. Последовательный противник католической церкви и феодального строя. В 1717 и 1725 гг. заключался в Бастилию; в 1726 г. был изгнан из Франции, в 1745 г. приближен ко двору Людовика XV в качестве королевского историографа, в 1750—1753 гг. при дворе Фридриха II в Пруссии. В 1758—1778 гг. жил в своем имении Ферне (Швейцария). Состоял в переписке с Екатериной II, шведским королем Густавом III и другими политическими деятелями своего времени. Оставил огромное литературное наследие.

⁹ *Бейль Пьер* (1647—1706) — французский философ и публицист; основное произведение — «Исторический и критический словарь» (1695—1697 гг.).

¹⁰ *Брейтель Луи Огюст де Тоннелье де* (1733—год смерти неизв.) — барон, французский дипломат. В 1758 г. посол в Кельне, в 1760 г. в Петербурге, затем в Стокгольме, Голландии, Неаполе, Вене. В 1783—1787 гг. министр двора.

¹¹ *Алкивиад* (ок. 450—405 до н. э.) — политический и военный деятель Афин, родственник и воспитанник Перикла, ученик Сократа.

¹² *Плутарх* (ок. 46—ок. 127) — греческий философ, писатель, историк, почетный гражданин Афин. Автор знаменитых «сравнительных жизнеописаний» — биографий крупнейших деятелей Греции и Рима.

¹³ *Чеботарев Харитон Андреевич* (1746—1819) — профессор истории, нравоучения и красноречия, ректор Московского университета, первый председатель Московского общества истории и древностей российских.

¹⁴ *Мусин-Пушкин Алексей Иванович* (1744—1817) — граф, государственный деятель, коллекционер, археограф и историк, член Рос-

сийской Академии с 1789 г. С 1775 г. начал собирать памятники истории, открыл Лаврентьевскую летопись, список «Русской правды», «Поучение» Владимира Мономаха, «Слово о полку Игореве». Коллекция погибла при пожаре Москвы в 1812 г.

¹⁵ *Гримм* Фридрих Мельхиор (1723—1807) — барон, немецкий писатель, публицист и дипломат. С 1748 г. в Париже, основал газету «Литературная, философская и критическая корреспонденция» (1753—1792 гг.), подписчиками которой были Екатерина II, король Швеции и др. Попал в Петербург в свите ландграфини Гессен-Дармштадтской, прибывшей на свадьбу дочери с великим князем Павлом Петровичем. С 1774 г. переписывался с Екатериной II.

¹⁶ *Севины* Мари (урожд. Рабютен Шанталь; 1626—1696 гг.) — маркиза, французская писательница; ее письма к дочери с описанием жизни высшего французского общества и политических событий — образец прозы эпохи классицизма. Эти письма начали публиковаться с 1726 г.

¹⁷ *Мольер* (Поклен Жан Батист; 1622—1673 гг.) — французский драматург, режиссер, актер; создатель национального французского комедийного театра. Получил юридическое образование, с 1643 г. — актер в бродячих труппах, с 1658 г. — в Париже.

¹⁸ *Храповицкий* Александр Васильевич (1749—1801) — государственный деятель, писатель. В 1783—1793 гг. один из секретарей Екатерины II. Оставил дневник «Памятные записки».

ИМПЕРАТРИЦА ЕКАТЕРИНА II (1729—1796)

Статья была написана В. О. Ключевским к 100-летию со дня смерти Екатерины II и опубликована в журнале «Русская мысль» (М., 1896, № 11). Печатается по изданию: Ключевский В. О., Сочинения. М., 1958. Т. V. С. 309—371.

¹ Речь идет о внуке Екатерины II Александре I, вступившем на престол в 1801 г.

² *Бецкой* Иван Иванович (1704—1795) — русский общественный деятель. Внебрачный сын фельдмаршала князя И. Ю. Трубецкого. Учился в Копенгагенском кадетском корпусе. Служил в коллегии Иностранных дел, с 1747 г. в отставке. В 1764—1794 гг. президент Академии художеств в Петербурге. В 1763 г. представил Екатерине II план реформы образования: «Генеральное учреждение о воспитании обоюбого пола юношества», по которому были открыты Воспитательные дома в Москве и Петербурге, училище при Академии художеств, коммерческое училище в Москве, Институт благородных девиц в Петербурге (Смольный).

³ *Радищев* Александр Николаевич (1749—1802) — философ и писатель, сын богатого помещика. Учился в Пажеском корпусе (1762—1766 гг.), затем в Лейпцигском университете (1767—1771). Служил в Сенате, в Коммерц-коллегии, управляющим Петербургской таможней. За книгу «Путешествие из Петербурга в Москву» (1790 г.) заключен в Петропавловскую крепость, приговорен к смертной казни, которую Екатерина II заменила лишением чинов и дворянства и ссылкой на 10 лет в Илимский острог (Восточная Сибирь). При Павле I возвращен из ссылки; покончил жизнь самоубийством.

⁴ *Кочубей* Виктор Павлович (1768—1834) — государственный деятель и дипломат, князь. В 1792—1797 гг. посланник в Турции, с 1798 г. вице-канцлер. В 1801—1802 гг. управляющий коллегией

Иностранных дел. В 1801—1803 гг. участвовал в работе Негласного комитета. В 1802—1807 гг. и 1819—1823 гг. министр внутренних дел. С 1827 г. председатель Государственного Совета и Комитета министров.

⁵ *Кагул* — река, левый приток Дуная. Во время русско-турецкой войны 1768—1774 гг. 21 июля 1770 г. у с Вулканешти произошло сражение I русской армии П. А. Румянцева с главными силами турецкой армии великого визиря Халиль-паши. Превосходящие силы турок были полностью разгромлены, потеряв около 20 тыс. человек и 130 орудий. Потери русских — 1,5 тыс. чел.

⁶ *Кучук-Кайнарджи* — деревня, в которой в июле 1774 г. был заключен мирный договор между Россией и Турцией. Договор установил границу России по Кубани, предусматривая отделение от Турции Крымского ханства, объявленного независимым. Россия получила часть черноморского побережья, а также Кабарду. Было установлено право свободного плавания русских кораблей по Черному морю и через проливы, признана автономия Молдавии и Валахии и их переход под покровительство России.

⁷ *Безбородко* Александр Алексеевич (1747—1799) — государственный деятель. Происходит из украинской казацкой старшины. С 1775 г. секретарь Екатерины II, с 1784 г. фактический руководитель коллегии Иностранных дел, при котором Турция признала присоединение Россией Крыма (1783 г.), был подписан с Турцией Ясский мирный договор (1791 г.) и др. С 1797 г. светлейший князь и канцлер.

⁸ *Ларга* — река, левый приток р. Прут. В июле 1770 г. на ее берегу произошло сражение между I русской армией генерал-аншефа П. А. Румянцева (38 тыс. чел., 115 орудий) и войсками крымского хана Каплан-гирея (15 тыс. турецкой пехоты, 65 тыс. татар). Авангард турок был разгромлен.

Чесма — бухта в Хиосском проливе Эгейского моря. 26 июня 1770 г. во время русско-турецкой войны 1768—1774 гг. в ней произошло сражение русского флота под командованием графа А. Г. Орлова, фактически — адмирала Г. А. Спиридова, и турецким флотом под командованием капудан-паши Хасан-бея. Турецкий флот был блокирован в бухте и практически полностью сгорел.

Рылник — река в Румынии, приток р. Серет. 11 сентября 1789 г. турецкая армия — 100 тыс. чел. под командованием визиря Юсуф-паши была полностью разгромлена соединенными силами России (7 тыс. чел.) и Австрии (18 тыс. чел.) под командованием принца Кобургского и генерал-аншефа А. В. Суворова, потеряла всю артиллерию и обозы.

⁹ *Понятовский* Станислав Август (1732—1798). В 1757—1762 гг. польско-саксонский посол в России, фаворит Екатерины II. При ее поддержке и Фридриха II в 1764 г. избран польским королем. В 1795 г. отрекся от престола. Последние годы жизни провел в Петербурге.

¹⁰ *Жоффрен* Мари Терез (1699—1777) — хозяйка знаменитого парижского салона, в котором бывали Монтескье, Фонтенель, д'Аламбер, Дидро, Гольбах, Гиббон и др.

¹¹ *Перекусихина* Мария Саввишна (1739—1824) — камер-юнгфрау Екатерины II. По отзывам современников, все фавориты Екатерины «находились у нее в нравственной зависимости».

¹² *Державин* Гаврила Романович (1743—1816) — крупнейший русский поэт XVIII—нач. XIX в. и государственный деятель. В 1762 г. — солдат Преображенского полка, участник переворота.

С 1784 г. олонецкий, в 1785—1788 гг. — тамбовский губернатор. В 1791—1793 гг. кабинет-секретарь Екатерины II, в 1794 г. президент Коммерц-коллегия, в 1802—1803 г. министр юстиции.

¹³ *Елагин Иван Перфильевич* (1725—1794) — историк и писатель. В 1743 г. окончил Сухопутный кадетский корпус. При Екатерине II сенатор и обер-гофмейстер, в 1766—1779 гг. управляющий театрами.

¹⁴ *Иосиф II* (1741—1790) — император Священной Римской империи, в 1765—1780 гг. соправитель своей матери Марии-Терезии, представитель «просвещенного абсолютизма». В 1781—1785 гг. отменил крепостную зависимость крестьян; ограничил самостоятельность католической церкви, в 1781 г. издал «Толерантный патент» о веротерпимости.

¹⁵ *Тюрго Анн Робер Жак* (1727—1781) — французский государственный деятель, экономист, философ-просветитель. Окончил теологический факультет Сорбонны; в 1774—1776 гг. генеральный контролер финансов, провел ряд антифеодальных реформ. Сотрудничал в «Энциклопедии». Основное сочинение — «Размышление о создании и распределении богатств» (1766).

¹⁶ *Рейналь Гийом Томас Франсуа* (1713—1796) — французский историк и социолог. С 1747 г. сотрудничал в «Энциклопедии» Дидро. Его основное сочинение — «Философская и политическая история учреждений и торговли европейцев в обеих Индиях» (6 тт., 1770) — в 1781 г. было осуждено парламентом на сожжение, Рейналь бежал из Франции, проживал в России; в 1787 г. вернулся на родину. В 1789 г. был избран в Генеральные штаты, но отказался от мандата.

¹⁷ *Паизиелло Джованни* (1740—1816) — итальянский композитор. В 1776—1783 гг. придворный композитор и инспектор Итальянской оперы в Петербурге; в 1784 г. придворный композитор в Неаполе. Наиболее известны его оперы «Служанка-госпожа» (1782), «Прекрасная мельничиха» (1788) и др.

¹⁸ *Репнин Николай Васильевич* (1734—1801) — князь, военный и дипломатический деятель, генерал-фельдмаршал (1796). Участвовал в Семилетней войне, в 1762 г. посол в Пруссии, в 1763—1769 гг. в Польше. При Ларге и Кагуле командовал дивизией. Во время русско-турецкой войны 1787—1791 гг., исполняя обязанности главнокомандующего, выиграл сражение под Мачином. В 1770—1790 гг. генерал-губернатор различных губерний. С 1798 г. в отставке.

¹⁹ *Рафазель* (Рафазоло Санти, 1483—1520) — великий итальянский живописец и архитектор.

²⁰ *Кваренги Джакомо* (1744—1817) — архитектор, представитель русского классицизма; с 1780 г. работал в России. Среди его проектов — Английский дворец в Петергофе (1781—1794), Академия наук (1783—1789), Екатерининский институт (1804—1807), Конно-гвардейский манеж (1804—1807), Смольный институт (1806—1808), Александровский дворец в Царском Селе (1792—1796). Работы Кваренги во многом определили архитектурный облик Петербурга.

Камерон Чарлз (ок. 1730—1812) — архитектор. Шотландец, учился во Франции и Италии. С 1779 г. работал в Петербурге, придворный архитектор Екатерины II. Строил комплекс Царского Села, дворец и павильоны в Павловске, дворец Разумовского в Батурине на Украине.

Фальконе Этьен Морис (1716—1791) — французский скульптор. Учился в Париже, в 1766—1778 гг. работал в России, затем в Гол-

ландии, с 1780 г.— во Франции. Самое знаменитое творение — памятник Петру I в Петербурге.

²¹ *Чевакинский* Савва Иванович (1713— между 1774 и 1780) — архитектор. В 1741—1767 гг. главный архитектор Адмиралтейств-коллегии, учитель В. И. Баженова и Е. И. Старова. Участвовал в строительстве комплекса в Царском Селе (1745—1760), руководил сооружением Никольского морского собора (1753—1762), перестройкой Кунсткамеры (1754—1758) и др.

Баженов Василий Иванович (1737—или 1738—1799) — архитектор, рисовальщик, педагог. Учился в Москве, Петербурге, Париже. С 1765 г. академик, в 1799 г. — вице-президент Петербургской Академии художеств. Автор проектов Дома Пашкова, ансамбля в Царицыне, дворца в Московском Кремле, Михайловского замка в Петербурге.

²¹ *Бюффон* Жорж Луи Леклерк де (1707—1788) — французский естествоиспытатель, основной труд — «Естественная история» в 30 тт. (1749—1788).

²² *Гиббон* Эдуард (1737—1794) — английский историк. Основное его сочинение — «История упадка и гибели Римской империи».

²³ *Блекстон* Вильям (1723—1780) — английский юрист, с 1761 г. член палаты общин, доктор прав Оксфордского университета. Его курс «Истолкование английских законов» в 3 тт. издан в Москве в 1780—1782 гг.

²⁴ *Ланской* Александр Дмитриевич (1754—1784) — генерал-адъютант, фаворит Екатерины II.

²⁵ *Орлов* Федор Григорьевич (1741—1796) — государственный деятель, брат А. Г. и Г. Г. Орловых. После переворота 1762 г. обер-прокурор Сената. Отличился при Чесме.

²⁶ *Кур де Жебелен* Антуан (1725—1784) — французский литератор и религиозный деятель, протестант.

²⁷ *Лафайет* Мари Жозеф де (1757—1834) — маркиз, французский политический деятель. С 1777 г. участник войны за независимость американских колоний, генерал. В 1789 г. депутат Генеральных штатов от дворянства. После взятия Бастилии — командующий Национальной гвардией. В 1792 г. командовал армией; попал в австрийский плен, вернулся во Францию в 1800 г. Во время Июльской революции 1830 г. снова командовал Национальной гвардией.

²⁸ *Паллас* Петр Симон (1741—1811) — естествоиспытатель, географ и путешественник, член Петербургской Академии наук с 1767 г. Учился в Германии, Голландии, Великобритании. В 1768—1774 гг. возглавил экспедицию Академии наук, прошедшую от Нижнего Поволжья до Забайкалья. В 1793—1794 гг. работал на Кавказе и в Крыму. Основные труды: «Путешествие по разным провинциям Российского государства» (т. 1—3, 1773—1788), «Флора России» (т. 1—2, 1784—1788).

²⁹ *Беккари* (маркиз Чезаре дн Беккариа, 1738—1794) — итальянский просветитель, юрист и публицист. Доктор прав. Его сочинение — «О преступлениях и наказаниях» (1764) — критический анализ теории и практики уголовного права, в котором развиты принципы соразмерности наказания преступлению, равенства сословий в уголовном праве, отвергались пытки и другие подобные «доказательства».

³⁰ *Дидро* Дени (1713—1784) — французский писатель-просветитель. Организатор и редактор издания «Энциклопедия, или Толковый словарь наук, искусств и ремесел» (1751—1780). В 1773—1774 гг. по приглашению Екатерины II приезжал в Россию и по ее

просьбе составил «План университета или школы публичного преподавания наук для Российского правительства» (1775). Основные соч.: «Философские принципы материи и движения» (1770), «Элементы физиологии» (1774—1780), пьесы, романы.

³¹ *Христиан VII* (1749—1808) — король Дании с 1766 г., сын короля Фридриха V и принцессы Луизы, дочери английского короля Георга II. В конце жизни сошел с ума, и регентом стал его сын, будущий король Фридрих VI.

³² *Линь Шарль Жозеф де* (1735—1814) — происходил из семьи бельгийских принцев. С 1752 г. на австрийской службе. В 1782 г. отправлен с миссией к Екатерине II, находился в ее свите во время путешествия по России. В 1788 г. — в армии Г. А. Потемкина, участвовал в русско-турецкой войне. В 1789 г. командовал австрийским корпусом при взятии Белграда. Оставил многочисленные сочинения.

³³ *Калонн Шарль Александр* (1734—1802) — французский государственный деятель. В 1783—1787 гг. генеральный контролер финансов. В период Великой французской революции один из руководителей контрреволюционной эмиграции. Вернулся во Францию в 1802 г.

Неккер Жак (1732—1804) — французский государственный деятель, в 1777—1781 и 1788—1790 гг. министр финансов. Сыграл большую роль в подготовке Генеральных штатов 1789 г.

³⁴ *Мария Терезия* (1717—1780) — после смерти отца — императора Карла VI — на основе т. н. «Прагматической санкции» (1713 г.) вступила в наследование земель Габсбургов. Ее соправителями были — до 1765 г. муж — император Франц I (Франц Стефан Лотаринский), затем сын Иосиф II.

Георг III (1738—1820) — английский король с 1760 г.

³⁵ *Грибовский Адриан Моисеевич* (1766—1833) — учился в Московском университете. С 1795 г. статс-секретарь Екатерины II «у принятия прошений». После смерти Екатерины II выслан, а в 1798—1801 гг. находился в заключении. Его бумаги изданы в 1847 г. под названием «Записки о Екатерине Великой А. М. Грибовского».

³⁶ *Нарышкин Лев Александрович* — обер-штаблмейстер.

Строганов Александр Сергеевич (1733—1811) — граф, дипломат и общественный деятель. С 1761 г. посол в Вене. С 1800 г. президент Академии художеств и директор Публичной библиотеки. Коллекционер.

³⁷ *Порошин Семен Андреевич* (1741—1769) — в 1758 г. окончил Сухопутный шляхетский корпус. Воспитатель цесаревича Павла Петровича. В 1764—1765 гг. вел дневник (издан в «Русской старине» в 1881 г.) — ценный источник по истории императорского двора и дворцовых группировок.

³⁸ *Зубов Платон Александрович* (1767—1822) — последний фаворит Екатерины II, брат зятя А. В. Суворова. Светлейший князь, генерал-губернатор Новороссии, главнокомандующий Черноморским флотом.

³⁹ *Суворов Александр Васильевич* (1729—1800) — полководец, военный теоретик. Прославился в Семилетней войне, в войнах против Турции и Франции. Граф Рымникский (1789), князь Итальянский (1799), князь Священной Римской империи, генералиссимус (1799). Уволен Павлом I в 1797 г. и отправлен в ссылку. Вновь возвращен по просьбе австрийского императора и направлен в Италию главнокомандующим русско-австрийскими войсками против французских войск. Соч.: «Наука побеждать» (1796).

⁴⁰ *Аксаков Сергей Тимофеевич* (1791—1859) — писатель, глава

славян: сфилов. В 1827—1832 гг. цензор в Москве. В 1833—1838 гг. инспектор Константиновского межевого института. Главные произведения — «Семейная хроника» (1856), «Детские годы Багрова внука» (1858).

⁴¹ *Головкин* Гавриил Иванович (1660—1734) — политический деятель, дипломат, граф. Родственник царицы Натальи Кирилловны. С 1709 г. — канцлер. С 1706 г. — глава Посольского приказа, с 1717 г. — президент Коллегии иностранных дел. При Екатерине I — член Верховного Тайного совета.

⁴² *Ушаков* Федор Федорович (1744—1817) — флотоводец, адмирал (1799). В 1766 г. окончил Морской кадетский корпус. Отличился победами над турецким флотом в Черном море в войну 1787—1791 гг., с 1790 г. командующий Черноморским флотом. В войне с Францией прославился Средиземноморским походом 1798—1800 гг. В 1800 г. командир Балтийского гребного флота и начальник флотских команд в Петербурге, с 1807 г. в отставке.

⁴³ *Густав IV Адольф* (1778—1837) — король Швеции в 1792—1809 гг. Потерпел поражение в войнах с Францией (1805—1807) и Россией (1808—1809). Низложен риксдагом в 1809 г. и изгнан из страны.

⁴⁴ *Винский* Григорий Степанович (1752— после 1818) — мелкопоместный украинский дворянин, автор «Записок», охватывающих период с середины XVIII века до 1793 г. В 1818 г. представил «Проект о усилении российской с Верхнею Азией торговли через Хиву и Бухарию».

⁴⁵ *Бибиков* Александр Ильич (1729—1774) — государственный деятель, генерал-аншеф. Председатель комиссии по составлению Уложения 1767 г.; руководитель подавления крестьянских движений восставших заводских крестьян Урала; в 1773—1774 г. наделен неограниченными полномочиями для подавления крестьянской войны под руководством Е. Пугачева.

⁴⁶ *Гельвеций* Клод Андриан (1715—1771) — французский философ-материалист; был близок с Ш. Л. Монтескье и Ф. Вольтером. Главное соч.: «Об уме» (1756).

⁴⁷ *Крестинин* Василий Васильевич (1729—1795) — общественный деятель, историк. Из купеческой семьи. Основал в Архангельске «Общество для исторических исследований», автор трудов по истории Архангельска, городов Севера и Двинской земли.

⁴⁸ *Румянцев* Петр Александрович (1725—1796) — полководец, граф. В сражениях Семилетней войны командовал бригадой под Гросс-Егерсдорфом, дивизией под Кунерсдорфом, корпусом под Кольбергом. В 1764—1796 гг. президент Малороссийской коллегии и генерал-губернатор Малороссии. В русско-турецкой войне 1768—1774 гг. командовал армией, разгромил турок при Рябой Могиле, Ларге, Кагуле. С 1775 г. титулован «графом Задунайским». В русско-турецкой войне 1787—1791 гг. командовал Второй армией.

⁴⁹ *Вигель* Филипп Филиппович (1786—1856) — чиновник Московского архива коллегии Иностранных дел; тайный советник. Член общества «Арзамас». Автор «Записок» — характеристики дворянского быта конца XVIII в. — 1830-х гг.; коллекционер уникального собрания гравюр (преимущественно портретных).

⁵⁰ *Мацеевич* Арсений (Александр, 1697—1772) — церковный деятель. Учился в Киевской духовной академии. В 1734—1737 г. участник Камчатской экспедиции. В 1741 г. — митрополит сибирский, в 1742—1763 гг. — ростовский. Член Синода. Боролся с Екатериной II против секуляризации монастырских земель, в 1767 г. был расстрижен и осужден на вечное заключение.

Новиков Николай Иванович (1744—1818) — русский просветитель, писатель, издатель. В 1755—1760 гг. учился в дворянской гимназии при Московском университете. Служил в Измайловском полку. С 1767 г. сотрудник комиссии по составлению нового Уложения. В 1770-х гг. вступил в масонскую ложу. В 1779 г. создал «Типографскую компанию». Издавал сатирические журналы, первый русский философский журнал «Утренний свет», «Санкт-Петербургские ученые ведомости», газету «Московские ведомости», первый детский журнал «Детское чтение» и мн. др. Организовал книжную торговлю в 16 городах, открыл в Москве библиотеку-читальню, две школы для разночинцев, бесплатную аптеку. Около трети вышедших в то время книг изданы Н. И. Новиковым, в том числе сочинения Д. Дидро, Ж. Ж. Руссо, Г. Э. Лессинга и др. В 1792 г. без суда заключен на 15 лет в Шлиссельбургскую крепость, при Павле I освобожден в 1796 г. без права продолжать прежнюю деятельность.

НЕДОРΟΣЛЬ ФОНВИЗИНА

(Опыт исторического объяснения учебной пьесы)

Статья В. О. Ключевского впервые была опубликована в журнале «Искусство и наука», 1896, № 1. Публикуется по изданию: Ключевский В. О. Сочинения. М., 1959. Т. VIII. С. 263—277.

¹ *Фонвизин Денис Иванович* (1744—1792), писатель, один из идеологов русского Просвещения. Закончил гимназию при Московском университете, а с 1762 г. работал в Иностранной коллегии, в 1769—1782 гг. личный секретарь начальника коллегии Н. И. Панина. Автор сатирических комедий, имевших большое значение в развитии русского классицизма и русского реалистического театра.

² *Лабрюйер Жан де* (1645—1696) — французский писатель-моралист. Основное сочинение — «Характеры» (1687 г.).

Дюкло Шарль Пино (1704—1772) — французский историк и писатель. Соч.: «Рассуждения о нравах сего времени» (1749, рус. пер. 1813), «Секретные мемуары царствований Людовиков XIV и XV» (1791).

³ *Посошков Иван Тихонович* (1652—1726) — экономист, публицист; идеолог купечества и противник социальных привилегий дворянства. Автор записок о преобразовании армии, системы экономических, социальных, правовых реформ и «Книги о скудости и богатстве» (1724 г.), за которую был арестован.

ВОСПОМИНАНИЕ О Н. И. НОВИКОВЕ И ЕГО ВРЕМЕНИ

Доклад о Н. И. Новикове В. О. Ключевский читал 13 ноября 1894 г. на заседании Общества любителей российской словесности. Впервые статья была издана в журнале «Русская мысль», 1895 г., № 1. Публикуется по изданию: Ключевский В. О. Сочинения. М., 1959. Т. VIII. С. 223—252.

¹ *Сумароков Александр Петрович* (1717—1777) — писатель. В 1732—1740 гг. учился в Сухопутном шляхетском корпусе. Автор комедий, трагедий («Дмитрий Самозванец», «Мстислав»), стихотворных сборников («Сатиры», «Эленин» и др.). Издатель первого русского литературного журнала «Трудолюбивая пчела» (с 1759 г.).

² *Ричардсон* Сэмюэл (1688—1761) — английский писатель; автор романов «Кларисса» (7 тт., 1747—1748 гг., рус. пер. 1791—1792 гг.), «История сэра Чарльза Грандисона» (7 тт., 1754, рус. пер. 1793—1794 гг.) и др.

Руссо Жан Жак (1712—1778) — французский философ-просветитель, писатель. Сотрудничал в «Энциклопедии». Соч.: «Об общественном договоре» (1762), «Рассуждения о науках и искусствах» (1750), «Эмиль, или О воспитании» (1762), «Юлия, или Новая Элоиза» (1761), «Исповедь» (1766—1769) и мн. др.

³ *Княжнин* Яков Борисович (1742—1791) — писатель. Учился в 1750—1755 гг. в гимназии при Академии наук. С 1762 г. на военной службе. В 1778 г. — секретарь И. И. Бецкого. Член Российской академии с 1783 г. Автор трагедий «Рослав» (1784), «Вадим Новгородский» (1789), комедий, переводов Вольтера, П. Корнеля, К. Гольдони и др.

⁴ *Гольбах* Христиан (1690—1764) — математик, академик Петербургской Академии наук с 1725 г. В 1725—1740 гг. конференц-секретарь Академии наук. С 1742 г. служил в коллегии Иностранных дел.

⁵ *Лопухин* Иван Владимирович (1756—1816) — русский государственный деятель, сенатор, публицист. С 1780-х гг. деятель масонства (орден розенкрейцеров). В 1783 г. масонское «Дружеское общество» открыло в Москве две типографии — одну на имя Н. И. Новикова, другую на имя И. В. Лопухина.

⁶ *Шварц* Иван Григорьевич (ум. 1784 г.) — писатель. Приехал в Москву в 1776 г., экстраординарный профессор немецкого языка в Московском университете с 1779 г. и инспектор педагогической семинарии при университете.

⁷ *Гамалея* Семен Иванович (1743—1822) — один из деятелей новиковского кружка, благотворитель, известен под именем «Божий человек». Учился в Киевской духовной академии, служил в Сенате и Канцелярии Московского генерал-губернатора. В 1830-х гг. опубликована его переписка с Новиковым, Лопухиным, Карамзиным, Тургеневым и др.

⁸ *Тургенев* Иван Петрович (1752—1807) — директор Московского университета. Отец декабристов Николая и Александра.

⁹ *Херасков* Михаил Матвеевич (1733—1807) — писатель, поэт, просветитель, сын валашского боярина, выехавшего в Россию в начале XVIII в. Учился в Сухопутном шляхетском корпусе, служил в армии, затем в Коммерц-коллегии, в 1755—1802 гг. — в Московском университете (заведующий типографией, директор, куратор); создатель московского благородного пансиона, студенческого театра; активный деятель масонства. Автор трагедий, поэм, од, басен, повестей; издатель журналов «Полезное увеселение», «Невинное развлечение», «Свободные часы». В творчестве Хераскова прослеживается переход от классицизма к сентиментализму.

¹⁰ *Масон* Иоанн. Познание самого себя. М., 1783. Ч. I — II.

¹¹ *Мильтон* Джон (1608—1674) — английский поэт, политический деятель, участник английской революции. В 1632 г. окончил Кембриджский университет, магистр искусств. Автор памфлетов 1640-х гг. — «Ареопагитика», «Иконоборец», «Защита английского народа». В 1649—1652 гг. в должности «латинского секретаря» вел международную государственную переписку. Соч.: «Потерянный рай» (1667), «Возвращенный рай» (1671), трагедия «Самсон-борец» (1671), «История Британии» (1670) и др.

РЕЧЬ, ПРОИЗНЕСЕННАЯ В ТОРЖЕСТВЕННОМ СОБРАНИИ
МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 6 ИЮНЯ 1880 г.
В ДЕНЬ ОТКРЫТИЯ ПАМЯТНИКА ПУШКИНУ

Статья впервые издана в журнале «Русская мысль», М., 1880, № 6. Публикуется по изданию: Ключевский В. О. Сочинения. М., 1959. Т. VII. С. 145—152.

¹ *Союз Благоденствия* — тайная организация декабристов, существовала в 1818—1821 гг. В 1820 г. по предложению П. И. Пестеля Союз принял программу подготовки военной революции и установления республики. В целях создания более гибкой организации Союз был распущен и созданы Северное и Южное общества.

ПАМЯТИ А. С. ПУШКИНА

Речь, прочитанная В. О. Ключевским на торжественном заседании в Московском университете 26 мая 1899 г. в связи со столетием со дня рождения А. С. Пушкина. Впервые опубликована в издании: Ключевский В. О. Сочинения. М., 1959. Т. VIII. С. 306—313. Печатается по данному изданию.

¹ *Анакреонт* (ок. 570—478 до н. э.) — древнегреческий лирический поэт, жил на острове Самосе, затем в Афинах.

Шенье Андре Мари (1762—1794) — французский поэт и публицист. Приветствовал Великую французскую революцию; в 1793 г. арестован и казнен якобинцами. Написал оду «Клятва в зале для игры в мяч» (1791 г.), антиякобинский цикл «Ямбы» (в тюрьме).

Парни Эварист Дезире де Форж (1753—1814) — французский поэт, член французской Академии (1803 г.), граф. Автор соч.: «Поэтические безделки» (1779 г.), «Битва богов» (1799 г.) и др.

Байрон Джордж Ноэль Гордон (1788—1824) — английский поэт-романтик, лорд. Учился в Кембридже, с 1809 г. член Палаты лордов; в 1816—1820 гг. жил в Швейцарии и Италии; участник освободительной борьбы греков за независимость против Турции. Умер в Греции. Автор «Паломничества Чайлд-Гарольда», «Шильонского узника», романа в стихах «Дон Жуан», драматических произведений.

Данте Алигьери (1265—1321) — итальянский поэт. Участник политической борьбы во Флоренции. Главное соч.: «Божественная комедия», политический трактат «О монархии».

² *Мицкевич* Адам (1798—1855) — польский поэт. Учился на историко-философском факультете Виленского университета в 1815—1817 гг., в 1819—1823 гг. работал учителем в Ковно. В 1823 г. арестован по делу тайной организации «филомаатов». После неудавшейся попытки присоединиться к польскому восстанию 1830 г. жил в Париже. Автор «Дзадов», «Конрада Валленрода», «Пана Тадеуша», многочисленных лирических стихов.

ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН И ЕГО ПРЕДКИ

Статья была прочитана В. О. Ключевским на заседании Общества любителей российской словесности 1 февраля 1887 г.; впервые издана в журнале «Русская мысль», 1887, № 2; публикуется по изданию: Ключевский В. О. Сочинения. М., 1959. Т. VII. С. 403—422.

¹ *Космография* — буквально: «описание вселенной», научная дисциплина.

² *Акафист* (греч. акафистос, от *а* — отрицание и *кафизо* — жуть) — в христианском богослужении песнопения в честь Иисуса Христа, Богоматери, святых и др., при исполнении которых молящиеся обязаны стоять.

³ *Макаров* Алексей Васильевич (ок. 1674—1740) — государственный деятель, «кабинет-секретарь» Петра I, вел всю, в том числе и секретную, переписку царя; сохранил свое положение при Екатерине I. При Петре II в связи с ликвидацией Кабинета — личной канцелярии царя — президент Камер-коллегии. При Анне Иоанновне в опале.

⁴ *Тайная канцелярия* — создана в 1718 г. для следствия по делу царевича Алексея Петровича. В мае 1726 г. ликвидирована, а ее функции переданы Преображенскому приказу. В марте 1731—1762 гг. существовала вновь под названием Канцелярия тайных розыскных дел, в 1762—1881 гг. — Тайная экспедиция при Сенате. В 1801 г. вновь ликвидирована, ее функции возложены на 1-й и 5-й департаменты Сената.

Ушаков Андрей Иванович (1672—1747) — сенатор, граф, начальник Канцелярии тайных розыскных дел.

⁵ *Квинт Курций Руф* (I век до н. э.) — римский историк. Автор «Истории Александра Великого» в 10 кн.

⁶ *Расин* Жан (1639—1699) — французский драматург, член Французской академии с 1673 г. Наиболее знамениты его трагедии «Андромаха» (1668), «Британник» (1670), «Береника» (1671), «Федра» (1677).

Корнель Пьер (1606—1684) — французский драматург, член Французской академии с 1647 г. Автор комедий, знаменитых трагедий «Медея» (1635), «Сид» (1637), «Горацкий» (1640) и мн. др. Его всемирная слава связана с эпохой Просвещения и Великой французской революцией.

Буало-Депрео Никола (1636—1711) — французский поэт, критик, литературный теоретик, апологет классицизма; сформулировал в 1674 г. в поэме «Поэтическое искусство» основные принципы соблюдения в драме «трех единств» — места, времени, действия.

⁷ *Прейсиш-Эйлау* (ныне г. Багратионовск Калининградской обл.) — город в Восточной Пруссии, близ которого в январе 1807 г. произошло сражение соединенной русско-прусской армии Л. Л. Беннигсена и французских войск. Предпринятое Беннигсеном наступление на корпус М. Нея и Ж. Б. Бернадотта позволило Наполеону предпринять попытку отрезать 78-тысячную русскую армию от России. Под прикрытием арьергарда под командованием П. И. Багратиона русские войска отошли к Прейсиш-Эйлау.

Бородино — село в 12 км западнее Можайска, имение Дениса Давыдова, близ которого 26 августа 1812 г. произошло генеральное Бородинское сражение русской (М. И. Кутузов) и французской (Наполеон) армий.

Лейпциг — город в Германии, близ которого в октябре 1813 г. произошло решающее сражение соединенных войск России, Австрии, Пруссии и Швеции (300 тыс. чел., 1385 орудий) и армии Наполеона (ок. 200 тыс. чел., 700 орудий), названной впоследствии «Битвой народов». Наполеон потерпел решительное поражение, но избежал полного разгрома.

Париж был оккупирован союзными войсками в марте 1814 г., затем после «Ста дней» — в июле 1815 г.

⁸ *Аракчеев* Алексей Андреевич (1769—1834) — государственный деятель, фаворит (временщик) при Павле I и Александре I, с 1807 г. — генерал от артиллерии. В 1796 г. — комендант Петербурга. В 1808—1810 гг. военный министр, с 1810 г. председатель департамента военных дел Государственного совета. С 1817 г. начальник военных поселений.

Сперанский Михаил Михайлович (1772—1839) — государственный деятель, граф (с 1839). В 1791 г. окончил Александровскую семинарию. С 1797 г. на государственной службе, в 1803—1807 гг. директор департамента Министерства внутренних дел. С 1807 г. статс-секретарь императора, с 1808 г. товарищ министра юстиции. В 1809 г. подготовил план государственных преобразований «Введение к уложению государственных законов». В 1812 г. сослан. С 1816 г. пензенский губернатор, в 1819 г. генерал-губернатор Сибири. В 1821 г. возвращен в Петербург, член Государственного совета, составил манифеста о вступлении на престол Николая I. С 1826 г. руководил 2-м отделением Императорской канцелярии, под его руководством составлены «Полное собрание законов Российской империи» (45 тт., 1830), «Свод законов Российской империи» (15 тт., 1832). С 1838 г. председатель департамента законов Государственного совета.

⁹ *Катастрофа 14 декабря* — поражение восстания декабристов 14 декабря 1825 г. в Петербурге.

¹⁰ *Сталь-Гольштейн* Анна Луиза Жермена де (1766—1817) — французская писательница. Автор романов «Дельфина», «Коринна, или Италия», трагедии «Джейн Грей», книги «О литературе». В 1803 г. изгнана из Франции Наполеоном, жила в Швейцарии.

ГРУСТЬ

(Памяти М. Ю. Лермонтова, умер 15 июля 1841 г.)

Статья впервые опубликована В. О. Ключевским без подписи в журнале «Русская мысль», 1891, № 7. Публикуется по изданию: Ключевский В. О. Сочинения. М., 1959. Т. VIII. С. 113—132.

¹ *Крылов* Иван Андреевич (1769—1844) — писатель, баснописец, журналист. Издатель сатирических журналов в Петербурге (1789—нач. 1790 г., 1802 г.). В 1812—1841 гг. служил в Публичной библиотеке в Петербурге.

² *Гейне* Генрих (1797—1856) — немецкий поэт, публицист, критик. С 1831 г. жил во Франции политическим эмигрантом.

Ламартин Альфонс Мари Луи де (1790—1859) — французский поэт, политический деятель, историк; воспитанник иезуитского колледжа; член Французской академии (1829 г.); с 1833 г. член Палаты депутатов. Во время революции 1848 г. министр иностранных дел. Автор «Истории России» (1855), «Истории жирондистов» (1847) и др.

ДЕЯТЕЛИ ИСТОРИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

И. Н. БОЛТИН
(Умер в октябре 1792 г.)

Статья в связи со столетием со дня смерти И. Н. Болтина впервые опубликована В. О. Ключевским в журнале «Русская мысль»,

¹ *Болтин* Иван Никитич (1735—1792) — историк, государственный деятель, генерал-майор. Подготовил издание Пространной редакции «Русской Правды» (1792), впервые дал полный обзор исторической географии Начальной летописи. Автор исследований: «Примечания на Историю древняя и нынешняя России г. Леклерка, сочиненные генерал-майором Иваном Болтиным», т. I—II, 1788; «Критические примечания генерал-майора Болтина на первый том Истории князя Щербатова», Спб., 1793 и др.

² *Шлецер* Август Людвиг (1735—1809) — немецкий историк, филолог, статистик. Учился в Гёттингене, в 1761—1767 гг. работал в России, изучал летописи. Адъюнкт (с 1762 г.), затем иностранный почетный член Петербургской Академии наук (с 1769 г.), почетный член Общества истории и древностей российских (с 1804 г.), Главный труд — «Нестор» (4 т. 1802—1805; рус. перевод — 3 части, 1809—1819).

³ *Миллер* Герард Фридрих (1705—1783) — историк и археограф, член Петербургской Академии наук с 1731 г. В России с 1725 г., с 1731 г. профессор истории, в 1728—1730 гг. и 1754—1765 гг. конференц-секретарь Академии. В 1733—1743 гг. участвовал в экспедиции по изучению Сибири, обследовал и описал архивы более чем 20 сибирских городов, собрал огромную коллекцию копий документов по истории Сибири («портфели Миллера»). В 1750 г. опубликована на немецком языке его «История Сибири».

⁴ *Мерсье* Луи Себастьян (1740—1814) — французский писатель, автор трактатов «О бедствиях войн» (1766), «О театре» (1773), романов «Дикарь» (1767), «2440 год» (1770, опубликован анонимно), брошюры «1789 год» с восторженной оценкой революции, книги «О Ж. Ж. Руссо, одном из главных писателей, подготовивших революцию» (1791).

⁵ *Клеманжи* Матье Никола — французский богослов, в 1393 г. ректор Парижского университета. Считался автором буллы Бенедикта XIII, проклявшей в 1408 г. короля Карла VI. Секретарь папского двора в Авиньоне.

Бомануар Филипп де Реми (1250—1296) — французский юрист, один из первых теоретиков права, составитель одного из крупнейших сборников обычаев средневековой Франции.

⁶ *Боден* Жан (1530—1596) — французский политический деятель, юрист, теоретик права. Гл. соч.: «Шесть книг о республике» (1576).

⁷ *Леклерк* Никола Габриэль (1726—1798) — французский ученый-медик. Приглашен в Россию в 1759—1763 гг. императрицей Елизаветой, затем врач герцога Орлеанского, позже снова в России. С 1765 г. почетный член Петербургской Академии наук, произнес в Академии «Похвальное слово Ломоносову». Автор книги «О древней и новой истории России», вызвавшей критику И. Н. Болтина.

⁸ *Левек* Пьер Шарль (1737—1812) — французский историк. Рекомендован Екатерине II Д. Дидро и до 1780 г. преподаватель истории в кадетском корпусе в Петербурге. Затем профессор истории Коллеж де Франс в Париже. Автор «Истории России» (1782—1783).

⁹ *Всеволод III Юрьевич Большое Гнездо* (1154—1212) — великий князь владимирский. Сын Юрия Долгорукого, внук Владимира Мономаха, дед Александра Невского. Имел восемь сыновей и четырех дочерей, за что и заслужил прозвище «Большое Гнездо».

ПАМЯТИ И. Н. БОЛТИНА

Речь В. О. Ключевского, прочитанная 21 декабря 1892 г. на заседании Общества истории и древностей российских при Московском университете, впервые была опубликована в издании: Ключевский В. О. Сочинения. М., 1959. Т. VIII. С. 134—146. Публикуется по данному изданию.

¹ В. О. Ключевский имел в виду его только что вышедшую в журнале «Русская мысль» статью «И. Н. Болтин (умер в октябре 1792 г.)».

² *Далин* (1708—1763) — шведский гос. деятель, поэт, историк; автор «Истории Шведского государства» (рус. перевод — 1805—1807).

³ *Гиббон* Эдуард (1737—1794) — английский историк, автор исследований по истории Римской и Византийской империй, истории исторической науки.

Смит Адам (1723—1790) — шотландский экономист и философ; учился в Глазго и Оксфорде. В 1751—1763 гг. профессор университета в Глазго; главный труд — «Исследование о природе и причинах богатства народов» (5 кн., 1776).

Вольней Константен Франсуа (1757—1820) — французский просветитель, философ и политический деятель. При Наполеоне I — граф, в период Реставрации — пэр Франции. Автор соч.: «Руины, или Размышления о революциях империй» (1791).

⁴ В. О. Ключевский имел в виду Соборное уложение — государственный кодекс, принятый Земским собором в 1649 г.

Большой Чертеж — несохранившаяся географическая карта России XVII в. Сохранилась «объяснительная записка» к нему — «Книга Большому чертежу», свод географических и этнографических сведений, — составленная в 1627 г. в Разрядном приказе с подробным описанием обеих карт Большого чертежа («Старого чертежа» и «Большого чертежа полю») и всех имевшихся на них надписей и изобразительных материалов. «Книга Большому чертежу» впервые опубликована в 1775 г. Н. И. Новиковым.

Четьи-Минеи («ежемесячные чтения») — сборник жизнеописаний святых, сказаний и религиозных поучений церковных писателей для назидательного чтения. Тип сборников сложился в Византии в IX в.; известны в Древней Руси с нач. XI в. В середине XVI в. под руководством митрополита Макария были составлены «Великие Минеи Четьи» в 12 томах по числу месяцев. Составлялись и в XVII в., а в старообрядческой среде и в начале XVIII в.

⁵ *Российская академия* — в 1783—1841 гг. научный центр по изучению русского языка и словесности в Петербурге, в 1841 г. преобразована во 2-е отделение Академии наук, затем в отделение русского языка и словесности. Выпустила «Толковый словарь русского языка» (1789—1794 гг., доп. изд. 1806—1822 гг.). В 1783—1796 гг. президентом Академии была княгиня Е. Р. Дашкова.

⁶ *Евгений* (Болховитинов, 1767—1837) — церковный деятель, библиограф, историк церкви. В 1785—1789 гг. учился в Московской духовной академии, в 1800 г. постригся, префект духовной академии в Петербурге. В 1804 г. vicarий новгородский, с 1822 г. митрополит киевский.

Н. М. КАРАМЗИН

Публикуемые наброски, сохранившиеся в архиве В. О. Ключевского, датируются временем не ранее марта 1898 г. Публикуются по изданию: Ключевский В. О. Неопубликованные произведения. М., 1983. С. 133—135.

ПАМЯТИ Т. Н. ГРАНОВСКОГО (умер 4 октября 1855 г.)

¹ *Грановский* Тимофей Николаевич (1813—1855)— историк и общественный деятель. Окончил юридический факультет Петербургского университета в 1835 г.; с 1839 г. профессор всеобщей истории Московского университета, в 1837—1839 гг. занимался в Берлинском университете. С 1839 г. читал в Москве первый (с 1843 г.— публичный) курс истории западноевропейского средневековья.

Статья впервые напечатана В. О. Ключевским в газете «Русские ведомости», 1905 г. № 263, 8 октября. Печатается по изданию: Ключевский В. О. Сочинения. М., 1959. Т. VIII. С. 390—395. В архиве В. О. Ключевского сохранились наброски к статье и не вошедшие в нее варианты (печатаются по тому же изданию, с. 480—481): «Что, какая идея, какое воспоминание привело нас к этой могиле, закрывшейся полвека назад? Та же идея, которая влекла наших отцов и ваших дедов в аудиторию Грановского». «50-й день памяти Грановского невольно вызывает рой светлых воспоминаний о том времени, когда сквозь молчаливую мглу русской ежедневной жизни...

В каждом поборнике русского просвещения и русской общественной самодеятельности таится большая или меньшая доля Петра Великого, потому что все такие борцы суть духовные потомки преобразователя. Он действовал, ожидая их; они продолжали его дело, благовоев перед ним...»

«Вы, господа, можете еще увидеть стариков, которые, попав в Москву из уездного захолустья, набожно крестятся, проезжая мимо полукруглого здания на углу Моховой и Никитской. Были годы, когда в Московском университете, вещая правду и свободу, он один стоял в Московском университете прямо и твердо, как стоит этот обелиск над его могилой. Имя Грановского стало символом, лозунгом общественного возрождения, совершаемого превращением слова науки в дело жизни. Вот идея, отлившаяся в преподавательской и литературной деятельности Грановского; она стала для нас его заветом и его пророчеством; «слово плоть бысть».

«Так изображает Грановского добродушное предание, складывавшееся до нас. Это идиллия счастливого профессора, покоившегося на лаврах студенческого обожания, как бы сказал про такое положение красноречивый товарищ Грановского по службе, профессор русской словесности Шевырев. Не мог укрыться от живой действительности в своей академической келье.

Аудитория, где воспринял и передумал свои лучшие мысли. <Его> имя встретило и провожало меня в университет; оно еще звучало во всех аудиториях».

«Побережем себя,— сказал в заключении Грановский,— на великое служение». Из этих слов видно, что Грановский искал и в русской истории моментов, которые бы могли поддержать его веру в успех его дела. Конечно, прежде всего его мысль остановилась на

реформе Петра. За нее ухватился Грановский как за опору. Свое отношение к преобразователю он выразил незадолго до смерти. Шла Восточная война, которая безжалостно обнажила порядок, прикрытый николаевским фасадом. Эмигрировавший Герцен с тоски по родине начал славянофильствовать на чужбине и что-то написал против Петра. Это возмутило Грановского, и он в письме к Герцену 1854 г. горько упрекал, зачем он бросил камень в преобразователя. «Пожил бы ты здесь, и ты бы сказал другое». Такое отношение к Петру, как и все, во что вживалась мысль Грановского, выразилось у него в обычной изящной и глубоко грустной форме. Годом смерти Грановского была столетняя годовщина Московского университета, который был ему обязан таким подъемом своего нравственного и общественного значения».

«Никитенко был незаурядный профессор и писатель, но, очарованный талантами и чувствами Грановского, он позволил себе написать о нем в своем дневнике, что «он вполне очеловечен наукою». Стало быть, без науки... Щадя память Никитенко, не хочется догваривать. Грановский разошелся с Герценом; поборники русской старины, «ветхого призрака», ослабили его чуть не безбожником и революционером. Наверху ему оказывали благоволение, внимательно выслушивали его, порой давали поручения по части народного образования; но ласковая улыбка сопровождалась косым, подозрительным взглядом. А какие люди стояли наверху, об этом достаточно припомнить горькое письмо Кавелина, писанное месяца четыре спустя по смерти Грановского. Его в ужас приводит мысль, что скоро вымрут последние александровцы, воспитанные в духе первых лет царствования Александра I. «Побывайте на кухне, где... С такими людьми невозможно было примирение. И в душе Грановского сменялась борьба уныния и бодрости. Он то хотел жить и работать, то собирался поступить в ополчение, не для того, чтобы сражаться, а чтобы умереть».

«Сколько разбитых надежд! Лучшим венком, которым могло бы украсить русское общество память славнейшего из профессоров русских, были бы лишний просвет, лишние вспышки убеждения в необходимости неотступной идейной борьбы за пре... <конец слова не разобран> надежды и успеха».

Шевырев Степан Петрович (1806—1864) — критик, поэт, историк литературы; с 1834 г. профессор Московского университета, с 1852 г. — академик. Издатель журналов «Московский наблюдатель», «Московитянин», идейный противник В. Г. Белинского и А. И. Герцена.

Герцен Александр Иванович (псевдоним — Искандер; 1812—1870) — революционер-демократ, писатель, публицист, философ; в 1833 г. окончил Московский университет, глава революционного кружка; в 1835—1839, 1841—1842 гг. ссылался в различные провинциальные города. С 1847 г. — в эмиграции. С 1852 г. глава вольной русской прессы («Колокол»), направленной против крепостничества, национального угнетения и т. д.

Никитенко Александр Васильевич (1805—1877) — общественный деятель, историк литературы; выкупившийся крепостной; в 1828 г. окончил Петербургский университет, в 1830—1840 гг. — цензор, в 1860-х гг. член Совета по делам книгопечатания; академик; автор записок о своем времени.

Кавелин Константин Дмитриевич (1818—1885) — историк, правовед, публицист, либерал. В 1839 г. окончил юридический факуль-

тет Московского университета. В 1857—1861 гг. профессор Петербургского университета, близок к Т. Н. Грановскому, А. И. Герцену. До 1855 г. читал лекции по истории и правоведению наследнику, будущему императору Александру II, отстранен за составление записки об освобождении крестьян с земель за выкуп. Основатель в русской исторической науке так называемой «государственной школы».

² *Дмитриев* Федор Михайлович (1829—?) — историк права, в 1859—1868 гг. — профессор Московского университета, с 1882 г. — попечитель Петербургского учебного округа; с 1886 г. — сенатор.

Бабст Иван Кондратьевич (1824—1881) — ученик Т. Н. Грановского; историк, политэконом, статистик; профессор Казанского (1851—1857 гг.) и Московского университетов (1857—1874 гг.); в 1864—1868 гг. директор Лазаревского института (Москва), с 1867 г. управляющий купеческим банком в Москве.

СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ СОЛОВЬЕВ

(умер 4 октября 1879 г.)

Некролог «С. М. Соловьев (умер 4 октября 1879 г.)» был издан В. О. Ключевским в кн. «Речи и отчет, читанные в торжественном собрании Московского университета 12 января 1880 г.», М., 1880. Печатается по изданию: Ключевский В. О. Сочинения. М., 1959. Т. VII. С. 126—144. В этом же издании в комментариях приведены сохранившиеся в архиве В. О. Ключевского его наброски, посвященные творческому пути и взглядам С. М. Соловьева (с. 464—469).

¹ *Погодин* Михаил Петрович (1800—1875) — историк, писатель, журналист. Сын отпущенного крепостного. В 1821 г. окончил Московский университет, в 1825 г. представил магистерскую диссертацию «О происхождении Руси», написанную с позиций норманнской теории. В 1827—1844 гг. профессор Московского университета, с 1841 г. член Петербургской Академии наук. Главное соч.: «Исследования, замечания и лекции М. Погодина по русской истории» (тт. 1—7, М., 1846—1854), а также драма «Марфа-посадница» (1830), «Повести» и др.

² *Строганов* Александр Григорьевич (1795—1882) — граф, государственный деятель. Участник Отечественной войны 1812 г.; в 1836—1838 гг. генерал-губернатор черниговский, полтавский и харьковский, в 1839—1841 гг. министр внутренних дел, с 1849 г. член Государственного совета, генерал-адъютант. В 1854 г. военный губернатор Петербурга. В 1855—1864 гг. генерал-губернатор Новороссии и Бессарабии, президент Одесского Общества истории и древностей российских. Завещал свою огромную библиотеку Томскому университету.

Строганов Сергей Григорьевич (1794—1882) — граф, государственный деятель. С 1856 г. член Государственного совета, в 1859—1860 гг. московский генерал-губернатор. Меценат, коллекционер и археолог. В 1825 г. основал бесплатную художественную школу (Строгановское училище), в 1837—1874 гг. председатель Московского Общества истории и древностей российских, в 1835—1847 гг. попечитель Московского учебного округа. Основатель (1859 г.) и пожизненный президент Археологической комиссии.

³ *Шафарик* (Шафаржик) Павел Йосеф (1795—1861) — словацкий славист, литератор. В 1817 г. окончил Йенский университет. С 1841 г. хранитель, с 1848 г. директор библиотеки Пражского университета. Основные соч.: «Славянские древности» (тт. 1—2, 1837—1848), «Славянская этнография».

⁴ *Ампер Жан Жак* Антуан (1800—1864) — французский историк литературы. Сын знаменитого физика А. М. Ампера. Учился в Париже, с 1831 г. преподаватель Коллеж де Франс. Член французской Академии надписей с 1842 г. и Французской Академии с 1847 г.

Кине Эдгар (1803—1875) — французский политический деятель, историк. В 1841—1846 гг. профессор Коллеж де Франс, уволен за борьбу против иезуитов. Активный участник революции 1848 г., член Учредительного и Законодательного собраний. После переворота Наполеона III в эмиграции до 1870 г. Автор трудов о Великой французской революции и др.

Ленорман Шарль (1802—1859) — французский археолог, профессор Коллеж де Франс.

Мишле Жюль (1798—1874) — французский историк, член Академии моральных и политических наук с 1838 г. С 1827 г. профессор Высшей нормальной школы, с 1838 г. — Коллеж де Франс. В период Июльской монархии борец против католицизма, кумир радикального студенчества. В 1852 г. лишен кафедры и должности заведующего исторической секцией Национального архива, которую занимал с 1831 г., за отказ присягнуть Наполеону III. Автор трудов по истории Франции и Французской революции.

Руаль-Рошетт Дезире (1790—1854) — французский археолог, секретарь Парижской Академии художеств.

Симон Жюль Франсуа Сюисс (1814—1896) — французский политический деятель, философ и публицист. Профессор философии в Высшей нормальной школе, затем в Сорбонне. В 1848 г. избран членом Национального собрания. В 1851 г. отказался присягнуть Наполеону III. В 1870 г. министр народного просвещения в правительстве Национальной обороны, в 1875—1876 гг. премьер-министр, с 1875 г. сенатор.

Шаль Виктор Эфемон Филарет (1798—1873) — французский историк, профессор Коллеж де Франс. Автор трудов по истории Германии, Англии, Английской революции.

Араго Доменик Франсуа (1786—1853) — французский астроном, физик, политический деятель. С 1809 г. член, с 1830 г. секретарь Парижской Академии наук. В 1830—1848 гг. член Палаты депутатов, после Февральской революции 1848 г. — морской министр Временного правительства.

⁵ *Бодянский Осип Максимович* (1808—1877) — историк. В 1834 г. окончил Московский университет, с 1842 г. экстраординарный, с 1847 г. ординарный профессор кафедры истории и литературы славянских наречий. В 1845—1849 гг. секретарь Московского Общества истории и древностей российских, тогда же, а также в 1858—1877 гг. редактор его «Чтений». Главные работы: «О мнениях касательно происхождения Руси» (1835), «О времени происхождения славянских племен» (1855).

⁶ *Беляев Иван Дмитриевич* (1810—1873) — историк. В 1833 г. окончил Московский университет, с 1852 г. профессор истории права. Секретарь Московского Общества истории и древностей российских, редактор его «Временника». Славянофил. Основной труд — «Крестьяне на Руси» (1859) — первое обобщающее исследование по истории русского крестьянства со времен Киевской Руси до XVIII в.

⁷ *Гизо Франсуа Пьер Гийом* (1797—1874) — французский государственный деятель, историк. Член Академии моральных и политических наук с 1832 г. и Французской Академии с 1836 г. Министр внутренних дел в 1830 г., народного просвещения в 1832—1837 гг., иностранных дел в 1840—1848 гг. В 1847—1848 гг. премьер-министр.

Автор «Счерков истории Франции» (1858 г.), «Историй Английской революции» (1854—1856 гг.) и др.

⁸ *Вико* Джамбаттиста (1668—1744) — итальянский философ. С 1698 г. профессор риторики в Неаполе, с 1734 г. придворный историограф. Выдвинул т. н. «теорию круговорота» — развития истории по циклам, состоящим из трех эпох — божественной (безгосударственность, подчинение жрецам), героической (аристократическое государство) и человеческой (демократическая республика или конституционная монархия).

⁹ *Ярослав Владимирович Мудрый* (ок. 978—1054) — великий князь Киевский, сын князя Владимира Святославича, дед Владимира Мономаха. После смерти отца (1015 г.) боролся с братом Святополком Окаянным, окончательно утвердился в Киеве в 1019 г. Разгромил печенегов, начал составление «Русской правды», поставил первого русского митрополита Иллариона.

Мстислав Владимирович Храбрый (ум. 1036) — сын князя Владимира Святославича и полоцкой княжны Рогнеды. Около 988 г. посажен отцом княжить в Тмутаракани, в 1023 г. сел в Чернигове. Воевал с хазарами (1016), касогами (1022). В 1024 г. нанес поражение своему брату Ярославу Киевскому (Мудрому), пытавшемуся изгнать его из Чернигова, в 1026 г. заключил с ним мир, в 1031 г. вместе с братом ходил походом на Польшу.

Даниил Романович Галицкий (1201—1264) — князь галицкий и волынский, сын князя Романа Мстиславича. В 1211 г. посажен боярами в Галиче, но в 1212 г. изгнан. С 1221 г. княжил на Волыни. В 1238 г. овладел Галичем и передал Волынь брату Васильку Романовичу, затем занял Киев. В 1245 г. в битве под Ярославлем Галицкий разгромил венгерские и польские войска и завершил сорокалетнюю борьбу за воссоединение Галицко-Волынской Руси. Вмешался в борьбу за австрийский герцогский престол, добился признания прав на него своего сына Романа. В 1254 г. принял от папской курии королевский титул.

¹⁰ *Полевой* Николай Алексеевич (1796—1846) — писатель, критик, журналист и историк. Издавал журнал «Московский телеграф» (1825—1834 гг.). Автор романов и повестей, в 1837 г. перевел в прозе «Гамлета», в противовес Н. М. Карамзину написал шеститомную «Историю русского народа» (1829—1833 гг.).

¹¹ *Андрей Юрьевич Боголюбский* (после 1111—1174) — сын Юрия Долгорукого, внук Владимира Мономаха, брат Всеволода Большое Гнездо. Великий князь владими́ро-суздальский. В 1174 г. убит боярами-заговорщиками.

С. М. СОЛОВЬЕВ КАК ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

Воспоминания о С. М. Соловьеве читаны В. О. Ключевским 4 октября 1895 г. на заседании Исторического общества при Московском университете в годовщину смерти С. М. Соловьева и Т. Н. Грановского. Первые опубликованы в книге «Издания Исторического общества при Московском университете». М., 1896. Публикуется по изданию: Ключевский В. О. Сочинения. М., 1959. Т. VIII. С. 253—262.

¹ *Леонтьев* Павел Михайлович (1822—1874) — филолог. Окончил Московский университет, учился в Германии. С 1847 г. магистр и профессор кафедры римской словесности и древностей Московского университета.

² *Буслаев Федор Иванович* (1818—1897) — филолог и искусствовед, академик Петербургской Академии наук с 1860 г., профессор Московского университета с 1847 г. Основные работы — «О влиянии христианства на славянский язык. Опыт истории языка по Остромирову евангелию» (1848), «Историческая грамматика русского языка» (1863), «Исторические очерки русской народной словесности и искусства» (1861) и мн. др. Основатель исторической филологии в России.

³ *Кудрявцев Петр Николаевич* (1816—1858) — историк. Окончил Московский университет, ученик Т. Н. Грановского. С 1847 г. преподаватель, с 1855 г. профессор Московского университета, преемник Т. Н. Грановского по кафедре всеобщей истории. Соч.: «Судьбы Италии от падения Римской империи до восстановления ее Карлом Великим» (1850), «Римские женщины» (1856), повести, рассказы, истисловедческие статьи.

Ешевский Степан Васильевич (1829—1865) — историк, специалист по истории позднеримской империи, раннего средневековья, русской истории, археологии и этнографии; ученик Т. Н. Грановского и П. Н. Кудрявцева. Профессор Казанского (1855—1857 гг.) и Московского (1857—1865 гг.) университетов. Инициатор создания музеев этнографии в Казани (1856 г.) и Москве (1865 г.).

Герье Владимир Иванович (1837—1919) — историк. Окончил Московский университет, учился в Германии, Италии и Париже; в 1868—1904 гг. профессор всеобщей истории в Московском университете. В 1862 г. защитил магистерскую («Борьба за польский престол в 1733 г.»); в 1865 г. докторскую («Лейбни и его век») диссертацию. В 1872 г. организовал Высшие женские курсы в Москве.

ПАМЯТИ С. М. СОЛЛОВЬЕВА

(умер 4 октября 1879 г.)

Статья впервые напечатана В. О. Ключевским в журнале «Научное слово», 1904, кн. 8. Публикуется по изданию: Ключевский В. О. Сочинения. М., 1959. Т. VIII. С. 351—367.

¹ *Реклю Жак Элизе* (1830—1905) — французский географ. Сын пастора-гугенота. Учился в Берлинском университете. Во время Парижской Коммуны служил в Национальной гвардии; затем в эмиграции; анархист, один из близких друзей П. А. Кропоткина. С 1893 г. профессор сравнительной географии Брюссельского университета. Основные соч.: «Новая университетская география. Земля и люди» (тт. 1—19, 1875—1894).

К. Н. БЕСТУЖЕВ-РЮМИН

Статья В. О. Ключевского, сохранявшаяся в его архиве, датируется по году смерти К. Н. Бестужева-Рюмина (1897); предназначалась для выступления в Обществе истории и древностей российских. Впервые опубликована в издании: Ключевский В. О. Неопубликованные произведения. М., 1983. С. 164—168; публикуется по данному изданию.

¹ *Бестужев-Рюмин Константин Николаевич* (1829—1897) — историк. Окончил юридический факультет Московского университета, с 1865 г. профессор кафедры русской истории Петербургского университета, с 1890 г. академик. В 1878—1882 гг. возглавлял Высшие женские (Бестужевские) курсы. Член Археографической комиссии, Рус-

ского Географического общества, Общества истории и древностей российских, активный деятель Петербургского славянского комитета.

² *Костомаров* Николай Иванович (1817—1885) — историк, писатель; в 1817 г. окончил Харьковский университет; с 1846 г. профессор Киевского университета, в 1859—1862 гг. профессор Петербургского университета. Занимался историей Украины, народных движений в России, этнографией.

Чичерин Борис Николаевич (1828—1904) — историк, прагматик, публицист; в 1861—1868 гг. профессор Московского университета. Один из основателей так называемой «государственной школы»; деятель либерального движения; в 1882—1883 гг. — городской голова г. Москвы.

³ *Максимович* Михаил Александрович (1804—1873) — историк, филолог, фольклорист, ботаник-эволюционист. Окончил Московский университет, с 1826 г. — заведующий ботаническим садом, с 1833 — профессор. С 1834 г. профессор Киевского университета, где занимался изучением украинского фольклора, историей Древней Руси, русской литературой, языкознанием.

Сахаров Иван Петрович (1807—1863) — этнограф-фольклорист, палеограф; член Русского Географического и Русского Археологического обществ. Собиратель и издатель материалов древнерусской письменности, фольклора, этнографии, нумизматики, иконографии.

Снегирев Иван Михайлович (1793—1868) — этнограф-фольклорист, профессор Московского университета. Исследователь обычного права, общности славянского фольклора, собиратель и издатель русских пословиц, обычаев, обрядов и т. п.

Терещенко Александр Власьевич (1806—1865) — археолог, этнограф. Собиратель и издатель фольклора (песни, былины), материалов древнерусского быта. Член Археологической комиссии. Автор сочинения «Быт русского народа» (1848) и мн. др.

⁴ *Бессочов* Петр Алексеевич (1828—1898) — историк литературы, фольклорист, славянофил.

Рыбников Павел Николаевич (1831—1885) — этнограф, фольклорист, собиратель в Олонцкой губ. былин, исторических песен и их издатель.

Шейн Павел Васильевич (1826—1900) — этнограф-фольклорист, собиратель и издатель русского народно-поэтического творчества (былины, песни, сказки, легенды, обряды).

Киреевский Петр Васильевич (1806—1856) — этнограф-фольклорист, публицист, археолог; собиратель и издатель русского народно-поэтического творчества.

⁵ *Афанасьев* Александр Николаевич (1826—1871) — этнограф-фольклорист, историк русской литературы. Автор сочинений — «Поэтические воззрения славян на природу» (3 т. 1865—1869 гг.), издатель русских сказок, легенд.

Забелин Иван Егорович (1820—1909) — историк и археолог. В 1837—1859 гг. работал в Оружейной палате, в 1859—1876 гг. — в Археологической комиссии в Петербурге. В 1879—1888 гг. председатель Общества истории и древностей российских. Один из организаторов, а в 1883—1908 гг. фактический руководитель Исторического музея в Москве. С 1884 г. член-корреспондент, с 1907 г. почетный член Петербургской Академии наук. Специалист по истории русского быта и материальной культуры. Соч.: «Домашний быт русского народа в XVI—XVII ст.» (1862—1869), «История русской жизни с древ-

нейших времен» (1876—1879), «Материалы для истории, археологии и статистики г. Москвы» (1884—1894) и др.

Победоносцев Константин Петрович (1827—1907) — государственный деятель, сенатор; правовед; окончил училище правоведения (1846); 1860—1865 гг. — профессор гражданского права Московского университета, 1880—1905 гг. — обер-прокурор Синода, член Государственного Совета. Противник реформ 1860-х гг., сторонник неограниченного самодержавия.

Дмитриев Михаил Александрович (1796—1866) — поэт, мемуарист.

Тихонравов Николай Саввич (1832—1893) — историк литературы; профессор и ректор Московского университета; академик (1896). Издатель памятников русской литературы, сочинений Н. В. Гоголя.

Пыпин Александр Николаевич (1833—1904) — историк русской и зарубежной литературы, фольклорист, публицист; академик (1896); активный участник журналов «Современник», «Вестник Европы».

⁶ *Макарий* (Булгаков Михаил Петрович, 1816—1882) — церковный деятель и историк, академик с 1854 г.; в 1841 г. окончил Киевскую духовную академию; ее ректор в 1851—1857 гг.; с 1879 г. митрополит московский и коломенский. Автор трудов по истории церкви, в т. ч. «Истории русской церкви» (тт. 1—12, 1866—1883 гг.).

⁷ *Аристотель* (384—322 г. до н. э.) — древнегреческий философ, идеолог античного рабовладельческого общества. Учился в Академии Платона (Афины), с 343 г. воспитатель сына македонского царя Александра (Великого). С 335 г. глава философской школы в Афинах.

⁸ *Геро-де-Сешель* (1760—1794) — деятель Великой Французской революции, юрист, депутат Законодательного собрания, якобинец. При якобинской диктатуре казнен как «умеренный».

⁹ *Минос* — по греческой мифологии сын Зевса и Европы, легендарный царь Древнего Крита, положивший начало его морскому могуществу.

¹⁰ *Маколей* Томас Бабингтон (1800—1859) — английский историк, публицист, политический деятель; служил в английской администрации в Индии, в 1839—1841 гг. — военный министр; отражал интересы крупной буржуазии, противник всеобщего избирательного права; автор «Истории Англии».

Шмидт Юлиан (1818—1886) — немецкий критик и историк литературы.

Ф. И. БУСЛАЕВ КАК ПРЕПОДАВАТЕЛЬ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬ

Речь В. О. Ключевского, произнесенная 27 сентября 1897 г. на заседании Общества истории и древностей российских в память Ф. И. Буслаева, впервые напечатана в издании: Ключевский В. О. Сочинения. М., 1959. Т. VIII. С. 288—294. Публикуется по данному изданию.

РУССКАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ. 1861—1893 гг.

Рукопись В. О. Ключевского, датируемая 1902 г., впервые опубликована в издании: Ключевский В. О. Неопубликованные произведения. М., 1983. С. 180—186. Печатается по данному изданию.

¹ *Милюков Павел Николаевич* (1859—1943) — историк. В 1886 г. окончил Московский университет (ученик В. О. Ключевского), общественный деятель, с 1905 г. лидер либерально-монархической «конституционно-демократической» партии (кадеты). В 1917 г. министр иностранных дел Временного правительства. С 1920 г. в эмиграции. Автор исследований о хозяйстве России при Петре I, истории русской культуры и др.

² *Иловайский Дмитрий Иванович* (1832—1920) — историк, публицист дворянско монархического направления, автор «Истории России», многочисленных официальных учебников по истории для начальных и средних учебных заведений.

ЮБИЛЕИ ОБЩЕСТВА ИСТОРИИ И ДРЕВНОСТЕЙ РОССИЙСКИХ

Речь В. О. Ключевского как председателя Общества, посвященная столетию со дня его основания, впервые опубликована в издании: Ключевский В. О. Неопубликованные произведения. М., 1983. С. 187—195. Публикуется по данному изданию

¹ *Румянцев Николай Петрович* (1754—1826) — государственный деятель, дипломат, граф; сын фельдмаршала П. А. Румянцева. В 1776—1795 гг. на придворной и дипломатической службе. С 1801 г. сенатор, член Государственного совета, в 1807—1814 гг. министр иностранных дел, в 1810—1812 гг. председатель Государственного совета. С 1814 г. в отставке. Собрал библиотеку и коллекции, переданные после его смерти государству и ставшие основой Румянцевского музея.

² *Завадовский Петр Васильевич* (1739—1812) — государственный деятель, граф; служил в Малороссийской канцелярии, во время русско-турецкой войны 1768—1774 гг. был правителем секретной канцелярии, отличился в битвах при Ларге и Кагуле. Участвовал в редактировании Кучук-Кайнарджийского договора 1774 г. Фаворит Екатерины II, кабинет-секретарь. В начале царствования Александра I — председатель комиссии по составлению законов, первый в России министр просвещения (1802—1810 гг.).

³ *Макарий* (1482—1563) — церковный и политический деятель, архиепископ новгородский с 1526 г., митрополит московский и всея Руси с 1542 г. Сторонник укрепления самодержавия. Под его влиянием Иван Грозный принял в 1547 г. царский титул. Произвел канонизацию русских святых. Под его руководством составлены «Степенная книга», «Минеи-Четьи».

⁴ *Кудрявцев Степан Борисович* (ум. 1646) — дьяк Посольского и Челобитенного приказов.

⁵ *Стрыйковский Матвей* — польский хронист второй половины XVI в., автор «Хроники польской, литовской, жмудской и русской», доведенной до 1572 г. и особенно содержательной относительно событий XIV—XV вв.

⁶ *Вольное экономическое общество* — учреждено в 1765 г. в Петербурге крупными землевладельцами. Издавало «Труды» (более 280 выпусков), объявляло конкурсы (до 1861 г. прошло 243 конкурса) — первый «В чем состоит собственность земледельца (крестьянина) — в земле ли его, которую он обрабатывает, или в движимости, и какое он право на то и на другое для пользы общенародной иметь может?», объявленный в 1766 г. по инициативе Екатерины II. В Об-

шестве сотрудничали А. Т. Болотов, А. А. Нартов, М. И. Кутузов, А. И. Сенявин, Г. Р. Державин, Д. И. Менделеев, В. В. Докучаев, А. М. Бутлеров, А. Н. Бекетов, П. П. Семенов-Тянь-Шанский, А. Н. Толстой, А. В. Струве, О. Д. Форш, Е. В. Тарле и мн. др. Общество ликвидировано в 1919 г.

⁷ *Шувалов* Андрей Петрович (1744—1789) — граф, сын фельдмаршала Петра Ивановича Шувалова. В 1767 г. принимал участие в путешествии Екатерины II по России. В 1768—1783 гг. член комиссии, издавшей Вольтера, Монтескье, энциклопедистов, затем председатель «Комиссии для составления записок о древней истории, преимущественно России»; составил «Выпись хронологическую из истории Русской» (издана в 1787 г.). С 1787 г. член Совета при императрице, сенатор.

⁸ *Малиновский* Василий Федорович (1765—1814) — просветитель, публицист. В 1781 г. окончил Московский университет, состоял на дипломатической службе. В 1811 г. назначен первым директором Царскосельского лицея. Автор «Рассуждения о войне и мире» (1790—1798), записки «Об освобождении рабов» (1802) и мн. др.

Калайдович Константин Федорович (1792—1832) — историк, археолог. В 1810 г. окончил Московский университет, вошел в кружок Н. П. Румянцева, принимал активное участие в работе Московского Общества истории и древностей российских, комиссии печатания русских грамот и договоров, археографической экспедиции.

⁹ *Строев* Павел Михайлович (1796—1876) — историк, археолог, член Петербургской Академии наук с 1849 г. В 1813—1816 гг. учился в Московском университете; участвовал в археографической экспедиции и издании найденных древнерусских документов. С 1823 г. член Московского Общества истории и древностей российских, с 1834 г. активный член Археографической комиссии.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>В. А. Александров.</i> Васнлий Осипович Ключевский (1841—1911)	5
--	---

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПОРТРЕТЫ

О взгляде художника на обстановку и убор изображаемого им лица	29
Этнографические следствия русской колонизации Верхнего По- волжья... Влияние природы Верхнего Поволжья на народ- ное хозяйство Великороссии и на племенной характер ве- ликоросса	40
Значение преподобного Сергия для русского народа и государ- ства	63
Добрые люди древней Руси	77
Характеристика царя Ивана Грозного	95
Царь Алексей Михайлович.— Ф. М. Ртищев	107
А. Л. Ордин-Нащокин	121
Кн. В. В. Голицын.— Подготовка и программа реформы	139
Жизнь Петра Великого до начала Северной войны	151
Петр Великий, его наружность, привычки, образ жизни и мыс- лей, характер	174
Петр Великий среди своих сотрудников	193
Русское государство около половины XVIII в. ...— Императрица Елизавета.— Император Петр III	228
Переворот 28 июня 1762 г.	245
Императрица Екатерина II	255
Императрица Екатерина II (1729—1796)	282
Недоросль Фонвизина (Опыт исторического объяснения учеб- ной пьесы)	341

Воспоминание о Н. И. Новикове и его времени	364
Речь, произнесенная в торжественном собрании Московского университета 6 июня 1880 г. в день открытия памятника Пушкину	392
Памяти А. С. Пушкина	400
Евгений Онегин и его предки	408
Грусть (Памяти М. Ю. Лермонтова, умер 15 июля 1841 г.) .	427

ДЕЯТЕЛИ ИСТОРИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

И. Н. Болтин (умер 6 октября 1792 г.)	447
Памяти И. Н. Болтина	476
И. Н. М. Карамзин	488
П. Н. М. Карамзин	490
Памяти Т. Н. Грановского (умер 4 октября 1855 г.)	491
Сергей Михайлович Соловьев (умер 4 октября 1879 г.) . . .	496
С. М. Соловьев как преподаватель	514
Памяти С. М. Соловьева (умер 4 октября 1879 г.)	523
К. Н. Бестужев-Рюмин	539
Ф. И. Буслаев как преподаватель и исследователь	544
Русская историография. 1861—1893 гг.	551
Юбилей Общества истории и древностей российских	559
ПРИМЕЧАНИЯ	571

Литературно-художественное издание
Ключевский Василий Осипович
ИСТОРИЧЕСКИЕ ПОРТРЕТЫ
ДЕЯТЕЛИ ИСТОРИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

Издание подготовил
Александров Вадим Александрович
Редактор Е. М. Кострова
Оформление художника В. В. Покатова
Художественный редактор В. В. Масленников
Технический редактор Е. Н. Щукина

ИБ 2084

Сдано в набор 26.09.89. Подписано к печати 04.11.89.
Формат 84×108¹/₃₂. Бумага книжно-журнальная.
Гарнитура «Литературная». Печать высокая.
Усл. печ. л. 32,76. Усл. кр.-отт. 33,18. Уч.-изд. л. 36,46.
Тираж 2 000 000 экз. (8-й завод: 1 750 001—2 000 000).
Заказ № 40 Цена 3 р. 50 к.

Набрано и сматрицировано в ордена Ленина
и ордена Октябрьской Революции типографии
имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда»
125865 ГСП, Москва, А-137, улица «Правды», 24.

Отпечатано в типографии изд-ва «Радянська Донеччина»
Донецкого обкома Компартии Украины,
340118, Донецк, Киевский проспект, 48.

Уважаемые товарищи!

С 1974 года организован сбор макулатуры с одновременной продажей популярных книг отечественных и зарубежных авторов.

Применение макулатуры для производства бумаги дает возможность эконолить остродефицитное древесное сырье, значительно уменьшить расходы по производству бумаги.

Использование одной тонны макулатуры позволяет получить 0,7 тонны бумаги или картона, заменить 0,85 тонны целлюлозы или 4,4 кубического метра древесины. Кроме того, при этом сберегаются леса нашей Родины, чистота ее рек, озер, воздушного пространства. Сбор и сдача макулатуры — важное государственное дело.

*Сдавайте макулатуру
заготовительным организациям!*

